



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Проверено 1937 г.
А. И. И.

Р Slav 236.4 ($\frac{1875}{5}$)

ПРОВЕРЕНО
1940 г.

ПРОВЕРЕНО
1955 г.



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

АПРѢЛЬ.

1875.

ДѢЛО

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

- I. ГРАЧОВЫ ИЗЪ ГРАЧОВКИ. Очерки и воспомина-
ніи А. МИХАЙЛОВА.
- II. РЫБАКЪ. Стихотвореніе. (Изъ Гете.) Я. СТАРОСТИНА.
- III. ИСПОВѢДЬ СТАРИКА. Романъ. (Гл. III — V.) ИПОЛИТА ВЬЕВО.
- IV. ВЕСНА. Стихотвореніе. В. И. СЛАВЯНСКАГО.
- V. ПРИВОЛЬЕ. Картины лѣтняго промысла. (Гл.
VI—VIII) В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАЩЕНКО.
- VI. ЗУБЪ. Стихотвореніе. И. СУРИКОВА.
- VII. ЗАКОНЪ И ЖЕНА. Романъ. (Гл. XXXIX —
XLIII) УЛЬЯНИ БОЛНЗА.
- VIII. СОВРЕМЕННЫЕ ГАЛЛЫ. Стихотвореніе. (Съ
французскаго.) В. И. СЛАВЯНСКАГО.
- IX. РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ НА ВОСТОКЪ. П. М. ЯЗЫНИЦЕВА.
- X. ПРОЕКТЪ ТЮРЕМНОЙ РЕФОРМЫ ВО ФРАН-
ЦИИ. (Окончаніе.) В. Ю.
- XI. СЪ СѢВЕРА НА ЮГЪ. Романъ. (Окончаніе I ча-
сти 2-й книги.) П. КАЗИНА.
- XII. ВЪЗВЕРЪ-ПАША И ЕГО ЭКСПЕДИЦІЯ ВЪ
ЦЕНТРАЛЬНУЮ АФРИКУ. (Ст. вторая.) В. Т.
- XIII. * * Стихотвореніе. И. СУРИКОВА.

См. на оборотѣ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

XIV. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПУТАНИЦА.

(Курсъ педагогики. Составленъ М. Чистяковымъ. Спб., 1875.)

XV. НАРОДЪ УЧИТЬ ИЛИ У НАРОДА УЧИТЬСЯ? ВСЕ ТОГО-ЖЕ.

(Посвящается нашимъ профанамъ вообще и „Профану“ Отечественныхъ
Записокъ въ частности.)

XVI. ВЕСИЛИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ. Н. ЯЗЫКОВА.

(Собраніе сочиненій А. Н. Островскаго. Спб., 1874 г., 8 томовъ.)

XVII. ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА. АНОНИМА.

XVIII. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Собраніе петербургскихъ сельскихъ хозяевъ и его ораторы.—Роль и значеніе кустарной промышленности въ Россіи по мнѣнію сельскихъ хозяевъ.—Чѣмъ-же кончились дебаты сельско-хозяйственной говорильни? — Какъ водится — ничѣмъ.—Санитарный съѣздъ петербургскихъ врачей.—Вопросъ о гигиеническомъ значеніи кладбищъ.—Осушеніе болотъ, статистика эпидемій, чумопрививаніе и т. п. Толченіе воды въ стулѣ нашими общественными ораторами. — Философія г. Кристи и „Московскихъ Вѣдомостей“ по поводу кухарофъ.—Всесословная волость г. Платонова и пр.

XIX. КНЯЗЬ ВИСМАРКЪ. Биографическій очеркъ.

(Продолженіе.) ЭЛИ ТРИГО.

XX. НОВЫЯ КНИГИ.

Театральный альманахъ на 1875 годъ. Составилъ А. Соколовъ (Театральный нигилистъ). Спб., 1875 г.—Монголія и страна тангутовъ. Трехлѣтнее путешествіе въ восточной нагорной Азій. Н. Пржевальскаго. Томъ I. Спб., 1875 г.—Римскія женщины, ихъ воспитаніе и положеніе въ обществѣ. Сочиненіе Гастона Буасье. Спб., 1875 г.

XXI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА.

Родина Эдгара Кинэ.—Вліяніе мѣстной природы на характеръ произведеній Кинэ.—Его отецъ.—Воспитаніе Кинэ. — Увлеченіе нѣмецкою наукою. — Кинэ въ Германіи.—Путешествіе его въ Грецію.—Поэмы Кинэ. —Фанатическое поклоненіе Наполеону I.—Печальныя послѣдствія этого фанатизма для Франціи.—Успѣхи Кинэ на университетской кафедрѣ. — Благотворное вліяніе на него Мишле.—Борьба Кинэ съ иезуитами и ультрамонтанствомъ.—Кинэ депутатъ. — Кинэ полковникъ.—Кинэ изгнанникъ.—Эпопея „Мерленъ Чародѣй“.—Ея достоинства.—Рыцарство. — Изнанка исторіи среднихъ вѣковъ.—Возрожденіе.—Пріемъ, сдѣланный „Мерлену“.—Историческіе труды Кинэ.—Возвращеніе Кинэ во Францію.

ДѢЛО

ЖУРНАЛЬ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

№ 5.

ИЗВ. № 24486



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФИЯ В. ТУШНОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39.

1875.

Р. 16949

△
P Slav 236.4 (1875)
✓

Дозволено цензуром. С.-Петербургъ, 19 мая 1875 г.

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
APR 3 1963

63+2

ГРАЧОВЫ ИЗЪ ГРАЧОВКИ.

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНІЯ.

Исторія, рассказанная мнѣ докторомъ Симоненко и потомъ слышанная мною отъ другихъ лицъ, была не весела. Она вызывала невольное сожалѣніе къ князю Антону Павловичу.

Князь Антонъ получилъ домашнее воспитаніе. Онъ развивался безъ всякой системы, подъ вліяніемъ десятиа гувернеровъ и учителей, а такъ-какъ, по пословицѣ, „у семи нянекъ дитя бываетъ безъ глазъ“, то и у князя Антона не могъ выработаться какой-нибудь твердый и стойкій характеръ подъ вліяніемъ крайне разнохарактерныхъ личностей. Одинъ гувернеръ примѣнялъ къ мальчику сухую нѣмецкую дисциплину; другой старался развить въ воспитанникѣ изящныя манеры; третій посвящалъ своего питомца въ тайны скабрезныхъ анекдотовъ и похожденій. Учителя произвели не меньшій сумбуръ въ головѣ ученика: учитель французскаго языка пробуждалъ въ немъ симпатіи къ своей *grande nation*; нѣмецкій учитель толговалъ о легкомысліи французовъ и о томъ, что только нѣмецъ можетъ быть „*bieder und treu*“; русскій учитель проповѣдывалъ, что „всѣ эти колбасники врутъ, потому-что только у русскаго мужичка есть смекалка и онъ всѣхъ шапками забросаетъ“. Сходились всѣ учителя только въ одно: они очень снисходительно смотрѣли на лѣность мальчика и говорили, что онъ дѣлаетъ громадныя успѣхи, такъ-какъ „неуспѣшность“ ученика могла лишитъ ихъ шестирублевой платы за часовые уроки. Вслѣдствіе этого мальчикъ усвоивалъ всѣ рассказы, всѣ мнѣнія учителей, но

„Дѣло“, № 5.

вовсе не усвоивалъ ихъ знаній, если только у нихъ были дѣйствительно какія-нибудь знанія. Правда, онъ хорошо говорилъ по-французски, по-нѣмецки, по-англійски, но этимъ и оканчивались его познанія.

Среди всего этого педагогическаго сумбура Антонъ въ сущности подчинялся только одному вліянію—вліянію своей матери.

Аврора Федоровна ничего не жалѣла для сына, предполагая почему-то, что изъ него выйдетъ замѣчательный дипломатическій дѣятель; она тратила баснословныя деньги на его воспитаніе, на его одежду, на его удовольствія; она исполняла всѣ его желанія; она просиживала надъ нимъ ночи во время его болѣзни. Но когда она произносила своимъ протяжнымъ, холоднымъ голосомъ: „Антонъ, какъ ты сидишь?“—мальчикъ терялся и блѣднѣлъ или краснѣлъ отъ смущенія. Почему? Развѣ онъ не зналъ, что она его любитъ, что она готова для него сдѣлать все? Да, онъ зналъ это, и все-таки онъ боялся ея.

Аврора Федоровна была въ домѣ единственнымъ человѣкомъ, передъ которымъ склонялись всѣ, начиная съ послѣдняго выѣздного лакея и кончая глухимъ княземъ-отцомъ и надутымъ барономъ фон-Тифензее. Никто никогда не оспаривалъ ея мнѣній; ни отъ кого Антонъ не слышалъ, что она говоритъ иногда вздоръ, что она очень часто ошибается, что у нея есть свои слабыя и смѣшныя стороны; ни одинъ человѣкъ не попробовалъ втеченіи многихъ лѣтъ поколебать ея авторитетъ въ глазахъ ея сына. Таеъ съ самой колыбели привыкъ Антонъ считать безошибочнымъ все то, что дѣлала, что говорила его мать. Онъ боялся сдѣлать какой-бы то ни было шагъ, который могъ-бы не понравиться ей. Но въ этомъ безусловномъ подчиненіи матери не было ни горячаго увлеченія, ни страстной любви, ни мягкой нѣжности. Аврора Федоровна принадлежала къ числу тѣхъ узкихъ, ограниченныхъ и сухихъ натуръ, которыя не понимаютъ значенія ласки.

— У васъ, ма снѣге, все еще не прошла институтская сантиментальность, говорила она которой-нибудь изъ старыхъ княженъ, когда та нѣсколько восторженно обнимала брата.

— Что это у нихъ за мѣщанскія манеры, замѣтила она какъ-то, увидавъ, какъ одинъ молодой мужъ поцѣловалъ въ обществѣ руку своей жены.

— Ан-тонъ, ты мнешь мнѣ платье, отстраняла она сына, когда тотъ, забывшись, бросался ее обнять.

Всѣ эти мелкія, неуловимыя замѣчанія пріучили Антона очень рано сдерживать свои порывы. Но будучи постоянно на сторожѣ въ сношеніяхъ съ матерью, не смѣя излить передъ нею вполне искренно свои чувства, не рискуя даже пошлать, подурачиться съ нею, онъ мало-по-малу сталъ относиться къ ней, какъ къ какому-то божеству, которому можно молиться, передъ которымъ должно склонять колѣни, но къ которому можно приближаться только осторожно, чтобы приложиться къ нему холоднымъ, безстрастнымъ поцѣлуемъ. Нельзя сказать, чтобы Антонъ не любилъ мать, а только благоговѣлъ передъ нею, подчинялся ей. Нѣтъ, онъ любилъ ее, но осмотрительною любовью, выражавшеюся въ дозволенной любимымъ существомъ мѣрѣ. Антонъ, повидимому, могъ многого добиться отъ матери, но онъ въ сущности не просилъ у нея ничего и, кажется, былъ убѣжденъ, что она сама лучше его знаетъ, что ему нужно. Разъ только ему встрѣтилась необходимость прибѣгнуть къ ней съ просьбой. Къ маленькому князю какъ-то пробрались три человѣка изъ прислуги и кинулись ему въ ноги: они просили барченка вступить за молодого лакея, которому княгиня отказывала отъ мѣста. Ходатаями были самъ провинившійся, его тетка и его невѣста. Бѣдные люди плакали, цѣловали руки мальчика, обнимали его колѣни и успѣли тронуть его до того, что онъ, весь раскраснѣвшійся, дрожавшій отъ волненія, пошелъ къ матери. По мѣрѣ приближенія къ кабинету матери мальчуганомъ все болѣе и болѣе овладѣвала робость. Когда онъ переступилъ порогъ этой комнаты, онъ уже готовъ былъ воротиться, но мать успѣла замѣтить его и удивилась, окинувъ холоднымъ и пристальнымъ взглядомъ встревоженную фигуру сына.

— Антонъ, что съ тобой? спросила она.

— У меня... началъ въ смущеніи мальчикъ, — у меня... есть просьба.

Мать молчала и ждала.

— Нельзя-ли оставить... Ты, пожалуйста, не сердись... Мнѣ бы хотѣлось... нельзя-ли оставить Андрея...

Мальчикъ путался и едва выговаривалъ слова.

— Андрей дурной слуга и потому его нельзя оставить, спокойно отвѣчала княгиня.

— Онъ такъ плачетъ, тихо произнесъ мальчикъ совершенно упавшимъ голосомъ.

— Я знаю. Онъ теряетъ хорошее мѣсто и потому понятно, что онъ плачетъ, замѣтила княгиня и прямо устремила на сына свои пронизательные и безстрастные глаза. — Но ты не знаешь, о чемъ ты просишь. Ты хочешь, чтобы я оставила дурного слугу? Да? Но если онъ останется, то на его мѣсто не въ состояннн будетъ поступить другой, не дурной, а хорошей слуга. Ты видѣлъ слезы Андрея и тебѣ стало его жаль. Но тотъ, хороший слуга, который просится на его мѣсто, точно такъ-же плачетъ, потому что ему нечего ѣсть. Ты только не видалъ его слезъ и потому тебѣ не жаль его.

На минуту княгиня умолегла. Мальчикъ стоялъ въ полномъ смущеннн, съ пониженой головой. Княгиня поправила на столѣ бумагу и приготовилась продолжать свое занятн — писанн писемъ.

— Подумай, дурнымъ-ли людямъ нужно давать кусокъ хлѣба или хорошимъ, проговорила она, уже не глядя на сына. — Если люди будутъ оказывать покровительство дурнымъ, то, конечно, хорошихъ людей вовсе не будетъ, хорошие увидятъ, что выгоднѣе поступать дурно. Впрочемъ, если ты хочешь непременно обидѣть хорошаго слугу и поощрнть дурного...

Княгиня снова подняла голову и взглянула пристально на сына.

— ...То я исполню твой капризъ, окончила она съ холодной иронней.

— Я не знаю... началъ растерянно мальчикъ.

— Теперь я занята, перебила его княгиня. — Мы поговоримъ объ этомъ послѣ. Ступай!

Антонъ вышелъ изъ кабинета матери.

— Ну что, ваше сіятельство, заступникъ вы нашъ? заговорили просители-слуги.

— Матан не согласилась, едва слышно пробормоталъ мальчикъ и быстро скрылся въ свою комнату.

Онъ бросился тамъ на свою постель и заплакалъ. Ему было жаль несчастныхъ людей, просившихъ его помощи, и въ то-же время онъ боялся сдѣлать поступокъ, который можетъ не понравиться его матери. Ему казалось, что оставленн Андрея на мѣстѣ есть доброе, хорошее дѣло, и въ то-же время онъ думалъ, что мать не можетъ быть неправой, говоря, что нужно поступить ина-

че. Онъ сознавалъ, что рѣшеніе участи Андрея предоставлено вполне ему, и въ то-же время чувствовалъ, что онъ не *можетъ* рѣшить эту участь иначе, чѣмъ желаетъ его мать. Впервые въ этотъ день четырнадцатилѣтній мальчикъ понялъ, насколько онъ не самостоятеленъ и, что хуже всего, не самостоятеленъ, повидимому, по доброй волѣ. Мать говоритъ ему: дѣлай, какъ знаешь; онъ хочетъ поступить не такъ, какъ-бы желала она; онъ получаетъ на это право, и все-таки поступаетъ не по своему, а по ея мнѣнію. Въ этомъ было что-то роковое: у его матери была сильная воля, у него вовсе не было воли; мать имѣла самостоятельный характеръ, у него вовсе не было характера; мать, можетъ быть, и ошибалась, но она говорила съ достоинствомъ незабываемаго авторитета; онъ, можетъ быть, и былъ правъ, но у него не хватало смѣлости твердо высказать свои возраженія. Мальчикъ плакалъ и бранилъ себя за то, что не пошелъ прямо къ Андрею и не сказалъ ему, что онъ, Андрей, останется на мѣстѣ. Впрочемъ, и теперь еще было не поздно. Да, но гдѣ-же взять смѣлости сказать матери:

— Я рѣшился оставить Андрея.

Княгиня, между тѣмъ, позвала къ себѣ ключницу.

— Каролина Карловна, кто просилъ князя Антона за Андрея? спросила она.

— Я... начала ключница въ смущеніи.

— Я васъ спрашиваю, кто просилъ князя Антона за Андрея? перебила ее княгиня, видя, что Каролина Карловна, по своему обыкновенію, желаетъ уклониться отъ прямого отвѣта.

— Самъ Андрей, его тетка и Маша, покорно отвѣчала ключница, сконфуженно опуская хитрые глаза.

— Андрея отослать завтра, тетку его черезъ недѣлю, Машу черезъ двѣ недѣли, распорядилась княгиня.

— Какъ сказать имъ, за что ихъ увольняютъ? смиренно подняла ключница свои глаза на княгиню.

— За то, что я недовольна ими, сухо отвѣчала княгиня. — А если ко-гда-ни-будь, начала она съ разстановкой, точно отчеканивая каждое слово, — кто-ни-будь изъ при-слуги по-просить о чемъ-ни-будь князя Ан-тона, то мѣ-ста лишитесь вы.

— Я... подобострастно начала оторопѣвшая ключница.

— Вы мнѣ больше не нужны, произнесла княгиня, пристально углубившись въ свои занятія.

Каролина Карловна какъ-то торопливо сдѣлала книксенъ, точно кто-то сзади далъ ей пинка подъ колѣнки, и мелкими шажками выкатилась изъ комнаты.

Съ этихъ поръ прислуга не избирала болѣе Антона своимъ ходатаемъ, Антонъ не искалъ случая сдѣлаться ея заступникомъ. Онъ началъ пристальнѣе вглядываться въ поступки матери и иногда въ немъ болѣзненно шевелилось сознание, что она поступаетъ несправедливо, безсердечно, но у него не было силы не только для борьбы съ нею, но даже для простого возраженія ей. Въ такія минуты онъ только становился хмурымъ, задумчивымъ и, забывшись, по старой привычкѣ, грызъ свои ногти, покуда въ комнатѣ не раздавался протяжный и холодный голосъ:

— Ан-тонъ!

Юноша приходилъ въ себя, опускалъ руку и нервною походкою уходилъ изъ комнаты.

Годы между тѣмъ шли.

Самолюбіе Авроры Федоровны было вполне удовлетворено: она не только была богата, не только занимала видное мѣсто въ свѣтѣ, не только была членомъ десятка благотворительныхъ обществъ и слыла одною изъ умнѣйшихъ женщинъ своего муравейника, но она была матерью замѣчательнаго сына. Да, Антонъ былъ замѣчательный юноша. Свѣтская образованность, знаніе отрывковъ самыхъ разнообразныхъ наукъ, блестящія музыкальныя способности, прекрасный голосъ, нѣсколько идеальная красота,—все это дѣлало его юношею, подающимъ надежды. Эти надежды получили еще болѣе основанія, когда Аврора Федоровна заставила Антона поступить въ пятый классъ гимназіи.

— Мы должны поставить нашихъ дѣтей на высоту ихъ положенія, говорила она свою любимую фразу, когда ее спрашивали, зачѣмъ она избрала гимназію для окончанія образованія сына.

Въ то время еще многіе люди изъ круга Авроры Федоровны смотрѣли съ предубѣжденіемъ на гимназіи, гдѣ получали образованіе разные „мѣщане“.

— Я могла-бы отдать его въ пажи, въ лицей или въ учи-

лице правовѣденія, говорила княгиня,—но я хочу, чтобы онъ получилъ вполнѣ серьезное образованіе и окончилъ курсъ въ университетѣ.

И торжество ея было полное: Антонъ вышелъ изъ гимназіи съ первой медалью. Дома его учили въ это время тѣ самые учителя, которые преподавали и въ гимназіи; въ гимназію онъ ѣздилъ въ каретѣ; въ классахъ учителя и начальство спрашивали его о здоровьи его матушки и батюшки. Ученики относились къ нему не враждебно, но холодно; они почему-то боялись его, понимая, что если онъ и не имѣетъ способностей наушника, то имѣетъ полную возможность сдѣлаться наушникомъ; они старались не доставлять ему поводовъ взяться за эту роль. Кромѣ того, какъ ученикъ, поступившій прямо въ пятый классъ, онъ не могъ тѣсно сблизиться съ тѣми, которые сидѣли на однихъ и тѣхъ-же скамьяхъ втеченіи пяти-шести лѣтъ. Да и самъ Антонъ по своему характеру не искалъ сближенія. Онъ росъ слишкомъ одиноко и былъ дикаремъ.

Пробывъ одинокимъ среди толпы гимназистовъ, онъ очутился одинокимъ и въ университетѣ. Людей его круга было здѣсь тогда еще немного, съ людьми-же изъ другихъ слоевъ общества ему было трудно сблизаться. Онъ зналъ, что ихъ ждетъ неласковый приѣмъ въ его семьѣ, и не искалъ ихъ знакомства.

Въ обществѣ всѣ матери ставили его въ примѣръ своимъ дѣтямъ.

— Посмотрите, вѣдь ему восемнадцать лѣтъ, онъ богатъ, онъ свободенъ, а какъ онъ ведетъ себя, говорили онѣ своимъ сыновьямъ, уже успѣвшимъ надѣлать долговъ изъ-за какой-нибудь Сюзетки.—Онъ могъ-бы дѣлать все, что ему вздумается, а между тѣмъ онъ скромнѣе самой скромной дѣвочки.

— Нѣмецкій философъ, иронически отвѣчали сыновья, не имѣя даже утѣшительнаго права сказать, что Антонъ такъ нравственъ „по глупости“: они по своей умственной ограниченности были убѣждены, что онъ умнѣе и, во всякомъ случаѣ, образованнѣе ихъ.

Но ни они, ни ихъ матери не знали, что этотъ „нѣмецкій философъ“ въ сущности былъ еще ребенокъ,—ребенокъ съ небольшими умственными способностями, незнавшій практической жизни, неизмѣвшій своей воли, ходившій еще на помочахъ. О существованіи этихъ помочей знала только его мать, державшая ихъ

въ своихъ рукахъ, да смутно чувствовалъ это онъ, не имѣя ни силъ, ни воли, чтобы разорвать ихъ. Иногда на него находили минуты безпредѣльной, гнетущей, зловѣщей хандры.

— Развѣ я человѣкъ? думалъ онъ.— Я кусокъ глины, изъ котораго лѣпятъ все, что угодно, и лѣпятъ только для того, чтобы свѣтъ удивлялся геніальности художника. Мать меня не любитъ— она никого не любитъ. Она не для моего счастья старается вылѣпить изъ меня то, что ей хочется, а для удовлетворенія своего эгоистическаго самолюбія. Она убила во мнѣ всякую самостоятельность, она сдѣлала изъ меня жертву, которую она можетъ повести на закланіе и не услышать ни протеста, ни укора. Мнѣ всѣ удивляются, но я презираю себя. И что это за жизнь, въ которой нѣтъ ни одного грѣющаго луча, ни одной ласки? Въ сущности меня никто, никто не любитъ—меня боятся любить.

И съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе поднималась горечь въ этой слабой и больной душѣ. Этотъ человѣкъ сталъ все болѣе и болѣе любить уединеніе и книги. „Разбойники“, „Донъ-Барлосъ“, „Коварство и любовь“, „Гамлетъ“ сдѣлались любимыми друзьями юноши. Иногда онъ одинъ читалъ вслухъ монологи героевъ этихъ драмъ и ему казалось, что эти люди ему средни. Онъ страдалъ и проклиналъ вмѣстѣ съ ними.

Но и въ этой темной жизни нашелся свѣтлый лучъ.

Антонъ любилъ охоту,—любилъ ее, можетъ быть, потому, что на охотѣ онъ оставался одинъ. Лѣтомъ, забравшись въ Грачовку, онъ часто уходилъ съ ружьемъ въ лѣсъ и по цѣлымъ часамъ бродилъ тамъ. Мимо него пролетали птицы — онъ не стрѣлялъ; его песь нападалъ на слѣдъ, дѣлалъ стойку—онъ проходилъ мимо. Но ему было хорошо: онъ былъ одиноко, онъ дышалъ вольнѣе, онъ не слышалъ ненавистнаго ему звука: „Ан-тонъ“. Да, этотъ звукъ сталъ ему ненавистенъ. Юноша, кажется, возненавидѣлъ самое свое имя. Иногда онъ уходилъ версты за три, въ Липовку, маленькую деревеньку мелкопомѣстнаго помѣщика, отставнаго лекаря Тузова. Небольшой, чистенькій помѣщичій домъ въ Липовѣхъ, окрашенный свѣтло-сѣрою краскою, съ зелеными ставнями и бѣлы-

ми украшеніями подѣ навѣсомъ надворнаго крыльца, былъ окруженъ незатѣйливымъ садомъ. Садъ обрабатывался и украшался руками самого Тузова, стараго вдовца, забитаго судьбою, сѣденькаго, немного лысаго и вѣчно улыбающагося добряка съ дряблыми румяными щеками и мигающими глазками. Съ каждымъ разомъ, когда Антонъ подходилъ къ этому дому, у него начинало все сильнѣе и сильнѣе биться сердце. Почему? Онъ, можетъ быть, не могъ-бы отвѣтить на этотъ вопросъ, да, впрочемъ, онъ и не задавалъ себѣ этого вопроса.

Ему шелъ двадцатый годъ, когда онъ впервые, утомленный ходьбою и измученный лѣтнимъ жаромъ, зашелъ во дворъ къ Тузову. Антонъ отворилъ калитку и окинулъ глазами дворъ. Дворъ былъ почти пустъ, заботливо подметенъ и опрятенъ. Новое дерево сараевъ и хлѣбовъ весело блестяло на солнцѣ. Чистенькій и свѣтлый помѣщичій домъ глядѣлъ какъ-то нарядно, по-праздничному. Этотъ домъ остановилъ вниманіе Антона. На крыльцѣ, подѣ небольшимъ навѣсомъ съ бѣлыми украшеніями, сидѣла дѣвушка лѣтъ шестнадцати. Простое круглое лицо съ гладко зачесанными и заплетенными въ двѣ длинныя косы русыми волосами, ясные сѣрые глаза, широко смотрѣвшіе на міръ, простое свѣтлое ситцевое платье съ широкими рукавами, открывавшими до локтей бѣлыя, красивыя руки,—все было крайне просто въ этой дѣвушкѣ. Она сидѣла на крыльцѣ, на колѣняхъ у ней лежало оставленное шитье. Передъ нею суетливо отбивали другъ у друга кормъ желтенькіе цыплята и важно стоялъ пѣтухъ, тыкая отъ времени до времени носомъ въ землю и указывая своему молодому ноколѣнью, гдѣ находится кормъ. Когда Антонъ отворилъ калитку и на него бросилась съ лаемъ маленькая лохматая собаченка, дѣвушка неторопливо подняла на него свои большіе глаза и въ нихъ отразилось недоумѣніе.

— Извините меня, проговорилъ въ замѣшательствѣ Антонъ, — я пришелъ попросить молока... Вы, вѣроятно...

— Я — Маруся Тузова, перебила его дѣвушка. — Я вамъ сейчасъ дамъ молока.

Она встала и ушла въ домъ. Антонъ осмотрѣлся кругомъ, а его неизмѣнный песъ уже обнюхивалъ дворъ и знакомился съ вахлостой собаченкой. Минуть черезъ пять дѣвушка вынесла полную кружку холоднаго молока и кусокъ ржаного хлѣба. Антона удивила непривычная для него простота. Эта дѣвушка назвала себя

„Марусей“, не спросила даже, кто онъ, и сама вынесла ему молоко.

— Вы позволите мнѣ присѣсть? спросилъ Антонъ.

Дѣвушка разсмѣялась.

— А развѣ стоя можно ѣсть? проговорила она и сѣла на прежнее мѣсто.

Въ тонѣ ея отвѣта было что-то дѣтское.

Антонъ помѣстился на выступѣ крыльца.

— А вашъ батюшка? спросилъ онъ и крикнулъ погнавшейся за цыпленкомъ собацѣ: „тубо!“

— Отецъ на работѣ. Сѣнокосъ начался.

— Вы меня не знаете?.. Я думалъ вашего батюшку встрѣтить, мы съ нимъ немного знакомы. Я—Грачовъ.

Дѣвушка прямо посмотрѣла ему въ лицо.

— А отецъ говорилъ, что вы худенькій, худенькій, проговорила она какимъ-то дѣтскимъ, жалобнымъ тономъ, точно ей было дѣйствительно жаль, что онъ, Антонъ Грачовъ, худенькій.

— Да, вашъ батюшка видѣлъ меня въ началѣ лѣта. Тогда я былъ худъ послѣ болѣзни. Теперь поздоровѣлъ.

— А я вѣдь съ вами родня, проговорила дѣвушка.

Антонъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на нее.

— Ваша теть крестила меня, пояснила дѣвушка. — Это вѣдь не близкая родня?

— Все равно какая,—все-же родня! засмѣялся Антонъ, допивая молоко.

— Хотите еще? спросила его дѣвушка.

— Благодарю. Вы меня отлично накормили.

— А если-бы отецъ былъ дома, вотъ-то забѣгалъ-бы! засмѣялась дѣвушка. — Разъ, знаете, ваша теть прѣхала,—она только разъ и была у насъ,—такъ отецъ не зналъ, что и дѣлать, совсѣмъ засуетился. Подставилъ вашей тетѣ стулъ, она сѣсть хотѣла, онъ увидѣлъ, что на стулѣ пыль, и ну стирать ее рукою, теть ваша не замѣтила и сѣла ему на руку.

Дѣвушка звонко засмѣялась.

— Вы не скучаете здѣсь? спросилъ Антонъ.

— Объ чемъ? въ свою очередь, спросила она.

Антонъ не зналъ, что сказать.

— Въдѣ здѣсь нѣтъ общества, однообразіе, никакихъ развлеченій, началъ онъ пояснять, путаясь и не находя словъ.

Дѣвушка смотрѣла на него съ удивленіемъ. Она родилась въ этомъ домѣ и никогда еще не выѣзжала изъ него нигуда, кромѣ близкихъ сосѣдей.

— Вотъ когда тетя Оля умерла, мнѣ было скучно. Теперь насъ только трое: отецъ, тетя Катя и я.

— А гдѣ-же ваша тетушка?

— Тетя Катя? Она къ попадѣ ушла въ Чудово, тамъ сегодня именины. Я съ отцомъ вечеромъ тоже пойду туда. Тамъ теперь у отца Василья семинаристы гостятъ... Вотъ-то неужелюбіе и смѣшныя! Догоняютъ меня въ горѣлкахъ и кричатъ: „Ты, братъ, погоди, я тебя поймаю“, проговорила Маруся, стараясь произносить слова басомъ и ударяя на о.—Только они очень добрые и умные. Они меня все учатъ лѣтомъ.

Въ это время въ дверяхъ показалась какая-то старуха, повязанная, по-деревенски, платкомъ.

— Марусенька, чай, пора на столъ собирать? вопросительно проговорила она.

— Да, няня, я сейчасъ, отозвалась дѣвушка.

— И мнѣ пора, проговорилъ Антонъ, взглянувъ на часы и неохотно поднимаясь съ мѣста; ему было какъ-то особенно хорошо сидѣть здѣсь на крыльцѣ и слушать простодушную болтовню этой дѣвочки.—Передайте мой поклонъ вашему батюшкѣ.

— Вотъ-то онъ будетъ жалѣть, что не видалъ васъ! замѣтила дѣвушка.

— Прощайте, Марья Владиміровна, сказалъ Антонъ, протягивая ей руку.

— Что это вы меня Марьей Владиміровной зовете, засмѣялась дѣвушка.—Меня всѣ Марусей зовутъ. Вотъ когда я невѣстой сдѣлаюсь, тогда будутъ Марьей Владиміровной звать.

— Ну, если позволите, то и я буду звать васъ Марусей, промолвилъ Антонъ съ улыбкой.

Молодые люди пожали другъ другу руки. Антонъ свистнулъ своему псу и направился по дорогѣ къ своему дому. Образъ этой дѣвочки не выходилъ у него изъ головы. Она была такъ не похожа на всѣхъ тѣхъ чопорныхъ и кокетливыхъ барышень, которыхъ онъ встрѣчалъ въ петербургскомъ обществѣ. Въ его памяти вѣзались

самыя мельчайшія подробности этой встрѣчи. Онъ вспоминалъ, какъ хороша была ея улыбка въ ту минуту, когда, едва ступая и боясь на каждомъ шагу расплескать молоко, Маруся несла ему слишкомъ переполненную кружку. Онъ припоминалъ наивное выраженіе удивленія на ея лицѣ, когда онъ спросилъ ее, не скучаетъ-ли она въ деревнѣ. Онъ слышалъ ея серебристый смѣхъ, раздававшійся во время ея разсказа о пріѣздѣ къ нимъ его тетки. Она казалась ему чуднымъ ребенкомъ.

Дня черезъ два онъ снова отправился на охоту и, уже не обращая никакого вниманія на дичь, направилъ свои шаги прямо къ дому Тузовыхъ. Пробираясь лѣсомъ къ Липовеѣ, онъ вдругъ услышалъ лай собаки и увидалъ шагахъ въ пяти отъ себя Волчка, вахластую собачонку, видѣнную имъ на дворѣ у Тузова. Собака не бросалась на него, но, стоя на одномъ мѣстѣ и добродушно виляя хвостомъ, какъ-то незлобиво тявкала, точно выражая, что она вовсе не сердится, а только исполняетъ свою обязанность. Антонъ позвалъ ее, но она не трогалась съ мѣста. Онъ сдѣлалъ шагъ впередъ и осмотрѣлся: сквозь вѣтви деревьевъ передъ нимъ мелькнуло что-то бѣлое.

— Это вы, Маруся? крикнулъ онъ.

— Не ходите, я одѣваюсь! раздался голосъ Маруси.—Я въ минуту буду готова.

Антонъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ противоположную сторону и присѣлъ на первый попавшійся пенъ. Минуть черезъ пять онъ услышалъ шорохъ и веселый лай прыгавшаго Волчка, видимо довольнаго, что его служебныя, сторожевыя обязанности окончились. Антонъ всталъ и обернулся: къ нему на встрѣчу шла Маруся, въ свѣтломъ ситцевомъ платьѣ, съ распущенными густыми волосами.

— Здравствуйте, Антонъ Павловичъ, проговорила она, протягивая ему руку.

— Какъ это вы купаетесь здѣсь однѣ? замѣтилъ онъ, пожимая ея руку.

— Да не съ вѣмъ! Тетя Катя не купается, увѣряетъ, что ее непременно ракъ ущипнетъ.

— Но развѣ вы не боитесь?

— Чего-же бояться?

— Мужчины могутъ придти.

— Я Волчка съ собою беру. Онъ дастъ знать, если кто-нибудь пройдетъ, я и закричу, чтобы не подходили.

— Да, но иной и не послушаетъ васъ.

— Какъ не послушаетъ? Ему-же будетъ стыдно, если не послушаетъ. Здѣсь вѣдь все свои.

— А вотъ я первый хотѣлъ не послушать и подойти, шутливо произнесъ Антонъ.

Маруся съ недоумѣніемъ посмотрѣла на него и какъ-то недовѣрчиво произнесла:

— Ну-у!

Антонъ сконфузился за свою шутку.

Молодые люди шли нѣсколько минутъ молча; въ лѣсу раздавался только лай Волчка, который лаялъ на каждую пролетѣвшую птицу.

— Такъ и видно, что не охотничья собака, засмѣялся Антонъ, увидавъ, что Волчокъ лаетъ при каждомъ перепархиваніи птицъ съ вѣтви на вѣтку.

— Это онъ самъ пріучился лаять на птицъ. Онъ у насъ умный, замѣтила Маруся.

— Ну, это еще не обозначаетъ его ума, если онъ на птицъ лаетъ.

— Нѣтъ, вы этого не говорите, горячо вступилась Маруся за свою собаку:—повуда Волчекъ не лаялъ на птицъ, вороны таскали у насъ цыплятъ, а теперь, когда онъ сталъ лаять на птицъ, вороны боятся прилетать на нашъ дворъ.

Молодые люди подошли къ дому. На этотъ разъ и тетя Катя, и самъ Тузовъ были дома. Хозяинъ и его сестра засуетились, не зная, куда посадить и чѣмъ угостить неожиданнаго гостя. Тетя Катя была полная, низенькая старушка, съ сѣдыми волосами, въ бѣломъ чепцѣ, въ темномъ шерстяномъ платьѣ съ бѣлыми полотняными нарукавничками и такимъ-же воротничкомъ. Она ходила съ перевальцемъ и потому Маруся назвала ее „уточкой“. Она напоминала не то акуратную старую классную 'даму, не то добродушную сестру милосердія, отдыхавшую послѣ трудныхъ походовъ. Антонъ замѣтилъ сразу, что и отецъ, и тетка души не слышатъ въ Марусѣ. Онъ подмѣтилъ, какъ горячо поцѣловала Маруся тетеу, какъ тайкомъ поднесла къ губамъ руку отца, какъ онъ поцѣловалъ ее въ лобъ. Всѣ эти ласки были просты и естественны.

Антону сдѣлалось не то завидно, не то грустно при видѣ ихъ. Отношенія этой семьи вѣяли какимъ-то теплымъ миромъ и задушевностью; самое ихъ жилище поражало съ перваго взгляда уютностью и затишьемъ. Смотри на свѣтлую гостиную, на чистую, небогатую мебель, на бѣлыя тюлевныя занавѣски, на массу недорогихъ цвѣтовъ на окнахъ, Антонъ невольно замѣтилъ хозяину:

— Какъ у васъ здѣсь уютно!

— Да, это Марусино гнѣздышко! отвѣтилъ, широко улыбаясь, старикъ.— Я вѣдь, батюшка, Антонъ Павловичъ, былъ лѣтъ шестнадцать тому назадъ бѣднымъ полковымъ лекаришкой, а вотъ какъ настало время родиться Марусѣ—у меня и умеръ какой-то троюродный дядя. Я почти и не зналъ о его существованіи и вдругъ получаю извѣстіе, что такъ и такъ, мнѣ достается наслѣдство—эта самая Липовка. Съ неба свалилось. Вышелъ я это въ отставку и рѣшилъ съ женою, что это Богъ посылаетъ на нашего будущаго ребенка. Когда родилась Маруся, мы на нее и порѣшили записать имѣньице. Это вѣдь ея приданое. Тоже не бѣдная невѣста. Хе, хе, хе!

Старикъ вздохнулъ и замигалъ глазами.

— Только съ этой поры я и жить началъ, а то всего натерпѣлся въ былые годы, всего. Извѣстно, какъ и теперь живетъ бѣднымъ-то людямъ. А тогда, батюшка, еще круче приходилось. Суровая была пора... Вонъ тоже посмотрите на сестрицу, проговорилъ онъ, понизивъ голосъ и указывая глазами на удалявшуюся изъ комнаты тетю Катю,—толстенькая она, розовая старушка, а спросите, что она пережила? Тридцать лѣтъ гувернанткой третьяго сорта съ музыкой числилась, не хуже меня походы совершала. Нынче въ Оренбургъ ее судьба занесетъ, завтра въ Вологду, а потомъ хоть подъ открытымъ небомъ ночуй—скитальческая жизнь у нея была. Ужь я ее звалъ, звалъ жить къ себѣ, такъ нѣтъ,—бывало, пишетъ: „вамъ, братецъ, и безъ меня не легко концы съ концами сводить, а я, покуда я въ силѣ, дарового хлѣба ѣсть не хочу“. Только когда моя покойница жена, а ея сестра Ольга Петровна умерла, тогда мнѣ и удалось уговорить Катерину Петровну поселиться у насъ, такъ-какъ она уже просто дѣлалась необходимою въ домѣ. Ну и согласилась она, слава-богу. Вотъ теперь и отдохнула въ своей семьѣ, поздоровѣла, точно десятокъ лѣтъ съ

плечь скинула... Она вѣдь у меня и Марусю учить, — женщина она знающая, умная...

Старикъ говорилъ просто, безъ лишней горечи, безъ жалобъ на судьбу, но Антонъ понималъ, что люди, стоявшіе теперь передъ нимъ, прошли тяжелый жизненный путь. Эти люди влекли его къ себѣ неодолимою силою. Когда ему нужно было оставить ихъ и идти домой, ему стало тяжело.

— Заходите, когда будете въ нашей сторонѣ, говорилъ ему старикъ Тузовъ на прощаньи.

— Непремѣнно, непременно, отвѣтилъ Антонъ, пожимая руки хозяевъ.

Съ этой поры Антонъ сдѣлался постояннымъ, хотя и недолгимъ гостемъ Тузовыхъ. Онъ часто уходилъ изъ дому часовъ въ одинадцать утра и пропадалъ до четырехъ часовъ; иногда онъ объявлялъ послѣ обѣда дома, что онъ не-такъ-здоровъ и потому пролежитъ въ своей комнатѣ до чаю, и тайкомъ, замкнувъ свою комнату, ускользалъ къ Тузовымъ на весь вечеръ. Онъ обманывалъ и нѣмца учителя, жившаго въ то время въ ихъ домѣ, и мать, и этотъ обманъ пробуждалъ въ немъ странныя чувства: то ему было весело, какъ ребенку, что онъ проводитъ за ночь своихъ тюремныхъ сторожей, своихъ аргусовъ, то его грызла мысль о томъ, что онъ долженъ обманывать мать даже въ такихъ пустякахъ, какъ дѣло о его новомъ знакомствѣ. Но его отлучки, должно быть, не остались вполнѣ незамѣченными. Какъ-то разъ княгиня замѣтила ему:

— Антонъ, ты нынче слишкомъ много ходишь.

Онъ вспыхнулъ и отвѣчалъ вопросомъ:

— Неужели ты хочешь, чтобы я и лѣтомъ сидѣлъ въ четырехъ стѣнахъ?

Мать не безъ удивленія вслушивалась въ нѣсколько рѣзкій тонъ его голоса.

— Отъ тебя никто не требуетъ этого, но излишняя ходьба можетъ повредить твоему здоровью, ты и безъ того такъ слабъ, замѣтила она.

— Ахъ, что мое здоровье! Оно и безъ того на-столько убито, что хуже не можетъ сдѣлаться, нервно произнесъ онъ.

Мать пристально посмотрѣла на него: она все болѣе и болѣе начинала въ послѣднее время замѣчать, что въ отношеніяхъ къ ней сына является нѣчто необычайное, непривычное, новое. Теперь, казалось, ей хотѣлось прочесть на его лицѣ все то, что дѣлалось въ его душѣ. Но эта душа была для нея уже съ давнихъ поръ, а можетъ быть и всегда, непроницаемою тайной. Мать замѣчала только, что, дѣйствительно, ея сынъ могъ-бы быть полнѣе, что у него играетъ на щекахъ слишкомъ лихорадочный румянецъ, что его грудь крайне мало развита, что въ его движеніяхъ, въ его голосѣ черезчуръ много нервности.

— Развѣ ты нездоровъ? спросила она, не спуская съ него глазъ.

— Нѣтъ, односложно отвѣтилъ онъ.

— Но ты становишься какимъ-то нервнымъ, замѣтила мать.

— Потому что мнѣ скучно, произнесъ онъ кратко, но отчетливо.

Онъ всталъ и ушелъ въ свою комнату, а мать въ недоумѣніи проводила его глазами. Она не понимала, какъ можетъ скучать князь Антонъ Павловичъ Грачовъ. Она сама никогда не испытывала этого чувства, какъ не испытывала никогда гнетущаго горя, ни мрачнаго сомнѣнія въ самой себѣ, ни убійственныхъ угрызений совѣсти. Она считала-бы унижительными для своего достоинства всѣ подобныя чувства. Она была вполне довольна собой и своею судьбою. Она сознавала, что она стоитъ очень высоко въ обществѣ, что на ней не лежитъ ни одного пятна, что она не можетъ никогда пасть, что она пройдетъ вплоть до могилы среди почета, довольства и счастья. Она сознавала въ то-же время, что она приноситъ жертву страждущему и плачущему человечеству, засѣдая въ благотворительныхъ обществахъ, раздавая сотни рублей на поддержаніе неимущихъ, переписываясь съ филантропами объ устройствѣ баловъ и лотерей въ пользу меньшихъ братій. Она могла застраховать себя отъ скуки уже однимъ созерцаніемъ своего собственнаго счастья, своего величія, своихъ достоинствъ. И вдругъ она слышитъ отъ своего сына, что ему „скучно“. Но развѣ она, княгиня Аврора Федоровна Грачова, не приложила всѣхъ стараній „чтобы поставить своего сына на высоту его положенія“? Развѣ онъ не знаетъ, что она приготовила его къ тому, чтобы онъ могъ проходить жизненный путь, какъ проходила этотъ

путь она, среди того-же довольства, почести и сознанія своихъ собственныхъ добродѣтелей? Развѣ можетъ скучать человѣкъ, когда и онъ доволенъ собою, и всѣ люди довольны имъ?

— Нѣтъ, онъ нездоровъ! рѣшила она. — И откуда эта нервность? Отъ меня? Но развѣ я не умѣю владѣть собою, развѣ я не приложила всѣхъ стараній, чтобы не походить на тѣхъ нервныхъ мѣщанокъ, которыя хнычутъ при каждомъ удобномъ случаѣ, чтобы возбудить въ себѣ жалость? Отъ князя?

При этой мысли по ея лицу скользнула презрительная улыбка: князь былъ глухъ, слѣпъ, сонливъ, — это былъ скорѣе ходячій манекенъ, чѣмъ человѣкъ съ нервами.

— Ужъ не отъ княжень-ли? раздумывала она. — Эти пошлыя институтки дѣйствительно сантиментальны. Но вѣдь я такъ тщательно старалась удалить Антона отъ ихъ вліянія. Не начать-ли его лечить? Или оставить его на свободѣ, пусть онъ гуляетъ, воздухъ укрѣпитъ его нервы, пусть онъ ходитъ къ... — Княгиня чего-то не договорила и вздохнула. — Да, это самое лучшее.

Княгиня подошла къ окну и безцѣльно устремила глаза въ даль. Въ ея головѣ смутно появилась какая-то странная для нея мысль, — мысль, которой, повидимому, даже не могла допустить княгиня.

— Онъ какъ-будто охладѣлъ ко мнѣ, думала она.

И эта мысль, явившаяся помимо воли княгини, была такъ странна для нея, что она пожала плечами и усмѣхнулась.

— Нѣтъ, нервность, должно быть, прилипчива, проговорила она. — Онъ заразилъ и меня.

Въ это время раздался легкій стукъ въ дверь кабинета.

— Войдите, отозвалась княгиня, машинально проводя рукой по лбу.

Въ комнату вошелъ баронъ фон-Тифензее.

— На что это вы смотрите? спросилъ онъ, подходя къ княгинѣ и взглянувъ въ окно.

— Такъ, мечтаю, улыбнулась княгиня.

Баронъ удивился и глубокомысленно усмѣхнулся.

— Вы мечтали? переспросилъ онъ и подумалъ, что княгиня просто не хочетъ сказать, на что она засмотрѣлась: онъ не могъ допустить даже мысли, что она станетъ глядѣть въ окно безъ цѣли, и еще менѣе вѣрилъ въ то, что княгиня можетъ мечтать.

— У меня, баронъ, отыскались нервы, замѣтила она съ той-же загадочной улыбкой.

— Нервы? переспросилъ баронъ съ недоумѣніемъ и нѣсколько обезпокоился.

Ему почему-то показался не безопаснымъ новый, голубоглазый и черезчуръ скромный учитель музыки, жившій въ домѣ княгини. У этого учителя были такіе шелковистые кудри, которые онъ постоянно такъ граціозно отбрасывалъ рукою назадъ.

„Нервы! думалъ баронъ;—знаю я, отчего могутъ у женщины этихъ лѣтъ отыскаться нервы“.

Онъ озабоченно взглянулъ въ лицо княгини и взялъ ея руку.

— Но надѣюсь, что не случилось ничего особеннаго? спросилъ онъ тѣмъ тономъ, которымъ спрашиваютъ дѣти: „мама, ты на меня не сердись?“ и поднесъ ея руку къ губамъ.

Баронъ почему-то напоминалъ въ эту минуту очень большую и породистую собаку, поджавшую подъ себя хвостъ.

— О, ничего! тоже не безъ удивленія отвѣтила княгиня, не знавшая, до какихъ предѣловъ можетъ простираться въ критическихъ обстоятельствахъ сообразительность барона.

Баронъ осторожно навелъ рѣчь на новаго учителя музыки.

— Онъ напоминаетъ амуровъ на плохихъ картинахъ, замѣтила княгиня.

Баронъ вздохнулъ свободнѣе: ему, повидимому, не грозила отставка отъ должности, а все остальное до него нисколько не касалось. Онъ принялъ снова свой строгій и полный достоинства видъ.

Антонъ никогда не зналъ беззавѣтной дѣтской веселости, безпечныхъ дѣтскихъ игръ. Шотландскіе, матросскіе, англійскіе и тому подобные дорогіе и модные, въ сущности шутовскіе костюмы стѣсняли его въ дѣтствѣ. Въ нихъ было ему несвободно и неловко, онъ то боялся измять плетеные воротнички, то опасался запачкать бархатныя курточки. Иногда онъ игралъ съ дѣтьми барона въ воланы, въ серсо, въ обручи, но игралъ подъ надзоромъ гувернантокъ и гувернеровъ, чинно, скучно, точно по обязанности. Рѣзкія

движенія, слишкомъ громкій смѣхъ,—все это вызывало замѣчанія. Лазить по деревьямъ было неприлично, ходить по влажной травѣ было нездорово, поиграть съ дѣтьми другого круга было совсѣмъ невозможно. Подъ этимъ гнетомъ даже языкъ Антона не походилъ на языкъ его предковъ, изобиловавшій чисто-народными оборотами рѣчи, чисто-русскими словами. У Антона не было ни бойкости, ни размашистости рѣчи; иногда онъ долженъ былъ подыскивать выраженія и говорилъ вяло, необразно, немѣтко.

Но какъ-бы ни душилось кодексомъ приличій и надзоромъ разныхъ гувернантокъ и гувернеровъ желаніе искренней веселости и свободы, оно все-таки не было убито въ душѣ мальчика. Какъ-то инстинктивно, чутьемъ угадывалъ онъ, что не всѣ живутъ такъ скучно, какъ онъ.

Теперь, уже юношею, онъ увидалъ нѣсколько ближе, какъ живутъ другіе люди. Онъ слышалъ отъ Маруси, что у отца Василя въ Чудовѣ молодежь играетъ въ горѣлки, въ пятнашки, въ прятки, танцуетъ, наряжается на святкахъ. Онъ узналъ, что у управителя въ томъ-же селѣ иногда зимою два-три дня подрядъ идутъ пиры, на которыхъ несмолкаемо звучитъ говоръ, смѣхъ и шумъ. Онъ, наконецъ, самъ раза два-три засталъ у Тузовыхъ нѣсколькихъ молодыхъ людей и эта молодежь шумѣла, смѣялась, бѣгала, играла. Онъ присоединялся къ ней и часъ, два проводилъ такъ, какъ не проводилъ никогда. Въ юношѣ проглянулъ ребенокъ. Посѣщая Тузовыхъ, Антонъ сталъ бѣгать и дурачиться съ Марусей, какъ малое дитя. Ему было весело, когда она пряталась отъ него въ саду, когда она кричала ему, что онъ ее не поймаетъ, когда она съ какой-нибудь подругой заставляла его „горѣть“ или завязывала ему глаза, играя въ жмурки. И среди этихъ минутъ беззаботнаго веселья онъ вдругъ дѣлался тревоженъ, смотрѣлъ на часы и спѣшилъ удалиться. У него было свое memento mori—необходимость во время возвратиться домой—и это memento mori отравляло всякое веселье.

Какъ прошелъ конецъ лѣта—Антонъ самъ не могъ отдать себѣ въ этомъ отчета. Это былъ сладкій сонъ, это было возвращеніе дѣтства, но не того, которое пережилъ онъ, а того, которое онъ могъ-бы пережить при другой обстановкѣ, при другихъ условіяхъ. Ему было очень тяжело въ тотъ день, когда онъ долженъ былъ сказать Тузовымъ:

— Прощайте, до будущаго лѣта!

Въ городѣ настала для него обычная скучная жизнь съ выѣздами въ то время, когда хотѣлось-бы сидѣть одному за книгой, съ уроками музыки и пѣнія въ тѣ часы, когда хотѣлось-бы погулять, съ катаньемъ по Дворцовой набережной въ ту пору, когда хотѣлось-бы пройтись пѣшкомъ, и съ чиннымъ хожденіемъ около четвертаго часа по одной и той-же дорожкѣ Лѣтнаго сада, когда являлось желаніе умчаться куда-нибудь за городъ. Эта жизнь, въ которой люди дѣлаютъ то, что принято, а не то, что имъ правится; эти колодки, безъ всякой нужды и необходимости надѣваемые людьми на себя ради приличій; эта холопская, рабская трусость передо всѣмъ оригинальнымъ, свободнымъ, самостоятельнымъ, невнесеннымъ въ кодексъ условныхъ правилъ свѣтской жизни,—все это тяготило Антона, надоѣдало ему, разстраивало его нервы.

— Я, право, не знаю ничего скучнѣе этихъ прогулокъ въ Лѣтнемъ саду по одной и той-же дорожкѣ, говорилъ онъ матери, приѣзжая въ Лѣтній садъ.—Всѣ точно бѣлки въ колесѣ кругомъ вертятся.

— Сюда не для веселья ѣздить, а для моціону, замѣчала мать.

— Хорошъ моціонъ! Всѣ, точно сонныя мухи, едва двигаются.

— Нельзя-же бѣгать.

— Но моціонъ только тогда и полезенъ, когда движенія быстры. Я думаю, что если кто-нибудь придумаетъ, что свѣтскимъ людямъ слѣдуетъ по часу стоять на одной ногѣ на Дворцовой набережной, то мы и всѣ наши знакомые сейчасъ-же послѣдуютъ этому правилу.

— Ты еще совсѣмъ мальчикъ и тебѣ рано разсуждать, что хорошо, что дурно.

— Странно: когда я начиналъ рѣзвиться, ты говорила, что я уже не мальчикъ, что я уже взрослый и потому долженъ вести себя серьезно; когда-же я начинаю высказывать свои мысли, ты находишь, что я еще почти мальчикъ.

Съ каждымъ днемъ подобные разговоры между матерью и сыномъ происходили все чаще и чаще. Когда-то Антонъ считалъ несомнѣнною истинною каждое слово матери, теперь онъ старался уловить въ самыхъ вѣрныхъ ея сужденіяхъ долю неправды, непо-

слѣдовательности и лжи. Ему доставляли особенное удовольствіе тѣ минуты, когда мать не находилась, что отвѣчать на его возраженія; такъ пріятно бываетъ подавленному школьнику указать своему строгому учителю на сдѣланную послѣднимъ ошибку. Отъ холопства одинъ только шагъ къ самодурству, и превращеніе Подхалюзина въ Тита Титыча вполне естественно.

Антонъ переживалъ именно такое переходное время. Ему хотѣлось порвать помочи, протестовать. Но подобно всѣмъ, лишеннымъ самостоятельности людямъ, онъ не могъ на первыхъ порахъ придумать какой-нибудь серьезный планъ своего полного освобожденія отъ гнета, а тратилъ свои силы на мелочные и жалкіе протесты, которые въ сущности не могли улучшить его положенія, а только раздражали Аврору Федоровну. Такъ онъ сталъ отказываться отъ нѣкоторыхъ официальныхъ визитовъ, прогулокъ и вечеровъ. Онъ сталъ небрежнѣе одѣваться. Онъ сталъ вслухъ смѣяться надъ тѣми мелочами свѣтскаго этикета, которыя были дороги и святы княгинѣ. Онъ даже попробовалъ сойтись съ нѣсколькими студентами другого круга. Княгиня съ ужасомъ узнала, что у ея сына тогда-то и тогда-то были въ гостяхъ какіе-то оборванцы. Одинъ разъ она встрѣтила своего сына на Дворцовой набережной, въ обществѣ такихъ оборванцевъ. Это окончательно возмутило ее.

— Антонъ, кто это былъ сегодня съ тобою? спросила она сына за обѣдомъ послѣ этой встрѣчи.

— Мои товарищи, отвѣтилъ Антонъ.

— Я тебя попрошу быть разборчивѣе въ выборѣ товарищей, замѣтила мать. — Ты долженъ...

— Сойдись съ Пьеромъ Ломакинымъ и Жоржемъ Задонскимъ? перебилъ сынъ. — Они, можетъ быть, очень милые кутилы, но, къ сожалѣнію, вино вредно дѣйствуетъ на мое здоровье, да у меня и нѣтъ такихъ карманныхъ денегъ, на которыя я могъ-бы кутить съ ними.

— Тебѣ никто не совѣтуетъ сходитьсь съ этими развратниками, строго возразила мать, — но я также не допущу тебя сходитьсь Богъ знаетъ съ какими подозрительными и двусмысленными личностями.

— Въ такомъ случаѣ ужь не лучше-ли мнѣ выйдти изъ университета? нервно засмѣялся сынъ. — Вѣдь позволишь ты или не позволишь мнѣ сходитьсь съ этими личностями, а я все-таки въ

университетѣ буду сидѣть съ ними рядомъ, пожимать имъ руки, объѣживаться съ ними лекціями... Или ты сама будешь ѣздить со мною на лекціи, чтобы отстранять отъ меня паршивыхъ овецъ?

Княгиня нетерпѣливо пожала плечами.

— Да, но я не позволю... начала она.

— Ходить имъ изъ университета рядомъ со мною? Кланяться мнѣ на улицѣ? засмѣялся своимъ болѣзненнымъ смѣхомъ сынъ.

— Я не позволю имъ ходить въ мой домъ, рѣзко произнесла мать.

— Тѣмъ хуже. Мнѣ придется самому ходить въ ихъ углы за записками, за справками, и увѣряю тебя, что я буду ходить къ нимъ.

— Что у тебя за тонъ? строго посмотрѣла Аврора Федоровна на сына.

— Это твой тонъ, смѣялся Антонъ. — Ты-же всегда желала, чтобы я походилъ на тебя. Или теперь тебѣ хочется, чтобы я былъ похожъ на тѣхъ слезливыхъ институтокъ, на которыхъ ты всегда глядѣла съ презрѣніемъ?

Антонъ очень недвусмысленно указалъ матери глазами на потокъ. Аврора Федоровна сдѣлалась блѣднѣе обыкновеннаго.

— Разъ и навсегда я тебя попрошу избавить меня отъ подобныхъ сценъ, глухо, но отчетливо произнесла она.

— Можетъ быть, и отъ моего присутствія? бросилъ ей вопросъ сынъ.

Княгиня закусила губы, но сынъ не унимался.

— Что-жь, я попрошу пріюта на половинѣ отца, смѣялся онъ.

Старикъ-князь ничего не отвѣтилъ на это, потому что онъ слышалъ только шумъ и созерцалъ одну и ту-же точку.

Княгиня обратилась къ барону и начала другой разговоръ. Въ глубинѣ души она съ ужасомъ начинала сознавать, что ей страшны эти мелкія сцены. Покорить этого отбивавшагося отъ рувъ „мальчика“ она не умѣла; она чутьемъ угадывала, что у нея нѣтъ той нравственной силы надъ нимъ, которая заставила-бы его по-прежнему преклониться предъ нею. У нея были въ рукахъ только крутыя мѣры — угрозы выгнать его изъ дома, лишить наслѣдства, отречься отъ него. Но это значило не только сдѣлать скандалъ, но и потерять въ глазахъ свѣта значеніе пріятной матери, вос-

питавшей примѣрнаго сына. Что скажутъ, когда узнаютъ, что она не умѣла сдѣлать порядочнымъ человѣкомъ свое единственное дитя? Не лучше-ли на нѣкоторое время дѣлать видъ, что она не видитъ странностей сына? Онъ еще почти мальчикъ, онъ уходится, успокоится, его легко ублажить большею щедростью, потѣшить призракомъ большей свободы. Княгиня рѣшилась поступать именно такъ. До одного только не могла никакъ додуматься княгиня — до того, что тѣ колодки, которыя называются свѣтскою жизнью, свѣтскими требованіями, свѣтскими приличіями, могутъ выноситься только тогда, когда у людей притупится всякая чувствительность. Эти колодки можно выдерживать такъ, какъ выдерживаютъ розги тѣ дѣти, которыхъ сбькутъ ежедневно. Молодыя-же и свѣжія природы непремѣнно болѣзненно почувствуютъ весь гнетъ этихъ колодокъ и поспѣшатъ вырваться изъ нихъ такъ или иначе. Отсюда идутъ тѣ безобразныя кутежи съ Сюзетками и Камилками, тѣ безумныя траты денегъ, тѣ поддѣлки векселей, тѣ скандалы судебныхъ преслѣдованій противъ измощенничавшихся юношей, тѣ малодушныя слезы безхарактернаго и неразвитаго кутили-подсудимаго, который, можетъ быть, еще вчера нагло давилъ рысакомъ тѣхъ-же людей, передъ которыми онъ не смѣетъ громко говорить на судъ, передъ которыми онъ плачетъ, рассказывая о своихъ мошенническихъ продѣлкахъ. Правда, потомъ эти люди остепеняются иногда и добровольно надѣваютъ на себя старыя колодки. Но періодъ стремленія къ свободѣ переживается ими всѣми. Антонъ пережилъ его тоже, но въ другой формѣ. Если-бы у него были пріатели съ дѣтства, если-бы у него было много карманныхъ денегъ, — изъ него вышелъ-бы одинъ изъ тѣхъ ограниченныхъ шалопаевъ большого свѣта, которыхъ мы встрѣчаемъ ежедневно на Невскомъ пр., на набережной Невы, въ первыхъ рядахъ кресель, на пикникахъ въ „Ташкентѣ“, у Бореля, въ Татарскомъ ресторанѣ, въ ложахъ Сюзетъ и Камиль, наконецъ, въ игрѣ, даже гдѣ есть рулетки, и даже на скамьѣ подсудимыхъ за содержаніе этихъ рулетокъ, за фальшивыя подписи на векселяхъ, за поддѣлку духовнаго завѣщанія.

Такъ протянулось время до весны.

Весною Антонъ былъ снова въ деревнѣ. Конечно, первую его мыслью была мысль о посѣщеніи Тузовыхъ. Встрѣча съ этою семьею была самая искренняя, самая теплая. Маруся радовалась отъ всей души.

— Ну вотъ я и опять дышу свободно, говорилъ Антонъ, сидя на крыльцѣ ихъ дома и любуясь на залитый солнечнымъ свѣтомъ дворъ. — Какъ вы жили, что дѣлали, Маруся?

Маруся принялась рассказывать. Это былъ цѣлый потокъ деревенскихъ новостей. У чудовскаго управителя на святкахъ былъ вечеръ съ ряженными; во время гаданья Марусѣ вышло, что она выйдетъ замужъ за Дормидонта; бѣдненькая тетя Катя была двѣ недѣли больна; Волчка чуть не загрызъ волкъ; у Маруси въ эту зиму училось десять человѣкъ крестьянскихъ дѣтей; сама Маруся готовится къ университетскому экзамену. Всѣ эти новости лились одна за другою; сопровождались смѣхомъ или печальнымъ вздохомъ. Антонъ слушалъ и не могъ наслушаться, не могъ насмотрѣться на лицо Маруси. Оно стало еще прекраснѣе. Антону самому показалось какъ-то странно, что онъ въ прошломъ году вовсе не обращалъ вниманія на красоту Маруси, а теперь, напротивъ того, ему прежде всего бросилась въ глаза эта красота.

— Ну, мы будемъ опять гулять по-прежнему? спросилъ онъ.

Маруся почему-то покраснѣла и, взглянувъ вопросительно на отца и на тетку, проговорила:

— Я думаю ни папа, ни тетя не запретятъ этого.

Когда она встала, Антонъ замѣтилъ, что у нея новое платье было длиннѣе прошлогоднихъ платьевъ.

Маруся переживала тотъ чудный періодъ жизни, когда дѣвочка становится взрослой. Иногда она рѣзвилась, какъ дитя; иногда она начинала горячо спорить о серьезныхъ вопросахъ. Порою она безъ умолку болтала о „смѣшныхъ семинаристахъ“, сыновьяхъ отца Василя; порой она съ увлеченіемъ говорила о тѣхъ книгахъ, которыя она прочла съ ними на Рождествѣ и на Свѣтой въ прошлую зиму. Разъ какъ-то Антонъ засталъ ее бѣгающею въ горѣлки съ подругами; въ другой разъ онъ увидалъ Марусю сидящею на крыльцѣ въ обществѣ молодежи и слушающею, какъ читалъ вслухъ одинъ изъ сыновей отца Василя.

— Садитесь, шопотомъ сказала Маруся Антону, пожимая ему руку. — Вотъ-то чудесная книга!

Семинаристъ читалъ „Дѣтство и отрочество“ графа Льва Толстого, одно изъ искреннѣйшихъ произведеній, сильно дѣйствующихъ на молодыхъ, свѣжія сердца.

Какъ-то разъ, подходя къ дому Тузовыхъ, Антонъ встрѣтилъ на дорогѣ Марусю. Она почти бѣжала съ озабоченнымъ лицомъ и съ какими-то свертками въ рукахъ.

— Куда вы, Маруся? окликнулъ ее Антонъ.

— Ахъ, это вы, торопливо проговорила она. — Петя Сысоевъ ранилъ себя. Нужно помочь. Пойдемте.

Антонъ послѣдовалъ за нею.

— Какая досада, ни отца, ни тети Бати нѣтъ дома. Отецъ лучше меня умѣетъ дѣлать перевязки, говорила она. — И вѣдь нужно-же было случиться такому несчастію въ такое время. Работы теперь у всѣхъ по горло, а у Сысоевыхъ только и работниковъ, что сама Дарья да Петя.

Черезъ нѣсколько минутъ Антонъ и Маруся дошли до избы Сысоевыхъ. Въ избѣ столпились въ углу испуганныя дѣти; хозяйка, Дарья, стояла въ слезахъ около старшаго сына, лежавшаго на лавкѣ, и видимо не знала, что дѣлать. Раненый былъ блѣденъ отъ потери крови. Это былъ рослый парень лѣтъ пятнадцати, съ худымъ, но довольно симпатичнымъ лицомъ. Маруся быстро вошла въ избу и направилась къ больному. Рана, полученная имъ при паденіи съ сѣновала на какое-то заостренное желѣзо, находилась ниже колѣна, — это была разорванная, мучительная рана. Маруся, какъ опытный докторъ, принялась за перевязку и выказала энергію, которой и не подозрѣвалъ въ ней Антонъ. Ему было странно видѣть эту дѣвушку, эту барышню, обмывавшую кровь съ обнаженной ноги простого крестьянскаго парня и дѣлавшую очень искусно перевязку. Онъ не замѣтилъ на лицѣ Маруси ни страха, ни брезгливости. Она просто была озабочена и серьезно занята своимъ дѣломъ. Только когда мальчикъ стоналъ отъ боли, она съ сожалѣніемъ бросала взглядъ на него и шептала:

— Потерпи, Петя, я сейчасъ кончу. Это пройдетъ.

Черезъ нѣсколько минутъ перевязка была окончена.

— Отецъ зайдетъ къ вамъ, какъ только пріѣдетъ съ работы, сказала она Дарьѣ. — А ты теперь усни, Петя, да не шевелись покуда.

— Благодарствуйте, матушка-барышня, говорила Дарья. — Ужь я и не знаю, что-бы я стала дѣлать безъ васъ.

— Хорошо, хорошо, ты не бойся. Это скоро пройдетъ. Работы-то теперь, я думаю, у тебя много.

— Нѣтъ, почитай-что все поукуда передѣлали...

— На огородѣ еще одна грядка не засажена, около болотинны, тихо произнесъ больной.

— Ну ее! И безъ нея кое-какъ обойдемся, замѣтила Дарья. — Сами знаете, что тамъ родится такъ ужь только не бросаемо эту самую грядку... а то что намъ въ ней...

— Все-же годится, шепталъ больной.

— Ну, прощайте, промолвила Маруся и вышла въ сопровожденіи Антона.

— Ахъ, если-бы отецъ былъ, онъ лучше-бы сдѣлалъ перевязку, говорила она дорогой. — Я первый разъ перевязывала сама такую серьезную рану. До сихъ поръ приходилось только мелкіе порѣзы лечить да помогать отцу при большихъ перевязкахъ.

— Вы, однако, сдѣлали перевязку, какъ опытный докторъ, замѣтилъ Антонъ.

— Да это не трудно. Мнѣ было только досадно, что я медленно это дѣлала, тогда-какъ отецъ сдѣлалъ-бы это мигомъ. Онъ молодець на это.

— И часто къ вамъ обращаются больные? спросилъ Антонъ.

— Да, у насъ здѣсь много людей болѣетъ, отвѣтила Маруся.

— Но развѣ они всѣ идутъ къ вамъ?

— Къ кому-же имъ идти? Отецъ вѣдь былъ когда-то врачомъ, я тоже могу отчасти помочь въ болѣзни. Отецъ многому научилъ.

— Я не думалъ, что вы такая рѣшительная.

— Какъ рѣшительная? съ недоумѣніемъ произнесла Маруся.

— Я не думалъ, что вы способны перевязывать раны.

— Да больше-же некому здѣсь этого сдѣлать. Матушка-попадья, жена управляющаго, — мы всѣ здѣсь лечимъ понемногу... А вы развѣ не лечите своихъ крестьянъ? Да, впрочемъ, у васъ лекарь есть въ домѣ...

Маруся на минуту смолчала и вдругъ обратилась къ Антону съ вопросомъ:

— А вы рады, что крестьянъ освободятъ?

Антонъ не вдругъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ: онъ, въ сущности, до сихъ поръ очень мало интересовался участью народа.

— Да, отвѣтилъ онъ черезъ минуту, — я радъ вообще за тѣхъ, кому удастся освободиться... Но вашъ батюшка, я думаю, не можетъ особенно радоваться освобожденію: это плохо отзовется на его денежныхъ дѣлахъ.

Маруся посмотрѣла съ удивленіемъ на Антона.

— Мой отецъ очень добрый человѣкъ, отвѣтила она. — Онъ и теперь живетъ на пенсію. Да у насъ и крестьянъ-то всего семь душъ...

Антонъ задумался: его мать объ эмансипаціи говорила съ худо скрытымъ неудовольствіемъ.

Среди этихъ, то серьезныхъ, то дѣтски-безпечныхъ разговоровъ и встрѣчъ съ Марусею Антонъ не столько слѣдилъ за смысломъ этихъ разговоровъ и за характеромъ этихъ встрѣчъ, сколько за самою Марусею. Съ каждымъ днемъ онъ все сильнѣе и сильнѣе увлекался ея красотой. Иногда онъ почти не спалъ по ночамъ, мечтая о ней. Порою всю ночь онъ видѣлъ ее во снѣ. Бывали минуты, когда онъ не слышалъ, не понималъ, что она говорила, и только впивался глазами въ это цвѣтущее лицо, въ эти дѣвственныя формы тонкаго и стройнаго стана, молодой груди, красивыхъ рукъ. Антонъ не только видѣлъ, что передъ нимъ стоитъ уже не прежняя наивная дѣвочка, но и чувствовалъ, что онъ самъ смотритъ на нее не прежними глазами, не какъ мальчигъ, а какъ юноша, впервые начавшій испытывать чувство любви. Сколько разъ прошлаго года онъ пожималъ ея руки, ловилъ ее за талью въ горѣлки, сталкивался съ нею лицомъ къ лицу, играя въ жмурки, и не обращалъ на это никакого вниманія. Теперь ему было особенно сладко пожать ей руку, взять ее подъ руку въ саду, сидѣть у ея ногъ на крыльцѣ и смотрѣть въ ея большіе, откровенные глаза. Все чаще и чаще ему хотѣлось быть съ ней наединѣ. Зачѣмъ? Развѣ у нихъ были тайны? Развѣ вдвоемъ они не говорили о томъ-же, о чемъ говорили при другихъ? Въ прошломъ году у нихъ почти не было предметовъ для разгово-

ровъ; они просто рассказывали другъ другу свои дѣтскія впечатлѣнія. Теперь они много толковали, горячо спорили, часто расходились въ мнѣніяхъ. Въ прошломъ году, возвращаясь отъ Маруси, Антонъ думалъ:

— У нихъ, право, гораздо веселѣе, чѣмъ у насъ.

Теперь, медленно проходя по дорогѣ изъ Липовки въ Грачовку, онъ думалъ:

— О, если-бы она была моею! Она такъ хороша собою. Она такъ добра, искренна. Она неспособна ни тиранить, ни лгать. Я былъ-бы съ нею счастливъ.

Бывали минуты, когда Антонъ, возвращаясь отъ Маруси, былъ безотчетно веселъ, но бывали и такія минуты, когда онъ плакалъ, какъ ребенокъ. Первое пробужденіе любви въ нервныхъ людяхъ всегда бываетъ болѣзненно. Они то страстно вѣрятъ, то мучительно не вѣрятъ въ свое счастье. Они создаютъ себѣ причины для страданія: улавливаютъ холодный взглядъ, насмѣшливое слово, случайную невнимательность любимаго существа — и мучаются. Они забѣгаютъ мысленно впередъ и терзаются Богъ знаетъ почему возникающимъ убѣжденіемъ, что имъ не удастся завоевать этого желаннаго счастья. Антонъ былъ именно такою болѣзненно-нервною личностью и, сверхъ того, у него были основательныя причины бояться за будущность своей любви, — у него была мать княгиня Аврора Федоровна Грачова.

Угадывала-ли Маруся, что онъ ее любитъ?

Богъ знаетъ: они никогда не говорили о любви. Но она задумывалась, когда Антонъ не являлся дня два; она краснѣла до ушей, когда онъ приходилъ, не выдавшись съ нею долѣе обыкновеннаго; иногда она, гуляя съ нимъ подъ руку по дорогѣ, вдругъ о чемъ-то задумывалась, не слышала, не видѣла ничего, и потомъ, опомнившись, вдругъ освобождала свою руку.

— Что съ вами, Маруся? спрашивалъ онъ удивленнымъ тономъ.

— Такъ, жарко... и рукѣ тяжело, въ смущеніи отвѣчала она.

Какъ-то Антонъ замѣтилъ ей:

— Мы точно братъ и сестра.

— Нѣтъ, мы люди разнаго круга, отвѣтила она.

— Но вы-же сами говорили прошлаго года, что мы родня.

— Я многого тогда не понимала.

Одинъ разъ, совершенно неожиданно, она спросила:

— Антонъ Павловичъ, ваша матушка знаетъ, что вы бываете у насъ?

Антонъ смутился и не могъ вдругъ отвѣтить, а Маруся смотрѣла на него такимъ взоромъ, предъ которымъ нельзя было лгать.

— Нѣтъ, отрывисто отвѣтилъ онъ.

— Я такъ и думала, просто произнесла Маруся.

Въ другой разъ Маруся мелькомъ замѣтила ему:

— Для чего вы скрываете отъ своей матери, что вы знакомы съ нашею семьей?

Антонъ не вдругъ могъ найти отвѣтъ.

— Я не скрываю... а просто къ слову не приходилось, проговорилъ, наконецъ, онъ.

Молодые люди помолчали.

— Я хотѣла-бы видѣть, каковы вы у себя дома, вдругъ произнесла Маруся.

Антонъ вздохнулъ, но промолчалъ. Ему повезалось, что въ голосъ Маруси слышалась иронія. „Неужели она подозреваетъ меня въ трусости?“ думалъ онъ.

Какъ-то они шли по лѣсу. Былъ жаркій июльскій день. Въ природѣ все точно дремало въ сладкой нѣгѣ. Въ лѣсу было тихо и вѣяло запахомъ смолы и цвѣтовъ. Молодые люди шли лѣниво и почти не говорили. Наконецъ, они вышли къ небольшой рѣчкѣ, почти ручью, съ крутымъ песчанымъ берегомъ, со старыми деревьями на берегу. Маруся сѣла на берегу, Антонъ легъ подлѣ нея. Она разбирала разложенные на платѣ цвѣты; онъ, полулежа, старался какииъ-то сухимъ сучкомъ преградить путь какому-то муравью. Ни онъ, ни она не говорили ни слова. Прошло съ четверть часа. Вдругъ Антонъ отбросилъ сучокъ, приподнялся на локтѣ и посмотрѣлъ въ глаза Марусѣ. Эти глаза, большіе, открытые, искренніе, ласково обратились къ нему. Антонъ схватилъ ея руки и припалъ лицомъ къ ея колѣнямъ. Маруся не отрывала рукъ, не отталкивала его. Потому онъ под-

нялся, сѣлъ около нея и обвилъ рукою ея талью. Дѣвушка преклонила голову къ его груди.

— Маруся, любишь-ли ты меня? шопотомъ спросилъ онъ.

Она подняла свою голову съ его груди, взглянула ему прямо въ глаза и быстро обвила руками его шею. Онъ цѣловалъ ея глаза, ея губы, ея руки.

— Пойдемъ, упавшимъ голосомъ прошептала она.

— Подожди, умолялъ онъ.

Она поднялась и пошла впередъ. Они уже доходили до конца лѣса.

— Теперь ступай домой. Я одна пройду, проговорила она, оборачиваясь къ нему.

— Одна?

— Да; прощай.

Онъ протянулъ ей руки, но она быстро взяла его за голову, поцѣловала его въ лобъ и, не оглядываясь, торопливо пошла впередъ.

Антонъ остался одинъ. Онъ и смѣялся, и плакалъ. Онъ любилъ. Маруся согласна быть его спутницей въ жизни.

А мать?

При этой мысли онъ торопливо взглянулъ на часы. Давно уже было время обѣда. Онъ поспѣшно освѣжилъ водою свое лицо и пошелъ домой. Когда онъ входилъ въ столовую, мать взглянула на него какъ-то странно. Бросились-ли ей въ глаза красные отъ слезъ глаза, поразило-ли ее впервые появившееся на лицѣ сына выраженіе счастья, показался-ли ей страневъ его слишкомъ поздній приходъ, — неизвѣстно. Но она видѣла что-то необычайное въ сынѣ.

— Антонъ, ты, вѣрно, спалъ въ лѣсу? неожиданно спросила она.

— Я? Нѣтъ... то-есть да, смутился онъ.

— Убилъ что-нибудь? спросила она.

— Я? вѣтъ!.. я... я не охотился, пояснилъ онъ.

Аврора Федоровна засмѣялась какъ-то странно.

— Ты сегодня преуморительный! Не правда-ли, баронъ? обратилась она къ барону. — Красные глаза, точно онъ плакалъ; сіяющее лицо, точно онъ видѣлъ сладкій сонъ, и смятые воротнички...

Антонъ вдругъ поблѣднѣлъ и какъ-то пугливо взглянулъ на мать, но она уже перемѣнила разговоръ.

— Каролина Карловна, какъ фамилія этихъ господъ, куда ходитъ Антонъ?

Съ этимъ вопросомъ обратилась княгиня на другой день утромъ къ своей ключницѣ, просматривая принесенные счеты. Еще прошлаго года Каролина Карловна рѣшилась намекнуть Аврорѣ Федоровнѣ, что Антонъ Павловичъ отдыхаетъ отъ охоты и отъ прогулокъ по лѣсу „въ одномъ дождѣ“. Но княгиня прервала начатую рѣчь словами: „Вы, кажется, не за этимъ пришли сюда. Я не люблю, когда говорятъ то, чего я не спрашиваю“. Теперь она припомнила это или, вѣрнѣе сказать, она и не забывала этого. Она очень хорошо знала, что Каролинѣ Карловнѣ извѣстно все, что нужно знать ей самой, княгинѣ. Каролина Карловна вообще собирала самыя разнообразныя свѣденія, чтобы имѣть возможность во всякое время отвѣчать на всевозможные вопросы княгини.

— Я, право... начала Каролина Карловна, какъ она начинала всегда, стремленіемъ показать, что ей ничего неизвѣстно, что она невинное, ничего незнающее существо.

— Я васъ спрашиваю про ихъ фамилію, повторила княгиня.

— Тузовы, произнесла, потупивъ глазки, Каролина Карловна и вдругъ быстро заговорила: — Старый господинъ — отставной лекарь, очень небогатый; у него живетъ старушка, сестра его покойной жены, eine alte Jungfer, бывшая прежде гувернанткой; дочери его семнадцатый годъ, очень красивая барышня...

— У васъ не выставлено, сколько доставлено съ фермы масла, замѣтила княгиня, переворачивая листъ счетной книги.

— Князь у нихъ каждый день бываетъ, продолжала Каролина Карловна, — и въ послѣднее время ихъ...

— Я спрашиваю, отчего у васъ не выставлено, сколько доставлено съ фермы масла? повторила княгиня.

Ее, повидимому, вовсе не интересовалъ вопросъ о какихъ-то Тузовыхъ. Каролина Карловна, по обыкновенію, скромно потупила глаза и начала отдавать хозяйственные отчеты.

Въ тотъ-же день княгиня пригласила Антона сдѣлать съ нею утромъ визитъ къ однимъ изъ сосѣдей, а вечеромъ, такъ-какъ во время поѣздки у нея разболѣлась голова, продержала его у себя въ кабинетѣ за чтеніемъ. На слѣдующій день, совершенно неожиданно для Антона, у нихъ былъ обѣдъ съ приглашенными гостями. Антонъ ходилъ эти два дня точно въ какомъ-то чадѣ. Онъ не могъ посѣтить Марусю, не могъ сдѣлать этого именно тогда, когда онъ сказалъ ей первое „люблю“, когда онъ узналъ, что онъ любимъ. Когда, на третій день, онъ былъ, наконецъ, свободенъ и могъ отправиться къ Тузовымъ, онъ былъ очень разстроенъ.

„Что подумаетъ Маруся? думалось ему.—Какъ она меня встрѣтитъ? Что скажетъ?“

Онъ засталъ Марусю одну. Она бросилась къ нему съ видимымъ волненіемъ.

— Я ужь думала, что ты болѣнь, прошептала она,—что ты... Богъ знаетъ, что я думала въ эти два дня.

— Я не могъ придти, проговорилъ Антонъ, цѣлуя ея руки.— Мать задержала...

Маруся пристально взглянула на него.

— Ты ей сказалъ? не безъ тревоги спросила она.

— Нѣтъ, она еще не знаетъ о нашемъ знакомствѣ, отвѣтилъ онъ.

— Зачѣмъ ты скрываешь это отъ нея?

Антонъ опять смутился.

— Ты не знаешь моей матери, грустно промолвилъ онъ.— Это женщина холодная, тщеславная, надменная... Она можетъ недоброжелательно взглянуть на наше знакомство.

Маруся задумалась.

— Можетъ недоброжелательно взглянуть на наше знакомство? повторила она въ раздумьи.— А какъ-же она взглянетъ на нашу любовь?

Антонъ поблѣднѣлъ.

— Я надѣюсь, началъ онъ въ замѣшательствѣ, — я подготовлю... надо на все время...

— Ты ее боишься? совершенно неожиданно спросила Маруся. Этотъ вопросъ былъ очень простъ. Маруся до сихъ поръ почти ничего не знала объ отношеніяхъ Антона къ матери и, мо-

жетъ быть, только потому предложила этотъ вопросъ. Но Антону послышалось въ немъ что-то такое, что укололо его. Ему почему-то показалось, что Маруся станетъ презирать его, узнавъ его отношенія къ матери.

— Не боюсь, но не желаю до времени вызывать разныхъ семейныхъ сценъ, проговорилъ онъ, краснѣя.

Молодые люди вышли изъ дома. Маруся сѣла на верхнюю ступеньку завѣтнаго крыльца.

— Развѣ мы не пойдѣмъ гулять? спросилъ Антонъ.

— Нѣтъ. Домъ нельзя оставить. Я одна, тетя Катя ушла на именины, отецъ на сѣнокосѣ. Нужно ждать его обѣдать, отвѣтила Маруся.

Антонъ сѣлъ на нижнюю ступеньку крыльца, около ногъ Маруси.

— А ты помнишь, какой сегодня день? спросила она, проводя рукой по его вьющимся волосамъ.

— Еще-бы! Сегодня годовщина нашей встрѣчи, проговорилъ онъ и поднесъ къ губамъ ея руку.

— Да, годъ, а сколько произошло перемѣнъ, задумчиво проговорила она.— Тогда мы походили на дѣтей, а теперь...

Она взглянула пристальнымъ, нѣжнымъ взглядомъ на Антона.

— Милый, начала она тихо,—давно я хотѣла спросить тебя объ одномъ...

— О чемъ, Маруся? спросилъ онъ.

— Счастливъ-ли ты?

Антонъ смутился.

— Развѣ я могу быть несчастливъ, когда я знаю, что ты любишь меня? отвѣтилъ онъ вопросомъ.

— Я не о томъ, продолжала она.— Счастливъ-ли ты вообще? Еще годъ тому назадъ ты выглядѣлъ здоровѣе, безпечнѣе. Теперь ты постоянно какой-то странный, болѣзненный, нервный.

— Маруся, меня мучило сомнѣнье, любишь-ли ты меня...

— А теперь? теперь ты знаешь, что я люблю тебя, но развѣ ты сталъ спокойнѣе? Взгляни на меня: во мнѣ все теперь стало ясно и свѣтло. А ты... Что съ тобой?

Послѣднія слова Маруси проговорила почти съ испугомъ. Ее поразила смертельная блѣдность, разлившаяся по лицу Антона, и

выраженіе его взгляда, близкое къ ужасу. Казалось, передъ молодымъ человѣкомъ стояло привидѣніе и онъ былъ близокъ къ обмороку. Онъ вдругъ поднялся съ мѣста и невѣрной походкою сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Маруся обернулась лицомъ къ воротамъ: въ калиткѣ стоялъ какой-то молодой человѣкъ съ фуражкой въ рукѣ.

— Ты зачѣмъ? глухо спросилъ Антонъ.

— Письмо отъ княгини, отвѣтилъ незнакомый Марусѣ человѣкъ.

Антонъ быстро вырвалъ изъ его рукъ записку и, прочитавъ ее, скомкалъ и бросилъ на землю.

Въ запискѣ было написано:

„Уходя изъ дому, ты забылъ, что сегодня нашъ почтовый день. Нѣтъ-ли у тебя писемъ для отправки въ Петербургъ?“

— Ступай! проговорилъ Антонъ.— Писемъ у меня нѣтъ!

Лавей поклонился и скрылся за воротами.

— Кто это? спросила Маруся.

— Мой лавей, глухо отвѣтилъ Антонъ.

— Развѣ ты ему сказалъ, что пошелъ къ намъ?

— Нѣтъ. Но пойми ты, что я окруженъ шпионами, наушниками; они все вывѣдываютъ, все знаютъ! болѣзненно воскликнулъ Антонъ.

— Я тебѣ говорила, что нужно предупредить мать о нашемъ знакомствѣ.

— Предупредить мать! Но ты ее не знаешь! Я самъ сотни разъ хотѣлъ сдѣлать это. Но развѣ я могъ? Развѣ между мною и ею есть что-нибудь общаго, развѣ она пойметъ меня? Развѣ она полюбитъ ту, которую люблю я?

Антонъ вдругъ испуганно умолеъ и закрывъ лицо руками. Онъ высказалъ то, что такъ долго, такъ тщательно срывалъ отъ Маруси. Она смотрѣла на него какъ-то странно: ей было и жаль его, и непонятно, какъ можетъ человѣкъ его лѣтъ такъ бояться—и кого-же?—матери. Развѣ она, Маруся, боялась своего отца, своей тетки? Развѣ она не знала, что они ее любятъ, что они простятъ ей всякій проступокъ? Представить себѣ такую мать, съ которой боялся-бы быть отроченымъ родной сынъ, она не могла: она еще не знала жизни, не знала людей. Нервы Антона между тѣмъ не успокоивались. Онъ уже не могъ хладно-

кровно оставаться съ Марусей. Ему нужно было скорѣе объясниться съ матерью, скорѣе излить все свое раздраженіе. Онъ всталъ.

— Я пойду домой, проговорилъ онъ.

Маруся его не удерживала.

Когда онъ ушелъ, она осталась сидѣть на крыльцѣ въ какомъ-то забытѣи, перебирая оборку своего широкаго рукава.

— Маруся, о чемъ задумалась? послышался надъ ея ухомъ голосъ возвратившагося отца.

— Такъ, отозвалась она, поднимая голову.— Антонъ Павловичъ былъ. Какой онъ несчастный, папа.

— Ты плакала? спросилъ отецъ, взглянувъ на невысохшія слезы, катившіяся по ея щекамъ.

Маруся съ удивленіемъ посмотрѣла на него и поднесла руку къ глазамъ: они были влажны.

— Должно-быть, грустно улыбнулась она.— Я и сама этого не замѣтила. Но онъ, право, показался мнѣ сегодня очень жалкимъ.

Отецъ задумался и пристально посмотрѣлъ на дочь.

— Ты вѣдь никогда ничего отъ меня не скрываешь? спросилъ отецъ.

— Нѣтъ, папа, отвѣтила дочь и начала накрывать на столъ.

Выраженіе ея лица было нѣсколько грустно, но на этомъ лицѣ не было слѣдовъ тревоги или страха.

— Мнѣ съ тобой нужно поговорить!

Съ этими словами вошелъ Антонъ въ комнату матери. Онъ былъ блѣденъ и взволнованъ. Княгиня сидѣла за палцами у отвореннаго и защищеннаго отъ солнца маркизою окна своего кабинета и вышивала. Въ комнатѣ пахло распустившимися цвѣтами дикаго жасмина и царствовалъ мягкій, бѣлесоватый полусвѣтъ. Княгиня лѣниво откинулась на спинку кресла и едва улзшимъ взглядомъ обинула фигуру сына.

— Говори, если нужно, отвѣтила она.

— Зачѣмъ ты послала Франца къ Тузовымъ?

— Я-же тебѣ писала, зачѣмъ.

— Но ты очень хорошо знаешь, что я почти никому не пишу въ Петербургъ. Ты просто хотѣла показать, что тебѣ известно мое знакомство съ этой семьей.

— А развѣ это тайна?

Княгиня пристально взглянула на сына и улыбнулась.

— Ты очень неостороженъ, мой другъ, продолжала она, не дожидаясь его отвѣта.—Я понимаю, что въ твои лѣта очень естественны подобныя сближенія съ той или другой дѣвочкой. Но если ты считаешь почему-нибудь подобное сближеніе тайной, то нужно быть осторожнѣе.

— Ты, кажется, ошибаешься насчетъ моихъ отношеній къ этой семьѣ, началъ Антонъ и на его щекахъ выступили красныя пятна.

— Прежде всего я должна тебѣ замѣтить, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до твоихъ маленькихъ шалостей, улыбнулась княгиня.

— Но ты ошибаешься, жестоко ошибаешься! воскликнулъ сынъ.—Тутъ нѣтъ никакихъ шалостей. Я люблю эту дѣвушку.

— И прекрасно, я очень рада, что предметомъ твоего перваго увлеченія сдѣлалась эта дѣвушка, а не какое-нибудь совершенно падшее, ничтожное созданіе.

На лицѣ Антона выступилъ холодный потъ отъ бездушнаго цинизма матери.

— Это не увлеченіе, а любовь, проговорилъ онъ,—серьезная любовь. Я избралъ эту дѣвушку и не откажусь отъ нея.

— Я не знаю, изъ-за чего ты волнуешься? Я тебѣ вовсе не противорѣчу.

— Но ты, кажется, думаешь, что я играю честию этой дѣвушки, что я брошу ее, не женившись на ней...

Мать засмѣялась.

— Не женившись? На комъ? На Тузовой?.. Ее, кажется, такъ зовутъ?..

— Ну да, такъ! На Тузовой! И я не понимаю, чему ты смѣешься. Чѣмъ фамилія Тузовыхъ смѣшнѣе фамиліи Грачовыхъ?

Княгиня продолжала смѣяться едва слышнымъ, дѣланнымъ смѣхомъ.

— Ну, хорошо, хорошо! говорила она.—Ты женишься!.. Ахъ, какой ты ребенокъ!

— Я говорю серьезно, раздражительно замѣтилъ Антонъ,—и мнѣ страненъ твой смѣхъ. Тутъ дѣло идетъ о чести дѣвушки.

— Да, но вѣдь я надѣюсь, что она добровольно отдалась тебѣ, зная очень хорошо, что ты не можешь жениться на ней...

— Ты ошибаешься, она никакъ не могла думать, что я *не могу* жениться на ней.

— Какъ? Значитъ ты ей лгалъ, что ваши отношенія извѣстны мнѣ?

Антонъ снова поблѣднѣлъ.

— Нѣтъ, она знала, что тебѣ ничего неизвѣстно.

— Такъ какъ-же она могла рассчитывать на замужество съ человѣкомъ, который боялся сказать своей матери даже о знакомствѣ съ нею, а не только-что о любви къ ней?

Антонъ смѣшался.

— Она вовсе не думала, что я боюсь сказать тебѣ объ этомъ... Я не считалъ нужнымъ говорить объ этомъ до поры, до времени...

— И она тоже?.. Дѣвушка не считаетъ нужнымъ познакомиться съ матерью человѣка, котораго любитъ; дѣвушка сходится съ юношею, не зная, какъ взглянетъ на это его мать!.. Нѣтъ, мой другъ, кто рассчитываетъ на замужество, тотъ такъ не дѣлаетъ.

Нервы Антона не выдержали долѣе этого холоднаго тона: онъ взволновался и началъ горячиться.

— Мы вѣдь съ нѣкоторыхъ поръ смотримъ совершенно различно на вещи, проговорилъ онъ,—и потому намъ трудно понять другъ друга. Но что-бы ни случилось, какъ-бы ты ни смотрѣла на дѣло, а я все-таки женюсь на ней.

— Да? спросила княгиня, прищуривъ глаза.

— Да! отвѣтилъ Антонъ, ходя въ волненіи по комнатѣ.

— Хочешь послѣдовать примѣру дѣда, князя Петра Ивановича? произнесла княгиня и сдвинула брови. — Но ты жестоко ошибаешься насчетъ своего положенія. Если князья Грачовы не умѣютъ сами заботиться о чести своей фамиліи, то я съумѣю охранить ее.

Антонъ хотѣлъ что-то сказать, но княгиня остановила его.

— Не думай, что я стану запугивать тебя лишеніемъ наслѣдства, не думай, что я стану дѣлать сцены этой дѣвчонкѣ. Я

просто *не позволю* тебѣ жениться на дочери какого-то отставного лекаря, на дѣвушкѣ, которая думала тайкомъ отъ меня поймать тебя въ разставленные ею сѣти.

Антонъ едва стоялъ на ногахъ. Лицо матери было страшно по своей холодной суровости.

— Да, Антонъ, я люблю тебя, я горжусь тобою, продолжала она, — и потому я *не позволю* тебѣ пасть. Не думай, что тебѣ удастся устроить свадьбу тайно. Тайнъ для меня въ твоей жизни нѣтъ и не будетъ. Я тебѣ не запрещаю ни видѣться съ этой дѣвочкой, ни любить ее. Я только остановлю тебя въ ту минуту, когда ты поведешь ее къ алтарю.

Антонъ опустился на первый попавшійся стулъ и закрылъ лицо руками. Онъ плакалъ.

— Знаешь-ли, ты иногда становишься мнѣ жалокъ, какъ безхарактерное, слабое дитя, которое капризничаетъ, само не зная причины своихъ капризовъ.

— А вы... вы, зарыдалъ Антонъ, — кажетесь мнѣ иногда...

— Ступай вонъ! поднялась съ своего мѣста княгиня и указала сыну на дверь.

Онъ, шатаясь, вышелъ изъ комнаты.

На другой день въ грачовскомъ барскомъ домѣ шла суматоха: вся прислуга перешептывалась о внезапной болѣзни Антона Павловича; рассказывали, что лаской молодого барина „накрылъ“ его „обнявшись“ съ тузовскою барышней, что потомъ молодой баринъ „битый часъ“ объяснялся „по-французскому“ съ барышней, что послѣ его видѣли проходящимъ въ слезахъ, „ровно пьянаго“, на свою половину, что къ ночи у него сдѣлался жаръ и бредъ и что докторъ объявилъ, что у него „открылась горячка“.

Замѣчательное самоотверженіе выказала въ это время княгиня. Она не отходила ни днемъ, ни ночью отъ постели сына. Ей трудно было узнать, такъ она осунулась и похудѣла. Не разъ говорилъ ей докторъ, что она подвергается опасности свое здоровье, но княгиня постоянно пожимала плечами въ отвѣтъ на эти слова и сухо замѣчала:

— Мѣсто матери у постели больного сына.

Княгиня вообще любила высокія истины.

Антонъ поправлялся медленно. У нервныхъ людей болѣзни бывають устойчивѣе. Тяжелые дни пережили обитатели грачовскаго дома. Но не менѣе тяжело отозвались эти дни и на другой семьѣ,—на семьѣ Тузовыхъ. Маруся ходила, какъ тѣнь. Она не имѣла даже утѣшенія хотя на минуту взглянуть на больного. И чего ни передумала она въ эти дни!

— Останется-ли живъ Антонъ? Лучше-ли ему? Вспоминается ли онъ о ней? Отчего онъ заболѣлъ?

Послѣдняя мысль все чаще и чаще возникала въ ея головѣ.

— Онъ былъ у насъ наканунѣ своей болѣзни. Мать прислала къ нему лакея. Она хотѣла дать знать ему, что ей извѣстно его знакомство со мною. Какъ онъ поблѣднѣлъ тогда! Онъ потомъ долго сидѣлъ съ лицомъ, закрытымъ руками. Онъ ушелъ въ волненіи. Очевидно, онъ хотѣлъ объясниться съ матерью. Но что-же она ему сказала? Если-бы она подала ему хотя какую-нибудь надежду на возможность его счастья, онъ пришелъ-бы ко мнѣ. Но онъ захворалъ горячкою. Значить, было потрясеніе. Значить, она отказала. Переживетъ-ли онъ это?.. Но что-же мнѣ дѣлать, если онъ явится снова? Оттолкнуть его и нанести ему новый ударъ? Тѣшить его несбыточными мечтами? Но для чего, зачѣмъ, развѣ это честно?

Маруся терялась, но въ то-же время она росла въ этой внутренней борьбѣ. Ребенокъ окончательно дѣлался взрослымъ.

— Маруся, пожалѣй ты себя, говорилъ ей отецъ, заставляя ее въ какомъ-то оцѣпененіи.

— Мнѣ, папа, его жаль, шептала она.—О себѣ я теперь не думаю.

Дѣйствительно, она не думала о себѣ: ей казалось, что она переживетъ, перенесетъ все, что-бы ни случилось.

— А онъ? думалось ей.—Онъ и безъ того такъ слабъ, такъ несчастливъ.

А дни шли и шли своимъ чередомъ.

Однажды она сидѣла на крыльцѣ. Было теплое осеннее утро. Вдругъ вдали послышался конскій топотъ и звукъ колесъ. Она встала и торопливо пошла по направленію къ воротамъ. Экипажъ остановился и на дворѣ показалась исхудалая фигура Антона.

— Антонъ! крикнула Маруся и упала къ нему на грудь.

Она забыла все, забыла, что ихъ видитъ кучеръ Грачовыхъ, что ея отецъ и тетя сидятъ у окна.

— Я пріѣхалъ, началъ онъ дрожащимъ, упавшимъ голо-
вомъ,—проститься...

Маруся отступила отъ него и ухватилась за столбъ калитки.

— Мнѣ *велятъ* ѣхать за границу, произнесъ онъ съ горькой усмѣшкой, дѣлая удареніе на словѣ *велятъ*.

Изъ дома вышли Тузовъ и тетя Катя.

— Здравствуйте, Антонъ Павловичъ; что-же вы не войдете къ намъ? говорилъ старикъ, пожимая ему руку.— Войдите и присядьте: не унесите покоя.

Антонъ уже хотѣлъ направиться къ дому.

Маруся какъ-бы очнулась въ эту минуту.

— Ему нельзя, папа, проговорила она довольно твердо. — Онъ мимоѣздомъ... торопится... Онъ пріѣхалъ проститься... уѣзжаетъ...

— Уѣзжаете? спросилъ старикъ и испуганно посмотрѣлъ на дочь.

Она была блѣдна, она держалась за столбъ, но ея лицо казалось спокойнымъ.

— Да, лечиться, пояснила она.— Это необходимо вамъ, обратилась она къ Антону.— Дай Богъ вамъ поздоровѣть... пополнѣть... Тамъ хорошій воздухъ... развлечения... Тамъ вы поправитесь... Ну... ну... прощайте, прощайте!..

Она быстро пожала руку Антона.

— Что-жь, папа, ты не проводишь его... Видишь, Антонъ Павловичъ еще такъ слабъ...

Она говорила и сама не знала, что она говоритъ. Антонъ тоже не понималъ хорошо, что дѣлается вокругъ него. Онъ машинально пожалъ всѣмъ руки и пошелъ къ экипажу. Тузовъ и тетя Катя пошли его провожать. Экипажъ тронулся. Въ эту минуту на дворѣ раздался слабый крикъ и что-то тяжелое упало на песокъ. Старикъ и тетя Катя быстро вбѣжали на дворъ: около калитки, безъ чувствъ, лицомъ къ землѣ, лежала Маруся.

Черезъ нѣсколько дней Антонъ писалъ Марусѣ:

„Маруся, я уѣзжаю сегодня—уѣзжаю потому, что мнѣ *велятъ* уѣхать, потому что у меня не хватитъ силы сказать: я *не хочу*. Я знаю, что, читая эти строки, ты почувствуешь если не презрѣніе, то снисходительную, обидную жалость къ тому, кого ты полюбила. Ты и прежде какъ-то странно смотрѣла на меня, когда я проговаривался, что я боюсь матери, что я *не умѣю* быть самостоятельнымъ. Тебѣ это непонятно: ты сама вполне свободна въ своей семьѣ, ты не можешь понять, какъ можетъ человѣкъ сдѣлаться на-столько рабомъ, чтобы блѣднѣть при мысли о борьбѣ и предпочитать ей свое рабство. Но обстоятельства сдѣлали меня именно такимъ: я могу быть рѣзкимъ, могу дойти до дерзости, могу будировать, но у меня не хватаетъ ни рѣшительности, ни силъ, когда пужно открытой борьбой добиться победы. Я знаю, что другой человѣкъ на моемъ мѣстѣ нашель-бы тысячи исходовъ и поставилъ-бы на своемъ, а я — я схожу съума и все-таки ничего не могу придумать для своего спасенія. Да, я жалкій и ничтожный человѣкъ. Я сознаю, что я самъ разбиваю свою жизнь, свое счастье, свою любовь, и между тѣмъ не могу поступить иначе. И все-таки я горячо, страстно, мучительно люблю тебя, моя первая и послѣдняя любовь. Ради Бога не забывай меня, не отворачивайся отъ меня, поддержи меня своими письмами, своимъ привѣтомъ. Я мысленно всегда нахожусь съ тобою, и только съ тобою, потому что ты единственный человѣкъ, любившій меня“.

Странное чувство пробудили въ душѣ Маруси эти строки: она впервые видѣла передъ собою такого искалѣченнаго человѣка, и ей было жаль его до слезъ. Но она, бодрая и здоровая по натурѣ, не могла понять возможности подобнаго психическаго состоянія. Она писала, между прочимъ, Антону:

„Твое письмо полно упрековъ самому себѣ. Ты клеветашь на самого себя. Если-бы я не знала и не вѣрила, что ты любишь меня, то я подумала-бы, что ты умышленно хочешь уронить себя въ моихъ глазахъ. Но я вѣрю, что ты любишь меня, и потому не допускаю этой мысли. Ты просто еще не оправился отъ болѣзни, у тебя еще не успокоились нервы и ты упалъ духомъ. Это пройдетъ: ты молодъ, ты любишь, ты любимъ—и не можетъ быть, чтобы ты не нашель исхода, который спасъ-бы тебя.

Я, по крайней мѣрѣ, не могу себѣ представить такого тяжелого положенія, изъ котораго я не постаралась-бы выйти. Ужъ лучше смерть, чѣмъ вѣчное страданіе. Правда, я еще совсѣмъ неопытна, но вѣдь борются-же другіе люди,—значить, могу бороться и я. Рѣшить заранѣе, не испробовавъ своихъ силъ, что не можешь бороться, что будешь покоряться весь вѣкъ враждебнымъ обстоятельствамъ,—это значить не уважать себя. Я почти увѣрена, что пройдетъ мѣсяць, другой—и ты самъ посмѣешься надъ теперешнею своею слабостью. Нужно только позаботиться о своемъ здоровьи, укрѣпиться“.

Антонъ получилъ это письмо какъ разъ въ то время, когда у него уже начали открываться признаки чахотки. Онъ въ эту пору страдалъ отъ лихорадки. Слабый, исхудалый, раздраженный читалъ онъ эти строки и передъ нимъ носился молодой и бодрый образъ дѣвушки съ ясными глазами, съ румянымъ лицомъ, съ бойкой улыбкой. У него стѣснилось сердце.

„Ты стараешься ободрить меня, писалъ онъ ей.—Но если-бы ты увидала того, къ кому обращены были твои слова, то они замерли-бы на твоихъ губахъ. Умирающихъ не ободряютъ серьезно: имъ только лгутъ слова надежды. Ты пишешь, что я точно умышленно стараюсь уронить себя въ твоихъ глазахъ. Но если-бы тебя случайно поставили теперь рядомъ со мною, ты отшатнулась-бы въ ужасъ отъ меня. Ты—воплощенная молодость и здоровье, я—преждевременное старчество и безсиліе. Смотри на меня теперь, ты поняла-бы, что моя жизнь кончена, что мнѣ не нужно ни ободреній, ни надеждъ. Говоря это, я подписываю смертный приговоръ своей любви, я это знаю, но лгать передъ тобою я не хочу. Да и зачѣмъ? Вѣдь если-бы ты теперь встрѣтила меня, то ты не могла-бы любить меня,—ты могла-бы жалѣть меня, сочувствовать мнѣ,—но любить полумертвую человѣческую развалину—любить тою любовью, которою должны любить другъ друга влюбленные,—нѣтъ, это невозможно. Я пишу тебѣ эти строки, а мнѣ чудится, что я поднимаю тяжелый молотъ и наношу ударъ за ударомъ той любви, которая привязывала тебя ко мнѣ“...

Дѣйствительно, Антонъ не лгалъ: ему жилось тяжело и онъ старался забыть свое горе среди кутежей. Онъ—этотъ скромный нѣмецкій философъ—появлялся теперь на всѣхъ оргіяхъ зна-

комой ему молодежи. Въ слѣдующемъ письмѣ онъ писалъ Марусѣ:

„Иногда мнѣ становится яснымъ, что я такъ жалокъ, такъ ничтоженъ только потому, что мнѣ недостаетъ умственныхъ способностей. Да и откуда-же имъ взяться? Говорятъ, что мой пра-дѣдъ былъ непошранный силачъ и здоровякъ: онъ гнулъ подковы и никогда не могъ допиться до того, чтобы свалиться съ ногъ. Говорятъ, что мой дѣдъ хотя былъ менѣ силенъ и здоровъ, былъ все-таки удалецъ: онъ увезъ тайкомъ отъ родителей свою возлюбленную и считался храбрецомъ на войнѣ. Но мой отецъ уже не отличался ни силою, ни удалствомъ, ни твердымъ характеромъ: въ немъ первомъ изъ нашего рода проявилась потребность умственной дѣятельности, но эта потребность выразилась уродливо, нелѣпо, потому-что все прошлое нашего рода не при-готовило его къ этой дѣятельности. Наконецъ явился я; меня уже съ колыбели предназначили играть роль представителя умственной, а не физической силы, но на мою долю выпала горькая обязанность расплатиться за грѣхи предковъ. Я родился хилымъ и слабымъ и мои физическія силы нужно было поддержать искусственными мѣрами. Но теперь грубая физическая сила вышла изъ моды въ нашемъ родѣ и потому наша семья такъ-же пренебрегла моимъ физическимъ развитіемъ, какъ она пренебрегала прежде ум-ственнымъ развитіемъ своихъ членовъ. Но, къ несчастію, она не умѣла правильно повести непривычное ей дѣло: едва-ли можно было ожидать, чтобы у одного изъ потомковъ никогда нежив-шихъ умственною жизнью Грачовыхъ былъ сильный и здоровый мозгъ. Чтобы развить этотъ мозгъ, нужно было употребить не мало серьезныхъ усилій и осмотрительности, а этого-то нельзя было ожидать отъ тѣхъ, кто распоряжался моею судьбою. И вотъ они, вмѣсто развитія моихъ умственныхъ способностей, толь-ко нарушили мою умственную спячку, перевернули все вверхъ дномъ въ моей слабой головѣ и сдѣлали изъ меня не просто дурака, а дурака, который воображалъ себя и умнымъ, и уче-нымъ... Ты опять скажешь, что я понапрасно топчу себя въ грязь, что если я додумался до того, что мнѣ дано неправиль-ное развитіе, то я могу, значить, и постараться стать на лучшую дорогу. Но ты ошибаешься: я даже и не додумался до этого, а просто пишу тебѣ чужія мысли. Я ихъ похитилъ у нашего до-

машняго доктора Симоненко. Это шутъ, умный, какъ всѣ шуты, и онъ-то, смѣясь и балагуря, высказалъ мнѣ эти взгляды на меня и постарался доказать, что я самымъ естественнымъ образомъ дошелъ до того состоянія, въ которомъ я нахожусь теперь... Знаешь-ли, иногда мнѣ кажется, что я схожу съума или, лучше сказать, что я уже сошелъ съума и что только порою во мнѣ являются свѣтлыя проблески сознанія. Нѣтъ, ты не можешь, ты не можешь любить меня“.

Тяжелый молотъ наносилъ все большіе и большіе удары любви Маруси. Еще въ одно изъ писемъ Антонъ писалъ:

„Ты говоришь, что все мое несчастіе заключается въ томъ, что я занимаюсь только собою и однимъ собою, что я похожъ на больного, который, вмѣсто леченія своихъ ранъ, сталъ-бы минутно разсматривать, трогать и беречь ихъ. Ты совѣтуешь мнѣ прежде всего серьезно заняться какимъ-нибудь дѣломъ, отдаться какому-нибудь занятію и забыть хотя отчасти о своихъ больныхъ мѣстахъ, потому что всякая болѣзнь кажется мучительнѣе, когда только о ней и думаешь. Но что-же мнѣ дѣлать, если меня не научили ни о комъ и ни о чемъ думать, кромѣ какъ о себѣ? Я стараюсь увлечься хотя чѣмъ-нибудь, но этого увлеченія нѣтъ; мнѣ все чуждо, кромѣ мысли о своемъ собственномъ я“.

Такихъ писемъ получилось отъ Антона не мало. Тутъ были мучительныя проклятія своему безсилію, своей слабости, и въ то же время полное сознаніе, что отъ этой слабости отъ этого безсилія онъ никогда не освободится. Тутъ были болѣзненные просьбы о помощи, объ указаніи пути къ спасенію, и въ то же время безпощадное признаніе того, что помощи не явится, что путь къ спасенію не будетъ указанъ. Маруся читала эти письма сначала съ чувствомъ болѣзненного состраданія, потомъ она ждала ихъ со страхомъ: передъ нею началъ рисоваться образъ полусумасшедшаго человѣка и ей становилось страшно за себя. Вѣдь она любила этого человѣка, она была готова связать свою судьбу съ судьбою этого человѣка. Что будетъ, если онъ нѣсколько поправится за границей, если его мать, наконецъ, согласится на ихъ бракъ? Не будетъ-ли этотъ бракъ источникомъ ея страданій, вызываемыхъ вѣчными жалобами и самобичеваніемъ мужа, вѣчнымъ нытьемъ и безсиліемъ этого человѣка? Не лучше-

ли будетъ сказать этому человѣку во-время: „я тебя не люблю болѣе“? Но перенесетъ-ли онъ это? Неужели рѣшиться сдѣлаться причиною смерти когда-то любимаго существа?

Маруся терялась отъ этихъ думъ, а кругомъ ея шла все болѣе и болѣе дѣятельная, все болѣе и болѣе тревожная жизнь. Ея семья переехала въ Петербургъ, потому что Маруся должна была держать экзаменъ. Тѣ семинаристы, которыхъ она когда-то называла „смѣшными“ и „неуклюжими“, съ которыми она потомъ зачитывалась новыми русскими книгами и журналами, теперь были уже студентами и переживали ту эпоху, когда жизнь пробуждаетъ въ человѣкѣ всѣ молодыя силы и когда онъ готовъ, въ свою очередь, будить всѣхъ и каждого. Ихъ всѣхъ, а вмѣстѣ съ ними и Марусю, гораздо болѣе занимали какой-нибудь диспутъ въ университетѣ, какая-нибудь новая политико-экономическая статья, какая-нибудь публичная лекція, какой-нибудь новый слухъ о совершившейся крестьянской реформѣ, чѣмъ оханье и стоны о своемъ безсиліи, о своей тупицности, раздававшіеся изъ устъ какого-нибудь князя Антона Павловича Грачова. Маруся не умѣла лгать и потому въ каждомъ ея новомъ письмѣ все яснѣе и яснѣе проглядывало, что передъ нею выдвигается все болѣе и болѣе на первый планъ дѣйствительная жизнь, съ ея общечеловѣческими волненіями и тревогами, и все безпощаднѣе и безпощаднѣе заслоняетъ образъ *одной* человѣческой единицы, съ ея мелочными сомнѣніями и жалобами. Антонъ, какъ нервный, склонный къ подозрительности человѣкъ, чутьемъ угадалъ, что онъ почти уже не занимаетъ мѣста въ сердцѣ Маруси.

Наконецъ онъ высказалъ это прямо.

„Ты меня больше не любишь, писалъ онъ, — или, вѣрнѣе сказать, ты меня никогда не любила. Да, ты меня никогда не любила. Ты просто позволила мнѣ любить себя, поддавшись новому и сладкому для тебя чувству, пробужденному впервые слышаннымъ тобою словомъ „люблю“. Вѣдь твои семинаристы сперва только въ горѣлки съ тобою играли, а потомъ только умныя книжки читали. Они въ сношеніяхъ съ женщиною или хлопаютъ ее по плечу да говорятъ ей: „что ты, братъ, какъ баба какая киснешь“, или сближаются съ ней, какъ животныя, грубо, неожиданно, мимоходомъ. Имъ-ли доставить женщинѣ удовольствіе посантиментальничать! Вотъ почему я былъ интересенъ для тебя.

Ты не обманывала меня, но ты обманывалась сама относительно своихъ чувствъ. Я теперь понялъ это... Что-жь! однимъ ударомъ больше, однимъ меньше—это все равно. Я иду быстрыми шагами къ могилѣ... Прости меня, если я заставилъ тебя на зарѣ твоей жизни перестрадать несчастную любовь, прости уже ради того, что я доставилъ тебѣ хотя минуточку счастья“.

Маруся читала эти строки и странно казалось ей, что онѣ уже не пробуждали въ ней ни угрызений совѣсти за чужую разбитую жизнь, ни слезъ о потерянныхъ мечтахъ, о своемъ счастьи.

Ей казалось, что она читаетъ развязку не своего, а чьего-то чужого романа.

Прошло около года послѣ моей встрѣчи съ Антономъ въ театрѣ.

Мнѣ снова пришлось быть проѣздомъ въ Ниццѣ. День моего прѣзда въ городъ совпалъ съ послѣднимъ днемъ карнавала, и я послѣшилъ на бульваръ, гдѣ, главнымъ образомъ, сосредоточивается карнавальный праздникъ.

Кто видѣлъ карнавалы въ большихъ итальянскихъ городахъ, тому, безъ сомнѣнія, покажется жалокъ и убогъ карнавалъ въ Ниццѣ. Грошковые костюмы, жидкія толпы замаскированныхъ, отсутствіе смѣшныхъ дурачествъ и эксцентрическихъ выходовъ,— все это дѣлаетъ здѣсь карнавалъ просто пародіей на большіе карнавалы и въ концѣ концовъ навѣваетъ скуку, вмѣсто того опыненія, которое выносится съ подобныхъ праздниковъ въ другихъ итальянскихъ городахъ. Я не принималъ никакого участія въ бѣготнѣ переряженной толпы и смотрѣлъ на нее сверху, добывъ себѣ удобное мѣсто. Замаскированные люди бродили внизу, перекидываясь конфектами и букетами; среди взрослыхъ сновали толпы мальчишекъ, ожидая какой-нибудь поживы; красивыхъ, алегорическихъ группъ почти не было видно и только нѣкогда знаменитая пѣвица К., вышедшая замужъ за барона В. и оставившая сцену, по обыкновенію, привлекала всеобщее вниманіе, появившись въ костюмѣ вакханки, въ тигровой кожѣ, въ гирляндахъ изъ виноградныхъ листьевъ и гроздьевъ, окруженная цѣлой толпой сатировъ и тому подобныхъ спутниковъ. Эта груп-

на вызвала всеобщій восторгъ при первомъ своемъ появленіи, но въ концѣ концовъ надоѣла и она, такъ-какъ нельзя-же было восхищаться одною и тою-же группою втеченіи нѣсколькихъ часовъ.

Я началъ отъ скуки разсматривать людей, тѣснившихся въ окнахъ противоположныхъ домовъ, и мое вниманіе остановилось на одномъ окнѣ.

Это окно приходилось какъ-разъ противъ меня. Въ немъ видѣлась сгорбленная, худая фигура молодого человѣка съ обстриженными подъ гребенку волосами, съ впалыми глазами, съ провалившимися щеками, горѣвшими чахоточнымъ, зловѣщимъ румянцемъ. Этотъ почти умирающій человѣкъ бросалъ внизъ маленькіе свертки обсахаренныхъ конфетъ, стараясь попасть ими въ голову кого-нибудь изъ собравшихся внизу мальчишекъ и простолудиновъ. Когда ему удавалось попасть въ цѣль, онъ начиналъ хохотать и прекращалъ на нѣсколько минутъ свои маневры, задыхаясь отъ кашля, пароксизмы котораго постоянно слѣдовали за смѣхомъ. Отдохнувъ отъ кашля, онъ снова бросалъ свертки, иногда горстями, чтобы возбудить драку подбиравшей его конфеты толпы. Въ его смѣхѣ, въ выраженіи его лица, когда онъ перевѣшивался черезъ окно, чтобы посмотреть на драку, было что-то злорадное, недоброе. Мнѣ стало какъ-то тяжело смотрѣть на эту сцену и я готовъ былъ отвернуться, какъ вдругъ за этой изможденной фигурой появилась другая, сіявшая здоровьемъ и блиставшая жиромъ личность громаднхъ размѣровъ. Это былъ Симоненко. Онъ увидалъ меня и замахалъ руками. Нагнувшись къ болѣзненному юношѣ, онъ что-то шепнулъ ему и тотъ сталъ отыскивать меня глазами. Наконецъ, послѣ долгаго разсматриванья и переговоровъ съ Симоненко, онъ отыскалъ меня и дружески кивнулъ мнѣ головою.

— Неужели это Антонъ? невольно подумалъ я и сталъ всматриваться въ болѣзненное лицо юноши.

Да, это былъ онъ. Но можно-ли было узнать въ этой почти обритой и исхудалой головѣ то еще довольно круглое личико съ кудрявыми бѣловурными волосами, которыми годъ тому назадъ я любовался во французскомъ театрѣ?

Антонъ высыпалъ послѣднюю горсть конфетъ и сталъ дѣлать мнѣ телеграфическіе знаки, приглашая меня къ себѣ. Я рѣшился

перейти къ нимъ, хотя это было не совѣмъ легко. Минуть черезъ десять или черезъ пятнадцать я былъ въ комнатѣ, нанятой на этотъ день Грачовымъ.

— Хорошо вы помните своихъ знакомыхъ; жили здѣсь прошлый годъ и не зашли къ намъ, привѣтствовалъ онъ меня, едва переступая на встрѣчу ко мнѣ.

— Я полагалъ, что вы меня совершенно забыли, отвѣтилъ я, здороваясь съ нимъ и съ Симоненко.

— Я никого и ничего не забываю, замѣтилъ какъ-то раздражительно Антонъ.

— Да, да, князь злопамятенъ, вмѣшался Симоненко. — Видѣли вы, какъ онъ мстилъ сегодня ницардамъ за то, что они уступили родной городъ французамъ? Онъ имъ не только порядкомъ наколотилъ головы, но и доводилъ ихъ до междоусобія, бросая имъ, какъ яблоко раздора, горсти конфетъ, твердыхъ, какъ камни. Я думаю, многіе отъ этого угощенія лишатся зубовъ.

— Ха, ха, ха! захохоталъ Антонъ и глаза его засверкали зловѣщимъ блескомъ. — Видѣли вы, какъ трепали этого чумазаго мальчишку, успѣвшаго захватить горсть конфетъ? Что за рожи онъ корчилъ отъ боли! Ха, ха, ха!

Князь залился не то смѣхомъ, не то кашлемъ.

— Я ужъ и то едва уговорилъ князя не бросать каменьевъ, обернутыхъ въ бумагу, а то онъ вздумалъ вчера завернуть въ конфетныя бумажки горсть голышей, чтобы больнѣе было ловащимъ.

— Не дешево отдѣлались-бы вы за это, замѣтилъ я.

— И я то-же самое говорилъ, подтвердилъ Симоненко.

— Не дешево?.. Что-же, вы думаете, что мнѣ для своего удовольствія денегъ жаль?

— Ну, князь, можетъ быть, не деньгами, а своими боками пришлось-бы поплатиться. А бока у насъ съ вами нѣжныя, засмѣялся Симоненко.

— Что? Боками? загорячился князь. — Эхъ вы! Докторъ, практикъ, старше меня на десятокъ лѣтъ, а не знаете людей. Ругайте, бейте, унижайте ихъ, но платите имъ деньги — и они все снесутъ. Вы видѣли: эти люди дрались не на шутку изъ-за горсти конфетъ. Изъ-за горсти золота они перерѣзали-бы своихъ собратій. А вы толкуете о какой-то расплатѣ боками за то, что въ эту сволочь бросишь камень. Полноте!

Въ эту минуту мнѣ бросилось какое-то сходство между голосомъ князя и голосомъ его матери: въ немъ звучали презрѣніе и надменность, только у княгини эти чувства высказывались холодно, а у князя примѣшивалась къ нимъ страстность.

— Вы, однако, не особенно хорошаго мнѣнія объ этой толпѣ, замѣтилъ я.

— Я обо всѣхъ того-же мнѣнія, отвѣчалъ онъ.—Люди — дрянъ. Неподкупныхъ людей нѣтъ. Подкупить можно каждого человѣка: одного рублемъ, другого миліономъ рублей; одного лаской, другого угрозами...

— И нужно прибавить къ этому, что, молъ, меня, князя Антона Грачова, нельзя подкупить ничѣмъ, засмѣялся Симоненко.

— Меня? отозвался князь.—Да я все, все отдаю-бы за десятокъ лѣтъ здоровья.

— Ну тотъ, кто можетъ дать здоровье, не станетъ подкупать, вздохнулъ Симоненко.

Наступило какое-то неловкое молчаніе.

— Поѣдемте, я усталъ, отрывисто сказалъ князь.

Я хотѣлъ распрощаться съ своими старыми знакомцами, но Антонъ удержалъ меня.

— Я васъ не отпущу, вы ночуете и пробудете завтрашній день у насъ, сказалъ онъ.

— Пожалуй, я приду къ вамъ завтра, отвѣтилъ я.— Но зачѣмъ мнѣ ночевать у васъ? Я здѣсь остановился въ отелѣ.

— Да вѣдь мы не здѣсь живемъ, а въ Ментонѣ.

— Въ Ментонѣ? Такъ это вы для карнавала сюда пріѣзжали?

— Князь все такъ дѣлаетъ: сегодня здѣсь, завтра въ другомъ мѣстѣ, замѣтилъ Симоненко.—Посидѣть на мѣстѣ не можетъ.

— Но вѣдь такъ нельзя лечиться.

— Да кто-же вамъ сказалъ, что я лечусь? Я просто доживаю послѣдніе дни, сухо замѣтилъ князь.

Я далъ знать въ отель, гдѣ я остановился, что я не возвращусь до слѣдующаго вечера, и мы поѣхали. Вечеръ былъ не особенно теплый и князь кутался въ пледъ. Всю дорогу онъ находился въ какомъ-то дремотномъ состояніи, полузакрывъ глаза. Эти глаза, сверкавшіе нѣсколько минутъ тому назадъ лихорадочнымъ блескомъ, были теперь тусклы и блѣдны, какъ глаза

мертвеца. На него было страшно смотрѣть. Только изрѣдка онъ показывалъ ~~бесильнымъ~~, мучительнымъ кашлемъ.

— Скоро мы прїѣдемъ? раза два спросилъ онъ.

— Вы устали? замѣтилъ я, глядя съ сожалѣніемъ на его осунувшееся лицо.—За то крѣпче уснете.

— Я вовсе не сплю, глухо отозвался онъ.

Дѣйствительно, когда мы прїѣхали въ Ментонъ и вошли въ комнаты, занимаемыя княземъ, онъ очнулся. Припадки кашля, довольно слабые во время дороги, теперь сдѣлались сильнѣе и мучительнѣе. Несмотря на это, князь курилъ папиросу за папиросой.

— Вамъ не вредно курить? спросилъ я.

— Спросите доктора, что мнѣ не вредно, отвѣтилъ онъ.— Курить вредно, кислое ѣсть вредно, много ходить вредно, утомлять себя чтеніемъ вредно,—однимъ словомъ, мнѣ вредно жить.

Я понялъ, что съ нимъ почти невозможно говорить. Просидѣвъ часа два въ его кабинетѣ, я съ Симоненко отправился въ отведенную мнѣ комнату.

— Онъ очень плохъ? спросилъ я у Симоненко.

— Швахъ, очень швахъ, а хуже всего, что у него на чердакѣ безпорядокъ, отвѣчалъ Симоненко.

Я вопросительно посмотрѣлъ на доктора.

— Идеи разныя вбилъ себѣ въ голову, пояснилъ толстая, — ну, и свихнулся. Грачовы, знаете, всѣ не изъ далекихъ поуму, тоже и ея сіятельство, хотя женщина породистая, съ гоноромъ и съ душкомъ, а все-же въ сущности-то она Коробочка: ей говорятъ — продай мертвыя души, а она пеньку предлагаетъ; ну вотъ Антонъ Павловичъ умственнаго-то богатства и получилъ на три копейки, а тутъ эти притаціи случились, послѣднія-то крохи ума и испарились изъ головы. И добро-бы еще благопріобрѣтенное что-нибудь было, а то нѣтъ: губернеры да губернантики разные только и научили парле франсе да шпрыхенъ зи дѣйтшъ.

Докторъ махнулъ рукой.

— Ну ужъ и каша-же у него въ головѣ! продолжалъ онъ.— И жить-то ему хочется, и умереть-то онъ поскорѣй стремится, и мать-то онъ презираетъ, и себя-то топчетъ въ грязь, и говорить, что угнетенные сами виноваты въ своемъ угнетеніи, и жа-

луетъ, что его жизнь и счастье заѣдено матерью. Иногда не вѣришь, что все это одинъ и тотъ-же человѣкъ говорить. Если въ немъ и есть что-нибудь постоянное, такъ это ненависть къ уважаемой княгинѣ. Умѣлъ онъ насолить ей. И вѣдь знаете-ли, что? Эта норовистая особа иногда по три дня не смѣетъ переступить порога его комнаты.

Въ эту минуту въ комнату вошелъ лакей.

— Князь проситъ васъ къ себѣ, обратился онъ къ Симоненко.

— Иду, иду, отвѣтилъ докторъ.

— Вѣрно ему хуже сдѣлалось? спросилъ я.

— Нѣтъ-съ, разговаривать желаютъ! Это у насъ всегда такъ: придетъ ночь—извольте сидѣть и разговаривать, вздохнулъ Симоненко.

— Что-же дѣлать, онъ больной, замѣтилъ я.

— Батенька, да развѣ я-то здоровый? Что вы на мое брюхо-то смотрите? Это не отъ здоровья. Ей-богу! Мы всѣ больные. Эхъ, пойдѣмъ, потерпимъ муки!

Докторъ пожалъ мнѣ руку и вышелъ.

На другой день, часовъ въ десять утра, я зашелъ къ князю. Онъ курилъ сигару и сидѣлъ въ тѣхъ-же креслахъ, въ которыхъ я оставилъ его наканунѣ.

— Велите опустить жалюзи, раздражительно обратился ко мнѣ больной, пожимая мою руку. — Вѣдь это проклятое солнце невыносимо со своимъ праздничнымъ блескомъ! И зачѣмъ меня привезли сюда, гдѣ все ослѣпительно цвѣтеть, дышетъ полною жизнью? Видѣть это яркое солнце, это безграничное море, залитое блескомъ, и знать, что ты, молодой, такъ страстно жаждущій жизни, умрешь, долженъ умереть завтра, — это пытка... И для чего они меня рѣшили терзать до послѣдней минуты? Для чего не увезли въ наше новгородское имѣніе, гдѣ, въ виду развалившихся избъ, въ виду оборванныхъ знаменъ, подъ сѣренькимъ небомъ, я, можетъ быть, умеръ-бы спокойно, безъ сожалѣній, понявъ, что не стоитъ жить, что жизнь—страданье.

Больной былъ раздраженъ до послѣдней степени.

— Вамъ здѣсь воздухъ полезенъ, замѣтилъ я, не находя никакого утѣшенія.

— Воздухъ полезенъ? всеричаль больной.—Этотъ воздухъ, который раздражаетъ мои нервы, который ослѣпляетъ мои глаза? Полноте! этотъ воздухъ бѣситъ, терзаетъ, убиваетъ меня,—понимаете, убиваетъ!

Больной замолокъ и, тяжело переводя дыханіе, неподвижно лежалъ въ креслѣ. Я между тѣмъ велѣлъ спустить жалюзи и мы очутились въ полумракѣ. Въ комнатѣ было тихо. Я молчалъ, больной дышалъ все слабѣе и слабѣе. Я думалъ, что онъ задремалъ, и сидѣлъ, не шевелясь на мѣстѣ, желая уйти, какъ только онъ уснетъ. Среди этой мертвой тишины все яснѣе и яснѣе слышался однообразный шумъ моря. Оно своими волнами наносило на отлогій берегъ голыши и потомъ снова катило ихъ назадъ,—это была работа Сизифа, никогда непрекращающаяся, никогда несмолкающая. Въ этомъ шумѣ перекатывающихся, отшлифованныхъ камней было что-то убійственно-однообразное, безрадостное.

— И вотъ такъ-то оно шумитъ всю ночь, внезапно раздался голосъ Антона.—Всю ночь, не умолкая ни на минуту! Вѣдь отъ этого одного можно сойдти съума!

Я не зналъ, что говорить.

— И хорошъ городъ: здѣсь ширь моря, прекрасные дома, празднующіеся богачи, а тамъ—(онъ указалъ по направленію къ старой части города)—тѣсные переулки, душные углы, грязь, нищета и невѣжество. А еще наверху пріютились эти голяки, точно хотятъ взять приступомъ эту богатую часть города, да втеченіи трехсотъ лѣтъ все не могутъ надуматься. Иногда, проѣзжая мимо этихъ людей, я радъ обдать грязью ихъ лица, равнать колесомъ ихъ рубище, засмѣяться имъ въ лицо, когда они, изможенные и больные, протягиваютъ ко мнѣ руку за подащеніемъ. Я ихъ ненавижу за то, что они до сихъ поръ нищѣ. И какъ здѣсь бьетъ въ глаза при блескѣ солнца вся эта нищета со своими лохмотьями, со своею грязью!

Въ эту минуту послышался легкій стукъ въ двери.

— Идутъ справляться, не умеръ-ли я, съ ироніей проговорилъ Антонъ и крикнулъ раздражительнымъ тономъ:—Войдите!

Въ комнату вошла княгиня. Я изумился |перемѣнѣ въ ея лицѣ. Оно было худо, блѣдно, нѣсколько сморщено. Ея глаза были замѣтно воспалены, точно ей приходилось много плакать. На

ней было надѣто черное платье и въ немъ она казалась еще худощавѣе.

— А, ты уже приготовила и трауръ, поздоровался съ нею Антонъ.— Рекомендую тебѣ Петра Николаевича Гринева. Ты его, конечно, не могла замѣтить въ былые годы, такъ-какъ онъ тогда былъ только гувернеромъ у барона.

Аврора Федоровна протянула мнѣ руку и въ легкомъ, дрожащемъжатіи этой руки было что-то такое болѣзненное, точно она хотѣла извиниться передо мною за себя или за сына.

— Кстати! Вы теперь имѣете положеніе въ свѣтѣ? спросилъ меня Антонъ.

Я слегка наклонилъ голову въ знакъ согласія.

Ну и отлично, а то шамап не любить, когда въ ея домъ вторгаются люди безъ положенія въ свѣтѣ, замѣтилъ Антонъ.

— Что твое здоровье? спросила княгиня.

— Скверно, скверно и скверно! Это старая пѣсня! Какъ тебѣ не надоѣсть спрашивать! Или эти слова—такая пріятная мелодія для тебя?

— Я надѣялась... начала княгиня.

— Ахъ, полно пожалуйста, перебилъ Антонъ. — Ну на что ты могла надѣяться? На мою смерть, что-ли? Вѣдь ты очень хорошо знаешь, что я скоро умру и что спасенія нѣтъ. Для чего-же лгать о какихъ-то надеждахъ? Все у васъ фразы, фразы и фразы!

Княгиня хотѣла что-то сказать, но Антонъ остановилъ ее.

— Оставь пожалуйста насъ однихъ. Я давно не видался съ Петромъ Николаевичемъ и мнѣ хочется съ нимъ поговорить, пока онъ не бѣжалъ отсюда.

Княгиня обратилась ко мнѣ и проговорила:

— Я надѣюсь, что вы пробудете у насъ нѣсколько времени.

Я поклонился и самъ не знаю, что пробормоталъ ей въ отвѣтъ. Княгиня вышла.

Я не могъ долго оставаться въ этой комнатѣ, лицомъ къ лицу съ этимъ раздраженнымъ, близкимъ къ помѣшательству человекомъ. Я собрался пройтись по городу. Въ это время вошелъ Симоненко.

— А вы, князь, поѣдете кататься? спросилъ онъ.

— Никуда я сегодня не поѣду, мнѣ скверно, отвѣтилъ князь. Симоненко вздохнулъ.

— Вы ступайте, я подремлю, сказала ему Антонъ.

Симоненко былъ видимо радъ возможности ускользнуть отъ князя.

Мы пошли. День былъ ясный, всѣ ментонскіе больные были на улицѣ. На взморьѣ шла усиленная работа рыбаковъ. Мускулистые, точно вылитые изъ бронзы, почти нагіе мальчуганы лѣтъ пятнадцати и шестнадцати и нѣсколько стариковъ ловили рыбу, стаскивали въ море лодки. Праздношатающаяся толпа пріѣзжихъ любовалась этимъ зрѣлищемъ. Дамы щурили глаза и подносили къ нимъ лорнеты, точно любуясь античными статуями, а не живыми обнаженными юношами. Впрочемъ, и то сказать: эти юноши были изъ мужиковъ. Я вздохнулъ свободнѣе, выбравшись изъ полутемной комнаты князя.

— Онъ просто жалокъ, невольно вырвалось у меня, когда мы вышли на улицу.

— Скоро капутъ! отвѣтилъ Симоненко.

— Вы ужь черезчуръ хладнокровно смотрите на это.

— Да чего-жь тутъ особенно сокрушаться? Ему будетъ покойнѣе, когда свернется, а мнѣ, право, ничего не потеряетъ, если онъ умретъ: убудетъ одно лишнее брюхо, вотъ и все. Вотъ если-бы рѣчь шла объ этихъ—(докторъ указалъ глазами на рыбаковъ-мальчиковъ),—тогда дѣло другое. Тутъ смерть человѣка заставитъ, пожалуй, голодать цѣлую семью. А князь Антонъ—кому онъ нуженъ? Умеръ—и слава-богу.

Я молчалъ.

— Вѣдь тоже если-бы онъ и могъ остаться въ живыхъ, такъ радости-то вышло-бы немного: въ самомъ счастливомъ случаѣ вышель-бы изъ него *пти креве* или самодуръ въ новѣйшемъ вкусѣ—и только. Это вѣдь выродившійся правнукъ того Ивана Грачова, который, говорятъ, подковы шута разгибалъ, шилъ за десятирхъ, съ коня по цѣлымъ днямъ не слѣзалъ на охотѣ, цѣлый гаремъ содержалъ—и все-таки былъ здоровъ, какъ волъ. А этотъ что? Къ животной жизни готовить его считали уже несовременнымъ, а для подготовки къ духовной, къ умственной жизни не нашлось ни умѣнья у распорядителей его жизни, ни здороваго мозга у него самого. Знаете вы, что онъ въ сущно-

сти такое? вдругъ спросилъ Симоненко, и, не дожидаясь моего отвѣта, продолжалъ:—онъ тотъ-же князь Павелъ Петровичъ, только изнервничавшійся, какъ женщина. Будь у него болѣе выносливые нервы—и жилъ-бы онъ весь вѣкъ дуракомъ, слыня за умнаго, дослужился-бы до чиновъ извѣстныхъ и умеръ-бы уважаемымъ человѣкомъ. Ну, а нервы все дѣло испортили. Ради нихъ изъ него и не вышелъ уважаемый человѣкъ... Его щедушное тѣло даже и на удобреніе не пойдетъ, уже смѣялся Симоненко. — Положатъ его косточки въ свинцовый гробъ, поставятъ его гробъ въ фамильный склепъ и будетъ онъ тамъ глѣть до второго пришествія.

— Вы, докторъ, философствовать начинаете, замѣтилъ я.

— Да это потому, что перекусить еще сегодня не удалось.

— Ахъ да, я и забылъ, что настроеніе вашего духа и характеръ вашихъ взглядовъ зависятъ только отъ того или другого количества закуски.

— Ке феръ, ке феръ, монъ шеръ! комично вздохнулъ докторъ,—я вѣдь покуда тоже только ходячее брюхо и больше ничего.

Прошло года два.

Посѣщая по дѣламъ одну изъ нашихъ тюремъ, я совершенно случайно натолкнулся на одну важную барыню, принимавшую дѣятельное участіе въ положеніи тюрьмы. Это была высокая, худая, желтая особа съ крупными морщинами на лбу, съ потухшими, нѣсколько тупыми глазами, съ мягкимъ и ровнымъ голосомъ, въ которомъ опытный наблюдатель могъ замѣтить извѣстную долю дѣланной вкрадчивости и фарисейскаго смиренія. У нея въ рукавахъ была постоянно записная книжечка, куда она заносила просьбы преступниковъ. Въ ея карманѣ можно было найти всегда или маленькія книжечки „Новаго Завѣта“, или „Молитвенниковъ“. Она по-преимуществу интересовалась участіемъ падшихъ женщинъ, дѣтей, крестьянъ. Я не обратилъ-бы на нее никакого вниманія, если-бы мнѣ не назвали ея фамиліи, — это была княгиня Грачова, но ее уже звали не Авророй, а Александрой Федоровной, такъ-какъ она приняла православіе, чтобы имѣть возможность лежать въ могилѣ рядомъ съ своимъ сыномъ.

Ея имя стало часто появляться въ газетахъ, о ней много

говорили въ обществѣ. Она слыла одною изъ самыхъ щедрыхъ благотворительницъ. Она устраивала разныя филантропическія общества, принимала къ себѣ всевозможныхъ просителей, сама посѣщала бѣдныхъ, имѣла дѣятельныя сношенія съ духовенствомъ, обращала язычниковъ, католиковъ и евреевъ въ православіе, пользовалась сильнымъ вліяніемъ въ официальномъ и финансовомъ мірѣ при помощи своихъ родственныхъ связей и своего богатства.

Однажды, встрѣтивъ доктора Симоненко, я узналъ, что онъ тоже принимаетъ участіе во всѣхъ обществахъ и учрежденіяхъ княгини, и разговорился о ней.

— Да, она очень благотворительная особа, замѣтилъ онъ.— Ну, да ей можно бросать сотни и тысячи рублей. Ей вѣдь теперь приносятъ огромные доходы ея желѣзные заводы. Вотъ и по сейчасъ сколько ей стоятъ хлопоты о пяти мужичкахъ, которые работали у нея на заводахъ да попались за грабежъ и теперь сидятъ здѣсь въ тюрьмѣ. Она ихъ уже почти довела до раскаянья.

Докторъ вздохнулъ.

— Да-съ, ей можно благотворить: она вонъ какую-нибудь концесію желѣзнодорожную выхлопочетъ, а глядишь желѣзнодорожникъ и внесетъ тысячи три въ одно изъ благотворительныхъ обществъ, гдѣ она участвуетъ.

— Теперь, значить, и вы уже не называете ее Коробочкой? засмѣялся я.

— Напротивъ, теперь-то я и убѣдился вполне, что она Коробочка, Коробочка-благотворительница.

— Но вѣдь вы-же принимаете участіе въ затѣяхъ этой Коробочки-благотворительницы!

— Эхъ вы! За то я, батюшка, теперь модный докторъ, въ какихъ салонахъ бываю, съ какими тузами дѣла веду! Я вѣдь, батюшка, все по-прежнему—ходячее брюхо.

— И только?

— И только, потому что мы въ такое время живемъ. Теперь нужно быть или человѣкомъ-брюхомъ, или Діогеномъ, подъ бочкой спать. Ну, а подъ бочкой спать у насъ не по климату.

А. Михайловъ.

К О Н Е Ц Ъ .

ЯСНЫЕ ДНИ.

Какіе дни! Волной бунтливой
Рѣка взломала синій лёдъ;
Лѣсъ, такъ недавно молчаливый,
Теперь ликуеть и поеть.

Сталь воздухъ чище и свѣтлѣе,
Въ немъ ясно видно, какъ вдали,
Высоко, точками чернѣя,
Несутся съ юга журавли;

Какъ за добычею обычной
Шныряетъ чей-то утлый челнъ,
Вступая смѣло въ бой привычный
Съ напоромъ льдинъ, съ напоромъ волнъ;

Какъ массы бодрого народа
Подъ этимъ небожъ голубымъ
Къ тебѣ, кормилица-природа,
Идутъ за хлѣбомъ трудовымъ.

И все-то, все, что скрыто было
Зимой въ снѣгу, въ туманѣ, въ мглѣ,
Весна лучами озарила
И въ небесахъ, и на землѣ.

Нигдѣ нѣтъ тайны и обмана:
Коварство злобнаго лица,
Какъ пасть зялющая рана,
Шипы терноваго вѣнца,

На ветхомъ рубищѣ заплате,
Въ глазахъ ввалившихся слеза,
Слѣды нужды, слѣды разврата,—
Все ярко мечется въ глаза.

И счастливъ тотъ, кто одиноко
Въ такую пору не бредеть
Съ клеймомъ паденья и порока,
Подъ гнетомъ горя и невзгодъ,
Кто въ эти дни, попавъ случайно
На пиръ весны, въ душѣ своей
Не проклянетъ съ тревогой тайной
Все озаряющихъ лучей.

А. Ш.

ЗАКОНЪ И ЖЕНА.

РОМАНЪ

ВИЛЬКИ КОЛИНЗА.

XLIV.

Новый медовый мѣсяць.

Я должна сознаться, что на пути въ Лондонъ я находилась далеко не въ веселомъ настроеніи. Не легко было отказаться отъ цѣли всей жизни, для достиженія которой я многимъ пожертвовала, и въ такое время, когда, повидимому, успѣхъ былъ близокъ. Но, несмотря на все, я не взяла-бы назадъ, если-бъ и могла, письма къ м-ру Плеймору. „Дѣло кончено, и кончено хорошо, думала я,—а первый поцѣлуй мужа окончательно примиритъ меня съ моимъ новымъ положеніемъ“.

Я надѣялась достигнуть Лондона во время, для отъѣзда въ Парижъ съ ночнымъ поѣздомъ. Но насъ что-то задержало на пути, мы опоздали и потому мнѣ пришлось переночевать у Бенджамина и отложить отъѣздъ до слѣдующаго утра.

Конечно, я не могла предупредить моего стараго друга о перемѣнѣ въ моихъ планахъ и мой пріѣздъ очень удивилъ его. Я нашла его одного въ библіотекѣ; онъ сидѣлъ за столомъ и при блестящемъ свѣтѣ нѣсколькихъ лампъ и свѣчей разбиралъ какіе-то мелкіе лоскутки разорванной бумаги.

— Что вы это дѣлаете? воскликнула я.

Бенджаминъ покраснѣлъ... я хотѣла-было сказать: какъ молодая дѣвушка, но припоминаю, что въ наше время молодыя дѣвушки болѣе не краснѣютъ.

— Ничего, ничего, промолвилъ онъ въ смущеніи, — не обращайтесь на это вниманія.

Онъ протянулъ руку, чтобъ спихнуть со стола лоскутки бумаги; но они вдругъ возбудили во мнѣ подозрѣніе и я его остановила.

— Вы получили извѣстія отъ м-ра Шлеймора? спросила я; — скажите мнѣ правду, Бенджаминъ. Да или нѣтъ?

— Да, отвѣчалъ Бенджаминъ, еще болѣе краснѣя.

— Покажите письмо.

— Нѣтъ, не могу, Валерія.

Эти слова утвердили только мою рѣшимость во что-бы то ни стало увидать письмо. Лучшимъ средствомъ добиться этой цѣли было разсказать Бенджамину о томъ, какъ я пожертвовала всеѣмъ ради мужа.

— Я не имѣю болѣе голоса въ этомъ дѣлѣ, прибавила я: — теперь совершенно зависитъ отъ м-ра Шлеймора продолжать или бросить розысканія. Но, мнѣ кажется, я заслуживаю нѣкотораго снисхожденія и имѣю право видѣть это письмо. Помните, что это, быть можетъ, послѣдній случай мнѣ узнать что-нибудь о дѣлѣ, служившемъ такъ долго главной цѣлью моей жизни.

Бенджаминъ былъ слишкомъ удивленъ и обрадованъ неожиданной переимѣной въ моемъ положеніи, чтобъ противостоятъ моимъ просьбамъ. Онъ показалъ мнѣ письмо.

М-ръ Шлейморъ конфиденціально писалъ Бенджамину и спрашивалъ, не случалось-ли ему, какъ комерческому дѣятелю, слышать о томъ, какъ подбираютъ и склеиваютъ разорванные документы. Если онъ самъ не зналъ подобныхъ случаевъ, то, конечно, онъ могъ найти кого-нибудь въ Лондонѣ, который былъ-бы въ состояніи дать свое мнѣніе по этому предмету. Въ видѣ объясненія такой странной просьбы, м-ръ Шлейморъ сослался на важное значеніе „того вздора“, который Бенджаминъ записалъ въ своей памятной книжкѣ. Въ концѣ письма м-ръ Шлейморъ просилъ не говорить ни слова мнѣ объ ихъ перепискѣ, чтобъ не возбуждать ложныхъ надеждъ.

Я теперь поняла тонъ письма, полученнаго мною отъ почтеннаго стряпчачаго. Очевидно, онъ придавалъ громадное значеніе находкѣ

письма и скрывалъ это отъ меня только для того, чтобъ избавить отъ горькаго разочарованія въ случаѣ неудачи. Такимъ образомъ, м-ръ Плейморъ нисколько не желалъ отказаться отъ дѣйствительнаго розысканія истины.

— Найдено что-нибудь въ Гленичѣ? спросила я, смотря съ новымъ интересомъ на лоскутки бумаги, разбросанные по столу.

— Не знаю, отвѣчалъ онъ. — Впрочемъ, что-нибудь есть, иначе съ чего-бы онъ сталъ писать ко мнѣ... Прежде, чѣмъ отвѣчать м-ру Плеймору, я дѣлаю опыты надъ старымъ письмомъ.

— Вы его сами изорвали?

— Да; и чтобъ труднѣе было сложить лоскутки, я положилъ ихъ въ корзинку и хорошенько ихъ встряхнулъ. Не правда-ли, это занятіе слишкомъ ребяческое для моихъ лѣтъ...

Онъ умолкъ, какъ-бы стыдясь самого себя.

— Что-же, вы сумѣли возстановить разорванное письмо? спросила я.

— Это дѣло не легкое, Валерія. Но я убѣдился, что здѣсь царить тотъ-же принципъ, какъ въ дѣтскихъ складныхъ играхъ. Стоитъ только положить правильно центральный кусокъ, а остальные укладываются уже сами собой. Но пожалуйста не говорите никому объ этомъ, а то, пожалуй, подумаютъ, что я впалъ въ дѣтство. Письмо м-ра Плеймора пришло только сегодня, и я съ тѣхъ поръ, — право, мнѣ стыдно сознаться, — дѣлаю опыты съ разорванными письмами. Вы вѣдь меня не выдадите, не правда-ли?

Вмѣсто всякаго отвѣта, я горячо поцѣловала добраго старика. Я никогда не любила его такъ, какъ теперь, когда, забывъ свое благоразуміе, онъ поддался заразительной силѣ моего энтузіазма.

Однако, я не была совершенно счастлива, хотя старалась показаться счастливой. Мнѣ горько было отказаться отъ всякаго участія въ розыскѣ письма. Единственнымъ моимъ утѣшеніемъ было думать объ Юстасѣ и о счастливой перемѣнѣ въ моей семейной жизни. Въ этомъ отношеніи, по крайней мѣрѣ, мнѣ нечего было опасаться какихъ-либо разочарованій и я могла вполне быть убѣжденной, что одержала побѣду. Мужъ возвратился ко мнѣ по своей доброй волѣ; онъ поддался не новымъ, неоспоримымъ фактамъ, а своей любви и благодарности. Я приняла его въ свои объятія не потому, что отерла истину и тѣмъ заставила его жить со мною, а потому, что я вѣрила въ его исправленіе и безгранично любила

его. Не стоилъ-ли подобный результатъ большихъ жертвъ? Конечно, стоилъ. И все-же я была не въ духѣ. Впрочемъ, лекарство отъ этого недуга было недалеко. Черезъ день я могла уже соединиться на-вѣки съ Юстасомъ.

На слѣдующее утро я отправилась въ Парижъ. Бенджаминъ проводилъ меня до станціи желѣзной дороги.

— Я напишу сегодня м-ру Плеймору, сказалъ онъ, прощаясь со мной: — я, кажется, нашелъ человѣка, который можетъ ему помочь въ этомъ дѣлѣ, если онъ намѣренъ его продолжать. Прикажете что-нибудь сказать отъ васъ, Валерія?

— Нѣтъ. Я покончила съ этимъ дѣломъ и мнѣ нечего болѣе говорить.

— Я напишу вамъ о результатѣ поисковъ м-ра Плеймора въ Гленинчѣ, если онъ, наконецъ, ихъ предприметъ.

— Да, напишите мнѣ, если его попытка не удастся, сказала я съ горечью.

Бенджаминъ улыбнулся. Онъ зналъ меня лучше, чѣмъ я сама себя знала.

— Хорошо, отвѣчалъ онъ; — у меня есть адресъ вашего банкира въ Парижѣ. Вамъ придется пойти къ нему за деньгами и, быть можетъ, вы найдете тамъ письмо отъ меня. А вы, пожалуйста, напишите, какъ найдете вашего мужа. Прощайте, Христосъ съ вами.

Въ тотъ-же день вечеромъ мы соединились на-всегда съ Юстасомъ.

Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобъ даже поднять голову съ подушки. Я встала на колѣни у постели и поцѣловала его. Въ мутныхъ глазахъ его блеснула новая жизнь.

— Я хочу теперь жить, промолвилъ онъ шопотомъ: — для тебя.

М-съ Мокаланъ оставила насъ наединѣ и я не могла удержаться отъ желанія тотчасъ сообщить ему радостную вѣсть о новыхъ узахъ, связывавшихъ насъ.

— Ты долженъ жить, Юстасъ, не только для меня, но и для другого, сказала я.

— Ты говоришь о матерѣ? спросилъ онъ, съ удивленіемъ взглянувъ на меня.

Я припала къ его груди и шопотомъ произнесла:

— Я говорю о твоёмъ ребенкѣ.

Я вполне была вознаграждена за принесенную жертву. Я забыла о м-рѣ Шлейморѣ, о Гленинчѣ. Съ этой минуты начался нашъ новый медовый мѣсяцъ.

Тихо, мирно шло время въ маленькомъ домигѣ, который мы занимали въ одной изъ отдаленныхъ улицъ Парижа. Внѣшняя, шумная городская жизнь до насъ не долетала. Силы Юстаса возвращались медленно, но надежно. Доктора предоставили его совершенно на мое попеченіе.

— Вы его лучший врачъ, говорили они: — чѣмъ онъ будетъ счастливѣе, тѣмъ скорѣе оправится.

Эта тихая, однообразная жизнь нисколько меня не тяготила. Я также нуждалась въ спокойствіи; всѣ мои мысли, всѣ мои интересы были сосредоточены въ комнатѣ больного мужа.

Только однажды зеркальная поверхность нашего существованія была нарушена воспоминаніемъ о прошедшемъ. Я сказала что-то, напомнившее Юстасу о нашемъ послѣднемъ свиданіи въ домѣ маіора Фицъ-Дэвида, и онъ слегка сдѣлалъ намекъ на то, что я тогда говорила о произнесенномъ надъ нимъ приговорѣ, давая чувствовать, что нѣсколько словъ съ моей стороны въ подтвержденіе уже сказаннаго его матерью успокоили-бы его разъ навсегда.

Я отвѣчала безъ всякихъ колебаній и недомолвокъ, что его желанія были теперь моимъ единственнымъ закономъ. Но, какъ истая женщина, я нашла возможнымъ потребовать и отъ Юстаса уступки для своего успокоенія.

— Юстасъ, сказала я, — совершенно-ли ты излечился отъ тѣхъ страшныхъ сомнѣній, которыя побудили тебя покинуть свою жену?

— Ахъ, Валерія! отвѣчалъ онъ, — я никогда не уѣхалъ-бы, если-бъ зналъ тебя тогда такъ хорошо, какъ теперь.

Послѣдніе слѣды недоразумѣній между нами исчезли на-вѣки.

Всѣ заботы и страданія моей недавней, одинокой жизни совершенно изгладились изъ моей памяти. Мы снова были влюбленной, молодой четой и намъ казалось, что мы обвѣчались только нѣсколько дней тому назадъ. Однако для полнаго счастья мнѣ недоставало еще одного. Въ минуты уединенія меня мучало любопытство узнать, произведены-ли поиски за пропавшимъ письмомъ или нѣтъ. Какое странное существо женщина! Кажется, я обладала всѣмъ необходимымъ для счастья, и все-же я готова была рискнуть

этими счастьемъ сворѣе, чѣмъ оставаться въ невѣденіи о томъ, чѣмъ окончились поиски въ Гленинчѣ. Я съ радостію привѣтствовала тотъ день, когда у меня въ кошельѣ не осталось болѣе денегъ и мнѣ необходимо было отправиться къ банкиру, гдѣ я могла найти письмо отъ Бенджамина.

Я какъ-то безсознательно спросила въ конторѣ деньги и мои глаза тревожно бѣгали по столамъ и конторкамъ, отыскивая письма. Но все было тщетно. Наконецъ, изъ внутреннихъ комнатъ вышелъ какой-то господинъ, очень уродливый, но мнѣ онъ показался красавцемъ, потому что онъ держалъ въ рукѣ письмо.

— Это для васъ, сударыня, сказалъ онъ.

Я взглянула на конвертъ. Адресъ былъ написанъ рукою Бенджамина.

Произвели-ли они поиски и окончились-ли они неудачей?

Кто-то любезно положилъ мнѣ деньги въ мой мѣшокъ и проводилъ меня до кареты. Я ничего не помню, что было со мною, до той минуты, какъ я на дорогѣ распечатала письмо. Изъ первыхъ словъ Бенджамина я узнала, что въ Гленинчѣ разрыли мусорную кучу и нашли остатки разорваннаго письма.

XLV.

МУСОРНАЯ КУЧА.

Въ глазахъ у меня помутилось, мысли смѣшались и я не могла продолжать чтенія. Оправившись немного отъ волненія, я снова взглянула на письмо и глаза мои случайно остановились на одной фразѣ, которая наполнила сердце мое изумленіемъ и страхомъ. Я приказала тотчасъ кучеру ѣхать въ Булонскій лѣсъ, чтобъ на свободѣ прочесть письмо и рѣшить, слѣдуетъ-ли показать его мужу и свекрови, или-же не показывать.

Послѣ этой предосторожности я принялась за чтеніе подробнаго и методичнаго разсказа добраго Бенджамина! Онъ начиналъ свое повѣствованіе съ донесенія нашего американскаго агента, который нашелъ дочь сторожа и ея мужа въ маленькомъ городѣ одного изъ западныхъ штатовъ. Благодаря рекомендательному письму м-ра Шлеймора, онъ былъ принятъ очень радушно, но первое

разспросы ни къ чему не повели. Женщина, повидимому, ничего не могла припомнить относительно интересовавшаго насъ предмета. По счастью, мужъ ея оказался очень разумнымъ человѣкомъ и съ его помощью агенту удалось мало-по-малу добиться отъ нея всего, что было нужно.

Женщина очень хорошо помнила, что послѣ отъѣзда хозяевъ изъ Гленинча больная мать послала ее убрать комнаты. Ей не хотѣлось быть одной въ большомъ домѣ послѣ случившейся въ немъ страшной трагедіи, и потому она взяла съ собой двухъ дѣтей изъ сосѣдней хижины. Она начала работу съ Коридора Гостей, оставивъ къ концу спальню, въ которой умерла м-съ Мокаланъ.

Въ первыхъ двухъ комнатахъ сору было очень мало, такъ что вмѣстѣ съ золою изъ каминовъ онъ не наполнилъ и половины ведра, которое она захватила въ кухню. Дѣти всюду слѣдовали за нею и, говоря сравнительно, были пріятнымъ обществомъ въ мрачномъ, уединенномъ домѣ. Третья комната, которую занималъ Мизеримусъ Декстеръ, была въ гораздо большемъ беспорядкѣ и потребовала много уборки. Женщина такъ занялась своей работой, что забыла о дѣтяхъ, и уже смела весь соръ съ ковра и выгребла золу изъ камина, когда дѣтскій плачь возбудилъ ея вниманіе. Она оглянулась, но не сразу отыскала дѣтей.

Наконецъ, она увидала ихъ въ углу комнаты, подъ столомъ. Младшій ребенокъ залѣзъ въ корзинку для ненужныхъ бумагъ, а старшій, отыскавъ гдѣ-то стклянку съ клеємъ, пресерьезно обмазывалъ кистью лицо малютки, которая до того билась, что опрокинула корзинку. Женщина ударила старшаго ребенка и выхватила у него стклянку, а меньшаго подняла. Потомъ, поставивъ ихъ обоихъ въ уголь, она собрала съ полу въ корзинку всѣ разлетѣвшіяся бумажки, а также бросила туда стклянку съ клеємъ. Окончивъ уборку комнаты, она опорожнила корзинку въ ведро и пошла въ послѣднюю, четвертую спальню въ коридорѣ. Этимъ окончилась ея работа въ тотъ день. Возвращаясь домой, она выбросила изъ ведра весь соръ, бумажки и золу въ мусорную кучу.

Вотъ что припомнила дочь сторожа.

Получивъ донесеніе агента, м-ръ Плейморъ пришелъ къ убѣжденію, что всѣ шансы были въ пользу находки письма, доскутки котораго находились въ кучѣ сора, выброшеннаго женщиной, а потому ихъ долженъ былъ предохранить въ мусорной ямѣ остальной

сорь, какъ снизу, такъ и сверху. Послѣдующіе слои мусора только увеличивали безопасность этихъ драгоценныхъ остатковъ, такъ-какъ со времени отъѣзда хозяевъ изъ Гленинча никто не дотрогивался до мусорной ямы, которая была заброшена наравнѣ со всѣмъ домомъ.

М-ръ Плейморъ сообщилъ о своихъ выводахъ Бенджамину, который не могъ удержаться отъ соблазна примѣнить къ драгоценному письму свое искусство складывать разорванные куски бумаги, въ чемъ онъ достигъ, послѣ многочисленныхъ опытовъ, значительнаго успѣха. „Мнѣ кажется, милая Валерія, писалъ онъ,—что это дѣло меня околдовало. Я могу располагать по своей волѣ деньгами и временемъ, а потому въ концѣ-концовъ очутился въ Гленинчѣ и теперь тамъ произвожу раскопку мусорной кучи, на своей отвѣтственности, конечно, съ дозволенія добраго м-ра Плеймора“.

Я безъ церемоніи пропустила описаніе мѣстности, въ которой дѣйствовали Бенджаминъ, такъ-какъ въ моей памяти ясно сохранилась мусорная куча, обратившая на себя мое вниманіе въ Гленинчѣ. Для меня главный интересъ разсказа сосредоточивался въ поискахъ письма. Бенджаминъ приступилъ къ дѣлу методично: онъ нанялъ работниковъ для раскопки кучи и покрылъ ее большой палаткой для предохраненія отъ вѣтра и дождя. Кромѣ того, онъ привезъ изъ Лондона молодого человѣка, занимавшагося въ лабораторіи извѣстнаго профессора химіи и обратившаго на себя вниманіе по искусной экспертизѣ въ недавнемъ процесѣ о подложномъ документѣ.

Три дня рабочіе копали мусоръ лопатами и ломами, подъ руководствомъ Бенджамина и химика, но все было тщетно. Однако, они не унывали и продолжали работу. На четвертый день найдены были первые лоскутки бумаги. По старательному изслѣдованію, они оказались остатками торговаго объявленія. Бенджаминъ и химикъ съ новой энергіей продолжали раскопку. Къ вечеру найдены были еще лоскутки бумаги, но уже не печатной, а писанной. М-ръ Плейморъ (который каждый вечеръ пріѣзжалъ въ Гленинчъ послѣ окончанія своихъ занятій) объяснилъ, что почеркъ на этихъ лоскуткахъ положительно принадлежалъ первой женѣ Юстаса Мокалана.

Это открытіе возбудило энтузіазмъ въ искателяхъ таинственнаго

письма. Лопаты и ломы были брошены и работа продолжалась, изъ предосторожности, уже одними руками. Чтобъ не перепутать лоскутковъ бумаги, они укладывались по порядку въ нарочно приготовленный плоскій ящикъ, по мѣрѣ ихъ находки. Когда наступила ночь, работниковъ отпустили, и Бенджаминъ съ своими двумя товарищами продолжалъ работу при свѣтѣ фонаря. Впродолженіи нѣкотораго времени лоскутки являлись наружу дюжинами, потомъ вовсе исчезли. Работа, однако, не прерывалась и подъ слоемъ пыли было, наконецъ, сдѣлано величайшее открытіе этого памятнаго дня—опрокинутая стеклянка съ клеемъ, а подъ нею значительное количество склеившихся лоскутковъ исписанной бумаги.

Перенеся свои находки на большой столъ въ библіотекѣ, неутомимые работники принялись за сортировку отысканныхъ лоскутковъ бумаги. Конечно, всего легче было сложить тѣ изъ нихъ, которые склеились между собою, такъ-какъ они, по всей вѣроятности, составляли одно цѣлое. Эта тонкая работа была предоставлена искуснымъ рукамъ химика, но его задача тѣмъ не кончилась. Лоскутки бумаги, какъ обыкновенно письма, были исписаны съ обѣихъ сторонъ, и потому для полного возстановленія текста необходимо было каждый лоскутокъ распластать на двѣ части, такъ чтобъ искусственно создавалась изнанка, которую можно было-бы покрыть цементомъ, долженствовавшимъ соединить всѣ остатки въ одно цѣлое.

М-ръ Плейморъ и Бенджаминъ, повидимому, отчаявались въ успѣшномъ разрѣшеніи такой трудной задачи, но ихъ ученый товарищъ доказалъ, что они ошибались. Онъ обратилъ ихъ вниманіе на толщину бумаги. Она была вдвое тверже и толще той бумаги, которую онъ подвергалъ экспертизѣ въ извѣстномъ процесѣ, а потому онъ считалъ сравнительно очень легкимъ, при помощи привезенныхъ имъ изъ Лондона приспособленій, распластать найденные лоскутки.

Представивъ эти объясненія, онъ преспокойно принялся за свое дѣло. Въ то время, какъ Бенджаминъ истряпчій старались привести въ порядокъ остатки письма, найденные сначала, химикъ разложилъ на двѣ половины большую часть переданныхъ ему лоскутковъ и возстановилъ пять или шесть фразъ, смыслъ которыхъ былъ совершенно ясенъ.

Первый результатъ, достигнутый столь долгими трудами, вполнѣ

вознаграждать за всё усилія. По тону письма, оно, очевидно, было писано первой женой моего мужа къ нему, къ Юстасу. Это письмо, по всей вѣроятности, было то самое, которое Мизеримусъ Декстеръ скрылъ во время суда, а потомъ разорвалъ.

Вотъ какія открытія были сдѣланы до того времени, когда Бенджаминъ принялся за письмо ко мнѣ. Но когда онъ хотѣлъ отправить письмо на почту, м-ръ Шлейморъ просилъ его повременить нѣсколько дней, такъ-какъ, быть можетъ, въ этотъ промежутокъ откроется что-нибудь новое.

— Этими результатами мы обязаны ей, сказала стращій; — безъ энергіи и вліянія на Мизеримуса Декстера мы никогда не узнали-бы, что въ мусорной кучѣ скрывается разгадка мрачной тайны. Она по праву должна получать полныя свѣденія о нашихъ открытіяхъ.

Такимъ образомъ, письмо было задержано втеченіи трехъ дней, а потомъ поспѣшно окончено въ нѣсколькихъ краткихъ выраженіяхъ, которыя страшно меня перепугали.

„Химикъ быстро продолжаетъ свою работу, писалъ Бенджаминъ,—а мнѣ удалось возстановить смыслъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ исписанныхъ лоскутковъ бумаги. Если м-ръ Шлейморъ и я не ошибаемся (дай Богъ, чтобъ мы ошибались), то существуютъ основательныя причины для сохраненія этого письма въ тайнѣ отъ всѣхъ. Истина, обнаруживаемая нашими открытіями, такъ страшна, что я не могу упоминать о ней безъ крайней необходимости. Простите меня, что я васъ встревожилъ этими вѣстями. Мы будемъ обязаны рано или поздно посоветоваться съ вами по этому предмету, а потому лучше заранѣе подготовить васъ“.

Въ концѣ письма Бенджамина м-ръ Шлейморъ приписалъ слѣдующія слова:

„Пожалуйста строго слѣдуйте совѣту м-ра Бенджамина и помните, что, по моему мнѣнію, если намъ удастся возстановить все письмо, то его ни подъ какимъ видомъ нельзя будетъ показать вашему мужу“.

ГЛАВА XLVI.

ОТСРОЧКА КРИЗИСА.

— Берегитесь, Валерія, сказала м-съ Мокаланъ черезъ нѣсколько часовъ послѣ моего возвращенія домой;—я ничего у васъ не спрашиваю, но предупреждаю васъ: Юстасъ также, какъ и я, замѣтилъ въ васъ неожиданную перемену. Берегитесь.

Давъ мнѣ почувствовать, такимъ образомъ, что мое лицо выдало внутреннее волненіе, м-съ Мокаланъ болѣе ничего не прибавила. Что мнѣ дѣлать? Показать письмо Бенджамина мужу въ теперешнемъ его положеніи и наперекоръ совѣту м-ра Шлеймора было немислимо. Но, съ другой стороны, при возбужденіи подозрѣнія Юстаса невозможно было скрыть отъ него полученія письма.

Всю ночь я не сомкнула глазъ отъ тревожныхъ размышленій, а утромъ рѣшилась объясниться съ мужемъ.

— Юстасъ, сказала я,—твоя мать говоритъ, что ты замѣтилъ во мнѣ перемену послѣ вчерашней поѣздки къ банкиру. Правда ли это?

— Правда, Валерія, отвѣчалъ онъ, тише обыкновеннаго и не смотря на меня.

— У насъ нѣтъ тайнъ другъ отъ друга, продолжала я,—и я должна тебѣ сказать, что получила въ банкирской конторѣ письмо изъ Англіи, которое меня испугало и встревожило. Вѣришь-ли ты мнѣ на-столько, милый мой, чтобъ терпѣливо ждать, пока я сама все тебѣ расскажу?

Онъ ничего не отвѣчалъ.

— Юстасъ! воскликнула я, взявъ его за руку, — развѣ ты меня не знаешь, развѣ ты не вѣришь, что я всегда и во всемъ исполняю свой долгъ, какъ вѣрная и преданная жена?

Онъ впервые взглянулъ на меня и послѣдній лучъ сомнѣнія померкъ въ его глазахъ.

— Ты общаешь рано или поздно сказать мнѣ всю правду?

— Общаю отъ всего сердца.

— Я тебѣ вѣрю, Валерія.

Лучезарный блескъ его глазъ доказывалъ искренность словъ. Мы подтвердили нашъ мирный трактатъ поцѣлуемъ.

Въ тотъ-же день я написала Бенджамину о разговорѣ съ мужемъ и просила, если онъ и м-ръ Плейморъ одобряли мое поведеніе, постоянно увѣдомлять меня о будущихъ открытіяхъ въ Гленинчѣ.

Прошло десять дней, показавшихся мнѣ цѣлымъ вѣкомъ, прежде, чѣмъ я получила второе письмо отъ стараго друга, съ припискою м-ра Плеймора.

„Мы твердо и успѣшно подвигаемся въ нашемъ дѣлѣ, писалъ Бенджаминъ; —единственное новое открытіе, сдѣланное нами, имѣетъ важное значеніе для вашего мужа. Мы возстановили нѣсколько фразъ, удостовѣряющихъ, что купленный Юстасомъ мышьякъ приобрѣтенъ по просьбѣ его первой жены и находился въ ея рукахъ въ Гленинчѣ. Не забывайте, что эти фразы написаны рукою его жены и подписаны ею. По несчастью, я долженъ прибавить, что мы все болѣе и болѣе убѣждаемся въ невозможности открыть вашему мужу содержаніе этого письма. Чѣмъ ближе мы знакомимся съ письмомъ, тѣмъ болѣе желали-бы бросить его обратно въ мусорную кучу изъ сожалѣнія къ памяти несчастной м-съ Мокаланъ. Я задержу это письмо на нѣсколько дней, и если будутъ какія-нибудь новости, то м-ръ Плейморъ увѣдомитъ васъ о нихъ“.

М-ръ Плейморъ, три дня спустя, приписалъ слѣдующее:

„Послѣдняя часть письма покойной м-съ Мокаланъ къ ея мужу, писалъ онъ, — была случайно разобрана нами прежде всего остального, и, за исключеніемъ незначительныхъ пробѣловъ, она совершенно возстановлена. У меня нѣтъ ни времени, ни желанія писать вамъ подробно объ этомъ предметѣ. Черезъ двѣ недѣли вы получите вѣрную копію со всего письма, съ первой строчки до послѣдней. Теперь-же скажу только, что въ этомъ ужасномъ, поразительномъ документѣ есть одна свѣтлая сторона. Нравственно и юридически оно положительно доказываетъ невиновность вашего мужа и можетъ служить законнымъ доказательствомъ, если Юстасъ признаетъ согласнымъ съ совѣстью и съ сожалѣніемъ къ умершей, публично предъявить это письмо въ судъ. Вы должны знать, что дѣло вашего мужа не можетъ быть вновь разрѣшено въ уголовномъ порядкѣ, но его можно пересмотрѣть, какъ гражданскій искъ въ убыткахъ, и такимъ образомъ является возможность получить второй приговоръ присяжныхъ, который окончательно снялъ-бы всякое пятно съ м-ра Мокалана. Сохраните все это въ тайнѣ до

поры до времени и продолжайте вести себя, въ отношеніи мужа, такъ-же благоразумно, какъ до сихъ поръ. Когда-же вы прочтете письмо, я увѣренъ, что вы не покажете его мужу изъ сожалѣнія къ нему. Какимъ образомъ скрыть отъ него нашу находку — другой вопросъ, который намъ слѣдуетъ обсудить при личномъ свиданіи. До тѣхъ поръ я могу только повторить свой прежній совѣтъ — подождите слѣдующихъ извѣстій изъ Гленинча“.

Я ждала. Что я выстрадала въ это время и что думалъ обо мнѣ Юстасъ, теперь не представляетъ никакого интереса; одни только факты имѣютъ значеніе.

Черезъ двѣ недѣли письмо было окончательно восстановлено, за исключеніемъ нѣкоторыхъ словъ, которыя потеряны, и обѣщанная копія прислана мнѣ въ Парижъ.

Прежде, чѣмъ вы, читатель, прочтете это страшное письмо, вспомните, при какихъ обстоятельствахъ Юстасъ Мокаланъ женился на своей первой женѣ, и что, по показаніямъ достовѣрныхъ свидѣтелей, онъ вообще былъ приличный и обходительный, если не любящій мужъ, тщательно скрывавшій свое отвращеніе къ бѣдной женщинѣ.

ГЛАВА XLVII.

И С П О В Ъ Д Ъ Ж Е Н Н Ы.

Гленинчъ, 19 октября 18—г.

„Милый мужъ!

„Мнѣ надо сказать тебѣ нѣчто очень непріятное объ одномъ изъ твоихъ старыхъ друзей. Ты никогда не поощрялъ меня къ откровенности. Если-бы ты дозволилъ мнѣ быть съ тобой на той фамиллярной ногѣ, на которой стоятъ нѣкоторыя жены, я лично-бы тебѣ все объяснила. Но не зная, какъ ты принялъ-бы мои слова, я рѣшилась написать тебѣ.

„Человѣкъ, противъ котораго я тебя предостерегаю, гостить теперь у насъ; это Мизеримусъ Декстеръ. Нѣтъ на свѣтѣ хуже и коварнѣе человѣка. Не бросай письма на этихъ словахъ. Я долго ждала явнаго доказательства и теперь оно въ моихъ рукахъ.

„Ты, конечно, не забудь, что я выразила неудовольствіе, узнавъ о приглашеніи его въ нашъ домъ. Если-бы ты позволилъ мнѣ высказать все, что я хотѣла, то ты узналъ-бы, по какому поводу я чувствовала отвращеніе къ твоему другу. Но ты не хотѣлъ меня слушать и поспѣшно и несправедливо обвинилъ меня въ презрѣніи къ несчастному созданію за его уродство, тогда-какъ въ сущности я всегда чувствовала къ уродамъ сожалѣніе. Я даже питаю къ нимъ какое-то братское чувство, потому что сама, если не уродъ, то некрасивая женщина, что немногимъ лучше. Я не желала видѣть м-ра Декстера въ нашемъ домѣ потому, что онъ до моего замужества просилъ моей руки, и я имѣла основаніе предполагать, что онъ до сихъ поръ сохранилъ преступную ко мнѣ любовь. Я, какъ добрая жена, была обязана воспротивиться его пріѣзду въ Гленинчъ, а ты, какъ добрый мужъ, долженъ былъ меня выслушать.

„Какъ-бы то ни было, м-ръ Декстеръ живетъ у насъ нѣсколько недѣль и онъ снова осмѣлился говорить мнѣ о своей любви. Онъ оскорбилъ насъ обоихъ, увѣряя, что онъ меня обожаетъ, а ты меня ненавидишь. Онъ обѣщаль мнѣ безмятежное счастье, если я уѣду съ нимъ за границу, и предсказывалъ самое несчастное существованіе въ домѣ моего мужа. Отчего я тебѣ тотчасъ не жаловалась и не потребовала немедленнаго удаленія этого чудовища? Повѣрилъ-ли-бы ты моей жалобѣ, если-бы твой сердечный другъ отперся отъ своихъ словъ? Я слышала однажды, какъ ты увѣрялъ, что уродливыя женщины всегда воображаютъ, что всѣ въ нихъ влюблены. Быть можетъ, ты обвинилъ-бы меня въ этомъ.

„Однако, я не хочу извинять себя. Я несчастное, ревнивое существо; я постоянно сомнѣваюсь въ твоей любви и страшусь, что-бы другая женщина не заняла моего мѣста въ твоёмъ сердцѣ. Мизеримусъ Декстеръ воспользовался моей слабостью. Онъ предлагалъ доказать мнѣ, что ты въ глубинѣ своего сердца меня ненавидишь, что тебѣ противно ко мнѣ прикасаться и что ты проклинаешь свою глупую женитьбу. Я долго боролась, но, наконецъ, уступила страшному соблазну, такъ-какъ я не была вполне убѣждена въ искренности твоей любви ко мнѣ. Я скрыла презрѣніе, внушаемое мнѣ Декстеромъ, и позволила нашему злѣйшему врагу подробно объяснить все, что онъ хотѣлъ. Но почему я это сдѣлала? Потому, что я любила тебя, и тебя одного, потому, что

предложеніе Мизеримуса Декстера подтвердило подозрѣніе, давно уже точившее мое сердце.

„Прости меня, Юстасъ. Я въ первый и послѣдній разъ виновата передъ тобой. Я не пощажу себя и передамъ тебѣ слово въ слово нашъ разговоръ. Ты можешь меня наказать за мою вину, но, по крайней мѣрѣ, ты будешь во время предупрежденъ и увидишь въ истинномъ свѣтѣ своего коварнаго друга.

„Я сказала ему: „Какъ можете вы доказать, что мужъ въ глубинѣ своего сердца ненавидитъ меня?“ Онъ отвѣчалъ: „Я могу доказать это его собственноручнымъ признаніемъ; я вамъ покажу его дневникъ“. Я возразила: „Переплетъ его дневника запирается и, кромѣ того, онъ всегда лежитъ въ замкнутомъ ящикѣ. Какъ можете вы его достать?“ Онъ произнесъ: „Я имѣю возможность открыть эти оба замка безъ малѣйшаго риска. Вы должны только дать мнѣ случай придти къ вамъ подъ покровомъ тайны. О, я обяжусь принести дневникъ съ отпертымъ замкомъ“. Я воскликнула: „Я васъ не понимаю. Что вы хотите сказать?“ Онъ указалъ на ключъ въ двери, выходящей изъ моей спальни въ маленькій кабинетъ, и сказалъ: „При моемъ уродствѣ, я, быть можетъ, не буду въ состояніи воспользоваться первымъ случаемъ явиться къ вамъ никѣмъ незамѣченный. Мнѣ надо имѣть возможность выбрать удобную для себя минуту. Дайте мнѣ ключъ, а дверь закройте. Потомъ, когда хватятся ключа, вы скажите, что дверь заперта, а слѣдовательно не бѣда, что пропалъ ключъ, и не стоитъ его искать. Этого достаточно для успокоенія домашнихъ и я буду безопасно владѣть средствомъ сообщенія съ вами. Согласны вы?“

„Я согласилась. Да, я сдѣлалась сообщницей этого коварнаго злодѣя. Я унизила себя и тебя, согласившись взглянуть тайкомъ на твой дневникъ. Я знаю, какъ низокъ мой поступокъ, и насколько себя не извиняю. Я только могу повторить, что люблю тебя и сомнѣваюсь въ твоей любви. А Мизеримусъ Декстеръ предлагаетъ положить конецъ всѣмъ моимъ сомнѣніямъ, обнаживъ передо мною твои сокровеннѣйшія мысли, написанныя твоей собственной рукой.

„Онъ придетъ ко мнѣ съ этой цѣлью черезъ часъ или два, во время твоего отсутствія. Я найду недостаточнымъ имѣть въ рукахъ твой дневникъ только одинъ разъ и условлюсь съ Декстеромъ, чтобъ онъ принесъ снова дневникъ завтра, въ то-же самое

время. Задолго до назначеннаго часа ты получишь эти строки черезъ сидѣлку. Пойди со двора, какъ всегда, но возвратись тайкомъ, и отперевъ ящикъ, ты не найдешь въ немъ дневника. Спрячься въ маленькомъ кабинетѣ и ты увидишь свой дневникъ въ рукахъ Мизеримуса Декстера, выходящаго изъ моей комнаты“.

20 октября.

„Я прочла твой дневникъ.

„Наконецъ я знаю, какого ты, дѣйствительно, обо мнѣ мнѣнія. Я прочла то, что мнѣ обѣщаль Мизеримусъ Декстеръ, — твое собственноручное признаніе въ ненависти ко мнѣ.

„Ты не получишь моего вчерашняго письма, по крайней мѣрѣ, сегодня и тѣмъ путемъ, который я указала. Хотя оно и такъ довольно длинно, но, прочитавъ твой дневникъ, я считаю долгомъ прибавить еще нѣсколько словъ. Запечатавъ конвертъ и написавъ на немъ твой адресъ, я положу его подъ подушку. Тамъ его найдутъ послѣ моей смерти и ты, Юстасъ, прочтешь это письмо, когда будетъ слишкомъ поздно для надежды или помощи.

„Да, жизнь мнѣ опротивѣла; я хочу умереть.

„Я уже пожертвовала всѣмъ моей любви къ тебѣ, теперь же, зная, что ты меня не любишь, я легко принесу и послѣднюю жертву. Моя смерть дозволить тебѣ жениться на м-съ Бьюли.

„Ты не знаешь, съ какимъ трудомъ я скрывала свою ненависть къ ней, когда я просила ее пріѣхать къ намъ, несмотря на мою болѣзнь. Я никогда не была-бы въ состояніи этого сдѣлать, если-бы не любила тебя такъ пламенно и не боялась разсердить тебя своей ревностью. Чѣмъ-же ты меня за это наградишь? Пусть отвѣтитъ твой дневникъ: „Я нѣжно поцѣловаль ее сегодня утромъ, и надѣюсь, что она, бѣдная, не замѣтила, какого усилія мнѣ это стоило“.

„Я не замѣтила, но теперь все знаю. Я знаю, что ты считаешь жизнь со мною „чистилищемъ“ и что ты изъ сожалѣнія скрываешь отъ меня „чувство отвращенія, когда обязанъ подчиняться моимъ ласкамъ“. Я только помѣха, — „непріятная помѣха“, удерживающая тебя отъ женщины, которую ты такъ пламенно любишь, что „лобзаешь даже ту землю, по которой она ступаетъ“. Пусть будетъ по-твоему. Я не хочу болѣе быть для тебя помѣхою. Это не жертва съ моей стороны и не заслуга. Я не могу жить, зная,

что человекъ, котораго я люблю всѣмъ сердцемъ и душою, внутренно содрогается отъ малѣйшаго моего прикосновенія.

„А у меня подъ рукою вѣрное средство покончить съ жизнію. Мышьякъ, который ты два раза покупалъ по моей просьбѣ, находится въ моемъ несесерѣ. Я обманула тебя, сказавъ, что мышьякъ былъ нуженъ для истребленія мышей; въ сущности-же я хотѣла попробовать его дѣйствіе на улучшеніе цвѣта лица, не изъ пустого кокетства, но чтобъ казаться болѣе привлекательной въ твоихъ глазахъ. Съ этой цѣлью я приняла долю яда, но у меня осталось достаточно для расчета съ жизнію. Наконецъ ядъ послужить на пользу: онъ, можетъ быть, не улучшилъ-бы моего цвѣта лица, но теперь, во всякомъ случаѣ, освободить тебя отъ уродливой жены.

„Не позволяй вскрывать моего тѣла, а покажи доктору это письмо. Оно докажетъ мое самоубійство и предохранитъ невинныхъ отъ подозрѣнія въ преступленіи. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадалъ изъ-за меня. Я сорву ярлыкъ съ стеклянки съ ядомъ и тщательно вымою ее, чтобъ аптекарь не былъ привлеченъ въ отвѣтственности.

„Я теперь немного отдохну, а потомъ буду опять продолжать это письмо. Оно уже и теперь слишкомъ длинно, но это мое послѣднее прости, и, конечно, я вправѣ подольше поговорить съ тобою прежде, чѣмъ разстаться на-вѣки.

21 октября, 2 часа утра.

„Я вчера прогнала тебя изъ комнаты, когда ты пришелъ узнать, какъ я провела ночь, и наговорила много гадостей про тебя сидѣлкѣ. Прости меня, Юстасъ. Я словно безумная. Ты знаешь, почему.

2½ часа.

„О! мужъ мой, мужъ мой! Все кончено! Я освободила тебя отъ ненавистой жены! Я приняла весь ядъ, остававшійся въ бумажкѣ. Если этого будетъ недостаточно, то у меня есть еще въ стеклянкѣ.

5 часовъ и 10 минутъ.

„Ты только-что ушелъ, подавъ мнѣ успокоительныя капли. При видѣ тебя все мое мужество исчезло. Я сказала себѣ: „если онъ нѣжно взглянетъ на меня, то я сознаюсь, и пусть онъ меня возвратитъ къ жизни“. Ты даже на меня не взглянулъ, а смотрѣлъ только на лекарство. Я отпустила тебя, не сказавъ ни слова.

5½ часовъ.

„Я чувствую первые симптомы отравы. Сидѣлка спитъ у моихъ ногъ. Я не разбужу ее, не позову никого къ себѣ на помощь. Я умру одна.

9½ часовъ.

„Агонія была сверхъ моихъ силъ, я разбудила сидѣлку и послала за докторомъ. Никто не подозрѣваетъ истины. Странно сказать—всѣ страданія исчезли; приѣмъ, вѣроятно, слишкомъ малъ. Надо откупорить стьянку съ остальнымъ ядомъ. По счастью, ты не подлѣ меня, и я по-прежнему хочу умереть, или, лучше сказать, не хочу жить. Боясь своей слабости при видѣ тебя, я запретила сидѣлкѣ послать за тобою. Она только-что ушла внизъ. Я могу на свободѣ взять ядъ изъ несесера.

9 часовъ 50 минутъ.

„Я только-что успѣла спрятать стьянку, когда ты вошелъ въ комнату.

„Увидѣвъ тебя, я снова рѣшилась попытать счастья, то-есть дать тебѣ случай спасти меня. Я попросила чашку чаю и сказала себѣ: „если, подавая чай, онъ взглянетъ на меня нѣжно или скажетъ хоть одно нѣжное слово, то я не приму второй дозы. Ты исполнилъ мое желаніе, но не былъ нѣженъ. Ты подаль мнѣ чай, Юстасъ, словно давалъ пить собакѣ. И потомъ ты еще удивился (ты говорилъ небрежно, вѣроятно, думая о м-сь Бьюли), что я уронила чашку. Я не могла ее удержать—руки дрожали. Если-бы ты былъ на моемъ мѣстѣ, и твоя рука задрожала-бы. Выходя изъ комнаты, ты, для приличія, холодно сказалъ: „Надѣюсь, чай тебѣ поможетъ“. Боже мой! ты даже на меня не взглянулъ. Ты смотрѣлъ на черепки разбитой чашки.

„Не успѣлъ ты выйти изъ комнаты, какъ я приняла вторую дозу яда, и на этотъ разъ двойную.

„У меня есть до тебя маленькая просьба. Сдернувъ ярлыкъ съ стьянки и положивъ ее обратно въ несесерь пустую, чистую, я вспомнила, что не приняла такой-же предосторожности въ отношеніи пакета съ ядомъ, на которомъ выставлено имя аптекаря. Я бросила его на одѣяло вмѣстѣ съ другими бумажками, а моя сердитая сидѣлка, жалуясь на беспорядокъ, скомкала все вмѣстѣ и куда-то убрала. Я надѣюсь, что аптекарь не пострадаетъ отъ

моей небрежности. Прошу тебя, объяви всѣмъ, что онъ ни въ чемъ не виноватъ.

„Декстеръ... что-то напоминаетъ мнѣ о Мизеримусѣ Декстерѣ... положилъ обратно въ ящикъ твой дневникъ и требуетъ отвѣта на свое гнусное предложеніе. Есть-ли у этого низкаго человѣка совѣсть? Если есть, то даже *онъ* почувствуетъ угрызение, когда моя смерть дастъ ему роковой отвѣтъ.

„Сидѣлка только-что возвратилась и я снова услала ее подъ предлогомъ, что желаю остаться одна.

„Много-ли прошло времени? Я не могу найти часовъ. Я не чувствую боли, но она можетъ вернуться каждую минуту.

„Мнѣ надо еще успѣть запечатать письмо, написать адресъ и спрятать подъ подушку, чтобы никто не нашелъ его прежде моей смерти.

„Прощай, мой милый! Жаль, что я не была красавицей, но любить тебя болѣе я никакъ не могла. Даже теперь я боюсь увидать тебя, боюсь, что твое чарующее вліяніе заставитъ меня сознаться во всемъ, пока еще не поздно. Но тебя здѣсь нѣтъ. Лучше умереть! Лучше умереть!

„Еще разъ прощай! Будь счастливѣе, чѣмъ ты былъ со мною! Я люблю тебя, Юстасъ. Я прощаю тебя. Отъ нечего дѣлать, думай иногда, если можешь, безъ ненависти о твоей бѣдной, уродливой

Саръ Мокаланъ“.

ГЛАВА XLVIII.

Какъ могла я иначе поступить?

Осушивъ слезы и немного успокоившись послѣ прочтенія этого страшнаго, роковаго письма, я думала только объ одномъ — какъ-бы устроить такъ, чтобы Юстасъ не увидалъ его.

Да, вотъ чѣмъ окончились всѣ мои усилія раскрыть истину. Я посвятила цѣлую жизнь на достиженіе одной цѣли и эта цѣль была достигнута. Передо мною лежало безспорное, фактическое доказательство невинности моего мужа, и я, изъ сожалѣнія къ нему, изъ сожалѣнія къ его покойной женѣ, желала, чтобы онъ

никогда не увидалъ этого доказательства, чтобъ оно никогда не было обнародовано.

Все это было дѣломъ моихъ рукъ, какъ справедливо говорилъ м-ръ Плейморъ, и, однако, я теперь смотрѣла съ ненавистью, съ отвращеніемъ на роковое письмо. Я проклинала день, когда была разрыта мусорная вуча въ Гленинчѣ и обнаружена страшная повѣсть страданія и преступленія. Только-что Юстасъ возвратился къ жизни, только-что мы снова зажили счастливо въ ожиданіи черезъ мѣсяць или два еще большаго блаженства—рожденія перваго нашего ребенка,—какъ вдругъ это письмо является между нами какимъ-то мрачнымъ мстителемъ, грозящимъ не только спокойствію, но и самой жизни моего мужа, еще не совершенно оправившагося отъ своего тяжелаго недуга!

Среди этихъ грустныхъ размышленій я неожиданно услышала бой часовъ. Около этого времени Юстасъ всегда приходилъ въ мой маленькій будуаръ. Онъ могъ войти въ дверь каждую минуту, увидеть письмо и выхватить его у меня изъ рукъ. Въ себя отъ страха, я поспѣшно собрала роковые листы и бросила ихъ въ огонь.

По счастью, это была только копія; но я полагаю, что въ эту минуту я сожгла-бы точно такъ-же и оригиналь, если-бъ онъ былъ въ моихъ рукахъ.

Не успѣвъ сгорѣть послѣдній лоскутокъ бумаги, какъ дверь отворилась и вошелъ Юстасъ.

Онъ взглянулъ на огонь. Пепель отъ сожженной бумаги еще леталъ надъ угольями. Онъ видѣлъ, какъ утромъ мнѣ подали письмо. Подозрѣваль-ли онъ меня? Онъ ничего не сказалъ и въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ не сводилъ глазъ съ огня. Потомъ онъ подошелъ ко мнѣ. Я была, вѣроятно, очень блѣдна. Онъ прежде всего спросилъ: здорова-ли я?

Я рѣшилась ни въ чемъ его не обманывать, даже въ мелочахъ.

— Я немножко нервна, Юстасъ, но это ничего, отвѣчала я.

Онъ взглянулъ на меня, какъ-бы ожидая чего-то. Я молчала. Онъ вынулъ изъ бокового бармана сюртука письмо и положилъ передо мною на столъ, гдѣ за минуту передъ тѣмъ лежала исповѣдь его первой жены.

— Я также получилъ сегодня письмо, сказалъ онъ, — и я, Валерія, не имѣю отъ *тебя* тайнъ.

Я поняла упрекъ, скрывавшійся въ этихъ словахъ, но только сказала, указывая на письмо:

— Ты хочешь, чтобы я прочла?

— Я уже сказалъ, что не имѣю отъ тебя тайнъ, повторилъ онъ, — конвертъ распечатанъ; посмотри, что въ немъ.

Въ конвертѣ оказалось не письмо, а вырѣзка изъ газеты.

— Прочти, сказалъ Юстасъ.

Я прочла слѣдующее:

„Необыкновенное происшествіе въ Гленинчъ. — Въ домѣ м-ра Мокалана, повидимому, происходитъ что-то странное, романтическое. Подъ покровомъ тайны производятся раскопки мусорной ямы, и, безъ всякаго сомнѣнія, найдено нѣчто важное, хотя никто-не знаетъ, что именно. Намъ извѣстно только, что въ продолженіи двухъ недѣль двое пріѣзжихъ изъ Лондона, подъ руководствомъ нашего почтеннаго соотечественника м-ра Плеймора, работаютъ день и ночь, запершись въ библіотекѣ Гленинча. Откроется-ли когда-нибудь эта тайна? Бросить-ли она новый свѣтъ на таинственное, роковое преступленіе, нѣкогда совершенное въ Гленинчѣ? Быть можетъ, м-ръ Мокаланъ, возвратясь изъ за-границы, отвѣтитъ на эти вопросы. До тѣхъ поръ мы можемъ только ждать фактовъ“.

Я положила на столъ отрывокъ изъ газеты, проваливая журналы, вмѣшивающихся не въ свое дѣло, и безпкойныхъ собесѣдовъ, которые, вѣроятно, прислали этотъ отрывокъ Юстасу. Я рѣшительно не знала, что мнѣ дѣлать, и ждала, что скажетъ мужъ. Онъ черезъ минуту вывелъ меня изъ затрудненія.

— Понимаешь ты, Валерія, въ чемъ дѣло? спросилъ онъ.

Я честно отвѣчала, что понимаю.

Въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ онъ молчалъ, какъ-бы ожидая моего объясненія. Но я искала убѣжища въ безмолвіи.

— А я не узнаю ничего? продолжалъ онъ. — Развѣ ты не обязана сказать мнѣ, что происходитъ въ моемъ собственномъ домѣ?

Быль одинъ только исходъ изъ моего отчаяннаго положенія и я инстинктивно избрала вѣрный путь.

— Ты обѣщала мнѣ вѣрить, сказала я.

— Да, подтвердилъ онъ.

— Ради твоего собственнаго счастья, Юстасъ, продолжай мнѣ вѣрить. Потерпи — и я тебѣ всё открою.

Благородное чело его отуманилось.

— А долго ждать? спросилъ онъ.

Я поняла, что настала минута прибѣгнуть къ болѣе сильному средству, чѣмъ слова.

— Поцѣлуй меня прежде, чѣмъ я тебѣ скажу, произнесла я нѣжно.

Онъ, какъ истый мужъ, колебался, а я, какъ истая жена, настаивала на своемъ. Наконецъ ему пришлось уступить. Поцѣловавъ меня не очень милостиво, онъ снова спросилъ, долго-ли ему придется ждать.

— До рожденія нашего ребенка, промолвила я.

Онъ вздрогнулъ. Мои слова его изумили. Но я нѣжно сжала ему руку и знаменательно взглянула на него. Онъ отвѣчалъ мнѣ взглядомъ, полнымъ любви.

— Согласись, сказала я шопотомъ.

Онъ согласился.

Такимъ образомъ, я снова отложила страшную минуту и выиграла время для дальнѣйшихъ совѣщаній съ Бенджаминомъ и м-ромъ Плейморомъ. Но мои нервы были такъ напряжены, что по уходѣ Юстаса я долго плакала. Конечно, слезы послужили мнѣ большимъ облегченіемъ.

ГЛАВА XLIX.

Прошедшее и будущее.

Я пишу на память, не имѣя ни дневника, ни даже какихъ-либо замѣтокъ, а потому рѣшительно не помню, сколько времени мы оставались за-границей, но, безъ сомнѣнія, мы провели тамъ нѣсколько мѣсяцевъ. Несмотря на полное выздоровленіе Юстаса, доктора удерживали его долго въ Парижѣ, боясь, чтобъ его слабѣя легкія не пострадали отъ слишкомъ скорой перемѣны сухого парижскаго воздуха на англійскую сырую атмосферу.

Поэтому я все еще была въ Парижѣ, когда получила новыя извѣстія изъ Гленича. На этотъ разъ пришло не письмо, а въ одно прекрасное утро я была удивлена и обрадована неожиданнымъ появленіемъ Бенджамина. Онъ былъ такъ необыкновенно разодѣтъ и такъ часто повторялъ при Юстасѣ, что пріѣхалъ въ

Парижъ исключительно для своего удовольствія, что я вскорѣ поняла, въ чемъ дѣло. Онъ, очевидно, пріѣхалъ въ качествѣ туриста для всѣхъ и чрезвычайнаго посла м-ра Плеймора для меня.

Вечеромъ мнѣ удалось остаться съ нимъ наединѣ и моя догадка подтвердилась. М-ръ Плейморъ прислалъ Бенджамина, чтобъ окончательно объяснить мнѣ прошедшее и посоветоваться о будущемъ. Онъ представилъ мнѣ свою кредитивную грамату въ видѣ записки отъ стряпчего.

„Открытие письма не объяснило достаточно ясно нѣкоторыхъ вопросовъ, писалъ онъ, — и мы съ м-ромъ Бенджаминомъ занялись истолкованіемъ ихъ въ формѣ катехизиса. Признаете-ли вы меня компетентнымъ истолкователемъ темныхъ вопросовъ послѣ тѣхъ ошибокъ, которыя я надѣлалъ, когда вы совѣтовались со мною въ Единбургѣ? Я откровенно признаю, что послѣдующія событія доказали ошибочность моихъ взглядовъ: я вполне заблуждался, стараясь удержать васъ отъ вторичнаго посѣщенія Декстера, и отчасти заблуждался, подозрѣвая Декстера въ убійствѣ покойной м-съ Мокаланъ, тогда какъ онъ, оказывается, былъ только косвенной причиной ея смерти“.

„Новый катехизисъ“, какъ называлъ его м-ръ Плейморъ, раздѣлялся на двѣ группы вопросовъ и отвѣтовъ. Въ первой: о дневникѣ Юстаса разсматривались два вопроса: 1) Доставая посредствомъ поддѣланнаго ключа дневникъ своего друга, знали-ли Декстеръ объ его содержаніи? По всей вѣроятности, нѣтъ, а просто, видя, какъ старательно прячетъ Юстасъ свой дневникъ, онъ заключилъ, что въ немъ должна была таиться семейная тайна, и рѣшился воспользоваться ею для своей личной цѣли. 2) Почему Мизеримусъ Декстеръ противился захвату дневника полицейскими чиновниками? Онъ самъ на это отвѣчалъ въ послѣднюю минуту передъ окончательнымъ помѣшательствомъ: „Дневникъ приведетъ его къ висѣлицѣ; я не хочу, чтобъ его повѣсили“. Хотя онъ тайно ненавидѣлъ Юстаса, какъ своего счастливаго соперника, и всячески старался убѣдить его жену бѣжать съ нимъ, но онъ не былъ до того низокъ, чтобъ отказаться спасти невиннаго человѣка отъ появленія на скамьѣ подсудимыхъ, когда отъ него это зависѣло, и потому, если-бъ полицейскіе его не предупредили, онъ навѣрное уничтожилъ-бы дневникъ, предвидя его роковое значеніе на судѣ. Второй отдѣлъ: *объ исповѣди жены*, также состоялъ изъ

двухъ вопросовъ: 1) Почему Декстеръ не уничтожилъ письма, найдя его подъ подушкой умершей? Тѣ-же причины, которыя побуждали его противиться захвату дневника, очевидно, заставили его сохранить письмо до произнесения приговора судомъ, и въ случаѣ признанія виновнымъ Юстаса, онъ, конечно, представилъ-бы это явное доказательство его невиновности. 2) Чѣмъ объяснить поведение Мизеримуса Декстера въ отношеніи м-съ Валеріи Мокалантъ? Безъ сомнѣнія, страхомъ, чтобы новыя розысканія не открыли какого-нибудь свидѣтеля, видѣвшаго, какъ онъ тайно входилъ въ комнату покойной въ роковую ночь ея смерти, а также ненавистью къ м-съ Бьюли, которую онъ такъ искренно ненавидѣлъ.

Вотъ въ краткихъ словахъ содержаніе этого катехизиса. Прочтя его, Бенджаминъ спросилъ:

— Считаете-ли вы, что остается еще какой-нибудь вопросъ необъясненнымъ?

Я задумалась, но рѣшительно не могла вспомнить ничего важнаго, требовавшаго истолкованія. Впрочемъ, былъ одинъ предметъ, который я уже давно желала себѣ вполне уяснить.

— Вы когда-нибудь разговаривали съ м-ромъ Шлейморомъ о любви моего мужа къ м-съ Бьюли? спросила я.— Не объясняли-ли онъ вамъ, почему Юстасъ не женился на ней послѣ окончанія суда?

— Я спрашивалъ объ этомъ м-ра Шлеймора, отвѣчалъ Бенджаминъ, — и онъ рассказалъ мнѣ, что м-ръ Юстасъ совѣтовался съ нимъ, какъ съ своимъ другомъ и адвокатомъ, насчетъ письма къ м-съ Бьюли, которое онъ и повторилъ мнѣ почти слово въ слово. Если вы желаете, я, на-сколько припомню, передамъ вамъ его.

Я выразила желаніе и узнала отъ Бенджамина то-же самое, что нѣкогда мнѣ рассказалъ Мизеримусъ Декстеръ. М-съ Бьюли была свидѣтельницею публичнаго позора моего мужа, и этого было достаточно, чтобъ помѣшать ему жениться на ней. Онъ покинулъ ее по той самой причинѣ, по которой онъ уѣхалъ отъ меня. Жизнь съ женщиной, которая знала, что онъ судился за убійство, казалась ему невозможной. Оба разказа, какъ Бенджамина, такъ и Декстера, вполне согласовались другъ съ другомъ. Такимъ образомъ, моя ревность была успокоена, и Бенджаминъ могъ, покончивъ съ прошедшимъ, приступить къ болѣе интереснымъ и животрепещущимъ вопросамъ о будущемъ.

Прежде всего онъ спросилъ, имѣлъ-ли Юстасъ какія-нибудь подозрѣнія насчетъ того, что произошло въ Гленингѣ.

Я передала ему мой разговоръ съ мужемъ, результатомъ котораго была отсрочка рокового объясненія.

— М-ръ Плейморъ чрезвычайно обрадуется этому извѣстію, сказалъ Бенджаминъ, просіявъ: — онъ очень боялся, чтобъ наше открытіе не повредило вашимъ добрымъ отношеніямъ къ мужу. Съ одной стороны, онъ желалъ-бы избавить м-ра Юстаса отъ отчаянія, которое, конечно, возбудитъ въ немъ чтеніе исповѣди его первой жены, но, съ другой стороны, невозможно по чувству справедливости къ вашимъ будущимъ дѣтямъ уничтожить документъ, который освобождаетъ имя отца ихъ отъ позорной тѣни, брошенной приговоромъ шотландскихъ присяжныхъ.

Я внимательно слушала Бенджамина. Онъ затронулъ вопросъ, который по временамъ очень беспокоилъ меня.

— Какъ-же м-ръ Плейморъ думаетъ выйдти изъ этого затрудненія? спросила я.

— Онъ предлагаетъ, отвѣчалъ Бенджаминъ, — запечатать оригиналъ найденнаго письма и приложить къ нему описаніе обстоятельствъ его находки, засвидѣтельствованное вашей и моей подписью. Послѣ этого онъ предоставляетъ вамъ объяснить обо всемъ случившемся вашему мужу, когда вы найдете удобнымъ, и тогда уже м-ръ Юстасъ рѣшитъ, распечатать-ли ему самому пакетъ или оставить его запечатаннымъ въ наслѣдство дѣтямъ, которыя уже по достиженіи совершеннолѣтія рѣшатъ вопросъ объ обнародованіи письма. Согласны вы на это или желаете, чтобъ м-ръ Плейморъ самъ переговорилъ съ вашимъ мужемъ?

Не колеблясь ни минуты, я взяла всю отвѣтственность на себя, считая, что мое вліяніе на Юстаса было гораздо сильнѣе вліянія м-ра Плеймора. Бенджаминъ вполне одобрилъ мою рѣшимость и тотчасъ принялся за письмо къ м-ру Плеймору.

— Прикажете еще что-нибудь сказать ему? спросилъ Бенджаминъ, отрывая свой портфель.

Я вспомнила о Мизеримусѣ Декстерѣ и спросила, не было-ли извѣстій о немъ и объ Аріель.

— Конецъ несчастнаго, повидимому, близокъ, сказалъ Бенджаминъ, тяжело вздохнувъ; — происшедшая въ немъ перемѣна гро-

вить нервнымъ ударомъ. Вы, можетъ быть, на-дняхъ получите извѣстіе объ его смерти.

— А Аріель? спросила я.

— Живетъ по-старому, отвѣчалъ Бенджаминъ; — она совершенно счастлива, пока находится при „своемъ господинѣ“. Она не считаетъ Декстера смертнымъ, смѣется, когда ей говорятъ, что онъ умретъ, и вполне увѣрена, что онъ рано или поздно узнаетъ ее.

Слова Бенджамина меня очень огорчили и я со слезами на глазахъ вышла изъ комнаты.

ГЛАВА I.

Конецъ моего разсказа.

Спустя десять дней мы возвратились въ Англію съ разрѣшенія докторовъ и въ сопровожденіи Бенджамина.

Дошъ м-съ Мокаланъ въ Лондонѣ былъ очень помѣстительный и мы съ радостью приняли ея приглашеніе поселиться у нея до моихъ родовъ и окончательнаго устройства нашей будущей жизни.

Вскорѣ послѣ пріѣзда въ Англію я получила грустное извѣстіе о смерти Декстера. Онъ очень медленно и тихо разстался съ жизнью. За нѣсколько часовъ до смерти онъ пришелъ въ себя, узналъ Аріель, сидѣвшую у его постели, назвалъ ее по имени и спросилъ обо мнѣ. Докторъ хотѣлъ послать за мной, но прежде, чѣмъ отправился посланный, все уже было кончено. Мизеримусъ Декстеръ торжественно произнесъ: „Молчите! Моя голова устала, я хочу спать“; закрылъ глаза — и заснулъ вѣчнымъ сномъ. Такимъ образомъ кончилась жизнь этого страннаго, многосторонняго существа, ознаменованная несчастіями и преступленіями, проблесками поэтическаго таланта и юмора, фантастической веселостью, эгоизмомъ и жестокостью.

Аріель жила только для своего господина, и что-жь ей было дѣлать послѣ его смерти? Она могла только умереть.

Ей дозволили присутствовать при похоронахъ Декстера, въ надеждѣ, что эта церемонія убѣдитъ ее въ его смерти. Но эта надежда была тщетной; она упорно отрицала, чтобъ „господинъ“

оставилъ ее. Она едва не бросилась въ могилу вслѣдъ за гробомъ и ее силою должны были отвести домой. Впродолженіи нѣсколькихъ недѣль она то находилась въ припадкахъ бѣшенства, то въ забытій. Около этого времени происходилъ въ домѣ умалишенныхъ ежегодный балъ и обычный надзоръ за пациентами былъ нѣсколько ослабленъ. Около полуночи поднялась тревога: пропала Аріель. Сидѣлка, видя, что она заснула, вышла тихонько изъ комнаты и отправилась въ залу посмотришь на танцы. По ея возвращеніи Аріель въ комнатѣ не оказалось. Присутствіе гостей и общая суматоха доставили ей случай къ бѣгству. Всѣ поиски втеченіи ночи не привели ни къ чему, а на другое утро ее нашли мертвой на могилѣ Мизеримуса Декстера. Вѣрная Аріель послѣдовала за своимъ господиномъ!

Отъ этого грустнаго эпизода я перейду къ болѣе веселому предмету.

Я совершенно потеряла изъ вида маіора Фицъ-Дэвида послѣ его памятнаго обѣда, на которомъ я встрѣтилась съ леди Клариндой. Я почти совершенно о немъ забыла, какъ вдругъ современный Донъ-Жуанъ напомнилъ мнѣ о своемъ существованіи, приславъ пригласительные билеты на свою свадьбу. Маіоръ, наконецъ, остепенился, и, что было еще удивительнѣе, его выборъ палъ на „будущую царицу пѣнія“, черезчуръ разодѣтую молодую дѣвушку съ рѣзкимъ soprano.

Мы отправились съ визитомъ къ маіору Фицъ-Дэвиду и были очень огорчены тѣмъ, что видѣли.

Брачные узы такъ измѣнили моего бывшаго веселаго, блестящаго поклонника, что я едва его узнала. Онъ болѣе не имѣлъ никакихъ притязаній на молодость и сталъ совершенно безпомощнымъ старикомъ. Стоя за кресломъ, на которомъ возсѣдала его величественная супруга, онъ смиренно поглядывалъ на нее между каждымъ словомъ, какъ-бы прося позволенія продолжать разговоръ; когда-же она его перебивала, что случалось очень часто, то онъ смотрѣлъ на нее съ униженной покорностью и дѣтскимъ восторгомъ.

— Не правда-ли, красавица? сказалъ онъ мнѣ въ присутствіи своей жены. — Какъ сложена! Какой голосъ! Вы помните, какъ она пѣла? Это невознаграждаемая потеря для оперы. Думая иногда о славѣ, которой она могла достигнуть, я нахожу, что не имѣлъ

права, на ней жениться и что ограбилъ публику, лишивъ ее такого удовольствія.

Что касается предмета всѣхъ этихъ похвалъ и сожалѣній, то бывшая пѣвица приняла меня очень милостиво, какъ стараго друга, и пока Юстасъ разговаривалъ съ маіоромъ, она отвела меня въ сторону и съ непостижимымъ цинизмомъ объяснила причины, побудившія ее выйти замужъ.

— У меня большое семейство, сказала она шопотомъ;—хорошо болтать о „царицѣ пѣнія“ и т. д., но я часто бывала въ оперѣ и достаточно училась пѣнію, чтобы знать, какихъ трудовъ стоитъ сдѣлаться хорошей пѣвицей. У меня не хватитъ терпѣнія, чтобы работать, какъ всѣ эти безстыжія иностранки, которыхъ я ненавижу отъ глубины души. Нѣтъ, нѣтъ. Между нами, гораздо было легче женить на себѣ старика и этимъ путемъ достать денегъ. Теперь я и все мое семейство обезпечены. Я люблю своихъ, я хороша дочь и сестра. Посмотрите, какъ я одѣта, какая у меня квартира. Не правда-ли, я сдѣлала хорошую аферу? Очень удобно выходить замужъ за старика: имъ можно вертѣть какъ угодно. Я совершенно счастлива, и надѣюсь, что вы тоже счастливы. Гдѣ вы живете? Я въ вамъ заѣду на-дняхъ и мы поговоримъ на-досугѣ. Вы мнѣ всегда нравились, и теперь, когда я такая-же леди, какъ вы, мы будемъ друзьями.

Я отвѣчала очень холодно, рѣшившись не пускать ее черезъ порогъ моего дома. Я не могла смотрѣть на нее безъ отвращенія. Женщина, продающая себя мужчинѣ, остается столь-же презрѣннымъ созданіемъ, хотя-бы этотъ торгъ былъ случайно освященъ закономъ и церковью.

Написавъ эти строки, я мысленно переносусь къ послѣдней сценѣ моего разсказа.

Спальня: двое лежатъ въ постели,—съ вашего позволенія, читатели,—я и мой сынъ. Ему минуло три недѣли и онъ спитъ подлѣ своей матери. Добрый дядя Старквэтеръ долженъ пріѣхать на-дняхъ для его крестинъ. М-съ Мокаланъ будетъ крестной матерью, а Бенджаминъ и м-ръ Шлейморъ—крестными отцами.

Докторъ только-что ушелъ въ большомъ смущеніи. Онъ нашелъ меня, какъ обыкновенно въ послѣдніе дни, въ креслѣ, но увидавъ симптомы непонятной для него слабости, онъ приказалъ мнѣ лечь въ постель. Дѣло въ томъ, что я скрыла отъ доктора дѣйствитель-

ныя причины замѣченной имъ во мнѣ странной пережѣны: безпокойство и сомнѣніе.

Я, наконецъ, рѣшилась исполнить обѣщаніе, данное мужу еще въ Парижѣ. Онъ теперь знаетъ, какимъ образомъ найдена исповѣдь его первой жены, и что, согласно мнѣнію м-ра Плеймора, этотъ документъ можетъ публично въ судѣ доказать его невиновность, а также, что эта исповѣдь до сихъ поръ сохранилась отъ него въ тайнѣ ради его спокойствія и изъ уваженія къ памяти несчастной женщины, бывшей нѣкогда его женой.

Все это я сообщила мужу не словесно, а письмомъ. Онъ теперь имѣлъ уже достаточно времени, чтобы обдумать все въ тиши своего кабинета, и я жду его, держа въ рукахъ страшный конвертъ; рядомъ въ комнатѣ находится свекровь. Мы обѣ ждемъ роковой минуты, когда онъ рѣшитъ, отрывать или нѣтъ конвертъ.

Минуты идутъ за минутами, а онъ все не является. Сомнѣніе и безпокойство терзаютъ меня все болѣе и болѣе. Видъ этого письма мнѣ ненавистенъ. Я его кладу то на одно мѣсто, то на другое, но все-же не могу оторвать отъ него глазъ. Наконецъ, я поднимаю ручку спящаго ребенка и кладу ее на письмо, чтобъ очистить прикосновеніемъ олицетворенной невинности эту мрачную повѣсть страданія и преступленія.

Проходитъ полчаса и, наконецъ, онъ тихо входитъ въ комнату. Онъ смертельно блѣденъ и на щекахъ его слѣды слезъ, но онъ вполне владѣетъ собою. Онъ, очевидно, ради меня переждалъ въ своемъ кабинетѣ, пока волненіе въ немъ стихло.

— Валерія, говоритъ онъ, нѣжно цѣлуя мою руку, — прости меня еще разъ за все, что я нѣкогда говорилъ и дѣлалъ. Я теперь понимаю одно—что найдено доказательство моей невинности и что этимъ я всецѣло обязанъ преданности и мужеству моей жены.

Впродолженіи нѣсколькихъ минутъ я съ жадностью упивалась этими сладостными для меня словами и не сводила глазъ съ его лица, сіявшаго любовью и благодарностью. Потомъ, собравшись съ силами, я предлагаю ему вопросъ, отъ котораго зависитъ вся наша будущность:

— Хочешь ты видѣть письмо, Юстасъ?

Онъ вмѣсто отвѣта спрашиваетъ:

— Письмо у тебя здѣсь?

— Да.

— Запечатанное?

— Да.

— Прежде, чѣмъ я отвѣчу, дай мнѣ хорошенько понять, въ чемъ дѣло, произносить онъ послѣ минутнаго молчанія;—если я настою на прочтеніи письма...

Хотя мой долгъ былъ-бы молчать, но я перебила его:

— Милый мой, не читай письма, пожалуйста, пожалуйста...
Пожалѣй себя...

— Я думаю не о себѣ, произносить онъ, дѣлая знакъ рукой, чтобъ я замолчала, — а о моей покойной женѣ. Если я откажусь отъ публичнаго доказательства моей невиновности при моей жизни и оставлю конвертъ нераспечатаннымъ, то полагаешь-ли ты, вмѣстѣ съ м-ромъ Плейморомъ, что я поступлю гуманно и справедливо къ памяти покойной жены?

— Въ этомъ не можетъ быть и сомнѣнія, Юстасъ.

— Заглажу-ли я этимъ хоть немного тѣ страданія, которыя я могъ невольно причинить ей во время ея жизни?

— Да, да!

— И тебѣ это будетъ пріятно, Валерія?

— Да, радость моя!

— Гдѣ письмо?

— Въ рукахъ у твоего сына, Юстасъ.

Онъ подноситъ къ губамъ розовую ручку ребенка. Нѣсколько минутъ онъ стоитъ молча, погруженный въ тяжелую думу. Я едва перевожу дыханіе. Свекровь пріотворяетъ дверь и слѣдитъ за нами. Черезъ минуту всѣ мои сомнѣнія разсѣялись. Тяжело вздохнувъ, Юстасъ кладетъ ручку ребенка обратно на запечатанное письмо, какъ-бы говоря: „я тебѣ это оставляю“.

Такимъ образомъ кончается мой рассказъ. Я не ожидала такого конца, и, вѣроятно, вы, читатель, ожидали другого. Но кто знаетъ свою судьбу? Кому извѣстно, чѣмъ кончатся его самыя за вѣтныя надежды?

Болѣе мнѣ нечего сказать и я только позволю себѣ обратиться къ вамъ, добрые читатели, съ просьбой не относиться очень

строго къ моему мужу. Браните меня сколько хотите, но пожалуйста будьте снисходительны къ Юстасу.

Конецъ.

ДВА СЛОВА ЧИТАТЕЛЮ.

Посвящается Ренье (Du théâtre français) въ знакъ уваженія къ великому актеру и любви къ истинному другу.

Предлагая вамъ, читатель, эту книгу, я, конечно, не думаю писать предисловія. Я считаю долгомъ только просить васъ сохранить въ памяти нѣсколько всемі [признанныхъ истинъ, которыя, однакожь, часто забываются при чтеніи романовъ. Поэтому, прошу васъ, помните: 1) что человѣческія дѣйствія не всегда руководствуются законами чистаго разума; 2) что мы не всегда любимъ тѣхъ людей, которые, по мнѣнію нашихъ друзей, всего болѣе этого заслуживаютъ, и, наконецъ, 3) что лица, которыя, быть можетъ, не являлись, и событія, которыя, быть можетъ, не происходили на ограниченной сценѣ нашей индивидуальной жизни, могутъ все-же быть вполне естественными, живыми лицами и дѣйствительными, вѣроятными событіями.

Уильяи Колинъ.

1 февраля 1875 года.

Г А Ш И Ш Ъ.

Разсказъ туркестанца.

(Посвящается В. В. Стасову.)

Ты видишь, ликъ мой тощъ и блѣденъ;
Я нищъ и старъ; я скорбью съѣденъ.
Я былъ и молодъ, и богатъ—
Я расточилъ свое богатство;
Промчалась юность; много кратъ
Враговъ извѣдалъ я злорадство
И лживую печаль друзей:
То казнь была моей гордынѣ.
Ужъ мнѣ не жаль минувшихъ дней!
Съ судьбою примирившись нынѣ,
Я въ потѣ дряхлаго лица
Тружусь и жизни жду конца;
Но памятенъ мнѣ день ужасный,
Когда, презрѣнный и несчастный,
Одинъ, безъ крова, въ поздній часъ,
Я очутился въ первый разъ.

Ужъ тѣню Самаркандъ покрылся,
Народъ съ базара расходился,
Дервиша смолкъ унылый крикъ,
Закрылся торгъ, кончались споры...
Дородный сартъ, сѣдой старикъ,
Съ усильемъ надвигалъ запоры
На двери лавочки; огонь
Блеснулъ въ потемкахъ; чей-то конь,
Понура голову, лѣнливо
Брель безъ хозяина домой.
Все утихало, лишь порой

По сонной улицѣ пугливо
 Перебѣжать изъ дома въ домъ
 Спѣшила женщина; потомъ,
 Какъ мышь, въ тѣни двора скрывалась —
 И вновь молчанье водворялось.
 Счастливый часъ для богачей!
 Ихъ ждуть объятья женъ стыдливыхъ
 Иль пиръ въ кругу друзей шумливыхъ,
 При пляскѣ молодыхъ *батчей*.
 Ужъ за стѣной раздались клики,
 И музыки веселый звукъ,
 И пляски быстрой топоть... Вдругъ
 Смятенье, ревъ несется дивій:
 Батча лукавый угодилъ,
 Восторгъ собранье охватилъ;
 Бѣгутъ, и мечутся, и стонуть...
 Но вотъ опять всѣ звуки тонуть
 Въ ночномъ молчаніи...

Луна

Изъ-за садовъ свой ликъ являла
 И городъ сонный освѣщала.
 Въ ту ночь казалась мнѣ она
 Блѣдна и зла. Людьюми забытый,
 Къ стѣнѣ прижавшись нѣмой,
 Съ понижею долу головой
 Стоялъ я; злобой ядовитой
 Томилася больная грудь, —
 Мнѣ было негдѣ отдохнуть!
 И о судьбѣ своей жестокой
 Въ тиши я плакалъ одинокій;
 Но нищему внималъ Алла;
 Къ нему печаль моя дошла:
 Онъ помощь мнѣ послалъ неожиданно.
 Вдругъ, вижу я, — передо мной
 Старикъ съ дрожащей головой
 Стоитъ; таинственно и странно
 Мерцаетъ безпокойный взглядъ
 Очей, луною озаренныхъ;
 Въ устахъ, усмѣшкой искривленныхъ,
 Зубовъ темнѣеть черный рядъ...
 И звуки вкрадчиваго слова
 Я слышу въ тишинѣ ночной:

— О чемъ ты плачешь?—Я безъ крова.

— Кто ты?—Наказанный судьбой,

За то, что...—Удержись! Причину

Мнѣ знать не нужно; проходя,

Въ ночи твой плачь услышалъ я

И захотѣлъ твою кручину

Совѣтомъ мудрымъ облегчить.

— Отстань, старикъ! Твое участие

Не нужно мнѣ; мое несчастье

Никто не можетъ изцѣлить!

— Смири порывъ гордыни ложной.

Вотъ кошелекъ; мой даръ ничтожный

Прими и слушай: средство есть

Въ печаляхъ вѣдать наслажденье

И, позабывъ судьбы гоненье,

Съ отрадой бремя жизни несть.

Ты плачешь; но въ земной юдоли

Унынья, нищеты, заботъ!

Алла спасенье подаетъ

Рабамъ его священной воли.

Алла могучъ! Гашиша дымъ

Для счастья нищихъ созданъ имъ!

Скорѣй-же, горемъ отягченный,

Иди въ пріютъ уединенный,

Струю волшебную вдыхай,—

И тяжесть скорби безысходной

Съ души спадетъ, и, вновь свободный,

Ты на землѣ познаешь рай.

Сказалъ и быстро удалился,

Оставивъ даръ въ рукѣ моей...

Въ кофейнѣ огонекъ свѣтился,—

Шатаясь, побрелъ я къ ней.

Вошелъ... Средь дымнаго тумана

Сидѣли люди вокругъ кальяна!

Кто самъ съ собою велъ разговоръ,

Кто, на огонь, уставивъ взоръ,

Въ торжественномъ оцѣпенѣннѣ,

Казалось, созерцалъ видѣнье;

Кто, мирно голову склонивъ,

На грудь, въ дремоту погружался,

Кто пѣньемъ сладкимъ упивался...

Я сълъ угрюмъ и молчаливъ,
 Чубукъ схватилъ рукою жадной,
 Вдохнулъ гашиша дымъ отраднѣй
 И дожидаться сталъ. Порой,
 Объятъ невѣдомой мечтой,
 Кофейни гость въ восторгѣ дикомъ
 Вставалъ и хохотомъ, и крикомъ
 Вертелъ убогій оглашалъ;
 Тогда хозяинъ прибѣгалъ,
 Чтобы унять безумца бранью;
 Но, преданъ чудному мечтанью,
 Окрестъ не видя ничего,
 Счастливецъ презиралъ его
 Ничтожнѣй гнѣвъ и въ плясъ пускался.
 Но вдругъ почудилось мнѣ,
 Что самъ, какъ-будто въ странномъ снѣ,
 Я громкимъ смѣхомъ заливался.
 Да гдѣ-же горе?—Горя нѣтъ!
 О чемъ я плакалъ такъ недавно?
 На что сердился своенравно?
 Мнѣ счастье нѣжнѣй плетъ привѣтъ!
 Я все забылъ... я въ упоеньи...
 То было райское мгновенье!
 Я понялъ, что гашиша дымъ
 Ужъ духомъ властвовалъ моимъ.

Быть можетъ, житель странъ холодныхъ,
 Суровыхъ, темныхъ и бесплодныхъ,
 Не вѣдалъ ты въ снѣгахъ своихъ
 О чудныхъ таинствахъ Востока?
 Я расскажу тебѣ о нихъ
 Во славу Бога и Пророка.
 Внемли-жь словамъ моимъ, пришлецъ,
 И вѣрь правдивому разсказу!
 За слово лжи пускай Творецъ
 Пошлетъ на плоть мою заразу,
 Пусть изсушитъ источникъ водъ
 Мнѣ на пути въ степяхъ горючихъ
 И облакомъ песковъ летучихъ
 Мой трупъ истлѣвшій занесетъ!

Забывъ житейскія тревоги,
 Унылыхъ мыслей не тая,

Сижу я, весель, какъ дитя!
 Куда ни обращаю взоры,
 Повсюду дивные узоры
 И разноцвѣтные ковры,
 Роскошной Персїи дары;
 Шелками шитые халаты,
 Въ сїяньи золота чалмы,
 За мигъ—и блѣдны, и темны,
 Теперь—прекрасны и богаты,—
 Пестрѣютъ ярко предо мной
 На войлокѣ, поджавши ноги,
 Игривой, радужной красой!
 А люди, люди! Не похожи
 Они вдругъ стали на людей:
 Забавный видъ! Какія рожи!
 То сонмъ невиданныхъ звѣрей!
 Одинъ вѣтвистыми рогами
 Товарища бодаетъ въ бокъ;
 Другой, съ руками и ногами
 Въ ковровый спрятавшись мѣшокъ,
 Клубочкомъ по полу катится;
 Кто выросъ вдругъ до потолка,
 А кто сталъ мельче паука...
 Все пляшетъ, мечется, кружится—
 Быстрѣй, быстрѣй—и, увлеченъ
 Въ туманъ дикаго вращенья,
 Изъ глазъ теряю я видѣнья
 И вдругъ, какъ-будто дальній стонъ,

Раздался звонъ.
 Такъ чуденъ онъ,
 Что, упоенъ,
 Я въ сладкій сонъ
 Имъ погруженъ
 И все вкругомъ,
 Объято сномъ,

Внимаетъ въ сумракѣ нѣмомъ,
 Какъ, потрясая небосклонъ,

Несется онъ,
 Тотъ дивный звонъ.

Звонъ—и широко раскрылися зѣницы;

Звонъ—я на волѣ; подулъ вѣтерокъ;
 Звонъ—пробудилися пѣвчія птицы,
 Алой зарей разгорѣлся востокъ.
 Съ звономъ сливаются новые звуки:
 Капельъ роса съ оживленныхъ деревъ,
 Вѣтви въ одеждѣ зеленыхъ листовъ
 Манятъ меня, какъ мохнатая руки,
 Въ темныя сѣни роскошныхъ садовъ.

Ропщутъ тамъ воды—прозрачныя воды!
 Къ нимъ, покидая узорные своды
 Пышныхъ гаремовъ, веселой гурьбой
 Жены эмира съ зарей прибѣгаютъ,
 Пѣсни ихъ громкія. страсть распалютъ,
 Будять желанья въ груди молодой...
 Крѣпкія стѣны красу ихъ скрываютъ...
 Но, какъ тигрица на гриву коня,
 Бѣшено на стѣну кинулся я.

Прыгнуль—и вотъ за ревнивой оградой
 Жадно дышу благовонной прохладой; ..
 Спрятавшись въ чащѣ кудрявыхъ кустовъ,
 Жду я видѣній; но тѣхъ голосовъ,
 Что долетали ко мнѣ за мгновенье,
 Смогло волшебнo-лукавое пѣнье.
 Все въ неподвижно-нависшихъ садахъ
 Пусто... Но чу! Недалеко въ кустахъ
 Слышится шопотъ, призывъ потаенный:

„Спѣши, мой яхонтъ драгоцѣнный,
 Ко мнѣ, ко мнѣ! Я здѣсь одна;
 Тревогой грудь моя полна.
 Я жажду наслажденій новыхъ,
 Безумныхъ, молодыхъ страстей.
 Я ускользнула отъ очей
 Эмира евнуховъ суровыхъ,
 Чтобъ убѣжать съ тобою въ даль.
 Ужель тебѣ меня не жаль?
 Я молода... не въ силахъ долѣ
 У старика скучать въ неволѣ;
 Возьми меня, люби меня.
 Ты смѣль и молодѣ—я твоя!“
 И та, чей голосъ соловьиный

Меня такъ чудно призываль,
 Явилась мнѣ и станъ змѣнный
 Къ груди съ восторгомъ я прижалъ.
 Меня отталкивали руки,
 „Боюсь... ступай...“ шепталъ языкъ,
 „Не уходи“, съ улыбкой муки
 Молилъ откинувшійся ликъ.
 Я видѣлъ взоръ сердито-нѣжный
 Сквозь сѣтъ опущенныхъ рѣсницъ:
 Пылалъ онъ страстію мятежной,
 Какъ туча, полная зарницъ!
 Я чуялъ сердца трепетанье
 (Такъ голубъ бьется молодой
 Въ когтяхъ орла, еще живой)...
 И жгло меня любви дыханье,
 Какъ вихрь пустыни, въ страшный часъ,
 Когда, играя и кружась,
 Самумъ съ полудня влетаетъ
 И караваны замедляетъ
 Горячей пылью...

◆ Чудный сонъ!

Какъ дымъ мгновенный, скрылся онъ.
 Въ волнахъ неожиданныхъ тьмы глубокой
 Призывъ промчался одинокій,
 Прощальный, беспомощный стонъ!
 И страхъ предъ местию жестокой
 Внезапно душу обуялъ...
 То было краткое мгновенье;
 Но непостижное мученье
 Я въ то мгновенье испыталъ!
 Темницы тѣсной мракъ и холодъ,
 Терзанье пытки, жажду, голодъ,
 Неумолимый гнетъ оковъ...
 Казалось мнѣ—рои клоповъ
 Въѣдались въ плоть мою; землю
 Я былъ засыпанъ съ головою *);
 Я погибалъ!

*) Среднеазиатскіе деспоты сажаютъ преступниковъ въ *зиданъ*—тѣсную подземную темницу, наполненную клопами.

И вдругъ на мигъ,
 Среди ужаснаго мечтанья,
 Во мнѣ проснулся лучъ сознанья;
 Въ кофейнѣ я услышалъ крикъ:
 „Вяжи его!“ — и въ то-жь мгновенье
 Я навзничъ съ грохотомъ упалъ,
 И кто-то руки мнѣ связалъ,—
 И вновь насмѣшки, брань и пѣнье...
 Но скоро въ вихрѣ новыхъ думъ
 Исчезъ земли презрѣнный шумъ.

И чую я—крылья растутъ за плечами,
 Орлиныя крылья! И тучи кругомъ
 Таинственно шепчуть, несутся клубами...
 Вдругъ молніи блескъ, оглушительный громъ...
 И мчусь я въ пространствѣ, обвитый грозой,
 Любуясь съ неба далекой землею.
 Тамъ лентой серебристою вьется рѣка,
 Въ ней такъ-же, какъ въ небѣ, бѣгутъ облава!
 Склонившись на берегъ, ауль одинокій
 Задумчиво дышетъ прохладой волны,
 А справа и слѣва по степи широкой
 Пасутся киргизскихъ коней табуны;
 И вижу я въ дымкѣ степнаго тумана—
 Торжественно движется цѣпь каравана.
 Мнѣ слышится шорохъ песчаныхъ зыбей,
 Шаганье верблюдовъ и ржанье коней;
 Цвѣтистой, сверкающей, длинною цѣпью
 Плывутъ, извиваясь надъ желтою степью,
 Лѣниво колеблясь, взрывая пески,
 И ярко на солнцѣ бѣлѣютъ тюки;
 А черныя кони, какъ черныя тучи,
 То медлятъ, то мчатся, послушно могучи.
 Вотъ близится всадникъ... Отецъ мой, отецъ!
 Тебя я узналъ! Посмотри, твой птенецъ,
 Давно отъ гнѣзда непогодой отбитый,
 Тобою, быть можетъ, уже позабытый
 Опять отыскался... Тебя онъ зоветъ,
 Къ тебѣ онъ летить... Но безплоденъ полетъ:
 Скрывается призракъ степнаго обмана
 И нѣтъ ужъ верблюдовъ, коней, каравана...

Безлюдно все снова вокругъ.
 Не бьются усталыя крылья,
 Съ уныньемъ и стономъ безсилья
 На землю я падаю вдругъ.

И вотъ ужь одинъ
 Среди мертвыхъ равнинъ
 Лежу на пескѣ
 Въ безмолвной тоскѣ,
 А хищникъ степной,
 Орелъ, надо мной
 Летаеть, кружить,
 Въ глаза мнѣ глядитъ—
 И, страхомъ объять,
 Я понялъ тотъ взглядъ!

Онъ говорилъ съ насмѣшкою спокойной:
 Усни, усни недвижнымъ, мертвымъ сномъ!
 Пусть солнца лучъ въ степи пылаеть знойной:
 Накрою я тебя своимъ крыломъ.

Зачѣмъ держать въ умѣ пустыя грезы?
 Зачѣмъ блестить въ глазахъ твоихъ слеза?
 Я съѣмъ твой умъ, я выпью эти слезы,
 Я выключу ненужные глаза.

Мятежныя волнуютъ сердце страсти—
 Я сердце отыщу въ груди твоей
 И выну вонъ, и разорву на части:
 Оно умереть для горя и страстей!

И звѣрь придетъ, прожорливый и смѣлый,
 И хлынетъ дождь, и вѣтеръ набѣжитъ;
 Надъ грудю костей сухой и бѣлой
 Вновь солнца лучъ веселый заблеститъ.

Но и тогда тебя я не покину:
 И день, и ночь, орелъ сторожевой,
 Я стану крикомъ оглашать равнину
 И охранять костей твоихъ покой!

Я молча внималъ.

Орелъ подлеталъ
 Все ближе ко мнѣ...

Но вдругъ въ тишинѣ

Дрогнула степь, поднимается ропоть,

Шумъ и оружіѣ бряцанье, и топоть.
 Вижу: несутся, какъ вѣтеръ легки,
 Всадники... Врагъ!.. Ты творишь-ли молитвы?
 Сабли ихъ остры; какъ лѣсъ, бунчуки
 Подняты, вьются, предвѣстники битвы.
 „Полно, товарищъ, покоиться, встань!
 Вѣрному-ль время терять за мечтами?
 Вотъ тебѣ конь и оружье; за нами
 Ты поспѣши на великую брань.

Съ края земли,
 Въ знойной пыли,
 Звукъ,
 Стукъ
 Слышенъ въ дали.
 То не обманъ,
 Бьетъ барабанъ:
 Тамъ
 Къ намъ
 Съ западныхъ странъ
 Вышли полки,
 Блещутъ штыки.
 Въ строй!
 Въ бой!
 Близки враги!“

И кони съ весельемъ заржали, и въ сѣчу
 Быстрѣ крылатыхъ, погибельныхъ стрѣлъ
 Помчались невѣрнымъ гаурамъ на-встрѣчу...
 И сталь засверкала, и бой загудѣлъ.
 Вихрь пыли и крови взвился надъ землею:
 Мелькаютъ въ немъ головы пестрой толпою,
 Горящія очи, изсохшія губы,
 Странаньемъ и злобою сжатые зубы,
 Въ крови распростертые стройные станы,
 Предсмертные взоры и смертныя раны...
 Но вотъ, перегнувшись на бѣломъ конѣ,
 Невѣдомый воинъ несется ко мнѣ:
 Властить его сабля, звенять его шпоры,—
 То русскій, то врагъ! Наши встрѣтились взоры...
 Гроза мнѣ, привсталъ онъ на легкомъ сѣдлѣ;
 Ужъ вижу морщины на старомъ челѣ,
 Нарядъ боевой и на бляхахъ насѣчку,

И красныя ноздри коня, и уздечку...
 Мгновенье—и бой загорится на смерть.
 Я дрогнуль... Взглянулъ на далекую твердь:
 Тамъ, съ пристальнымъ взглядомъ, зловѣще-унылый,
 Надъ битвой парилъ Азраилъ длиннокрылый;
 Базалось, онъ въ битвѣ кого-то искалъ...
 Нашель—и, сраженный, съ коня я упалъ!
 И конь мой, испуганъ, взвился надо мною,
 Какъ буря, дыша и гремя въ вышинѣ;
 Взвился, покачнулся и черной скалою
 Внезапно застылъ. И почудилось мнѣ,
 Что неба достигъ головой онъ косматой,
 Что бой раздавилъ онъ, что грудью поднятой
 Затмилъ лучезарное солнце. Вокругъ
 Все тѣнью ночью покрылося вдругъ
 И звѣзды блеснули, и мѣсяцъ далекий,
 Серпомъ перегнувшись, въ лазури глубокой
 Повиснулъ, антарною тучкой обвить.
 Гляжу—то не конь надо мною стоитъ,
 То дикій утесъ при лунѣ серебристой
 Вдвигается гордо стѣной каменистой.
 Онъ дремлетъ... Но сумракъ окрестный гудить,
 Гудить голосами, и плескомъ, и ревомъ...
 Все громче и громче! И въ ужасѣ новомъ
 Я вспрянулъ, взглянулъ—вѣрь ты мнѣ иль не вѣрь,—
 Но цѣлое море, щетинясь, какъ звѣрь,
 Объемля всю землю отъ края до края,
 Мильонами волнъ и дымясь, и свержая,
 Бѣжало, какъ войско на приступъ, ко мнѣ.
 Я кинулся съ воплемъ къ отвѣсной стѣнѣ.
 Но звѣрь-океанъ нагонялъ меня; вотъ
 Къ скалѣ онъ прихлынулъ, скалу онъ грызеть,
 Взметаешь и пѣну, и брызги, и пламень...
 Дрожащей рукой ухватившись за камень,
 Не въ силахъ отъ пропасти глазъ отвести,
 Висѣлъ я въ пространствѣ. Одежды мои,
 Какъ крылья подстрѣленной птицы, метались,
 Мнѣ били въ лицо, трепетали и рвались...
 И видѣлъ я праздникъ подводныхъ духовъ:
 Они веселились въ пучинѣ просторной;
 На каждой волнѣ прыгаль карликъ проворный,
 Билъ въ бубны, коверкался на сто ладошь,

Плевалъ на меня въ вышину и смѣлся,
 Вырвалъ и опять на поверхность являлся;
 И видѣлъ я глубь океана, и рыбъ
 Чешуйчатыхъ, малыхъ, большихъ и громадныхъ,
 Верглявыхъ и пестрыхъ, холодныхъ и жадныхъ,
 Стадами бродившихъ средь пѣнистыхъ глыбъ.
 Все выше и выше вздымались тѣ глыбы,
 Все ближе и ближе являлись мнѣ рыбы.
 Ужь карлы, скача на упругихъ волнахъ,
 Руками старались поймать мои ноги;
 Лишь мѣсяцъ далекій, не зная тревоги,
 Все ярче и ярче блисталъ въ небесахъ
 И звѣзды спокойно мерцали въ лазури,
 Гдѣ нѣтъ ни морей, ни утесовъ, ни бури!
 И слышала я стоны народовъ земныхъ
 Съ полудня, съ полночи, съ заката, съ востока,—
 Все гибло въ кипящихъ пучинахъ морскихъ,
 Все звало на помощь Аллу и Пророка!
 Но черная туча на небѣ взвилась,
 Какъ призракъ, махая краями одежды,—
 И скрылися звѣзды, и мѣсяцъ погасъ—
 Последняя искра последней надежды;
 И грянулъ впотѣмахъ надъ вселенною громъ,
 И волось побѣдный послышался въ немъ:

„Вотъ слово Мудраго,—Того,
 Кто сотворилъ моря и сушу:
 Рабы презрѣнные! Чего
 Хотите вы? Я мiръ разрушу,
 Я новый въ мигъ опять создамъ;
 Но въ немъ, отверженцы Пророка,
 Клянусь зрачкомъ десного ока,
 Уже не будетъ мѣста вамъ!
 Не надувайтесь-же гордыней.
 Отвѣйте мнѣ: гдѣ ваша мощь?
 Вы зрѣли тучу надъ пустыней
 И говорили—это дождь.
 Лжецы! То вихрь, несущій кару;
 Готовьтесь къ грозному удару,
 Дрожите, падайте во прахъ!..
 Зачѣмъ такъ исказились лики?
 Что означаютъ эти крики?

Я отвѣчаю: это страхъ
 Творившихъ зло и преступленья;
 Въ великій день суда и мщенья
 Они ничто въ моихъ глазахъ!
 Я ослѣплю ихъ всѣхъ туманомъ,
 Я затоплю ихъ океаномъ,
 Я вскипячу тотъ океанъ,—
 Они погибнуть въ мукахъ ада;
 Но ждетъ великая награда
 Того, кто въ жизни чтить Коранъ! *)“

Умолѣъ—и мѣръ поколебался,
 И въ черномъ вихрѣ я помчался,
 Куда—не знаю! Предо мной,
 Мгновенно слившись въ рой летучій,
 Огонь и мракъ, и дымъ, и тучи
 Мелькали съ дикой быстротой,
 Безумнымъ хоромъ оглашая,
 Свистя, шипя и завывая,
 Какъ-будто сонмы злыхъ духовъ
 Слетались съ четырехъ концовъ
 На праздникъ гибели вселенной.
 Но снова грянулъ громъ священный—
 Въ мигъ шумъ смѣнился тишиной,
 Умчался ночи мракъ безсильный,
 Разлился свѣтъ волной обильной...
 Но гдѣ-же я и что со мной?

Надъ головой, безоблачный, безбрежный,
 Небесный сводъ раскинулся въ сіяньи
 И радуги великіе врата
 семью цвѣтами ярко трепетали.
 Казалось, въ нихъ камней самоцвѣтныхъ
 Неистощимый, частый лился дождь,
 Волшебно въ солнечныхъ лучахъ играя
 И падая на блещущаго солнца
 Бѣзцѣнный, ослѣпительный алмазь.

И въ райскіе врата вступилъ я смѣло.
 Передо мной въ туманномъ отдаленьи
 Зубчатыхъ стѣнъ причудливый узоръ,

*) Подражаніе Корану.

Роскошные дворцы и минареты
 Являлись, какъ воздушные обманы,
 Какъ генія свободныя мечты.
 Я видѣлъ ихъ, но къ нимъ мнѣ не хотѣлось,
 Они лишь взоръ красой своей ласкали.
 Вокругъ меня цвѣлъ дивный вертоградъ.

И я вдыхалъ цвѣтовъ благоуханье,
 То нѣжное, то страстное, какъ счастье
 Весеннихъ грезъ и пламенныхъ надеждъ;
 Напѣвы птицъ, сливаясь съ журчаньемъ
 Лѣнивыхъ волнъ студенаго потока,
 Меня влекли подъ сладостную сѣнь
 Разросшейся надъ берегомъ оливы.
 Тамъ хорошо въ дремотѣ молчаливой
 Склониться, созерцая вѣчный день.

И я пошелъ, и легъ, и рой видѣній
 Слетѣлъ ко мнѣ для страстныхъ наслажденій,
 Для радости и нѣги, для любви,
 Незнающей печали и разлуки.
 Какой языкъ или какіе звуки
 Ихъ выразятъ? Закрывъ глаза мои,
 Я пилъ вино небеснаго веселья
 И въ облакѣ волшебнаго похмѣлья
 Мнѣ слышалось: вкушай, вдыхай, лови—
 Все для тебя! плоды, цвѣты, лобзанья
 Покорныхъ дѣвъ... Улыбки изъ очей,
 Ихъ ласки, ихъ напѣвы, ихъ желанья...
 О, не страшись! Огня въ груди твоей
 Не утолять блаженныя мгновенья:
 Здѣсь въ счастья нѣтъ отравы пресыщенья,
 Какъ нѣтъ измѣнъ, притворства и цѣпей!

И я открылъ и взоры, и объятъ
 Для счастья...

Но что же это? Ночь?
 Дрожащій свѣтъ, толпа, кофейня?! Прочь!
 Прочь съ глазъ моихъ вы, призраки проклятыя,
 Противный соръ противной мнѣ земли!
 Какъ смѣли вы явиться? Какъ могли
 Вы заслонить собой картины рая?
 Гашишъ, спаси! О, дайте!...

И срывая

Веревки съ рукъ моихъ и ногъ,
 Хотѣлъ вскочить я—и не могъ!
 Взглянулъ—и стыдъ объялъ меня:
 Одежда ветхая моя
 Была разодрана въ клочки.
 Да гдѣ-жь чалма?... гдѣ башмаки?
 Гдѣ кошелекъ—случайный даръ?
 Все, все похищено!... Угаръ
 Надъ распаленной головой
 Носился смутною волной;
 Но ужасъ жизни созналъ я
 И слезъ потокомъ залился.

Пришлецъ! Съ тѣхъ поръ промчались годы.
 Поденьщикъ, нищій, рабъ людей,
 Влачу безъ цѣли, безъ свободы
 Я бремя долгихъ, тяжкихъ дней;
 Привыкъ я къ брани и презрѣнью,
 Кормлюсь работою кое-какъ;
 Но лишь съ небесъ отраднѣй мракъ
 На землю падаетъ и тѣню,
 Какъ ризой ночи, облачень,
 Базаръ впадаетъ въ мирный сонъ,
 Забытый всѣми, гнуснѣй парій,
 Зажавъ въ рукѣ дневной динарій,
 Спѣшу въ кофейню я и тамъ
 До утра предаюсь мечтамъ.
 Пора! Ты видишь, солнце сѣло,
 Томится духъ, устало тѣло...
 Пришлецъ! Не хочешь-ли со мной
 Ты испытать гашиша чары?
 Пойдемъ... Смѣешься?... Богъ съ тобой!
 Прощай... Но если-бы удары
 Судьбы жестокой на тебя
 Обрушились и жизнь твоя
 Нежданнѣмъ горемъ омрачилась,
 Припомни, что со мной случилось...
 Алла могучъ! Гашиша дымъ
 Для счастья бѣдныхъ созданъ имъ!

Гр. А. Голенищевъ-Бутузовъ.

Н. А. ПОЛЕВОЙ

И

«МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ».

(СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.)

Николай Алексѣвичъ Полевой родился въ 1796 году, въ Иркутскѣ, гдѣ жилъ по торговымъ дѣламъ его отецъ, курскій купецъ. Вигель, бывшій въ Иркутскѣ проездомъ въ Китай, жилъ у Полевыхъ на квартирѣ и оставилъ слѣдующую характеристику этого семейства: „Между иркутскими купцами, говоритъ онъ,—ведущими обширную торговлю съ Китаемъ, были и миліонщики—Мельниковы, Сибиряковы и другіе; но всѣ они оставались вѣрны стариннымъ русскимъ отцовскимъ и дѣдовскимъ обычаямъ, въ каменныхъ домахъ большія комнаты содержали въ совершенной чистотѣ и для того никогда въ нихъ не ходили, ежились въ двухъ-трехъ чуланахъ, спали на сундукахъ, въ коихъ прятали свое золото, и при неимоверной, даже смѣшной дешевизнѣ ѣли съ семьей одну селянку, запивая ее квасомъ или пивомъ... Совсѣмъ не таковъ былъ купчикъ, къ которому судьба привела меня на квартиру. Алексѣй Евсѣичъ Полевой, родомъ изъ Курска, лѣтъ сорока съ небольшимъ, былъ весьма небогатъ, но весьма тароватъ, словоохотенъ и любознателенъ. Жена у него была красавица, хотя ея дочь уже выходила замужъ; онъ держалъ ее не взаперти, и мы, какъ жется, другъ другу очень понравились. Онъ гордился не столько ею самою, сколько ея рожденіемъ *). У нихъ былъ де-

*) Она была изъ рода Голикова, извѣстнаго автора „Дѣяній Петра Великаго“.

вятилѣтній сыншкѣ, Николай, иѣженевый, бѣленевый, худеневый мальчикъ, который влюбленъ былъ въ грамоту и бредилъ стихами. Я всякій день ходилъ обѣдать къ послу и только вечеромъ зналъ хлѣбосолецтво моихъ хозяевъ. Насытись отъ французскаго обѣда, я за ужиномъ безъ пощады опоражнивалъ русскія блюда; не знаю, кого изъ супруговъ мнѣ благодарить или бранить за сіе пресыщеніе. Я думаю, однакожь, скорѣе жену. Полевой занимался европейскою политикою гораздо болѣе, чѣмъ азійскою торговлей. Въ немъ была склонность къ тому, чему еще не было тогда имени и что нынѣ называютъ либерализмомъ, и онъ выписывалъ всѣ газеты, на русскомъ языкѣ тогда выходившія. Во время послѣдняго моего пребыванія въ Иркутскѣ узналъ я у него о томъ, что мѣсяца два передъ тѣмъ происходило въ Германіи: какъ Маакъ положилъ оружіе при Ульмѣ, какъ австрійская армія ретировалась, какъ ученикъ Суворова, Багратионъ, дрался уже съ французами и при Галлабрюкѣ и Вишау далъ имъ сильный отпоръ. Маленькій сынъ Полевого написалъ четверостишіе, въ которое вклеилъ, играя словами, *Богъ-рати-онъ* и *На-поль-онъ*. Послѣ то-же самое слышалъ я въ Москвѣ, и теперь не знаю, гдѣ было эхо, тамъ-ли или въ Иркутскѣ? Гдѣ повторяли и кто у кого перенялъ? Отецъ Полевого былъ самоучка, онъ читалъ все, что ни попадалось подъ руку, но умъ его и знанія никогда не подвергались систематической дисциплинѣ и были довольно безпорядочны. Это отражалось и на торговыхъ его дѣлахъ, и на семейной жизни. Не довольствуясь обычной купеческой рутинной, онъ пускался въ самыя непрактичныя и рискованныя предпріятія, въ родѣ выдѣлки рома изъ арбузовъ. Разорившись на нихъ, онъ снова начиналъ наживать, или сибирской торговлей, или винокуреннымъ заводомъ въ Москвѣ. Въ семейной жизни онъ переходилъ отъ мягкости и иѣжности къ самодурческой строгости, и послѣдняя очень невыгодно отразилась на характерѣ сына, получившаго склонность прикидываться въ трудныхъ случаяхъ жизни смиреннымъ и доходившаго иногда до трусости. Безпорядочность отцовскаго характера и понятій не осталась безъ вліянія и на умственное развитіе сына. „Нельзя, говорятъ послѣдній въ своей автобіографіи,—нельзя ничего вообразить страннѣе понятій отца моего объ образованіи, а вслѣдствіе того и о методѣ воспитанія. Собственно методы у него не было ни-

какой. Онъ чувствовалъ пользу ученія и образованія, желалъ ихъ, но долго надобно-бы говорить, объясняя, что значили въ его понятіяхъ слова *дѣловой человекъ* и что онъ называлъ *здоровъ*. Писатель въ глазахъ его былъ что-то странное, хоть онъ глубоко уважалъ Голикова и сто разъ слышалъ я отъ него всё подробности объ этомъ любопытномъ историкѣ Петра, съ которымъ хорошо друженъ былъ онъ, какъ родственникъ. Нѣсколько разъ хотѣлъ отецъ мой послать меня въ Петербургъ, въ коммерческое училище, гдѣ очень знакомъ ему былъ директоръ, извѣстный Подшиваловъ. Я почти не помню себя неграмотнымъ, потому что лѣтъ шести былъ я, когда старшая сестра *) выучила меня читать, и лѣтъ восьми я уже читалъ вслухъ матери моей романы, отцу-же „Библію“ и „Московскія Вѣдомости“, а десяти перечиталъ уже все, что было въ шкафѣ у отца, — „Всемирный Путешественникъ“, „Разговоръ о всеобщей исторіи“ Боссюета, „О множествѣ міровъ“ Фонтенеля, „Путешествіе Ансона и Кука“, „Дѣянія“ и „Дополненія къ дѣяніямъ Петра Великаго“, нѣсколько разрозненныхъ томовъ сочиненій Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, „Театръ“ Коцебу и проч. Добрый товарищъ моего дѣтства, А. А. Титовъ, выучилъ меня писать, и мнѣ было лѣтъ десять, когда я велъ уже домашнюю контору у отца моего и писалъ — *да, писалъ стихи и прозу*, самъ не зная, что такое стихи и проза, выдавалъ газету „Азіатскія Вѣдомости“, въ родѣ „Московскихъ Вѣдомостей“, журналъ „Другъ Россіи“, въ родѣ „Московского Меркурія“, отъ котораго я былъ въ восторгѣ, написалъ драму „Бракъ царя Алексѣя Михайловича“, трагедію „Бланка Бурбонская“, интермедію „Петръ Великій въ храмѣ безсмертія“, сочинялъ „Путешествія по всему свѣту“ и рѣшилъ свести во-едино „Дѣянія“ и „Дополненія“ Голикова. Если успѣвали мы доставать новыхъ книгъ у кого-нибудь, я просто зачитывался, забывалъ *дѣла*; тутъ-то начиналась буря: отецъ бранилъ меня, жегъ мои драмы и журналы, отнималъ у меня книги, но чрезъ нѣсколько времени я опять принимался за прежнее, и отецъ мой, страстный политикъ, читалъ „Московскія Вѣдомости“, „Вѣстникъ Европы“, „Политическій журналъ“, забывалъ свое запрещеніе, говорилъ, разсуждалъ со мной, какъ со взрослымъ;

*) Извѣстная въ свое время писательница, по мужу Авдѣева.

мы вмѣстѣ бранили Наполеона, дѣлили Европу, ждали съ нетерпѣніемъ почты, которая привозила новости о нашихъ побѣдахъ, о Тильзитѣ, объ Эрфуртѣ, о Вѣнѣ; я наизусть выучивалъ статьи изъ „Русскаго Вѣстника“, вмѣстѣ съ „Россійдой“ Хераскова, стихами изъ „Моихъ бездѣлокъ“ Карамзина, притчами Сумарокова, „Мыслями вслухъ на Красномъ крыльцѣ“. Сдѣлался, наконецъ, ходячею справочною книгою отца моего по географіи и исторіи, потому что память у меня была такая, какой я ни у кого другого не встрѣчалъ. Выучить наизусть цѣлую трагедію мнѣ ничего не стоило. Словомъ, если надобно выразить умственное образованіе мое до 1811 г., то оно таково: я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Карамзина и статей „Вѣстника Европы“ до хронологическихъ чиселъ и „Библии“, изъ которой могъ пересказывать наизусть цѣлыя главы, но это былъ какой-то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить. Между тѣмъ я былъ *дѣловымъ человекомъ*, управлялъ заводами отцовскими (къ своему фаянсовому заводу онъ присоединилъ еще водочный, войдя въ связи съ тогдашними откупщиками), велъ контору, расчеты, ходилъ и ѣздилъ въ городъ по дѣламъ и слылъ диковиннымъ мальчикомъ, съ которымъ, какъ съ ученымъ человекомъ, разсуждалъ самъ губернаторъ и спорилъ директоръ гимназіи“.

Такое первоначальное воспитаніе опредѣлило характеръ всей послѣдующей жизни Полевого. Познанія его были обширны и разносторонни; еще въ дѣтствѣ привыкъ онъ къ упорному труду, еще въ дѣтствѣ развилъ въ себѣ [наклонность слѣдить за всѣмъ, что дѣлалось въ области литературы и политики, еще въ дѣтствѣ онъ выработалъ ту практическую дѣловитость, которая впоследствии принесла ему такъ много пользы при изданіи журнала, еще въ дѣтствѣ онъ получилъ ту увѣренность въ своихъ замѣчательныхъ умственныхъ силахъ, которая помогла ему пробиться черезъ столько препятствій. До восемнадцатилѣтняго возраста Полевой, собственно говоря, ничему *не учился*, а только читалъ. „Съ этого-же времени, рассказываетъ онъ,—началъ я потихоньку учиться, и прежде всего русской грамматики, по грамматикѣ Соколова, которая какъ-то попала въ руки. Тогда же увидѣлъ я необходимость знать иностранные языки. Пьяный цирюльникъ наполеоновской арміи, итальянецъ, который остался

допивать жизнь свою въ одной изъ курскихъ цирюленъ, показалъ мнѣ произношеніе французскихъ буквъ; старикъ богемецъ, музыкальный учитель который училъ на фортепьяно дочерей моего хозяина *) и любилъ послѣ уроковъ посидѣть у меня въ конторской комнатѣ, научилъ меня нѣмецкой азбукѣ. Въ Иркутскѣ въ 1815 г. судьба свела меня еще съ добрымъ товарищемъ, молодымъ, любезнымъ человѣкомъ, который занимался тогда по дѣламъ откупа, В. М. Пурлевскимъ. Вместе съ нимъ и Ксенофонтомъ (братомъ Полевого) отыскали мы какого-то ссыльнаго поляка, который училъ насъ по-французски, а оригиналь, какихъ можно немного встрѣтить на свѣтѣ, старый пасторъ лютеранской церкви въ Иркутскѣ, Беккеръ, давалъ намъ уроки нѣмецкаго языка. Возвращеніе мое въ Курскъ въ 1816 г. было рѣшительной эпохой для моихъ занятій. Умъ мой совершенно увлекся новою, дотошъ неизвѣстною мнѣ прелестью,—прелестью ученія. Уже не средствомъ для другого, но цѣлью жизни моей сдѣлалось оно. Мнѣ стало казаться все равно: останусь-ли я купцомъ и бѣднякомъ, буду-ли чиновникомъ и губернаторомъ курскимъ (вышая цѣль моего честолюбія),—все равно, только-бы учиться! Между тѣмъ средства мои были чрезвычайно стѣснены. Я не могъ и подумать нанять себѣ учителей. Жалованья моего едва доставало мнѣ на одежду, на небольшое удѣленіе отцу, и едва могъ я тратить бездѣлки на книги. Дѣла хозяйскія не давали мнѣ досуга днемъ, и вечера и ночи сдѣлались лучшими часами моей жизни. Мои они были и ихъ никому не отдавалъ я! Иногда свѣчка моя погасала съ утреннею зарею, и я, едва уснувши три-четыре часа, шель въ контору къ моему хозяину, или, проработавши въ конторѣ его до ночи, дома усаживался съ радостью за свои уроки. Вскорѣ я увидѣлъ всю недостаточность, всю нелѣпость образованія своего до того времени. Мнѣ надобно было пересоздавать всѣ мои идеи, весь запасъ читаннаго мною съ самаго дѣтства. Изученіе языковъ повело меня въ новый міръ чтенія. Настойчивое размышленіе показало мнѣ недостатки системы и образа обыкновеннаго ученія. Я рѣшился самъ написать для себя русскую грамматику и русскую исторію. Грамматика академіи и „Исторія госу-

*) Выѣхавъ съ отцомъ изъ Иркутска, Полевой жилъ въ это время въ Курскѣ и служилъ въ одной купеческой конторѣ.

дарства російскаго“ не удовлетворяли меня, когда я сравнивалъ первую съ ясною, точною грамматикою латинскою, а вторую съ Тацитомъ по слогу, съ лѣтописями по изложенію фактовъ. Изученіе латинскаго и греческаго языковъ, переводы съ нѣмецкаго и французскаго, переработка языка русской грамматики, критическій разборъ русской исторіи—вотъ что составляло теперь мои занятія. Я отказался отъ легкаго чтенія и не писалъ уже ни стиховъ, ни прозы. Нарочно я палагалъ на себя самыя тяжелыя работы: выучивалъ по триста вокабулъ въ вечеръ, выписывалъ всѣ глаголы изъ Геймова „Словаря“, переспрягалъ каждый отдѣльно и составилъ новыя таблицы русскихъ спряженій (въ 1822 г. почтенный П. П. Свиныняъ представилъ ихъ въ російскую академію и мнѣ дана была большая серебряная медаль). Силы мои казались мнѣ неистощимы; все было такъ легко, такъ подручно, а впереди все такъ свѣтилось и блестяло! Въ 1817 г. осмѣлился я, при самомъ учтивомъ письмѣ, послать къ издателю „Русскаго Вѣстника“ мое описаніе проѣзда и пребыванія въ Курскѣ императора Александра I, и не умѣю вамъ пересказать, съ какимъ упоеніемъ увидѣлъ я на сѣрнхъ листочкахъ „Русскаго Вѣстника“ четвѣмъ курсивомъ напечатанныя подъ статью слова *Н. Полевой!*. Весь Курскъ былъ изумленъ краснорѣчивымъ описаніемъ того, что еще живо трепетало въ сердцѣ каждаго, что составляло предметъ всѣхъ разговоровъ. Съ изумленіемъ узналъ мой хозяинъ, что въ его конторѣ скрывается *гениальный* молодой человекъ, какъ говорили ему и губернаторъ, и все, что было почетнаго въ Курскѣ. Съ радостью услышалъ о томъ и отецъ мой. Бывшій тогда губернаторъ курскій, А. С. Кожуховъ, сдѣлался моимъ заступникомъ и меценатомъ; я былъ приглашенъ на его вечера, балы, получилъ свободный входъ въ кабинетъ его, передъ которымъ на вытяжкѣ стояли всѣ другіе, и старые, и чиновные люди. Но между тѣмъ торжество мое внутренно тревожило меня,—увы, я видѣлъ, что вся статья моя была переправлена, перечерчена издателемъ „Русскаго Вѣстника“, и я долженъ сознаться самому себѣ, что переправки его были справедливы. Слѣдовательно, я еще плохой писатель, думалъ я. Что-же дѣлать? *Учиться!* было мнѣ безпристрастнымъ отвѣтомъ въ душѣ моей, и когда въ 1818 г. я отправилъ въ „Вѣстникъ Европы“ одну за другою двѣ статьи—замѣчанія на статью о Волосѣ и

переводъ шатобрианова описанія маккензіева путешествія по сѣверной Америкѣ,—съ радостью увидѣлъ я, что редакторъ „Вѣстника Европы“ не переправлялъ ихъ нисколько. Весь 1819 годъ занимался я дѣлами отцовскими, оставя моего хозяина, и уже не скрывалъ моихъ ученыхъ занятій. Къ покровительству губернатора присоединилось знакомство съ просвѣщеннымъ архипастыремъ, епископомъ Евгеніемъ, послѣ того, какъ я прочиталъ свое стихотвореніе въ собраніи библейскаго общества и оно было осыпано похвалами всего собранія. Въ февралѣ 1820 г. я навсегда оставилъ Курскъ. Отецъ мой рѣшился сдѣлать послѣднее усиліе для поправленія своихъ обстоятельствъ и, собравши все, какія были у насъ, средства, завести водочный заводъ въ Москвѣ. Меня отправилъ онъ для приуготовленій, и пока въ декабрѣ пріѣхалъ самъ, мнѣ была полная свобода дѣлать время между дѣломъ и *бездѣльемъ*. Впрочемъ, и отецъ мой уже не считалъ бездѣльемъ моихъ занятій, когда увидѣлъ, что они вездѣ доставляютъ мнѣ знакомства и уваженіе и съ тѣмъ вмѣстѣ не отвлекаютъ отъ дѣла“.

Съ 1820 г. Полевой уже менѣе прежняго занимался *дѣлами*, а послѣ смерти отца въ 1822 г. посвятилъ себя почти исключительно литературѣ. Его репутація вскорѣ была упрочена и въ столицахъ: академія наградила его медалью, общества любителей словесности и исторіи и древностей выбрали его своимъ членомъ, и талантливому самоучкѣ открылся доступъ въ ученые и литературные кружки обѣихъ столицъ. Въ Москвѣ онъ познакомился прежде всего съ профессоромъ Каченовскимъ, въ журналѣ котораго еще раньше онъ помѣстилъ нѣсколько статей. Съ Каченовскимъ, какъ съ закоренѣлымъ сторонникомъ псевдоклассицизма, Полевой, конечно, сойтись не могъ, но какъ историкъ, какъ первый по времени представитель того скептицизма, который оказалъ важныя услуги разработкѣ русской исторіи, Каченовскій имѣлъ на Полевого положительное вліяніе, отразившееся впоследствии на трудахъ послѣдняго. Не могъ сойтись Полевой и съ тѣми кружками, которые группировались около литературныхъ генераловъ Москвы, въ родѣ Дмитріева. И плебейство молодого кучика, и его мѣщанскія манеры, и его неуваженіе къ литературнымъ авторитетамъ, и его романтическія мнѣнія,— все это вооружало противъ него московскихъ литераторовъ ста-

рой школы, въ числѣ которыхъ были, впрочемъ, и молодые люди, въ родѣ М. Дмитриева и А. Писарева. Даже добродушный Аксаковъ-отецъ недружелюбно относился къ этому „высочкѣ“. Избраніе Полевого въ члены общества любителей россійской словесности произвело въ обществѣ ропотъ и смятеніе и Полевого разными неблагопристойными выходками выжили изъ общества. Гораздо ближе сошелся Полевой съ молодыми петербургскими литераторами. Особенное вліяніе имѣлъ на него кружокъ кн. Одоевскаго, Веневитинова, Кирѣевскихъ и другихъ московскихъ шелингистовъ. Нѣмецкая философія, сильно заинтересовала Полевого, въ бесѣдахъ о ней онъ проводилъ цѣлые вечера и началъ читать нѣмецкія книги. Но германская философія не далась ему. Умъ его не былъ подготовленъ къ усвоенію ея строгихъ и рѣзкихъ системъ, противорѣчившихъ основамъ его міровоззрѣнія, которыя были усвоены еще въ дѣтствѣ и уживались съ обширными, разнообразными знаніями, прибрѣтенными путемъ бессистемнаго чтенія. Между тѣмъ Полевой живо чувствовалъ необходимость системы и обѣими руками ухватился за эклектическую философію Кузена. Кузень, какъ извѣстно, понадергалъ разныя идеи изъ Шеллинга, Канта, Декарта, Локка, сгладилъ все рѣзкое, отбросилъ всѣ смѣлые выводы и приподнесъ публикѣ систему, которой не боялись даже обскуранты. Эта философія была понятна большинству и могла быть даже полезна, какъ переходъ къ болѣе рациональнымъ идеямъ и обобщеніямъ.

Такимъ образомъ, Полевой былъ знакомъ со всѣми умственными движеніями тогдашняго русскаго общества, начиная съ московскаго шелингизма. Но, что еще важнѣе, онъ зналъ умственные потребности массы общества, съ которою онъ былъ связанъ и своимъ происхожденіемъ, и своими нравственными свойствами. Эта масса начала уже пробуждаться отъ вѣкового умственного сна. Подобно Полевому, она хотѣла учиться, нуждалась въ чтеніи, жаждала знаній, ей нужны были посредники, которые знакомили-бы ее съ умственною и общественною жизнью Европы. „Первыя опыты Пушкина, говорить Бѣлинскій,—огласились по всей Россіи, проницали во всѣ ея захолустья, въ которыя только проникали до того буквари и сонники. Масса читателей увеличилась чрезъ это, по крайней мѣрѣ, вдесятеро и стала походить на публику. Вездѣ чувствовалась потребность въ опредѣленномъ вкусѣ, слѣдовательно, и въ теоріи,

а этого-то тогда и не было. Всѣ авторитеты стояли на неприступной высотѣ; Сумарокова считали великимъ писателемъ, между Ломоносовымъ и Державиннымъ не видѣли никакой разницы, басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева. Великихъ писателей было безъ счета и о нихъ позволялось говорить только однѣ похвальныя фразы, которыя давно уже обратились въ общія мѣста. Литературныя нравы вполне соответствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ былъ прежде всего найти себѣ мецената или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями литературы, затѣмъ долженъ былъ добиться лестной чести—попасть на литературныя вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій испусъ: прежде всего онъ обязанъ былъ не „снѣтъ свое сужденіе имѣть“; его дѣло было слушать умныя рѣчи опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже пріобрѣтѣя репутацію грибоѣдовскаго Молчалина, могъ онъ дерзнуть просить позволенія прочесть свое первое произведеніе. Прочтя его, онъ вслушивалъ критику и совѣты, обязанъ былъ переимѣнять, переправлять и передѣлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось вѣмъ-либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатоковъ словесности. Сто разъ передѣланное и переправленное, его дѣтище поступало, наконецъ, въ печать. Еще лѣтъ десятокъ—и литература русская обогащалась въ лицѣ этого новиціанта или писателя съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжиннымъ писателемъ. Во всякомъ случаѣ, онъ поступалъ тогда, съ благословенія своихъ меценатовъ, въ число опытныхъ и знаменитыхъ писателей, и всѣ вѣрили, что онъ большой писатель, потому что за него ручались не его сочиненія, а такіе знаменитые авторитеты. Затѣмъ онъ самъ попадалъ въ авторитеты и меценаты и въ отношеніи къ другимъ игралъ такую-же курьезную роль, какую играла въ отношеніи къ нему знаменитости, которыя вывели его въ люди... Всякое независимое, самобытное мнѣніе, всякій свѣжій голосъ, все, что не отзывалось рутиною, авторитетомъ, общимъ мѣстомъ, ходячею фразою,—все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомъ“. Хранителями этихъ тенденцій и этихъ нравовъ были литературныя общества, шишковская „Бесѣда“, московское „Общество любителей словесности“, петербург-

ское „Вольное общество любителей словесности“. У этихъ обществъ были свои журналы. Такъ, напр., „Петербургское общество любителей наукъ и художествъ“ выбрало своимъ органомъ журналъ своего предѣдателя, Измайлова, „Благонамѣренный“. Совершенно въ томъ-же родѣ были „Соревнователь просвѣщенія и благотворенія“ и „Сынъ Отечества“ Греча. Въ послѣднемъ печатались даже Пушкинъ и Баратынскій, онъ даже открыто защищалъ эту новую школу, но при всемъ томъ представлялъ собою жалкую смѣсь стараго съ новымъ и полное отсутствіе какихъ-бы то ни было руководящихъ началъ. Органъ псевдоклассицизма, „Вѣстникъ Европы“ Каченовскаго, былъ еще хуже, скучнѣе и безсодержательнѣе. Отъ предыдущихъ журналовъ, предназначенныхъ исключительно „для пріятнаго препровожденія времени“, онъ отличался тѣмъ, что помѣщалъ главнымъ образомъ статьи и матеріалы по археологіи и исторіи Россіи. Въ томъ-же родѣ былъ болгаринскій „Сѣверный архивъ, журналъ исторіи, статистики и путешествій“ съ 1822 по 1825 г., а съ этого послѣдняго до 1828 г. — „Журналъ древностей и новостей по части исторіи, статистики, путешествій, правовѣденія и нравовъ“. Это былъ сборникъ сырыхъ матеріаловъ, статей и замѣтокъ, въ родѣ нынѣшнихъ „Чтеній въ обществѣ исторіи и древностей россійскихъ“. Ученое шарлатанство Булгарина, которое впоследствии безпощадно разоблачалъ Полевой, сильно роняло достоинство этого журнала. „Отечественныя Записки, историческій журналъ“ (1818 — 1830 гг.) П. Свиньина почти ничѣмъ не отличались отъ болгаринскаго „Архива“ и были таимъ-же сборникомъ историческо-археологическихъ матеріаловъ. Подъ влияніемъ войны и свирѣпствовавшей у насъ тогда французофобіи всѣ эти журналы отличались самымъ кривымъ патріотизмомъ и, вслѣдъ за Глинкой, „русскіе въ доблестяхъ своихъ“ превозносились ими до небесъ. Въ предисловіи къ „Отечественнымъ Запискамъ“, напр., Свиньинъ ставитъ Россію въ нравственномъ отношеніи выше всѣхъ другихъ государствъ, пристрастіе къ иностранному считаетъ плодомъ неправильнаго воспитанія, а незнаніе отечества и роднаго языка — основою неуваженія къ народности (1818 г., ч. 1, стр. 1—4). „Отечественныя Записки“ жаловались, что русскіе измелъчали, стали обезьянами, пренебрегаютъ ферезью и квасомъ и т. д. (1819, ч. II, стр. 321). Доблести русскихъ

не только доказывались изъ исторіи, но и изъ современной жизни. Такъ въ замѣтѣ „Честность солдата“ сообщается извѣстіе о возвращенной однимъ солдатомъ находкѣ (1820, № 8, стр. 283). Въ статьѣ „Благодѣтельные крестьяне“ разсказывается о благотворительности двухъ костромскихъ крестьянъ (1823, № 38, стр. 395). „Письмо отъ Усольца“ говоритъ о благородныхъ чертахъ характера одного столяра (1824, № 44, стр. 455) и т. д. Болѣе-же всего „Отечественныя Записки“ занимались извѣстіями о разныхъ самородкахъ и самоучкахъ, доказывающихъ, будто-бы, необыкновенную даровитость русскаго народа. Въ 1818 г. сообщалось о русскомъ химикѣ Власовѣ, крестьянскомъ сынѣ, обнаружившемъ еще въ дѣтствѣ большой умъ и любовь къ ученю. Родители, считая его занятія дѣломъ бѣсовскимъ, сѣкли мальчика и отчитывали его молитвами. Явившись въ Петербургъ на заработки, Власовъ успѣлъ поступить въ медицинскую академію, гдѣ ему поручили химическую лабораторію (ч. II, стр. 317). Въ томъ-же родѣ были крестьянинъ Калашниковъ, механикъ-самоучка, механикъ-же изъ крѣпостныхъ крестьянъ Соболевъ, петербургскій мѣщанинъ Кукинъ, изобрѣтшій свой способъ выдѣлки кожъ и описавшій его въ пяти книгахъ, самоучка-ваятель Сухановъ, изъ вологодскихъ крестьянъ (см. ib., стр. 123, 220; 188; 1822, № 26, стр. 279). Крѣпостной крестьянинъ Сибиряковъ, „природный стихотворецъ“, выставялся въ журналѣ необыкновеннымъ феноменомъ, въ доказательство чего приводились нѣкоторыя его вирши (1819, стр. 95). Слѣпой купеческій сынъ Воронковъ, тоже кропавшій стихи и составившій планъ поэмы „Возвращенный рай“, являлся кандидатомъ въ русскіе Мильтоны (ib., стр. 73). Костромской купецъ Красильниковъ, самоучкою дошедшій до многого, рисовавшій, строившій церкви, изобрѣтшій какой-то хронометръ, прославлялся, какъ „оптикъ, механикъ и архитекторъ“ (1820, № 6, стр. 301). Укоряя русскую публику за ложное ея пристрастіе къ иностраннымъ мастерамъ и художникамъ, Свиньинъ указывалъ ей на гранильщика Шубина, механика и живописца на жести Казаманова и механика Немилова (1820, № 5, стр. 82). По части астрономіи выступилъ самоучка-астрономъ Ертвовъ (1821, № 11, стр. 337) и Семеновъ, мясникъ-астрономъ въ Курскѣ (1822, № 21, стр. 98). Московскій купецъ Гребеншиковъ приобрѣлъ самоучкою обширныя

знанія, занимался устройствомъ водопроводовъ, органовъ, пивоварень и изобрѣлъ ситцепечатный цилиндръ (1821, № 16, стр. 153, № 17, стр. 243). Тамбовскій крестьянинъ-стихотворецъ Захаринъ, вѣрстойной „художникъ Тарасъ въ Петербургѣ“, механикъ Лебедевъ, пермскій механикъ Чистяковъ дополняютъ собою этотъ рядъ русскихъ самородныхъ талантовъ (1823, № 33, стр. 80; № 36, стр. 131; 1824, № 46, стр. 300; 1825, № 67, стр. 229). Иногда это увлеченіе самородными дарованіями и „русскою сметкою“ доходило до положительнаго комизма, какъ, напр., въ статьѣ о солдатѣ, отерывшемъ какое-то радикальное средство противъ укушенія бѣшеной собаки (1818, ч. I, стр. 237). Полевой, бывшій сотрудникомъ журнала и, какъ самоучка, живо симпатизировавшій всѣмъ самородкамъ, раздѣлялъ всѣ крайности этого увлеченія, какъ можно видѣть изъ его статьи „Чудной мальчикъ-живописецъ“. Въ ней разсказывается, что одинъ мальчикъ-пастухъ любилъ рисовать углемъ и мѣломъ и засматривался на церковную живопись, но на него никто не обратилъ вниманія,—и только! (1821, № 18, стр. 42). Эти самородки и отношеніе къ нимъ тогдашней литературы чрезвычайно характеристичны. Кромѣ вышеупомянутыхъ было еще много другихъ самородковъ, въ родѣ крестьянъ-поэтовъ Слѣпушкина и Алипанова или механика Кулибина. Толчекъ, давшій петровскою реформою, начиналъ проникать въ массы, будилъ въ нихъ умственныя силы, которыя болѣе и болѣе стремились къ свѣту и, наконецъ, дали такихъ дѣятелей, какъ Полевой, Кольцовъ, Шевченко. Много было среди этихъ людей дѣйствительныхъ талантовъ, много погубло въ борьбѣ со всевозможными препятствіями и неудобствами ихъ положенія, но еще болѣе было посредственностей и бездарностей, притязанія которыхъ на гениальность прививались къ нимъ самыми условіями жизни самоучки. Презрѣніе къ „подлomu народу“ смѣнилось изумленіемъ и патріотическимъ увлеченіемъ, когда многочисленныя примѣры, начавшіяся еще съ Меньщикова и Ломоносова, начали болѣе и болѣе убѣждать, что „можетъ собственныхъ Невтоновъ и гордыхъ разумомъ Платоновъ россійская земля рождать“. Самоучекъ хвалили и награждали—и болшею частію захваливали. Но и безъ этого захваливанья каждый самоучка, достигая того, о чемъ другіе люди его положенія даже и не думаютъ, убѣждается въ своихъ не-

обыкновенныхъ умственныхъ силахъ, пріобрѣтаетъ самонадѣянность, мечтаетъ о необыкновенной дѣятельности, стремится къ великому. Истинный талантъ, какъ, напр., Полевой, прежде всего сознаетъ необходимость образованія и учится прежде, чѣмъ начать „творить“. Большинство-же упомянутыхъ самоучекъ-механиковъ, напр., не усвоивъ себѣ выводовъ и открытій европейской науки, бросалось прежде всего изобрѣтать и открывать... Вообще, положеніе самоучекъ было крайне печальное при тогдашнихъ условіяхъ, въ родѣ крѣпостной зависимости. Умственные силы массы искали выхода, но упомянутыя условія или калѣчили, или подавляли ихъ. Литература-же вообще и „Отечественныя Записки“ въ частности не обращали на это обстоятельство никакого вниманія и только умилялись передъ „геніальностью“ самородковъ и вообще передъ „русскими въ доблестяхъ своихъ“... Да и могло-ли быть иначе, когда критическая мысль спала, а чувство было пріучено къ одному восхищенію? Критики почти вовсе не было и въ литературѣ господствовалъ положительный фетишизмъ. Тѣ-же „Отечественныя Записки“, напр., заявляли, что Карамзинъ, „нашъ Ливій“, не можетъ подлежать критикѣ (1825 г., № 67, стр. 316)! Только въ насмѣшливомъ „Арзамасѣ“ господствовалъ легкій скептицизмъ, но литературное шутство арзамасцевъ скоро перешло въ такую-же аристократическую авторитетность кружка, какъ и пишковская Бесѣда, надъ которой они издѣвались. Критическая мысль и романтическія стремленія начинали еще дѣйствовать въ молодомъ кружкѣ, издававшемъ „Полярную Звѣзду“. Въ этомъ альманахѣ помѣщались живыя, интересныя статьи, стихи Пушкина, остроумныя литературныя обзорѣнія Марлинскаго и т. д.; издатели впервые ввели у насъ въ обычай денежное вознагражденіе литературнаго труда. Альманахъ имѣлъ огромный успѣхъ, но погибъ въ извѣстной катастрофѣ.

По своимъ литературнымъ мнѣніямъ и по характеру своего таланта Полевой долженъ былъ пристать къ альманаху Марлинскаго, но этому помѣшало одно обстоятельство. Въ закулисномъ мірѣ журналистики и теперь играютъ извѣстную роль свои сплетники и сплетницы. Много ихъ было и въ то время. Благодаря сплетнямъ нѣкоего Филимонова, Полевой временно разошелся съ Марлинскимъ и его кружкомъ и остался сотрудникомъ болгарин-

скаго „Архива“ да „Записокъ“ Свиньина. Но здѣсь онъ могъ играть только второстепенную роль, а онъ хотѣлъ и чувствовалъ себя въ силахъ стать во главѣ журналистики. Еще въ самомъ началѣ двадцатыхъ годовъ онъ составилъ планъ журнала, подбиралъ сотрудниковъ и т. д. Но все эти попытки кончались ничѣмъ. Наконецъ, въ половинѣ 1824 г. онъ послалъ министру Шишкову просьбу о разрѣшеніи издавать „Московскій Телеграфъ“ и програму журнала. Въ это время, впрочемъ, онъ былъ заинтересованъ не столько литературными дѣлами, сколько своей жеманностью на дѣвицѣ Терренбергъ. Да и надеждъ на разрѣшеніе журнала было мало... Но едва успѣлъ онъ жениться, въ октябрѣ мѣсяцѣ, какъ тотчасъ-же получилъ другую, не меньшую радость—разрѣшеніе издавать журналъ по представленной программѣ. Немедленно были напечатаны объявленія объ изданіи „Московского Телеграфа“, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, объявлены программа и условія подписки. Литературные авторитеты отнеслись къ этому предпріятію съ недоувѣріемъ и пренебреженіемъ, совершенно понятными для насъ. Новый журналъ хотѣлъ судить, критиковать, учить. Прежде тоже издавались журналы, но кто издавалъ? Издавалъ журналъ исторіографъ и профессоръ Миллеръ, издавала княгиня Дашкова, издавалъ дворянинъ Новиковъ, издавалъ Карамзинъ. А теперь? Судить, критиковать, учить берется какой-то выскочка, приказчикъ, водочный заводчикъ! Было чѣмъ возмутиться, тѣмъ болѣе, что отъ этого выскочки вѣяло не сивушнымъ запахомъ, какъ говорили постоянно его аристократическіе противники въ литературѣ, а тѣмъ „вольнымъ духомъ“, который терпимъ быть не можетъ... Журналисты-же, особенно Гречъ и Булгаринъ, заранѣе чинили свои перья для пораженія опаснаго соперника, котораго раньше они напрасно отклоняли отъ изданія разными запугиваньями и убѣждали вести дѣло сообща-вступивъ въ союзъ съ ними.

Вышелъ, наконецъ, первый номеръ „Телеграфа“.

„Существенное достоинство журнала, говоритъ Полевой въ предисловіи,—состоитъ въ разнообразіи предметовъ...“ Идеальный журналъ—„зеркало, въ которомъ отражается весь міръ, нравственный, политическій и физическій“. Журналъ долженъ быть популярнымъ; „въ журналѣ литературномъ нѣтъ мѣста сухой учености“. „Вообще, можно пожелать, чтобы журналисты болѣе поль-

зовались важнымъ преимуществомъ своимъ — представлять отчетныя извлеченія изъ всѣхъ книгъ любопытныхъ и важныхъ и увѣдомлять читателей обо всемъ, что слышно новаго. Журналистъ — разносчикъ вѣстей“. Многіе тогдашніе журналы были посвящены исключительно Россіи и наполнялись исключительно оригинальными сочиненіями. „У насъ, писалъ по этому поводу Полевой, — едва начавшихъ писать и учиться, дѣтей въ литературу, возможно-ли это? вмѣсто того, чтобы предположить изданіе изъ одного русскаго, наполнять его по большей части ученическою прозою и поэзіею, не лучше-ли сдѣлать рамы обширнѣе и передавать читателю *не одно русское*, но просто все, что изыскаго, пріятнаго и полезнаго найдется и въ отечественной, и во всѣхъ древнихъ и новыхъ литературахъ? Сколько еще намъ неизвѣстнаго, любопытнаго, таковаго, что необходимо знать должно европейскому человѣку! Литературы англійская, испанская, итальянская, восточныя знаемы намъ почти столько-же, какъ языкъ прозецовъ, — и вѣмецкая вполне-ли намъ извѣстна?“ Исторія, статистика и географія Россіи должны занимать одно изъ видныхъ мѣстъ въ журналѣ; но важнѣйшимъ его отдѣломъ должна быть критика, „безпристрастный надзоръ за отечественной литературой, — обличеніе невѣжества, похвала уму и познаніямъ“ (1825 г., т. I, стр. 1—13).

Новое дѣло требовало много трудовъ, но трудолюбіе Полевого было даже больше, чѣмъ его таланты. Онъ съумѣлъ подобрать нѣсколько образованныхъ и даровитыхъ сотрудниковъ. У него изрѣдка печатались Пушкинъ, Козловъ, Баратынскій, писалъ Вяземскій, статьи по естественнымъ наукамъ составлялъ молодой ученый Максимовичъ; князь Одоевскій сначала помѣщалъ въ журналѣ свои юмористическіе очерки и статьи о музыкѣ; молодой Шевыревъ тоже нѣкоторое время писалъ въ „Телеграфъ“, а впоследствии, съ 1831 г., дѣятельнымъ сотрудникомъ журнала сдѣлался служившій на Кавказѣ Марлинскій, произведенія котораго имѣли такую шумную популярность. Съ нѣкоторыми изъ своихъ сотрудниковъ, особенно съ аристократами, Полевой впоследствии разошелся и началъ относиться отрицательно къ ихъ авторитетамъ; но и до этого разрыва, и послѣ него самымъ дѣятельнымъ сотрудникомъ его былъ его братъ, Ксенофонтъ; главную-же массу труда исполнялъ самъ Полевой, работая по всѣмъ

отдѣламъ, посвящая журналу все свое время, такъ-что даже отвѣты на письма друзей писалъ за него братъ. „Дѣятельность Полевого, рассказываетъ Кѣнигъ,—пожираетъ его. Кто не видитъ его нѣсколько мѣсяцевъ, тотъ ужасается наружной перемѣнѣ его. Онъ сидитъ за письменнымъ столомъ съ 6 часовъ утра до 2 ночи“. Въ этомъ отношеніи съ нимъ могъ сравниться только одинъ Сенковскій. И ночь, и день, и физическія, и умственныя силы—все было отдано любимому дѣтищу, осуществленію завѣтной мечты, журналу. Полевой велъ его съ увлеченіемъ, съ энтузіазмомъ, и въ этомъ была его главная сила въ виду противниковъ и соперниковъ, въ родѣ барышника Булгарина, злостнаго афериста Воейкова или бѣлокаменнаго поэта М. Дмитриева.

Съ первыхъ-же книжекъ „Телеграфъ“ возбудилъ всеобщее сочувствіе въ публикѣ разнообразіемъ и интересомъ статей, и Полевой сумѣлъ поддерживать это сочувствіе въ продолженіи десяти лѣтъ. Въ отдѣлѣ белетристики сначала помѣщались изрѣдка стихотворенія А. Пушкина, Вяземскаго, Баратынскаго, Козлова, но численностью произведеній здѣсь преобладали такіе стихотворцы, какъ баронъ Розенъ, Орловъ, Алексѣевъ, Иванчинъ-Писаревъ и т. д. Страсть къ стихотворству и умѣнье писать стихи видимо были въ это время чрезвычайно распространены. Стихотворенія присылались отовсюду—изъ Парижа и Кіевщины, изъ Петербурга и Аткарска, изъ Костромы, Рязани, разныхъ помѣщичьихъ усадьбъ и т. д. По части прозаической белетристики журналъ переводилъ всѣ иностранныя новости романтической школы, помѣщалъ произведенія Байрона, Шиллера, Гете, В.-Скота, Гофмана, Цшюкке, Вашингтона Ирвинга, Мицкевича и т. д. Многіе изъ этихъ повѣстей и рассказовъ помѣщались единственно ради тѣхъ романтическихъ ужасовъ, которые были тогда въ такой модѣ. Таковы, напримѣръ, повѣсти „Рыцарь кровавой звѣзды“, „Трупъ безъ головы“ (1826 г.) и т. д. Съ 1831 г. этотъ отдѣлъ „Телеграфа“ приобрѣлъ особую занимательность для публики, благодаря произведеніямъ популярнѣйшаго изъ русскихъ белетристовъ того времени, Марлинскаго, помѣстившаго въ этомъ журналѣ „Андрей Переяславскій“ (1831 г., ч. 38 и 39), „Страшное Гаданье“, „Аммалать-Бекъ“ (1832 г., ч. 4), и т. д. Повѣсти Вельтмана и самого Полевого тоже читались съ увлеченіемъ. Особенную заботливость оказывалъ издатель, чтобы зна-

комить публику съ исторіей и современнымъ состояніемъ литературы, равно и съ литературными теоріями. Въ каждой книжкѣ помѣщались подробные обзоры всѣхъ иностранныхъ литературъ, даже исландской, витайской, арабской. Съ 1826 г. начаты были подробныя статьи о польской литературѣ. Характеристики отдѣльныхъ произведеній и писателей занимали одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ журналѣ. Таксы, напримѣръ, нѣсколько статей о Байронѣ, „Корнель, Шекспиръ, Альфиери“ (1825 г., ч. 1), о „Разбойникахъ“ Шиллера (1829 г., XXVI), „Записки Гете“ (ч. II), „О Багаватъ-Гитѣ, переведенной Шлегелемъ“ (ч. V), „О поэзіи“, Шлегеля (1826 г., т. VII), три статьи о греческой и римской словесности (ч. VI), статья о Платонѣ и т. д. Столь-же разнообразенъ и интересенъ былъ отдѣлъ критики и библиографіи. Кромѣ обширныхъ критическихъ статей, о которыхъ будемъ говорить ниже, здѣсь помѣщались коротенькія рецензіи новыхъ иностранныхъ и полная библиографія русскихъ книгъ. Въ 1826 г., напримѣръ, Полевой далъ отзывы не менѣе, какъ о 250 русскихъ книгахъ. Не меньшимъ богатствомъ отличался отдѣлъ географіи и путешествій. Здѣсь мы находимъ, напримѣръ, статьи о новыхъ взглядахъ Риттера на географію, о полярныхъ экспедиціяхъ (ч. II, стр. 15, 91; ч. V, стр. 201; ч. VI, стр. 101), обзоръ новѣйшихъ открытій въ Африкѣ (II, 187), „Нравы и обычаи гайтянъ“ (ib., 305), „Путешествіе Бюллока въ Мексику“ (VI, 346), „Путешествіе Лейбена въ Палестину“ (ч. III), „Новѣйшія открытія въ Помпѣѣ“, „Штатъ индійскаго идола“ (ч. I) и т. д. Географія и статистика Россіи тоже обращали на себя вниманіе издателя, помѣщавшаго постоянно то какое-нибудь „Путешествіе Кохрена въ Камчатку“, то статьи о Сибири (ч. VII, 1829 г., ч. XXVI и др.), о Кавказѣ (ч. XI) и т. д. По русской исторіи печатались и статьи, и матеріалы, а по всеобщей Полевой помѣщаль самыя разнообразныя статьи, напримѣръ: „Исторія бирманскаго государства“ (ч. V), „Изъ исторіи герцоговъ бургундскихъ“ Баранта (ч. IV), о Шлоссерѣ, Минье (ч. I), о Нибурѣ, Савиньи, Гизо и т. д. По естествознанію Полевой знакомилъ читателей со всѣми новыми открытіями и теоріями, съ произведеніями Гумбольдта, съ физиологической теоріей иллюзій и галлюцинацій (ч. I, стр. 159), съ системою Кювье (ч. XI), съ новѣйшею физиологіей (1829 г., XXVI), химіей (ч. XXVII) и т. д.

Исследованія германскихъ филологовъ тоже популяризировались и разбирались въ „Московскомъ Телеграфѣ“. По вопросамъ политическимъ и экономическимъ Полевой не только сообщалъ всегда интересные факты и живыя свѣденія, но и проводилъ оригинальные взгляды, которые были новостью для его читателей. Вотъ, наприимѣръ, что говорится въ „Телеграфѣ“ (1826 г., т. X, стр. 129) о развитіи промышленности: „Надобно сперва доставить народу достаточные способы быть сыту, одѣту, имѣть порядочныя жилища, имѣть средства сбыту внутри государства свои произведенія... Надобно показать средства народу, образовывать, просвѣтить его и доставить средства къ сбыту произведеній,—тогда промышленность явится сама собою. При усовершенствованіи народа явятся и мастера, и изобрѣтенія“. Далѣе Полевой набрасываетъ небольшую картину плачевнаго экономическаго положенія Россіи и между строкъ видѣется мысль объ уничтоженіи крѣпостнаго права. Но отдѣлъ русской публицистики по необходимости былъ крайне неполный и поверхностный, и Полевой, касаясь нѣкоторыхъ чрезвычайно важныхъ вопросовъ русской жизни, нерѣдко вынуждаемъ былъ ограничиваться освѣщеніемъ ихъ съ одной официальной точки зрѣнія, что было совершенно не въ духѣ его журнала. Въ его время, наприимѣръ, университеты наши находились подъ строгимъ гнетомъ Магницкаго и Кошц.; общество съ тревожнымъ вниманіемъ слѣдило за подвигами этихъ господъ; но Полевой не могъ сказать по этому поводу ни одного слова, не могъ сдѣлать ни одного намека и ограничился только тѣмъ, что сдѣлалъ обширныя выдержки изъ университетской рѣчи Магницкаго о злобности философіи. Точно также о военныхъ поселеніяхъ онъ не могъ высказать никакого мнѣнія и тоже сдѣлалъ только обширныя выдержки изъ официальной брошюры о нихъ (1826 г., т. X). За то Полевой знакомилъ публику въ популярныхъ статьяхъ съ политической экономіей. Таковы, наприимѣръ, переводныя статьи изъ Адама Смита, Сисмонди, Ривардо, Сэ, или разборъ одной экономической книги Демидова (т. X). Съ 1826 г. онъ открылъ даже отдѣлъ политическаго обозрѣнія, въ которомъ, примѣняясь къ обстоятельствамъ и умственному уровню русской публики, толковалъ и о текущихъ событіяхъ, и о статистикѣ, и о промышленности, и о природѣ странъ и т. д. Бромѣ того, въ отдѣльныхъ статьяхъ

онъ знакомилъ читателей съ исторіей и современнымъ положеніемъ разныхъ государствъ. Таковы, напримѣръ, статьи о Трансильваніи (1829 г., XXVII), о Египтѣ (1826 г.), о Голандіи (1825 г., т. I), о Греціи (т. III; т. XXX), три статьи Малькольма о средней Индіи (т. IV), о владычествѣ англичанъ въ Индіи (1829 г., XXV). Съ особеннымъ вниманіемъ Полевой слѣдилъ за промышленными открытіями и немедленно знакомилъ съ ними читателей. Онъ, напримѣръ, чуть-ли не первый пропагандировалъ въ Россіи желѣзныя дороги, которыя только-что начинали тогда строиться въ Англіи (1826 г., т. VIII, стр. 93), между тѣмъ какъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого даже такіе люди, какъ Плетневъ, доказывали непримѣнимость ихъ въ Россіи. Отдѣлъ „Разныхъ извѣстій“ сообщалъ множество свѣденій по всѣмъ отраслямъ знанія, напримѣръ, „Стереотипія, мыши-работницы“ (1826 г., ч. X), „Набиваніе постелей воздухомъ“, „Усовершенствованіе мостовыхъ въ Лондонѣ“, „Разведеніе хлопка въ Египтѣ“, „Статистическое описаніе Кантона“, „Переселеніе негровъ въ С.-Доминго“, „Эпохи французской революціи“, „Открытія въ Мексикѣ“, „Число нищихъ въ Англіи“, „Число женъ, сожженныхъ съ трупами мужей въ Индіи въ 1823 г.“ (ч. I) и т. д. При журналѣ помѣщались новости модъ съ картинками, а впослѣдствіи Полевой открылъ въ немъ чрезвычайно оживлявшій его сатирической отдѣлъ. Вообще „Телеграфъ“ считалъ своею первою обязанностью слѣдить за всѣми проявленіями современной жизни, и каждая книжка его имѣла животрешущій интересъ. „Полевой, говоритъ Бѣлинскій,—владѣлъ тайною журнальнаго дѣла, былъ одаренъ для него страшною способностью. Онъ постигъ вполне значеніе журнала, какъ зеркала современности, и „современное“ и „кстати“ были въ рукахъ его поистинѣ два волшебные жезла, производившіе чудеса. Пронесется-ли слухъ о пріѣздѣ Гумбольдта въ Россію,—онъ помѣщаетъ статью о сочиненіяхъ Гумбольдта; умираетъ-ли какая-нибудь европейская знаменитость,—въ „Телеграфѣ“ тотчасъ является ея біографія, а если это ученый или поэтъ, то и критическая оцѣнка его произведеній. Ни одна новость никогда не ускользала отъ дѣятельности этого журнала... Поэтому „Телеграфъ“ совершенно былъ чуждъ недостатка, столь общаго даже хорошимъ журналамъ: въ немъ никогда не было баласта, т. е. такихъ статей, которыхъ

помѣщеніе не оправдывалось-бы необходимостью“. „Такой журналъ не могъ-бы быть незамѣченнымъ и въ толпѣ хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безцвѣтной, жалкой журналистики того времени онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послѣдней книжки своей издавался онъ почти втеченіи десяти лѣтъ съ тою постоянною заботливостью, съ тѣмъ вниманіемъ, съ тѣмъ неослабѣваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ можетъ быть только призваніе и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ-же началъ развивать онъ съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глупца, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдѣлать ходячею истиню. И это совершилъ Полевой!..“

Разнообразіе и современный интересъ статей „Телеграфа“ тѣмъ замѣчательнѣе, что другіе тогдашніе журналисты ставили себѣ совершенно другія задачи, чѣмъ Полевой. Напр., по мнѣнію критика „Сына Отечества“ (1825 г.), въ журналѣ должны быть „сказки, философскія статьи, въ родѣ Вейссовыхъ, которыя, по легкости слога, по краткости и ясности сужденій, доставляютъ пользу и удовольствіе, какъ философу, такъ и свѣтской дамѣ, эстетическія сужденія, относящіяся къ одной словесности, полемическія статьи, лучшія стихотворенія и шарады“. Большинство журналистовъ смотрѣло на періодическія изданія съ той старинной точки зрѣнія, которая характеризуется одними уже названіями журналовъ, — „Часы досуга“, „Пріятное препровожденіе времени“, „Невинныя упражненія“ и т. д. Полевой-же ставилъ цѣлью журнала умственное и эстетическое воспитаніе общества, нравственная пустота и невѣжество котораго были постоянными предметами его обличеній. „У насъ, писалъ онъ, — прошло время Митрофанушекъ, но настало другое, едва-ли лучшее, — время полуучекости, полупросвѣщенія... У насъ явилось множество *модниковъ* просвѣщенія, которые часто говорятъ на двухъ или трехъ языкахъ и ничего не читаютъ, кромѣ Extraits,

Resumés, Beautés. Эти модники суть истинная пагуба для юныхъ участниковъ просвѣщенія! Ихъ-то должны преслѣдовать всѣ, желающіе блага обществу и горячо любящіе свое отечество“ (1825, т. II, Прибавленія, стр. 77—78). Не лучше этихъ „модниковъ“ и масса „образованнаго“ общества. „Въ этомъ обществѣ *ничего* не читають или если и читають, то какъ и что? Скажите тамъ, что вы заплатили за книгу 25 рублей—нѣскольکو головъ поднимутся съ удивленіемъ! Супруги, оставшіе вдвоемъ, или дѣти съ папеньками и маменьками раскладываютъ грань-пасьянсъ, гости съѣзжаются играть по гривнѣ въ бостонъ. Вѣрный самовидецъ сказывалъ намъ, какъ молодая дама, зѣвая отъ скуки, проиграла 100 р. въ вистъ, какъ другая въ то-же время заплатила 100 р. за ложу въ театрѣ — и тѣ-же дамы просили у него *что-нибудь почитать*, что подписаться въ библиотеку для чтенія и платить 30 р. въ годъ *не по нынѣшнему времени!* Наслышавшись о Пушкинѣ въ большомъ свѣтѣ, куда этотъ малый свѣтъ иногда является,—странная скупость малаго свѣта выдумала *списывать* Пушкина, и „Кавказскій плѣнникъ“ ходитъ по рукамъ, обезображенный ошибками всякаго рода!“ (т. II, с. 262). Журналъ Полевого, пріобрѣвшій скорѣе-же послѣ своего появленія небывалую еще у насъ до тѣхъ поръ цифру подписчиковъ (2,000), сильно подорвалъ это равнодушіе общества къ литературѣ, развивалъ охоту къ чтенію, любовь къ знанію, распространялъ разнообразныя свѣденія, образовывалъ самоучекъ, въ родѣ его талантливаго издателя. „Надобно, говорилъ онъ,—расшевелить задніе ряды читателей, пробудить отъ умственнаго сна псовыхъ охотниковъ и любителей виста, прожектеровъ, сутягъ, дамъ и законодательницъ баловъ и вечеровъ“ (1829 г., т. XXVIII, 68). И онъ сдѣлалъ это... Не менѣе важное вліаніе имѣлъ „Телеграфъ“ и на литературу. Полевой первый смѣло заявилъ, что у насъ еще нѣтъ литературы. „Буда ни оглянемся, писалъ онъ,—вездѣ литература отечественная представляетъ обширную степь, изрѣдка покрытую довылемъ, кустарникомъ и немногими деревами, сирѣчьщими въ обширности пустынной... Много размышляла мы, отчего это происходитъ. Главная причина: *мы не охотники трудиться и насъ изблювали легкія занятія.* За сорокъ лѣтъ фан-Дизинъ спрашивалъ: „отчего у насъ не стыдно ничего не дѣлать?“ Положимъ,

что только отличные таланты увлекаютъ къ успѣхамъ гражданъ ученой республики, но общая дѣятельность *всѣхъ гражданъ* необходима. Стихотворство—большое зло на Руси: оно похищаетъ у насъ много людей, которые, обративъ свое вниманіе на другія занятія, стали-бы на приличнѣйшую дорогу. Хвала Державину, Дмитріеву, Жуковскому, Пушкину и нѣкоторымъ сподвижникамъ ихъ; но зачѣмъ стремится за ними толпа юношей, которые, на зло природѣ, стихотворствуютъ и не принимаются за что-нибудь другое, по силамъ? Вразумимся-ли мы когда-нибудь, что поэзія есть небесное достояніе *немногихъ*? Когда увѣримся и въ томъ, что не только людямъ съ обыкновеннымъ талантомъ, но даже генію надобно учиться, учиться долго, много и основательно? Вотъ аксіома, которую надобно твердить безпрестанно юнымъ нашимъ соотечественникамъ. Выходя изъ училища, мы перестаемъ учиться, закрываемъ учебныя книги и принимаемся писать—обыкновенно стихи, а весьма рѣдко легкую прозу, ничего не читаемъ, кромѣ тѣхъ поверхностныхъ книгъ, гдѣ всему можно шутя научиться... Въ тишинѣ своего кабинета пусть изучаютъ юные наши соотечественники великую, важную науку — философію... Пусть окружаютъ они себя твореніями великихъ мужей Греціи, Рима, Востока, Германіи, Франціи, Англіи, сбросятъ со стола свои ничтожныя книги, всему научающія играя, и, приученные съ дѣтскихъ лѣтъ бесѣдовать съ Гомеромъ, Цицерономъ, Гёте, Шиллеромъ, Шекспиромъ, похитятъ вѣковныя богатства Запада и Востока. Ознакомленные основательнымъ ученіемъ съ занятіями обширными, важными, они *тогда* испытаютъ свои силы и не въ эфемерныхъ стихахъ и статьяхъ, но въ высокихъ пѣснопѣніяхъ, въ философскихъ изысканіяхъ, въ звучномъ голосѣ исторіи, въ чистой, ясной, изящной прозѣ заблистаютъ сокровища нашего богатаго, могучаго языка русскаго. И сколько трудовъ требуетъ еще самый языкъ! Зачѣмъ не приняться за отечественную исторію, отечественный языкъ, съ порывомъ, съ усиліемъ, съ рѣшительностью, достойною Сѣвера и славныхъ его обитателей? Пора, пора приняться за дѣло настоящимъ образомъ!.. Мы увѣрены, что журналы много могутъ споспѣшествовать къ усилению дѣятельности просвѣщенія, къ ознакомленію иностранцевъ съ нами, насъ съ иностранцами, большого свѣта—также иностранца—съ своимъ роднымъ языкомъ, съ своими родными доблестями,

къ сближенію среднихъ сословіи съ европейскою образованностью“ (1825, I, 255—259). Эта горячая проповѣдь объ усвоеніи европейской цивилизаціи, обращенная къ обществу и къ литературѣ, эта неутомимая пропаганда научныхъ знаній были главною заслугою Полевого, встрѣчавшаго на своемъ пути столько враговъ, въ лицѣ литературныхъ шарлатановъ, бездарныхъ и невѣжественныхъ писакъ, недалекихъ, узкихъ псевдопатріотовъ и такихъ панегиристовъ русскаго величія, какъ нѣмецъ Грець и полякъ Булгаринъ... „Московскій Телеграфъ“, органъ, проводникъ европейской мысли, былъ врагомъ всѣхъ сторонниковъ той народности, за которую ратовали Шишковы, Магницкіе и т. д. „Многіе съ досадою жалуются, писалъ въ „Телеграфѣ“ кн. Вяземскій,—что у насъ *чужемыслие, чужечувствіе, чужезычіе* господствуютъ въ словесности; что у насъ мало своего, мало русскаго; что никто не старается дать поэзіи нашей направленіе народное. Можетъ быть, отчасти это и правда. Но по справедливости признаться должно, что и у насъ встрѣчаются примѣры такого литературнаго патріотизма, который даже у нѣмцевъ и англичанъ могъ-бы показаться баснословнымъ. Въ доказательство тому привожу выписку изъ *Письма на Кавказъ* (Сынъ Отеч., № 3). Рѣчь идетъ о новыхъ басняхъ г-на Крылова, напечатанныхъ въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“. „Онѣ прекрасны, замысловаты, но... право не хочется высказать—по разсказу не могутъ сравняться съ прежними его баснями, въ которыхъ съ прелестію поэзіи соединено что-то русское, національное. Въ прежнихъ басняхъ И. А. Крылова мы видимъ русскую курицу, русскаго ворона, медвѣдя, соловья и т. п. Я не могу хорошо изъяснить того, что чувствую при чтеніи его первыхъ басенъ, но мнѣ кажется, будто я гдѣ-то видалъ этихъ звѣрей и птицъ, будто они водятся въ моей родительской вотчинѣ“.—Въ другихъ земляхъ требовали и требуютъ, чтобы драматическіе писатели, творцы эпическихъ поэмъ, почерпали предметы и вымыслы свои изъ отечественныхъ источниковъ; но самъ Шлегель увлекается гораздо далѣе въ порывѣ пламеннаго патріотизма. Онъ не довольствуется отечественнымъ пантеономъ, онъ требуетъ еще отечественнаго звѣринца и отечественнаго птичника. По немъ, сохрани Боже, чтобы русскій баснописецъ употребилъ въ баснѣ своей, напр., царскую курицу или швабскаго гуса; нѣтъ, давай ему непре-

иѣнно курицъ русскихъ, гусей русскихъ: поэтическій желудокъ его не варить другихъ, кромѣ русскихъ. Должно надѣяться, что требованія новой піитики нашего законодателя возбуждать покорное вниманіе будущахъ баснописцевъ; но одно меня тревожитъ за нихъ: гдѣ будетъ предѣль его требованій? Удовольствуется-ли онъ тѣмъ, что его станутъ подчинять одною *русскою живностію*? Изъ послѣднихъ словъ приведенной выписки не выкачивается-ли требованіе *живности доморощенной*? Первые басни г. Крылова прагались литератору - патріоту, по чѣмъ? Ему казалось, что герои оныхъ *содились съ его родительской вотчины*. Искренне поздравляемъ нашего Аристарха - помѣщика съ родительскою вотчиною; не каждому ученому можно похвалиться подобною собственностью; поздравляемъ и съ тѣмъ, что онъ имѣетъ при ней и курицъ, и соловьевъ, пріятную пищу для желудка и ушей, хотя сожалѣемъ вчужѣ, что въ этой вотчинѣ водятся *медведи*, потому что отъ нихъ сельскія прогулки могутъ вовлечь хозяина въ непріятныя встрѣчи. Понимаемъ также, что для образованнаго помѣщика очень кстати имѣть домашняго Лафонтена біографомъ-живописцемъ господскаго вѣчьяго двора, но пускай указатель новой піитики царства безсловесныхъ сжалится немного надъ затѣудителнымъ положеніемъ баснописца, который въ такомъ случаѣ долженъ приписаться къ какой-нибудь вотчинѣ, чтобы доставлять читателю своему пріятныя воспомнанія объ его домашнемъ хозяйствѣ. Должно надѣяться, что въ другомъ письмѣ на Кавказъ послѣдуютъ поясненія и прибавленія, которыя, въ общему удовольствію, согласятъ выгоды читателей-помѣщиковъ съ выгодами провинныхъ баснописцевъ" (1825, I, 353). И сколько было тогда подобныхъ народниковъ, съ которыми приходилось бороться „Телеграфу“! Вотъ, напр., Ертовъ, незнакомый ни съ иностранными языками, ни съ европейскими литературами, сочинилъ всеобщую исторію по русскимъ источникамъ. Полевой прихлопнулъ ее своей рецензіей (1825 г., № 1), в Ертовъ разразился антикритикой, начинавшейся такъ: „Еще нападки на русскаго! Еще похвала иностраннымъ писателямъ!“ Онъ утверждалъ, что даже исторія Гиббона „ни съ какое срасненіе съ моею идти не можетъ... Я изображаю характеры извѣстныхъ людей, замѣчаю отличныя изрѣченія не въ буквальномъ переводѣ, но какъ-бы тѣ лица должны сказать *исто по-русски*“

(Сѣверный Архивъ, 1825, № 4). Полевой, на-сколько позволяли ему извѣстныя условія, неутомимо преслѣдовалъ послѣднихъ псевдопатріотическихкихъ вликушъ. „Пора намъ оставить несправедливую мысль, писалъ онъ,—будто патріотизмъ требуетъ непремѣнно на сто манеровъ твердить одно и то-же о нашей славѣ, о нашихъ добродѣтеляхъ, безъ всякихъ доказательствъ“ (1826, т. VII, с. 185). Но постоянно нападая на то, что онъ окрестилъ именовъ *квасного патріотизма*, самъ Полевой тѣмъ не менѣе былъ горячимъ патріотомъ. Мы уже видѣли, какъ еще до основанія „Телеграфа“ онъ увлекался явленіями, въ родѣ такъ-называемыхъ самородковъ. Эти увлеченія продолжались и въ „Телеграфѣ“, въ которомъ прославлялись мнимые таланты поэта-крестьянина Слѣпушкина (1826, VII, 174—180), такого-же поэта-крестьянина, московской губерніи, Борисова (ib., 182), крестьянина Суханова (1829, т. XXV) и т. д. Въ русскихъ повѣстяхъ и романахъ Полевого уже въ это время мы находимъ почти тотъ-же патріотизмъ, какой выразился впоследствии въ „Парашѣ-сибирячкѣ“. „Телеграфъ“, наконецъ, помѣщалъ иногда такія стихотворенія, подъ которыми могъ подписаться любой изъ „квасныхъ патріотовъ“. Вотъ, напр., какъ обращался онъ къ туркамъ:

„Полно хвастать вамъ луною,
 Будто-бъ ей никто не братъ,
 Къ намъ съ повинной головою
 Скоро выйдетъ Цареградъ!“ и. т. д. (т. XXIX, 6

Или:

Луна ужь гаснетъ, ночь сбѣгаетъ,
 Окрестъ встаетъ развалинъ прахъ,
 И скоро на златыхъ вратахъ
 Орелъ двуглавый осѣнитъ
 Олега новгородскій (!) щитъ! (ib., 258).

Отъ „квасныхъ“ патріотовъ Полевой отличался своимъ образованіемъ, сознаниемъ необходимости прогреса и тѣмъ, что все любимое имъ родное онъ любилъ искренно, они-же въ большинствѣ случаевъ только эксплуатировали идею патріотизма. Онъ былъ патріотъ въ родѣ тѣхъ, которые даже доказываютъ, что русскіе черти и вѣдьмы лучше нѣмецкихъ, и по принципу угощаютъ своихъ друзей водкой и вислой капустой съ чернымъ хлѣбомъ. Надъ этимъ „капустнымъ“ патріотизмомъ Полевой, вѣроятно

но, смѣлся такъ-же, какъ и надъ кваснымъ, но самъ онъ благоговѣнно чтилъ многіе старыя обычая, держался нѣкоторыхъ основъ средневѣкового міросозерцанія и вообще не былъ такимъ прогрессивнымъ патриотомъ, какъ, напр., Вѣлинскій...

Заявляя въ своей программѣ, что критика должна быть существеннымъ отдѣломъ журнала, Полевой прямо говорилъ, что ему приходится создать русскую критику, что „критикъ у насъ много, а критики еще нѣтъ“ (1825, т. II, с. 325). „Критика занимала третью часть пространства нашихъ журналовъ“, но состояла въ голословныхъ похвалахъ пріятелямъ и въ яростныхъ, чисто-личныхъ нападеніяхъ на литературныхъ враговъ. „Представьте, писалъ Полевой, — что кто-нибудь написалъ статейку и помѣстилъ ее въ журналъ; другой на журнальную эту статейку дѣлаетъ замѣчаніе; первый отвѣчаетъ, оправдывается, острится, выписываетъ слова своего противника, опровергаетъ ихъ; другой отвѣчаетъ тѣмъ-же и т. д., пока *антикритика* или литературный мячикъ не превратится въ камень, и тогда начинаютъ бросать его уже не въ статейку, а въ самого сочинителя: вотъ изображеніе большей части журнальныхъ переговоровъ“ (т. I, 259). „Критики русскіе не постигли еще хорошо той науки, жрецами которой себя называютъ. Ограниченные недалекихъ обзоромъ, тревожимые духомъ партій, пріученные къ мелочному мелочными предметами, многіе изъ нихъ не понимаютъ той великой истины, что уразумѣть и оцѣнить красоты и достоинства гораздо труднѣе, нежели выискать ошибки, неисправности, неточности. *Критика—наука*: въ ней есть постоянныя правила, есть условія, но все это донныѣ тайна для многихъ нашихъ критиковъ!“ (т. IV, с. 237). „Истинно просвѣщенный литераторъ долженъ соединить въ своемъ образованіи полную систему всеобщей литературы и изъ идеала изящнаго, соображеннаго съ опытами вѣровъ, извлечь правила и образцы, которымъ должно слѣдовать“ (ib., с. 339). Будучи такимъ „истинно просвѣщеннымъ литераторомъ“, Полевой взялъ на себя литературную критику, библиографію русскихъ и иностранныхъ книгъ и обзорнѣе журналовъ; правда, по этимъ отдѣламъ печатались иногда статьи кн. Вяземскаго и другихъ и Полевому помогалъ его братъ, Ксенофонтъ, но не только духъ, направленіе журнала зависѣли вполне отъ издателя, но и главная масса труда выпадала на его-же долю. Критика научныхъ

сочиненій была поручена специалистамъ. Желая сдѣлать этотъ отдѣлъ вполнѣ серьезнымъ, Полевой съ самаго начала отказался отъ полемики или „антиритики“. Первое полугодіе онъ твердо держался этого правила и даже въ августовской книжкѣ, отвѣтивъ на клеветы своихъ литературныхъ противниковъ, писалъ: „для чести русской литературы, я подамъ *первый примѣръ* журналиста, пренебрегающаго журнальной раздражительностью. Лучше время, убиваемое литературною перекличкою, употребить на усовершенствованіе журнала. Пусть тотъ, у кого антиритики необходимы для наполненія тощихъ листовъ, дорожить ими. Я отъ нихъ отказываюсь рѣшительно“. Но Полевой неизбежно долженъ былъ увлечься полемикой. У насъ о немъ составилось мнѣніе, какъ о неутомимомъ рыцарѣ романтизма; но онъ, и притомъ независимо отъ своихъ увлеченій романтизмомъ, прежде всего былъ пропагандистомъ серьезнаго знанія, врагомъ всякаго шарлатанства, невѣжества, бездарностей, лѣзшихъ въ геніи, пройдохъ, въ родѣ Булгарина, пускавшихъ пыль въ глаза своею мнимую ученостью и благонамѣренностью. Уже въ первый годъ своей издательской дѣятельности Полевой затронулъ столько личныхъ самолюбій, сорвалъ столько масокъ, что вооружилъ противъ себя почти поголовно весь журнальный міръ. Онъ подсмѣивался надъ бездарнымъ Катенинымъ, котораго уважалъ даже Пушкинъ (т. I, 170), онъ нажилъ себѣ смертельныхъ враговъ въ лицѣ упомянутаго уже нами доморощеннаго историка Ертова, М. Дмитриева, „Торжество музъ“ котораго было названо въ „Телеграфѣ“ нелѣпостью (т. I, 171; III, 201), водевилиста Писарева, недостатки котораго были указаны Полевымъ съ полнымъ признаніемъ его достоинствъ (т. VI, 196), ученаго Щеглова, уличеннаго Полевымъ въ томъ, что онъ выкралъ значительную часть своей „Физики“ изъ Біо (т. IV), пустоту Кукольника, нелѣпости Общества любителей россійской словесности (т. XXVII, 118—126), и т. д., и т. д. Всѣ обиженные и друзья ихъ въ первое-же полугодіе начали самую остервенѣлую войну противъ „Телеграфа“, имѣя во главѣ издателей „Сына Отечества“ и „Сѣвернаго Архива“, Греча и Булгарина, которые передъ тѣмъ только приглашали Полевого „снять вмѣстѣ откупъ журнальный и со всѣмъ жаромъ сердобольнаго участія пугали его затрудненіями, сопряженными съ званіемъ издателя, уговаривая дѣйстви-

вать лучше общими силами" (т. VI, с. 176). Для опроверженія ихъ клеветъ и инсинуацій, для обличенія ихъ шарлатанства Полевой завелъ у себя полемической отдѣлъ подъ видомъ приложений къ журналу. Главные удары его были направлены противъ наглаго шарлатанства Булгарина и Греча. Еще въ началѣ 1825 г. Полевой доказалъ, что статья Булгарина о драматическомъ искусствѣ выкрадена изъ книги Шлегеля, и втеченіи года онъ неутомимо разоблачалъ шарлатанство этого писателя, резюмировавъ всѣ высказанныя имъ нелѣпости въ двухъ особыхъ приложенияхъ къ IV и VI томамъ своего журнала. Чтобы показать, какимъ авгівемъ стойломъ была тогда русская журналистика и какъ велика была заслуга Полевого, взявшагося за геркулесовскій подвигъ очищенія, мы остановимся здѣсь на его разоблаченіяхъ булгаринскаго шарлатанства. Булгаринъ писалъ, напр., что „Ниль Негровъ течетъ мимо тумбуетской гавани“, на что Полевой отвѣчалъ, что въ Африкѣ нѣтъ и никогда не бывало никакой тумбуетской гавани, а есть страна и городъ Тумбуету, но городъ этотъ отстоитъ отъ гавани верстъ на 1,000, и что по этому Нигеръ названный Булгаринимъ Ниломъ Негровимъ, не можетъ течь мимо гавани. Булгаринъ, корчившій изъ себя ученаго, совѣтовалъ другимъ журналистамъ, подобно ему, „взявшись за изданіе журнала, почерпать свои географическія свѣденія не изъ напечатанныхъ для дѣтей географій, но слѣдовать за успѣхами сей науки, читать произведенія ученыхъ мужей по сей части, всѣ новые журналы на иностранныхъ языкахъ, пересматривать вновь выходящія карты, замѣчать поправки на оныхъ, сдѣланныя вслѣдствіе новыхъ открытій и ученыхъ изслѣдованій“. И въ то-же время онъ утверждалъ, что Сахалинъ не островъ, а полуостровъ, что Эльборусъ и Казбекъ два названія одной и той-же горы, что Палемонъ Римлянинъ приплылъ въ Россію во время Нерона и основалъ городъ Романовъ, что въ Константинополѣ есть мраморный бассейнъ, въ которомъ плаваютъ „семь рыбокъ жаренныхъ или имѣющихъ видъ поджаренныхъ“, что въ Турціи на большихъ дорогахъ вездѣ висятъ у фонтановъ „золотыя ковши“, что въ Манчестерѣ недавно одинъ ювелиръ отлучился на два дня; между тѣмъ индѣйскій пѣтухъ вскочилъ къ нему въ комнату, съѣлъ у него брильянтовъ на 8,000 ф. ст. и вылетѣлъ въ окно; но пѣтуха зарѣзали и съѣли, а брильянты от-

дали хозяину; что одинъ малороссійскій казакъ цѣлые три часа отбивался отъ „цѣлой польской арміи“, былъ прострѣленъ „четырнадцатью“ пулями и продолжалъ сражаться; что незадолго до наводненія въ Петербургѣ всѣ собаки въ Гостиномъ дворѣ пропали и явились не прежде, какъ на другой день, и т. д. „Телеграфъ“ разбиралъ всѣ эти нелѣпости и опровергалъ ихъ очень остроумно. По поводу собакъ, напр., онъ замѣчалъ Булгарину, что собаки въ Гостиномъ дворѣ бывають только по ночамъ, а такъ-какъ ихъ на это время привязываютъ, то онѣ не могли скрыться ни по предчувствію наводненія, ни по другой причинѣ. Всѣ подобныя разоблаченія подняли на „Телеграфъ“ цѣлую бурю. „И было изъ чего сердиться на журналъ, рассказываетъ Бѣлинскій:—нѣтъ возможности перечитать всѣ фальшивые, шулерски-подтасованные авторитеты, уничтоженные имъ! И сколько было тогда великихъ писателей, которые ничего путнаго не написали! Одинъ дубовыми стихами переложилъ расиновскую трагедію; другой написалъ мадригалъ Лилетѣ и триолетъ Хлоѣ; третій — дюжину плаксивыхъ стишонковъ; четвертый — сантиментальную повѣсть; извѣстность пятаго была основана на статьѣ, выкраденной изъ одной иностранной книги, а шестой просто выдалъ за свое сочиненіе забытый трудъ какого-нибудь стараго русскаго писателя. „Московскій Телеграфъ“ на все навелъ справки, все вспомнилъ, все вывелъ наружу. Многимъ сказалъ онъ, что ихъ сочиненія въ свое время могли имѣть свою относительную цѣнность, но что время ихъ прошло и что теперь мальчишки пишутъ лучше ихъ, заслуженныхъ и извѣстныхъ авторовъ. На все это нужно было тогда много смѣлости: въ то время самое легкое замѣчаніе не въ пользу автора принималось за брань и ругательство и служило поводомъ ко множеству критикъ, антикритикъ, ревертикъ, отвѣтовъ, возраженій и проч. Считавшіе себя обиженными не забывали этого; а кому пріятно имѣть безчисленное множество враговъ? Да, для этого нужно было больше, чѣмъ смѣлость,—нужно было самоотверженіе“. И при этомъ Полевой относился къ своимъ противникамъ въ высшей степени честно и сдержанно и только въ припадкахъ крайняго раздраженія позволялъ изрѣдка себѣ такіа выходки, какъ, напр., противъ Каченовскаго, которому онъ однажды замѣтилъ, что „статьи писать—не порохоми торговать“ (Ка-

ченовскій въ молодости былъ привлеченъ къ дѣлу о незаконной продажѣ казеннаго пороха). Вообще, „Телеграфъ“ избѣгалъ всякой личной полемики и Полевой почти никогда не защищался отъ нападеній враговъ. Когда, напр., въ 1826 г. Писаревъ издалъ брошюру „Антителеграфъ“, то Полевой отказался разбирать ее, считая личную перебранку дѣломъ недостойнымъ журнала. Онъ даже открыто сознавался въ нѣкоторыхъ своихъ недостаткахъ, указываемыхъ противниками. Въ 1828 г. Шевыревъ напечаталъ разборъ „Телеграфа“ и указывалъ Полевому на многія темныя стороны изданія. Встрѣтившись съ нимъ, Полевой согласился съ справедливостію его замѣчаній и, пожимая его руку, сказалъ: „мое извиненіе заключается въ моихъ добрыхъ намѣреніяхъ и въ томъ, что я учился на мѣдныя деньги“. Въ 1829 г., при выходѣ болгаринскаго „Выжигина“, Полевой отнесся къ нему съ полнымъ безпристрастіемъ и хвалилъ то, что казалось ему хорошимъ въ романѣ. Будучи вынужденъ къ полемикѣ съ самого начала изданія, Полевой черезъ два года увидѣлъ всю ея бесплодность, рѣшился избѣгать ея и отказался отъ печатанія антикритикъ, которыми заваливали его авторы (1826, ч. XII, с. 249). Это рѣшеніе, кажется, мотивировалось и интригами писателей, въ родѣ Булгарина. Въ 1825 г. Полевой жестоко, жестоко хлесталъ Булгарина чуть не въ каждой книжкѣ, а въ 1826 г. онъ только вскользь упоминаетъ о немъ раза три или четыре. Булгаринъ входилъ въ силу и не прочь былъ напасть на своего противнику посторонними путями... Но велъ-ли Полевой полемику, отказывался-ли отъ нея, — въ критикѣ и библиографіи онъ былъ всегда одинаково смѣлъ, честенъ и неумолимъ ко всякому шарлатанству, ко всякой глупости. Журналы, особенно „Сѣверная Пчела“, были полны самой наглой брани на него; его обзывали выскочкой, неучемъ, торгашемъ, цѣловальникомъ и т. д. „Онъ, говоритъ, напр., „Вѣстникъ Европы“ 1828 г., — прикидываетъ къ поэтамъ *волчокъ* критики съ размаху и опредѣляетъ мигомъ, сколько въ нихъ поэтическаго *уара*“. Къ этому присоединялись гнусныя намеки на его „неблагодѣтельность“ и всевозможныя инсинуаціи. Но печатною бранью враги Полевого не ограничивались, дополняя ее рукописными пасквилями. Вотъ, напр., выдержки изъ пасквиля М. Дмитріева:

Разъ, въ началѣ января,
 Собрались поэты,
 Объявленія смотря
 Въ нумерахъ газеты.
 Всякій думаль и гадалъ —
 Трудное гаданье! —
 Чей на новый годъ журналъ
 Сдержитъ общанье?
 Тутъ сидѣль и Полевой,
 Длинный, желтый и худой,
 Искрививши рожу,
 И глядѣль онъ, какъ кощей, —
 И съ подпизчиковъ-друзей
 Въ мысляхъ драль ужь кожу.
 Всѣ шумять, всѣ говорятъ,
 Всякъ другъ друга славить,
 Кто берётъ стиховъ подрядъ,
 Кто брань на вѣсъ ставитъ.
 — „Николай Левсѣичъ, что
 Вы одни ни слова?
 Собрались-ли съѣсть кого?
 Дома-ль нездорово?
 Местью-ль дышете къ властямъ
 Или скучно съ нами вамъ?
 Мы не гегелисты,
 И журналъ на новый годъ
 Вѣрный вамъ сулить доходъ,
 Хоть доходъ нечистый“ ...
 Вышелъ — о, недобрый часъ!
 Передъ нимъ самъ частный.
 Ротъ разинулъ онъ, смутясь,
 Какъ банкротъ безгласный.
 Гдѣ доходъ, журнальный бой,
 Гдѣ продажа славы!
 „Не угодно-ли со мной?
 Вотъ приказъ Управы!“
 Какъ телёнокъ, журналистъ,
 Видно чую, что не чистъ,
 Вышелъ изъ передней.
 Ночь — хотъ выколи глаза;
 Собирается гроза;
 Воетъ пѣсь сосѣдній“, и т. д.

Подобныя инсинуаціи и закулисныя интриги отражались чрезвычайно вредно на обстоятельствахъ „Телеграфа“.

Полевой и въ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ, и въ своей критикѣ былъ, какъ извѣстно, передовымъ бойцомъ за романтизмъ противъ классицизма. Борьба этихъ двухъ школъ была у насъ отраженіемъ такой-же борьбы въ Германіи и Франціи. „Въ Германіи, говоритъ извѣстный критикъ,—дѣло шло преимущественно о направленіи, духѣ литературы; нѣмцамъ было не нужно много хлопотать о ниспроверженіи условныхъ псевдоклассическихъ формъ, потому что Лессингъ уже давно доказалъ ихъ нелѣпость, а Гете и Шиллеръ представили образцы художественныхъ произведеній, въ которыхъ идея не втискивается насильно въ условную, чуждую ей форму, а сама изъ себя рождаетъ форму, ей свойственную. У французовъ этого еще не было,—имъ еще нужно было освободиться отъ эпическихъ поэмъ съ воззваніями къ Музѣ, трагедій съ тремя единствами, торжественныхъ одъ, избавиться отъ холодности, чопорности, условной и отчасти пошлой гладкости въ слогѣ, однообразномъ и вяломъ,—однимъ словомъ, романтизмъ засталъ у нихъ почти то самое, что было у насъ до Жуковского и Пушкина. Потому борьба обратилась преимущественно на вопросы о свободѣ формы; на самое содержаніе смотрѣли французскіе романтики съ формалистической точки зрѣнія, стараясь сдѣлать все наперекоръ прежнему: у псевдоклассиковъ лица раздѣлялись на героевъ и злодѣевъ,—противники ихъ рѣшили, что злодѣи—не злодѣи, а истинные герои; страсти изображались у классиковъ съ жеманпой, холодной сдержанностью,—романтическіе герои начали неистовствовать и руками, и особенно языкомъ, беспощадно кричать всякую гиль и чепуху; классики хлопотали о щеголеватости,—противники ихъ провозгласили, что всякая благовидность есть пошлость, а дикость, безобразіе—истинная художественность, и т. д.; однимъ словомъ, романтики имѣли цѣлью не природу и человѣка, а противорѣчіе классикамъ; планъ произведенія, характеры и положенія дѣйствующихъ лицъ и самый языкъ создавались у нихъ не по свободному вдохновенію, а сочинялись, придумывались по расчету, и по какому-же мелочному расчету?—только для того, чтобы все это вышло рѣшительно противъ того, какъ было у классиковъ. Потому-то у нихъ все выходило такъ-

же искусственно и натянуто, какъ и у классиковъ, только искусственность и натянутость эта была другого рода: у классиковъ приглаженная и прилизанная, у романтиковъ — преднамѣренно растрепанная. Здравый смыслъ былъ идоломъ классиковъ, незнавшихъ о существованіи фантазіи; романтики сдѣлались врагами здраваго смысла и искусственно раздражали фантазію до болѣзненнаго напряженія. Послѣ этого очевидно, на-сколько у нихъ могло быть простоты; естественности, пониманія дѣйствительной жизни и художественности, — ровно никакихъ слѣдовъ. Таковы были произведенія Виктора Гюго, предводителя романтиковъ. Таковы-же были у насъ произведенія Марлинскаго и Полевого, для которыхъ, особенно для Полевого, Викторъ Гюго былъ идеаломъ поэта и романиста“. О белетристическихъ произведеніяхъ Полевого мы будемъ горорить далѣе, здѣсь-же только замѣтимъ, что они, какъ и вся вообще белетристика „Телеграфа“, были вполне солидарны съ принципами его критики. Критика-же Полевого имѣла огромное значеніе въ нашей литературѣ. Это была первая фаза развитія систематической, научной критики, основанной на философскихъ принципахъ. Основное начало ея слѣдующее: „Теорія подражанія природѣ опровергается. Не природа *творящее*, но человекъ; природа только *творимое*. Человекъ развилъ въ своихъ способностяхъ и знаніяхъ внутренній духовный міръ свой. Это положеніе, основанное на умозрѣніи и доказывается опытомъ, должно быть краеугольнымъ камнемъ всѣхъ нашихъ системъ и изслѣдованій“ (1826 г., ч. VIII, с. 247). Вслѣдствіе этого *истинный поэтъ весь отдается вдохновенію и слушается только его голоса. Поэтъ долженъ быть совершенно независимъ отъ всѣхъ внѣшнихъ условій, долженъ бѣжать отъ всякой прозы житейской*. „Горе ему, если міръ обхватитъ его желѣзными своими когтями!.. Среди людей онъ будетъ странное, уродливое созданіе, жертва страстей, чужихъ и своихъ; жизнь его будетъ борьба между небомъ и землею. Безсмертній мифъ слѣща Омира, испрашивающаго милостыню, ведомаго отрокомъ, — вотъ истое изображеніе поэта въ борьбѣ съ міромъ! Напрасно, подобно Данте и Мильтону, онъ виѣшивается въ политическія событія; напрасно любовь, какъ Камоэнсу, улыбается ему на зарѣ жизни; напрасно, какъ Тассъ, онъ призванъ ко двору владыкѣ; какъ Шиллеръ или Байронъ, хочетъ подчинить себя ти-

хому счастію семейной жизни: тревожный, безпокойный, снѣдаемый внутреннимъ огнемъ, поэтъ никогда не уживется съ людьми, не помирится съ условіями жизни ихъ! Но если онъ покорился имъ, увлекся ими, тогда—Прометей, прикованный къ скалѣ Кавказа, — зачѣмъ при рожденіи своемъ похищаль онъ небесный огонь и оживлялъ имъ брѣнное существо свое!..“ Но при этомъ „Телеграфъ“ не отрицалъ и общественнаго значенія поэзіи. Указывая на общественные мотивы Ювенала, Державина, Байрона и т. д.; „Телеграфъ“ говоритъ: „Почему поэту не быть, наравнѣ съ ораторомъ, стражемъ народныхъ выгодъ и блага общественнаго? Каждый орудіемъ своимъ, одинъ поэзіей, другой витійствомъ, можетъ распространять мѣнія, которыя онъ почитаетъ полезными для благосостоянія своихъ согражданъ, и вытѣснять изъ общества почитаемыя за пагубныя... Скажите ради Бога, почему поэзіи быть безстрастною и безцвѣтною, какъ русскіе журналы? Жизнь общественная, тамъ, гдѣ она пламенѣетъ въ порѣ мужества и здравія, должна пробиваться всюду и все обогрѣвать живительною теплою своею“ (1826 г., ч. XII, с. 53).—Впрочемъ, въ этомъ отношеніи „Телеграфъ“ нѣсколько путался въ противорѣчіяхъ и въ другихъ мѣстахъ рѣшительно вооружался противъ утилитарныхъ направленій поэзіи (1825 г., ч. VI, с. 73).—*Истинная поэзія должна быть народна.* Но требуя отъ поэзіи національнаго духа, Полевой, Марлинскій и другіе романтики выводили дѣйствительную народную жизнь въ причесанномъ, прилизанномъ видѣ, и „Телеграфъ“ вооружался какъ противъ „низкаго слова“, такъ и противъ изображенія жизненной грязи и пошлости въ ихъ настоящемъ видѣ (ч. I, с. 168; II, 48). Въ силу этого, Полевой, какъ увидимъ дальше, и выступилъ такъ рѣшительно противъ школы Гоголя.

Таковы были основныя принципы критики Полевого, которыми онъ руководился въ продолженіи всей своей дѣятельности. Въ обширныхъ статьяхъ о Державинѣ, Жуковскомъ и Пушкинѣ (1832—1834 г.) Полевой представилъ резюме своей критики. Это, безспорно, лучшія статьи его. „Онъ, говоритъ Вѣлинскій,—отличаются если не всегда глубокимъ, то часто вѣрнымъ и, по тогдашнему, новымъ взглядомъ, множествомъ замѣчаній тонкихъ и дѣльныхъ, изложеніемъ мастерскимъ, увлекательнымъ, одушевленнымъ. Никто до Полевого лучше не судилъ о Державинѣ и Жу-

ковскомъ, никто до него не былъ ближе къ истинѣ при оцѣнѣ этихъ двухъ великихъ представителей русской поэзіи“. Вѣлинскій указываетъ въ критикѣ Полевого много недостатковъ. „Все, что ни сказали онъ о нихъ истиннаго, вѣрнаго, все это понято имъ было его непосредственнымъ чувствомъ и передано, какъ непосредственное чувство: мысль осталась для него недоступною, и потому все, что ни говоритъ онъ, должно принимать на вѣру, увлекаясь живостью и силою изложения“. Характеристики Полевого дѣйствительно таковы; но очень часто онъ вполне сознательно относился къ достоинствамъ и недостаткамъ авторовъ и нѣкоторыя его мнѣнія не потеряли цѣны даже въ настоящее время. Вотъ что, напр., говоритъ онъ о дѣятельности Жуковского: „Не должно полагать, чтобы Жуковский глубоко проникалъ въ сущность германской и англійской поэзіи. Онъ самъ признается, что Гамлета почитаетъ чудовищнымъ, уродливымъ произведеніемъ. Также не могъ онъ постигнуть глубины Гёте и даже вдохновителя и любимца своего, Шиллера... Ни Жуковский и никто изъ товарищей и послѣдователей его не подозрѣвали, что они пустились въ океанъ непредѣльный. Оптический обманъ представлялъ имъ берега вблизи. Срывая вѣтки въ безмѣрномъ саду Гёте и Шиллера, они думали, что переносятъ въ русскую поэзію цѣлый садъ этотъ“. Относительно Пушкина и той перемѣны, какая совершилась въ направленіи его дѣятельности въ началѣ тридцатыхъ годовъ, Полевой дѣйствительно руководился непосредственнымъ чувствомъ, впадалъ въ ошибки, не могъ ясно формулировать того, что чувствовалъ, но при всемъ томъ онъ во многихъ отношеніяхъ былъ недалеко отъ истины. Онъ, напр., утверждалъ, что народность „Руслана и Людмилы“ искусственная, поддѣланная, какъ народность карамзинскаго „Ильи Муромца“ или „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ“ Жуковского. Недостатки „Онѣгина“ онъ не могъ выяснитъ, хотя и понималъ пустоту этого тина (1832, ч. XLIII, с. 448). Но вотъ его отзывъ о 3-й части стихотвореній Пушкина: „Теперь спросимъ у самихъ себя: того-ли Пушкина видимъ мы въ третьей части его стихотвореній, того-ли поэта, котораго полюбила публика наша, котормъ восхищалась она, читая первыя части его стиховъ? Повторяемъ, что въ наружной отдѣлкѣ онъ все тотъ-же, сладкозвученъ, плѣнительенъ, игривъ; но это не творецъ посланія „Къ Чаада-

еву“, „*Андрея Шенье*“, „*Наполеона*“, „*Къ морю*“ и пр., и пр. *Направление его, взглядъ, самое одушевление совершенно измѣнились. Это не прежній задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель думъ и мечтаній своихъ ровесниковъ*,—это нарядный, блестящій и умный свѣтскій человѣкъ, обладающій необыкновеннымъ даромъ стихотворенія“ (1832 г., ч. LXIII, с. 570). Въ этой части между нѣсколькими превосходными стихотвореніями были помѣщены и такія, какъ „*Поэту*“, „*Клеветникамъ Россіи*“, „*Бородинская годовщина*“. Если сравнить ихъ съ тѣми, на которыя съ восторгомъ указываетъ Полевой, то отзывъ его будетъ вполне понятенъ и долженъ быть признанъ въ сущности справедливымъ. По поводу пушкинскаго „*Годунова*“ Полевой писалъ: „Прочитавъ посвященіе, знаешь напередъ, чтъ мы увидимъ карамзинскаго Годунова: этимъ словомъ рѣшена участраи Пушкина. Ему не пособятъ уже ни его великое дарованіе, ни сила языка, какою онъ обладаетъ“. Вѣлинскій въ 1840 г., при выходѣ сборника критическихъ статей Полевого („*Очерки русской литературы*“, Спб., 1839) отнесся къ этому отзыву саркастически, но впоследствии самъ сталъ на ту-же точку зрѣнія, принятую и позднѣйшей критикой. Нападки Полевого на Пушкина нѣкоторые объясняли самолюбіемъ перваго, раздраженнымъ эпиграмами послѣдняго. Но мнѣнія Полевого были не только его личными, но и мнѣніями цѣлаго кружка. Вообще обвиненія въ пристрастіи не имѣютъ никакихъ основаній, и личность Полевого была всегда свободна отъ этого недостатка, даже въ несчастные послѣдніе годы его жизни. Пушкинъ и друзья его не долго дружили съ Полевымъ, не долго сотрудничали въ „*Телеграфѣ*“. При своемъ аристократическомъ характерѣ, эта школа неизбѣжно должна была разойтись съ представителемъ интеллигентной массы, который демократизировалъ литературу. Пушкинъ въ тридцатыхъ годахъ уже вооружался противъ „*произвола журнальныхъ сужденій, захватившаго довольно обширный кругъ дѣйствія*“, и Полевой, какъ главный представитель этого „*произвола*“, возникшаго общественнаго мнѣнія и серьезной критики, былъ не по душѣ ему. Полевой указывалъ его недостатки, и хотя часто ошибался, но нерѣдко билъ и прямо въ цѣль. Пушкинъ-же и друзья его объявили Полевого вздорнымъ крикуномъ и осыпали эпиграмами.

Критика Полевого давно уже отжила свой вѣкъ, но въ свое время она имѣла огромное значеніе и оказала нашей литературѣ великія услуги. Вопросъ шель о томъ, чтобы освободить литературу отъ давившихъ ее условныхъ правилъ классицизма и дать ей возможность естественнаго, самостоятельнаго, народнаго развитія. „Вопросъ, говоритъ Бѣлинскій, — стоилъ споровъ, дѣло стоило битвы. Теперь на этомъ полѣ все тихо и мертво, забыты и побѣжденные, и побѣдители, но плоды побѣды остались и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимою плотиною противъ самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журналистъ, публицистъ, критикъ, литераторъ и беллетристъ“.

С. Славринъ.

(Окончаніе будетъ.)

КРАСАВЕЦЪ.

РОМАНЪ

ЖЮЛЯ КЛАРЕТИ.

ГЛАВА I.

КАПИТАНЪ РИВЬЕРЪ.

Жозефъ Фуше, герцогъ Отрантскій, министръ полиціи и внутреннихъ дѣлъ, былъ заваленъ работою лѣтомъ 1809 года, въ то время, какъ императоръ воевалъ съ Австріей на Дунаѣ, гдѣ происходили великія битвы, извѣстныя въ исторіи подъ названіемъ Эслингена и Ваграма.

Много тревогъ и безпокойства возбудило въ Парижѣ извѣстіе о кровопролитномъ и нерѣшительномъ сраженіи 22 мая, которое едва не окончилось совершеннымъ пораженіемъ французской арміи. Бюлетени Наполеона прославляли побѣду при Эслингенѣ, а австрійцы приписывали себѣ успѣхъ въ битвѣ при Аспернѣ, какъ они ее называли. Въ дѣйствительности Наполеонъ на другой день послѣ знаменитой рѣзни принужденъ былъ ждать подкрѣпленій и вызвать поспѣшно изъ Италіи армію принца Евгенія, а изъ Иллиріи корпусъ Мариона. Въ самый рѣшительный моментъ сраженія императоръ потерялъ голову и французская армія погибла-бы, если-бъ ее не выручилъ Массена.

Все это было извѣстно въ Парижѣ, гдѣ тревожныя вѣсти, какъ всегда, распространялись втайнѣ, шопотомъ. Министръ полиціи, стараясь всѣми силами скрыть истину отъ испуганнаго на-

селенія, посѣвшиль выставить на углахъ всѣхъ улицъ побѣдныя бюлетени Наполеона.

Оптимисты говорили, что императоръ не имѣлъ привычки провозглашать себя побѣдителемъ, когда въ сущности онъ не одержалъ успѣха.

— Эта метода хороша для австрійцевъ, прибавляли они.

Пессимисты отвѣчали:

— Достоверно, что маршалъ Лонъ убитъ и мы потерпѣли 8,000 убитыми и 18,000 ранеными, въ томъ числѣ 500 офицеровъ. Какая бойня! Прочтите внимательно бюлетень Бонапарта: онъ самъ заявляетъ, что не могъ воспользоваться побѣдой, и обвиняетъ въ этомъ—кого-же? *Генерала Дуная*, лучшаго полководца австрійской арміи, который разрушилъ мостъ, наведенный нашими солдатами! Когда человѣкъ доходитъ до того, что сваливаетъ вину своихъ собственныхъ ошибокъ и пораженій на прирѣду, будьте увѣрены, конецъ его близокъ.

Дѣйствительно, имперія Наполеона I едва не достигла своего конца нѣсколькими годами ранѣе. Не разъ могучая правительственная машина готова была лопнуть отъ попавшей въ нее микроскопической соринки. Наполеонъ такъ ясно сознавалъ тайную слабость своей, повидимому, непреодолимой власти, что его тревожила всякая малость: лоскутокъ печатной бумаги, слово, громко сказанное какимъ-нибудь офицеромъ. Даже среди своей славной арміи онъ часто призывалъ Савари, завѣдывавшаго тайной полиціей во время похода, и съ безпокойствомъ разспрашивалъ его о политическихъ мнѣніяхъ солдатъ. Общество *Филадельфовъ*, состоявшее изъ смѣлыхъ, мужественныхъ воиновъ, враговъ бонапартовской имперіи, однакожь забывавшихъ свою вражду для защиты Франціи, пугало императора. Онъ видѣлъ въ этомъ обществѣ, менѣе могущественномъ, чѣмъ оно казалось съ перваго взгляда, но все-же стойкомъ,—призракъ умершей республики.

Впродолженіи полутора мѣсяца, проведеннаго Наполеономъ на островѣ Лобау, послѣ пораженія, хотя и славнаго, при Эслингентѣ, всѣ его депеши къ Фуше начинались со словъ: „Потерпите, вскорѣ все измѣнится“, и оканчивались болѣе конфиденціально: „Дѣйствуйте энергично противъ всякихъ заговорщиковъ“.

Все, что было въ Парижѣ враждебнаго императору, сильно волновалось, и общественное мнѣніе, наконецъ, возстало противъ воин-

ственного самолюбія одного человѣка, стоявшаго такъ много крови всей странѣ. Сен-Жерменскій кварталъ, признавшій-было имперію, снова начиналъ ворчать. Въ Вандеѣ были признаки близкаго возстанія. Республиканцы тоже, повидимому, готовились къ борьбѣ. Фуше былъ въ отчаяніи, не зная, какъ отогнать набѣгавшую грозу. Мы уже не говоримъ объ англичанахъ, стоявшихъ въ устьѣ Шельды, о необходимости оградить отъ опасности Бельгію и о скандальномъ похищеніи папы. Всѣ эти событія принадлежатъ исторіи, а нашъ рассказъ касается только семейной драмы, ознаменовавшей эту тревожную эпоху.

Однажды утромъ, въ началѣ іюня, Фуше всталъ съ постели въ болѣе мрачномъ настроеніи духа, чѣмъ обыкновенно. Положеніе дѣлъ съ каждымъ днемъ становилось хуже. Наканунѣ ночью онъ приказалъ арестовать отставного драгунскаго капитана, удаленнаго со службы за политическія мнѣнія и участіе во времена консульства въ военномъ заговорѣ, къ которому полиція приложила свою вездѣсущую руку. Капитанъ Ривьеръ, по свѣденіямъ, полученнымъ Фуше, былъ если не глава, то казначей оппозиціоннаго кружка, члены котораго находились даже въ дунайской арміи.

Читая донесенія полицейскихъ чиновниковъ объ этомъ заговорѣ, министръ сначала пожималъ плечами, зная, какъ преувеличивали подобныя событія слишкомъ ревностные агенты. Но въ полученныхъ отъ императора инструкціяхъ выразалось такъ много волненія и безпокойства, что Фуше рѣшился, наконецъ, отдать приказъ объ арестованіи капитана Ривьера и сдѣлать обыскъ въ его квартирѣ въ улицѣ Монмартръ.

— Вы подождите ночи, сказалъ онъ своимъ агентамъ: — лучше дѣйствовать осторожно.

Арестованный въ часъ ночи, капитанъ Ривьеръ былъ отвезенъ въ полицейскую префектуру, а захваченныя у него бумаги переданы секретарю министра.

Этотъ преданный помощникъ Фуше не нашелъ нужнымъ будить его и самъ провелъ всю ночь за разборкой представленныхъ бумагъ, такъ что утромъ министръ еще засталъ его за работой.

— Ну что, Бернье, сказалъ онъ, — нашли вы что-нибудь интересное?

Бернье поднялъ голову, привсталъ, чтобъ поклониться своему начальнику, и отвѣчалъ съ знаменательной улыбкой:

— Вы сами увидите, ваше превосходительство.

— А-а! произнесъ Фуше, насупливая брови.— Неужели...

Онъ не докончилъ фразы, поспѣшно сѣлъ къ столу противъ секретаря и взялъ одну изъ пачекъ бумагъ, приведенныхъ Бернье въ порядокъ.

— Посмотримъ, что это? спросилъ онъ.

— Это пустяки, отвѣчалъ секретарь;— не угодно-ли вамъ взять эту пачку: здѣсь, ваше превосходительство, вы найдете объясненіе всего дѣла.

Съ этими словами онъ пододвинулъ къ министру пачку съ письмами различныхъ почерковъ.

Фуше быстро пробѣжалъ ихъ глазами, съ обычнымъ навыкомъ государственныхъ людей сразу схватывать сущность каждой бумаги.

— Нѣтъ подписи, сказалъ онъ про себя;— но эти письма обнаруживаютъ, безъ сомнѣнія, тайное общество. Что могутъ означать имена: Филопомень, Гармодій, Варъ, Катонъ, если не псевдонимы заговорщиковъ? Хорошо, мы скоро узнаемъ, кто скрывается подъ древней маской. Филопомень! Они никогда не излечутся отъ страсти маскироваться въ греческія и римскія тоги.

Въ устахъ герцога Отрантскаго *они* означало его бывшихъ товарищей якобинцевъ, которыхъ онъ презиралъ за неумѣнье, подобно ему, примѣняться къ обстоятельствамъ и извлекать изъ нихъ личную для себя выгоду.

— Я самъ допрошу капитана, сказалъ онъ наконецъ, положивъ бумаги на столъ.

На лицѣ секретаря появилась еще болѣе знаменательная улыбка.

— Что еще? спросилъ министръ, отъ котораго ничто не могло укрыться.

— Ничего; ваше превосходительство прекрасно дѣлаете, принимая на себя веденіе этого дѣла. Оно очень сложное и...

— Ну?

— И щекотливое.

Бернье придалъ на этотъ разъ своей улыбкѣ особенное выраженіе, которое обыкновенно является на лицахъ мужчинъ во

время десерта послѣ хорошаго обѣда, когда разговоръ незамѣтно переходитъ на женщинъ.

— Такъ дѣло идетъ не только о политикѣ? спросилъ герцога Отрантскій.

— Ищите во всемъ женщину, сказалъ секретарь, повторяя знаменитую фразу Сартина, великаго полицейскаго авторитета.

— Женщину! Я этого ждалъ! воскликнулъ Фуше.— Но какое можетъ быть дѣло женщинъ до Гармодія или Катона?

— Капитанъ Ривьеръ женатъ.

— Ну?

— Ваше превосходительство увидите, что въ настоящемъ дѣлѣ подъ политикой скрывается маленькая семейная драма... очень обыкновенная.

— Г-жа Ривьеръ...

Секретарь ничего не отвѣчалъ, но продолжалъ улыбаться.

— Если не крайне необходимо примѣшивать ее къ дѣлу, сказалъ Фуше серьезнымъ тономъ, — то воздержитесь отъ этого, Бернье. Вы меня понимаете?

— Совершенно, ваше превосходительство, и я никогда не позволилъ-бы себѣ обратить ваше вниманіе на эту щекотливую или пикантную сторону дѣла, если-бы г-жа Ривьеръ не была прямо замѣшана... благодаря...

— Благодаря кому?

— Благодаря третьему лицу, ваше превосходительство, отвѣчалъ Бернье съ улыбкою.

Теперь Фуше искренно заинтересовался дѣломъ и, столько-же изъ любопытства, присущаго всякому человѣку, сколько по обязанности министра, послѣшно сталъ перебирать бумаги.

Черезъ нѣсколько минутъ Фуше всталъ.

— Вы правы, Бернье, сказалъ онъ отрывисто: — неприятное дѣло, но невозможно оставить безъ вниманія такіе... документы.

Онъ долго искалъ послѣдняго слова.

— Прикажете привести сюда капитана Ривьера черезъ часъ, прибавилъ онъ, — я до тѣхъ поръ успѣю пересмотрѣть захваченныя бумаги и самъ его допрошу. Вы понимаете, Бернье: черезъ часъ.

— Понимаю, ваше превосходительство.

Фуше обыкновенно велъ дѣла быстро; и когда черезъ часъ въ

кабинетъ его вошелъ капитанъ Ривьеръ, онъ уже основательно, подробно зналъ все дѣло. Онъ не поднялъ глазъ до той минуты, пока капитанъ не подошелъ къ нему и сталъ у конторки, за которой онъ работалъ. Тогда Фуше устремилъ на него пронизательный взглядъ, стараясь припомнить, не видалъ-ли онъ его когда-нибудь прежде. Обвиняемый былъ совершенно ему незнакомъ.

Капитанъ Ривьеръ стоялъ передъ министрами твердо, съ достоинствомъ. Это былъ человѣкъ высокаго роста, въ длинномъ, застегнутомъ до верху военномъ сюртукѣ, доходившемъ до колѣнъ, изъ-подъ котораго едва виднѣлись желтые отвороты сапогъ съ очевидными слѣдами шпоръ. Черный шелковый воротникъ съ кожаной опушкой туго обхватывалъ мощную, загорѣлую шею, надъ которой виднѣлись курчавая голова и смуглое лицо съ пріятнымъ носомъ, большими, жесткими усами и благороднымъ, открытымъ взглядомъ. Ривьеру казалось около сорока лѣтъ, но тайная грусть и глубокое разочарованіе придавали его лицу мрачное выраженіе, которому только едва замѣтная улыбка мѣшала сдѣлаться совершенно свирѣпымъ. Сѣдина на вискахъ и большой шрамъ, пересѣкавшій лобъ, сообщали его гордому, мужественному лицу еще болѣе усталый видъ. Красная ленточка торчала въ петлицѣ его пальто, а на рукахъ красовались замшевыя перчатки безукоризненной бѣлизны.

„Ну, подумалъ Фуше,—это не первый встрѣчный.“

Эти оба человѣка, стоявшіе теперь другъ противъ друга, представляли поразительный контрастъ. Сорока-трехъ лѣтъ, сухощавый, сгорбившійся, Фуше отличался восковымъ цвѣтомъ лица, рѣдкими, прилизанными волосами, тонкими губами, натянутымъ ртомъ, впалыми щеками, острыми подбородкомъ, угловатымъ туловищемъ и костлявымъ лицомъ. Его маленькіе блѣдно-голубые, стеклянные глаза холодно и пристально глядѣли на черные, блестящіе глаза капитана. Въ сѣромъ сюртукѣ и въ толстыхъ башмакахъ въ родѣ тѣхъ, которыми Роланъ, четырнадцать лѣтъ тому назадъ, въ залахъ Тюльери приводилъ въ ужасъ оберъ-церемоніймейстера, Фуше, выносившій на своихъ плечахъ тяжелыя обязанности двухъ важнѣйшихъ министровъ имперіи, вовсе не казался особенно страшнымъ. Его могущество и хитрость прикрывались добродушнымъ взглядомъ, которому придавали еще болѣе

мягкости отвисшія вѣки, скрывавшія его холодные глаза, какъ театральнѣй завѣсъ скрываетъ цѣлый невѣдомый міръ.

Капитанъ Ривьеръ зналъ Фуше по слухамъ; онъ не сомнѣвался, что этотъ, повидимому, добродушный человекъ, не колеблясь предастъ его смертной казни, если того потребуетъ личный интересъ его повелителя.

Ривьеръ, какъ человекъ мужественный, не опустилъ глазъ передъ всемогущимъ министромъ, не выказалъ никакого волненія; онъ смотрѣлъ прямо въ глаза Фуше, и между ними прежде всего произошелъ безмолвный поединокъ взглядами. Герцогъ Отрантскій не смутился отъ пристального взгляда капитана, и если опустилъ глаза, то сдѣлалъ это изъ хитрости. Чтобъ обезпечить себѣ побѣду, онъ никогда не боялся выдать себя за побѣжденнаго.

Бросивъ послѣдній взглядъ на лежавшія передъ нимъ бумаги, онъ сказалъ отрывисто, но учтиво:

— Присядьте пожалуйста.

Капитанъ слегка наклонилъ голову и опутился на стулъ, который ему пододвинулъ одинъ изъ полицейскихъ агентовъ, провозжавшихъ его въ кабинетъ министра.

— Вы можете идти, продолжалъ Фуше, обращаясь къ полицейскимъ; — подождите тамъ, я позволю, если вы мнѣ понадобится. Теперь, прибавилъ онъ, когда дверь затворилась, — мы одни. Я надѣюсь, что вы довольны моею осторожностью въ этомъ дѣлѣ?

Капитанъ слегка улыбнулся и громкимъ, мужественнымъ голосомъ сказалъ довольно равнодушно:

— Благодарю васъ.

Послѣ минутнаго молчанія министръ, перелистывая бумаги, продолжалъ:

— Мнѣ нечего объяснять вамъ, зачѣмъ вы арестованы.

— Я подозреваю.

— Значитъ, вы сознаетесь, что принимали участіе въ заговорѣ?

— Я ни въ чемъ не признаюсь, произнесъ рѣзко Ривьеръ.

— Хорошо: я приступлю къ формальному допросу. Вы видите, здѣсь нѣтъ ни секретаря, ни писца; я увѣренъ, что вы вскорѣ поблагодарите меня за этотъ тайный допросъ съ глазу на глазъ.

Въ послѣднихъ словахъ Фуше звучала какая-то иронія, которая не могла не обратить на себя вниманіе капитана, но онъ не выразилъ ни малѣйшаго безпокойства.

— Капитанъ, началъ министръ, смотря то на замѣтки, сдѣланныя имъ на листѣ бумаги, то на лицо Ривьера: — вамъ теперь тридцать восемь лѣтъ; вы родились въ 1771 году, и отецъ вашъ былъ торговцемъ сукна. Вы поступили въ военную службу въ числѣ волонтеровъ 1791 года, и съ самаго начала свели тѣсную дружбу съ генераломъ Мале. Выступивъ изъ Доля простымъ рядовымъ, въ 1792 году, вы вмѣстѣ съ нимъ совершили походъ на Рейнъ. Тяжелая рана, полученная въ битвѣ при Нотвейлерѣ, отъ которой до сихъ поръ у васъ остался шрамъ, заставила васъ пробыть долго въ лазаретѣ. Вы тогда уже были офицеромъ. Позже, все съ тѣмъ-же генераломъ Мале, вы храбро сражались въ рейнской и мозельской арміяхъ, подъ начальствомъ Писегрю. Вы славный офицеръ. Консульство застало васъ въ чинѣ капитана, и имперія, конечно, произвела-бы васъ въ полковники или даже въ бригадные генералы, если-бъ вы не предпочли противодѣйствовать новому правительству, — нѣтъ, хуже бороться съ нимъ. Вы серьезно скомпрометировали себя; хотя, признаюсь, не было представлено прямыхъ доказательствъ вашей вины, однакожь, вы принуждены были, подавъ въ отставку, удалиться изъ итальянской арміи.

Капитанъ Ривьеръ подтверждалъ каждое слово герцога Отрантскаго почти незамѣтнымъ наклоненіемъ головы.

— Вмѣсто того, чтобъ послать васъ въ провинцію, въ отдаленный уголокъ Перигора или Юры, продолжалъ Фуше, — императоръ, который такъ поступилъ со многими горячими головами, дозволилъ вамъ свободно жить въ Парижѣ, вашемъ родномъ городѣ. Около года вы занимаете въ улицѣ Монмартръ большую, роскошную квартиру, которая служить сборнымъ пунктомъ для многихъ офицеровъ, не только отставныхъ, но и находящихся на дѣйствительной службѣ. Вы отличаетесь смѣлымъ умомъ и твердымъ характеромъ. Хотя вы способны на отважный подвигъ, но умѣете сдерживать свой пылъ и, подчиняясь обстоятельствамъ, выжидаете случая для болѣе вѣрнаго достиженія своей цѣли. Мы знаемъ эту цѣль.

— Неужели? сказалъ Ривьеръ.—Любопытно узнать, въ чемъ она заключается.

— Я сейчасъ удовлетворю вашему любопытству, капитанъ, сказалъ Фуше съ улыбкой полудобродушной и полумронической;— вы пламенный патриотъ и преданный республиканецъ—два недостатка или два достоинства, въ которыхъ я послѣднимъ сталь-бы васъ упрекать, если-бъ они были платоническіе... съ затаенной злобою вы встрѣтили учрежденіе наслѣдственной имперіи.

— Я встрѣтилъ съ отчаяніемъ это событіе, произнесъ капитанъ;—по-моему, нашей странѣ грозятъ неисчислимыя бѣдствія отъ подчиненія честолюбцу.

— Вы, можетъ быть, и правы, отвѣчалъ герцогъ Отрантскій;— но имперія насъ спасла отъ болѣе ужасныхъ бѣдствій, которыя неминуемо были-бы навлечены на насъ слѣпою враждою партій. Но не будемъ говорить о политикѣ. Мои занятія не дозволяютъ мнѣ часто предаваться этому удовольствію и я совершенно отвыкъ отъ подобныхъ разговоровъ.

Иронія Фуше была очень тонкая. Онъ умѣлъ съ добродушной улыбкой вспоминать о своемъ прошедшемъ.

— Итакъ, продолжалъ онъ,—вы убѣжденный республиканецъ и не можете простить консулу, что онъ сдѣлался вашимъ императоромъ. Однакожъ, этого хотѣла вся нація.

— Я ненавижу всякое нарушеніе правъ націи, твердо сказалъ Ривьеръ;— я одинаково постояненъ въ любви и въ ненависти.

Эти слова поражали Фуше не въ бровь, а въ глазъ. Онъ закусилъ губу, но не столько отъ гнѣва, сколько отъ желанія сдержать улыбку. Онъ слегка пожалъ плечами, какъ-бы говоря: „мы сейчасъ увидимъ, что ты скажешь о своей любви“.

— Вы не храните въ тайнѣ своихъ идей, сожалѣній и надеждъ, продолжалъ Фуше;—вы *филадельфъ* или что-то подобное. Вы заговорщикъ. Вашъ домъ, повторяю,—средоточіе заговора, проникшаго даже въ ряды арміи. Императоръ, гордитесь этимъ, если хотите, также безпokoится о вашихъ дѣйствіяхъ, какъ о дѣйствіяхъ австрійцевъ. Но пора положить конецъ этимъ волненіямъ. Армія должна быть очищена отъ волнующаго ее якобинства.

— Я не якобинецъ, отвѣчалъ капитанъ;—я врагъ тирановъ, кто-бы они ни были.

— Хорошо, но воля императора—законъ, и всякій, кто ей вздумаетъ противиться, будетъ стертъ съ лица земли. Что могутъ сдѣлать ваши заговоры противъ его побѣдъ?

— Побѣдъ, стоющихъ такъ много французской крови.

— Точно кровь нашихъ солдатъ не текла при Жемапъ и Флерюсъ.

— Тогда ее проливали за независимость отечества, а теперь— для подчиненія цѣлаго свѣта воинственному самолюбію одного человѣка.

— Такъ вы составляете заговоръ съ мирной цѣлью?

— Если я заговорщикъ, докажите это, холодно произнесъ Ривьеръ.

— Конечно, этотъ отвѣтъ самый искусный, какой можетъ сдѣлать человѣкъ въ вашемъ положеніи. Но мнѣ легко будетъ доказать вамъ, что полиція не ошибается.

— Я васъ слушаю.

— Капитанъ, всѣ ваши бумаги захвачены.

— У меня дома только семейныя бумаги. Неужели ваши агенты забрали эти документы, драгоценныя для одного меня?

— Мои агенты чрезвычайно добросовѣстно исполняютъ свои обязанности; они забрали все, зная, что можно возвратить вамъ и вашему семейству частныя документы.

— Если-бъ я былъ заговорщикомъ, г. министръ, сказалъ капитанъ, — то неужели вы полагаете, что я сохранялъ-бы у себя дома слѣды заговора и доказательства моей виновности!

Герцогъ Отрантскій взялъ съ конторки небольшую пачку писемъ и молча, небрежно смотрѣлъ на нее.

— Капитанъ, вдругъ произнесъ онъ вкрадчивымъ, убійственнымъ тономъ,—вы давно женаты?

Лицо Ривьера, остававшееся во все время допроса неподвижнымъ, хладнокровнымъ, почти презрительнымъ, быстро измѣнилось. Въ глазахъ его блеснули изумленіе и безпокойство.

— Зачѣмъ вамъ это знать? спросилъ онъ все еще спокойно.

— Капитанъ, сказалъ министръ, принявъ серьезный, почти торжественный тонъ,—наши обязанности имѣютъ свою грустную, мрачную сторону. По-моему, ничего не можетъ быть хуже и страшнѣе, какъ обнажать раны, тѣмъ болѣе опасныя, что онѣ

долго были скрыты. Но полицейскій похожъ на хирурга: его орудіе—ножъ.

— Что вы хотите сказать? спросилъ Ривьеръ, смотря прямо въ глаза министру.

Голосъ его теперь дрожалъ, какъ-бы отъ глубокаго, внутренняго страданія. Онъ еще не страдалъ, но предчувствовалъ, что могъ подвергнуться страшному горю.

— Капитанъ, продолжалъ Фуше, — дѣйствительно мои агенты ничего не нашли въ вашихъ бумагахъ, но они сдѣлали обыскъ во всемъ домѣ и представили не только ваши бумаги, но и тѣ, которыя нашли у вашей жены.

— У моей жены! воскликнулъ Ривьеръ. — Зачѣмъ вы, г. министръ, упоминаете во второй разъ имя моей жены, которая не можетъ имѣть никакого отношенія къ настоящему дѣлу? Если-бы я и вздумалъ рисковать своею жизнью, то моя жена никогда объ этомъ не узнала-бы и не могла-бы подвергнуться ни малѣйшему подозрѣнію или преслѣдованію.

— Кто-же вамъ говорилъ о преслѣдованіи, капитанъ?

— Женщина, которой я далъ свое имя, воскликнулъ Ривьеръ съ жаромъ, ясно выразившимъ самую пламенную любовь, на какую только способенъ человѣкъ, — олицетворенная добродѣтель и преданность. Чтобъ избавить ее отъ одной слезинки, я отдамъ всю мою кровь. Дѣлайте со мною, что хотите, г. министръ, но не думайте, чтобъ жена капитана Ривьера могла быть соучастницей въ какомъ-нибудь заговорѣ.

Фуше медленно потеръ рукою подбородокъ, нѣсколько разъ поднялъ и опустил свои тяжелыя вѣки и, наконецъ, покачалъ головой, какъ-бы говоря: „дѣлать нечего“.

— Капитанъ, сказалъ онъ, подавая Ривьеру одно изъ писемъ, захваченныхъ полиціей, — знаете вы этотъ почеркъ?

Ривьеръ какъ-бы инстинктивно не хотѣлъ взять этого лоскутка бумаги. Ему казалось, что онъ его сожжетъ, какъ огонь, или ужалитъ, какъ змѣя. Эта тайна его пугала, хотя храбрый воинъ мозельской арміи не зналъ, что такое страхъ.

— Да, произнесъ онъ, бросивъ быстрый взглядъ на письмо, — я знаю этотъ почеркъ.

— Прочтите, прибавилъ Фуше.

Прежде, чѣмъ прочесть письмо, Ривьеръ провелъ рукою по

лбу, на которомъ жилы натянулись и виски бились, какъ въ горячкѣ. Потомъ онъ взглянулъ на Фуше, какъ-бы желая отгадать тайну письма; но хотя глаза министра смотрѣли прямо на него, въ нихъ ничего нельзя было прочесть. Наконецъ, онъ съ лихорадочной поспѣшностью прочелъ письмо, точно глотая ядъ, и, вскочивъ со стула, воскликнулъ:

— Кому это письмо?

— Кому?

— Я хочу знать, я имѣю право...

— Кому это письмо? повторилъ медленно герцога Отрантскій; — я не знаю; но это письмо, вмѣстѣ съ другими письмами, найдено въ шифоньеркѣ изъ краснаго дерева, находящейся въ комнатѣ г-жи Ривьеръ.

— У нея! дико произнесъ капитанъ, — у нея это письмо?... Такъ оно писано къ ней?

Онъ снова прочелъ этотъ роковой лоскутокъ бумаги, на которомъ въ нѣсколькихъ строкахъ была выражена съ ужаснымъ краснорѣчіемъ цѣлая драма преступной любви, измѣны и безумія. Онъ взвѣшивалъ каждое слово, перечитывалъ каждую фразу, стараясь отгадать, кому было предназначено это письмо. Фуше холодно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ несчастнаго, который въ отчаяніи мялъ и комкалъ въ своихъ дрожащихъ рукахъ убійственное письмо, какъ Отелло платокъ Дездемоны.

Вдругъ въ немъ произошла неожиданная перемена.

— Такъ что-жь? воскликнулъ онъ съ какой-то дикой радостью. — Я съѣла сошелъ. Что-же доказываетъ это письмо? Это любовная записка, вотъ и все. Ну, такъ что-жь?

Съ этими словами онъ возвратилъ скомканную бумагу Фуше, который медленно разгладилъ ее и присоединилъ къ остальнымъ документамъ.

— Такъ вы не знаете, кому адресовано это письмо? спросилъ министръ прежнимъ тономъ, холоднымъ, какъ сталь.

— Нѣтъ, отвѣчалъ капитанъ.

— Вы знаете, по крайней мѣрѣ, кто писалъ это письмо?

— Знаю.

— Можете вы сказать его имя?

— Зачѣмъ вамъ?

— Такъ вы отказываетесь?

— Конечно, отказываюсь.

— Хорошо, произнесъ Фуше, и послѣ минутнаго молчанія прибавилъ:— А какъ имя вашей жены, капитанъ?

— Тереза.

Фуше молча выбралъ изъ пачки одно письмо и подаль его Ривьеру, который, прочитавъ только первыя слова, смертельно поблѣднѣлъ, потомъ побагровѣлъ и грохнулся на стулъ.

Письмо начиналось слѣдующими словами: „Возлюбленная Тереза“.

Фуше позвонилъ и равнодушно сказалъ вошедшимъ полицейскимъ агентамъ:

— Воды.

Появленіе новыхъ лицъ привело въ себя капитана; онъ машинально вскочилъ, какъ автоматъ.

— Благодарю... Это ничего... Благодарю.

— Вы предпочитаете остаться наединѣ со мною? спросилъ Фуше.

Капитанъ утвердительно кивнулъ головой, и министръ приказалъ агентамъ удалиться.

— Я хочу прочесть всѣ письма, сказалъ тогда Ривьеръ.

Фуше подаль ему пачку, и пока капитанъ, такъ-сказать, пресыщался своимъ горемъ, онъ подошелъ къ окну и, поднявъ шторы, сталъ, повидимому, смотрѣть на улицу, но искоса слѣдилъ за переменной выраженія на лицѣ несчастнаго.

Ривьеръ былъ теперь бѣлѣе бумаги, которую онъ держалъ въ дрожащей рукѣ. Другая рука его судорожно сжималась, засохшій языкъ глухо стучалъ о небо, а правая нога нервно била по ковру. Окончивъ чтеніе, онъ выпрямился во весь ростъ, блѣдный, но спокойный, холодный. Онъ медленно протянулъ руку къ столу, какъ-будто она была не его, а тяжелая, мраморная, и бросилъ письма. Потомъ онъ съ отвращеніемъ стряхнулъ эту руку, точно оскверненную прикосновеніемъ подобной низости.

Фуше, никогда ничему не удивлявшійся, изумился такому спокойствію. Буря, влокавшая въ сердцѣ несчастнаго, избѣгла его пронидательнаго взгляда. Онъ пристально смотрѣлъ на Ривьера, капитанъ не опускалъ глазъ. Совершивъ ампутацію, Фуше безмолвно, торжественно наблюдалъ за раненымъ.

Капитанъ самъ прервалъ молчаніе.

— Ну, сказалъ онъ, —эта пуля едва не поразила меня въ сердце.

Эти слова онъ произнесъ безсознательно, онъ думалъ совсѣмъ не то. Въ глубинѣ сердца онъ говорилъ себѣ: „все это сонъ, кошмаръ. Часто во снѣ страдаешь, плачешь, кричишь, задыхаешься, а потомъ проснешься—и все исчезло“.

Голосъ Фусе окончательно пробудилъ его.

— Капитанъ, сказалъ министръ почти откровеннымъ тономъ, —тайна, которую вы только-что узнали, извѣстна мнѣ, вамъ и моему секретарю; она далѣе не пойдетъ. Я для этого и рѣшился самъ съ глазу на глазъ допросить васъ. Мнѣ было не легко открыть вамъ роковую истину, но этого требовала необходимость. Вы видѣли, что въ этихъ письмахъ говорится не только о любви, но и о тайныхъ собраніяхъ въ вашемъ домѣ.

Говоря это, Фусе перебиралъ письма одно за другимъ.

— „Сегодня вечеромъ, пока твой мужъ“, —извините, капитанъ, что я перечитываю эти строки, — „будетъ принимать нашихъ друзей, приходи, куда знаешь; я не пойду на собраніе, а буду твой, весь твой, Тереза“, и пр., и пр. Я пропускаю подробности. Всѣ эти письма очень однообразны и вполне удостовѣряютъ, что въ вашемъ домѣ происходили собранія, а также, что ваша жена, хотя и не соучастница вашего заговора, знала о немъ черезъ... автора этихъ писемъ, который... да вы сами это лучше знаете.

— Что-же вы изъ этого выводите?

— Я вывожу, что въ настоящей задачѣ для насъ неизвѣстное. Имена—человѣка, который писалъ эти письма вашей женѣ, и офицеровъ дунайской арміи, съ которыми вы ведете тайную переписку.

— Такъ вы не знаете ихъ именъ? спросилъ капитанъ.

— Признаюсь, что мы знаемъ только васъ, капитанъ.

— Въ такомъ случаѣ вы ничего не знаете.

— Эге! произнесъ Фусе.

— На кого-же вы рассчитываете, чтобъ узнать имена другихъ?

— На васъ, отвѣчалъ министръ, голубые глаза котораго пронзали, какъ мечъ, несчастную жертву.

— Г. министр! воскликнулъ честный солдатъ, —вы можете

меня казнить и передъ роковымъ залпомъ товарищей я гордо подниму голову; но прошу васъ не оскорблять меня.

— Васъ оскорблять? Полноте, отвѣчалъ Фуше,—я васъ уважаю и сожалею. Да, вы честная душа, вы только-что сами сознались, что вы заговорщикъ, но это, впрочемъ, доказывается и письмами. Да, вы мужественный солдатъ, но васъ губятъ тѣ, которыхъ онъ правильно называетъ *идеологами*, и васъ позорно обманываетъ вашъ другъ, одинъ изъ вашихъ... Хорошо, хорошо, продолжалъ министр, видя сильное волненіе капитана, — я понимаю и молчу. Но пока вы будете ждать своего приговора въ тюрьмѣ, человекъ, написавшій эти письма, находится на свободѣ...

„Онъ будетъ видѣть ее каждую минуту“, думалъ Ривьеръ.

Фуше, съ ядскимъ знаніемъ человѣческаго сердца, вѣрно отгадывалъ, какое вліяніе произведетъ каждое его слово на обманутаго мужа.

— Какъ! вы намѣрены принести себя въ жертву человѣку, который васъ такъ гнусно оскорбилъ? Это невозможно.

— Чего-же вы хотите? спросилъ Ривьеръ.

— Вы скажете мнѣ имя человѣка, писавшаго эти письма, и сегодня вечеромъ вы свободны.

— Получить свободу цѣною предательства! воскликнулъ мужественный воинъ.—Никогда!

Министръ закусилъ губу.

— Безполезное благородство опасно, сказалъ онъ;—этотъ человѣкъ васъ жестоко оскорбилъ, и вы можете ему отомстить только этимъ способомъ. Я жду, прибавилъ онъ, взявъ перо.

— Г. министр, отвѣчалъ Ривьеръ,—на свѣтѣ бывають люди двоякаго рода: одни живутъ предательствомъ, другіе-же умирають, оставаясь вѣрными своимъ друзьямъ. Если когда-нибудь я сочту себя способнымъ на предательство, я въ ту-же минуту застрѣлю себя.

— Почемъ знать, сказалъ герцогъ Отрантскій:—ваша теорія была-бы справедлива, если-бы предательство оставляло на лицѣ рябины, какъ оспа. Но, я васъ увѣряю, ея не видать. Къ тому-же человѣкъ, похитившій вашу честь, совершилъ подлость.

— О, онъ... прозвесь, задыхаясь, капитанъ.

— Такъ не довольствуйтесь угрозами, а мстите.

— Мстить черезъ васъ? Нѣтъ! я отомщу самъ.

— Назовите его—и вы свободны.

— Къ чему-же вамъ освобождать, меня заговорщика, по вашему убѣжденію, только для того, чтобы узнать имя другого?

— Очень просто: врагъ, котораго знаешь, въ тысячу разъ менѣе опасенъ невѣдомаго врага.

— Врага, повторилъ Ривьеръ, сжимая кулаки.

— Ну, какъ его зовутъ?

— Довольно! воскликнулъ капитанъ,—прекратите этотъ без-полезный допросъ. Вы отъ меня ничего не узнаете. Этотъ человекъ—подлецъ, и я жажду мщенія. Вы въ этомъ не сомнѣваетесь. Я даль-бы жизнь за то, чтобы онъ стоялъ теперь передъ дуломъ моего пистолета, но его подлость не даетъ мнѣ права предавать его. Я въ вашихъ рукахъ. Держите меня. Но вы не узнаете отъ меня его имени.

— Увы! я такъ и думалъ, сказалъ Фуше, намѣренно отчеканивая каждое слово,—поэтому мы рассчитывали на вашу жену, но...

— На мою жену?

— Она бѣжала, она скрылась. Вы были въ своей комнатѣ, когда васъ арестовали; проникнувъ въ ея спальню, мои агенты никого тамъ не нашли.

— Тереза, Тереза! промолвилъ Ривьеръ внѣ себя отъ отчаянія.

— О! мы ее найдемъ, не безпокойтесь, продолжалъ Фуше,—но теперь мы не знаемъ, гдѣ она, и, быть можетъ, въ эту самую минуту...

— Г. министръ, перебилъ его Ривьеръ,—такъ мучать человека нельзя. Вы хотите исторгнуть у меня тайну самой страшной изъ пытокъ. Вы говорите, что моя жена бѣжала съ другимъ. Хорошо, это ужасно, это низко. То, что я выношу теперь, выше всякихъ страданій. Но имени этого подлоца вы все-таки никогда не узнаете.

— Никогда?

— Никогда.

— Увидимъ, промолвилъ Фуше и, позвонивъ, сказалъ: — Отвезите арестанта въ Консьержери. До свиданія, капитанъ, прибавилъ онъ съ иронической улыбкой.

Спусти полчаса въ книгу арестантовъ, содержащихся въ Консьержери, было внесено имя Клода-Жана Ривьера, капитана въ отставкѣ и кавалера почетнаго легіона.

ГЛАВА II.

Сынъ магазинщика.

Клодъ Ривьеръ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые съ самаго начала своей жизни смотрятъ на опасности съ полнѣйшимъ хладнокровіемъ. Только одно вѣроломство могло взволновать его мужественное сердце и причинить ему самыя ужасныя мученія, такъ-какъ подъ ледяной оболочкой храбраго солдата скрывался въ немъ источникъ пламенной нѣжности. Этотъ человекъ, до сихъ поръ проводившій всю свою жизнь на полѣ брани, подъ свистомъ пуль и ядеръ, презиравшій смерть, этотъ боецъ за отечество и за идею былъ рожденъ для любви.

Съ юности, почти съ дѣтства, онъ любилъ свободу, увлеченный ураганомъ, разразившимся въ то время надъ Парижемъ. Съ нѣжными волненіемъ вспоминалъ онъ о своей юности. Его отецъ, Жанъ Ривьеръ, „дядя Ривьеръ“, какъ его всѣ называли въ кварталѣ Тампля, имѣлъ въ улицѣ Гадриетъ магазинъ суконъ. Магазинъ этотъ былъ очень скромный, съ маленькой дверкой подъ навѣсомъ и съ старой, полуразвалившейся каменной ступенькой. Внутри, въ полу-темной комнатѣ, среди своихъ суконъ всегда видѣлся Жанъ Ривьеръ съ аршиномъ въ рукахъ, а жена его въ углу шила или вязала.

Дядя Ривьеръ былъ человекъ простой, довольствовавшійся малымъ; все его самолюбіе ограничивалось тѣмъ, чтобъ продавать свой товаръ знатнымъ лицамъ. Онъ гордился своей вывѣской, представлявшей бюстъ древняго римлянина въ золотой коронѣ и съ надписью „Великій Титъ“. Онъ ощущалъ какую-то лихорадочную радость, записывая въ свою торговую книгу: „Сегодня, 7 мая 1788 года, продалъ его свѣтлости герцогу Коньи семь аршинъ сукна для прислуги“. Онъ тогда весело говорилъ своей женѣ, одной изъ тѣхъ добрыхъ буржуазныхъ хозяекъ, которыя олицетворяютъ преданность и простоту:

— Посмотри, старуха, какіе у насъ важныя покупатели. Нашъ Клодъ не будетъ нуждаться въ покровителяхъ.

Клодъ Ривьеръ въ то время былъ семнадцати-лѣтнимъ юношей, надеждой своихъ родителей; онъ только-что вышелъ изъ школы Великаго Людовика, гдѣ Камилъ Демуленъ учился римской исторіи и сочинялъ въ стихахъ посланія въ своимъ учителямъ. Дядя Ривьеръ, довольствовавшійся очень малымъ для самаго себя, былъ чрезвычайно самолюбивъ, когда дѣло шло о Клодѣ. Въ юности будущій капитанъ занимался науками съ тѣмъ-же увлеченіемъ, съ которымъ онъ впоследствии занимался политикой, и, какъ многіе храбрые воины республики и имперіи, достаточно зналъ латинскій языкъ, чтобъ носить съ собою въ ранцѣ „Фарсалу“ Лукана. „Клодъ учится законамъ, думалъ часто дядя Ривьеръ, — и когда-нибудь займетъ мѣсто въ парижскомъ парламентѣ“. Добрый старикъ очень уважалъ парижскій парламентъ, самъ не зная, за что. Какое торжество будетъ въ тотъ день, когда сынъ магазинщика, въ адвокатской мантіи, придающей человѣку краснорѣчіе, произнесетъ свою первую защиту!

— Я-бы желалъ, наивно говорилъ старикъ, — чтобъ тогда у г. начальника полиціи находился подъ арестомъ какой-нибудь хорошій преступникъ, защищая котораго, нашъ Клодъ могъ-бы выказать все свое умѣнье. Я желалъ-бы, чтобъ онъ говорилъ два, три часа, чѣмъ дольше, тѣмъ лучше. Я увѣренъ, что защищаемый Клодомъ преступникъ, хотя-бы онъ сто разъ заслуживалъ висѣлицы, будетъ имъ вырванъ изъ рукъ полиціи и возвращенъ парижскимъ мостовымъ. Но меня беспокоитъ, жена, что теперь болѣе не совершаютъ ужасныхъ преступленій. Времена Картуша прошли и улица Гусэ становится нравственной. Это, право, грустно.

— Если я узнаю отъ сосѣдокъ о какомъ-нибудь новомъ преступленіи или прочту въ „Парижской газетѣ“, я тебѣ тотчасъ сообщу, мой другъ, отвѣчала г-жа Ривьеръ.

Такъ говорили они, постоянно думая и бесѣдуя о своемъ сынѣ. Они обожали Клода; они сосредоточили на немъ всѣ свои надежды и откладывали для него каждый сбереженный сантимъ. Соединившись бракомъ въ молодыхъ лѣтахъ, они имѣли одну только дочь, которая умерла десяти лѣтъ, оставивъ ихъ въ отчаяніи, съ разбитымъ сердцемъ. Впродолженіи многихъ лѣтъ един-

ственной цѣлью для этой четы въ громадномъ Парижѣ было владбище, на которомъ покоилась *малютка*. Все ихъ счастье было тамъ погребено.

— Къ чему работать, продавать сукно, торчать цѣлый день въ мрачной лавченкѣ, говорилъ часто дядя Ривьеръ: — на насъ всегда хватитъ денегъ; будемъ гулять всѣ праздники, милая Сюзета; пойдѣмъ на лугъ Сен-Жерве подышать весеннимъ воздухомъ.

Но ихъ не веселили распустившійся шиповникъ, лучезарная улыбка мая, хохотъ студентовъ и гризетовъ. Они возвращались домой еще грустнѣе, говоря:

— Нѣтъ, пріятнѣе посѣщать нашу бѣдную малютку.

Они уже были въ лѣтахъ, когда родился Клодъ. На другой день послѣ его появленія на свѣтъ они какъ-бы помолодѣли. Дядя Ривьеръ приказалъ позолотить бюстъ Тита на вѣвскѣ и энергично принялся за торговлю. Для добрыхъ стариковъ началась новая жизнь. Они устроили новорожденному колыску и рѣшились дать ему княжеское воспитаніе. Отецъ едва не согласился посылать сына учиться въ домъ одного изъ его знатныхъ покушниковъ, но для этого надо было расставаться съ ребенкомъ, и его оставили дома. Въ восемнадцать лѣтъ Клодъ былъ юноша высокаго роста, красивый, съ большими глазами, сіявшими честностью и молодостью, съ широкимъ лбомъ и съ черными, густыми волосами; во всей его фигурѣ было что-то живое, мужественное, смѣлое.

На юнаго, пылкаго Клода производили особенно сильное впечатлѣніе тѣ книги, гдѣ описывались геройскіе подвиги; понятно, что при такомъ настроеніи онъ сдѣлался горячимъ сторонникомъ новыхъ идей.

— О чемъ ты думаешь? часто спрашивала его мать, видя, какъ онъ задумывался, читая какую-нибудь книгу.

Онъ смотрѣлъ на нее и ничего не отвѣчалъ. Зналъ-ли онъ самъ, о чемъ думалъ? Онъ ощущалъ то неизбѣжное, безпокойное чувство, которому подвергается каждая мыслящая душа при вступленіи на жизненное поприще. Онъ не видѣлъ ясно своего пути въ окружающемъ его нравѣ. Онъ останавливался на порогѣ парламента, въ который онъ долженъ былъ вступить, точно архивная пыль душила его. Онъ колебался, вступить-ли ему въ это вмѣстилище крѣпководства, гдѣ, среди залпесневѣвшихъ старин-

ныхъ книгъ и желтыхъ отъ времени бумагъ, уживаются всевозможныя злоупотребленія. Не такого существованія желалъ онъ, но что было дѣлать? Безъ сильной протекціи не попадешь въ другое мѣсто. Онъ долженъ былъ помириться съ своей судьбою и рѣшился, вступивъ въ парламентъ, бороться за торжество права и истины.

— Все-же, говорилъ онъ себѣ, — эта задача достойна чловека.

Однакожь, революція помѣшала ему исполнить эту задачу. Къ величайшему удивленію и испугу дяди Ривьера, однажды вечеромъ въ іюлѣ мѣсяцѣ юный Клодъ пришелъ домой и сказалъ весело:

— Бастилія взята!

— Бастилія? спросилъ его отецъ, поднимая очки на лобъ, чтобъ пристально посмотреть на сына.

— Бастилія! повторила г-жа Ривьеръ, всплеснувъ руками и роняя на полъ свою работу.

Въ этотъ день въ кварталѣ, гдѣ они жили, было какое-то странное волненіе и многочисленныя толпы прошли мимо ихъ дома, оглашая воздухъ криками. Дядя Ривьеръ видѣлъ, что народъ подбивали къ мятежу, но онъ съ улыбкой сказалъ женѣ:

— Не бойся, Сюзета, они не устоятъ противъ атаки драгунъ Ламбеска.

Однакожь, Клодъ вскорѣ вырвался изъ водоворота уличнаго и клубнаго движенія и мужественно вступилъ въ ряды импровизированной арміи, защищавшей отечество. Тамъ, среди ежедневной борьбы и строгаго исполненія своего долга, онъ былъ совершенно у мѣста. Онъ принадлежалъ къ геройской расѣ Марсо и Гоша. Въ то время, какъ политическія партіи истребляли другъ друга, онъ благородно жертвовалъ своею кровью на полѣ брани.

Между тѣмъ большія перемены произошли въ магазинѣ улицы Гадриетъ.

Клодъ, находясь въ арміи, очень рѣдко посѣщалъ своихъ родителей. Однажды, послѣ кровавой побѣды, онъ получилъ письмо, извѣщавшее его о смерти матери. Вскорѣ послѣ того, какъ Сюзету опустили въ могилу, гдѣ покоилась ея дочь, Жанъ Ривьеръ продалъ свой магазинъ. Къ чему ему было трудиться? Хотя онъ не нажилъ богатствъ, но сдѣлалъ кое-какія экономіи

и могъ не только доживать свои дни безъ нужды, но и оставить наслѣдство Блоду послѣ своей смерти.

— Къ тому-же, говорилъ дядя Ривьеръ, — мой магазинъ пересталъ быть моимъ магазиномъ. Политическія переиѣны заставили меня превратить „Великаго Тита“ въ „Великаго Брута“, а я этого перенести не могу. Моя милая, старая вывѣска едва не подвела меня подъ гильотину. Я упорно называлъ ее „Титомъ“, а сосѣди не шутили этимъ предметомъ. Притомъ мнѣ казалось, что за каждымъ кускомъ сукна глядитъ на меня призракъ бѣдной Сюзеты. Мнѣ слишкомъ грустно въ старомъ домѣ, я тамъ умру. Мнѣ теперь нуженъ только лучъ солнца, чтобъ погрѣть старыя кости, и я найду его на Тампльскомъ бульварѣ.

Такимъ образомъ, магазинъ суконъ былъ проданъ и „Великій Титъ“, называясь „Великомъ Брутомъ“ въ 1793 году, сталъ Великимъ Кесаремъ“ въ 1804.

— Нѣтъ ничего прочнаго на этомъ свѣтѣ, говорилъ старикъ Ривьеръ, грустно улыбаясь.

Блодъ смотрѣлъ не съ такимъ философскимъ равнодушіемъ, какъ его отецъ, на превращеніе республики въ военную имперію. Онъ со страхомъ привѣтствовалъ консульство и со злобой имперію.

Въ арміи было много офицеровъ одинаковаго съ нимъ мнѣнія.

Въ началѣ имперія была встрѣчена странюю очень холодно. Общественные праздники, данные въ честь превращенія перваго консула въ императора, не отличались, по словамъ самого Фуше, ни радостью, ни весельемъ. Наполеонъ, конечно, понималъ это и всѣми силами старался привязать къ себѣ армію; онъ провзвелъ въ маршалы не только своихъ друзей, но и людей, которыхъ онъ не любилъ, но популярныхъ, — на примѣръ, Журдана, Масену, Брюна, Ожеро и Нея, убѣжденныхъ республиканцевъ. Онъ пытался также переманить на свою сторону и Сен-Жерменское предмѣстье — аристократовъ и эмигрантовъ.

Несмотря на это, въ Вандеѣ еще существовали шуаны, а въ арміи недовольные. Хотя передъ самымъ провозглашеніемъ имперіи Наполеонъ отправилъ въ Сан-Доминго полки, отличавшіяся республиканскимъ направленіемъ, во французской арміи все еще оставалось достаточное количество независимыхъ умовъ, безпокоившихъ подозрительнаго императора.

Клодъ Ривьеръ никогда не скрывалъ своихъ мнѣній. Другъ генерала Мале и храбраго полковника Удэ, котораго полиція считала подстрекателемъ всѣхъ недовольныхъ имперію, Ривьеръ былъ въ то-же время на хорошемъ и на дурномъ счету въ военномъ министерствѣ; его высоко цѣнили за храбрость и боялись за прямоту.

— Я не люблю людей, говорящихъ такъ громко, сказалъ однажды Наполеонъ;—офицеръ долженъ возвышать голосъ только передавая приказанія своего начальника.

Однакожь, хотя Клодъ Ривьеръ въ глубинѣ сердца былъ пламеннымъ поклонникомъ свободы, которой 18-е брюмера отрѣзало крылья, онъ болѣе всего любилъ Францію и въ минуту кроваваго боя думалъ только объ одномъ—о побѣдѣ надъ врагами.

Пламенный, страстный, 30-лѣтній Клодъ не любилъ никого, кромѣ свободы, пока, наконецъ, не увидалъ женщины, на которой ему суждено было жениться. Эта молодая дѣвушка, 24 лѣтъ, сирота, вела уединенную жизнь въ домѣ своего дяди въ улицѣ Почты.

Ея дядя послѣ бурной, политической дѣятельности, уединился въ своемъ большомъ домѣ и, окруженный книгами, проводилъ жизнь одиноко, не принимая никого, въ обществѣ трехъ людей: племянницы, которую онъ иногда заставлялъ читать вслухъ Дидро, стараго слуги и кухарки, акуратно слѣдившей за всѣми новинками кулинарнаго искусства.

Господинъ Шамбаро, какъ его называли въ кварталѣ Эстропады, былъ нѣкогда членомъ Конвента и вышелъ здоровымъ и невредимымъ изъ революціоннаго погрома. Подобно Сіесу, онъ могъ сказать: „я жилъ“, но никто не могъ упрекнуть Сильвена Шамбаро хотя-бы въ минутной слабости. Твердый и рѣшительный, но относительно умѣренный, онъ никогда не служилъ диктатурамъ, а послѣ ихъ паденія объяснялъ ихъ судьбу безъ всякой злобы.

Это былъ мягкій, сосредоточенный, проникательный человѣкъ и, когда нужно, непреклонный. Догадываясь, что придетъ время, когда мечъ перерубитъ узелъ всѣхъ политическихъ преній, онъ старался освободить себя отъ тираніи слова, чтобъ избѣгнуть тираніи меча. Онъ не привѣтствовалъ государственнаго переворота въ фруктидорѣ, который поставилъ законодательное со^{дѣ}ль или

ніе въ зависимость отъ солдатъ и противопоставилъ пушки Ожеро тому, что Барбе-Морбуа называлъ „нравственными орудіями закона“. Когда появилась имперія, неизбежное послѣдствіе преторіанскихъ подвиговъ, Сильвенъ Шамбаро добровольно исчезъ съ политической сцены. Привыкнувъ жить въ Парижѣ съ 1789 года, онъ не могъ рѣшиться переѣхать на житье въ Лимузенъ, свою родину, и остался, если можно такъ выразиться, на полѣ брани. Онъ залерся въ своемъ домѣ, словно въ тюрьмѣ, и, имѣя маленькое состояніе, позволявшее ему существовать безбѣдно, онъ предался литературнымъ занятіямъ и эпикурейскимъ наклонностямъ, побуждавшимъ его находить удовольствіе въ хорошемъ обѣдѣ.

При немъ жила его племянница Тереза, дочь его брата, умершаго въ очень молодыхъ лѣтахъ. Это была единственная женщина, которая появлялась въ комнатахъ бывшего члена Конвента, вообще принимавшаго только политическихъ товарищей, преждевременно состарѣвшихъ, блѣдныхъ, молчаливыхъ. Они являлись къ нему по временамъ, пожимали ему руку и исчезали серьезные, мрачные. Тереза задыхалась въ этой тяжелой атмосферѣ, среди пыльныхъ книгъ и въ постоянномъ обществѣ задумчиваго, очень рѣдко улыбавагося дяди.

Пламенная, романтичная Тереза Шамбаро была воспитана своимъ дядей; она еще молодой дѣвушкой перечла съ жадностью всю его бібліотеку. Философскія сочиненія и сатирическія сказки XVIII столѣтія, романы Руссо и ироническія страстицы Вольтера смѣшивались въ ея головѣ; она то восторгалась „Исповѣдью“ Св. Августина, то „Признаніями“ Жанъ-Жака. Слѣдствіемъ этого хаоса былъ недостатокъ умственнаго равновѣсія при пламенномъ воображеніи; вообще она отличалась болѣзненной склонностью къ крайностямъ.

Она была очень мечтательна. Часто дядя заставлялъ ее одну въ саду съ заплаканными глазами, устремленными безсознательно въ пространство. При малѣйшемъ прикосновеніи она вздрагивала, какъ-бы очнувшись отъ изступленія, и то краснѣла, то блѣднѣла, точно виноватая.

— Чортъ-бы побралъ романы, думалъ Шамбаро:—эта чепуха сводить ее съ ума.

Коиъ сущности Тереза была меланхолична, задумчива, грустно

улыбалась и выступала апатичной походкой только благодаря томившей ее скукѣ. Жизнь ея была тяжелая. Ея горизонтъ ограничивался высокимъ заборомъ сада и четырьмя стѣнами ея комнаты; она цѣлые часы сидѣла у окна, смотря на весело летавшихъ пташекъ и завидуя ихъ свободѣ. „Какъ, должно быть, хорошо дышать за стѣнами этого стараго дома“, часто думала она.

Парижъ, великій Парижъ, гудѣвшій въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, былъ совершенно невѣдомымъ міромъ для Терезы; она слышала только отдаленное эхо его веселаго хохота въ дни радости и гнѣвныхъ криковъ въ дни бѣдствія. Она смутно помнила страшные часы, когда въ воздухѣ пахло порохоми, вдали раздавались выстрѣлы, старая Жюли молилась гдѣ-нибудь въ углу, а Сильвенъ Шамбаро, блѣднѣе и мрачнѣе, чѣмъ обыкновенно, удалялся куда-то, но куда—ей было неизвѣстно, быть можетъ, рисковать своей жизнью.

Къ этимъ грустнымъ воспоминаніямъ не присоединялось ничего веселаго; Тереза не знала въ своемъ дѣтствѣ тѣхъ маленькихъ радостей, которыя наполняютъ жизнь существа, бросающаго на міръ свой первый изумленный взглядъ. Во время консульства и въ первые мѣсяцы имперіи въ Парижѣ давалось много празднествъ, но Шамбаро строго воспрещалъ племянницѣ принимать въ нихъ участіе, даже въ качествѣ зрительницы.

— Сегодня будетъ фейерверкъ, говорила иногда Жюли, давая почувствовать старику, что молодая дѣвушка скучала въ своемъ уединеніи.

— Фейерверкъ? отвѣчалъ Шамбаро:—ну такъ что-жъ! Пусть клевреты господина Бонапарта восхищаются потѣшными огнями, а мы останемся дома.

— Вы—какъ хотите, а молодая дѣвушка...

— Тереза—моя племянница и должна раздѣлять мои мнѣнія и ненависть. Смотрите, Жюли, не учите ее считать мой домъ тюрьмою.

— Чортъ возьми! отвѣчала Жюли,—вы хорошо сдѣлали, что не женились. Ваша жена не была-бы счастлива, бѣдняжка.

— Моя жена! Пожалуйста не болтайте вздора. Понимаете?

— Понимаю, отвѣчала кухарка, и на этомъ разговоръ прекращался.

Когда кто-нибудь при Шамбаро рассказывалъ о свадьбѣ или

любвннхъ похожденіяхъ, онъ насупливалъ брови и гнѣвно шелкалъ языкомъ.

— Вы вѣдь знаете, Жюли, повторялъ постоянно Плантадъ, исполнявшій въ домѣ обязанности привратника, садовника и камердинера,—что никогда не надо говорить о женщинахъ „гражданину“ Шамбаро.

Плантадъ называлъ члена Конвента по прежнему республиканскому обычаю.

— Точно женщины такъ отвратительны! восклицала Жюли, съ жаромъ защищая свой полъ.

— У всякаго свой вкусъ и антипатіи.

— Вѣроятно, г. Шамбаро много вынесъ отъ какой-нибудь подлой женщины. Вы его знаете дольше меня, Плантадъ, и оба вы изъ одного города... Вы должны знать...

— Я ничего не знаю, отвѣчалъ Плантадъ.

Разговоръ всегда на этомъ оканчивался, но Жюли постоянно его возобновляла, въ надеждѣ поймать врасплохъ Плантада. Она догадывалась, что въ жизни Сильвена Шамбаро была какая-то тайна, и, побуждаемая женскимъ инстинктомъ, она чувствовала, что Плантадъ знаетъ эту тайну, но онъ былъ безмолвецъ, какъ могила, а когда она ужъ очень приставала, онъ отвѣчалъ рѣзко:

— Шамбаро не исповѣдывался мнѣ въ грѣхахъ своей юности.

— Какъ-бы то ни было, продолжала Жюли,—скрываетъ-ли онъ отъ насъ что-нибудь или нѣтъ, но Тереза ведетъ жизнь очень непріятную и г. Шамбаро, кажется, не подозрѣваетъ, что можетъ сдѣлать молодая дѣвушка отъ скуки. Господи! насъ всѣхъ губятъ рѣшетки и замки. Нельзя держать хорошенькую, молодую дѣвушку взаперти, какъ монахиню въ обители.

Жюли не ошибалась. По временамъ большіе, черные глаза Терезы поражали страннымъ блескомъ. Молодой дѣвушкѣ хотѣлось, чтобъ ею восхищались; она сознавала, что можетъ вызвать восторгъ; жажда свободы душила ее и какъ винные пары отуманивала ея голову. Она часто закрывала глаза и погружалась въ мечтанія. Ей казалось, что красивый незнакомецъ, въ длинномъ плащѣ, стучится въ дверь, подходитъ къ ней и, нѣжно нашептывая пламенные слова любви, беретъ ее на руки и уносить... Куда? Ей было все равно. Ей казалось, что она несетъ съ нимъ на быстромъ конѣ, что она чувствуетъ ночной

вѣтерокъ, играющій ея волосами, и нѣжное, теплое дыханіе незнакомца, лобызавшаго ея щеки. Какое опьяняющее блаженство! Но, поднявъ глаза, она видѣла передъ собою Сильвена Шамбаро, читавшаго какую-нибудь старинную книгу или дѣлавшаго замѣтки на листѣ бумаги, насвистывая пѣсню. Тогда Тереза вставала со стула и, отправившись въ свою комнату, долго плакала.

Она находилась въ подобномъ странномъ настроеніи, когда увидала Клода Ривьера. Онъ только-что вышелъ въ отставку. По порученію полковника Удэ, онъ явился къ бывшему члену Конвента за совѣтомъ насчетъ своевременности политическаго движенія, но бесѣда привела капитана Ривьера къ тому убѣжденію, что онъ долженъ дѣйствовать одинъ. Сильвенъ Шамбаро не сочувствовалъ заговорамъ.

— Плохая это борьба, говорилъ онъ,—заговорщики играютъ только въ руку полиціи.

Но проникнувъ въ уединенное жилище старика, Клодъ увидалъ Терезу, и этого было довольно, чтобъ возбудить въ немъ желаніе снова туда возвратиться. Что касается молодой дѣвушки, она смутилась отъ пламеннаго взгляда капитана. Въ первый разъ на нее смотрѣли такимъ образомъ. Съ этой минуты ея неопредѣленные мечтанія воплотились въ живой образъ и призракъ любви олицетворился въ извѣстной личности.

Суровый, но невольно внушающій сочувствіе, гордый, но добрый, Клодъ Ривьеръ былъ вполне достоинъ любви женщины. Тереза отличалась непреодолимой прелестью. Она наследовала отъ своей матери-гречанки—на которой женился ея отецъ, Жерменъ Шамбаро, страстный морякъ, во время своихъ путешествій,—матовый, восточный цвѣтъ лица и томную грацію креолки. Прямой, безукоризненный профиль, античный носъ, большіе, бархатные глаза, въ глубинѣ которыхъ скрывалось пламя, полныя щеки, красныя, толстыя губы, жадно вдыхавшія въ себя жизнь, изящныя ноздри, дрожавшія отъ всякаго малѣйшаго ощущенія, прекрасная шея, роскошныя плечи, величественная осанка,—все придавало ей красоту богини, которая достойна восхищенія. Грустная меланхолія преклоняла ея гордое, высокое чело, окаймленное роскошными черными волосами.

Эта смѣлая красота, смягчавшаяся, однакожь, невѣдомой, без-

причинной грустью, смутила Клода Ривьера и побѣдила его скорѣе, чѣмъ плѣнила, хотя въ своей скульптурной красотѣ Тереза присоединяла дѣтскую граціозность и какую-то непреодолимую прелесть. Гордый капитанъ сказалъ себѣ, что эта женщина была идеальной подругой жизни. Дѣлать съ нею всѣ радости и надежды, искать въ ней утѣшенія въ минуты горя, идти съ нею рука объ руку,—какое счастье, какое блаженство! Онъ уже пламенно обожалъ Терезу, когда молодая дѣвушка еще спрашивала себя: полюблю-ли я его?

Но когда Сильвенъ Шамбаро спросилъ ее: согласна-ли она сдѣлаться женою капитана Ривьера, она едва не расплакалась отъ радости. Ей казалось, что передъ нею широко растворили двери темницы.

— Я согласна, отвѣчала она рѣшительно.

Шамбаро увѣдомилъ Клода о счастливомъ результатѣ своихъ переговоровъ и онъ явился къ невѣстѣ блѣдный, взволнованный, вмѣстѣ съ своимъ отцомъ, который для этого торжественнаго случая надѣлъ свой голубой фракъ и бѣлыя перчатки.

— Я никогда не разставался съ черной одеждой со времени смерти твоей матери, сказалъ онъ сыну,—но нельзя говорить о свадьбѣ въ траурѣ. Вотъ я и надѣлъ голубой фракъ небеснаго цвѣта. Пусть это принесетъ тебѣ счастье, мой милый Клодъ.

Впродолженіи мѣсяца домъ въ улицѣ Почты былъ очень оживленъ. Жюли выбивалась изъ силъ, чтобы отличиться изысканными блюдами къ обѣду. Тереза сіяла и только одинъ ея дядя казался мрачнымъ.

— Не можетъ быть, чтобы его беспокоило приданое, говорила Жюли Плантаду:—у Терезы отцовское состояніе и ея замужество никому не причинить расхода.

— А почему-же гражданина Шамбаро могутъ только тревожить деньги? спросилъ Плантадъ.

— А если не деньги, такъ что-же, гражданинъ Плантадъ?

Плантадъ улыбнулся слову „гражданинъ“, которое напоминало ему старину, но ничего не отвѣчалъ и вопросъ Жюли остался нерѣшеннымъ.

Свадьба была торжественно отпразднована. Во все время параднаго обѣда Клодъ не спускалъ глазъ съ Терезы, плѣнительно-прекрасной въ бѣломъ вѣнчальномъ платьѣ. Онъ бросалъ на

нее нѣжныя, умоляющіе взоры, а она отвѣчала пламенными, огненными взглядами. Ихъ мысли также были далеко не одинаковы. „Наконецъ-то я буду счастливъ“, думалъ Клодъ. „Наконецъ-то я буду свободна“, думала Тереза. За десертомъ старикъ Ривьеръ вздумалъ пропѣть свадебную пѣсню, но на первой строкѣ остановился: слезы душили его. Онъ вспомнилъ, что эту самую пѣсню пѣли въ день его свадьбы съ Сюзетой.

— Ну, ну, сказалъ Шамбаро, — развѣ можно плакать въ такой счастливый день?

Клодъ всецѣло предался семейному счастью, забывая свои разочарованія, разбитую карьеру и перенесенныя испытанія. Онъ весь, сердцемъ и душою принадлежалъ женѣ, которую съ каждымъ днемъ любилъ все болѣе и болѣе. Онъ какъ-бы помолодѣлъ и на загорѣломъ лицѣ мужественнаго воина играла добрая, чистосердечная улыбка влюбленнаго двадцатилѣтняго юноши. Нѣжный, преданный и довѣрчивый, Клодъ думалъ, что жена понимала его, и не спрашивалъ даже себя, любила-ли она его, такъ вполне онъ былъ поглощенъ своей собственной любовью, которая царила-бы одна въ его сердцѣ, если-бы тамъ еще не пылала другая любовь — къ свободѣ.

Тереза однажды назвала свободу своей соперницей. Она улыбнулась, произнося эти слова, но улыбка эта была странная, зловѣщая. Ей казалось, что каждый часъ, отданный Клодомъ своему долгу, былъ похищенъ у любви, которая принадлежала всецѣло Терезѣ. Выйдя замужъ двадцати-четырехъ лѣтъ, послѣ всевозможныхъ чтеній и размышленій, Тереза требовала, чтобъ ея мужъ не думалъ ни о чемъ, кромѣ нея, чтобъ ея имя и образъ были вѣчно присущи въ мысляхъ Клода.

— Но я только о тебѣ и думаю, моя Тереза, говорилъ онъ; — поставь меня теперь во главѣ моихъ драгунъ — и я поведъ-бы ихъ въ атаку съ твоимъ именемъ въ устахъ. Вездѣ ты, твой взглядъ, твоя улыбка сопровождаютъ меня.

Клодъ не говорилъ Терезѣ о политической цѣли, къ которой онъ стремился, но она ее отгадывала. Мало-по-малу ея мысли насчетъ мужа измѣнились; сначала она восхищалась его храбростью и вѣрностью своему знамени, а потомъ стала упрекать его за излишнюю преданность своей идеѣ. Тереза была самолюбива и безмолвно сожалѣла, что Клодъ Ривьеръ не могъ болѣе

возвышаться по службѣ. Она желала-бы, чтобъ онъ сдѣлался генераломъ, а быть можетъ маршаломъ, подобно многимъ другимъ. Къ чему были всѣ эти тайныя собранія, подробности которыхъ она могла-бы разузнать, такъ-какъ они происходили подъ ея кровомъ? Клодъ казался ей прежде героемъ, а теперь она считала себя жертвою. Она спрашивала, чего хотѣлъ этотъ человекъ и по какому праву онъ жертвовалъ ею ради своихъ грезъ, и какихъ еще грезъ!

Она находила въ немъ ту самую суровость, однакожь, легко смягчавшуюся, которая такъ угнетала ее въ домѣ ея дяди. Она считала свободу, этого кумира Клода, своей опасной соперницей, и ей казалось оскорбительнымъ, что только половина его сердца принадлежала ей. Если женщина не раздѣляетъ всѣхъ вѣрованій своего мужа, то она готова ненавидѣть все, что ей непонятно или что она отрицаетъ. Въ ея глазахъ преданность идеѣ все равно, что любовь къ соперницѣ.

Тереза ревновала Клода Ривьера къ его дѣлу, а онъ не замѣчалъ, какія глубокія, хотя неуловимыя перемѣны происходили въ умѣ молодой женщины. Другой, болѣе проникательный, не столь ослѣпленный любовью и не столь занятый дѣломъ, составившимъ всю цѣль его жизни, конечно, замѣтилъ-бы по взглядамъ Терезы, то насмѣшливымъ, то глубокимъ и неопредѣленнымъ, и по меланхоліи, часто омрачавшей ея великолѣпное греческое лицо, что подъ холодной оболочкой этой мраморной статуи пылалъ огонь.

Клодъ Ривьеръ ничего не видѣлъ, ничего не отгадывалъ. Онъ былъ убѣжденъ, что жена любила его, потому что онъ любилъ ее, и предался ей всѣмъ существомъ, а главное потому, что онъ былъ человекъ честный, благородный, довѣрчивый.

Такимъ образомъ, роковыя письма, которыя онъ прочелъ въ кабинетѣ Фуше, поразили его какъ-бы громомъ. Онъ едва не упалъ мертвый къ ногамъ министра. Но бываютъ страданія, которыя доводятъ человека до смерти не вдругъ, а мало-по-малу, или, лучше сказать, бываютъ мужественныя сердца, переносящія, не дрогнувъ, ужасныя страданія. Для капитана это тяжелое испытаніе было новой раной, самой глубокой, мучительной и страшной изъ всѣхъ ранъ.

ГЛАВА III.

ВЪ ТЮРЬМЪ.

Очувтившись въ пустой комнатѣ, которую ему отвели въ тюрьмѣ, Клодъ Ривьеръ предался вполне своему гнѣву. Долго повторялъ онъ одно слово: „низкая“ и одно имя: „Тереза“, злобно ударяя булакомъ по деревянному столу. Потомъ лихорадочное раздраженіе замѣнилось какой-то странной апатіей и мало-по-малу въ душѣ его возникло то могучее чувство сомнѣнія, которое грызетъ человѣка въ счастья и, напротивъ, утѣшаетъ въ горѣ. Какой-то внутренній голосъ шепталъ ему:

— А если это неправда?

Но развѣ онъ не читалъ, не держалъ въ рукахъ письмо Терезы, благосклонно принимавшей увѣренія въ любви другого человѣка? Развѣ Фуше не утверждалъ, что жены капитана не было дома во время обыска?

Но что-же? Развѣ Фуше не могъ солгать? Были-ли эти письма дѣйствительно найдены у Терезы? Не приписывали-ли честной, обожаемой имъ женщинѣ преступленіе другой? Не была-ли это полицейская западня? Не хотѣли-ли заставить человѣка проговориться, подвергая его нравственной пыткѣ? Все это было возможно.

Въ минуту отчаянія въ голову входятъ самыя дикія мысли, самыя невозможныя иллюзіи. Уму, также какъ и глазамъ, представляются миражи. Утопающій хватается за соломенку и малѣйшій проблескъ надежды убѣждаетъ несчастнаго въ несомнѣнномъ спасеніи.

Поэтому были минуты, даже часы, въ которые капитанъ, забывая неутомимую дѣйствительность, твердо вѣрилъ, что все имъ видѣнное и осязаемое было ничто иное, какъ мечта, ложь, обманъ хитраго полицейскаго. Фуше останется съ носомъ. Что-же касается до обвиненія въ заговорѣ, то Клодъ Ривьеръ объ этомъ очень мало думалъ. Онъ всегда готовъ былъ рисковать жизнью, но не желалъ жертвовать ни своимъ семейнымъ счастьемъ, ни своей честью.

Однако, эти мгновенія безумной иллюзіи продолжались не долго

и наступали тѣмъ рѣже, чѣмъ Ривьеръ глубже обдумывалъ все случившееся. Какъ можно было сомнѣваться послѣ того, что онъ прочелъ? Не призналъ-ли онъ почерка одного изъ своихъ товарищей, увы! друзей? Его позоръ былъ вполне доказанъ, неопровержимъ. Этотъ вѣроломный злодѣй выждалъ той минуты, когда капитанъ, одинъ изъ жожаковъ и казначей, былъ всецѣло занятъ разговоромъ, и добился тогда у Терезы тайнаго свиданія. Но кто-же былъ этотъ человѣкъ? Кто былъ соучастникомъ въ вѣроломствѣ этой женщины? Чью грудь жаждалъ капитанъ пронзить своей шпагой, цѣною собственной жизни?

Это былъ человѣкъ, котораго Ривьеръ любилъ и глубоко уважалъ, — итальянскій дворянинъ, отравившійся нѣкогда изъ Неаполя съ парфенопейскимъ контингентомъ и достигшій чина капитана въ одномъ изъ французскихъ линейныхъ полковъ. Высокаго роста, широкоплечій, съ гордо-закинутой головой, черными вьющимися волосами, капитанъ Агостино Чіампи, маркизъ Олона, былъ-бы совершеннымъ типомъ мужской красоты, если-бъ безпкойный, дикій взглядъ не лишалъ его лица того человѣческаго выраженія, которое такъ-же необходимо для лица, какъ свѣтъ для пейзажа.

До вступленія въ военную службу Агостино былъ однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ либераловъ Неаполя и, несмотря на аристократическое происхожденіе, предложилъ свои услуги парфенопейской республикѣ. Ему было тогда двадцать четыре года. При возвращеніи, въ 1799 году, Фердинанда IV и королевы Каролины въ Неаполь, Агостино Чіампи едва не былъ преданъ смерти вмѣстѣ съ несчастнымъ адмираломъ Карачіоли, на трупъ котораго любовалась леди Гамильтонъ, когда онъ висѣлъ на реяхъ адмиральскаго корабля. Но маркизу удалось скрыться, оставивъ въ Неаполѣ единственную сестру, почти ребенка, на попеченіи старой гувернантки и думая только о спасеніи своей жизни; онъ обратился къ Франціи съ просьбой дать ему право проливать кровь за нее.

Итальянскій маркизъ и воинъ имперіи, Агостино громко хвалился, что онъ республиканецъ. Къ тому-же его убѣжденія были только внѣшнія и онъ охотно отказался-бы отъ нихъ для повышенія по службѣ. Въ глубинѣ души онъ сожалѣлъ, что такъ

легкомысленно окопрометировалъ себя въ 1798 году ради неаполитанской республики, которая окончилась возвращеніемъ короля и преслѣдованіемъ либераловъ. Но что-же было дѣлать! Онъ надѣялся достигнуть власти въ смутную эпоху, и теперь нельзя было воротить прошедшаго; поэтому онъ продолжалъ рисоваться, присвоивая себѣ мнѣнія, которыхъ нисколько не раздѣлялъ.

Если-бы имперія дала ему быстрое новышеніе, то Чіампи служилъ-бы ей, какъ истый царедворецъ, но потому-ли, что въ императорской арміи онъ находился на дурномъ счету, благодаря его прошедшему, или по случайной неудачѣ маркизъ не подвигался по службѣ такъ скоро, какъ онъ надѣялся. Къ тому-же бивуачная жизнь начинала ему надоѣдать. Безъ всякаго сомнѣнія, онъ сожалѣлъ о томъ, что, бросивъ вѣрную добычу, погнался за тѣнью, и часто размышлялъ, что если-бы несчастная звѣзда не увлекла его на службу парфенпейской республикѣ, онъ въ настоящее время занималъ-бы блестящее мѣсто при неаполитанскомъ дворѣ, обожаемый женщинами, чтимый мужчинами, любимецъ короля или королевы, счастливый и богатый, вмѣсто того, чтобъ мѣсить грязь на поляхъ сраженій и грустно спрашивать себя, который изъ приближенныхъ Маріи-Каролины пользуется конфискованными помѣстьями маркизовъ Олона.

Разочарованіе, досада, желаніе заглушить свое неудовлетворенное самолюбіе и, по всей вѣроятности, надежда положить конецъ скучной, тягостной жизни побудили Агостино Чіампи вступить въ тайное общество, членомъ котораго былъ Клодъ Ривьеръ.

Клодъ видѣлъ маркиза подъ непріятельскимъ огнемъ и былъ убѣжденъ не только въ его храбрости, но и въ искренности его убѣжденій. Поэтому онъ настоялъ въ тайномъ комитетѣ общества, въ которомъ душою былъ полковникъ Удэ, на принятіи въ члены Чіампи.

— Бываютъ минуты, когда можно сразу узнать человека, говорилъ онъ строгимъ судьямъ, разсматривавшимъ кандидатуру итальянца;— прежде, чѣмъ поступить въ драгунцы, я служилъ въ пѣхотѣ вмѣстѣ съ капитаномъ Чіампи и видалъ его въ дѣлѣ. Однажды онъ подъ огнемъ австрійцевъ, съ помощью одного сапера, настлалъ доски на разоренный врагомъ мостъ, по которому потомъ прошла его рота. Солдаты шли одинъ за другимъ, со-

гнувшись, и многіе изъ нихъ пали мертвыми. Только одинъ Чіампи во все время перехода войска стоялъ на мосту, гордо поднявъ голову и скрестивъ руки. Это человекъ.

Такимъ образомъ, капитанъ Чіампи былъ принятъ въ тайное военное общество и выказалъ тамъ быстрый умъ, презрѣніе къ смерти и жажду успѣха. По волѣ судьбы онъ долженъ былъ остаться въ Парижѣ для излеченія раны, когда его поелъ отъправился на Дунай, и самъ Клодъ Ривьеръ пригласилъ его принимать участіе въ собраніяхъ, происходившихъ въ его домъ.

Вспоминая въ тюрьмѣ тотъ вечеръ, когда маркизъ впервые познакомился съ его женою, Ривьеръ бѣшено сжималъ кулаки.

„Я самъ, думалъ онъ, — представилъ этого человека Терезѣ, самъ ввелъ его въ свой домъ. Дуракъ! Олухъ! Безумецъ!“

И онъ шагаль взадъ и впередъ по своей кельѣ, вспоминая многое, что прежде вовсе не обращало на себя его вниманія. Какъ часто онъ замѣчалъ въ Терезѣ непонятное волненіе, странную задумчивость, безпричинную грусть и ничѣмъ не объяснимую молчаливость!

— Она думала о немъ! Она надѣялась его увидѣть. Я говорилъ ей о своей пламенной любви, а она съ безпокойствомъ спрашивала себя: придетъ-ли онъ?

И Ривьеръ въ лихорадочномъ волненіи прижималъ свои горящіе виски къ холодной, желѣзной рѣшеткѣ окна. Онъ старался отгадать, какимъ образомъ могла пасть такъ низко обожаемая имъ женщина. Значить, она была несчастлива и онъ недостаточно ее любилъ! Какой-же чарующей силой обладалъ итальянецъ, похитившій у него счастье и честь?

На всѣ эти вопросы Клодъ Ривьеръ отвѣчалъ однимъ отчаяннымъ восклицаніемъ:

— Не все-ли мнѣ равно!

Достоверно было только его невознаградимое горе и низкое вѣроломство жены и друга. Кто былъ болѣе виновенъ изъ нихъ двухъ? Онъ даже не старался этого опредѣлить. Онъ желалъ только отомстить имъ обоимъ и подвергнуть ихъ жестокой карѣ.

Его кровь прилиwała къ головѣ при мысли о мщеніи. Человекъ, похитившій у него счастье и нанесшій ему самое страшное, самое гнусное оскорбленіе, былъ еще живъ! Какой ужасный

сонъ! Неимовѣрныхъ усилій стоило ему отогнать отъ себя одолевшія его роковыя мысли.

— Отчего не убить этого человѣка? шепталъ ему какой-то ироническій голосъ.—Отчего не отомстить? Тебѣ это возможно!

Клодъ Ривьеръ дѣйствительно могъ отомстить своему сопернику. Предложеніе Фуше приходило ему на память по сту разъ въ день. Отъ него зависѣло получить свободу. Нѣсколькихъ словъ министру было-бы достаточно, чтобъ отворить двери темницы, и тогда онъ могъ-бы броситься на красиваго итальянца и соучастницу его вѣроломства со всею неумолимой силой слѣпого правосудія. Но когда эта простая мысль мелькала въ головѣ капитана, онъ краснѣлъ и презиралъ себя, словно совершилъ что-нибудь гнусное.

— Предать человѣка изъ-за личной мести! Какой позор!

И онъ хватался рукою за сердце, какъ-бы желая заглушить его бѣшеніе; потомъ онъ ногтями вшивался въ свою грудь, подобно тому, какъ религіозные фанатики предавали себя истязаніямъ, чтобъ предохранить отъ соблазна.

Иногда, онъ гордо поднималъ голову и утѣшалъ себя мыслью, что, по крайней мѣрѣ, никакая бумага, найденная у него, никакой слѣдъ не выдалъ ни одного изъ людей, подготовлявшихъ переворотъ,—предпріятіе, которое должно было увѣнчаться успѣхомъ. Только онъ одинъ изъ всѣхъ заговорщиковъ былъ арестованъ, а имена другихъ составляли тайну. Удѣ, настоящій глава заговора, сражался подъ Ваграмомъ и его соучастники могли, конечно, дождаться его возвращенія прежде, чѣмъ начать наступательныя дѣйствія. Императорская полиція имѣла въ своихъ рукахъ Клода Ривьера и болѣе ничего.

— Разстрѣляютъ одного человѣка, вотъ и все! думалъ капитанъ;—но этотъ человѣкъ ни словомъ, ни знакомъ не выдастъ своихъ товарищей.

Клодъ Ривьеръ вспоминалъ съ удовольствіемъ, что наканунѣ своего ареста, онъ передалъ одному изъ филаделфовъ, носившему имя *Вара*, всю казну этого военнаго массонскаго общества.

За сутки до обыска полиціи у капитана находилась значительная сумма, въ 300,000 фр., разными денежными знаками,

банковными билетами и т. д. По счастливому случаю, полковникъ Тевено, прозванный Варомъ, явился въ этотъ день къ Клоду Ривьеру, и капитанъ, напомнивъ ему приказаніе Удэ не оставлять въ Парижѣ денегъ общества, а перевести ихъ въ Бордо, отдалъ ему весь хранившійся у него капиталъ.

„Слава-богу! думалъ Ривьеръ, — добровольныя пожертвованія нашихъ товарищей не пойдутъ въ уплату агентамъ герцога Отрантскаго“.

Эта мысль, по крайней мѣрѣ, хоть нѣсколько смягчила его скорбь, все болѣе и болѣе увеличивавшуюся при воспоминаніи о Терезѣ. Какъ онъ ни старался побороть себя и изгнать изъ головы этотъ роковой образъ, мысли его не имѣли другой цѣли и въ устахъ его не слышалось другого имени. Всѣ усилія этого человѣка, терзаемаго страшнымъ недугомъ, всѣ его судорожныя движенія только увеличивали его рану; повязка была снята и рана представлялась во всемъ своемъ отвратительномъ ужасѣ.

Фуше хорошо зналъ, что одиночество, которому онъ подвергъ Ривьера, было самымъ страшнымъ испытаніемъ. Узякъ, сидящій одинъ въ темницѣ и видящій постоянно передъ собою лезвее кинжала, конечно, кончитъ тѣмъ, что лишитъ себя жизни. Фуше на этомъ основаніи былъ вполне убѣжденъ, что Ривьеръ поддастся соблазну выдти на свободу для мести.

Клодъ Ривьеръ могъ выдти на свободу только выдавъ товарищей, но, рассуждалъ герцогъ Отрантскій, чего не дѣлали люди, предаваясь своимъ страстямъ?

— Я желалъ-бы видѣть, борючись онъ про-себя, — какъ колебался-бы Отелло, имѣя возможность поразить дѣйствительно виновныхъ, Кассіо и Дездемону!.. Теперь, конечно, размышленіе поблудило упрямяство капитана.

Послѣ нѣсколькихъ дней подобнаго испытанія Фуше приказалъ привести къ себѣ Клода Ривьера.

— Вы рѣшились, капитанъ? спросилъ онъ.

— На что?

— Я надѣюсь, что вы забыли обо всѣхъ постороннихъ и подумали только о себѣ.

Ривьеръ поблудничалъ и ничего не отвѣчалъ.

— Ну что-же? спросилъ министръ.

— Я вамъ сказалъ уже, что вы ничего не добьетесь отъ меня. Вы можете приказать отвести меня обратно въ тюрьму.

— Капитанъ! произнесъ Фуше,—вамъ остается еще очень немного часовъ на размышленіе. До сихъ поръ я былъ вашимъ слѣдственнымъ судьей, но предупреждаю васъ, что съ завтрашняго дня ваше дѣло пойдетъ установленнымъ законнымъ порядкомъ.

— Я ничего болѣе не требую, какъ исполненія закона, отвѣчалъ Ривьеръ.

— О! я знаю, что вы человѣкъ храбрый и что васъ ничѣмъ не запугаешь. Поэтому я и старался васъ урезонить, но, право, съ вашей стороны сумасшествіе колебаться, когда дѣло идетъ о выходѣ изъ тюрьмы, и о мести подлецу, вѣроломно нарушившему ваше довѣріе.

— Если одинъ человѣкъ оказался вѣроломнымъ измѣнникомъ, то это не причина другому сдѣлать подлость.

— Конечно, нѣтъ. Но я вамъ никогда не совѣтовалъ ничего низкаго, а только предлагалъ искусную уловку.

— Я не понимаю вашихъ тонкостей.

— Что-же, вы полагаете, воскликнулъ Фуше съ улыбкой,—мы очень нуждаемся въ вашемъ показаніи, чтобъ знать филаделфовъ? Вѣрите, капитанъ, мы ихъ знаемъ всѣхъ, или почти всѣхъ, наизусть.

— Такъ зачѣмъ-же вы меня спрашиваете?

— А! Вы сомнѣваетесь въ моихъ словахъ? Хорошо. Хотите, я вамъ назову главу вашего общества, и не только его имя, но и чинъ?

— Любопытно узнать, замѣтилъ Ривьеръ.

— Человѣкъ, держащій въ своихъ рукахъ всѣ нити вашей политической интриги, называется Жанъ-Жакъ Уда!

Клодъ Ривьеръ невольно вздрогнулъ.

— Уда! повторилъ онъ съ замѣтнымъ волненіемъ и подумалъ: „Уда погибъ!“

— Впрочемъ, Уда болѣе не опасенъ, продолжалъ Фуше:— онъ умеръ.

— Умеръ! воскликнулъ капитанъ, блѣднѣя еще болѣе и говоря едва внятно отъ волненія.

— Онъ умеръ въ ваграмской битвѣ, на другой день послѣ пожалованія его въ бригадные генералы.



— Онъ убить непріятелемъ, произнесъ Ривьеръ послѣ минутнаго молчанія:—счастливецъ, онъ умеръ за отечество!

— Ну, жаль, отвѣчалъ Фуше:—я вижу, отъ васъ ничего не добьешься.

— Ничего, господинъ министр. Если вы знаете, что полковникъ Удэ былъ одинъ изъ нашихъ, то прикажите арестовать всѣхъ любившихъ и уважавшихъ его. Ихъ много и въ минуту опасности всѣ они стали-бы соучастниками въ подвигахъ этого героя.

— Вы меня не понимаете, капитанъ, продолжалъ Фуше;—повторяю, что свобода въ вашихъ рукахъ. Скажите нѣсколько именъ—и вы свободны.

— Я приобрѣлъ всѣ свои отличія цѣною крови, какъ-же вы хотите, чтобъ я купилъ свободу цѣною чести?

— Блянусь небомъ, вы геройски упрямы, капитанъ; но скажите одно имя, только одно.

— Ни одного. Вы знаете мое имя, этого достаточно. Судите меня.

— Но имя человѣка...

— О комъ вы говорите? перебилъ его Ривьеръ.

— О человѣкѣ, который написалъ прочтенныя вами письма.

— О немъ? произнесъ капитанъ, почернѣвъ отъ злости.

— Этого-то вы, по крайней мѣрѣ, не пощадите.

— Я не назову ни его, ни кого другого, отвѣчалъ Ривьеръ:—одно имя можетъ навести васъ на слѣдъ всѣхъ остальныхъ. Вы ничего не узнаете. Прикажете, господинъ министр, отвести меня въ тюрьму.

— Хорошо. Вы благородны до упрямства, но, увѣряю васъ, я не былъ-бы такъ разборчивъ въ дѣлѣ мести.

— Я готовъ жизнь отдать, чтобы отомстить! воскликнулъ Ривьеръ, въ то время, какъ министръ позвалъ своихъ агентовъ и давалъ имъ приказанія.

Клодъ Ривьеръ мужественно сопротивлялся этимъ страшнымъ соблазнамъ, хотя онъ и безъ всякихъ намековъ Фуше видѣлъ передъ собою роковую картину мирнаго благоденствія Терезы и Агостино въ какомъ-нибудь уединенномъ уголкѣ Парижа. Эта картина представлялась ему во время разговора съ герцогомъ Отрантскимъ такъ-же ясно, какъ и въ его одинокомъ заточеніи въ тюремной кельѣ; но только очутившись снова одинъ, онъ вопль



предался своему отчаянію и съ какой-то грустной радостью отводилъ душу проклятіями, слезами и столами.

Оскорбленный мужъ, обожавшій свою жену до безумія, сидѣлъ въ заточеніи за рѣшеткой тюрьмы, а она была на свободѣ и отдала свою любовь другому. Что можетъ сравниться съ пыткой вѣчно находится подъ вліяніемъ одной и той-же мучительной идеи? Были минуты, когда Ривьеръ спрашивалъ себя, не сошелъ-ли онъ, дѣйствительно, съума. Голова его въ одно и то-же время была совершенна пуста и тяжела, какъ свинець.

Между тѣмъ, слова Фуше исполнились. Слѣдственный судья съ хладнокровіемъ и искусствомъ хирурга углублялъ его рану.

Ривьеръ подвергался безконечнымъ допросамъ и принужденъ былъ снова и снова видѣть провлятыя письма, читать ихъ и объяснять. Сколько разъ имъ овладѣвало безумное желаніе схватить эти письма и разорвать ихъ зубами! Къ тому-же Фуше соблюдалъ вѣншее приличіе и былъ очень умѣренъ въ своихъ вопросахъ, а слѣдственный судья былъ, напротивъ, жестокъ, немилосердъ. Каждый изъ его вопросовъ казался капитану тѣмъ ужаснымъ клиномъ, который вбивали въ средніе вѣка подъ ногти несчастнымъ, подвергаемымъ пыткамъ. Онъ предпочелъ-бы смерть этому послѣднему испытанію.

Въ подобныя мучительныя минуты въ памяти его воскресали соблазнительныя предложенія Фуше. Онъ могъ однимъ ударомъ освободиться отъ этихъ терзавшихъ душу допросовъ и получить возможность немедленной смерти. Онъ съумѣетъ отыскать убѣжище бѣглецовъ, которыхъ тщетно искала полиція. Съ какимъ жаднымъ наслажденіемъ вопьется онъ ногтями въ горло Чампи и скажетъ, смотря ему прямо въ глаза: „ты подлець!“

И что долженъ былъ онъ сдѣлать для удовлетворенія своей страсти? Отказаться отъ политическихъ мечтаній, забыть, что онъ гражданинъ, и помнить только, что онъ оскорбленный мужъ и человѣкъ, переносившій ужасныя страданія и жаждавшій выместить на палачѣ свои муки. Отчего-же нѣтъ? Развѣ спасеніе другихъ могло равняться съ его спасеніемъ, съ его счастьемъ, спокойствіемъ, любовью?

— О, несчастный, несчастный! восклицалъ онъ съ отвращеніемъ къ самому себѣ послѣ подобныхъ минутъ слабости; — неужели я стану такимъ-же подлецомъ, какъ они!

Но бѣдный стоекъ любилъ глубоко, пламенно, какъ всякій, любящій разъ въ жизни, и передъ его налившимся кровью глазами виталь роковой образъ Терезы, улыбавшейся другому своими большими, бархатными глазами, простиравшей къ другому свои нѣжныя, маленькія ручки, отдававшей другому свою молодость и красоту, которая сводили съума несчастнаго Ривьера.

— Нѣтъ, бормоталъ онъ сквозь зубы,—я никогда не думалъ, чтобъ человекъ могъ перенести такія страданія!

Блѣдный, исхудалый, уничтоженный подъ бременемъ нравственнаго недуга, нѣкогда цвѣтущій, гордый капитанъ Ривьеръ казался больнымъ, только-что вынесшимъ смертельную болѣзнь.

Однажды, сидя на скамейкѣ въ тюремномъ саду, съ поникшей головой и болтавшимися по сторонамъ руками, онъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то прикоснулся къ его рукѣ и сунулъ въ нее бумажку, свернутую шарикомъ.

Ривьеръ машинально поднялъ голову.

Одинъ изъ тюремныхъ сторожей послѣшно отходилъ отъ него, насвистывая какую-то пѣсню и небрежно смотря по сторонамъ. „Что ему нужно?“ подумалъ капитанъ и, развернувъ старательно сложенную бумажку, прочелъ съ изумленіемъ и неожиданной радостью слѣдующія слова, непонятныя всякому другому, но для него ясны и краснорѣчивыя:

„Васъ переведутъ въ другую тюрьму. Не унывайте—все къ лучшему. Воинъ альпійской арміи не дремлетъ. Вспомните Малый Сен-Бернаръ, адъютанта Шампіоне и вашего брата по оружію.

С.“

— Солиньякъ! воскликнулъ Ривьеръ,—Солиньякъ въ Парижъ! Солиньякъ дѣйствуетъ! Солиньякъ со мною! Я спасенъ! Агостино почувствуетъ всю тяжесть моей мести!

ГЛАВА IV.

Красавецъ Солиньякъ.

Во всей французской арміи не было ни одного солдата или офицера, который-бы не зналъ полковника Солиньяка, *красавца-полковника*, какъ называлъ его Наполеонъ, *красавца-Солиньяка*, какъ называли его женщины. Объ его военныхъ подвигахъ

и любовныхъ похощеніяхъ говорили столько-же, сколько о романахъ баронесы Монтолье и графини Жанлисъ. Линдорфъ, герой „Каролины Лихтфельдъ“, и Донъ-Санхо, герой „Альфонсины или материнская любовь“, не возбуждали такого энтузіазма, какъ этотъ живой, романическій герой, портретъ котораго, въ полномъ мундирѣ, во главѣ гусарскаго эскадрона, продавался во всѣхъ магазинахъ. Красавецъ Солиньякъ, 28-ми лѣтъ, одолженъ былъ своимъ повышеніемъ только своей шпагѣ. Онъ считался самымъ молодымъ полковникомъ въ арміи, и когда его поздравляли съ блестящей карьерой, всегда отвѣчалъ:

— Въ мои года многіе уже были генералами.

Происхожденіе красавца Солиньяка было таинственное и романичное. Одни, его друзья, говорили, что онъ сынъ принцессы, другіе, его враги, утверждали, что онъ сынъ пастуха. Одно было достовѣрно, что онъ носилъ имя того селенія въ Лимузентѣ, гдѣ онъ родился и воспитывался.

Высокаго роста, статный, съ гордымъ взглядомъ, веселой улыбкой, какъ-бы привлекающей богиню счастья, и съ маленькими блондуриными усиками, приподнятыми къ верху по модѣ франтовъ временъ Людовика XIII, Ганри Солиньякъ былъ однимъ изъ тѣхъ искателей приключеній, которыхъ можно назвать баловнями счастья. Давидъ въ своей знаменитой картинѣ „Коронація Наполеона“ нарисовалъ много подобныхъ красавцевъ, съ могучими торсами и атлетическими формами, въ золоченыхъ мундирахъ. Солиньякъ командовалъ 1-мъ гусарскимъ полкомъ, знаменитымъ полкомъ *Бершени*, сохранившимъ свою славу со времени служенія въ этомъ полку первыхъ венгерцевъ, явившихся во Францію въ 1720 году. Великолѣпный въ своемъ гусарскомъ мундирѣ, который онъ охотно украшалъ, подобно Мюрату, богатымъ шитьемъ, красавецъ Солиньякъ всегда сосредоточивалъ на себѣ вниманіе Наполеона на большихъ парадахъ, когда 20,000 человекъ стояли неподвижно, безмолвно подъ его страшнымъ взглядомъ.

Наполеонъ не любилъ излишнихъ украшеній, но ему нравились гордая манера, съ которой Солиньякъ носилъ свой роскошный мундиръ.

— У васъ балыный костюмъ, полковникъ, сказалъ онъ однажды;—но не дурно быть наряднымъ и казаться танцоромъ, когда вмѣсто музыки гремятъ непріятельскія пушки.

Солиньякъ былъ полковникомъ только нѣсколько мѣсяцевъ, но ему уже давно давали этотъ титулъ, потому-что въ сущности онъ командовалъ полкомъ еще подполковникомъ¹, а за Эслингенъ и Ваграмъ получилъ, наконецъ, это повышеніе.

— Вы очень молоды для полковника, сказалъ императоръ;— но всѣна любить молодежь.

— Ваше величество! отвѣчалъ Солиньякъ, — сколько вамъ было лѣтъ, когда вы покорили Италію?

Наполеонъ улыбнулся и дружески кивнулъ головой Солиньяку.

Онъ уже хорошо его зналъ. Первые подвиги красавца были давно всѣмъ извѣстны. Въ восемнадцать лѣтъ Солиньякъ покинулъ свою родину, гдѣ воспитывался у стараго пастора, принявшаго гражданскую присягу, и вмѣстѣ съ своимъ молочнымъ братомъ Марціаломъ Касторе, сыномъ мясника изъ Лиможа, отправился въ армію—лучшій путь къ славѣ въ то время.

Хотя Солиньякъ никогда не зналъ своихъ родителей, но онъ все-же жилъ въ семействѣ. Домъ въ Солиньякѣ, гдѣ онъ росъ, принадлежалъ ему: Патеръ, воспитывавшій его, управлялъ этимъ домою, доставшимся молодому Солиньяку отъ неизвѣстнаго благодѣтеля, и революція до него не коснулась, такъ-какъ патеръ считался хорошимъ патриотомъ.

Къ тому-же революція не отличалась въ Лимузенѣ большой жестокостію. Самая вліятельная личность въ странѣ, маркиза Ригоди, даже не нашла нужнымъ эмигрировать. Эта старая дѣва, обожаемая во всемъ окологдѣ, приняла на себя воспитаніе Солиньяка, какъ говорили сосѣди, по добротѣ душевной, отдала его патеру и потомъ всегда сохранила нѣжную привязанность къ этому дѣтищу тайны и любви. Она жила часть года въ Лимузенѣ, а остальное время въ Парижѣ, гдѣ имѣла собственный домъ, въ которомъ иногда принимала полковника; она смотрѣла съ гордостью на успѣхи молодого Солиньяка, который 14 лѣтъ былъ помѣщенъ ею въ коллегію въ Парижѣ для окончанія своего воспитанія, а когда, достигнувъ 18-лѣтняго возраста, онъ бросилъ учебныя занятія и явился солдатскою саблей, маркиза Ригоди съ восторгомъ поцѣловала его въ лобъ и, пожелавъ ему блестящихъ успѣховъ на полѣ брани, замѣтила его наставнику съ характеристической грубостію аристократки XVIII вѣка:

— Этотъ поганецъ сталъ человѣкомъ!

Добрѣя пожеланія маркизы принесли счастье красавцу Солиньяку. Храбрый, образованный солдатъ, онъ скоро дослужился до офицерскихъ званій и Шампионе въ 1799 году взялъ его къ себѣ въ ординарцы. Каждый переходъ французской арміи былъ для Солиньяка новой ступенью по лѣстницѣ славы; каждое сраженіе означало для него новый чинъ. Однажды, во главѣ десяти гусарь, онъ повторилъ подвиги героевъ Гомера и не только обратилъ въ бѣгство цѣлую роту кроатовъ, но и взялъ въ плѣнъ многихъ изъ нихъ. Въ его головѣ постоянно была одна только мысль: *дѣйствовать*; онъ повиновался одному лозунгу: *опередь!* Въ битвѣ при Маренго онъ, уже въ чинѣ капитана, безъ усталости водилъ въ атаку свой эскадронъ, чтобъ дать возможность дивизіи Дезе прибыть на поле битвы. „Сегодня было четыре героя, говорили въ арміи вечеромъ послѣ побѣды: — Дезе, Келерманъ, капитанъ Жюльакъ, 1-го гусарскаго полка, и капитанъ Солиньякъ, того-же полка“. Штыки, пули и сабельные удары были какъ-бы безсильны противъ блестящаго мундира Солиньяка. Этотъ отважный смѣльчакъ во время перемирія вступилъ въ единоборство съ гусарскимъ офицеромъ арміи Вурмзера и въ виду всего войска пронзилъ его саблей, какъ древніе рыцари на поединкахъ. Онъ никогда не вызвалъ-бы на бой этого несчастнаго гусара, если-бы послѣдній, выведенный изъ терпѣнія постоянными разсказами о подвигахъ красавца Солиньяка, не прислалъ ему вызова.

— Дуэли никогда не надо искать, но и нельзя отъ нея отказываться, говаривалъ Солиньякъ. — Боже избави, чтобъ я кому-нибудь послалъ секундантовъ, но если они явятся во мнѣ отъ другого лица, то, клянусь небомъ, отказа не встрѣтятъ.

Отличаясь удивительнымъ искусствомъ въ фехтованіи, онъ никогда не употреблялъ во зло этого преимущества, полагая, что лучше рисковать жизнью за отечество или за любимую женщину, чѣмъ за пустую ссору.

— Самая блестящая дуэль, замѣчалъ онъ, — никогда не будетъ хорошимъ поступкомъ.

Это не мѣшало ему, однако, любить опьяняющій пылъ битвы и запахъ пороха, дѣйствующій на легкія какъ гроза, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ очень человѣченъ и его безумная храбрость не уничтожала его нѣжности.

При переходѣ французской чарміи черезъ Малый Сен-Бернаръ онъ съ опасностью жизни бросился въ расщелину, куда упалъ раненный нѣхотный офицеръ и, послѣ неимовѣрныхъ, геркулесовскихъ усилій, вытащилъ его и понесъ на своихъ плечахъ въ походный лазаретъ.

Этотъ раненный былъ капитанъ Ривьеръ.

Между ними возникла самая тѣсная дружба, хотя одинъ былъ серьезенъ и благоразуменъ, а другой кипятился изъ-за всего. Въ битвахъ бывають очень странныя встрѣчи и случайности. Солиньякъ на Маломъ Сен-Бернарѣ спасъ жизнь Клоду Ривьеру, а въ аустерлицкомъ сраженіи Солиньякъ былъ окруженъ казаками и непременно погибъ-бы подъ ихъ пиками, если-бъ Ривьеръ съ своими драгунами, явившись на помощь, не обратилъ въ бѣгство непріателя, причемъ былъ убитъ казакъ, пика котораго уже прикасалась къ лѣвому виску красавца Солиньяка.

Они называли себя братьями по оружію и посвятили другъ другу свою жизнь. Разъединенные случайностями похода и соединенные одной любовью къ родинѣ, они знали, что въ извѣстную минуту могли рассчитывать на взаимную преданность, самую пламенную, какаѣ только мыслима на землѣ.

Солиньякъ, для котораго идеаломъ были дѣйствіе, движеніе, жизнь, не понималъ и не старался понять стремленій Клода Ривьера. Когда капитана удалили изъ службы и побудили вести глухую борьбу съ имперіей, Солиньякъ былъ глубоко пораженъ. Ему казалось, что онъ самъ лишился эполетъ.

— Армія теряетъ храбраго офицера, сказалъ онъ прямо Бернадоту.

— Конечно, отвѣчалъ будущій шведскій король; — но императоръ не любитъ недовольныхъ. Онъ всѣхъ подозрѣваетъ, даже меня. Будемъ сожалѣть о капитанѣ Ривьерѣ, вотъ и все.

— И пожалѣемъ также императора, прибавилъ Солиньякъ.

Такимъ образомъ, красавецъ Солиньякъ позволялъ себѣ выражаться свободно въ такое время, когда царило общее безмолвіе, и Наполеонъ, позволявшій иногда своимъ *воркунамъ* такія замѣчанія, какія онъ не спустилъ-бы маршаламъ, прощалъ не разъ фантастическія выходы своего красавца-полковника. Напримѣръ, Солиньякъ, богатый и знатный по внѣшнему обращенію, завелъ

въ своемъ полку музыку въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ слѣдовало по правиламъ.

— Зачѣмъ вы это сдѣлали, полковникъ? спросилъ императоръ.

— Чтобъ съ большимъ блескомъ и шумомъ вступать въ завоеванные города, ваше величество.

На это нечего было отвѣчать. Императоръ только улыбнулся и красавецъ-полковникъ продолжалъ распоряжаться своимъ полкомъ по произволу, подобно тому, какъ нѣкогда графъ Берсени.

Впрочемъ, 1-й гусарскій полкъ содержался очень строго и былъ однимъ изъ самыхъ исправныхъ и блестящихъ полковъ всей арміи. Синіе доломаны солдатъ были пропитаны запахомъ пороха и на нихъ никогда не было замѣтно ни пылинки. Несмотря на строгое соблюденіе дисциплины, Солиньякъ былъ добръ и любимъ всѣми. Узнавъ, что кто-нибудь изъ его офицеровъ имѣлъ долги и могъ изъ-за глупости обезчестить имя полка, онъ молча платилъ деньги, и лучшей для него благодарностью была веселая улыбка спасеннаго офицера на ученьи и ловкій ударъ сабли на полѣ битвы.

Этотъ герой сраженій былъ также великолѣпнымъ героемъ въ романической области. Женщины играли важную роль въ его жизни. Еще въ чинѣ унтеръ-офицера красавецъ Солиньякъ дѣлалъ десять миль вскачь, чтобъ провести часовъ съ любимой женщиной и ни секунды не опаздывалъ на службу. Прекрасный кавалеристъ, онъ объѣзжалъ лошадей не хуже самаго искуснаго берейтора. Однажды на конномъ заводѣ Помпадуръ въ Лимузенѣ была бѣшеная лошадь, съ которой не могли справиться самые смѣлые наѣзтники; она не терпѣла мундштука и ржала, какъ тигръ. Солиньякъ съ улыбкой отвѣчалъ всѣмъ, кто говорилъ ему объ этой лошади:

— Я ее уломаю, клянусь честью Солиньяка!

Дѣйствительно, онъ поставилъ на своемъ и двѣнадцать часовъ не сходилъ съ бѣшеной лошади, пока она не была совершенно укрощена.

Смѣлый съ женщинами, но не переставая никогда быть приличнымъ человѣкомъ, этотъ аустерлицкій воинъ могъ-бы поспорить въ изящномъ обращеніи съ фонтенуаскимъ рыцаремъ, и умѣлъ сдерживать свою граціозную смѣлость въ извѣстной границѣ, за которой уже начинается грубая дерзость.

Однажды, на большомъ балу въ Тюльери (это историческій фактъ), императрица Жозефина протянула ему руку въ перчаткѣ и Солиньякъ, вмѣсто того, чтобы ее поцѣловать, взялъ ее пальцами своей лѣвой руки, а правой почтительно обнажилъ бѣлую руку императрицы, опустивъ длинную, мягкую перчатку того времени, и тогда только съ изяществомъ Ришелье поцѣловалъ руку Жозефины выше кисти. Придворныя дамы переглянулись съ ужасомъ, ожидая гнѣвной вспышки, но Жозефина улыбнулась; онъ польстилъ женщинѣ въ императрицѣ, и красавецъ полковникъ продолжалъ быть по-прежнему самымъ независимымъ и счастливейшимъ изъ полковниковъ имперіи.

Однако, подъ легкомысленной и фантастической внѣшностью, Солиньякъ отличался серьезными достоинствами. Онъ былъ всей душой преданъ отечеству, дружбѣ, чести, и охотно пожертвовалъ бы своей жизнью ради идеи или даннаго слова, ради искорененія неправды или утѣшенія скорби. Такимъ образомъ, капитанъ Ривьеръ имѣлъ полное право воскликнуть, что онъ спасенъ, когда за дѣло взялся красавецъ полковникъ.

Только по прибытіи въ Парижъ Солиньякъ узналъ объ арестѣ Клода Ривьера.

— Онъ арестованъ! За что?

— Онъ заговорщикъ, отвѣчали ему.

Солиньякъ не любилъ заговоровъ, но любилъ своихъ друзей.

Онъ хорошо зналъ, что Ривьеру грозило, — двѣнадцать пуль у подножія трагической стѣны на Гренельской полянѣ. Какъ! Клода разстрѣляютъ? Такого человѣка, такую незапятнанную совѣсть, такое возвышенное сердце, такого храбраго солдата?

„Это немисливо, думалъ Солиньякъ. — Это было-бы страшное преступленіе. Можетъ быть, Ривьеръ съ своими идеями сумашедшій, но увѣрять, что онъ заслужилъ смерти, оставаясь вѣрнымъ своимъ убѣжденіямъ, — кровавая неглѣпость!“

Прежде всего онъ старался воспользоваться своимъ вліяніемъ для освобожденія Клода Ривьера. Тщетно увѣрять его Бернье, секретарь герцога Отрантскаго, что всѣ его усилія ни къ чему не поведутъ: Солиньякъ потребовалъ аудіенціи у министра, который принялъ его съ обычной учтивостью.

— Вы, полковникъ, интересуетесь судьбою капитана?

— Да, очень.

— Такъ уговорите его нарушить свое молчаніе; это лучшее средство для его освобожденія.

Солиньякъ пожалъ плечами, а когда Фуше объяснилъ ему, что онъ разумѣлъ подѣ словами „нарушить молчаніе“, онъ воскликнулъ съ такой-же энергіей, какъ самъ Ривьеръ:

— Онъ никогда этого не сдѣлаетъ!

— Тѣмъ хуже: онъ погибшій человѣкъ.

Солиньякъ хотѣлъ было писать къ императору, у котораго онъ былъ въ большой милости, особенно теперь, когда привезъ въ Парижъ австрійскія знамена. Но наведя справки въ министерствѣ, онъ узналъ, что императоръ былъ взбѣшенъ противъ всѣхъ недовольныхъ въ арміи, а Бернадотъ ясно доказалъ ему, что Наполеонъ подозрительно смотрѣлъ даже на генераловъ, даже на Масену и герцога Понте-Корво; тогда Солиньякъ понял, что ему нечего было ждать отъ милосердія императора. Въ это время Савари былъ всемогущъ, а онъ постоянно выказывался въ пользу строгихъ мѣръ.

— Но все-же нельзя дозволить разстрѣлать человѣка, которому я обязанъ жизнью, рѣшительно произнесъ Солиньякъ.

При этомъ онъ говорилъ себѣ, что судьба способствовала его цѣли, такъ-какъ его прислали изъ Вѣны въ Парижъ и, по случаю перемирія, онъ могъ не тотчасъ возвратиться въ свой полкъ, который остался въ завѣдываніи другого героя, Жюліака. „Если бы я былъ суетвѣренъ, думалъ красавецъ-полковникъ, — то могъ бы признать, что случайность руководитъ моими дѣйствіями“.

Въ концѣ іюля, по истеченіи нѣсколькихъ недѣль со времени ареста Ривьера, Солиньякъ рѣшился, во что-бы то ни стало, освободить своего брата по оружію.

Онъ поселился на Монмартрскомъ бульварѣ, въ отелѣ Сен-Фирмена, и однажды, обсуждая свой планъ дѣйствія, вдругъ увидалъ передъ собою Марціала Касторе, его деньщика и товарища дѣтства, который поспѣшно вошелъ въ комнату, съ безпокойнымъ выраженіемъ лица, какъ человѣкъ, приносящій важную новость.

— Полковникъ, васъ спрашиваютъ.

— Кто?

— Жанъ Ривьеръ. Онъ называетъ себя отцомъ капитана.

— Прси.

Полковникъ говорилъ „ты“ своему деньщику, что было со-

вершенно естественно, но и дѣтство нѣкогда говорилъ „ты“ полковнику, когда они играли дѣтскими въ Солиньякѣ.

Солиньякъ и Касторе родились, по странному случаю, въ одинъ день; первый въ приходскихъ метрическихъ книгахъ былъ записанъ сыномъ неизвѣстныхъ родителей, а отецъ Касторе былъ мясникомъ въ Лиможѣ, а мать Фаншета Маливо; они представляли, стоя на различныхъ ступеняхъ арміи, образецъ исполненія своего долга.

Солдатъ повиновался съ удовольствіемъ, а полковникъ повелѣвалъ имъ очень мягко и нѣжно. Истинная привязанность связывала сына мясника съ славнымъ баловнемъ судьбы, и если Касторе готовъ былъ отрубить себѣ руку по приказанію полковника, то Солиньякъ искренно любилъ и уважалъ его.

Не успѣлъ Касторе отворить двери, какъ Солиньякъ быстро пошелъ на встрѣчу своему гостю.

— Я имѣю честь говорить съ полковникомъ Солиньякомъ? спросилъ старый торговецъ суею, устремляя на хозяина глаза, потерявшіе свой блескъ отъ старости и потускнѣвшіе отъ постоянныхъ слезъ.

— Да, господинъ Ривьеръ, отвѣчала полковникъ, протягивая ему руку;—я догадываюсь, зачѣмъ вы посѣтили меня, и спѣшу васъ увѣрить, что я употреблю всѣ старанія для спасенія моего бѣднаго друга. Пожалуйста, присядьте.

Подобный пріемъ и благородное лицо Солиньяка придали мужества скромному старику. Дѣйствительно, Солиньякъ былъ какъ-бы рожденъ для того, чтобъ вселять въ себѣ довѣріе. Двадцати восьми лѣтъ, высокаго роста, хорошо сложенный, съ открытымъ лицомъ, полковникъ всегда сохранялъ довѣрчивую, привлекательную улыбку. Густые русые волосы, коротко-обстриженные на макушкѣ, обсыпали его широкій, мыслящій лобъ; лицо его было загорѣлое; подъ приподнятыми къверху усами виднѣлись пунцовыя губы и блестящія, бѣлыя зубы. Небольшіе бабенбарды, по модѣ того времени, придавали этому молодому человѣку, полному силъ и граціи, поразительное сходство съ героями Ван-Дика.

Однако, въ немъ не было и тѣни фатовства. Онъ прямо и рѣшительно смотрѣлъ на всѣхъ и на все, не придавая своимъ нѣжнымъ, голубымъ глазамъ искусственно-сладкаго выраженія. Въ военномъ мундирѣ, онъ молодецкато сжималъ лѣвой рукой ефесъ

сабли, не выставляя на показъ своихъ тонкихъ, длинныхъ пальцевъ. Въ статскомъ платьѣ, какъ въ настоящую минуту, онъ сохранялъ на-столько военную осанку, на-сколько это было необходимо, чтобъ не походить на свѣтскихъ франтовъ того времени. На немъ были круглый, утренній фракъ, замшевый жилетъ, казацкіе шаровары и блестящіе, высокіе сапоги.

Самая привлекательная черта этого человѣка заключалась въ добродушномъ, простомъ обращеніи, которое обнаруживалось при первомъ пожатіи руки, при первой улыбкѣ. Онъ невольно очаровывалъ всякаго непреодолимымъ блескомъ юности, здоровья и веселости; если-бы онъ жилъ въ тѣ времена, когда вѣрили въ чары, то его непременно обвинили-бы въ принятіи казкихъ-либо магическихъ зелій; но красавецъ Солиньякъ былъ одолженъ своей чарующей силой только благородному челу, откровенному взгляду, мощной рукѣ и мужественному сердцу.

Старикъ Ривьеръ боялся встрѣтить въ блестящемъ полковникѣ грубаго служаку и потому очень обрадовался, увидавъ передъ собою такого пріятнаго человѣка. Впрочемъ, если-бы Солиньякъ былъ-бы лютымъ тигромъ, то продавецъ сукна рискнулъ-бы помѣряться съ нимъ взглядами. Дѣло шло о свободѣ и жизни его сына, а достигнуть этой цѣли онъ готовъ былъ цѣною всякой опасности, даже смерти.

— Полковникъ, сказалъ онъ, усаживаясь въ кресло и приступая къ дѣлу безъ всякихъ вступленій, — нечего вамъ говорить, что капитанъ ни въ чемъ не виноватъ. Лучшаго человѣка и война нельзя себѣ вообразить. Въ чемъ его обвиняютъ—я не знаю, но если-бъ онъ даже и совершилъ преступленіе, на что онъ положительнаго неспособенъ, все-же его надо освободить.

— Трудно, замѣтилъ Солиньякъ.

— Трудно! Трудно! Кому вы это говорите! Нѣтъ ничего невозможнаго. Неужели вы, полковникъ, который сдѣлали столько...

— Я готовъ сдѣлать все возможное и невозможное! Подумаемъ вмѣстѣ о средствахъ...

— Боже мой! воскликнулъ съ жаромъ старикъ;—есть только одно средство.

— Какое?

— Бѣгство.

— Бѣгство? Вонъ вы какъ! произнесъ полковникъ, задумываясь.

— Вѣдь герцогъ Отрантскій не отдастъ мнѣ добромъ Клода, продолжалъ добродушный Жанъ Ривьеръ;—если онъ на это согласится, то и говорить нечего, но иначе...

— Вы правы, перебилъ его полковникъ, смотря съ удивленіемъ на старика, котораго любовь къ сыну превращала въ героя;—но изъ Консьержери бѣжать не легко.

— Послѣ завтра капитана переведутъ изъ Консьержери въ Тампльскую тюрьму, сказалъ Ривьеръ, почтительно называвшій сына тѣмъ титуломъ, который онъ купилъ своей кровью.

— Кто вамъ сказалъ?

— А вы думали, что я до сихъ поръ терялъ время, полковникъ? Нѣтъ, я вездѣ былъ, все разспрашивалъ, разузнавалъ, говорилъ съ судьями, съ тюремщиками. Я желалъ-бы быть миліонщикомъ, чтобъ всѣхъ озолотить. А то, какъ я ни увѣрялъ, что Клодъ не виновенъ и что если онъ былъ заговорщикомъ, то неопаснымъ, меня никто не хотѣлъ слушать. Охъ, ужъ эта политика, политика! Я всегда ее ненавидѣлъ, какъ-бы предчувствуя, что она у меня отниметъ сына. Моя бѣдная Сюзета (его мать) не менѣ моего боялась политики... У насъ была еще дочь... По крайней мѣрѣ, хоть съ дочерьми нечего бояться безумныхъ вспышекъ... Съ его способностями и храбростью, онъ могъ достигнуть богъ-знаетъ чего!.. А теперь пропала его буйная головушка... Но, полковникъ, я его не обвиняю; если онъ это сдѣлалъ, значитъ таеъ надо было. Мало на свѣтѣ такихъ добрыхъ, благородныхъ людей, какъ онъ... И они его теперь держутъ въ заточеніи, а потомъ будутъ судить, приговарять... Вотъ почему его и переводятъ въ Тампльскую тюрьму; это съ одной стороны хорошо, а съ другой дурно; хорошо потому, что переводъ въ Тампль означаетъ продолжительность заключенія, а дурно потому, что уничтожаетъ всякую надежду на окончаніе слѣдствія за недостаткомъ уликъ. Вы видите, я силенъ въ юридическихъ терминахъ. И когда подумаешь, что онъ могъ-бы быть знаменитымъ адвокатомъ, Мальзербомъ или де-Сезомъ... Господи! грустно жить на свѣтѣ! Однако, какъ-бы то ни было, полковникъ, его послѣзавтра перевезутъ въ Тампль. Такъ что-жь? Развѣ нельзя бѣжать изъ Тампля? Надо его спасти. Клянусь небомъ! Я, дряхлый старикъ, спасу его, хотя пришлось-бы собственными руками поджечь старинную тюрьму!

Солиньякъ былъ очень тронуть наивной, геройской рѣчью старика и, не желая ни возбудить въ немъ слишкомъ много надеждъ, ни разочаровывать его, спросилъ:

— А что сталося съ женой капитана?

Старикъ мрачно покачалъ головою и черезъ минуту медленно, грустно отвѣчалъ:

— Съ Терезой случилось что-то, о чемъ лучше не говорить. Она исчезла. Быть можетъ, она струсила. Гдѣ она — никто не знаетъ. Она бросила человѣка, который пошелъ-бы за нею въ огонь и въ воду. Мнѣ всегда говорили, что на свѣтѣ много низкихъ женщинъ, но я не вѣрилъ. Сюзета меня избаловала. Исчезнуть въ ту минуту, когда человѣкъ, имя котораго носишь, арестованъ, когда ему грозитъ смерть, — это низко, жестоко, подло.

— У г-жи Ривьеръ есть родственники въ Парижѣ?

— Да, полковникъ: ея дядя, г. Шамбаро, гражданинъ Сильвень Шамбаро.

— Я никогда его не видалъ, но знаю по имени.

— Старый членъ Конвента, славный, благородный человѣкъ. Онъ такъ-же взбѣсился, какъ я, узнавъ объ исчезновеніи Терезы. Когда я къ нему пришелъ, онъ не зналъ еще объ арестѣ капитана. Онъ живетъ въ отдаленномъ уголѣ Парижа, какъ медвѣдь въ берлогѣ. Увидавъ меня, онъ тотчасъ понялъ, что случилось какое-нибудь несчастье, потому что я со времени женитьбы сына почти не выходилъ изъ дома. Онъ сидѣлъ за столомъ, окруженный книгами, когда я вошелъ въ комнату, и, взглянувъ мнѣ прямо въ глаза, произнесъ:

— „Это вы, Ривьеръ?“

— „Я, гражданинъ“ (по старой привычкѣ я называю его гражданиномъ).

— „Что случилось?“

— „Мой сынъ арестованъ, а ваша племянница бѣжала“.

— „Ривьеръ арестованъ?“

— „Да“.

— „Еще жертва Бонапарта“. Такъ онъ называетъ императора. Вскочивъ съ кресла, онъ сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ въ сильномъ волненіи. Отъ времени до времени онъ подходилъ къ столу и, взявъ какую-нибудь книгу, злобно бросалъ ее на полъ.

— „А Тереза убѣждала! произнесъ онъ наконецъ.—Шамбаро измѣнила своему долгу! Наши жены слѣдовали всюду за нами, а тѣмъ болѣе въ изгнаніе. Но что-же дѣлать? Женщина, все-же женщина, и лучшая изъ нихъ не стоитъ слезы или мысли честнаго человѣка. Бѣдный капитанъ!“ Потомъ онъ прибавилъ, что Тереза, вѣроятно, вскорѣ явится и что, можетъ быть, она въ ту самую минуту искала средствъ для спасенія мужа. Я увѣренъ, полковникъ, что гражданинъ Шамбаро такъ-же опечаленъ арестомъ Клода, какъ мы съ вами, если позволите такъ выразиться, и поможетъ вамъ въ дѣлѣ спасенія капитана.

— Увидимъ, сказалъ Солиньякъ; — теперь мнѣ никого не надо.

— Вы отказываетесь?

— Я никогда не отказываюсь отъ опасности. По вашимъ словамъ, капитана переведутъ въ Тамплъ?

— Послѣзавтра.

— Ну, такъ приходите черезъ два дня, господинъ Ривьеръ, и тогда, быть можетъ, мы составимъ планъ дѣйствія.

— О, полковникъ, полковникъ! воскликнулъ отецъ капитана, — если вы мнѣ возвратите сына и спасете его отъ страшной гренельской стѣны, испещренной многими тысячами пуль, я, право, сойду съума отъ счастья.

Солиньякъ проводилъ до дверей этого драхлага, болѣзненнаго старика, который, однако, чувствовалъ себя въ силахъ оспаривать у палача жизнь своего дѣтища. Это посѣщеніе бывшего торговца сукномъ, его горячія мольбы, слезы, отираемые клѣтчатымъ шелковымъ платкомъ, и родительская любовь, выражаемая такъ просто, но краснорѣчиво, глубоко тронули красавца Солиньяка.

Оставшись одинъ, онъ замѣтилъ, что на его глазахъ навернулись слезы. Онъ улыбнулся, покачалъ головою и произнесъ громко, какъ-бы разговаривая самъ съ собою:

— Зачѣмъ-же стану я себѣ портить глаза? Вотъ вздоръ! Мнѣ надо сохранить вѣрный, ясный взглядъ. Басторе! воскликнулъ онъ своимъ громкимъ, звучнымъ голосомъ, который его солдаты различали даже среди сильной ружейной стрѣльбы: — Басторе, готовься. Мы пойдемъ въ атаку.

Солиньякъ поручилъ этому вѣрному человѣку доставить капитану Ривьеру записку, которую послѣдній получилъ такимъ не-

ожиданнымъ образомъ отъ тюремнаго сторожа. Судьба часто такъ-же благоволила заключеннымъ, какъ влюбленнымъ и пьянымъ; случайно оказалось, что одинъ изъ сторожей Консьержери былъ соотечественникомъ Касторе и полковника. Ловкій драгунъ, посѣтивъ товарища своей юности, завелъ разговоръ о веселой старинѣ, о дорогой родинѣ, о лимузенскихъ празднествахъ, о веселыхъ мѣстныхъ кушаньяхъ и т. д., подтверждая эти патриотическія воспоминанія нѣсколькими блестящими золотыми. Сторожъ взялъ деньги, выслушалъ рассказы соотечественника и пришелъ въ тому убѣжденію, что передача маленькой записки узнику не составляла большого преступленія.

Такимъ образомъ, капитанъ Ривьеръ узналъ, что красавецъ полковникъ не дремалъ и что у бѣднаго узника былъ мужественный, смѣлый покровитель, храбрый воинъ, которому счастье нигорда не измѣняло ни на полѣ брани, ни въ области любви.

(Продолженіе будетъ.)

П Р П В О Л Ь Е.

Картины лѣтняго промысла.

(Продолженіе.)

ІХ.

На Торось-острова.

Промысловую шняку занесла буря далеко отъ становища. Ловцы на ней считались уже пропавшими, да неожиданно-негаданно вернулись назадъ, измученные и голодные. На хлѣбъ да на уху накиннулись — едва отдышались.

— Гдѣ побывали, други? по время, надо быть, въ Норвегу побывали?

— Къ Торось-острову занесло непогодой. Еле отстоялись.

— Трепало?

— Чудомъ вызволило, и то все Миколѣ угоднику да Варлааму-Керетскому молились.

— Варлаамъ въ эфтомъ случаѣ—первый предстатель.

— Носило насъ дня, почитай, два, благо парусъ цѣль былъ— не измотало. Потомъ къ камению и привело.

— Торось-островъ—защита.

— За нимъ отстоишься, тамъ такая заводь есть тихая. Горло узкое, а войдешь—благостыня! Не шелохнется, волны не видать... Тутъ мы отъ бѣды и спасались... Да еще норвецкое судно было съ нами; и что за народъ подлый, прости Господи,—нести по-

ганая. Одна бѣда для всѣхъ, а нѣтъ, все по себѣ, все въ одиночку. У насъ хлѣба не было вовсе, у нихъ много. Что-жь-бы вы думали—ломтя не дали!

— Нашижь не дадутъ. Взять сами—возьмутъ, это точно, а дать—шалишь. Не попользуешься отъ нихъ.

— Антонъ Демьяничъ, коршикъ, сунулся-было—ничего, поговорили ласково, а хлѣба не дали; такъ дня два одну морошку ѣли, на берегу собирали.

— И то во спасеніе. Насъ такъ на камень бурей ономнися занесло и нерпѣ рады были, поймали да и съѣли всю.

Отошли любопытные, бучка спасшихся сбилась вмѣстѣ и стала о чемъ-то совѣщаться.

Дѣло, повидимому, было важное: озабоченныя лица, порывистыя движенія выдавали не малую заботу.

— Однимъ не подняться.

— Что одинъ подѣлаешь!

— На шнакѣ всего не вывезть, надо шкуну прилучить. Демьянова, — да онъ надуетъ. Митричъ — тоже одному себѣ поровить.

— Серафиму развѣ? Она почище... Не кулацкое пузо.

— Что-жь, баба матерая! Справедливая баба. Она не обманеть.

— Стало, къ ней на совѣтъ и идти.

А Серафима только-что проснулась отъ неожиданнаго шлепка пившумъ, выпавшимъ изъ когтей орла-рыболова, и медленно сходила внизъ по обрывистымъ каменнымъ громадамъ, причудливыми горбами падавшимъ здѣсь въ покойную воду бухты. Отсюда была видна и шкуна ея до малѣйшей подробности, только щепкой по величинѣ казалась. А по щепкѣ словно муравей ползалъ—звукъ суетился на палубѣ. Засмотрѣлась корабельщица и любо ей. Знаеть, что ея это, что своими руками каждую снасть на пловучемъ домовищѣ своемъ добыла. Каждый гвоздикъ приноровила сама... Ишь, какая она пестрая да ладная, что дѣвушка въ праздникъ. И отъ какихъ бурь вызволило ее, въ какіе штормы посередь моря отстаивалась. Сколько за то время у другихъ было побито разнаго добра! На что въ Сумѣ у Никитина шкуна была — тысячь тридцать стояла, да на Моржовець наткнулась—однѣ щепки на берегъ выкинуло. А лоушкинское судно — еще-ли не краса; только до Матки и дошло, куда и дѣлось тамъ—невѣдомо!.. А ея шкуна хотъ

и мала, да оснащена крѣпко. Матерое судно. Подъ Кипвегомъ было три дня — плаваніемъ одной не отбило, подъ Берлевогомъ какъ трепало—ничего, только встряхнулась и шпять въ путь-дороженьку по голомяни безпредѣльной!.. И сладко было Серафимъ смотрѣть на любимицу свою, отраженную въ водахъ Урской губы, обвѣиваемую легкимъ вѣтромъ съ норвежской стороны, наносившимъ легкія тучки на безоблачное небо...

Вонь мимо шкуны проплыла ловецкая шняка. Парусъ по вѣтру яро бѣжить, грудь выпятилъ и несетъ подъ собою утлую лодченку... Людей и не замѣтно, точно шняка одна плыветъ. Только у руля чья-то голова видѣется, да и ту-то не отличишь... Слѣдъ змѣится назадъ... А пѣсню оттуда доносить ясно, каждая нотка отдается въ ухахъ.

— Къ тебѣ, Серафима, не оставь милостью своей.

Корабельщица оглянулась. Стоять промышленники безъ шапокъ и въ поясъ кланяются.

— Вамъ что?

— Дѣло такое ужъ очень ладное. Господь добычу посылаетъ. Посудину битую нашли, такъ нельзя-ли вмѣстяхъ.

— Какая посудина еще. Можетъ глиняная, не стоять, отшучивалась Серафима.

— Первый сортъ — господская. Должно аглецкое, одного жельза тыщи на три есть.

— Далекое, поди?

— У Торосъ-острова... Такъ на берегъ и брошено... Знай бери да благодари Создателя.

— Только на твою милость и надежда... Со шкуной-то ладно. А добычу по-христіански — пополамъ, Ты насъ не обидишь.

— Кому вѣдомо!..

— Норвежане были съ нами, да имъ не поспѣтъ...

— Ну, по этому вѣтру мигомъ доплывутъ. Поспѣвать надо...

— Ужъ какъ ты сама вѣдаешь, такъ и дѣвствуй... А мы съ тобой за матросовъ пойдемъ...

Только бѣлая полярная почъ окутала каменные валы матерого берега, только сѣрые клочья тумана легли надъ водою, шкуна распустила паруса и, медленно поворачиваясь по вѣтру, скользнула въ горло Урской губы. Въ становищѣ всѣ еще спали, да оно и встати — меньше догадокъ. Другіе, пожалуй-бы, и въ погоню увяза-

лись, потому мурманщикъ добычу далеко чуетъ. Ты только подумай, а онъ ужъ тутъ какъ тутъ—и въ глаза тебѣ засматриваетъ, и словами тебя допытываетъ. Очень ужъ шустрый на наживу народъ.

Серафима и своимъ не сказывала, зачѣмъ плыветь; какъ въ голомя вышла, тогда и открыла имъ.

— Што-жь, Господь счастья посылаетъ! умилился корщикъ.

— Ну тоже и счастье!.. А коли хозяину судна—петля отъ этого самага.

— Судно аглицкое — завсегда страховано. Ему все равно, онъ и за товаръ, и за корабль свое возьметъ. Это мы, слава-богу, не на грабежь идемъ-же. Тоже христіанскую душу имѣемъ. Кому доведись—своего жалко. А тутъ дѣло безобидное.

— Только-бы не добрались норвежане.

— Ну, имъ противъ вѣтра куда!.. Ишь, теперъ намъ по-вѣтеръ, а имъ въ носъ дуетъ.

— Цѣлый-то день имъ по-вѣтеръ стоялъ. Только къ ночи смѣнило...

— Ладно; никто какъ Богъ!

За ночь шкуна ушла далеко. Устье Урской губы давно уже пропало позади. На самомъ горизонтѣ вправо едва мерещились смутныя очертанія Кильдина. Привычный глазъ моряка къ утру различалъ ужеhalbво низменныя пологости Рыбачьяго полуострова..

Серафима уже не спала. Она зорко поглядывала на западъ, высматривая тамъ знакомыя массы Торосъ-острововъ.

Алая заря разбросала розовый отблескъ свой по небу, охватила золотистою каймою восточную окраину моря и яркимъ полымемъ вспыхнула на вершинахъ береговыхъ скалъ...

Ходко плыветь судно по вѣтру... Тучка гонится въ слѣдъ—не догонитъ, гребни разсѣваемыхъ шкуною волнъ далеко остаются позади. Взмыль-было надъ мачтами буревѣстникъ, да и ему не подь силу: только бѣлая точка серебритъ гдѣ-то, а судно уже дальше и дальше несетъ свой гордо надувшійся парусъ...

Прямо на пути его черныя, мрачныя скалы. Отвѣсныя громады поднялись прямо изъ воды; поверхности ихъ словно отполированы, словно стѣна сложена здѣсь изъ громадныхъ, правильной формы, скалъ. Ни одна былинка не треплется на нихъ по вѣтру, ни одинъ

лютивъ не золотится въ ихъ трещинахъ на встрѣчу ясному, теплomu солнцу. Даже мховъ здѣсь нѣтъ, березовой сланки не видать на вершинѣ... Въ глухомъ провалѣ залежался старый снѣгъ, не таетъ и только; все остальное черно и мрачно, все остальное мертво и дико.

Цѣлыми грядями стоятъ эти скалы. Безсилно разбивается внизу море; валы, налетая на каменные массы, высоко вверхъ взбрасываютъ свои бѣлые гребни, точно хотятъ докинуть ихъ до острыхъ вершинъ, и въ безумной ярости ревуть въ черныхъ безднахъ... Бѣлая кайма пѣны оцѣпила выступы этихъ громадъ.

Ничего тутъ не слышно. Грохъ сталкивающихся и разбивающихся валовъ все заполонилъ. Только видишь, какъ бѣшено рвутся волны въ громадную черную пещеру и выбрасываются оттуда вонъ будто какою-то постороннею силой.

Разбѣжалась-было шкуна прямо въ эти грозныя скалы, да во время въ сторону свернула, только вдоль и прошла. А тамъ опять открытое море, съ золотою каймою на востокъ, съ зеленовато-свинцовымъ просторомъ позади...

— Бѣда это мѣсто. Самое подлое, что ни-на-есть.

— Чего хуже! Павковскую шкуну тутъ разомъ въ щепки обратило. Только и видѣли.

— Народъ, поди, пропагъ?

— Куда кто. Тройхъ на камни выкинуло. Четыре дня сидѣли тамъ. Одинъ съ голодовки съ ума сошелъ, въ воду кинулся. Другіе отсидѣлись. Штиль сталъ. Близко къ этому Чортову камню подойти можно было, ну и сняли ихъ. Ишь, и крестъ въ память поставленъ.

На самой высокой точкѣ каменной гряды, весь въ свѣту разгоравшейся зари, сіялъ черный деревянный крестъ. Вокругъ него стаями взвивались птицы. Поднялось снизу бѣлое облако, затаило его, да скоро разсѣялось подъ лучами солнца, и крестъ опять, какъ маякъ, смотреть въ даль, и даль эта смотреть на него, — и любо минующему это опасное мѣсто мореходу молиться здѣсь, благо душа сама молитвы просить...

— Поди за четыре дня натомились.

— Чего! Помутились совсѣмъ. Здѣсь вѣдь скалы голныя, ничего нѣтъ, ни травки, ни звѣря. Камнемъ не напитаешься.

— Въ другихъ мѣстахъ гагачьи гнѣзда въ щеляхъ бываютъ.

— Тутъ и птица гнѣзда не вьетъ. И мѣсто это самое про-
глядое.

— Тутъ и пристать некуда.

— Что стѣна, все равно. На одну стать.

Только къ вечеру вдали показалась группа нѣсколькихъ остро-
вовъ, лежащихъ въ устьѣ Кольской губы, у западнаго ея берега.
Пурпуровые отблески заката яркими вѣнцами легли вокругъ, отра-
женные волнами океана. Только внутри тусклыми очертаніями взды-
мались пять каменистыхъ массъ, отдѣленныхъ одна отъ другой ти-
хими проливами—салмами. Нѣкоторые изъ утесовъ подымались на
25 сажень надъ моремъ. Отъ нѣсколькихъ десятинъ величина ос-
трововъ доходить до полутора квадратныхъ верстъ.

Торосовыми эти острова называются потому, что весной и
осенью тутъ задерживается торось, т. е. ледъ, плывущій въ оке-
анъ изъ Кольской губы и ея притоковъ. Торосу скопляется здѣсь
иногда такъ много, что онъ задерживаетъ выходъ въ море коль-
скихъ судовъ. Тогда все устье губы бываетъ загромождено ледя-
ными глыбами. Меньшія изъ нихъ перемалываются въ пыль, боль-
шія раскалываются, и долго надо всѣмъ этимъ хаосомъ стоять не-
молчный грохотъ, трескъ и шорохъ, заглушающій остальные звуки,
пока, наконецъ, натискъ новыхъ стамухъ не вынесетъ въ океанъ
остальные массы...

Стѣны и откосы Торось-острововъ поэтому носятъ на себѣ оче-
видные слѣды тренія льдовъ. Они исполосованы царапинами, от-
полированы ледяными поверхностями. Часто въ узкія салмы Торось-
острововъ набиваются ледяныя глыбы; за зиму онѣ смерзнуть и
по срединѣ лѣта, подъ зноємъ и свѣтомъ полярнаго солнца, онѣ
остаются тутъ, твердыми, натающими массами.

Теперь, къ счастью, стояло теплое лѣто.

Между островами проливы были чисты. Это помогло Серафимѣ
завести шкуну въ безопасное отъ волненія мѣсто. Къ ночи подымался
свѣжій вѣтеръ. По океану заходили „зайцы“, гребни волнъ вы-
гибались все круче и круче, шумъ ихъ становился все оглуши-
тельнѣе... Снаружи доносился шумъ прибоя о каменные утесы,
тогда-какъ здѣсь, внутри, въ этомъ коридорѣ узкомъ, но глубо-
комъ, во мракѣ черныхъ скалъ, вода стояла неподвижно и только
порою по ней разбѣгались круги, когда рѣзвое стадо сайды по-

дышалось наверхъ и неудержимо стремилось вонъ изъ пролива на встрѣчу бурѣ и непогодѣ.

За то крайне мрачное впечатлѣніе производили эти коридоры-проливы. Шкуна совсѣмъ пропадала въ тѣни. Только вверху полоскою видѣлось небо. Кое-гдѣ по откосамъ гранита съ примѣсью гнейса, слюдяного сланца, лабрадора и слѣдами базальта, на тонкихъ клочкахъ образовавшейся отъ разложенія тайнобрачныхъ почвы желтѣли скудные пятна ягеля, вилась березовая сланка и золотистыми искрами свѣтилась морошка. Въ логахъ, гдѣ посырѣе и потеплѣе, куда не заходитъ сѣверный вѣтеръ, колыхался дикий лукъ, зеленѣлъ щавель, ярко горѣли заревымъ полымемъ лютики и черная вороница едва пробивалась изъ-подъ зелени ложечной травы... Двѣ-три острия стрѣлки елей, въ аршинъ каждая, одиноко спротѣли, занесенныя сюда Богъ вѣсть какими вѣтромъ. Такія зеленныя площадки попадались не часто. Проглянетъ жизнь, улыбнется полярная флора—и опять горбятся, вздымаются, падаютъ и выгибаются сѣрыя, тяжелыя громады съ серебряными пятнами лишайника....

— Слава-богу. Тутъ благодать. Отъ всякой непогоды защита и покровъ! радовались пловцы.

— На утро надо къ судну пробираться.

— По салмамъ какъ-разъ дойдемъ.

— Ишь, птица-то, птица еъ бурѣ какъ поднялась.

И вправду, еще оглушительнѣе звуковъ бури наверху орали чайки, взлетая съ гребней отвѣсныхъ скалъ пѣлыми тучами, заслонявшими порою узкую, доступную отсюда полосу неба. Между ними взвивались поморники, кидаясь за орлами-рыболовами, глухо щелкали громадными носами бакланы и, тяжело взмахивая крыльями, грузно подымались къ верху. Вороватые зуй, сидя по тайникамъ да расщелинамъ, выглядывали или мелкую сельдь, или ждали, не выпадеть-ли рыба изъ когтей какого-нибудь хищника покрупнѣе... Тутъ-же влохтали гавки и юрко суетились въ теплыхъ и мягкихъ гнѣздахъ сѣрыя гаги.

— А то пойти теперь?...

— Нѣтъ. Къ ночи не ладно.

— Чего не ладно? крикнула Серафима.—За бабьими подолами сидѣть-бы вамъ, ловцы! И горе-же вы промышленники, братцы!

— Сама знаешь, какое здѣсь мѣсто. Чудъ гдѣ хорошилась.

— Слышала я про это, какъ еще дѣдко съ печи рассказывалъ, да и позабыла давно. У кого душа заячья, тотъ всякому вздору и вѣрить...

— Да и за вѣтромъ идти неспособно. Парусъ такъ упалъ, какъ штанина болтается. Силы въ немъ нѣтъ—не понесетъ!

— А ладнѣй будетъ, что-ли, какъ норвежане раньше насъ будутъ?...

— Ну, не къ мѣсту поминать!...

— Стало, плыть надо. Сбрось лодку.

Сбросили лодку. Чтобы вселить бодрость въ трусливыхъ пловцовъ, сама Серафима сѣла за весла, съ нею спустились трое промышленниковъ и стали грести. Лодка вела за собою шкуну на буксирѣ, то пропадая въ черной тѣни заворотовъ салмы, то выступая на ярко озаренныя закатомъ площадки, гдѣ берега острововъ раздвигались, образуя родъ тихихъ, никакимъ волненіемъ невозмущаемыхъ лагунъ... Шкуна плыла за лодкой, медленно поскрипывая. Съ длинными шестами въ рукахъ, экипажъ ея предупреждалъ столкновения судна съ выступами гранитнаго берега. Мелей бояться было нечего—въ этихъ салмахъ, несмотря на ихъ неподвижность, дна не найти. Берегъ идетъ отвѣсно, такъ что шкуна въ любомъ мѣстѣ могла идти бокъ о бокъ съ утесами, не касаясь килемъ песчаного дна.

На перекресткѣ, гдѣ между четырьмя островами пересѣкались два пролива, шкуна приостановилась. Гребцы устали. Съ судна перешли туда свѣжіе гребцы, только Серафима осталась на своемъ мѣстѣ... Она было и пѣсню затянула, да неподхваченная остальными, пѣсня такъ и замерла и погасла въ глуши черныхъ утесовъ...

— Ты, матка, не пой. Оно этого не любить по ночамъ. Сама знаешь, море—измѣна лютая.

— Экъ васъ старыя бабы напужали. Сарафаны-бы да сороки носить вамъ.

— Я пять разовъ тонулъ—напужаешься!

— А меня три раза крутило. Попытаешь муку эту, будешь знать, каково оно, море.

И опять молчаніе; разговоръ не ладился. Лица гребцовъ становились сумрачнѣе и сумрачнѣе.

Западъ погасъ. Бѣлая ночь стала надъ скалами.

— Теперь скоро. Еще поворотъ.

— Живаль-ли кто тутъ?

— Безлюдье... Никого нѣтъ. Сказываютъ, когда-то пустынножители спасались, да шведъ ихъ прирѣзаль... Внизу рыбу ловили, а вверху въ пещерахъ жили... Таково-ли тихое житіе было!.. Наши сюда тоже пробовали, да зимой неспособно, вѣтромъ, ста-мухами да непогодами одолѣваетъ. Опять-же и море грозно, пужаетъ оно.

— Нынѣ и пустынножителей настоящихъ нѣтъ!..

Лодку что-то сильно качнуло, еще и еще... Вотъ ее бросило къверху и широкая волна прокатилась по недвижному дотолѣ простору салмы. Кругомъ вода запѣнилась, пѣной обдало и гребцовъ, едва удержавшихся на мѣстахъ.

— Господи, спаси!..

— Ишь она гдѣ!

И Серафима указала на громадную акулу, уплывавшую въ выходъ изъ пролива. Только плавательное перо ея мерещилось надъ водою да широкой слѣдъ ложился по всему ея пути.

— Теперь-бы въ воду—только и видѣли!

— Да, не ладно!..

— Лову нонѣ настоящего нѣтъ. Въ Тириберкѣ, въ Кольской да Урской губахъ еще ловимъ, а у Торосъ-острововъ оставили. Бросовое дѣло совсѣмъ.

— И большія попадаются?

— Акула-то? А шести сажень бываетъ... Сала въ нихъ одного пудовъ тридцать!.. Былъ тутъ у насъ одинъ промышленникъ-норвежанинъ, тотъ и по 50 пудовъ выбираль.

— Васко-бы ихъ тутъ пощупать. Должно много есть ее.

— Да что съ ней лѣтомъ подѣлаешь? Хоть брось. Лѣтомъ она лоховая, а осенью да зимою жирная. Весною да лѣтомъ она вся въ Норвегъ уходитъ—на Магерое да Нордвалъ. Тамъ съ самага Берлевога до острова Сора бьютъ, не какъ у насъ, — тысячами.

Акулы, особенно-же родъ *scymnus borealis*, встрѣчаются вдоль всего норвежскаго берега и главнымъ образомъ въ сѣверныхъ водахъ, прилегающихъ къ нему. Населеніе южной половины этого берега до сихъ поръ пренебрегаетъ акульимъ промысломъ, за |то провинціи Нордландъ и Финмаркенъ съ каждымъ годомъ увеличи-

вадь его разжѣры, число судовъ растетъ десятками, число охотниковъ сотнями, а количество добычи умножается десятками тысячъ пудовъ. Ловятъ акуль здѣсь на разстояніи 150—200 километровъ отъ твердой земли, и притомъ не иначе, какъ на глубинѣ 250—300 брассъ. Суда вооружаются для этого палубныя, въ 20—30 тоннъ, каждое съ 5—6 человѣками экипажа. Способы лова, какъ у норвежцевъ, такъ и у насъ, совершенно одинаковы. Они будутъ описаны въ одномъ отъ слѣдующихъ разсказовъ: „На акуль“. Промыселъ этотъ даетъ норвежцамъ до 5,000 бочекъ акульаго жира.

Х.

РАЗВИТАЯ ШКУНА.

Уныло поетъ океанъ свою вѣчную пѣсню...

Убаюкиваетъ-ли онъ людское горе и страданія или отпѣваетъ *тѣхъ*, что недвижно лежатъ на днѣ его, занесенные иломъ, охваченные со всѣхъ сторонъ водорослями? Плачетъ-ли онъ надъ разбитыми надеждами, что въ видѣ безобразныхъ обломковъ массы разбросаны въ глубинахъ его или такъ просто, механически повторяетъ свою зловѣщую легенду, и нѣтъ ему дѣла до нашихъ мукъ и проклятій?..

Глухой шумъ его доносится издали въ тихія салмы Торось-острововъ. Невозмутимо внимаютъ ему отвѣсные каменные берега, и только чайка крикнетъ съ просонокъ свой вызовъ—и снова мертвая пустыня давитъ душу своимъ мрачнымъ величіемъ....

А шкуна плыветъ все дальше, поскрипывая и минуя выступы за выступами. И растетъ на сердцѣ что-то грустное, безотчетное, чему нѣтъ имени, нѣтъ образа и жѣры... Не то плавать хочется, не то дѣла большого сердце прожить...

Повернуло судно влѣво—и гребцы взбросили вверхъ весла.

— Мѣсто не ладное. Не бывали здѣсь.

— Какъ-бы не обсохнуть.

— Вѣдовое дѣло, что говорить...

— Ныркоть приведется. Стунай, Степанъ, ты пловецъ первый по всему становищу.

— Ночью-то? зачесалъ тотъ въ головѣ.

— Эво баба плаксивал! Коли-бы не женское мое дѣло—я-бы сама полѣзла.

— Ну, matka, ты одна за двухъ мужиковъ постоишь, тебѣ и честь.

Однако, какъ Степанъ ни протестовалъ, а раздѣвался.

— Иди что-ль?.. До утра-бы переждать.

— Небойсь норвежане не ждуть. Поди на всѣхъ парусахъ катать.

— Акулы тоже... Помяните христіанскую душу, ежели что...

Постоялъ, поглядѣлъ въ воду. Почесалъ плечи—да разомъ и плюхнулъ внизъ, только широкій кругъ побѣжалъ по недвижной поверхности пролива да брызги дождемъ обдали гребцовъ. Всѣ затаили дыханіе, да и немудрено. Акула не станетъ церемониться, ей всякая добыча по-нутру...

Прошло нѣсколько секундъ...

Что-то плеснуло. Сажень за пять отъ лодки вынырнуло что-то черное и круглое. Не разсмотрѣть въ тѣни—голова или нерпа встревоженная... Но вотъ обрисовалась грудь... Видно, что тяжело дышетъ...

— Степанъ!...

— Плыви... Ладно, мѣсто самое способное. Поди сажень шесть будетъ...

И голова снова плюхнула внизъ, и опять широкіе круги разбѣгаются по свинцово-темной влагѣ.

— Точно утка!.. Ну, братцы, благословясь.

Опять весла прорѣзали влагу, опять заскрипѣла лодка и киль шкунны...

— Эй, Степанъ, выходи! Теперь самимъ видно...

Но Степанъ только-что вошелъ во вкусъ этого оригинальнаго кораблевожденія. Онъ съ азартомъ дѣлалъ нырокъ за ныркомъ, но все ближе и ближе къ лодкѣ.

— Ну, братцы, кто съ мое... А ну-ко, бутыхнись...

— Тебѣ и честь!

— А вотъ еще!—И опять востистое тѣло упало въ воду, да тотчасъ-же и вынырнуло оттуда. Не то солѣніе, не то хрипѣніе замерло въ воздухѣ... Гребцы дрогнули...

Степанъ быстро плылъ къ нимъ. Лицо его перекосило ужасомъ

Ноги, плывя, какъ-то особенно нервно поджимались, точно ихъ хватало сзади что-то...

Отсюда можно было слышать, какъ хрипѣла грудь его. Разъ онъ глотнулъ-было воды. За сажень ему подали весло — и моментально онъ вспрыгнулъ въ лодку, да тутъ-же и замеръ, глядя за бортъ остеклѣвшими глазами.

Было чего испугаться. Громадная акула съ разбѣгу ударила въ лодку, повернулась животомъ вверхъ, поколыхалась на водѣ и снова бросилась къ шлюпкѣ. Весла, опущенныя внизъ, сломались...

— Господи благослови!.. Степанъ, опамитуйся...

Лодка едва устояла, черпнувъ воды бортомъ. Тотъ только хрипло дышалъ да поглядывалъ на всѣхъ. Кто-то отливалъ воду. Остальные еще не отошли.

Облили его водою... Одѣли кое-какъ — легъ въ лодку и свернулся тамъ.

— Должно спужался.

— Еще-бы! Не свой братъ. Ногу разомъ отхватить. А все за тѣмъ, что Степанъ съ моремъ играть сталъ. Съ моремъ игра плохая. Оно уйметъ!..

Сѣрафима дала несчастному водки, отказался...

— Да ты пей... Легче будетъ.

— Нѣтъ... не... Богу надо молиться... Смерть вѣрная была... Я ее, акулу-то, ногой черкнулъ... Какъ устоялъ — Господь вѣдаетъ...

Когда за вершинами скалъ стали рдѣть багряные отблески утренней зари, когда узкіе коридоры проливовъ сплошь — занесло туманомъ, медленно клубившимся направо и налево въ узкихъ ущельяхъ, шкуна вышла на просторъ полукруга бухты, со всѣхъ сторонъ окаймленной острыми утесами и горбинами сѣраго берега. Только съ одной бухта соединялась съ открытымъ моремъ извилюстою щелью, которая едва была замѣтна отсюда. Такимъ образомъ, это пространство внутреннихъ водъ Торосъ-острововъ казалось большимъ озеромъ съ двумя или тремя небольшими скалами посрединѣ. Такія-же щели соединяли бухту и съ другими проливами, но онѣ за выступами и извилинами каменныхъ породъ вовсе не были замѣтны.

Вода въ бухтѣ была недвижна, но при сѣверо-восточныхъ вѣтрахъ стоянка здѣсь весьма опасна. Тогда вѣтеръ нагонялъ сюда океанскія волны и бухта ключомъ кипѣла между острыми скалами

безлюднаго и мрачнаго побережья. Вѣроятно, такимъ именно образомъ погубило здѣсь англійское судно, ущемленное между скалами, торчавшими посрединѣ этого водяного простора.

Издали видны были три косо склонившіяся мачты съ перепутаннымъ ворохомъ такелажа и безсильноповисшими флагами. Легкій вѣтерокъ колыхалъ ихъ, придавая странную жизнь этому недвижному остоу. Какъ колеблется кустъ на могилѣ, такъ и они развѣвались надъ мертвымъ судномъ, и не было имъ никакого дѣла до того, что погребено тамъ внизу, подъ ними. Такъ-же точно развѣтывались и свертывались они, когда корабль, распустивъ свои паруса, шелъ по вѣтру, гордо обгоняя поморскія шкуны и жалкія шняки арктическихъ водъ.

Парусъ, висѣвшій на шкунѣ, сталъ надуваться. Два или три раза шкуну качнуло; легкая зыбь, съ тихимъ ропотомъ, лизала борта ея.

— Слава-богу, можно и парусить теперь. Подбери весла.

Шлюпка пристала къ шкунѣ и весь экипажъ собрался на ея палубѣ.

— Какъ-бы на коргу не вѣзаться.

— Я знаю эти мѣста. Пусти-ца меня.

Степанъ, уже опомнившійся и повеселѣвшій, сталъ управлять движеніями судна, зорко поглядывая по сторонамъ и примѣчая выпуклости и мысы берега. Судно то круто поворачивало вправо, то смѣло шло впередъ.

Саженахъ въ тридцати отъ группы скалъ былъ брошенъ якорь. Визгливо развертываясь, цѣпь впервые нарушила молчаніе этой мертвой пустыни, и, словно ей въ отвѣтъ, съ одного изъ выдающихся пунктовъ берега вспорхнуло и разсѣялось въ воздухъ бѣлое облако морскихъ птицъ. Рѣзкіе крики застыли въ воздухъ. Хищный клекотъ доносился сверху, сопровождаемый пронзительными рыданіями гарковъ. Съ ближайшаго берега стали бултыхаться въ воду, тяжело переваливаясь, какія-то грузныя тѣла.

— Ишь шлепаются! замѣтила Серафима, высматривая ихъ.

— Здѣсь нерпы много бываетъ.

— А вонъ остаточные.

Нѣсколько тюленей лежало у самаго края воды, словно какія-то тяжелыя изваянія. Тупыя, усатыя морды неотступно слѣдили за шкуной.

— Стрѣлять-бы.

— Ладно. Сначала одно дѣло покончимъ, а тамъ и за другое.

— На бережку способно жиръ топить—ишь какое тамъ ровное да гладкое мѣсто.

Корпусъ защемленного между скалами судна былъ теперь видѣнь отчасти. Изъ сѣрыхъ зубцовъ утесовъ выдавалась узорчатая позолотой изукрашенная носовая часть. Длинный носъ судна былъ обломленъ до половины и часть его висѣла на такелажѣ. Два окошка каюты смотрѣли сзади словно подслѣповатыя глаза громаднаго чудовища. Въ двухъ или трехъ мѣстахъ была оборвана обшивка и отставшія отъ бортовъ планки торчали внаружу, открывая подъ собою глубокую пробоину, точно рану въ груди безсильно-лежащаго человѣка. На палубѣ носовой части отсюда былъ замѣтенъ какой-то невообразимый хаосъ. Тюки съ чѣмъ-то безобразно перемѣшались съ боченками и ящиками. Цѣлая масса канатовъ висѣла съ борта, перевиваясь внизу съ водорослями, заброшенными сюда приливомъ. Куча обломковъ валялась у борта и на одной изъ веревокъ до сихъ поръ еще болталась чья-то синяя куртка, точно самъ владѣлецъ ея безопасно спалъ внизу, пользуясь безвѣтріемъ и недолгимъ покоемъ неутомоннаго океана.

— Ближе-то подойти нельзя.

— И такъ хорошо. На шлюпкѣ можно. Съ всей стороны брать его лучше?

— Корма куда способнѣй.~ Ниже, главное.

Шлюпка подплыла съ кормы. Зрѣлище разрушенія отсюда было еще замѣтнѣе. Громадная острая скала словно гвоздь пронизывала дно судна. Видно было, что во время бури волны бросили корабль на эту иглу. Съ тѣхъ поръ прибой волнъ все увеличивалъ и увеличивалъ это отверстіе, корабль все ниже и ниже садился на нее. Даже палуба была покороблена здѣсь. Видно, что снизу упиралась въ нее вершина скалы. Хаосъ на кормовой части палубы еще замѣтнѣе. Судно было въ перегрузкѣ. По всей вѣроятности, въ трюмѣ его лежало что потяжелѣе, но и борта до краевъ были завалены тюками и боченками.

Въ разбитое окно каюты вылетѣлъ поморникъ и взвился вверхъ съ рѣзкимъ, пронзительнымъ крикомъ.

— Ишь забралась куда!

— Должно, ей способно тамъ.

Экипажъ судна, по всей вѣроятности, спасся куда-нибудь на Рыбачій полуостровъ, а оттуда въ Вардо и Англию. Спасли только судовые да страховые документы, а объ остальномъ и горя мало. Грузъ и судно застрахованы, а въ несчастіи одинъ Богъ воленъ. Не отвѣчать за него, особенно въ русскихъ водахъ, гдѣ гидрографическія описи и береговыя пособія ничтожны.

Шлюпка подплыла такъ близко къ разбитому кораблю, что черная масса его злобще висѣла надъ самыми головами гребцовъ. Степанъ поднялъ весла вверхъ, уперся ими въ дно кормовой части. Одна оторвавшаяся доска висѣла внизъ. Попробоваль взобраться по ней—трещить. Боязно стало—бросилъ.

Съ другой стороны канатъ висѣлъ. Одинъ изъ гребцовъ зацѣпился за него и полѣзъ, только не совсѣмъ удачно. Масса каната стала развиваться, и бѣднякъ, подъ смѣхъ товарищей, шлепнулся въ воду.

— Эке нерпа неспособная!

— Гляди, въ другой разъ не обмахивайся.

— Поди сама попробуй!

И тотъ, отфыркиваясь, влѣзъ въ лодку.

Лодка пошла подъ бортомъ, минуя скалы, гдѣ разбивался прибой и бѣлѣла широкая полоса пѣны.

Туманъ уже сталъ приподниматься и кое-гдѣ сѣрыми влочьями повисъ на скалахъ. Золотистое сіяніе солнца охватило пол-неба и нѣжнымъ румянцемъ обрасило края бухты. Вершина одного утеса ярко сіяла своей гладкой поверхностью. На яркомъ фонѣ зари еще рѣзче и чернѣе обрисовывались мачты, перепутанныя талкажемъ.

Оглянулись на шкуну—она словно муха, еще мельче кажется вдали. Едва-едва замѣтишь ее въ тѣни сѣрой скалы, тяжелой массы которой висятъ надъ утлымъ суденышкомъ.

ХІ.

На палубѣ и подъ палубой.

Обрывки каната висѣли съ борта у самого носа. Тутъ они оказались покрѣпче. Можно было добраться до самой палубы. Серафима бойко взобралась первой, за ней—другіе. Старикъ-кормщикъ

попробоваль-было тоже, да куда! Такъ и остался въ лодкѣ у скалы и отъ нечего дѣлать залегъ спать, привѣсивъ шляпку къ выдавшемуся выступу утеса.

Хаосъ на палубѣ оказался еще поразительнѣе, когда поморы вошли на нее. Все было перепутано и перемѣшано. Видно, что люди чего-то искали, что-то хватали безъ толку, суетились, потерявъ голову. На пороховомъ боченкѣ лежала брошенная трубка и тутъ-же на верхнемъ днѣ его было обожженное мѣсто. Трубка, вѣрно, была оставлена закуренною. Изъ одного тюка были разбросаны кругомъ шелковыя матеріи. У самаго борта стоялъ открытый анкеромъ рому. Поморы было-сунулись туда, да благо корабельщица догадалась, швырнула его за бортъ.

— Добро-то, матка!

— Хорошо добро. Обошѣтесь—тутъ и останетесь.

— Ну и баба!.. А мы-бы капельку.

— Будетъ еще.

На влокъ свернутаго каната валялся морской бинокль; тутъ-же рядомъ чья-то записная книжка. Посреди этой безурядицы трудно было сдѣлать нѣсколько шаговъ, не наткнувшись на разсыпанный и разбросанный грузъ и не запутавшись въ ворохѣ кое-какъ висѣвшаго тавелажа.

Люки повсюду были открыты. Только оттуда несло какимъ-то сырмь, промозглимъ воздухомъ.

Серафима попробовала спуститься въ капитанскую каюту. Тутъ вездѣ была разбросана посуда, книги. Шкафы отперты настежь, точно кто-то спѣшилъ выбрать изъ нихъ, что понужнѣе. Крышка сундука оторвана и оттуда повыброшена куча платья и бѣлья. Развернутая карта на столѣ облита чѣмъ-то и тутъ-же осколки разбитой бутылки.

Грабежъ судна еще не начинался.

Промышленники пока еще ходили да высматривали. Каждый моталъ себѣ на усъ, что ему пригоднѣе.

Спустились въ трюмы, да скорѣй назадъ. Сквозь проломы набило вдоль стѣнъ и на лѣстницу морской травы, а дно все было покрыто водою. Когда прибой взбрасывалъ внизу свои гребни, вода и здѣсь волновалась. Люди во мракѣ не видѣли, а только чувствовали и слышали это волненіе. Точно что-то живое медленно повертывалось и билось тамъ. Страхъ невольно оковы-

валь душу. Только подъ самымъ люкомъ лучъ свѣта озарилъ тусклую свинцовую поверхность воды да бочки съ чѣмъ-то. Гдѣ-то вода просачивалась съ тонкимъ, визгливымъ звукомъ. Съ другой стороны слышался какой-то скрипъ.

Посмотрѣли-бы и еще, да прибой подкатился къ самымъ ногамъ передового промышленника. Куда-же идти—не въ море!..

Если-бы не скала, ясно, корабль не могъ-бы держаться надъ океаномъ.

Пока люди стояли надъ этою черной бездной и внимательно вглядывались въ нее, наверху послышался какой-то крикъ.

Бинулись туда. Толпа собралась на серединѣ судна.

Оказалось—дѣло северное. Верхняя палуба, непосредственно лежавшая на скалѣ, пронизывавшей, какъ гвоздь, корабль, не выдержала давленія снизу и раздѣлилась въ двухъ или трехъ мѣстахъ. Нѣсколько досокъ лопнуло и озубренные края ихъ выставились наверхъ, открывая подъ собою черные дыры и провалы. Свезъ одно изъ отверстій можно было рассмотреть сѣрый уголокъ утеса. Зловѣщій шорохъ и скрипъ слышались и въ другихъ мѣстахъ.

Толпа стояла неподвижно. Трудно было рѣшить, удержится-ли судно, когда скала его пронизетъ совсѣмъ, выстоятъ-ли борты кюзова, или онъ разомъ распадется на двѣ части—носъ и корму, и та, и другая рухнуть внизъ въ ту бѣдную пѣну, что окаймляла края морского прибоя?.. Положимъ, англійская постройка крѣпка, доски толсты и надежны. Да не нужно было забывать и того, что корабль въ полномъ грузѣ, что если-бы онъ былъ пустъ, корма-бы его выстояла, а теперь, пожалуй, придется вмѣстѣ съ разбитымъ кораблемъ рухнуть въ море.

— Хватайте, что подвернется подъ руки, да внизъ, на шкуну!

— И того довольно, и за то Богу благодарны останемся.

— Чего не довольно! Одного желѣза сколько.

Серафима молчала; она внимательно соображала; переступивъ за линію надлома, она ощупывала борта, заглядывала въ образовавшіяся отверстія, сползла даже туда и тамъ уже, во тьмѣ, стала осматривать скалу. Скоро ее и видѣть перестали.

— Эй, матка... Глади—разнесетъ.

Какой-то отзвѣвъ послышался оттуда, но глухо, словно изъ-подъ земли. И опять все стихло.

А Серафима безбоязненно сползала внизъ, съ выступа на выступъ. Нога ея скользила по влажнымъ поверхностямъ крутого утеса. Во мракѣ нельзя было разглядѣть ничего, нужно было только ощупывать мѣсто прежде, чѣмъ ступить на него. Глухой ропотъ моря слышался внизу, оттуда обдавало солеными брызгами. Вверху, словно отраженіе какого-то тусклаго свѣта, мерещилось бѣлое пятно—и только.

Нѣсколько разъ она доходила до отвѣснаго ската. Ощупаетъ руками впередъ—и нѣтъ ничего, обрывъ. И опять, осезая каждый шагъ, нужно ползти назадъ. Оборваться отсюда—значило-бы или разбиться объ острые выступы скалы и окровавленнымъ трупомъ упасть въ море, или-же живымъ попасть туда-же—въ пасти акулъ.

Часто ей приходилось наталкиваться на внутреннія перегородки корабля, разможенные свалою. Тутъ онѣ упирались въ утесъ—и дальше некуда было ступить отважной поморянкѣ. Она пробовала тогда спускаться внизъ по скользкой поверхности утеса—и порою скрывалась. Какъ-то она ударилась объ острый утесъ и, не почувствовавъ боли, только кровь на рукахъ ощутила. Наконецъ, мракъ сталъ такъ густъ, что и передъ глазами она не могла различать ничего. Тьма эта была влажная. Мракъ весь былъ проникнутъ туманомъ, состоявшимъ изъ водяной пыли. Дышать даже тяжело стало. Пахло морскою водою, какою-то острою гнилью да водорослями. Внизу бились волны. Что-то постоянно трещало и скрипѣло и только по этимъ признакамъ можно было догадаться, что дѣло разрушенія продолжается безостановочно.

Тутъ только Серафима рѣшилась воспользоваться смоляной бичевой, бывшей при ней.

Кремень и огниво едва добыли огня на труть. Пропитанная смолою бичева долго не вспыхивала въ густой мглѣ, и корабельщицѣ нѣсколько минутъ пришлось серьезно раскаяваться, что она забралась въ эту черную щель. Дѣло въ томъ, что во мракѣ отсюда нельзя было выйти нигуда. Сверху-бы не догадались подать помощи, да и не осмѣлились! А между тѣмъ, очевидно, разбитое судно переживало свои послѣдніе часы.

Когда гибель казалась уже неизбѣжной, бичева вспыхнула.

Серафима, разумѣется, прежде всего оглянулась.

Красноватый блескъ выхватывалъ изъ мрака весьма небольшое пространство.

Прежде всего — черный выступъ скалы, — черный, влажный и скользкій. Какой-то мохъ поросъ на немъ, точно мокрый бархатъ. А надъ выступомъ почти отвисшій откосъ съ тѣмъ-же влажнымъ бархатомъ. Площадка выступа была не велика: шаговъ пять сдѣлать — и прямо въ бездну. Съ одной стороны эта площадка вертикально обрывалась внизъ, съ другой — она сѣуживалась и карнизомъ обходила скалу, загибаясь къ ея подножію спиралью.

А дальше?..

Дальше *видѣлась* черная тьма. Изъ черной тьмы этой выступали какія-то перегородки. Громадная куча каменнаго угля сверкала подъ тусклымъ, перебѣгающимъ блескомъ фитиля мрачными изломами и отсвѣтами. Внизу была та-же тьма, только порою, когда пропитанная смолою веревка вспыхивала ярче, тамъ точно показывались огнистыя змѣи. Это колыхавшаяся вода отражала скудный свѣтъ.

Сверху послышался гулкій зовъ.

„Должно быть меня?“ шевельнулось въ головѣ у Серафимы, да не до того ей было. Нужно было идти внизъ, чтобы тамъ уже рѣшить, цѣла-ли внутренняя обшивка корабельнаго кузова или она уже тронулась и расцелилась. А карнизъ скалы, казалось, долженъ былъ подходить прямо къ этой обшивкѣ.

Стала спускаться — новое горе: сверху каплетъ. И подъ ноги смотри, и за фитилемъ слѣди, чтобы не погасъ. А погаснетъ — тогда смерти не миновать. Еще удастся-ли достать огня!

Карнизъ то расширялся въ небольшія площадки, такъ-что на нихъ можно было свободно стоять, то, обходя зигзагами выступы утеса, сѣуживался и на немъ едва устанавливалась ея нога. А тутъ еще новая бѣда — тропа эта пошла внизъ, да слишкомъ круто. Руками удержаться не за что, а внизу, подъ ступнею, мокрый бархатъ какого-то мха. Скользишь и падаешь. Прошла и это мѣсто...

Отдохнула на новой площадкѣ и опять внизъ.

Шумъ моря подъ скалою слышался все яснѣе и яснѣе. Это былъ уже не шорохъ отъ колыханья волнъ. Нѣтъ, до ея слуха доносился и плескъ прибоя о килевую часть судна, и говоръ волнъ,

и барахтанье какого-то грузнаго тѣла внизу. Точно какая-то громадная рыбина была хвостомъ по поверхности воды.

Она не чувствовала страха, но всѣ ея нервы были напряжены, каждый атомъ организма жилъ, казалось, своею отдѣльною жизнью. Глаза и уши видѣли и слышали вдвое. Она чувствовала малѣйшую неровность стѣны, къ которой прижималась спиною. А тѣмъ же менѣе что-то звало ее внизъ, что-то тянуло ее туда.

Соро опять пришлось приостановиться. Тутъ уже, казалось, вовсе не было прохода. Стѣна утеса горбилась такъ, что крайніе выступы ея заходили дальше края карниза. Смѣлая женщина нашла и тутъ—если нельзя идти, авось можно ползти, и она поползла въ эту узкую щель. Руки скользили, щель иногда суживалась, огибала утесъ, такъ-что Серафима должна была изгибаться змѣей и въ то-же время осторожно держать въ рукахъ горящую бичевку.

А что, ежели этотъ карнизъ пойдетъ опять вверхъ и всѣ ея труды останутся напрасны? Холодомъ обдавало ее при этой мысли, да не назадъ-же идти отсюда!..

Затомилась она страшно. Ноги ныли. Въ колѣняхъ, изодранныхъ гребнями каменныхъ неровностей, чувствовалась острая боль, ладони были окровавлены, а тутъ еще морская вода вѣдается въ ссадины и бередитъ ихъ. Воспользовавшись нѣсколькими минутами отдыха, она откинулась назадъ и недвижно лежала на холодномъ и влажномъ гранитѣ. Всѣ ея чувства замерли. На нѣсколько мгновеній она ничего не видѣла и не чувствовала, дивное дѣло, какъ огонь еще сберегла. Не видѣла и не чувствовала! За то слышала, слышала явственно, словно надъ ухомъ, гулкій и отчетливый колокольный звонъ. Ишь какъ перекатываются волны этихъ звуковъ! Выростаетъ одна, гремитъ металлическими раскатами и стихаетъ, и вслѣдъ за ней вздымается другая, третья, а дальше всѣ онѣ сливаются въ одинъ мрачно-торжественный хоръ. И моря за ними не слышно, точно внизу вода притаилась, не колышется, словно все замерло, словно все, и этотъ камень, и эти деревянные стѣны, и это во мракъ уходящее море слушаютъ волокольный звонъ.

Но вотъ звонъ все тише и тише, по мѣрѣ того, какъ чувство возвращалось къ уставшей поморкѣ. Она могла уже приподнять голову, но теперь ей стало страшно, страшно до ужаса, страшно

до того, что корни волосъ шевелились на головѣ, что по лицу, по плечамъ и по спинѣ, начиная отъ затылка и темени, пробѣгало ощущение чего-то холоднаго, чего-то еще томительнѣе приковывавшаго ея взглядъ къ этой неподвижной тѣмнѣ, которую не могло разсвѣять слабое багровое сіяніе ея фитиля.

Она бессознательно пошла впередъ, сама не зная, какъ идти и зачѣмъ идти. Шла потому, что ноги переступали шагъ за шагомъ, шла потому, что ей казалось, будто кто-то издали также шагъ въ шагъ слѣдуетъ за нею. Только сердце съ болью стучало въ грудную стѣнку да колѣни почему-то подгибались.

Тутъ-то и случилось съ нею что-то до такой степени страшное, до такой степени непонятное, что она долго потомъ не могла дать себѣ въ этомъ отчета.

Ощущеніе холода, но не физическаго, а какого-то другого все усиливалось и усиливалось. Плечи подергивало судорогами, глаза широко раскрывались.

Фитиль разгорѣлся ярко и вдругъ впереди мелькнуло чье-то лицо. Дѣвушку словно что-то швырнуло назадъ. Не отводя глазъ отъ этого призрака, она отступала, отступала быстро, Господь вѣдаетъ какъ попадая на выступы карниза, а не мимо... А лицо еще пристальнѣе вглядывается въ нее и слѣдуетъ за нею. Она протянула впередъ свободную руку, словно желая заслонить этотъ призракъ... Онъ смотритъ съ другой стороны—и нѣтъ отъ него спасенья, дѣваться некуда!..

Это цѣлая голова, съ глазами, сверкающими затаенною страстью, съ крупными, чувственными глазами. И то-же хищное выраженіе въ лицѣ!

Всю ее охватываетъ холодъ, точно ледяныя иглы пробѣгаютъ подъ кожей!

А онъ все ближе и *по-прежнему* какъ-то крадучись. Вотъ отъ призрака отдѣляется цѣпкая рука съ худыми, загнутыми на концахъ пальцами.

— Корнилія!.. разомъ крикнула она, чувствуя уже на себѣ эту ледяную, востлавую руку.

Какъ ни былъ робокъ ея крикъ, какъ ни дрожалъ ея голосъ, но звуки его, звуки не призрачныя, а дѣйствительныя, разомъ ободрили ее. Фигура призрака потускла и погасла... точно въ

туманъ распустилась, но голова, голова не пропадаетъ... она все тутъ-же, неотступная и грозная.

Только теперь Серафима была уже не та. Страхъ отошелъ. Оставалась еще дрожь въ тѣлѣ. Чувство психическаго холода еще пробѣгало волною по ея организму, но нравственно она была уже спокойна, нравственно она была опять крѣпче и бодрѣе и уже сознательно смотрѣла на эту какъ-будто мигавшую голову.

Еще нѣсколько шаговъ объяснили загадку. За одной изъ перегородокъ лежало то, что нѣкогда называлось человѣкомъ.

Какъ этотъ трупъ попалъ сюда?

Да развѣ эти губы разомкнутся, чтобы разрѣшить такую загадку, развѣ онъ встанетъ, чтобы рассказать, что его привело сюда?

Можетъ быть, промышленникъ, ранѣе этихъ побывавшій здѣсь, упалъ сверху да и расшибся. Лежалъ недвижно, потому что силы не было шевельнуться, да и умеръ послѣ мучительной агоніи. Эта-же влажная тьма окружала его, это-же колышющееся внизу море слышало его стоны, да никому только не передать ихъ, равнодушно!..

Какъ страненъ отблескъ тускаго свѣта на раскрытыхъ глазахъ мертвеца, точно онъ отражается отъ застывшаго на морозѣ студня.

Жутко было Серафимѣ. Хотя она поправилась, да чувствовала себя точно въ могилѣ заживо схороненною. Быстро, уже не глядя по сторонамъ, шла она по расширившемуся карнизу, не зная, куда онъ приведетъ ее, и скоро опять остановилась, какъ ввопанная...

Свѣтъ-ли ея фитиля сталъ слабѣе или здѣсь съ нимъ борется другой свѣтъ?..

По крайней мѣрѣ, прямо передъ нею выступаетъ изъ мрака кузовъ корабля, на такомъ разстояніи, какого не достигалъ прежде ея огонь. И самое пламя свѣтильни точно поблѣднѣло... Вотъ и вода, колышавшаяся внизу, стала виднѣе; еще одинъ поворотъ—и загадка объяснилась.

Скала пронизывала корабль съ боку. Этимъ объяснялось и наклонное положеніе его палубы. Съ этой стороны горбина скалы проломала себѣ отверстіе въ кузовѣ судна и сквозь него проникалъ дневной свѣтъ, блѣдный потому, что его заслоняли другія скалы снаружи.

Серафима сама не помнила, какъ она высочила вонъ и по откосу скалы сбѣжала внизъ къ ея песчаному мысу...

Одно только и осталось въ памяти у смѣлой дѣвушки — просторъ широкаго моря, яркое, безоблачное небо, тепло и свѣтъ лѣтняго дня и вдали сѣрыя очертанія острововъ, обступавшихъ эту бухту.

Золотой лютикъ, разцвѣтшій въ трещинѣ утеса, колыхался по вѣтру. Она взглянула на него съ благодарностью, точно онъ для нея и выползъ изъ щели на свѣтъ божій... Прибой съ тихимъ плескомъ подбѣжалъ къ ея ногамъ, гдѣ-то пронзительно рыдала гагара...

Она тутъ-же и заснула на пескѣ, пока поморы перетаскивали грузъ съ судна на ея шкуну...

Ярко обливало солнце горячими лучами спящую дѣвушку.

А вороватая чайка уже подбиралась къ ней, искоса поглядывая на ея разметавшіяся косы...

ХII.

Поздно!..

До вечера грузили шкуну, а добычи еще осталась добрая половина.

Алые краски заката уже легли на далекіе утесы, какъ-то забѣжавшая на небо одинокая тучка рдѣла, словно отторая, когда со шкуны слышались тревожные крики.

Люди, бывшіе на палубѣ разбитаго корабля, могли только понять, что ихъ зовутъ на шкуну.

Разбудили Серафиму, быстро переплыли расстояние, отдѣлявшее мѣсто крушенія отъ судна, и только тогда поняли, въ чемъ дѣло. Поняли — и за ружья взялись, и, пользуясь легкимъ попутничесомъ, стали готовить паруса.

Въ одной изъ щелей-проливовъ, входившихъ въ бухту, показалась, пока еще далеко, микроскопическая отсюда яхта. Она росла на глазахъ, а спустя минутъ пятнадцать передъ поморами было уже большое и хорошо оснащенное норвежское судно. Кучка людей на носу стояла тоже съ ружьями.

Свернули паруса. Судно, качнувшись, тихо остановилось. Два экипажа матросов пристально вглядывались другъ въ друга, точно соразмѣряли силы противника.

— Эгой!.. слышалось съ яхты.

— Ну?.. Что тебѣ, норвежская прорва?

— Какой судно?—Шкиперъ довольно чисто говорилъ по-русски.

— Свое, не ваше.

— Казяйна гдѣ?

Серафима вышла впередъ.

— Вотъ тебѣ и хозяинъ.

— Кароши казяинъ.

И шкиперъ пристально сталъ въ нее вглядываться. Хотя мѣдно-красное лицо его было неподвижно, но онъ давно взвѣсилъ и разчислилъ, сколько ружей у русскихъ, узналъ корабельщицу, о которой слышалъ въ Вардо, что она женщина рѣшительная.

— Народъ наша много! пугнулъ онъ было поморовъ.

— Да и у насъ слава-богу!.. Ежели помѣряться—можно! Пожалуй, выходи.

Курки шелкнули на первый взводъ.

Норвежцы переглянулись.

— Много еще грузу?

— Довольно. На два корабля такихъ хватить.

— Ссориться не надо, вы взяли свое и ступайте, теперь пора и намъ покориться.

Промышленники рады были этому обороту дѣла. Наши вообще не охотно ссорятся съ чужими; что ни толкуй, а [въ челоуѣа стрѣлять неприятно. Да тогда и не скрыть дѣла-то.

— Богъ даетъ попутничка. Чего тутъ еще!

— Да и товаръ тамъ грузный остался.

— Иди съ Богомъ! крикнули шкиперу. — Худой миръ лучше доброй ссоры. Эти самые съ нами здѣсь отъ бури спасались, тоже высмотрѣли, да опоздали. Ишь у нихъ на палубѣ и колонисты вайдогубскіе есть. Тоже набирали народу, кого и какъ попало.

Человѣкъ десять норвежцевъ отправились на судно. Русскіе предупредили ихъ, что кузовъ разбитаго корабля ненадеженъ; норвежцы только презрительно засмѣялись на это. Смѣлые морскіе волки не вѣрили въ опасность и не избѣгали ея.

Работа у нихъ пошла на славу, только посматривали наши да дивились. Кажется, почти ужъ деревянные люди, а какъ за дѣло принялись, такъ куда ловчѣе нашихъ вышли. Работа кипитъ подъ рукою, да съ толкомъ, берутъ что получше, а не то, что первое подъ руки попало.

— Что-же, и домой пора!

— Ну, дѣтунки, благословясь. Господь послалъ добра, теперь съ полнымъ грузомъ пойдемъ.

Подняли паруса и судно только-что двинулось, какъ въ стонѣ послышался какой-то хряскъ.

На глазахъ промышленниковъ кузовъ разбитаго судна лопнулъ, осѣвъ по обѣ стороны утеса. Мачты еще нѣсколько мгновений поддерживали обѣ половины. Новый трескъ — сломалась гротъ-мачта и половина судна медленно стала сползать внизъ, по мѣрѣ того, какъ лопалась и отдѣлялась по линіи излома бортовая обшивка. Чѣмъ-то безобразнымъ казался теперь корабль, точно изуродованный трупъ, гдѣ полуразломанныя ребра торчатъ во всѣ стороны, кости выдаются вонъ и повсюду зияютъ только однѣ черныя раны.

Когда корма погружалась уже въ воду, на поверхности моря можно было рассмотреть нѣсколько барахтавшихся человѣкъ. Одинъ, разбитый совѣмъ, пошелъ къ дну, другой изъ массы обломковъ вскарабкался на скалу и оралъ оттуда на всѣ стороны. А море пѣнилось кругомъ, словно закипа.

Внутренность корабля открылась вся и вмѣстѣ съ этимъ выпелъ на свѣтъ Божій изъ мрака, еще недавно окружавшаго его, призракъ, испугавшій Серафиму.

На ея глазахъ почернѣвшій трупъ его выступилъ вонъ на приподнятой доскѣ разломанной платформы и, описавъ полукругъ, вмѣстѣ съ нею рухнулъ въ воду.

Нѣсколько акулиныхъ плавниковъ показались на поверхности бухты.

Тамъ, гдѣ недавно еще барахтался одинъ изъ норвежцевъ, вода окрасилась въ красный цвѣтъ.

— Господи спаси! Со святыми упокой!.. невольно проговорили промышленники, снимая шапки и крестясь.

Еще чей-то стонъ замеръ въ воздухѣ...

Ночью шкуна уже выходила въ открытый океанъ.

На корабль слышалась беззаботная пѣсня, хотя позади остались смерть и разрушеніе...

Тихо вздымаются и падаютъ волны, медленно ползутъ по небу сѣрыя тучи, бѣлая ночь кругомъ и холодѣетъ. Флаги шелестятъ на мачтахъ.

Добраго пути, отважные поморы! Нужда и бѣдность создала вашу отвагу, а лютое, непріютное море воспитало ее.

В. И. Немировичъ-Данченко.

(Продолженіе будетъ.)

А Д А Ж І О.

(Изъ Ф. Коппе.)

Пустынной улицей, ведущею къ полямъ,
Любуясь на закатъ, по лѣтнимъ вечерамъ,
Когда въ душѣ встаютъ любимыя видѣнья,
Я часто направлялъ шаги свои къ селеню
И слышалъ каждый разъ, какъ въ домѣ угловомъ, —
Гдѣ точно, какъ въ тюрьмѣ, предъ свѣжимъ вѣтеркомъ
Бывали заперты рѣшетчатые ставни, —
Одно адажіо сонаты стародавней:
Въ одинъ и тотъ-же часъ, въ всеобщей тишинѣ,
Играла женщина, невѣдомая мнѣ.
Съ землей прощался день блѣднѣвшими лучами,
Стихало все кругомъ, и мѣрными шагами,
Какъ всѣ влюбленные, задумчивъ и уныль,
Смотря на пыльную дорогу, я бродилъ
И, наконецъ, привыкъ въ той улицѣ пустынной
Задумчиво внимать мелодіи старинной.
Тоскливо, сладостно и глухо пѣлъ рояль,
О другѣ бросившемъ тутъ слышалась печаль
И замиралъ укоръ за счастье бывшее,
И представлялось мнѣ, что въ зеркало большое
Тамъ смотрятся изъ вазъ душистые цвѣты;
Виднѣтся портретъ, гдѣ схвачены черты
Мужской энергіи и гордости глубокой;
По желтымъ клавишамъ отъ лампы одинокой
Скользятъ чарующій и мягкій полусвѣтъ
И ясно такъ лежитъ на всемъ печали слѣдъ,
Смягченный прелестью какой-то безконечной
Затишья, музыки и свѣжести сердечной, —
Рояль-же съ каждымъ днемъ пѣлъ тише и слабѣй
И смолкъ потомъ въ одинъ изъ августовскихъ дней.

Давно перемѣнилъ я мѣсто для прогулокъ.
Но, врагъ шумливыхъ массъ, про мирный переулочъ
Нерѣдко вспоминалъ съ тоскою я потомъ, —
Однако, говорятъ, все измѣнилось въ немъ:
Теперь тамъ голосають, играя, мальчуганы
И польками гремятъ другія фортепьяно.

И. Н.

ЖОРЖЪ-ЗАНДЪ.

(БИОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.)

(Окончаніе.)

IX.

Послѣ выхода въ свѣтъ „Леліи“ французскіе рецензенты, а съ ихъ голоса и критиканы другихъ странъ окончательно записали Жоржъ-Зандъ въ лагерь противниковъ семейнаго принципа, въ нѣ-котораго рода enfant terrible теоріи „женской эмансипаціи“. Публика повѣрила имъ на-слово, повѣрила до такой степени, что, несмотря на всѣ протесты и возраженія „непонятой писательницы“, за нею на долго утвердилась репутація „безнравственной“, и попечительные руководители юношества, высоко-нравственные папаши и мамыши сочли своею священною обязанностью изъять ея двусмысленные романы изъ обращенія среди своихъ цѣломудренныхъ дочекъ и даже сынковъ. А между тѣмъ тѣ-же самые высоко-нравственные папаши и мамыши не находили и до сихъ поръ не находятъ ничего противнаго нравственному чувству въ тѣхъ наставленіяхъ, которыя католическіе патеры преподають своимъ духовнымъ дочкамъ; когда духовникъ говоритъ женѣ: „мужу своему ты обязана принадлежать лишь тѣломъ, но душа твоя, твой внутренній міръ—это моя неотъемлемая собственность, и я могу ею распоряжаться, какъ мнѣ угодно“,—многіе папаши и мамыши безусловно соглашались съ этой высоконазидательной доктриной *).

*) Замѣчательно, что Жоржъ-Зандъ въ позднѣйшихъ своихъ романахъ протестуетъ противъ этой доктрины самымъ энергическимъ образомъ. Она справедливо находитъ ее въ высокой степени безнравственною, разрушающею основы семьи, подрывающею въ корнѣ супружеское благополучіе, отрицающею самую идею брака (см. въ особенности ея романъ „Mademoiselle La Quintinie“, стр. 138 —

Но если проповѣдь „полового воздержанія“ высоко-нравственна, если теорія „платонической любви“ есть дѣйствительно теорія любви „чистой“ и „святой“, если доктрина іезуита-духовника открыто признается и одобряется католическою моралью, то почему же та-же самая проповѣдь, та-же теорія, та-же доктрина, воплощенная въ художественную форму, высказанная „образно“, теряет свой нравственный характеръ, свою чистоту, святость и превращается въ нѣчто безнравственное и циническое? Почему общественное мнѣніе взвело на Жоржъ-Зандъ обвиненіе въ пропагандѣ анти-семейныхъ началъ, когда ея первые романы представляютъ не болѣе, какъ художественную идеализацію нѣкоторыхъ пунктовъ господствующей морали? Не показываетъ-ли это, что уже въ то время французская буржуазія начинала утрачивать сознаніе своихъ „высокихъ“ идеаловъ, начинала погружаться въ тотъ грубый, чувственный эмпиризмъ, который привелъ ее ко второй имперіи?

Очевидно, что при той системѣ женскаго воспитанія, которая господствуетъ во Франціи, съ одной стороны, и при господствующихъ, съ другой стороны, эмпирическихъ, торгово-промышленныхъ воззрѣніяхъ на бракъ, исторіи, подобныя той, которая приключилась съ Валентиною и Индіаною, должны встрѣчаться въ практической жизни сплошь и рядомъ. Но въ практической жизни онѣ кончаются обыкновенно весьма просто, безъ всякихъ драматическихъ эффектовъ: Валентины и Индіаны стараются только о томъ, чтобы соблюсти приличія и устранить всякія непріятныя столкновенія законнаго супруга съ супругомъ постороннимъ. Съ своей стороны и законный супругъ не ставитъ женѣ „каждое лыко въ строку“ и весьма благодушно глядитъ сквозь пальцы на женины „шалости“, лишь-бы только эти „шалости“ не получали непріятной огласки и лишь-бы его собственная свобода не стѣснялась и не ограничивалась „узами брака“. Разумѣется, при господствѣ подобныхъ отношеній „бракъ“ превращается въ пустую формальность и совершенно утрачиваетъ свой первоначальный смыслъ: онъ перестаетъ быть

140 и др.). Между тѣмъ развѣ не ту-же самую іезуитскую доктрину проповѣдуютъ ея Валентины и Индіаны? Развѣ устами этихъ героинь Жоржъ-Зандъ не говоритъ замужней женщинѣ того-же, что напечатываетъ ей патеръ: „ты должна принадлежать мужу тѣломъ, но на твою душу онъ никакихъ правъ не имѣетъ“?

стражемъ „чистоты нравовъ“, разрушаетъ въ корнѣ семью, уничтожая всякую реальную связь между дѣтьми и родителями и заиѣняя ее связью чисто-фигитивною, формально-юридическою.

Жоржъ-Зандъ, испытывая на себѣ всю банальную пошлость и всѣ неудобства „фигитивнаго брака“ *), всецѣло отдалась созерцанію брака идеальнаго, того брака, въ которомъ мужъ и жена становились-бы, по выраженію Апостола, „единою плотью и единымъ духомъ“. Въ дѣйствительномъ бракѣ все дѣло, въ большинствѣ случаевъ, ограничивалось лишь „единеніемъ плоти“, „единеніе-же духа“ считается въ немъ почти излишнею роскошью. Разумѣется, стоя на точкѣ зрѣнія даже чисто-буржуазной морали, она не могла признать такой односторонній бракъ за бракъ вполнѣ нравственный. Однако, даже узы этого не вполнѣ нравственнаго брака она признавала, въ чемъ мы убѣдились при разборѣ Индіаны и Валентины, на-столько священными и для женщины обязательными, что нарушать ихъ ея героини рѣшались лишь въ минуты своего, такъ-сказать, нравственнаго затѣвнія, да и это имъ не проходило даромъ...

Въ „Жакъ“, своемъ четвертомъ романѣ (написанъ послѣ „Лелиа“, въ 1834 г.), въ которомъ опять развивается та-же старая тема о неудовлетворительности брака, Октавія, жена Жака, влюбившись въ нѣкоего шалопаѣ де-Терсана, подобно Валентинѣ, накладываетъ на себя обѣтъ полового воздержанія и только тогда рѣшается измѣнить мужу, когда послѣдній самъ ее на это уполномочиваетъ, когда онъ разрѣшаетъ ее отъ всѣхъ обязательствъ и собственноручно передаетъ ее любовнику. Такимъ образомъ, всякія возможныя столкновенія между принципомъ свободы любви и принципомъ брачнаго обязательства, — столкновенія, разрѣшающіяся въ обыденной жизни почти всегда въ ущербъ послѣднему, — въ романахъ Жоржъ-Зандъ улаживаются обыкновенно такъ хорошо, что и „волки остаются сыты, и овцы цѣлы“. „Свобода любви“ ничѣмъ не стѣсняется, а въ то-же время и

*) Въ предисловіи къ „Мопра“, въ которомъ воспѣвается идея вѣчной и „чистой любви“, она говоритъ: „Когда я писала „Мопра“ (1846), я только-что начинала дѣло о разводѣ съ мужемъ. Бракъ, злоупотребленія котораго я до сихъ поръ постоянно выставляла такъ, что можно было подумать, будто я отрицаю его въ его основѣ, представился мнѣ тогда во всей красѣ своего нравственнаго придела“.

невинность сохраняется. Лучшаго исхода, съ точки зрѣнія „сохраненія семейныхъ основъ“, и выдумать даже трудно. Однако, и онъ даже казался Жоржъ-Зандъ недостаточно нравственнымъ... И вотъ въ своихъ послѣдующихъ романахъ она старается дать этимъ основамъ новую, болѣе твердую гарантію, — гарантію, заключающуюся въ вѣчной взаимной любви супруговъ. Любовь эта должна, по ея мнѣнію, связывать ихъ не только до, во время, но даже и послѣ брака, она должна объединять ихъ не только плотски, но и духовно. Мужъ (или жена), въ истинномъ значеніи этого слова, долженъ, подобно Моира, сохранять вѣрность своей женѣ (или мужу), давно уже умершей, и гордиться тѣмъ, что, доживъ до 80 лѣтъ, онъ не цѣловалъ, кромѣ нея, ни одной женщины. Подобный бракъ, разумѣется, не допускаетъ даже и мысли о разводѣ; онъ вѣченъ и неразрушимъ, потому что, говоря словами героини романа „Le peché de M. Antoine“, любовь есть „l'éternité d'une vie à deux“... (т. II, р. 68). Онъ не допускаетъ также и никакой розни во взглядахъ, убѣжденіяхъ и симпатіяхъ брачующихся. Идеальная жена, вступающая въ бракъ, говоритъ мужу: „отнынѣ твой богъ будетъ моимъ богомъ, твоя вѣра — моею вѣрою, твое отечество — моимъ“. Когда героиня одного изъ позднѣйшихъ романовъ Жоржъ-Зандъ, Mademoiselle La Quintinie, говоритъ своему возлюбленному: „Вы должны гарантировать мнѣ свободу моей совѣсти, — кажется, я немногаго требую отъ вашей справедливости?“ — онъ отвѣчаетъ ей на это слѣдующею тирадою:

„Чего вы отъ меня требуете? Развода прежде брака, т. е. того условнаго брака, который въ большомъ ходу въ свѣтѣ и который никѣмъ никогда не уважался и не уважается! Ахъ, Люси, если-бы вы были только моимъ другомъ или сестрою, я-бы, по всей вѣроятности, считалъ своею обязанностью уважать ваши вѣрованія, ваши заблужденія заставляли-бы меня еще болѣе васъ любить. Я-бы или скорбѣлъ о вашемъ непониманіи идеи Бога (замѣтимъ въ скобкахъ, что героиня была или, лучше сказать, считалась за искреннюю католичку, а герой — за вольнодумца), или-бы восхищался вашей способности любить Его, не имѣя о Немъ правильныхъ понятій. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ я-бы смотрѣлъ на васъ, какъ на милаго и наивнаго ребенка, у котораго не слѣдуетъ запугивать слабый умъ, приводить въ уныніе большое сердце. Но развѣ вы захотите стать ко мнѣ въ подобныя

отношенія? Развѣ вы допустите, чтобы я игралъ съ вами роль снисходительнаго папеньки или сдержаннаго брата? Ахъ, вы вырываете изъ груди моей сердце; вѣдь я тоже человѣкъ и не могу-же я потерпѣть, чтобы рядомъ со мною около васъ былъ еще кто-нибудь (намекъ на духовника). Нѣтъ, я не чувствую себя способнымъ принять предлагаемый вами разводъ, потому что я не могу любить васъ только на половину. Можно вступать въ бракъ подъ условіемъ раздѣла имущества, но не подъ условіемъ раздѣла душъ, иначе бракъ, передъ лицомъ Бога, не будетъ имѣть никакого значенія“ (Mlle La Quintinie, p. 138).

Такова ригористическая теорія жоржъ-зандовскаго брака. Мужъ и жена должны принадлежать другъ другу всецѣло и души ихъ должны навѣки слиться въ единую душу, живущую одною только любовью. Бракъ, такимъ образомъ понимаемый, говоритъ романистка устами того-же героя (ib., p. 34), есть „цѣль и идеаль всякой серьезной и чистой жизни—le but et l'idéal d'une vie sérieuse et pure“.

Прежде думали, что подобные идеалы и подобныя жизненныя цѣли должны быть обязательны только для одной половины человѣческаго рода, для однѣхъ только женщинъ. Устраненныя отъ всякаго участія въ общественной жизни, онѣ съ юности предназначались и приспособлялись къ почти исключительному управленію однѣхъ лишь супружескихъ и материнскихъ функцій. Понятно, что и всѣ ихъ интересы, всѣ ихъ цѣли и идеалы, волею-неволею, должны были приурочиваться къ идеалу вѣчной супружеской любви, къ цѣли семейнаго благополучія. Жоржъ-Зандъ, возводя этотъ идеаль, эту цѣль въ высшій идеаль, въ конечную цѣль человѣческой жизни вообще, какъ мужской, такъ и женской, признаетъ тѣмъ самымъ равенство половъ въ отношеніи ихъ жизненныхъ цѣлей и идеаловъ. Но это равенство не идетъ далѣе области „любви“; въ любви, въ этомъ мистическомъ отождествленіи двухъ тѣлъ и двухъ душъ въ едино тѣло и духъ, всякія половныя различія для нея исчезаютъ; тутъ какъ мужчинѣ, такъ и женщинѣ предоставляются равныя права, на нихъ налагаются одинаковыя обязанности. Въ-же этой области никакого равенства между ними быть не можетъ и не должно. „Мужчина и женщина, говоритъ Жоржъ-Зандъ въ одномъ мѣстѣ своей „Histoire de ma vie“,—два различныя существа; я не сомнѣваюсь, что и умъ, и

сердце имѣютъ полъ. Равенство въ этомъ смыслѣ всегда будетъ составлять исключеніе; предполагая даже, что въ нашемъ воспитаніи произойдутъ необходимыя улучшенія (я не хотѣла-бы, однако, чтобы оно походило на воспитаніе мужчинъ), женщина всегда останется въ жизни болѣе поэтомъ, артистомъ...“ (t. VIII, p. 233). Поэтому изъ всѣхъ областей человѣческой дѣятельности только область поэзіи и искусства считается, по мнѣнію Жоржъ-Зандъ, наиболѣе пригодною для проявленія женской самостоятельности, наиболѣе соответствующею женскому уму и сердцу. Каждый разъ, когда она хочетъ выставить въ своемъ романѣ самостоятельную женщину, она непременно надѣляется ея какимъ-нибудь художественнымъ талантомъ; внѣ художественныхъ талантовъ, внѣ сферъ искусства она не видитъ или не хочетъ видѣть никакихъ ресурсовъ, никакихъ данныхъ для самостоятельной общественной дѣятельности женщины.

Ограничивая кругъ женской дѣятельности „свободными искусствами“, съ одной стороны, и исполненіемъ супружескихъ и материнскихъ обязанностей — съ другой, она, какъ мы уже сазали, самую идею равенства половъ понимаетъ лишь въ смыслѣ равенства въ любви. Это равенство, состоящее, главнымъ образомъ, въ томъ, что всѣ тѣ требованія по части любви, которыя до сихъ поръ считались обязательными для одной лишь женщины, распространяются въ одинаковой мѣрѣ и на мужчину, — это равенство неизбежно, логически вытекаетъ изъ идеи Жоржъ-Зандъ о бракѣ, какъ о вѣчномъ, нерасторжимомъ, всецѣломъ объединеніи двухъ тѣлъ и двухъ душъ. А идея эта, какъ извѣстно, очень стара и изобрѣтена не самою романисткою; она старалась только реставрировать и опоэтизировать ее, но современная ей буржуазная семья уже до такой степени уклонилась отъ своего идеала, что самое воспоминаніе о немъ представлялось ей чѣмъ-то безнравственнымъ и для общественнаго спокойствія весьма опаснымъ.

Поэтизируя идею нерасторжимаго брака, возводя чувство супружеской любви къ ея высшему идеалу, постоянно указывая на это чувство, какъ на одну изъ самыхъ благороднѣйшихъ и конечныхъ цѣлей человѣческаго существованія, Жоржъ-Зандъ, вѣрная основнымъ принципамъ семейной морали буржуа, не даетъ ему, однако, слишкомъ исключительнаго, господствующаго значенія въ сферѣ другихъ чувствъ и добродѣтелей, поддерживаю-

щихъ и охраняющихъ цѣлостность и неприкосновенность семейныхъ отношеній. Она понимаетъ, что семья держится не одною взаимною любовью супруговъ, что для ея благополучія не менѣе необходимы любовь и подчиненіе дѣтей родителямъ. Всѣ ея героини и отчасти даже герои обладаютъ этою любовью и этою способностью къ подчиненію въ высочайшей степени. Каждый разъ, когда въ романахъ Жоржъ-Зандъ чувство половой любви сталкивается съ чувствомъ любви родительской, добродѣтельныя дѣти считаютъ своею священною обязанностью приносить первое въ жертву послѣднему; Жильберта (Peché de M. Antoine), Фадетта (Petite Fadette), возлюбленная Андре, Консуэла и т. д., — всѣ онѣ въ одинъ голосъ говорятъ: „нѣтъ, лучше отказаться отъ нашей любви, лучше на-вѣки разстаться съ нашими возлюбленными, чѣмъ идти противъ родительской воли! Отцы нашихъ „милыхъ“ не хотятъ, чтобы мы соединились съ ними, они не хотятъ благословить нашего союза, — значить, союзъ невозможенъ! Безъ отцовскаго благословенія супружеское счастье невысказано!“ Разумѣется, ихъ добродѣтель получаетъ награду: въ концѣ концовъ, отцы даютъ свое благословеніе и дѣло завершается свадебнымъ пиромъ. Но урокъ остается и его назидательность еще болѣе выигрываетъ отъ счастливой развязки. Читатель убѣждается, что подчиненіе родительской власти столь-же важно и необходимо для семейнаго благополучія, какъ и на-вѣки ненарушимая супружеская любовь.

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ нравственные идеалы, та „высшая“ мораль, которые составляютъ главное и наиболѣе существенное содержаніе тенденцій жоржъ-зандовскихъ романовъ. Однакожь, нельзя сказать, чтобы одними ими оно вполнѣ исчерпывалось. Хотя вопросъ семейнаго благополучія стоитъ у Жоржъ-Зандъ всегда на первомъ планѣ, но все-таки она, рефлекторъ своей среды, не могла оставить безъ вниманія и вопроса объ общественномъ благополучіи, — вопроса, надъ которымъ, какъ мы сказали выше, тогдашняя буржуазія такъ любила помечтать и пофрантазировать.

Х.

Въ началѣ своего литературнаго поприща Жоржъ-Зандъ, по ея собственнымъ словамъ, въ общественныхъ вопросахъ ровно ничего

не смыслила и нисколько ими даже не интересовалась. Всецѣло занятая созерцаніемъ своихъ религіозныхъ увлеченій *) и анализомъ своихъ болѣзненныхъ представленій о любви, она или совершенно не замѣчала окружающей ее общественной жизни, или если и обращала на нее вниманіе, то исключительно на тѣ ея стороны, которыя имѣли непосредственныя отношенія къ осуществленію ея идеаловъ супружеской любви. Правда, въ „Леліи“ встрѣчаются пламенные филипики противъ существующаго общества, противъ цивилизаціи, противъ всей исторіи, но онѣ написаны отчасти подѣ влияніемъ погановскихъ зачитываній Байрономъ, гетевскимъ Фаустомъ и Вертеромъ, отчасти подѣ влияніемъ людей, съ которыми она сошлась нѣсколько позже появленія перваго изданія 1-й части Леліи. Извѣстно, что вторая часть была написана и первая значительно дополнена уже тогда, когда она познакомилась съ Мишелемъ изъ Буржа (о которомъ будетъ сказано ниже). Вообще-же основной характеръ этихъ филипикъ носить на себѣ несомнѣнные слѣды ея дѣвической меланхоліи, — меланхоліи, отъ которой она такъ много страдала, живя съ больною бабушкой, и которая, по ея собственнымъ словамъ, выражалась, между прочимъ, и въ томъ, что она, ничего незнавшая, ничего неиспытывавшая, ничего невидавшая, ничего даже порядкомъ нечитавшая семнадцатилѣтняя барышня, только-что сошедшая съ монастырской скамьи, добровольно изолировала себя отъ современнаго человѣчества. „Его законы, его учрежденія, его предразсудки и обычаи, его слишкомъ матеріальныя тенденціи возмущали меня до глубины души и въ сердцѣ моемъ поднимался протестъ противъ вѣковой ра-

*) Онѣ играютъ вообще не послѣднюю роль во всѣхъ ея романахъ, даже послѣднѣйшаго времени, но въ этотъ періодъ ея жизни онѣ выступаютъ съ особенною рельефностью. Въ „Леліи“, напр., ихъ развитію удѣляется большая половина, а въ «Спиридонѣ» кромѣ ихъ и нѣтъ ничего. О религіозномъ міросозерцаніи Жоржъ-Зандъ мы говорить, однако, не станемъ. Во-первыхъ, потому, что оно уже достаточно опредѣлилось въ „Исторіи ея жизни“, а во-вторыхъ, потому, что оно и не представляетъ особеннаго интереса. Ея религіозныя воззрѣнія, на-сколько они высказывались въ ея романахъ, едва-ли могли имѣть хоть какое-нибудь влияніе на ея читателей. Они отличались крайнею туманностью и неопредѣленностью и представляли весьма неудачную попытку согласить требованія «чистаго католицизма» съ правами „свободнаго“ разума. Въ началѣ своей белетристической карьеры Жоржъ-Зандъ находилась подѣ сильнымъ давленіемъ религіозныхъ доктринъ Пьера Леру и Ламеннэ, впоследствии традиціонный католицизмъ взяла, какъ кажется, верхъ надѣ „фантастическими увлеченіями“ юности.

боты исторіи. Обь идеѣ прогреса я не имѣла тогда никакого понятія“ (Hist. de ma vie, t. VII, p. 227). Вотъ этотъ-то протестъ „противъ вѣковой работы исторіи“ она и влагаетъ въ уста своей героини Леліи. Понятно, что его глубина и основательность вполнѣ соотвѣтствовали тогдашнему, еще ребяческому уровню развитія г-жи Дюпень. Лелія отрицаетъ прогрессъ, отрицаетъ цивилизацію, потому что ей кажется, будто челоѣчество, по мѣрѣ своего развитія, умственно и нравственно развращается. „Убѣжденія теряютъ, говоритъ она,—свою прежнюю силу и исчезаютъ безслѣдно (?); общество не думаетъ больше о своемъ возрожденіи; распутная жизнь растлѣваетъ челоѣческія способности; нѣкогда священные предметы теперь оспариваются невѣжественными профанами, становятся игрушкою дѣтей!.. Пророки вопіютъ въ пустынѣ: индиферентизмъ сталъ господствующимъ настроеніемъ, и люди затыкаютъ уши и закрываютъ глаза, чтобъ только умереть въ спокойствіи!.. Самое солнце удаляется отъ насъ (?) и земля, утомленная своимъ безустаннымъ движеніемъ, не приближается ли къ тмѣ хаоса?.. Быть можетъ, еще народы Востока, смѣлые варвары, продолжать на нѣсколько часовъ дикую оргію роскоши, но ядъ, оставленный нами въ наслѣдство, произведетъ и на нихъ свое смертоносное дѣйствіе... и все погрузится въ вѣчный мракъ“.. и т. д., и т. д., (см. Lelia, t. I, стр. 120, 130, 131).

По этому небольшому образчику читатель можетъ составить себѣ нѣкоторое понятіе обь истинномъ смыслѣ (или, лучше сказать, безсмыслі) этого „протеста“. Замѣчательно, что смѣлая протестантка, по собственнымъ ея словамъ, сочиняя всю эту „фразеологию“, ничего не смыслила въ исторіи, „политикою нисколько не интересовалась“ и съ общественными науками была совершенно незнакома. „Я жила въ это время (приблизительно до 1835 г.), говоритъ Жоржъ-Зандъ,—исключительно въ себѣ, собою и для себя“.

Незадолго до процесса о ліонскихъ беспорядкахъ она, по своимъ личнымъ дѣламъ (касавшимся ея отношеній къ мужу), очень близко сошлась съ знаменитымъ буржскимъ адвокатомъ Мишелемъ, который долженъ былъ играть въ процессѣ выдающуюся роль.

Мишель еще не былъ тогда обще-французскою знаменитостью, еще не претендовалъ на мѣсто депутата и не видѣлъ надобности входить въ сдѣлки и компромисы съ господствующею правительственною партією. Въ немъ нельзя еще было провидѣть будущаго

ренегата. Онъ стоялъ въ рядахъ самой крайней оппозиціи. При самыхъ крайнихъ воззрѣніяхъ, онъ обладалъ даромъ краснорѣчія, отличался необыкновенною экспансивностью, увлекающею страстностью, и по натурѣ своей былъ страшнымъ деспотомъ, несносящимъ никакихъ противорѣчій, желавшимъ все и всѣхъ подчинить игу своихъ исключительныхъ идеаловъ.

Встрѣча и сближеніе съ подобнымъ человѣкомъ не могли не расшевелить умственной апатіи г-жи Дюдеванъ, не могли не вызвать ее изъ того эгоистическаго индифферентизма, съ которымъ она относилась до сихъ поръ къ общественнымъ дѣламъ. Мишель почувствовалъ къ ней сильную симпатію, и благодаря этому обстоятельству, онъ, и безъ того черезчуръ экспансивный и нетерпимый, сталъ еще экспансивнѣе и нетерпимѣе; онъ захотѣлъ пердѣлать по-своему, перелить въ нее свои убѣжденія, свои идеалы, превратить ее въ свое послушное эхо. Съ этою цѣлью онъ, съ свойственною ему страстностью, принялся „развивать“ ее. Отъ его пламеннаго прозелитизма она никуда не могла укрыться; изо дня въ день онъ наставлялъ ее на путь истины, то обливая ее горячими водами своего адвокатскаго краснорѣчія, то осаждая восторженными письмами *). Съ особенною силою онъ нападалъ на ея эгоизмъ и отчужденіе отъ общественныхъ дѣлъ, заклиналъ ее не ограничивать своей внутренней жизни однѣми лишь личными привязанностями. „Любовь, писалъ онъ ей (и такова была всегдашняя тема его писемъ), — страсть эгоистическая. Распространи-же твою горячую и преданную любовь, которая въ этомъ мірѣ не можетъ получить достойной ея награды, — распространи ее на все человѣчество, страдающее и угнетенное. Не привязывайся слишкомъ сильно къ тому или другому человѣку, — ни одинъ изъ нихъ не заслуживаетъ такой привязанности, но всѣ вмѣстѣ они

*) «Его письма, говорятъ сама Жоржъ-Зандъ, — летѣли ко мнѣ одно за другимъ, не ожидая отвѣта». — «Ихъ съ перваго взгляда неразборчивый, небрежный почеркъ ясно показывалъ, что ихъ авторъ сгораетъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ поскорѣ высказаться. Они были очень длинны, а писалъ онъ на-столько-же сжато, на-сколько говорилъ многорѣчиво, потому въ нихъ часто попадались лишь набросанныя, но недостаточно развитыя мысли, и обдумывать ихъ приходилось цѣлые дни» (ib., p. 33). Она не оставила ихъ безъ отвѣта. Она посвятила ему цѣлый рядъ писемъ въ своихъ *Lettres d'un voyageur*, гдѣ Мишель фигурируетъ подъ псевдонимомъ Эверарда.

имѣютъ на нее право, они ея требуютъ во имя Творца всего сотвореннаго!“ (Hist. de ma vie, t. X, p. 34).

Пламенный адвокатъ воображалъ, что онъ можетъ сдѣлать изъ увлекающейся, поверхностной, себялюбивой и холодной резонерки страстнаго, преданнаго, серьезнаго борца за дѣло. Разумѣется, онъ жестоко ошибся въ своихъ расчетахъ. Г-жа Дюдеванъ упивалась музыкальностью его голоса, восхищалась красотой его фразъ, ея самолюбію было очень пріятно, что ея такъ много занимается человѣкъ, обратившій на себя всеобщее вниманіе своимъ поведеніемъ въ знаменитомъ процесѣ, гдѣ онъ со скамьи адвокатовъ попалъ на скамью подсудимыхъ, но его смѣлыя теоріи, его увлекательныя проповѣди плѣняли не столько своимъ внутреннимъ содержаніемъ, сколько изяществомъ своей формы. Однажды она сама откровенно призналась ему, что она „слышитъ его какъ будто во снѣ, — во снѣ, о небесной чистотѣ и величіи котораго она навсегда сохранить самыя пріятныя воспоминанія. Но, продолжала она свое признаніе, — вѣдь нельзя-же вѣчно мечтать. Дѣйствительная жизнь требуетъ чего-нибудь положительнаго, въ противномъ случаѣ, какъ-бы мы хорошо ни пѣли, мы ни на единый шагъ не приблизимся къ осуществленію на землѣ божьяго царства — счастья человѣчества. Что касается меня, то я вижу это счастье не столько въ дѣятельности, сколько въ мудрости. Сама я ничего не хочу, ничего не требую отъ жизни, кромѣ одного только — вѣры въ Бога и любви къ ближнему“... (ib., t. X, p. 52). Мишель, говоритъ она въ другомъ мѣстѣ, — жестоко ошибался, думая, что я, слушая его безъ всякихъ возраженій, восхищаясь его краснорѣчіемъ, могла отказаться отъ своихъ идей, отъ своихъ инстинктовъ, отъ свойства моей природы (ib., p. 51).

Да, онъ ошибался; онъ не добился и не могъ добиться того, чего хотѣлъ. Но, тѣмъ не менѣе, онъ имѣлъ на нее весьма хорошее вліяніе. Онъ втянулъ ее въ общественные интересы, онъ заставилъ ее задуматься надъ вопросами, къ которымъ до него она относилась весьма индифферентно.

Его рѣшенія ея не удовлетворяли, они были въ высочайшей степени антипатичны всей ея мечтательной натурѣ. Однако, самая ихъ рѣзкость и категоричность возбуждала и разшевеливала ея мысль. Притомъ-же и самолюбіе ея было сильно задѣто: она была о себѣ слишкомъ высокаго мнѣнія для того, чтобы помириться съ

мыслью, что чужой умъ можетъ господствовать надъ ея умомъ, что она должна только слушать и... молчать. И чѣмъ больше приходилось ей молчать, тѣмъ съ большею настойчивостью старалась она убѣдить сама себя въ несостоятельности теорій своего навязчиваго и черезчуръ краснорѣчиваго учителя: Ея интимный кружокъ (преимущественно баррихонцы) и въ особенности ея простоватый *ami de la maison*, Плане, находились, какъ кажется, въ подобномъ-же положеніи,—отчасти благодаря вліянію Мишеля, отчасти вліянію общаго возбужденія. И вотъ въ этомъ кружкѣ начались нескончаемые толки о такъ-называемыхъ *questions sociales*. При каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ кто-нибудь (чаще всего опять-таки Плане) непремѣнно предлагалъ „poser la question sociale“. Отъ частаго употребленія эта фраза стала до того избыточно и стереотипною, что ею пачали обозначать, наконецъ, рѣшительно все, что придется въ голову. „Вмѣсто того, чтобы сказать: „пойдемъ обѣдать“, рассказываетъ Жоржъ-Зандъ, — мы говоримъ: „пойдемъ poser la question sociale; когда какой-нибудь болтунъ начиналъ намъ надоѣдать, мы предлагали для обращенія его въ бѣгство—poser la question sociale“ и т. д. (ib., p. 38).

Однако, сколько они ни „позировали“ этотъ злосчастный вопросъ, а толку все-таки никакого не выходило. Онъ, очевидно, былъ не подъ силу ихъ умамъ, особенно уму самой Жоржъ-Зандъ, совершенно непривыкшему къ серьезной, послѣдовательной логической работѣ. Отчаявшись дойти до чего-нибудь положительнаго собственнымъ разумомъ, они стали гоняться за людьми, которые, какъ имъ казалось, владѣли секретомъ мучившей ихъ загадки. Обратились къ Ламеннѣ, но увы, онъ не удовлетворилъ ихъ ожиданія и напустилъ только новаго сумбура въ ихъ и безъ того достаточно сумбурные головы.

Ламеннѣ, Леру, Рейно, Мишель изъ Буржа съ одной стороны, С.-Бевъ, Жюль Фавръ и Эмиль Жирарденъ (передъ „геніемъ“ котораго, замѣтимъ въ скобкахъ, Жоржъ-Зандъ преклонялась) съ другой,—какое разнообразіе воззрѣній, идеаловъ, какая цѣстрая и разнохарактерная колекція „готовыхъ“ рѣшеній социальнаго вопроса! Чтобы создать изъ этой разнородной смѣси нѣчто определенное, устойчивое и однородное, чтобы выбраться на божій свѣтъ, на прямую дорогу изъ этого лабиринта всевозможныхъ и нерѣдко противорѣчивыхъ мнѣній, нужно было, по-истинѣ, обла-

дать гениальною головою, мало того — гениальною логикою и послѣдовательностію. Жоржъ-Зандъ, разумѣется, не могла претендовать, да, если вѣрить ей словамъ, и не претендовала ни на что подобное. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что ея социальное міровоззрѣніе, слагавшееся подъ такими разнохарактерными вліяніями, представляло и до сихъ поръ представляетъ (несмотря на весь послѣдующій опытъ ея жизни) нѣчто до крайности неуловимое, неясное, хаотическое. Но несмотря на эту неясность и хаотичность, въ немъ не трудно уловить нѣсколько существенныхъ чертъ, весьма рельефно опредѣляющихъ общій характеръ буржуазныхъ мечтаний насчетъ „прекраснаго будущаго“.

Прежде всего, подъ вліяніемъ елеянаго риторства Ламенна, провиденціальной философіи Пьера Леру, Жоржъ-Зандъ отреклась отъ своего юношескаго пессимизма и увѣровала въ прогрессъ *).

Это міросозерцаніе впоследствии окрасилось въ розовый цвѣтъ оптимизма, — оптимизма спокойнаго и самодовольнаго, оптимизма, который очень легко мирился съ окружающею дѣйствительностію, твердо вѣруя, что человѣчество неизбѣжно ждетъ лучшее будущее. Въ чемъ именно должно состоять это лучшее будущее — на этотъ счетъ Жоржъ-Зандъ нигдѣ опредѣленно не выражалась; ее вполне удовлетворяли такія общія, безсодержательныя слова, какъ „братство“, „всеобщая любовь“, „участіе каждаго въ счастіи всѣхъ“ и т. п. Вообще говоря, это „лучшее будущее“ представлялось ей въ видѣ нѣкоего земнаго эдема, населеннаго невинными и безгрѣшными Адами и столь-же невинными и безгрѣшными Евами. Главныя препятствія къ водворенію новаго эдема **) эта оптимистическая фи-

*) Какъ устами Леліи она торжественно предавала его анафемѣ, такъ устами героя одного изъ позднѣйшихъ своихъ романовъ она съ неменьшею торжественностію заявляетъ, что „отрицаніе прогресса есть принципъ смерти“. „Въ основѣ всѣхъ вещей мы открываемъ Бога, т. е. законъ законовъ, первоначальный законъ, высшую логику, силу, никогда не истощающуюся, вѣчное прогрессивное обновленіе всего сущаго, — слѣдовательно, вѣчную мудрость и безконечную красоту...“ (Made-moiselle La Quintinie, p. 65).

**) Замѣтимъ здѣсь кстати, что Жоржъ-Зандъ высказывала иногда мысль (и даже посвятила ея развитію цѣлый фантастическій рассказъ), что будто люди разъ уже имѣли случай вкусить блаженство этого эдема, что будто исторія человѣчества началась съ такъ-называемаго „золотого вѣка“, преданія о которомъ сохранились у народовъ Востока и до сихъ поръ. Но о подобныя бредни говорить не стоить.

лософія видитъ въ „незрѣлости“ человѣческаго ума и въ „испорченности сердца“. Когда оба эти препятствія будутъ устранены, тогда царство любви наступитъ само собою, а что рано или поздно, но они устранятся, поруюю въ этомъ служить способность людей къ самоусовершенствованію.

Эту весьма утѣшительную, хотя и не отличающуюся особенною ясностью доктрину Жоржъ-Зандъ высказываетъ мелькомъ во многихъ изъ своихъ романовъ, но съ наибольшею обстоятельностью она развиваетъ ее въ двухъ своихъ произведеніяхъ: *Le peché de M. Antoine* и *„Monsieur Sylvestre“*.

XI.

Въ *„Peché de M. Antoine“*, романѣ, написанномъ еще въ 40-хъ годахъ, истолкователемъ и, такъ-сказать, воплотителемъ общественныхъ воззрѣній Жоржъ-Зандъ является нѣкій Буагильбо.

Буагильбо—чистокровный дворянинъ, наслѣдовавшій отъ своихъ предковъ громадное состояніе, но совершенно чуждый ихъ дворянскихъ предрасудковъ и феодальныхъ идеаловъ. Запершись въ своемъ наслѣдственномъ замкѣ, онъ окружилъ себя книгами, онъ принялся изучать общественныя науки, исторію, просвѣтительную философію XVIII в., и пришелъ къ тому убѣжденію, что нужно перестроить весь современный дѣйствительный міръ. Въ чемъ именно и какъ именно его новыя идеи должны воплотиться въ жизни, какія формы общежитія имъ наиболѣе соотвѣтствуютъ—объ этомъ онъ не говоритъ ни слова, да, вѣроятно, подобный вопросъ, какъ вопросъ слишкомъ практической, и не занималъ его. Онъ идеалистъ и отчаяннѣйшій оптимистъ. Какъ подобаетъ идеалисту-оптимисту, онъ весьма спокойно мирится съ окружающею его дѣйствительностью и безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти пользуется унаслѣдованными благами, хотя подобное пользованіе находится въ полнѣйшемъ противорѣчій съ его доктринами. Ему вается, что онъ сдѣлалъ все, что могъ и что долженъ былъ сдѣлать, понизивъ немножко арендную плату фермеровъ; сбавивъ имъ какой-нибудь грошъ съ рубля, онъ считалъ всѣ свои обязанности къ нимъ повонченными и гордо повернулъ къ нимъ спину. „Эти люди (т. е. фермеры), разсуждаетъ

онъ, — считаютъ меня своимъ благодѣтелемъ, но я ихъ совѣмъ не люблю, я вижу въ нихъ лишь жертвы, — жертвы, спасти которыхъ я не могу, но и палачемъ которыхъ я быть не желаю. Я очень хорошо знаю, что при разумномъ законодательствѣ собственность эта приносила-бы доходу въ сто разъ больше; мысль эта утѣшаетъ меня; я твердо убѣжденъ, что когда-нибудь она и дѣйствительно сдѣлается орудіемъ свободнаго труда умныхъ и работающихъ людей, но для того, чтобы эта увѣренность не могла во мнѣ поколебаться (т.-е. чтобы его внутреннее самодовольство и спокойствіе не могли быть нарушены!), я рѣшился не смотрѣть и не освѣдомляться о томъ, въ какомъ положеніи находятся мои фермы въ настоящее время; ихъ видъ наводитъ на меня тоску...“ (т. 2, р. 45). И онъ не заглядываетъ на нихъ по два года.

Идеалистъ затыкаетъ носъ и уши, закрываетъ глаза, и, собирая спокойно дань съ своихъ вассаловъ, утѣшаетъ себя мыслью, что въ „будущемъ“ все устроится къ лучшему и что поэтому на „настоящее“ можно махнуть рукою. Рано или поздно оно должно измениться, къ чему-же и заниматься имъ? Къ чему-же добровольно раздражать свои нервы созерцаніемъ мрачныхъ картинъ? Такъ разсуждаетъ Буагильбо, и закапывается въ свои книжки, мечтая о томъ неизрѣченномъ счастьи, которое ожидаетъ человѣчество въ будущемъ. Не правда-ли, превосходная теорія, неналагающая на человѣка никакихъ обязанностей, никакихъ стѣсненій, ничѣмъ не ограничивающая его эгоистическихъ похотей, — теорія, не только благосклонно разрѣшающая, но даже предписывающая „ничего не дѣлать“ для осуществленія своихъ идеаловъ.

„Что-бы вы сдѣлали, спросилъ однажды Буагильбо юнаго героя романа (Эмиля), любившаго иногда тоже помечтать на тему о человѣческомъ счастьи... въ будущемъ, — что-бы вы сдѣлали, если-бы всѣ эти богатства (т. е. богатства Буагильбо) принадлежали вамъ?“ — „Я-бы попытался осуществить наши идеалы!“ воскликнулъ Эмиль. — „О, безъ сомнѣнія, я-бы и самъ попытался, возразилъ маркизь, — создать истинное братство между людьми, если-бы я могъ. Но мои попытки ни къ чему-бы не привели, онѣ кончились-бы неудачами. И ваши, по всей вѣроятности, кончатся такъ-же“. Юный и весьма простоватый Эмиль согласенъ съ этимъ, но онъ полагаетъ, что попытаться все-таки слѣдуетъ. „Что-же за важность, если будетъ неудача!“ воскликнулъ онъ. — „Вотъ великодушный, но бессмыслен-

ный крикъ юности, возражаетъ ему убѣленный сѣдинами философъ;—что за важность, что будетъ неудача, лишь-бы дѣйствовать, не такъ-ли? Уступая жаждѣ дѣятельности, забываютъ о препятствіяхъ. А ихъ такъ много, и знаете-ли, которое изъ нихъ труднѣе всего устранить? Это—полнѣйшее отсутствіе людей. Умы недостаточно зрѣлы; сердца не расположены къ воспріятію истины...“ (ib., p. 46). Но все идетъ къ тому, чтобы развить чело-вѣческой умъ и усовершенствовать его сердце. Исторія, по мнѣнію этого оптимиста, направляемая высшею мудростью Провидѣнія, ведетъ чело-вѣчество постепенно, шагъ-за-шагомъ, къ осуществленію его, оптимиста, идеаловъ. „Въ этомъ, рассказываетъ Жоржъ-Зандъ,—онъ никогда не сомнѣвался и не могъ сомнѣваться. Чтобы знать, говаривалъ онъ, — мнѣ не зачѣмъ видѣть; бѣдствія міра сего такъ-же мало могутъ потрясти нравственный порядокъ, какъ тучи на солнцѣ — измѣнить порядокъ физическій“ (ib., p. 40). „Логика, философствуетъ онъ далѣе,—господствуетъ повсюду. Она безконечна въ божескомъ твореніи; но въ каждой вещи, взятой отдѣльно, она проявляется не полною, ее трудно уловить, потому-что каждая вещь конечна...“ (ib., p. 44).

Сильвестръ *)—это второе изданіе Буагильбо. Разница въ томъ только, что онъ не такъ богатъ, какъ послѣдній, что онъ живетъ не въ роскошномъ замкѣ, а въ бѣдной хижинѣ. Въ юности, впрочемъ, и онъ жилъ въ замкѣ, и жилъ въ свое удовольствіе или, по крайней мѣрѣ, въ удовольствіе своего семейства. Но затѣмъ разныя семейныя непріятности съ одной стороны, любовь къ своей внучкѣ съ другой—заставили его отказаться и отъ того многого, что ему осталось послѣ мотовства жены и дочери, и начать жить собственнымъ трудомъ. Проучительствовавъ нѣсколько лѣтъ, онъ скопилъ себѣ небольшой капиталецъ, дававшій около 300 фр. ежегодной ренты, и „почилъ на лаврахъ“. Разумѣется, на 300 ф. въ годъ можно существовать, но существовать самымъ нищенскимъ образомъ. Сильвестръ удалился въ захолустную деревеньку, въ окрестностяхъ Парижа, нанялъ тамъ себѣ хижину и зажилъ въ ней анахоретомъ. Съ людьми онъ порвалъ всякія почти сношенія, никого къ себѣ не принималъ, самъ ни къ кому не хо-

*) „M. Sylvestre“ написалъ уже послѣ декабрьскаго переворота, въ 60-хъ годахъ.

диль; старался удовлетворять всё въ своимъ немногосложнымъ потребностямъ, не прибѣгая ни къ чьей помощи; самъ добывалъ себѣ пищу, самъ ее готовялъ, самъ чинилъ свое платье, ремонтировалъ хижину и т. п. Однимъ словомъ, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ „столицы свѣта“ онъ устроилъ себѣ „необитаемый островокъ“ и жилъ на немъ подобно Робинсону Крузо. Разъ въ мѣсяцъ онъ регулярно ѣздилъ въ Парижъ читать газеты или, какъ онъ выражался, „щупать пульсъ современной жизни“. Это ежемѣсячное „щупаніе“ вполне его удовлетворяло и въ немъ одномъ только и выражалась его связь съ тѣмъ „обществомъ“, на счетъ котораго онъ жилъ, которое его выростило, обезпечило, дало ему богатство, безумно имъ растраченное,—общество, передъ которымъ онъ долженъ былъ себя чувствовать неоплатнымъ должникомъ. Однако, онъ, несмотря на свои весьма просвѣщенные взгляды насчетъ общечеловѣческой солидарности, полагалъ, что, отказавшись отъ „мира“ и всѣхъ дѣлъ его и мечтая въ тиши своей хижины о чело-вѣческомъ счастьи; онъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ исполняетъ свои обязанности относительно общества.

Вы видите здѣсь тотъ-же эгоизмъ, то-же наслажденіе личной жизнью, что и у Буагильбо, и рядомъ съ этимъ эгоизмомъ, съ этимъ пассивнымъ примиреніемъ съ существующимъ — презрѣніе къ господствующей апатіи и скептицизму. „Я убѣжденъ, утверждаетъ анахоретъ,—что всё наши общественныя бѣдствія имѣютъ своимъ источникомъ скептицизмъ и апатію“ (Monsieur Sylvestre, p. 85). И на этомъ убѣжденіи онъ успокоивается. Онъ вѣритъ, подобно Буагильбо, что чело-вѣчество постоянно совершенствуется и что, рано или поздно, оно должно, фатальнымъ образомъ, придти къ практическому осуществленію его идеаловъ. Нужно только умѣть ждать, и онъ хвалится, что обладаетъ этимъ умѣньемъ. „Я изучаю, говоритъ онъ,—науку ожиданія, я говорю себѣ: лучшіе люди, счастливые люди, они уже существовали въ зародышѣ среди тѣхъ людей, о которыхъ Руссо говорилъ: „О, мы, несчастные, люди!“ (ib., p. 253).

Однако, чего-же ждать? Осуществленіемъ какихъ именно идеаловъ онъ мечтаетъ осчастливить чело-вѣчество?

Объ этихъ идеалахъ онъ распространяется немножко больше, чѣмъ Буагильбо, но это нѣсколько не дѣлаетъ ихъ ни яснѣе, ни определеннѣе. Прежде всего онъ заявляетъ, что у него не имѣется

въ головѣ никакой готовой системы; онъ думаетъ даже, что никакая готовая система и не годится въ данное время, что все должно рѣшить будущее (р. 85). Прекрасно; чего-же, однако, онъ хочетъ? „Мы хотимъ, говорить онъ, — чтобы каждый человѣкъ искалъ своего счастья въ себѣ, въ своихъ инстинктахъ и способностяхъ; но мы хотимъ также, чтобы онъ зналъ, что въ одномъ себѣ онъ найдетъ лишь половину того, что ищетъ, что эгоизмъ дастъ ему лишь чувство „полуудовлетворенности“ — чувство, которое не можетъ быть ни прочно, ни продолжительно. Мы хотимъ, чтобы каждый индивидуумъ, достигнувъ счастья и сдѣлавшись, благодаря мудрости, поэзіи, чистотѣ нравовъ, благодаря развитію въ себѣ чувства добра и красоты, вполне достойнымъ его, чтобы онъ проникся мыслию, что его счастье нераздѣльно съ счастьемъ его ближнихъ, и что потому онъ обязанъ желать доставить имъ возможность пользоваться всѣми тѣми благами, безъ которыхъ оно невысказуемо. Блага-же эти состоятъ въ образованіи, въ извѣстномъ досугѣ, въ отсутствіи чрезмѣрной нужды, изнурительныхъ работъ и болѣзней, порождаемыхъ нищетою, въ свободѣ, безопасности. До тѣхъ поръ, покуда всѣ люди не будутъ имѣть возможности пользоваться всѣми этими средствами, ведущими къ счастью, — до тѣхъ поръ никакая мудрость, никакая добродѣтель, никакая умъ, никакая сила воли не дадутъ его даже и немногимъ избраннымъ“... (ib., pp. 229—230).

Что можетъ быть общіе, неопредѣленіе этого идеала? Какія теоріи, какія системы нельзя подъ него подвести? Подъ нимъ охотно подпишутся всѣ „друзья“ Жоржъ-Зандъ, начиная отъ Мишеля изъ Буржа и „эгалитеровъ“ съ одной стороны, П. Леру, Ламенне, Рейно съ другой. Даже авторъ книги „Объ искорененіи пауперизма“, даже Эмиль Жирарденъ и С.-Бевъ не сдѣлаютъ противъ него никакихъ существенныхъ возраженій. Въ немъ, конечно, отражаются общіе принципы возрѣвннй „передовыхъ“ современниковъ романистики, но отражаются въ такой блѣдной, неясной формѣ, что эти принципы рѣшительно теряютъ всякій практической смыслъ, всякое реальное, жизненное значеніе, и превращаются въ какой-то туманный абстрактъ, въ поэтическую фразу. Разумѣется, въ этомъ обезцвѣченномъ видѣ они приходились какъ-разъ по вкусу той салонной публикѣ, которая восторгалась поэтическими красотами жоржъ-зандовскихъ романовъ. Это именно было такое блюдо, ко-

торое, послѣ поэтическихъ описаній красота природы и апофеоза различныхъ семейныхъ добродѣтелей, всего болѣе соотвѣтствовало умственному настроенію благодушествовавшей публики.

Повидимому, въ основѣ каждаго романа Жоржъ-Зандъ положена весьма вѣрная идея, но посмотрите, какъ относится къ ней романистка: она до такой степени разсахариваетъ ее своими поэтическими сентиментальностями, искажаетъ своимъ идеализмомъ, что идея, сама по себѣ весьма практическая и реальная, превращается въ какой-то абсурдный абстрактъ, въ какую-то наивно-нелѣпую утопію.

Воздавъ должную дань наиболѣе популярнымъ въ ея время средствамъ практическаго осуществленія общественныхъ идеаловъ, причемъ каждое изъ этихъ средствъ она старалась по возможности или, лучше сказать, до невозможности идеализировать и опозитизировать (что, разумѣется, не мало извращало ихъ истинный смыслъ), — Жоржъ-Зандъ, „Гарибальди воспѣвъ, воспѣла и Франческо“. Въ 1848 году она еще вѣрила, что ламартиновская республика и ея собственныя восторженно-сентиментальныя прокламаціи могутъ спасти Францію... Прошло три года — и она убѣдилась, что „общество спасается“ не риторическимъ краснорѣчіемъ, не поэтическими фразами, а пушками и штыками. Вчерашній секретарь Ледрю-Ролена, пламенная поклонница республики, она отвернулась отъ нея на другой день послѣ ея смерти. Старая, быть можетъ, еще отъ отца унаслѣдованныя воспоминанія о „славныхъ дняхъ“ имперіи снова воскресли въ ея умѣ и ея художественныя очи прозрѣли въ елисейскомъ интриганѣ героя, предназначеннаго судьбою вести Францію по пути славы и прогресса, въ осуществленію высшихъ идеаловъ человѣческаго счастья. Конечно, она не могла не согласиться, что онъ принялся за исполненіе своей великой миссіи нѣсколько грубо, по-солдатски, но во имя общаго блага почему не пожертвовать нѣкоторыми „излишествами“ личной свободы? Что касается ея, она, еще съ дѣтства привыкшая играть въ „героини“ собственныхъ романовъ, не задумалась передъ этимъ новымъ жертвоприношеніемъ и, скрѣпя свое нѣжное сердце, почтительно протянула руку „человѣку 2 декабря“.

Въ цитированномъ уже романѣ „Monsieur Sylvestre“, романѣ, появившемся въ печати черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ декабрьскаго

переворота, Жоржъ-Зандъ, устами своего героя, оправдываетъ не только идею этого переворота, но даже и тѣхъ людей, у которыхъ хватило мужества превратиться изъ прогресистовъ въ бонапартисты.

„Такъ-какъ Франція, повидимому, любитъ диктаторовъ, разсуждаетъ господинъ Сильвестръ, — то я не вижу причины, почему-бы передовое меньшинство не могло быть представляемо нѣкоторою небольшою группою людей, даже, если хотите, однимъ человѣкомъ, который, опираясь на него, двинулъ-бы впередъ вѣчно завязавшее въ тинѣ колесо прогресса. Инициатива—еще не значитъ преслѣдованіе; при нашемъ-же преувеличенномъ уваженіи къ индивидуальной свободѣ нѣсколько дураковъ могутъ помѣшать міру идти впередъ... Я-же думаю, что мы должны быть готовы скорѣе подвергнуть себя какимъ угодно личнымъ страданіямъ, чѣмъ терпѣть безконечное продленіе страданій нашихъ ближнихъ. Въ тотъ день, когда каждый изъ насъ будетъ на-столько великодушенъ, что скажетъ: „я хочу одинъ страдать за всѣхъ“—всѣ безъ исключенія окажутся счастливыми“ („M. Sylvestre“, pp. 85, 86).

Такими именно софизмами всегда и оправдываютъ себя ренегаты, неутратившіе еще способности краснѣть и стыдиться.

„Что-же, говорить онъ, —положимъ, онъ (т. е. Наполеонъ III) жестокъ и деспотиченъ, но вѣдь онъ спасаетъ общество, —общество, которое такъ тупоумно, что безъ диктатора не можетъ сдѣлать ни шагу. Положимъ, что, принимая его сторону, иначе говоря, подставляя свои спины подъ его ноги, мы становимся въ весьма неудобное и непріятное положеніе, —положимъ, что каждый, начиная отъ него самого и кончая послѣднимъ проходимцемъ, будетъ имѣть право наплевать намъ въ глаза, но что дѣлать, во имя общаго блага терпѣливо перенесемъ всѣ заушенія, плевки и оскорбленія, всѣ личныя непріятности... и будемъ твердо помнить, что въ тотъ день, когда наши прежніе друзья и союзники поступятъ такъ-же, какъ мы, —тогда всѣ, всѣ безъ исключенія, будутъ счастливы и довольны!“

ХII.

До сихъ поръ мы старались выяснить нравственныя и общественныя воззрѣнія Жоржъ-Зандъ, на-сколько эти воззрѣнія или

непосредственно высказывались ею отъ имени того или другого лица, или-же на-сколько они воплощались въ самой фабулѣ ея романовъ. Но идеи, тенденціи автора проявляются не только въ фабулѣ его произведеній, не только въ его личныхъ, субъективныхъ изліяніяхъ, но также и въ самомъ построеніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Конечно, анализъ характеровъ лицъ, выводимыхъ авторомъ на сцену, не всегда можетъ дать намъ вполне годный матеріалъ для оцѣнки авторскаго міросозерцанія. Здѣсь все зависитъ отъ того, какъ романистъ относится къ этимъ характерамъ: старается-ли онъ воплощать въ нихъ свои собственныя идеи или-же вѣрно воспроизвести окружающую его дѣйствительность. Очевидно, что въ послѣднемъ случаѣ въ нихъ гораздо больше будетъ отражаться не самъ авторъ, а та среда, въ которой онъ вращается, то общество, которое онъ описываетъ. Напротивъ, въ первомъ случаѣ, хотя создаваемые имъ характеры и не будутъ имѣть никакой реальности, хотя по нимъ и нельзя будетъ составить себѣ никакого правильнаго заключенія о данной дѣйствительности, о данныхъ живыхъ людяхъ, но за то они могутъ дать матеріалъ для опредѣленія воззрѣній автора на различные метафизическіе и житейскіе вопросы.

Жоржъ-Зандъ, какъ уже объ этомъ было сказано и выше, никогда не ставила задачей своего творчества—воспроизведеніе дѣйствительности. Большинство или, лучше сказать, всѣ безъ исключенія герои и героини ея романовъ—люди совершенно абстрактные, отвлеченные отъ даннаго времени, мѣста и общества. Какъ существа абстрактныя, безплотныя, они могутъ съ одинаковымъ удобствомъ помѣститься въ какомъ имъ (т. е. автору) угодно уголкѣ земнаго шара и быть современниками всѣхъ, кого пожелаютъ: хотять—Гусса, хотять—Наполеона I, хотять—Наполеона III или IV, или XXIV—это рѣшительно все равно. Въ дѣйствительности-же, въ обычной, реальной жизни мы, разумѣется, нигдѣ и никогда съ ними не столкнемся, нигдѣ и никогда ихъ не увидимъ, какъ не увидимъ „духовъ“ спиритовъ, которые тоже могутъ быть вездѣ и которыхъ, однакожь, нѣтъ нигдѣ.

Само-собою понятно, что подобные характеры, въ дѣйствительности несуществующіе, но, по мнѣнію Жоржъ-Зандъ, должны существовать, характеры идеальныя, только и годятся для

оцѣнки авторскаго міросозерцанія; никакого другого значенія они въ глазахъ критики не имѣютъ и имѣть не могутъ.

Посмотримъ-же, что это за характеры? какой „идеаль“ человѣка рисуетъ намъ авторъ? чѣмъ должны мы быть, чтобы приблизиться къ нему? каковы-же образцовые люди, которымъ мы должны подражать?

Мы сказали уже выше, что Жоржъ-Зандъ признаетъ половныя различія не только въ области физической, но и въ области психической, нравственной природы человѣка. Она убѣждена, что есть какой-то „женскій умъ“, „женское сердце“ и „мужской умъ“, „мужское сердце“, — иными словами, что у женщины одна душа, у мужчины другая. Отсюда очевидно слѣдуетъ, что и идеаль женскаго характера долженъ быть совершенно иной, чѣмъ идеаль мужскаго характера. Въ чемъ состоитъ эта разница и велика-ли она, это выяснится само собою при разборѣ типическихъ чертъ обихъ идеаловъ. Начнемъ съ разбора идеаловъ мужскаго характера.

Нельзя сказать, чтобы этотъ идеаль оставался единымъ и неизмѣннымъ втеченіи всей беллетристической дѣятельности Жоржъ-Зандъ. Однако, эти измѣненія касались больше частныхъ и второстепенныхъ подробностей, сущность-же, т. е. его основныя, типическія черты постоянно повторяются во всѣхъ произведеніяхъ Жоржъ-Зандъ, какъ болѣе раннихъ, такъ и позднѣйшихъ, за исключеніемъ развѣ только тѣхъ, въ которыхъ романистъ преслѣдовалъ чисто-личныя цѣли и которыя являлись простымъ и, конечно, не безпристрастнымъ отвѣтомъ на нескромныя вторженія памфлетистовъ въ его частную жизнь *).

Несмотря на все кажущееся разнообразіе характеровъ героевъ, фигурирующихъ въ жоржъ-зандовскихъ романахъ, ихъ можно съ большимъ удобствомъ подраздѣлить на двѣ категоріи: во-первыхъ, категорію героевъ - юношей, еще неоперившихся, неумудренныхъ

*) Какъ на образчикъ романовъ этого рода, можно указать хоть на ея романъ „Elle et Lui“, въ которомъ она старается оправдать себя и представить въ наиболѣе благоприятномъ для себя свѣтѣ свое обличеніе и затѣмъ свой разрывъ съ Альфредомъ Мюссе, — разрывъ, вызвавшій въ свое время много толковъ и слетень весьма скандальнаго содержанія. Однако, едва-ли этотъ романъ достигъ своей цѣли: вслѣдъ за его появленіемъ родной братъ Альфреда выпустилъ грязный памфлетъ (написанный тоже въ формѣ романа, и носившій названіе Lui et Elle), въ которомъ „непечатная“ сплетня предавалась печатной гласности, и Жоржъ-Зандъ (скрытая, конечно, подъ псевдонимомъ, но весьма прозрачнымъ) изображалась

опытомъ, невышедшихъ еще изъ - подъ отеческой - фѣрулы (напр. Гордонъ-сынъ въ „Le peché de M. Antoine, Эмиль въ „Mademoiselle La Quintinie, Пьеръ Соредъ въ „Monsieur Sylvestre“, Андре въ романъ того-же имени, Терсанъ въ „Jacques“, Оливье въ Меттелъ, Жанъ въ „Jean de la Roche“ и т. д., и т. д.); вторыхъ, категорію героевъ зрѣлаго возраста, умудренныхъ опытомъ и давно уже вышедшихъ изъ подъ всякихъ фѣрулъ (Жакъ, Вальведръ, Сильвестръ, Буагильбо, Ральфъ, Бютлеръ и т. д., и т. д.).

Герои первой категоріи являются обыкновенно въ роли jeune premier; вторые хотя не брезгаютъ и этою ролью, но главный и любимый ихъ амплуа—это амплуа резонерствующихъ „мудрецовъ“. Несмотря, однако, на это различіе ихъ ролей, между ними есть очень много сходства.

Прежде всего и тѣ, и другіе обладаютъ въ высокой степени нѣжными сердцами, одаренными способностью исключительной, вѣчной и безграничной любви... къ женщинѣ. Любовь къ женщинѣ составляетъ главное и существенное содержаніе всей ихъ жизни, господствующій интересъ ихъ внутренняго міра. Отнимите отъ нихъ эту любовь—и ихъ существованіе потеряетъ всякій смыслъ. Любовь творитъ съ ними чудеса: изъ дикихъ варваровъ она превращаетъ ихъ въ людей добродѣтельныхъ и гуманныхъ (Мопра); изъ людей добродѣтельныхъ и гуманныхъ она обращаетъ ихъ въ челоуѣконенавидящихъ ипохондриковъ (Буагильбо), въ малодушныхъ самоубійцъ (Жакъ). Въ 80 лѣтъ они продолжаютъ любить „подругу своей жизни“ съ такимъ-же энтузіазмомъ, съ какимъ любили ее въ юности, хотя предметъ ихъ любви давно уже отошелъ въ вѣчность. Удивительные люди, которые только и живутъ, только и занимаются любовью!

Впрочемъ, это не покажется особенно удивительнымъ, если мы вспомнимъ, что всѣмъ этимъ героямъ не нужно думать о кускѣ насущнаго

чуть-ли не въ видѣ проститутки, да еще проститутки пошлой, тщеславной, лицемерной, цинически-развратной.

Кромѣ романовъ, имѣющихъ такъ-сказать, характеръ защитительныхъ рѣчей, у Жоржъ-Зандъ можно встрѣтить и такіе, въ которыхъ, строго говоря, положительныхъ героевъ нѣтъ, въ которыхъ просто воспроизводятся довольно схожіе, но значительно подкрасенные и идеализированные портреты разныхъ знаменитостей (Шопена, напр., въ «Grince Kagol»), бывшихъ съ романисткой въ болѣе или менѣе близкихъ отношеніяхъ. Разумѣется, подобныхъ романовъ мы касаться здѣсь не будемъ.

хлѣба—онъ самъ лѣзетъ въ нимъ въ ротъ. Почти у всѣхъ у нихъ имѣются богатые папеньки, матушки, бабушки, дѣдушки, дядюшки или хоть тетеньки, и если ихъ рента не считается десятками тысячъ, то они смотрятъ на себя какъ на жалкихъ бѣдняковъ, чуть-чуть что не пролетаріевъ. Понятно, что имъ и дѣлать ничего больше не остается, какъ предаваться любовнымъ утѣхамъ. Сама Жоржъ-Зандъ въ глубинѣ души своей понимаетъ, въ какой тѣсной, неразрывной зависимости находятся эти „утѣхи“ съ 10-тысячными рентами. Въ одномъ изъ своихъ романовъ она заставляетъ „героя“ (въ роли jeune premier) сознаться, что лишь тотъ имѣетъ право любить, кто „богатъ, пользуется нѣкоторымъ довольствомъ или, по крайней мѣрѣ, вполне обеспеченнымъ положеніемъ“ (Sylvestre, p. 89). Когда герой этотъ замѣчаетъ, что онъ могъ-бы любить и пользоваться взаимностью нѣкоторой добродѣтельной героини, онъ съ грустью восклицаетъ: о, зачѣмъ я не богатъ! (ib., p. 132). „Небогатыми“ Жоржъ-Зандъ дѣлаетъ своихъ героевъ лишь на время и, какъ кажется, специально лишь съ тою цѣлью, чтобы въ болѣе яркомъ свѣтѣ обнаружить ихъ душевное благородство, благородство совершенно особаго рода, оцѣнить которое по достоинству могутъ, конечно, только люди, видящіе въ рентѣ единственно прочный источникъ человѣческаго счастья. По понятіямъ этого „благородства“, человѣкъ, какъ-бы сильно онъ ни любилъ женщину и какою-бы несомнѣнною взаимностью съ ея стороны ни пользовался, не долженъ дѣлать ее своею женою, пока не въ состояніи повернуть къ ея ногамъ „обеспеченное положеніе“, т. е. ренту, по меньшей мѣрѣ, тысячъ въ 10 франковъ. И каждый изъ „искушаемыхъ“ (т. е. подвергнутыхъ временной бѣдности) героевъ жоржъ-зандовскихъ романовъ крѣпко держится этихъ понятій, за что, въ концѣ концовъ, щедрая романистка и награждаетъ его обыкновенно какимъ-нибудь неожиданнымъ наслѣдствомъ, дающимъ ему возможность соединиться съ предметомъ его „страсти“ и безбоязненно предаться всѣмъ радостямъ „обеспеченной рентою“ любви.

Наконецъ, у всѣхъ этихъ героевъ есть еще одна, рѣзко выдающаяся общая черта. Всѣ они страшные эгоисты, живущіе исключительно чисто-личною жизнью. Правда, всѣ они преисполнены самыми великодушными намѣреніями, самыми возвышенными мыслями, но великодушныя намѣренія такъ и остаются одними намѣреніями, а возвышенныя мысли никогда не спускаются съ своихъ

идеальныхъ высотъ на почву практической дѣятельности. Юные герои, *jeunes premiers*, подаютъ, обыкновенно, лишь „надежды“ нѣчто совершить, но такъ-какъ они всецѣло поглощены исполненіемъ роли первыхъ любовниковъ, то, разумѣется, кромѣ привлеченія своихъ возлюбленныхъ къ алтарю, ничего совершить не могутъ и ничего не совершаютъ. Герои зрѣлаго возраста, помимо любовнаго недуга (который, впрочемъ, отодвигается у нихъ на второй планъ), обыкновенно еще одержимы недугомъ самолюбія. Они считаютъ себя почему-то какими-то высшими натурами, они лучше, умнѣе и благороднѣе всѣхъ окружающихъ ихъ людей; „вѣкъ“ недостаточно подготовленъ къ воспріятію ихъ „идей“, ихъ возвышенныхъ стремленій, никто еще не можетъ понять и оцѣнить ихъ по достоинству, а потому они съ гордымъ величіемъ удаляются отъ „міра и всѣхъ сквернъ его“ и съ чувствомъ собственного достоинства складываютъ свои руки и предаются глубокомысленному созерцанію кончика носа. Въ сущности-же, въ основѣ этого гордаго отчужденія отъ міра всегда лежитъ у нихъ какая-нибудь мелкая, эгоистическая страстишка, какая-нибудь семейная неприятность. Такъ Буагильбо проклялъ человѣчество единственно потому только, что его жена однажды измѣнила ему и сошлась съ его закадычнымъ другомъ. Съ этой минуты весь міръ опротивѣлъ ему, а закадычный другъ сталъ въ его глазахъ воплощеніемъ всего злого и дурного и онъ почти до самой смерти не могъ простить ему его вѣроломства. Сильвестръ сдѣлался анахоретомъ, главнымъ образомъ, потому, что жена его промотала все его состояніе, а дочь, для поправленія разстройства отцовскихъ финансовъ, занялась проституціею. Ральфъ удалился на пустынный островъ подъ влияніемъ тяжелыхъ воспоминаній о тѣхъ разнообразныхъ мукахъ, которыя претерпѣло его сердце и сердце его возлюбленной въ мірѣ „живыхъ людей“, и т. п.

Однимъ изъ самыхъ типическихъ представителей героевъ этой категоріи можетъ служить Жакъ (въ романѣ „*Jacque*“). Его характеръ составляетъ какъ-бы эссенцію всѣхъ тѣхъ основныхъ качествъ, которыми въ меньшихъ и слабѣйшихъ дозахъ обладаютъ всѣ или, по крайней мѣрѣ, преобладающее большинство жоржъ-зандовскихъ героевъ.

Для того, чтобы читатель могъ нагляднѣе судить объ этихъ „качествахъ“, мы приведемъ здѣсь нѣсколько выдержекъ изъ писемъ

(весь романъ излагается въ эпистолярной формѣ) Жака къ своей незаконнорожденной сестрѣ, Сильвіи (Жакъ въ юбкѣ), Сильвія—къ Жаку и жены Жака къ своей подругѣ.

Жакъ, человѣкъ уже пожившій, человѣкъ „зрѣлаго возраста“, вздумалъ жениться на глупенькой, молоденькой барышнѣ, съ которою у него не имѣется никакихъ общихъ духовныхъ интересовъ. Сильвія отговариваетъ брата отъ этого неравнаго брака; ей кажется, что онъ слишкомъ необдуманно жертвуетъ счастьемъ молодой дѣвушки ради своего, быть можетъ, минутнаго увлеченія. Жакъ отвѣчаетъ ей на это слѣдующимъ образомъ: „Не говори мнѣ, что я вмѣстѣ съ своимъ счастьемъ рискую счастьемъ моего ближняго. Во-первыхъ, этотъ ближній будетъ съ другимъ еще несчастнѣе, чѣмъ со мною, во-вторыхъ, если ему и предназначено страдать со мною, то его страданія будутъ ничто въ сравненіи съ моими. Какъ ты хочешь, чтобъ я могъ имѣть состраданіе къ кому-бы то ни было? Неужели ты воображаешь, что меня можно поставить на одну доску съ прочими людьми? Развѣ мои страданія не имѣютъ совершенно исключительнаго характера? Ты знаешь, сколько разъ проклиналъ я небо за то, что оно отказало мнѣ въ той способности, которою оно такъ великодушно наградило всѣхъ остальныхъ людей—въ способности забвенія. Ихъ все можетъ утѣшить, а что можетъ утѣшить меня?.. О, я очень хорошо понимаю, что никто изъ людей не выстрадалъ и сотой части того, что выстрадалъ я. Я въ сто разъ мужественнѣе, въ сто разъ несчастнѣе всѣхъ ихъ. Фердинанда (его глупенькая невѣста) будетъ страдать со мною, но она скоро утѣшится: она искренна и добра, но она и слаба, бѣдное дитя, слабо будетъ и ея страданіе“ (Jasque, t. I, стр. 85, 86).

Сильвія, его alter-ego, вполне согласна съ нимъ, что его нельзя ставить на одну ногу съ прочими людьми, что онъ выше и лучше ихъ всѣхъ. Она понимаетъ его „великія муки“. „Когда человѣкъ, подобный тебѣ, пишетъ она ему (t. 2, p. 281),—родится въ вѣвѣ, немогущій дать ему дѣла достойнаго его, когда онъ, одаренный апостольскимъ духомъ и силою мученика, проходитъ, оскорбляемый и страдающій, среди этихъ бессмысленныхъ людей, безцѣльно прозябающихъ на землѣ, ради того только, чтобы наполнить своимъ существованіемъ одну изъ ничтожнѣйшихъ страницъ исторіи,—о, тогда, конечно, онъ долженъ задыхаться, онъ долженъ погибнуть

среди этой испорченной атмосферы, среди этой жалкой толпы, со всѣхъ сторонъ его давящей и тѣснящей...“

Вы, можетъ быть, думаете, что это и въ самомъ дѣлѣ былъ какой-нибудь апостоль новыхъ идей, какой-нибудь мученикъ за свои убѣжденія? О, ничуть не бывало. Это былъ ни болѣе, ни менѣе, какъ отставной офицеръ наполеоновской арміи, богатый помѣщикъ и весьма разсчетливый хозяинъ; рабочихъ своихъ держалъ въ страхѣ и никакой поправки имъ не давалъ. „Управленіе помѣстьями, пишетъ о немъ его молодая жена,—постоянно занимаетъ его, хотя и не поглощаетъ всего его времени. Система его хозяйства основана на строгой справедливости; романическое великодушіе не ослѣпляетъ его; онъ говоритъ, что тотъ, кто дозволяетъ обворовывать себя, не можетъ ощущать никакого удовольствія, помогая ближнимъ добровольно; его гордость не дозволяетъ ему дѣлаться жертвою обмановъ, которыми разные нищіе разчитываютъ добыть отъ него кусокъ насущнаго хлѣба; онъ жестокъ и неумолимъ съ тѣми, которые хотятъ спекулировать на его чувствительность“... Вы видите, что это типъ совершеннѣйшаго буржуа и что ни по своему соціальному положенію, ни по своему смиренію, онъ ни мало не походитъ на мученика. Но, быть можетъ, тѣ досужіе часы, которые остаются у него за его хозяйскими заботами, онъ посвящаетъ своей апостольской миссіи и служенію человѣчеству? Опытъ нѣтъ. Онъ презираетъ „человѣчество“, онъ не иначе называетъ его, какъ „gâse lâche et stupide“. Служить ему, въ какомъ-бы то ни было отношеніи,—это слишкомъ для него унижительно. И авторъ, устами сестрицы Сильвіи, вполне его оправдываетъ. „Ты слишкомъ скромнень, пишетъ ему эта добродѣтельная дѣвица,—чтобы просвѣщать людей наукою; ты слишкомъ гордъ, чтобы блистать талантами передъ толпою, неспособною тебя понять; ты слишкомъ справедливъ и чистъ, чтобы желать господства надъ ближними при помощи интригъ и честолюбія. Ты не знаешь, что сдѣлать съ тѣми богатствами, которыми одарила тебя природа. Богъ долженъ-бы былъ создать для тебя особаго ангела и послать васъ жить вдвоемъ въ какой-нибудь міръ, или, по крайней мѣрѣ, тебѣ-бы слѣдовало родиться въ такое время, когда вѣра и божественная любовь служили единственными средствами просвѣщенія и обновленія народовъ“ (t. 2, p. 281). Будучи, такимъ образомъ, слишкомъ „скромнымъ“, слишкомъ „гор-

дымъ“, слишкомъ „чистымъ“ и „справедливымъ“ для того, чтобы заниматься чѣмъ-нибудь путнымъ въ семь бременомъ мiръ (крошѣ, разумѣется, домашняго хозяйства), герой этотъ, какъ и всѣ вообще герои Жоржъ-Зандъ, видитъ въ любви къ женщинѣ и къ своему ребенку единственный идеальный интересъ своей жизни, единственный разумный смыслъ своего существованiя. Когда любимая женщина ему измѣнила, когда любимый ребенокъ умеръ, онъ заявляетъ, что ему теперь „не для кого и не для чего жить“, и бросается со скалы въ пропасть. Незадолго до смерти онъ сознается, „что прожилъ напрасно“. „Въ 35 лѣтъ, пишетъ онъ къ Сильви (т. I, pp. 225, 226),—я чувствую себя на-столько-же несчастнымъ и одинокимъ среди людей, какъ и въ началѣ моей жизни... Я никогда не находилъ никакой гармонiи, никакого сходства между собою и тѣмъ, что меня окружало... Моя-ли это вина или вина моихъ ближнихъ?“ А между тѣмъ онъ былъ истиннымъ сыномъ, плотью отъ плоти, кровью отъ крови той среды, въ которой „задыхался“, отъ которой съ такимъ презрѣнiемъ отворачивался. Онъ, какъ и она, съ головы до пятокъ былъ переѣденъ язвою грубаго, безсердечнаго эгоизма; онъ, какъ и она, сдѣлалъ изъ своего „я“ своего идола и молился ему денно и ношно. Онъ, какъ и она, это самопоклоненiе, этотъ эгоизмъ возвелъ въ теорiю и сдѣлалъ ее руководящимъ принципомъ своей жизни. „Люди, писалъ онъ Сильви,—у которыхъ нѣтъ эгоизма, ненужные, бесполезные люди; они не приносятъ счастья ни себѣ, ни другимъ... То, что называютъ добродѣтелью, есть ничто иное, какъ искусство удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ, не нарушая *открыто* правъ другихъ, не возбуждая къ себѣ ихъ вражды“ (т. 2, p. 285).

Повидимому, личный опытъ долженъ-бы былъ убѣдить нашего героя въ ошибочности его теорiи; онъ долженъ-бы былъ показать ему, что проповѣдуемый и практикуемый имъ эгоизмъ дѣлаетъ чловѣка „несчастливымъ и одинокимъ среди людей“. Но, увы, эгоисты несправимы, и, что всего хуже, они, подобно сумасшедшимъ, почти никогда не сознаютъ истиннаго характера развѣдающаго ихъ недуга.

По Жаку читатели могутъ составить себѣ приблизительно вѣрное понятiе объ общемъ фонѣ характера жоржъ-зандовскихъ героевъ. Конечно, ни въ одномъ изъ нихъ не воплощаются „жаковскiя“ свойства съ большею рѣзкостью и отчетливостью, чѣмъ въ характерѣ самого Жака, но за то никто изъ нихъ не можетъ считать себя

вполнѣ свободнымъ ни отъ одного изъ этихъ свойствъ. Всѣ они болѣе или менѣе Жаки, — Жаки по своему эгоизму, по своему отношенію къ окружающей ихъ средѣ, по своей способности жить исключительно семейною жизнью, по своему самолюбію и высокомерию, по отсутствію всякихъ глубокихъ интересовъ, всякихъ идеальныхъ стимуловъ въ ихъ дѣятельности, кромѣ одного только — половой или родительской любви *).

Посмотримъ теперь, каковъ общій фонъ женскихъ характеровъ, какова та „идеальная женщина“, которую рисуютъ намъ романы Жоржъ-Зандъ.

ХІІІ.

Не только въ нашемъ полу-образованномъ, но даже и въ просвѣщенномъ западно-европейскомъ обществѣ (преимущественно у нѣмцевъ) сдѣлавна [сложилось весьма оригинальное воззрѣніе на типическій характеръ героини жоржъ-зандовскихъ романовъ, на такъ-называемую жоржъ-зандовскую *эмансипированную женщину*. Она представлялась обыкновенно въ видѣ какой-то разбитой барыньки, носящей мужскіе панталоны, курящей трубку, скачущей верхомъ съ казацкою лудалью, презирающей всякія условныя приличія, обращающейся съ мужчинами съ фамиллярнымъ запанибратствомъ, проповѣдующей „свободу любви“, отвергающей бракъ, толкующей о политикѣ и иныхъ „матеріяхъ важныхъ“. Быть эмансипированною à la Жоржъ-Зандъ — это значило, по понятіямъ очень многихъ, быть чѣмъ-то среднимъ между проституткою и синимъ чулкомъ.

Никогда еще мнѣнія, составляемыя по слухамъ (очевидно, что подобное мнѣніе могло образоваться не иначе, какъ по слухамъ),

*) Впрочемъ, въ позднѣйшихъ своихъ романахъ, какъ, напр., въ «Вальведерѣ», Жоржъ-Зандъ старается внушить своимъ героямъ нѣкоторую любовь къ естественнымъ наукамъ, къ изученію природы. Впрочемъ, это обстоятельство ни мало не препятствуетъ имъ оставаться до извѣстной степени все тѣми-же Жаками.

Не лишнее будетъ также замѣтить здѣсь, что, говоря о характерѣ жоржъ-зандовскаго героя, о ея идеалѣ хорошаго человѣка, вообще, человѣка, какимъ онъ *долженъ быть*, мы съ умысломъ игнорировали ея якобы историческіе романы, герои которыхъ, очевидно, воплощаютъ въ себѣ не идеалы настоящаго или будущаго, а идеалы прошлаго.

не были такъ далеки отъ истины, какъ это мнѣніе. Женскій „идеалъ“ Жоржъ-Зандъ ни единою своею чертою не напоминаетъ идеалъ „разбитой барыни“; напротивъ, жоржъ-зандовскихъ женщинъ скорѣе можно упрекнуть въ излишней заботности и приниженности, въ слишкомъ пассивномъ подчиненіи традиціямъ морали, въ черезчуръ приторной сантиментальной добродѣтели.

Какъ характеры, ихъ можно раздѣлить тоже на двѣ категоріи, соотвѣтствующія, до извѣстной степени, тѣмъ категоріямъ, по которымъ мы дѣлили мужскихъ героевъ. Къ первой можно отнести женщинъ съ характерами болѣе самостоятельными и болѣе напоминающими мужчинъ жаковскаго закала. Самостоятельность ихъ, однакожь, обуславливается не столько ихъ внутренними качествами, умомъ, силой воли, способностью къ инициативѣ и т. п., сколько условіями чисто-внѣшними, матеріальною обеспеченностью и независимостью ихъ положенія. А ихъ сходство съ мужчинами состоитъ совсѣмъ не въ томъ, что онѣ посягаютъ на мужскія сферы труда, что онѣ вмѣшиваются въ дѣла, которыми по-преимуществу занимаются одни лишь мужчины и соваться въ которыя „бабамъ“ считается „неприличнымъ“, не въ томъ, наконецъ, что онѣ стараются подражать мужскому полу въ востюмѣ, манерахъ, образѣ жизни и т. п., — нѣтъ, во всемъ этомъ онѣ совершенно неповинны; сходство ихъ характеровъ съ мужскими характерами жоржъ-зандовскихъ романовъ состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что въ первыхъ, какъ и въ послѣднихъ, эгоистическіе инстинкты преобладаютъ надъ симпатическими. Себялюбивый, нерѣдко доходившій до возмутительной жестокости эгоизмъ, тщеславное самомнѣніе и гордое пренебреженіе къ окружающей ихъ средѣ, идущее рядомъ съ пассивнымъ подчиненіемъ безмысленно пошлой, рутинной жизни этой среды, возвышенные, гуманные принципы, съ одной стороны, и далеко не возвышенная, анти-гуманная практическая дѣятельность, съ другой, — вотъ, хотя и не особенно лестная, но, какъ мы думаемъ, вполне правдивая характеристика жоржъ-зандовскаго идеала „самостоятельной женщины“. Для примѣра приведемъ два образчика.

Лавинія безспорно можетъ считаться одною изъ представительницъ женщинъ этой категоріи. Она женщина совершенно самостоятельная; она ни отъ кого не зависитъ и живетъ, какъ хочетъ. Она женщина „съ идеями“ и, повидимому, съ „характеромъ“. Во имя своихъ „идей“ она съ высокоумѣреннымъ презрѣніемъ относится къ

окружающей ее средѣ; благодаря силѣ своего „характера“, она съ гордымъ величіемъ отвергаетъ своего стараго любовника, который, бросивъ ее однажды, черезъ десять лѣтъ восчувствовалъ къ ней снова любовь и снова предложилъ ей свое сердце и даже руку. Въ отвѣтъ на это предложеніе Лавинія писала ему, между прочимъ: „Я ненавижу бракъ, ненавижу всѣхъ людей, ненавижу всякія обязательства на-вѣки, всякія обѣщанія, контракты...“ По-видимому, совсѣмъ эмансипированная женщина: все она ненавидитъ и всѣхъ она презираетъ. Однако, это только на словахъ, да и слова-то эти вызваны не серьезною работою мысли, не ка-кимъ-нибудь опредѣленнымъ міросозерцаніемъ, а просто уязвленнымъ самолюбіемъ. Лавинія не могла простить Лионелю (своему бывшему любовнику), что онъ ее разлюбилъ; она, отвергающая всякія вѣчныя обязательства, проповѣдующая въ теоріи свободу чувства, считала себя униженною и оскорбленною потому только, что ея возлюбленный воспользовался этою свободою. А между тѣмъ она страстно любитъ своего вѣроломнаго любовника, она любитъ его десять лѣтъ безъ всякой надежды на взаимность, и когда, наконецъ, онъ снова бросается къ ея ногамъ, кается во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ и умоляетъ ее опять полюбить его, она его отталкиваетъ. Зачѣмъ, почему? Можетъ быть, она не вѣрила въ прочность его чувства? Но что изъ этого? вѣдь въ теоріи она сама отвергаетъ долгосрочную любовь. Очевидно, въ ней заговорило ея оскорбленное самолюбіе и его голосъ заглушилъ голосъ любви. Эгоизмъ восторжествовалъ, онъ отомстилъ за когда-то нанесенную ему обиду. Теорія спасовала передъ практикой.

Это былъ не единственный случай; нѣтъ, всею своею жизнью эта героиня отрицаетъ на практикѣ то, что, по-видимому, признаетъ въ теоріи. Она презираетъ окружающихъ ее людей; она считаетъ себя лучше ихъ. Почему? Вѣроятно, потому, что она ощущаетъ въ себѣ болѣе возвышенныя стремленія, чѣмъ тѣ, которыя двигаютъ ея ближніи; вѣроятно, она понимаетъ всю пошлость и безсодержательность ихъ жизни, всю изменчивость ихъ идеаловъ. Но какъ-же сама она живетъ, какіе сама она преслѣдуетъ идеалы? Живетъ она совершенно такъ-же, какъ и всѣ вообще обезпеченныя женщины ея класса: путешествуетъ, ѣздитъ по баламъ, иногда мечтаетъ и читаетъ стихи, молятся Богу и старается не думать ни о прошломъ, ни о будущемъ. Прожить ве-

село—вотъ единственная цѣль, въ которой она стремится. „Я, пишетъ она въ Ліонелю, — люблю лишь путешествія, мечтанія, уединеніе, шумъ свѣта, мимо котораго прохожу смѣясь, поэзію, которая даетъ мнѣ силу переносить прошлое (т. е. вѣроломство Ліонеля), и Бога, который даетъ мнѣ надежду на будущее“. Все это прекрасно, но почему-же выдѣляетъ она себя изъ окружающей ее среды? Чѣмъ она лучше другихъ, которыя, не тревожа себя никакою сантиментальною идеологіею, веселятся себѣ на пропалую, да и знать никого и ничего не хотятъ? Какой толкъ въ ея „идеяхъ“, когда онѣ никогда и ни въ чемъ не обнаруживаются, когда она никогда и никому не заявляетъ своихъ правъ на болѣе разумное существованіе, чѣмъ то, на которое обрекла ее среда, — мало того, когда она вполне мирится съ этимъ существованіемъ и находитъ его распречудеснымъ?

А вотъ другой примѣръ.

Кинтилія Кавальнанти (героиня романа „*Secrétaire intime*“), владѣтельница герцогиня какого-то фантастическаго итальянскаго герцогства, отличается необыкновеннымъ, мужскимъ умомъ, пишетъ политико-экономическіе трактаты и стремится облагодѣтельствовать подвластный ей народъ. Это характеръ не только самостоятельный, но даже деспотическій. Когда она сочиняетъ, при помощи услужливыхъ пажей, свои ученые трактаты, она запирается въ свой дворецъ, складываетъ съ себя неизвѣстно на чьи плечи иго царственныхъ заботъ и водворяетъ мертвую тишину въ своей резиденціи. Всѣ празднества и общественныя удовольствія прекращаются, столица погружается какъ-бы въ сонъ, даже ѣзда на улицахъ пріостанавливается. Затѣмъ, когда ученый трактатъ написанъ или когда писать его наскучитъ герцогинѣ, двери дворца широко растворяются, городъ мгновенно оживаетъ и начинается длинный рядъ роскошныхъ и блистательныхъ празднествъ. Въ этой нескончаемой смѣнѣ ученаго затворничества и веселыхъ пировъ и проходитъ все время мудрой государыни; въ этомъ и состоитъ вся ея политика, какъ внутренняя, такъ и внѣшняя. Впрочемъ, нѣтъ, есть у нея еще одна страсть. Г-жа Кавальнанти любила веселиться и заниматься политической экономіею, но еще болѣе любила подслушивать, что о ней говорятъ и думаютъ ея вѣрные подданные. Подобно Лавиніи или, лучше сказать, подобно Жаку, она считала себя самымъ добродѣтельнымъ, самымъ непороч-

нимъ, самымъ умнымъ и самымъ справедливымъ существомъ изъ всѣхъ земныхъ существъ. Она желала, чтобы и окружающіе ее люди были о ней такого-же мнѣнія; если-же узнавала, что кто-нибудь осмѣливается сомнѣваться въ ея добродѣтели, она немедленно заточала дерзновеннаго скептика въ тюрьму и затѣмъ высылала за предѣлы своего герцогства. Такая судьба постигла, между прочимъ, злосчастнаго пажу Галеотто, усомнившася въ цѣломудріи герцогини, такая-же судьба постигла и другого пажу, Сан-Жюльяна, дерзнувшаго влюбиться въ нее и, подъ вліяніемъ виновныхъ паровъ и злыхъ наущеній Галеотто, прокрившагося даже въ ея спальню... Разгнѣванная герцогиня, увидя передъ своею постелью смѣлаго мальчика, расправилась съ нимъ собственноручно, а затѣмъ заточила его въ темницу и, несмотря на всѣ его мольбы и слезы, на его непритворное раскаяніе, на его преданную и, въ сущности, совершенно цѣломудренную любовь, изгнала его навѣки изъ своихъ владѣній.

По поводу этихъ исторій съ пажами ея покорный супругъ писалъ ей слѣдующее: „Я нахожу, что ты обращаешься съ твоими пажами не какъ съ людьми. Ты выбираешь ихъ совершенно такъ-же, какъ выбираешь лошадей; смотришь только, чтобы они были статны и красивы. Затѣмъ ты одѣваешь ихъ въ человѣческій костюмъ, ты возлагаешь на нихъ человѣческія обязанности, и въ то-же время ты заставляешь ихъ играть роль левретокъ. Они бѣгаютъ передъ тобою, они спятъ у твоихъ ногъ, и ты, повидимому, даже и не замѣчаешь, что они такіе-же люди, какъ и ты“ („*Secrétaire intime*“, t. 2, p. 23).

Мужъ, упрекающій въ этомъ письмѣ свою дорогую половину въ безсердечноиъ эгоизмъ и высокоумномъ пренебреженіи человѣческимъ достоинствомъ ея ближнихъ, самъ испыталъ на себѣ эти похвальные качества „самостоятельной женщины“. Когда онъ былъ еще юнъ, онъ безъ ума влюбился въ прелестную Кинтилію. Кинтилія отвѣчала ему взаимностью; убѣдившись въ этой взаимности, счастливый любовникъ вздумалъ-было наметнуть предмету своей страсти, что можно-бы имъ и жениться. Герцогиня возмутилась и обидѣлась; гордость ея не могла примириться съ мыслію, что простой смертный осмѣлился полюбить ее не какъ богиню, а какъ простую женщину. Не долго думая, она подвергла его своей опалѣ и выслала изъ своихъ владѣній. Огорченный графъ

(онъ былъ только графомъ, а не владѣтельнымъ принцемъ) впалъ въ отчаяніе и съ отчаянія началъ заниматься... минералогіей, что не мѣшало ему, однако, сохранить во всей чистотѣ и непорочности свою страсть къ гордой красавицѣ. Да и гордая красавица, изгнавъ его изъ своего царства, не въ силахъ была изгнать его изъ своего сердца. Черезъ нѣсколько лѣтъ она встрѣтилась съ нимъ въ Парижѣ (куда она очень любила путешествовать) и обвинчалась... но обвинчалась тайно. И она, и графъ-минералогъ напши, что такъ будетъ поэтичнѣе. Потаенный мужъ пріѣзжалъ къ своей потаенной женѣ потаеннымъ образомъ и видѣлся съ нею въ потаенныхъ мѣстахъ. Визиты были довольно рѣдки; герцогиня не хотѣла компрометировать себя передъ своими подданными, передъ которыми она продолжала фигурировать въ качествѣ непорочной дѣвственницы.

Послѣ всего сказаннаго уже нѣтъ надобности прибѣгать ни къ какимъ комментаріямъ для подведенія этого характера подъ ту общую характеристику „самостоятельныхъ женщинъ“, которая была приведена нами выше. Для болѣе-же конкретнаго выясненія самой этой характеристики, мы могли-бы указать еще на Сильвію (въ „Jasque“); но Сильвія, какъ мы уже сказали, есть не иное что, какъ дубликатъ Жюака, потому и распространяться здѣсь о ней не стоитъ: почти все то, что было говорено о братцѣ, можетъ быть отнесено и къ сестрицѣ. Въ характерахъ-же „самостоятельныхъ женщинъ“ другихъ романовъ Жоржъ-Зандъ неизмѣнно повторяютъ однѣ и тѣ-же общія черты типа: всѣ онѣ, по своей сущности, какъ двѣ капли воды походятъ либо на Лавиній, либо на Кинтилій, либо на Сильвій. Разнообразятся только имена да второстепенныя свойства характеровъ. Но и это разнообразіе незначительно, потому что женщинъ этой категоріи, говоря вообще, весьма немного; большинство принадлежитъ во второй, къ категоріи героинь, изнывающихъ подъ гнетомъ своей добродѣтели.

Всѣ эти Валентины, Индіаны, Фернанды ¹⁾, Марты ²⁾, Консуэлы ³⁾, Жильберты ⁴⁾, Маргариты ⁵⁾, Альдины ⁶⁾, Эдмы ⁷⁾, Сары ⁸⁾, Фадетты ⁹⁾, мисъ Ловъ ¹⁰⁾, и т. д., и т. д., всѣ

¹⁾ «Jasque», ²⁾ André, ³⁾ «Consuela» и продолженіе этого романа: «Графиня Рудольштадтская», ⁴⁾ Le péché de M. Antoine, ⁵⁾ L'homme de neige, ⁶⁾ Monsieur Sylvestre, ⁷⁾ Mauprat, ⁸⁾ Mettela, ⁹⁾ La petite Gadette, ¹⁰⁾ «Jean de la Roche».

онѣ до такой степени добродѣтельны, что даже возбуждаютъ къ себѣ отвращеніе. Зачѣмъ эти „неземныя созданія“, неимѣющія ни человѣческихъ слабостей, ни человѣческихъ пороковъ (если не считать порокомъ излишнюю добродѣтель), пожаловали на нашу грѣшную землю, въ нашу грѣшную среду? Имъ-бы жить въ небесныхъ сферахъ; у нихъ ангельская красота, ангельское смиреніе, кротость, вѣжность и ангельское любвеобиліе. Любви въ нихъ въ особенности много; любовью они, какъ кажется, и питаются, и дышутъ, ради нея и для нея только и существуютъ. Любовь эта самая невинная, самая чистая и самая законная: предметомъ ея служатъ обыкновенно до замужества: папеньки, маменьки, бабушки, дѣдушки, дяденьки, тетеньки, братцы, сестрицы и вообще ближайшіе родственники, к. къ въ прямой, такъ и въ боковой линіяхъ; послѣ-же замужества — законный супругъ. Если же иногда случается (какъ это случилось съ Валентиной и Индіаной), что онѣ, подъ вліяніемъ родственной любви, избираютъ не любимыхъ мужей и потомъ, уже въ замужествѣ, начинаютъ ощущать въ себѣ приливъ истинной любви, но не къ мужу, а къ человѣку, такъ-сказать, постороннему, о, тогда ихъ добродѣтель подвергаетъ ихъ такимъ утонченнымъ пыткамъ, такъ медленно поджариваетъ на огнѣ упрековъ и угрызений совѣсти, что знай онѣ о существованіи у насъ, въ Россіи, скопческой секты, онѣ, вѣроятно, ни минуты не задумываясь, перешли-бы въ нее.

О себѣ, о своемъ счастіи, о своихъ интересахъ онѣ никогда не думаютъ; всѣ ихъ мысли поглощены одною только заботою, какъ-бы облегчить и усладить существованіе своихъ возлюбленныхъ папечекъ, мамечекъ, братцевъ, сестрицъ и, наконецъ, супруговъ. Только ихъ интересами, ихъ счастіемъ, ихъ мыслями и чувствами онѣ и живутъ. Приносить себя, въ видѣ жертвы непорочной, на алтарь семейнаго благополучія, — это для нихъ не только священнѣйшая, но и сладчайшая обязанность. Ни за что въ свѣтѣ, напримѣръ, не согласится онѣ выйти замужъ за любимаго человѣка, если ихъ родители или воспитатели не желаютъ почему-нибудь дать своего благословенія ихъ союзу. Мало того, онѣ не рѣшаются соединиться съ любимымъ человѣкомъ даже и тогда, если ихъ родители согласны, а родители любимаго человѣка не согласны (см. „Le peché de M. Antoine“, „André“,

„La petite Fadette“ и др.). Миссъ Ловъ (въ „Jean de la Roche“) отказываетъ своему возлюбленному, доводитъ его почти до умопомѣшательства, обрекаетъ его на безцѣльное скитаніе по бѣлу свѣту, а себя—на вѣчное дѣвство потому только, что ея маленькому братцу, капризному и избалованному ребенку, не нравится избранникъ ея сердца. Консуэла рѣшается лучше отречься отъ любимаго и страстно влюбленнаго въ нее графа Рудольштадтскаго, чѣмъ пойти противъ желаній своего учителя музыки, себязлюбиваго, брюзгливаго и несноснаго старика Порпоры, который изъ чисто-эгоистическихъ видовъ ни за что не хотѣлъ отпустить ее отъ себя.

Сара (въ „Меттелъ“) отказалась отъ любви любимаго ею юноши потому только, что въ этого юношу была влюблена ея престарѣлая тетка, годившаяся молодому человѣку въ матери, если не въ бабки, и т. п.

Примѣрныя дочери, примѣрныя сестры, примѣрныя супруги, онѣ, какъ и подобаетъ добродѣтельнымъ женщинамъ, весьма сострадательны къ ближнимъ вообще, любятъ ходить по больнымъ, помогать бѣднымъ и т. п. Но за сферу этой, такъ-сказать, домашней филантропіи онѣ никогда не отваживаются выступать. Замкнутыя въ тѣсный кругъ семейныхъ обязанностей, онѣ относятся съ полнѣйшимъ безучастіемъ къ дѣламъ міра сего. Обезпеченныя, довольныя, окруженныя, въ большинствѣ случаевъ, нѣжною любовью, онѣ проводятъ свою жизнь, какъ пташки беззаботныя. Кромѣ вопросовъ чисто-семейнаго благополучія, ихъ обыкновенно ничто серьезно не занимаетъ. Конечно, поэзія, музыка, вообще искусства немножко еще ихъ интересуютъ, какъ „неземныхъ созданій“. Но ихъ интересъ не идетъ далѣе простого и поверхностнаго дилетантства. Иногда даже онѣ пускаются въ научныя области, но чтобы подвинуть ихъ на такой подвигъ, нуженъ непременно какой-нибудь особенно сильный стимулъ, въ родѣ любви къ отцу, мужу и т. п. Напримѣръ, сама по себѣ миссъ Ловъ не чувствовала ни малѣйшаго расположенія корпѣть надъ минералами и долбить латинскую и греческую грамматику. Но отцу нуженъ былъ ученый секретарь, который-бы могъ читать ему греческія книги и писать подѣ диктовку латинскіе трактаты. И нѣжная дочка принялась съ такою страстью изучать грековъ и римлянъ, что лѣтъ въ 16 могла уже за

поясъ заткнуть любого классика. Если-бы м-ру Вютлору вдумалось писать свои трактаты на санскритскомъ языкѣ, она не отступила-бы и передъ санскритомъ.

Вообще подъ согрѣвающимъ вліяніемъ семейныхъ привязанностей эти добродѣтельныя барышни обращаются въ мягкую массу воска, изъ котораго можно лѣпить все, что вамъ угодно. Устраните ихъ отъ этого вліянія, заставьте ихъ жить и дѣйствовать по собственной инициативѣ, не соображаясь съ желаніями и интересами папенокъ, маменекъ, возлюбленныхъ и т. п., и онѣ очутятся въ положеніи флурансовыхъ куръ, у которыхъ вырѣзаны верхнія, полушарія мозга.

Понятно, что героини этой категоріи отличаются еще меньшимъ разнообразіемъ, еще меньшею индивидуальною самобытностью, чѣмъ героини первой. Если вы абстрагируете ихъ отъ окружающей ихъ обстановки, если вы оставите безъ вниманія ихъ, такъ-сказать, случайныя качества, неизмѣющія никакого существеннаго отношенія къ ихъ основному, типическому характеру, то вы легко примете всѣхъ этихъ Эдуъ, Мартъ, Маргаритъ, Фадеггъ etc. за одно и то-же лицо, являющееся только въ различныхъ романахъ подъ различными именами. И дѣйствительно, это только одно лицо, но лицо не живое, реальное, а абстрактное, фантастическое, или, лучше сказать, даже и не лицо, а лишь простое „воплощеніе“ нѣкоторой группы человѣческихъ чувствъ и привязанностей, искусственно оторванныхъ отъ всѣхъ сосуществующихъ съ ними чувствъ и привязанностей и вдобавокъ еще неумѣренно идеализированныхъ.

XIV.

Послѣ всего, что мы сказали объ общественныхъ и нравственныхъ тенденціяхъ жоржъ-зандовскихъ романовъ и о характерѣ ихъ героевъ и героинь, „воспитательное“ значеніе этихъ романовъ выясняется само собою. Очевидно, оно равно нулю, и даже менѣе, чѣмъ нулю,—отрицательной величинѣ. Вмѣсто того, чтобы вносить въ ту среду, въ которой вращалась романистка, новыя идеи, возбуждать въ ней новыя стремленія, новыя чувства, она „Дѣло“, № 5.

воскрешала старыя, давно забытыя идеалы, она проповѣдывала мораль эгоизма. вмѣсто того, чтобы стараться привлечь всеобщее вниманіе къ тѣмъ „роковымъ задачамъ“, отъ разумнаго рѣшенія кото­рыхъ зависѣло все будущее ея среды, она, напротивъ, скользила по нимъ мелькомъ, постоянно выдвигая на первый планъ вопросы „прошлаго“, вопросы поколѣнія, сходящаго уже со сцены. вмѣсто того, чтобы расширить сферу человѣческихъ интересовъ и человѣческихъ обязанностей, она ограничивала ихъ узкимъ, замкнутымъ кругомъ семейныхъ отношеній. Однимъ словомъ, вмѣсто того, чтобы просвѣтлять и очищать общественное сознаніе, она его путала и затемняла; вмѣсто того, чтобы содѣйствовать его развитію, она его притупляла.

Не имѣя никакого воспитательнаго значенія, романы Жоржъ-Зандъ еще менѣе могутъ претендовать на значеніе „наравописательное“, бытвое. Дѣйствительность въ нихъ постоянно идеализируется; изображаемые характеры заимствованы не столько изъ реальной жизни, сколько изъ собственной фантазіи автора; герои и героини имѣютъ лишь слабое сходство съ настоящими людьми и представляютъ собою, какъ мы уже сказали, не болѣе, какъ воплощеніе нѣкоторыхъ человѣческихъ чувствъ, преимущественно чувства „любви“, въ различныхъ его формахъ и проявленіяхъ. Анализъ этого чувства составляетъ самое существенное содержаніе и главное достоинство всѣхъ ея романовъ. Ея воспитаніе, окружавшая ее съ дѣтства обстановка, не говоря уже о наслѣдственныхъ предрасположеніяхъ, выработали въ ней рѣдкую, изъ ряда вонъ выходящую способность подмѣчать и живо воспроизводить въ своемъ умѣ всѣ свои самыя микроскопическія душевныя волненія, всѣ мельчайшія составныя частички переживаемыхъ ею чувствъ и настроеній. Благодаря этой способности, ея анализъ отличается такою глубиною, точностью, и, если можно такъ выразиться, такимъ изяществомъ отдѣлки, которыхъ не удавалось достигнуть до нея ни одному французскому романисту. Впрочемъ, едва-ли мы ошибемся, если скажемъ, что и въ настоящее время она не имѣетъ по этой части достойныхъ себѣ соперниковъ. Но, съ другой стороны, ея анализъ страдаетъ однимъ весьма существеннымъ недостаткомъ: онъ слишкомъ субъективенъ. Жоржъ-Зандъ не наблюдаетъ и не изучаетъ характеры окружавшихъ ее

людей, она созерцаетъ только самое себя и изъ этого-то самозерцанія черпаетъ весь матеріалъ для своей творческой дѣятельности. Отсюда само собою понятно, что ея анализу можетъ быть доступна лишь весьма ограниченная сфера чувствъ, именно лишь тѣ чувства, тѣ душевныя состоянія, которыя ей приходилось всего чаще лично испытывать, которыя ей были „привычны“, родственныя, ближе всего знакомыя. А ближе всего ей были знакомы и чаще всего ей приходилось переживать душевныя волненія, сопровождающія различныя семейныя привязанности съ одной стороны, различныя проявленія чувства половой любви и религіознаго чувства—съ другой. Этими-то весьма не разнообразными репертуаромъ и ограничивается сфера чувствъ, вполне доступныхъ ея анализу. Каждый разъ, когда Жоржъ-Зандъ переступаетъ за предѣлы этой сферы, когда она пытается воплотить въ конкретные образы такія душевныя состоянія, которыя были совершенно чужды ея духовному міру, она впадаетъ въ нелѣпныя преувеличенія и создаетъ характеры невозможные и возмутительные по своей психологической неправдѣ. Таковы, напр., характеры: барона Вольдемара (въ *L'homme de peige*); семейство Мопра (въ *Maургат*), безумнаго священника въ „Лелии“, молодого графа Рудольштадскаго (въ *Consuelo* и *La Comtesse de Roudol.*) и нѣкоторые другіе. Впрочемъ, такъ-какъ она очень рѣдко рѣшается дѣлать экскурсіи въ невѣдомыя ей области чувствъ, то въ общемъ ея романы представляютъ весьма много цѣннаго психологическаго матеріала. Въ этомъ отношеніи ихъ значеніе не подлежитъ сомнѣнію или, по крайней мѣрѣ, подлежить въ гораздо меньшей степени, чѣмъ въ отношеніяхъ воспитательномъ и бытовомъ.

Послѣ декабрьскаго переворота романистка удалилась со сцены общественной дѣятельности и предалась исключительно своимъ литературнымъ работамъ. Въ настоящее время она пишетъ, однако, очень мало, да и то, что пишетъ, не отличается уже прежними достоинствами: это не болѣе, какъ варіаціи на старыя темы,—варіаціи въ достаточной степени скучныя и однообразныя. Впрочемъ, начиная съ 60-хъ годовъ (и даже раньше), ея ро-

маны уже перестали производить то впечатлѣніе, какое они производили въ былое время. И это немудрено. Въ умственной, нравственной и общественной жизни Франціи произошли, со времени Луи-Филиппа, довольно существенныя перемены, но Жоржъ-Зандъ не хотѣла ихъ замѣчать, она упорно держалась тѣхъ-же традицій, тѣхъ-же идеаловъ, интересовалась тѣми-же вопросами, какъ и 20 лѣтъ тому назадъ. Ея публика перестала ее понимать. При томъ-же лѣта давали себя знать. По мѣрѣ того, какъ она приближалась къ старости (теперь ей 72-й годъ), фантазія ея, отличавшаяся въ юности необыкновенною плодovitостью, постепенно ослабѣвала, ослабѣвала вмѣстѣ съ тѣмъ и способность живо воспринимать впечатлѣнія вѣшняго міра и воспроизводить ихъ въ живыхъ и яркихъ картинахъ; романы ея утратили юшескую свѣжесть и поэтичность (которыя, безспорно, въ прежнее время не мало содѣйствовали ихъ успѣху), въ нихъ стало преобладать сухое, старческое резонерство. Вообще Жоржъ-Зандъ, какъ романистъ, какъ поэтъ, умерла. Осталась г-жа Дюдеванъ, мирно и счастливо доживающая свои дни въ бабушкиномъ помѣстьѣ Ноганѣ. Читатели, которыхъ интересуеъ всякая „знаменитость“, хотя-бы отжившая свой вѣкъ и сошедшая со сцены, могутъ найти нѣкоторыя подробности о теперешней ея жизни въ слѣдующемъ письмѣ, написанномъ ею къ Луи Ульбаху. Письмо служить отвѣтомъ на его вопросы о томъ, что она подѣлываетъ и какъ проводить время въ послѣдніе годы. Повидимому, оно предназначалось для печати, по крайней мѣрѣ, Ульбахъ помѣстилъ его въ своихъ „Les contemporains“.

„Ничего интереснаго больше (послѣ событій 1848 г.) не случилось въ моей жизни. Наступила старость, очень спокойная, очень счастливая, услаждаемая семьею и лишь изрѣдка опечаливаемая чисто-личнымъ горемъ: смертью, разлукою и, наконецъ, тѣмъ общимъ состояніемъ тоски, которое мы испытываемъ съ вами отъ однихъ и тѣхъ-же причинъ... Я потеряла двухъ горячо любимыхъ внуковъ: дочь моей дочери (Соланжъ) и сына моего сына (Мориса). Но у меня остались еще двѣ премиленькія дѣвочки отъ его (т. е. Мориса) счастливаго брака. Со мной невѣстка, которая такъ-же мнѣ дорога, какъ и мой Морисъ. Дѣтямъ моимъ (т. е. Морису и его женѣ) я предоставила вести все хозяйство,

а сама забавляюсь съ дѣтьми; лѣтомъ занимаюсь немного ботаникою и предпринимаю длинныя прогулки (я, по-прежнему, отличный ходокъ). Наконецъ, если есть свободное время, пишу романы, часа два утромъ и часа два вечеромъ. Я пишу легко и съ удовольствіемъ; это для меня отдыхъ. Но за то моя корреспонденція, которая, какъ вы знаете, очень обширна, стоитъ мнѣ не малаго труда. Если-бы возможно было ограничиться перепискою только съ друзьями! Но меня со всѣхъ сторонъ осаждаютъ просьбами *); сколько бываетъ между ними самыхъ трогательныхъ и совершенно невинныхъ! Всегда, когда я могу что-нибудь сдѣлать, я отвѣчаю, въ противномъ случаѣ—оставляю безъ отвѣта. Нѣкоторые просители заслуживаютъ, чтобы для нихъ попытаться на что-нибудь, хотя и съ малою надеждою на успѣхъ. Тутъ уже приходится отвѣчать. Прибавьте къ этому еще переписку по личнымъ дѣламъ: въ день непремѣнно наберется, среднимъ числомъ, писемъ десять. Тяжелое бремя, но у cadaго должно быть свое!

„Я утѣшаю себя надеждою, что авось послѣ смерти переселюсь на какую-нибудь планету, гдѣ никто не будетъ умѣть ни читать, ни писать. Право, нужно быть довольно совершеннымъ, чтобы не чувствовать въ этомъ потребности. Въ ожиданіи-же этого счастливаго будущаго, здѣсь, на землѣ, приходится покориться своей участи.

„Если вы желаете знать о моихъ денежныхъ обстоятельствахъ, то опредѣлить ихъ не особенно трудно. Мои счета не запутаны. Я своимъ трудомъ заработала около миліона, но не отложила ни сантима: все раздала (?). Что-же касается до моихъ средствъ къ существованію, то я всегда жила изо дня въ день, тѣмъ, что зарабатывала, и, нахожу, что это самое лучшее. Не о чемъ заботиться и воровъ не боишься. Теперь, когда хозяйство лежитъ на рукахъ дѣтей, я каждый годъ дѣлаю небольшія поѣздки по Франціи; ея отдаленные уголки мало извѣстны, а между тѣмъ они не менѣе прекрасны, чѣмъ и тѣ мѣстности, любоваться которыми ѣздить такъ далеко. Эти живописные уголки служатъ какъ-бы рамками для моихъ романовъ. Я люблю самой видѣть то, о чемъ

*) Жоржъ-Зандъ жаловалась на это еще въ „Histoire de ma vie“, см. т. IX, с. X.

пвшу. Это значительно упрощаетъ всякія розысканія и изслѣдованія. Если мнѣ приходится сказать о какой-либо мѣстности всего какихъ-нибудь два-три слова, я и тогда все-таки предпочитаю говорить о ней по личнымъ впечатлѣніямъ. Такимъ образомъ по возможности избѣгаешь ошибокъ.

„Все это весьма обыкновенныя вещи, дорогой мой другъ, а когда имѣешь такого біографа, какъ вы, то хотѣлось-бы быть такимъ-же великимъ, какъ пирамиды, чтобы, по крайней мѣрѣ, стоило надъ чѣмъ остановиться.

„Но я не могу уже вырости. Я самая обыкновенная, простая женщина (bonne feshne), хотя нѣкоторые и старались придать мнѣ какой-то ужасный, невообразимо-звѣрскій характеръ.

„Меня обвиняли также въ томъ, что я не понимаю страстной любви. Мнѣ самой кажется, что я всегда жила дружбою и что этимъ можно удовольствоваться.

„Теперь, славу богу, больше отъ меня любви не требуютъ, и на меня не жалуются даже тѣ, которые хотятъ меня любить, несмотря на то, что обстановка моя очень скромна и я совсѣмъ не отличаюсь блестящимъ умомъ.

„Веселю я осталась по-прежнему, однако, я никогда не беру на себя инициативы забавлять другихъ; когда-же они сами хотятъ забавляться, я съумѣю имъ помочь.

„Я не сомнѣваюсь, что у меня должны быть большіе недостатки, но я, какъ и вообще всѣ люди, не сознаю ихъ. Точно также я не сознаю и своихъ достоинствъ. Много я думала о томъ, что такое истина, и при этомъ мое „я“ все болѣе и болѣе стиралось и отодвигалось на задній планъ. Мнѣ кажется, что когда люди поступаютъ хорошо, имъ нечего этимъ вѣлчаться; они дѣлаютъ только то, что находятъ вполне логичнымъ,—вотъ и все. Когда-же они поступаютъ дурно, то, конечно, происходитъ это оттого, что они не сознаютъ истиннаго характера своихъ поступковъ. Если-бы они сознавали, то и поступали-бы они иначе. Вообще я не признаю зла, я признаю одно лишь *невѣжество*“.

П. Гр—ли.

СЪ СѢВЕРА НА ЮГЪ.

РОМАНЪ

КНИГА ВТОРАЯ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Весна.

Съ вечера надвинулись съ юга темныя, дождевыя тучи; теплый, душный такой туманъ поднялся отъ земли, и заволокло этимъ туманомъ и степь далекую съ ея курганами и киргизскими могилами, и камышевыя заросли, что далеко на востокъ разстилались, и городъ съ его крѣпостью, съ экспланадою, съ чахоточными, оголенными палисадниками, съ казеннымъ садомъ-пустыремъ, съ улицами длинными, грязными, съ предмѣстьями и выселками, съ огородами и базаромъ, стихнувшимъ къ ночи, лавки свои да навѣсы торговые позапиравшимъ... И чуть-чуть мигали въ этомъ туманѣ красноватыя звѣздочки — огни въ окопкахъ, чуть-чуть маячили свѣтлыми пятнами костры киргизскіе, что на томъ берегу орда табунная грѣться разложила, камышу дарового не жалѣючи.

А къ полуночи степнымъ вѣтромъ пахнуло, туманъ разогнало, словно руками завѣсу эту влажную раздвинуло; крупныя капли теплаго дождя забарабанили по плоскимъ крышамъ, по обнамъ, бумагою заклееннымъ, по хребтамъ да ребрамъ скотины безпріютной, ночевавшей въ степи да на дворахъ открытыхъ. За круп-

вѣми каплями повалили другія, помельче... чаще и чаще, гуще и гуще... слились въ цѣлыя струи и потомъ, словно изъ ведра, теплый ливень — „лѣтникъ“. Всю ночь до разсвѣта лилъ не переставаячи, а какъ проглянуло солнышко къ утру-то, зимы да снѣгу словно и въ поминѣ не было. Гдѣ и былъ еще по канавкамъ да сѣвернымъ склонамъ холмовъ снѣжокъ залежавшійся, и тотъ смыло, извело этимъ дождемъ, съ югу пришедшимъ; взломало ледъ на Сырѣ-рѣкѣ и понесло его пластинами размокшими внизъ, къ морю Аральскому. Да и льду-то этого немного оставалось, у береговъ только; середина вся прошла еще на той недѣлѣ, послѣ трехдневной сыррой оттепели.

Пронеслись дальше къ сѣверу ночныя тучи, безъ слѣда исчезли на небѣ. Голубымъ покровомъ раскинулось надъ черной, раскисшею землею весеннее небо и заиграло на немъ яркое солнышко; жарко такъ разыгралось, словно все просушить поспѣшаетъ, торопится... озабшій народъ согрѣть да распарить старается... Поснимали наши мужики свои рваные полшубки, затасканные, другъ на дружку поглядываютъ, ухмыляются.

— Эвона, братъ, какъ здѣсь! У насъ въ лѣсной сторонѣ, на Волгѣ, въ эту пору еще на саяхъ ѣздить... Морозы вѣдъ стоятъ какіе!

— Благодать Господня, одно слово! Самныя тѣ страны это и есть, куда птица разумная, перелетная отъ нашей зимы спасается.

— Нѣтъ, та страна еще того подальше будетъ; мнѣ давеча на базарѣ вѣрный человекъ про то сказывалъ, та сторона подальше.

— Одначе и тутъ ничего, первый сортъ, вольготно!..

— Чего-же лучше, слава те Господи!

И забыли разомъ согрѣвшіеся на весеннемъ солнцѣ Христовы работнички всѣ свои бѣды зимнія, всякія лиха и напасти, холодами да вьюгами нагнанныя.

Хорошо работаетъ ретивое солнце. Густѣетъ грязь на дорогахъ, колес да тропы пѣшеходныя приминаются, крѣпнуть. Свѣтлѣютъ просыхающіе холмы да бугры степные. Не прошло и не-

дѣли—глядятъ: тамъ и сямъ пыль отъ вѣтра поднимается, въ воздухѣ крутится, надъ степью столбами носится.

Чище сталъ городъ выглядывать, побѣлѣли стѣны и заборы глиняные, покидалъ народъ свою одежду зимнюю, все какъ-то по-пестрѣе да веселѣе на базарѣ и улицахъ стало.

А тамъ и трага степная начала пробиваться, ей вѣдь недолго. Свѣжимъ, ярко-зеленымъ коврикомъ покрылась вся степь, только дороги на ней виднѣются сѣрыми лентами, да поля вспаханныя; огороды, съ осени подготовленные, зачернѣлись полосами да клиньями, словно заплаты черныя, на зеленое сукно нашитыя.

А тамъ и цвѣты запестрѣли, степные, вольные: желтые одуванчики, лиловые ирисы, ярко-голубая, словно бирюзовая, циборія, иванъ-да-марья глазастая. Почки на вѣткахъ налились и лопаться начали, зазеленѣли сады-палисадники городскіе, даже казенный садъ-пустырь какъ-то праздничнѣй сталъ выглядывать, словно нищій сѣрягъ-калѣка шапку на бекрень надвинулъ, гармонию взялъ въ костлявые пальцы да, глядя на людей, сталъ за ними британцовывать.

Закопошились въ густыхъ камышахъ „новогонныхъ“ *) безчисленные утинные выводки, запорхали долгохвостые фазаны въ кустарной чащѣ, долгоногія цапли по отмелямъ рядами вытянулись, засновали чайки надъ рѣкою цѣлыми стаями, жаворонки столбомъ прямо вверхъ отъ земли подниматься начали, забѣгали по низамъ перепела да куропатки степныя, заползали другъ за другомъ черепахи неуважлія, ящерики въ песокъ рыться начали и засвистали у своихъ норокъ неотвязныя, прожорливыя суслики, хлѣбопашцу-святелю первые вору-разбойники.

Ожили степи, ожили воды, ожилъ воздухъ, ожило даже все въ землѣ, подъ кореньями, и тамъ всякая нечисть закопошилась.

Ожилъ кочевой народъ, какъ саврасъ безъ узды по степи носится, ожилъ и горожанинъ, и полевой человекъ; всѣ изъ домовъ повылѣзли и стали снаряжать, къ работѣ готовить всю свою сбрую земледѣльную.

А работа весенняя—дѣло спѣшное, иѣшкать имъ не приходится.

*) Мѣстное выраженіе, которымъ называють молодые весенніе побѣги камыша и прибрежной осоки.

Скоро солнце изъ друга любезнаго злымъ недругомъ сдѣляется, оно не долго человѣку мирволить будетъ; коли успѣлъ что уладить, ну и радуйся, прозѣваль — послѣ наплачешься.

Сталь Никонъ Денисьичъ провѣрять свою волость безшабашную, силы полевныя считать да вымѣривать, хозяйство общественное, давно имъ задуманное, слаживать.

Поклонился міру, просилъ на сходку собраться. И стали въ указанный день сходиться къ его дому Христовы работнички.

II.

СХОДКА ВЪ ПОЛТОРА ЧЛОВѢКА.

Къ Никонову дому собралась наша сходка. Было это утрожь, не такъ чтобы рано очень, часу въ десятомъ. Солнышко уже сильно припаривало, чуть просыхать стала топкая улица нашего поселка, а на самомъ мѣстѣ, гдѣ сходка собралась, тамъ совсѣмъ хорошо было, особливо около самой заваленки... Хозяинъ догадливый даже песочкомъ посыпалъ это мѣсто, и давно уже поджидаль тутъ, пока всѣ соберутся. Марина — та не вышла, отворила окошко и сѣла около; ей и видно все, и слышно; чего-же лучше? А Степанъ со двора глядѣль, на ворота опершись.

— Православные... началъ-было Никонъ Денисьичъ, да и сталъ тутъ всю сходку глазами обводить, а къ сходкѣ этой собралось всего-на-всего мужиковъ шестеро душъ да женскаго пола съ дюжину. Совсѣмъ мало народу, да что подѣлаешь, коли весь тутъ?

Крякнулъ инда обозный староста, почесалъ съ досады загривокъ.

— Вольному воля, говорить, — спасибо, что хоть столько собралось, чаялъ, что и того не будетъ. Только не знаю я, братцы мои, говорить-ли мнѣ вамъ что, совѣтовать, аль ужъ не надо, чтобы на вѣтеръ слово свое не пущать, не звонить въ пустой колоколь?

— Что-же такъ? Ничего! Говори, все единственно, рѣшилъ Дементій Трифоновъ.

— Пуцай сказываетъ, согласился Савелій-Рыжакъ, — отчего хорошихъ словъ не послушать. Говори, что-же. Дакося я присяду маленько къ стѣночкѣ.

— Убери своего пискуна, баушка. Вишь онъ какъ голосить, инда по уху рѣжетъ. Проваливай съ нимъ отседова подалѣ! зыкнула на Дарью, Савельеву хозяйку, розовая рубаха, по бѣлому полю горошкоомъ, съ красными кумачевыми ластовицами.

— Не мѣшай, бабы!

— Ишь ты, ребенокъ ему погѣха... душенька ангельская. Ну, цыцъ, родимый, цыцъ! Молчи, глухой, на бараночка, на!..

— Знать ужъ вамъ на роду такъ написано, вымолвилъ Никонъ, — чтобы самимъ своею охотою въ петлю лѣзть. Что-жь, и лѣзте, коли сласть въ томъ находите. Разбрелись по чужимъ угламъ, къ чужому дѣлу, своего строить не хотите. Можетъ оно и легче батрачить спервоначалу кажется, да только, смотри, напредки какъ-бы не напакаться.

— Да вѣдь не всѣ ушли, мы вотъ остались, заговорилъ Савелій-Рыжакъ; — пуцай, думаешь, идутъ, Богъ съ ними! А мы — нѣтъ, не проведешь, тоже не въ лапотъ щи вливаемъ. Мы вотъ остались, чтобы, значить, всѣмъ вмѣстѣ, какъ ты по осени сказывалъ. Вотъ оно что! Такъ-то!

— Да, братъ, эвона какъ! поддакнулъ Евсѣй, тоже рыжий, Савелью подмастокъ.

И оба соврали, шибко-таки соврали мужики, потому хоть и остались они, точно, да не по своей волѣ, а по той причинѣ, что не попали они въ наборъ Саввы Вуколыча, прозѣвали и у Абрама Моисѣича. Вотъ теперь и утѣшаются себѣ, куражуются.

— Ну да ладно! сказала имъ Никонъ Денисьичъ, чуть-чуть усмѣхнувшись. — Слушайте-жь, братцы.

И затихла вся сходка, стали всѣ къ слову выборнаго старосты обознаго прислушиваться. Кто присѣлъ на заваленку, кто такъ стоять, переминается.

— Вотъ оно когда время наше подошло, и терять это время намъ нельзя, не приходится, потому упустишь день, въ недѣлѣ его не наверстаешь, это вѣрно, по здѣшнему по положенію. Первона-перво соберите всю скотину, что осталась къ работѣ пригодная; коли сладимъ четыре плуга, по три пары каждый, и слава

тѣ Господи! Двѣнадцать паръ, считаль я, пожалуй найдется. Всѣ сообща въ поле выѣдемъ и за работу примемся. Безъ счету, безъ торгу всакъ всю свою силу къ дѣлу прикладывай. Не лукавь, гляди на поле, какъ на исповѣдь, все одно, какъ ежели у попа на духу стоишь,—значить, не утаивай. Не гляди на то, что ты вотъ четыре живота вывелъ, онъ двухъ только: счетъ всѣмъ послѣ ровный будетъ. Моя вотъ скотина и лучше вашей, и больше ея, а я съ вами этимъ считаться не стану, всю на мѣрскую работу вышлю.

„Приглядѣлся я къ хозяйскому порядку здѣшнему; во какъ его пональ. Слушайте-же вы меня всѣ, Христа-ради. Худого ничего не присовѣтую, а прикажу ежели что, вѣрьте—все мѣру на пользу. Сами вы видите, сами знаете: и одинъ я безъ васъ проживу, одинъ справлю свое дѣло, да не хочу его отъ мѣрскаго отваливать... глядѣть мнѣ тошнеховько на нашъ разладъ и передъ чужими людьми за васъ совѣстно...

„О сѣмянахъ поствѣнныхъ не печальтесь: будутъ намъ сѣмяна. У Габина, Ивана Александровича, все ужъ я подъ работу покосную выпросилъ; общаль дать. А у него какая пшеница, чай, сами видали, первый сортъ, ядренаа!..

„Въ недѣлю, дастъ Богъ, покончимъ съ пахотью, засѣмъ, заволочемъ по-здѣшнему, тамъ за канавы примемся. Пока еще земля съ просырью, пуцай ее печеть солнышкомъ, а какъ просохнетъ совсѣмъ, заолодитъ, тутъ и наша работа приспѣветъ. Проведемъ воду отъ самаго Сыра-рѣвки, а спущать ее будемъ въ болотину, что недалече отъ нашего поля ложиною тянется. Видали, чай, сами. А съ канавою этою пуцай его жарить солнцемъ. Засуха намъ не страшна, дожда ждать не станемъ, своя вода подъ рукою, только пуцай ее сколько требуется.

„Кажинный день безъ прогулу работавши, все въ свое время поспѣветъ; вѣстимо не такъ ходко, кабы ежели не разбрелись вы, ребята, да всею какъ есть волостью. Ну, да Богъ съ ними. На будущій годъ, чай, всѣ вернуться, похлебавши на рыбалкахъ не солоно, коли не затянетъ имъ петлю Савва Вуколычъ вашъ еще на годикъ, онъ вѣдь на это первый мастеръ по округѣ считается.

„Ну, въ ту пору поля прибавимъ собѣ, земли намъ здѣсь

волю отведено. Съ однимъ поспѣемъ, другія подойдутъ работы. Сѣнокосъ настанеть, опять чтобы сообща да вмѣстѣ. Какъ сбережъ добро, дѣлешь дѣло не трудное: отложили сѣяна, а остальное все, на каждую душу, по-ровну. И проживете вы безъ нужды да въ сытѣ будущую зиму, не то, что нынѣшнюю. Урожай здѣсь отлѣнные, всѣмъ волю хватить и на продажу останется. Мы-же льготные, податей не платимъ, все, значить, въ домъ, а не изъ дому...

„Только одно скажу я вамъ, братцы, — все то-же самое: слушайте меня во всемъ да лихого человѣка сторонитесь подалше, а гдѣ эти люди лихіе водятся, про то сами догадывайся... Ладно, что-ли?..

— Ежели такъ, какъ ты говоришь, ужъ на что ладнѣе... первый сортъ! весело тряхнулъ головою своею съ просѣдью Дементій Трифоновъ.

— За сѣянами сейчасъ идти къ Габину, ась? полюбоществовала розовая рубаха.

— Погоди, землякъ, больно прытокъ... У меня съ Иваномъ Александровичемъ насчетъ сѣянь такой уговоръ былъ, чтобы на покосъ десять человѣкъ косцовъ ему предоставить, на двѣ недѣли, по шести гривенъ за человѣка; значить, въ день шесть рублей выйдеть, въ недѣлю это — сорокъ два, а въ двѣ недѣли безъ шестнадцати рублей — сотенная; на эту всю цѣну отпустить онъ намъ впередъ пшеницы сѣянной, со скидкой супротивъ торговой цѣны полтинника на четверть... эвось какъ! А мы, таперича, должны поруку ему дать, что въ свое время безотлѣвно, безъ отговору на работу къ нему должны вывалить, съ своими чтобы косами, а харчи его, габинскіе... Согласны на этотъ уговоръ, что-ли, ребята?..

— Это какъ-же, постой! выдвинулся впередъ Савелій-Рыжакъ; — по шести гривенъ... что больно дешево!.. Дядя Василій баялъ давеча, что въ ту пору меньше, какъ за рубль, косца достать невозможно, а то и дороже платять... А ты по шести гривенъ... ишь, больно ловокъ!..

Глянулъ на него сурово такъ Никонъ Денисьичъ.

— Что-же, говорить, — вѣрно Василю лучше знать дѣло надо, онъ вѣдь всегда міру первый другъ былъ, первый радѣльщикъ. А

почемъ онъ самъ жиду тому вашихъ-же работниковъ на восьмь годъ продалъ?

— Да мы не къ тому, а ровно какъ-будто обидно... замаялся Савелій-Рыжакъ, — потому...

— Потому, голова твоя умная, жди, пока приспѣетъ то время, когда по рублю давать будутъ, а пока насидишься безъ хлѣба да безъ сѣмянъ. Рубль-то этотъ тебѣ во гдѣ придется! А тутъ добрый человѣкъ напередъ все тебѣ предоставляетъ, на вѣру даетъ. Ты за это долженъ вѣкъ Богу за него молиться, благодѣтелемъ звать. Подь, сунься, займи сѣмянъ у другого, онъ тѣ ввалитъ эти сѣмяна самыя, во все лѣто не отработашь... Такъ-то.

— Пуцай ставить міру полтора ведра, мы, значить, согласны! хлопнула рука объ руку розовая рубаха. — Пуцай ставить — и шабашъ! хопь сейчасъ руки приложимъ, намъ все единственно...

— Нѣтъ, братъ, ты отъ него этого не жди, не разѣвай ротъ широко на хлебово, усмѣхнулся Никонъ Денисьичъ. — Ему не модель за свое-же добро людей спаивать; человѣкъ онъ не изъ таковскихъ, не сродни Бородину да жидамъ разнымъ... Ну, такъ сказывай, братцы; мнѣ нынче вечеромъ съ отвѣтомъ къ нему идти надо, уговоръ кончить.

— Ладно! рѣшилъ Дементій Трифоновъ.

— Пуцай такъ! киннулъ головою Евсѣй, тотъ самый, что какъ-то зимою со Степаномъ-Малышемъ за топливомъ вѣстѣ вѣздили.

— А мы несогласны! рывнула розовая рубаха.

Инда мужики всѣ, взглянувъ на нее, сплюнули.

— Не замай его, пуцай проснитъ, шепнулъ Никону Степка. — Вишь онъ съ раннаго утра, теплаго дня ради, какъ насосался, оттого и бахвалится.

— Такъ давай руки, Господи благослови; чтобы вѣрно, крѣпко, нерушимо было слово мірское, я за него отвѣтчикъ, сказалъ Никонъ Денисьичъ. Снялъ шапку, перекрестился и протянулъ свою широкую, медвѣжью лапищу Дементію Трифонову.

Тотъ хлопнулъ по протянутой рукѣ своею, подержалъ ее малость времени, перекрестился тоже и отошелъ въ сторону. За нимъ стали подходить другіе. Всѣ руки дали. Подошла и розовая рубаха, размахнулась, словно топоромъ на колоду хлопнула.

— Довою ты паренъ, сказываетъ. — На, получай! А безъ вина мы все-жъ-таки не согласны. Да ты попроси, другъ малый... дасть, ей-богу, дасть. Ну, хоть полведерочка на всѣхъ... право слово!..

— Эй, баушка Арина, тащи его въ сарай; пушай его вылежится, попросохнетъ, крикнулъ Дементій Трифоновъ.

— Я-то... я ничего. Я отъ міра не пачусь. По шести гривенъ, сказывалъ? Хошь даромъ пойду?.. Косарь я вѣрный, первый сортъ... я во какъ!..

Размахнулась опять розовая рубаха, захотѣла показать міру, какъ это она восою лихо дѣйствуетъ, да и угодила плашмя въ грязь, такъ и запрокинулась. Стала ее оттуда поднимать баушка Арина, помогли ей, спасибо, Савелій да Евсѣй рыжіе.

— Вотъ этого зелья пуше всего оберегайтесь, произнесъ Никонъ Денисьичъ. — Всякому дѣлу отъ него первая порча выходитъ. Такъ я, ребята, пойду къ Ивану Александровичу?..

— Съ Богомъ, Никонъ Денисьичъ, поклонились мужики. — Мы, значитъ, согласны.

— Ишь ты, на сходку собрались тоже; согналь паренъ міръ въ полтора человекъ. Гляди, не распусти и послѣднее войско... усмѣхнулся дядя Василій, пріостановившись, какъ-разъ въ эту пору, проѣздомъ по улицѣ.

III.

За плугомъ.

На другой-же день послѣ сходки и выѣхали всѣ въ поле; ходко такъ принялись за дѣло; сгоряча глазъ такъ на работу и зарится, руки зудятъ да чешутся.

Плуги Никонъ всѣ приладилъ по-своему, какъ онъ у казаковъ высмотрѣлъ, по-здѣшнему, мѣстному, съ однимъ колесомъ на выхватъ, ось наискось, когда катится, плугъ на бокъ клонить, глубже въ землю сошники забираются и шире пласть подрѣзываютъ.

Запримѣтили мѣсто, съ котораго начинать, да такъ и пошли махать, земли не размѣряючи, сколько выйдетъ по силамъ ихнимъ.

Пока два плуга только сладились, а то скотина не годилась, больно отошала за зиму, силу всю поистратила отъ безкормицы; надо было поправить ее спервоначала, дать ей на новой травѣ выгуляться. Такъ и сдѣлали.

Первымъ за плугомъ пошелъ самъ Никонъ Денисычъ, за нимъ Дементій Трифоновъ на Степановыхъ волахъ; въ первый-же день, почитай, десятину подняли... А земля такая оказалась гожая, даромъ-что сѣрая, такъ подъ плугъ сама и просится. Отъ пластовъ вывороченныхъ теплый паръ поднимается, духъ такой хороший, хлѣбный пошелъ; ложись просто подъ пластъ, самъ выростешь.

— Только воду пушай на нее лѣтомъ, въ свое время, приговаривалъ Никонъ;—таку тѣ силу нагонить. Я знаю... Въ поляхъ будетъ...

— Далече вода-то эта? брало сомнѣнье другихъ.

И чудно казалось имъ: какъ это воду они проведутъ свою, отъ рѣки самой,—эва, гдѣ она эта рѣка, далече!.. Опять-же въ гору дѣло выходить, да и немалую, какъ тутъ ее поднимешь? Ну, вотъ и задумывались. И Никону-то вѣрится, и на дѣло глядя беретъ раздумье.

— Была уже здѣсь вода проведена, говоритъ имъ на то Денисовъ пріемнишъ.—Я еще по осени эти вотъ всѣ канавы заросшія разглядывалъ. Эвона ихъ сколько! Тоже, чай, не даромъ ихъ рыли; кто-нибудь до насъ работалъ-же на этихъ мѣстахъ. Сказывали: орда здѣсь сидѣла, такая, какъ и мы вотъ, полевая; только давно это дѣло было, почитай еще много до приходу русскаго человѣка. Вотъ мы по ихъ готовымъ канавамъ и пустимъ воду, только разчистка настоящая имъ требуется. Такъ-то...

— Тебѣ ужъ лучше знать, говорили смиренные мужьки.—Ты голова, мы твои руки, что кошь, то и дѣлать будемъ, извѣстно, потому, какъ значить, оно... ежели безъ головы... одно слово, что укажешь.

И откуда только набралось у нихъ этого смиренія, какииъ его вѣтромъ нагнало, откуда?.. До того, бывало, какии бахвллами ходили мимо Никона, особливо какъ перехватятъ гдѣ да потокуютъ допрежь съ другимъ старостой, что въ кибиткѣ сидитъ, киргизъ-киргизомъ, да ихъ волостью своею величаетъ.

— Вотъ это любо мнѣ, такъ-то любо, сказывалъ, въ тотъ-же вечеръ, Степанъ-Малышъ Маринѣ. — Ладно да въ мирѣ, душа, значить, въ душу.

— На долго-ли?.. качала головою Денисова внучка.

— На-вѣкъ! увѣренно такъ говорилъ Степанъ. — Ужь это на-вѣкъ! потому, сами видать, настоящее дѣло пошло... слѣпому быть надоть.

Вернулись съ поля къ ночи совсѣмъ, темно ужъ стало. Притомились сильно; такъ ко сну и валить, особенно какъ поужинали до-сыта.

— Коли такъ-то еще дней пятокъ, всю пашню одолѣмъ, за посѣвъ примемся, межъ собою толькуютъ мужики.

Въ тотъ-же вечеръ порѣшили и съ другимъ дѣломъ. Поле ихнее безъ малаго четыре версты отъ слободки лежало, на проходъ много времени тратится. Время-же стоитъ теплое, можно и въ полѣ ночевать. Чего-жь лучше!.. Построить шалаши какіе ни на есть, да и перебраться туда на все это время рабочее. И для скотины первая паства, и подъ глазомъ хозяйскимъ скотина эта пасется, все подъ руками.

Никонъ этому дѣлу не перечилъ, потому видитъ: резонъ. Да и дома-то у мужиковъ были такіе, что на дворѣ, пожалуй-что, и безъ шалаша, много лучше выходить.

— А какъ-же насчетъ печки? попытали-было бабы, — стряпать-то какъ-же?

— Варить-то да печь нечего въ печахъ вашихъ, сказали имъ мужики, — а кашницу какую ни на есть и на огонькѣ состряпать можно, въ котелочкѣ, на трехъ вилочкахъ, по-киргизскому... чудесно!..

Смѣются, потѣшаются, весело всѣмъ стало такъ. Розовая рубаха опять уже гдѣ-то нарѣзаться успѣла, мычитъ: „Благодѣтель поднесъ“, и туда, на кибитку Васильеву, пальцемъ тычетъ, указываетъ.

Снарядили воза два за камышемъ, къ завтраму, для шалашей; собрался ѣхать опять Степанъ-Малышъ, а съ нимъ и Марина по-размяться захотѣла. Еще за нею бабы три увязались. Дѣло легкое камышъ этотъ рѣзать, самое бабье.

— А я, братъ, ни-ни, тихонько сказалъ Малышу Никонъ Де-
„Дѣло“, № 5.

нисъичь. — Таперь я ужъ ихъ съ глазъ своихъ не спущу. Пока что дѣло спѣшное, надо за ними приглядывать, а то сразу сблудятъ.

И повосился обозный староста, голова всему дѣлу, въ ту самую сторону, куда розовая рубаха пальцемъ указывала.

IV.

Въ камышахъ.

Прибыли на мѣсто наши бабы... Вереть за сорокъ отъѣхали отъ города. Далеко отошли камыши, къ дѣлу пригодные, да и эти, спасибо, уцѣлѣли какъ-то за зиму... Молодого-то камышу, зеленого, много засѣло кругомъ, а стараго только и осталось, что на островѣ, отъ берега сажень съ десятокъ; попасть туда съ возами никакъ невозможно; на берегу и стали. Воловъ отпирягли, пастисъ пустили, а у возовъ яремные концы приподняли, одежи кое-какъ понавѣсили, шатерь отъ солнышка сдѣлали...

Стали на мѣсто около полудня, на другой день какъ изъ дому выѣхали... Совсѣмъ новая сторона! Стенанъ разокъ былъ здѣсь, да давно, чуть только вспомнилъ... Къ тому-же зимою мѣсто это совсѣмъ иначе выглядывало, только и узналъ его Малышъ по бурганчику маленькому, на которомъ изъ камней куча была сложена, а на самомъ верху этой кучи бѣлѣлась голова воловья, одинъ черепъ, съ рогами; на черепѣ, промежъ роговъ, сидѣлъ беркутъ быстроглазый, да улетѣлъ, какъ только скрипъ возовъ мужичьихъ слышалъ...

Широко Сыръ-Дарья разливалась близъ этого мѣста, ближе къ берегу по ней островки виднѣлись, которые густо камышемъ да осокою заросшіе, которые совсѣмъ голые, чуть только изъ-подъ воды выглядывали...

Въ сухую пору всѣ эти острова съ берегомъ сходятся, а теперь время разливное, первое половодье... Далеко вода пришла въ степь; во всякой ложбинѣ, по всякому мѣсту низкому стоитъ эта вода озерами... Тихо на этихъ озерахъ за то, — не шелохнется ни одна струечка. Небо ясное, синее такое, наверху раскинулось;

бѣгутъ по нему облачка бѣлоснѣжныя. И небо это, и облака всѣ въ водѣ озерной отражаются; а въ Сыръ-Дарьѣ вода мутная, глинистая, несетъ по ней разный соръ да мусоръ, съ береговъ смытый; грязною пѣною края острововъ окаймляются, а на островахъ-отмеляхъ видимо-невидимо куличковъ бѣгаетъ; инда въ глазахъ пестрятъ на красномъ пескѣ эти бѣлыя птички, долгоносыя, съ темными крылушками. Рѣзвится тварь божья, въ прибоѣ себѣ пищу разыскиваетъ, въ пескѣ роется, межъ собою ссорится... Пискъ и гамъ стоитъ надъ рѣкою и нѣтъ имъ дѣла до человѣка чужого, не боятся вовсе... А на затонахъ утки дикія плаваютъ, въ зеленой осоки снуютъ ярко-желтые шарикъ—утеночки... Въ сырой травѣ ползетъ, извиваясь, ужъ степной, пятнистый, отъ шуму межъ кочекъ хоронится.

А кругомъ даль безконечная, синяя... Въ одной сторонѣ только желтѣютъ бугры песчаные, да далеко только, пожалуй въ день не доѣдешь.

Не видать жилья никакого, не видать человѣка бродячаго, скотина нигдѣ не пасется... Кто пришелъ, становись тутъ полнымъ хозяиномъ, забирай что хочешь... Запрету нѣтъ... Все вольное, Божье... ни межей, ни столбовъ съ помѣтками нигдѣ не поставлено.

Когда пріѣзжали сюда землемѣры казенные, года четыре назадъ, а то и побольше, такъ такъ они эти приволья межъ двумя аулами дѣлили—однимъ вольнымъ, а другимъ, что къ городу приписался, кочевое дѣло свое оставилъ.

— Станешь ты на западъ рыломъ, вразумляли они тогда старшинъ выборныхъ,—такъ стань, чтобъ конь твой ушами въ сторону глядѣлъ, а хвостомъ вонъ въ эту... Все, что въ правую руку, будетъ ваше, а что влѣво—не ваше. Поняли?..

— Джаксы!.. (хорошо, значить), говорятъ степные люди,—джаксы, поняли.

А какое—поняли! Всѣ на коняхъ пріѣхали, вершиками, кони то не хотятъ стоять смирно, подъ сѣдломъ крутятся, который такъ, а который эдакъ норовить повернуться... Ваякъ и понялъ по-своему...

Остались степные люди много довольны, поклонились землемѣ-

рамъ чѣмъ слѣдуетъ по порядку, обычаю заведенному, и разѣхались по своимъ кочевьямъ.

Съ тѣхъ самыхъ поръ и пошли каждое лѣто изъ-за сѣновоса да камыша споры между аулами, до драки не разъ дѣло доходило и безъ грѣха порою не обходилось... А до той поры, пока не пріѣзжали землемѣры, ничего, мирно шло дѣло; всякому всего вдосталь хватало.

Какъ только настануть теплые дни, такъ сейчасъ всѣ аулы, что здѣсь зимовали по близости, дальше въ пески отъкочевываютъ, потому и въ пескахъ пока хорошо, много корму хорошаго овцы находятъ, а къ срединѣ лѣта, когда въ пескахъ вся весенняя трава повьгорить отъ солнца да безводицы, ну, тогда опять на эти мѣста, ближе къ рѣкѣ, прикочевываютъ... Мѣста-то и выходятъ бережанныя, нетронутыя.

Вотъ оттого-то теперь и пусто было кругомъ, и не видали никого наши бабы, сколько ни приглядывались изъ подъ руки, на возы для удобства взобравшись.

Стали первымъ дѣломъ обдумывать, какъ-бы имъ на островъ перебраться... Дѣлать нечего, разулся Степанъ-Малышъ, взялъ шесть въ руки, пошелъ броду исвать... бабы на берегу сидятъ, смотрятъ, надъ Степаномъ шутки шутятъ. смѣются, потѣшаются.

Бредеть Степанъ, впереди себя шестомъ шацунываетъ.

— Не больно глыбоко! кричитъ Малышъ, — всего во по какое мѣсто. Го-го-го-го... ухъ!..

— Что, небойсь, тепла вода-то?..

— Ну, тепла!.. Такъ те подъ душу и прохвачиваетъ... Больно студена... Здѣся, гляди... эй! сюда не ходи, тутъ яма, ишь какая! весь шестъ уходитъ, а здѣся вотъ ракушка острая... А рыбны что подъ ногу суется... страсть!..

— Гляди, парень, какъ-бы тебя сомъ не ухватилъ за что... онъ вѣдь зубастый! кричитъ Маланья.

— Нѣтъ, промолвила Марина, — сомъ сюда не зайдетъ; онъ — рыба круная, середины рѣки держится... сомъ не зайдетъ на мелкое мѣсто.

А сама такъ глазами въ парня и впивается, зорко вокругъ него воду осматриваетъ. Разуваться начала; скинула плетенки, стала обертки разворачивать.

— Ты-же куда это? бабы спрашиваютъ.

— А на островъ; что-жь надо всѣмъ идти туда, одной кому здѣсь оставаться.

— Страшно!..

— Дно чудесное! кричить Степанъ съ того берега, — песокъ мягкій... Полѣзай, бабы, раздѣвайся, что-ли!

— Нашель дурь; такъ те сейчасъ и полѣзутъ въ воду... А ты, ужь за одно тебѣ мокнуть, перетаскай на себѣ всѣхъ на плечахъ, будь человекъ любезный.

— А что-жь, ладно! ухмыльнулся Малышь, а самъ искося на Марину поглядываетъ.

Пораздѣвались бабы, дѣлать нечего, полѣзли въ воду... Визжать да ухають... Такъ и разносится по степи визгъ этотъ бабій... Утки на затонахъ переполошились, кулики съ отмелей поднялись густыми серебристыми стаями... И чудно смотрѣтъ на эти стаи, точно вотъ взялъ кто въ горсть монеты мелкой, серебряной, да и махнулъ на вѣтеръ, розсыпью...

Живо закипѣла работа.

Повалился желтый камышъ, серпами подрѣзанный. Стали его вязать въ снопы толстые, какъ есть въ обхватъ, на берегъ острова стаскивать; гадину всю, что притаилась межъ корнями, встрѣвожили. А гадина есть тамъ опасная, змѣйка такая сѣроватенькая, пятнышками мелкими; босоному надо глядѣтъ въ оба, не наступить какъ-бы.

Часа три поработали, навалили камышевыхъ сноповъ цѣлую гору; начали плотъ вязать. Кто на плотъ взобрался, кто около бредеть, понихиваетъ его къ нашему берегу...

Забралась Марина съ своимъ серпомъ въ самую чащу, да какъ вскрикнетъ, да не такимъ крикомъ веселымъ, а другимъ, отъ котораго всѣ бабы и плотъ бросили, на берегъ повыскакали...

Побѣжалъ Степанъ къ ней, что, думаетъ, приключилось такое, а у самого даже духъ заняло; ужь не гадина-ли цапнула?

Стоитъ Марина столбъ столбомъ, руки опустила, серпъ выпрошила. Вся какъ рубаха блѣдная стала и глазами въ одно мѣсто смотреть, не сморгнетъ даже.

Глядитъ и Степанъ. Вишь ты оно дѣло какое!

Въ самой чащѣ человекъ лежитъ ничкомъ, весь до половины

объденный. Изъ одежды уцѣлѣло еще кое-какое тряпье, а по тряпью этому видать, что не киргизъ, а кто-то изъ нашихъ, только не мужикъ, а ровно будто солдатъ, что-то военное.

Взялъ Степанъ Марину за руку, она совсѣмъ холодная.

— Нишкни, говорить,—молчи, да и шабашъ; забудь, что и видѣла. Благо только мы съ тобою тутъ; другія бабы, эвона, всѣ на берегъ повывскакали; пойдемъ!

Привелъ онъ ее къ тому мѣсту, гдѣ плотъ ладил.

— Что тамъ? пытаются бабы съ того берега.

— Ну, и змѣя-же, братцы мои,—вѣдъ какая; я такой большущей и не видывалъ сроду! спасибо не тронула, прочь уползла, говорить Малышъ, а у самого зубы постукиваютъ, не то съ холоду, не то со страху.

Да и какъ не испужаться, такую гадину большущую увидѣвши?

Прозябли работницы страсть, одежду всю подмочили снизу... вѣтерокъ-то хоть и теплый, да на мокрое тѣло холодомъ вѣетъ.

Развелъ мужикъ костеръ, жаркій такой, стали всѣ грѣться, да обсушиваться, поставили котелокъ съ краю, кашу варить, обѣдъ готовить,—то-бишь ужинъ скорѣе, потому дѣло уже совсѣмъ къ вечеру близилось.

— Что-же, голубчики, скотина выгорилась, наваливать-бы воза да ѣхать домой ночью-то, толкуютъ одни,—что время-то терять намъ! Въ ночь-то мы, пожалуй, верстовъ пятнадцать угонимъ, завтра утромъ еще столько-же упремъ, а къ обѣду и домой поспѣемъ...

— Ночи-то темныя, вотъ бѣда, горе наше! Пожалуй, съ большого-то знатя дороги въ такое угодимъ мѣсто доброе, что и не выльземъ, толкуютъ, сомнѣваются другіе.—Какія тутъ примѣты есть дорожныя, почитай что никакихъ нѣтъ...

Степанъ тоже говорить:

— Ночью не ладно, нѣшто отъѣдемъ маленько, вонъ хоша къ тѣмъ затончикамъ; тамъ, ровно, земля посуше будетъ—спать здоровѣе; а то тутъ такую огневицу заполучишь, послѣ не развяжешься...

А не огневицы боялся парень, не сырости рѣчной, а просто тянуло его подальше отъ этого острова провлятаго...

Вѣдъ привелъ-же Господь на такую оказію нарѣзаться!..

V.

Соколиные охотники.

А тѣмъ временемъ степью ѣхали человекъ шесть вершниковъ.

Не за дѣломъ какимъ они ѣхали, не по нуждѣ какой, а такъ, съ соколами охотничали, по заводямъ рыскали...

Все это киргизы были изъ сосѣднихъ ауловъ, а одинъ пріѣзжій гость изъ дальнихъ кочевьевъ, изъ тѣхъ, что до сихъ поръ еще не знаютъ, чьи они: сами-ли свои, хивинскаго-ли хана данники или русскіе, подданные „царя бѣлаго“ (Акъ-падши)...

Гуськомъ ѣхали вершники, другъ за дружкой, — это ужъ такая привычка степная, по одному слѣду пробираться, по волчьи, — и хоть всего ихъ было шестеро, а растянулись порядочно отъ передняго коня до задняго, пожалуй что четверть версты уложилась-бы.

Впереди ѣхалъ сѣдой старикъ, борода клинышкомъ, лицо словно изъ кожи дубленой; на головѣ малахай высокій, лисій, а верхъ у малахая синимъ сукномъ покрытъ и голунами золотыми выложенъ. Конь подъ нимъ изъ крупныхъ, долгоногій, такой-же, какъ и хозяинъ, старый; смолоду сѣрымъ былъ, а теперь весь гречкою красноватую покрылся... Однако, ноги коня еще здоровыя, какъ желѣзо крѣпкія, идутъ бодро, легко, въ высокой травѣ степной даже и не путаются... На рукѣ лѣвой у старика рукавица надѣта, красная, суконная, а на рукавицѣ сидитъ ястребъ пестренькій, крѣпко когтями своими въ хозяйскую рукавицу вцѣпился; темно ему, ничего птица эта шустрая не видитъ подъ своей нахлобучкою съ бубенчикомъ...

За нимъ слѣдомъ другой гарцуетъ, молодой, здоровый такой, въ плечахъ пожалуй аршинъ уложится. Съ лица парень шибко красивъ по-своему; по-нашему, можетъ, и не показался-бы. Глаза хотя и узкіе, ровно щелочки, а смотрять весело, такъ насквозь и пронизываютъ; носъ не широкій, а съ горбиною; чуть-чуть усики пробиваются, какъ смоль черные, а на щекахъ румянецъ густой залегъ... Чалма бѣлая кисейная цвѣтными концами на лѣвое плечо спускается, а халатъ верхній и не разберешь цвѣту какого — чего-чего на немъ не напутано! Изъ тонкой шали спитъ персидской и

цѣною въ полтораста барановъ, дешевле и достать невозможно такого... У этого джигита соволъ не на рукѣ сидитъ, а на плечо взобрался, и все крыльями взмахиваетъ, себя на своемъ мѣстѣ поддерживаетъ... Горячится подъ вершникомъ рыжій конь, во всю голову лысина, инда рука затомилаась его сдерживать, ременные поводы въ пальцы врѣзываются.

Это есть самый гость прїѣзжій изъ дальнихъ ауловъ, сынъ бѣя тамошняго Аблай-Касимова, Салтыкъ Аблаевичъ.

Третій джигитъ тоже хорошо одѣтъ, изъ богатыхъ, и конь подъ нимъ добрый; вся сбруя на конѣ серебромъ выложена. Тоже съ птицей ѣдетъ; все это ее рукою подкидываетъ, словно спуска съ руки пробуетъ, изловчается.

А остальные трое—простые люди, не „акъ-сюятъ“ (бѣлая кость), какъ тѣ, а ихъ нукеры, слуги аульные. Послѣдній такъ совсѣмъ рвань рванью, труситъ на своей пѣгашкѣ горбоносою да по сторонамъ приглядывается, ровно собака принюхивается, шурится.

И видитъ этотъ послѣдній, что далеко-далеко словно дымокъ поднимается, у самаго края неба бѣгаетъ тоненькая струечка.

„А кто-то въ наши мѣста забрался! думаетъ вершникъ. — Дай-ка подѣду, укажу муллѣ Аманджулу, что мулла мнѣ скажетъ на это?“

Подумалъ джигитъ, хлестнулъ плеткою свою лошаденку и догналъ передняго, старика этого самаго.

— Эй, мулла Аманджуль, а мулла Аманджуль! слушай!

— Что ты? придержалъ коня мулла Аманджуль и поглядѣлъ на подѣхавшаго.

— Тамъ люди гуляютъ. Не наши люди, чужіе. Вонъ тамъ, у Саутъ-Ата могилы.

Протянулъ киргизъ свою руку съ нагайкою, самъ на деревянныхъ стремянахъ приподнимается въ ту сторону, гдѣ дымокъ завидѣлъ, указываетъ.

Приглядѣлся и старый своими глазами прищуренными; даромъ-что восьмой десятокъ на исходѣ, а видитъ еще хорошо, лучше другого молодого, пожалуй...

— Да, говорить,—тамъ не наши, а должно быть изъ городу... Вишь и огня путемъ разложить не умѣютъ... Намъ въ ту-же сторону дорога, подѣдемъ, увидимъ.

— Они вонъ нашъ камышъ палать, а сами въ прошломъ году какъ нашихъ съ покосу погнали, да еще не со своего, а съ нашего-же, промолвилъ третій вершникъ, что все спускъ соволинный пробовалъ;—народъ они жадный, на чужое завистливый.

— Я еще русскихъ и не видѣлъ путемъ, какъ слѣдуетъ, сказалъ гость прїѣзжій и коня осадилъ, сильно за поводъ дернувши. Потому, какъ только съѣхались вмѣстѣ, такъ и поровилъ лысый сейчасъ сѣраго зубами за загривокъ цапнуть.

Свернули маленько въ сторону соволиныя охотники, опять гускомъ вытянулись и поѣхали къ Саутъ-Ата могилѣ, прямо на дымъ, что издалека завидѣли.

Въ самое это время было, какъ солнце спускаться начало. Въ степи въ лѣтнюю пору не долго сумерки держатся, быстро темнѣетъ. Не успѣетъ послѣдній край багроваго солнца въ темную полосу спрятаться, какъ начинаетъ расти эта полоса, не по верху, а по низу, по степи расползаться.

Не успѣли вершники и пяти верстъ отѣхать, совсѣмъ стемнѣло; только затоны одинокіе свѣтлыми пятнами на черной степи видѣются, небо въ нихъ ночное отсвѣчиваетъ. Пропалъ дымокъ изъ вида, за то заалѣлась вдали точка огненная, а надъ нею, не такъ чтобъ высоко, а словно въ туманъ упираючись, зарево пятнистое разгорѣлося.

Вотъ прямо на это зарево мигающее и держали путь наши вершники.

VI.

Хоть и чужой камышъ, да баба хороша,—получай на доброе здоровье.

Поспѣла у бабъ нашихъ пшонная кашаца. Досталъ Степанъ-Малышъ съ воза мѣшокъ, вытащилъ оттуда сала бараньяго, курдючнаго, съ полфунта, каравай хлѣба, соли въ бумажѣ да ложки деревянные. Котелокъ отъ огня отодвинули, войлочекъ разостлали, сѣли всѣ вкругъ ужинать.

— Спать ляжете, я не буду... стеречь васъ стану, говорить

Степанъ, ложку облизывая, — потому какъ безъ сторожа совсѣмъ по здѣшнему мѣсту невозможно.

— Чего сторожить-то? усмѣхнулась Марина.

— Всяко бываетъ: звѣрь-ли какой, можетъ, подберется, скотину отгонить...

— А тутъ, сказывали, тигры водятся, звѣрь такой лю-ютный.. страсть!.. начала-было Лукерья весноватая, да и струсила. Почудилось ей, что за ихъ кучей камышевой словно что-то хрустнуло.

— Ай, батюшки!

— Ничего, молвилъ Степанъ; — тигра была здѣсь допрежь того, да вотъ уже десятый годъ не слышать про нее, значить ушла куда подалѣ.

— У перовскаго форта, сказала Марина, — ея и по сіе время много... Никонъ, какъ ѣздилъ туда, сказываль... Надсы казаки одного ухлопали... Въ четыре аршина былъ.

— Ишь ты какой!..

— У перовскаго есть...

— А что, какъ теперь на насъ орда нагрянетъ?.. опять начала Лукерья весноватая.

— Такъ что-жь? попыталъ Малышъ, — ну и пушай нагрянетъ... что за бѣда!.. Орда ничего...

— Ишь какіе *они* изъ себя страшенные! черти-чертями! На базаръ коли пріѣзжаютъ, такъ глядѣтъ боязно... разбойники, одно слово...

— Ничего не разбойники, народъ смиренный... Изъ нашихъ много хуже бываетъ, сказала Марина. — Вотъ хопъ-бы...

— Ну *его*, не замай, толкнулъ ее легонько Степанъ.

— Да что и взять-то съ насъ, съ бабъ-то?

— Бабъ-то имъ, можетъ, нужнѣе... Какъ прійдутъ да увидать: экія, молъ, сидятъ раскрасавицы писаннина! Вотъ хоть-бы ты, Лушка, засмѣялся Степанъ.

— Много красивѣй меня найдется, повосилась на Марину Лукерья. — Ее береги, другихъ не трожь! Зубы тоже скалитъ, пѣсельникъ!..

— Одначе и спать пора! Полѣзай бабы въ телѣги, — ложись, что-ли!..

Подкинулъ Степанъ въ огонь еще снопъ, разгорѣлось жаркое

пламя, длинные языки къверху кинулись, змѣями извиваючись...
Еще того темнѣе кругомъ сдѣлалось.

Двѣ чайки испуганныя наверху гдѣ-то вскрикнули, налетѣли на самый свѣтлый столбъ отъ костра, мелькнули въ немъ крестами красноватыми и пропали, сгнули въ потемкахъ. Бугай-птица замычала на болотинахъ, другая ей откликнулась съ того берега.

— Гей, гей! чуть слышно донеслось со степи.

— Чу-късь?

— А что?

— Кричить никакъ кто-то? ровно человѣкъ... вонъ съ той стороны слышалось!

— Тоже птица, можетъ, какая, тутъ ея много всякой.

Поужинали. Бабы въ телѣги полѣзли, камышу туда настлаивши для мягкости. Степанъ всталъ, прошелся маленько. Заскрипѣли возы, пока тамъ возились, укладывались; потомъ стихло все; кто-то шепталь—молитву, полагать надо; Лукерья зѣвнула, громко такъ, протяжно... одна ужъ и прихрапывать начала.

Вернулся мужикъ съ своего обхода, сѣлъ у огонька, подкинулъ еще топлива, да и задумался. И сонъ его не клонить нисколько, все-то ему тѣло въ камышахъ на островѣ представляется. И думается ему, разное припоминается. Кто-то за плечо его тронулъ; оглянулся—Марина стоитъ, въ вѣщавейку закутавшись.

— Ты чего не спишь, голубка?

— Что я тебѣ сказать хочю... начала дѣвка и назадъ къ возамъ обернулась, минуточку прислушалась.

— Двѣ недѣли, кажись, прошло, продолжала Денисова внучка, — въ городѣ сказывали: офицеръ какой-то съ казенными деньгами вѣхалъ...

— Нишкни... Я и самъ думалъ про то-же... говорили тогда: вѣхалъ въ Иргизъ онъ; надо-бы ему въ три дня поспѣть на мѣсто, а тамъ его и по сіе время не видали.

— И что я теперь думаю...

— Знаешь, что? Молчи ты лучше... забудь, что видѣла. Намъ что за дѣло! Вѣрно тебѣ говорю...

Помолчали съ минутку. Марина ближе къ Степану подвинулась, сѣла около, чуть вздрагиваетъ.

Ишь воркують, ровно голуби шепчутся, и не слышать ни-

чего“, подумала про себя Лукерья весноватая и поглядѣла сквозь пролеть, между грядокъ телѣжныхъ.

— Видалъ ты, какихъ коней пригналъ Василий со степи ба-скихъ! Такихъ-то коней, что любо дорого смотрѣть начала опять Марина.

— Не трожь ты его, не замай, говорю! словно озлился Степанъ малость самую.

— Да что ты, его боишься, что-ли? промолвила съ усмѣшкой Марина.

— Чего мнѣ бояться! ничего не боюсь; а только не трожь... намъ же лучше будетъ, вотъ что... Человѣкъ онъ не добрый и всякаго худа ожидать отъ него надѣть... и чуетъ мое сердце...

— Боюсь и я его, да только не за себя, за Никона, заговорила Марина, — а ужъ если-бы на мое на одиночество, я-бы съ нимъ зубомъ помѣрилась!

Раскраснѣлась дѣвка, пальцы въ кулакъ сжались, инда колечко мѣдное съ стеклышкомъ на пальцѣ хрустнуло. А потомъ ничего, улыбнулась, взглянула на парня и прилегла къ нему головой на колѣни.

Сталъ ее Степанъ легонько подъ кудавейкою оглаживать, самого инда въ жаръ кинуло.

— Хи-хи-хи! чуть-чуть съ воза слышится.

Вдругъ конь заржалъ со степи, да близко такъ, словно вотъ тутъ сейчасъ, и ста шаговъ не будетъ.

Вскочила на ноги Марина да на возъ. Поднялся и Степанъ, пристально въ темноту вглядывается, рукою заслонилъ глаза отъ свѣту костроваго, но ничего все равно не видитъ.

Притихли на возахъ бабы, притаились, ровно сурки по норамъ, боятся даже оттуда выглянуть. Собаченка была съ ними маховьякая; спала она подъ возомъ, клубочкомъ свернувшись; та тоже чужого человѣка почуяла, вскочила, залилась звонкимъ лаемъ и кинулась впередъ на встрѣчу.

— Какой люди такой!? вричить кто-то хошь и не ладно, да по-русски, по-нашему, и слышно, какъ онъ коня сдерживаетъ, близко не подѣзжаетъ, сторожится, надо полагать. А конь его похрапываетъ на огонь, упирается.

— А ты кто такой? окликнулъ Степанъ, а самъ къ возу подошелъ, топоръ на всякій случай оттуда вытаскиваетъ.

Ближе подъѣхали конные. Вотъ уже бѣлая голова лошади показалась; началъ костеръ потухать, и всѣ шестеро вершниковъ стали видны: сбились всѣ въ кучу, стоятъ, межъ собою говорятъ что-то и стремянами желѣзными другъ о дружку побрякиваютъ.

И вершники молчатъ, и Степанъ молчитъ, другъ на друга смотрятъ только да переминаются. А на возахъ тихо, ничего не слышать, словно тамъ всѣ перемерли со страху. Собаченка прижалась у ногъ Степановыхъ, ворчитъ, зубы скалитъ и шерсть вся у нея оцетинилась.

— Что тутъ дѣлаешь? спросилъ, наконецъ, одинъ изъ вершниковъ, самъ мулла Аманджуль.

— За камышомъ вотъ пріѣхали изъ города, отвѣчалъ Степанъ.— Мы тамошніе.

— А твой камышъ это? пытается старикъ.

— А кто его знаетъ, чей... ишь, его много... надо полагать, вольный.

— Наше мѣсто, нашъ и камышъ, и трава наша, и вода наша,— все здѣсь наше, а вы пришли и чужое забираете.

— Намъ немного надо. Мы больше брать не будемъ, а таперь ужъ прости насъ, не знали, не вѣдали.

— Ну и ступай съ Богомъ домой, а камышъ не трогай, здѣсь бросай. Вы нашимъ ничего своего не даете, и нашего за то не трогайте.

— Да ужъ это-то оставь намъ, сдѣлай милость, очень надоть. Мы вонъ вишь отведова за нимъ перли, что времени ушло, — оставь намъ, сдѣлай милость.

Видятъ киргизы, всего одинъ человѣкъ супротивъ ихъ шестерыхъ; ближе подъѣхали, съ лошадей полѣзли. Видитъ и Степанъ, что дѣло-то выходитъ неладно, не знаетъ парень, что и говорить ему больше.

А орда уже распоряжаться начала по-своему. Салтыкъ коверъ велѣлъ разостлать, что за сѣдломъ у одного былъ приторочень... Камышъ стали брать, нашими заготовленный; разложили огонь, свой особенный, по близости... Свѣтло опять кругомъ стало... Достали

посуду свою, кунганчики высокенькіе эдакіе, чашечки-плоскушки, зелененькія... чай варить начали.

— Уж мы уѣдемъ, заговорилъ Степанъ снова, шапку снялъ, кланяется низко, — уж мы уѣдемъ, больше и не пріѣдемъ сюда никогда, только ты дай намъ этотъ-то камышъ увести... говорятъ, те: очень надо.

— Ступай, ступай! закричалъ другой джигитъ. — У васъ земли теперь больше нашей стало... Вы вѣдь жадные, все захватить поровите — уходи, пока воловъ у тебя не отняли...

Испугался Степанъ этой угрозы, подошелъ къ возу, да и говоритъ тихонько:

— Эй, вставай кто, помоги воловъ запречь. Ну ихъ къ лѣшему, пушай своимъ камышомъ подавятся... и впрямь уйти, по-добру, по-здорову, лучше будетъ.

Лежать бабы и не шелохнутся.

Видитъ Марина: дѣлать нечего... слѣзла съ возу, а пламя отъ киргизскаго костра такъ на нее и ударило.

Брови у дѣвки нахмурены, глаза такъ грозно глядятъ на орду. Росту она высокаго, а огъ свѣту этого еще того выше кажется.

— Ишь ты какая баба! киргизы межъ себя перешептываются, а Салтыкъ такъ на нее и уставился, глазъ не спускаетъ, и глаза у него стали вдвое противъ прежняго шире, такъ и горятъ, словно уголья...

Молча Марина кнутъ взяла съ воза, молча за волами пошла, молча и пригнала ихъ, и стали они оба со Степаномъ ярма на нихъ накладывать...

Подошелъ Салтыкъ къ муллѣ Аманджулу, сталъ ему скоро говорить что-то по-своему; тотъ ухмыльнулся, бороду свою сѣдую помадилъ, посмотрѣлъ на Марину тоже, да и говоритъ въ отвѣтъ что-то.

Тоже тихо говорилъ старикъ; киргизы, что близко отъ него стояли, только и слышали послѣднія слова его рѣчи.

— Нельзя у насъ того, говорилъ старикъ, — это не прежнія времена.

— Чего нельзя? спорить Салтыкъ: — ихъ двое только, насъ шестеро... Я за такую бабу табуна воней не пожалѣю.

— Не дѣло говоришь ты. У русскихъ строго на это... Я-же

одинъ за все послѣ отвѣчу. А мнѣ бѣжать съ тобою отъ своихъ ауловъ изъ-за бабы не приходится...

Опять что-то заговорилъ Салтыкъ, опять мулла Аманджуль засмѣялся... Подошелъ Салтыкъ ближе къ Маринѣ, а та уже запрятала свою пару, поворачиваетъ...

— Постой, хорошая баба, говоритъ джигитъ, — бери свой камышъ... Я тебѣ его даю, я добрый, бери!..

Протянулъ руку киргизъ, хотѣль-было обнять дѣвку за шею, да та такъ отмахнулась ловко, что тотъ еле на ногахъ удержался...

— Не трожь, ладно! гаркнулъ Степанъ и сжалъ въ кулакѣ топориче.

— Ишь сердитая какая!.. засмѣялся тутъ и старикъ Аманджуль. — Ну, бери, бери, камыша мнѣ не жалко... бери!.. Бери весь и другой разъ приѣзжай, когда надо будетъ.

— Забирай, что-ли? посоветовался Степанъ съ Мариною; — какъ-бы чего не вышло...

— Вѣстимо, бери, промолвила Марина, и сама первая захватила охапку сноповъ и шаркнула ее на возъ, прямо поверхъ Лукерьи весноватой, да другой еще бабы, что лежала виѣстъ съ нею.

— Заваливай, заваливай, родимая, спасибо! чуть пропентала Лукерья, — заваливай!..

— Пронеси Господь и помилуй! про себя молилась другая баба, и кулакъ себѣ въ ротъ засунула, чтобы стукъ зубовъ ея не слышно было, потому лихорадка ее пробрала даже отъ страха.

Живо Степанъ съ Мариною навалили камышъ на воза; тронулись.

— Да вы постоите, говоритъ Салтыкъ, — куда торопитесь... Хочешь чаю?.. иди пей съ нами!..

Не понявъ путемъ Степанъ его рѣчи, а слышалъ только слово „чай“, догадался, что подчуютъ...

— Спасибо, говоритъ, — намъ неколи, много оченно благодарствуемъ...

Вывели возы на ровное мѣсто, колен старья нацупали и поѣхали. Лежатъ бабы подъ снопами, не шелохнутъся. Марину инда смѣхъ разбираетъ, на нихъ глядячи, а Степанъ все назадъ оглядывается, какъ-бы не нагнали да не отняли.

Дальше и дальше отъѣзжали возы, все еще огонь видѣнь; видны и люди около, и лошади, черныя такія, орошь загораживають.

— Да и не темно совсѣмъ, замѣтилъ мужикъ, — много свѣтлѣе какъ тамъ, у огня, казалось... Нѣшто нашихъ королевень выпустить, али ужъ погодить маленько?..

— Пущай, такъ до Казалы довеземъ, говоритъ, шутить Марина. — То-то смѣху будетъ послѣ... какъ-бы онѣ только не задохлись тамъ... Тпру!.. стой!.. Эй, вы, воины храбрые, вылѣзай, что-ли!..

Остановились воза, версты три отъѣхавши; а тутъ уже и свѣтать начало... Все живое въ степи голосъ подавать стало... Отъ затоновъ паръ поднялся густой, бѣлый, и затянуло этимъ паромъ и костерь виргизскій, и людей степныхъ, и коней ихнихъ, словно бѣлою стѣнкою всѣхъ ихъ задвинуло.

Повылѣзли бабы, отдуваются, сами надъ собою подсмѣиваются, воловъ погоняють всѣ четверо, уйти подальше торопятся.

А изъ-за пригорка впереди золотой край солнца уже выглядываетъ, длинныя лучи по всему небу раскинулись, потухли послѣднія звѣздочки и колыхнуль утренній вѣтеръ надъ степью духи травъ степныхъ, весеннихъ... Завахло полынью и чебромъ, медомъ потянуло отъ розовой кашки и липца-остролистника...

Ходко волю шагають, только колеса по кочкамъ подпрыгивають, на всю степь оси немаянныя заливаются; собаченка Шарикъ межъ высокою травомъ почится, птицъ мелкихъ гоняетъ да на вѣтеръ лаеетъ, захлебывается.

— И какъ только этотъ косоглазый на тебя зарился, какъ только зарился, покачивалъ головою Степанъ. — И что за причина такая, что всѣ это, кто только ни увидитъ тебя, сейчасъ глаза палить начинаютъ... что за причина въ томъ? скажи ты мнѣ, сдѣлай милость такую!..

— Ужъ такая я, значить, приворотная, улыбается Марина, рядомъ съ Степаномъ нога въ ногу шагаетъ. — Коли отъ грѣха подальше хочешь, не подходи ко мнѣ и близко... Только я саму меня на грѣхъ ино время другіе кто паталкиваютъ... Вотъ что.

Послѣднія слова дѣвка тихо сказала, только одному Степану и слышно было... Задумалась Марина, потупилась въ землю, нагнулась на ходу, захватила полынью цѣлую пригоршню, помяла въ руцѣ, да и винула.

Рвануль и Степанъ чего-то, тоже помяль, потеръ межъ ладо-
нями, тоже кинуль... Самъ глядитъ въ сторону... что, молъ, тамъ
такое собачка Шарикъ дѣлаетъ?..

Около полудня приваль сдѣлали, у „Бекетнаго-холма“ постояли
часика два; дальше тронулись. Не успѣли и версты отъѣхать съ
мѣста отдыха, глядятъ: а съ боку имъ на перерѣзъ опять въѣз-
жаютъ два вершника. Степанъ еще издали узналь обоихъ, — изъ
тѣхъ были, что ночью наѣзжали, одинъ тотъ, что на Марину за-
рился, а другой, что коверъ разстилалъ, чай заваривалъ.

— Опять они, ишь ты! въ намъ ѣдутъ, замѣтилъ Степанъ. —
А другіе-же гдѣ? не видать что-то. Ишь вѣдь рыскаютъ безъ дѣла,
словно звѣрье.

Подъѣхали ближе вершники. Какъ поровнялись, сейчасъ рядомъ
поѣхали, немного только въ сторонѣ отъ дороги держались. Ёдутъ
молча. Салтыкъ увидалъ Марину, кивнулъ своею чалмою кисейною,
осклабился: „Здравствуй, баба хорошая!“ кричить.

А и статный-же парень этотъ Салтыкъ, гость наѣзжій. Сидитъ
въ сѣдлѣ, словно вросъ въ него; коня горячить, тотъ просто но-
гами въ воздухъ отрабатываетъ, травы не топчетъ. Ёдетъ джигить
прямо, а самъ смотритъ вправо, глазъ съ Марины не спускаетъ...
Больше ничего и не сказалъ, какъ „здравствуй, баба хорошая“,
а съ тѣхъ поръ вотъ уже пятую версту провожаетъ, слова не про-
молвить...

— Смотри, таксырь, — тогда ихъ всего двое было, говорить
ему другой джигить, — а теперь вонъ сколько; что-же мы ихъ тогда
не видѣли?

Ничего не отвѣчаетъ Салтыкъ, только сталъ малость ближе къ
возамъ держаться, звать не разглядитъ хорошо издали... ближе-то
оно виднѣе.

Злость стала разбирать Степана-Малыша, а Марина, знай, посмѣи-
вается.

„Скоро-ли ты отстанешь, каторжный? думаетъ про себя па-
рень. — Ишь привязался, ровно листъ банный.. право-ну-слово при-
вязался... глазища пялить какъ!“

— Я-бы съ нимъ, ничего, погуляла! говорить съ возу Лукерья
„Дѣло“, № 5.

вешоватая. Попроси его, Денисьевна,—онъ те сейчасъ халать свой подарить... вишь, у него подъ нимъ еще штуки три надѣто.

— Намъ чужого не требуется, отвѣчала Марина и перешла на другую сторону воза, чтобъ ея оттуда не видно было.

Только это она перешла, щелкнулъ джигитъ боня шлетью, тотъ взвился на дыбы, скакнулъ черезъ дорогу, и опять чувствуетъ дѣвка, какъ на нее два черныхъ глаза уставились, и не смотреть она на нихъ, а чувствуетъ... даже за плечами у ней словно мурашки отъ этихъ глазъ забѣгали...

Такъ и провожалъ все Салтыкъ Аблаевичъ бабъ нашихъ, вплоть до вечера; а ужъ совсѣмъ какъ стало смеркаться, вдали темный садъ комендантскій завиднѣлся, столбъ дыма черного съ кирпичнаго завода Габинскаго, колокольчики зазвенѣли на почтовомъ трактѣ и вѣтряки-мельницы крыльями своими замахали,—тогда отсталъ только провожатый непрошенный; и то не совсѣмъ, а взбѣхалъ на курганъ да оттуда и смотритъ все, глазами провожаетъ, пока возы за околицу свою не проѣхали.

Пріѣхали домой совсѣмъ подъ вечеръ, хотѣли камышъ свой на полѣ сваливать, да побоялись, чтобы не стащилъ кто; все равно завтра, какъ на работу пойдемъ, съ собою захватимъ!

Встрѣтилъ ихъ Никонъ Денисьичъ.

— Все-ли благополучно было? спрашиваетъ,—счастливо-ли съѣздили?

— Ничего, что-жь, отвѣчалъ Степанъ, загрювокъ почесывая,—слава те Господи!

— Слава те Господи, промолвила, потупясь слегка, и Марина Денисьевна.

VII.

Чигири.

На другой день праздникъ пришелся. Не хотять мужики работать, да и полно. А работы ушли уже впередъ достаточно, — земля вся была уже вспахана и сѣяна посѣяны. Уже и съ бороновкою покончили. Затѣялъ только Никонъ Денисьичъ, съ той стороны, гдѣ городской прогонъ выходилъ для свота, стѣнѣу не-

большую вывести, чтобы краевъ поля не топтала скотина, да потомъ сообразилъ: время, молъ, терпите, и такъ убережемъ какъ-нибудь, а вотъ насчетъ провода воды, другое дѣло—тутъ мѣшкать нечего. Такъ-то сильно солнце начало прижаривать, что земля стала трескаться, трава на глазахъ выгорала; и порыжѣла степь зеленая, словно кто по ней каткомъ горячимъ прокатилъ да выгладилъ.

Вотъ и пошелъ бродить Никонъ по полю, старыя канавы разглядывать.

Шли эти канавы такъ: одна, широкая довольно, аршина въ два, шла мимо поля, недалеко, всего шагахъ въ пятидесяти, а отъ нея другая тянулась вѣтвью, уголъ поля перерѣзывала; отъ этой канавы шли два слѣда узкихъ: одинъ поперегъ самой пашни, а другой далеко въ сторону, къ лощинѣ спускался, къ болотинѣ.

Осмотрѣлъ Никонъ малыя канавы; ничего, заросли только, мѣстами сровнялись; разчистить недолго, на шесть лопать всего на одинъ день работы; а вотъ большая канава, что на рѣву большимъ обходомъ, угломъ выходила, та совсѣмъ мѣстахъ въ четырехъ была перегороджена и бугоръ пересыпалъ ее песчаный, на сажень выше остального уровня гребнемъ выходилъ. Вотъ тутъ-то Никонъ призадумался.

Взобрался онъ на этотъ бугоръ: то на рѣву посмотреть, то на поля свои съ молодыми всходами, и даже злость беретъ мужика, на все это гляючи. Вѣдь вонъ она, вода эта, сколько ей даромъ пропадаетъ. На тотъ берегъ болотомъ расходится, а сюда не течетъ вода, круто ей подняться. Казачьи поля, тѣ все-таки пониже тянутся, да и туда не во всѣ вода проведена; огороды городскіе по самому берегу залегли; тамъ дальше киргизскія бахчи идутъ. Зеленѣетъ на нихъ широкая листва арбузная да дынная, огудина цѣпкая тянется, извивается. Торчатъ шалашики сторожевые, огородки камышевыя топорщатся.

Нивого русскихъ, ни въ полѣ, ни на огородахъ не видно, всѣ они въ городѣ да на базарѣ гуляютъ-бразничаютъ, а у киргизъ, ишь ты, копошатся люди полуголые, что-то у самого берега работаютъ; ишь ты какъ лопатами помахиваютъ, смотрѣть любо-дорого.

И тянетъ Никона пойти поглядѣть, какъ это орудуютъ люди

степные, по-нашему совсѣмъ дикіе, ничего неумѣющіе, къ дѣлу совсѣмъ неспособные.

Спустился Никонъ съ бугра, продрался сквозь колючій терновникъ, опять попалъ на старую канаву, да и пошелъ такъ по ея гребню, благо тотъ конецъ ея какъ-разъ выходилъ на рѣку, у киргизскихъ бахчей, гдѣ работали эти люди полугодые.

Подошелъ ближе, у загороди остановился, поздоровался по-ихнему (научился уже немного). „Пришелъ, вотъ, поглядѣть, какъ вы работаете, люди добрые?“ говоритъ имъ черезъ стѣнку.

— Аманъ, тамыр! (здравствуй, пріятель), говорятъ;—заходи, вонъ тамъ пролазь есть, вонъ гдѣ высокія камышины торчатъ, самое то мѣсто.

Продѣвъ Никонъ черезъ загородку, подошелъ къ работникамъ, сталъ ихъ дѣло разсматривать. А дѣло киргизское самое пустое, немудреное.

Отъ поля-бахчи у нихъ тоже къ рѣкѣ канавы выведена, только дно этой канавы выше воды въ рѣкѣ, а воду поднять надо, вотъ они тутъ-то свою машину и приладили. Поставили три жерди, вмѣстѣ связанныя, треногою, на веревкѣ, къ этой треногѣ лопату подвѣсили съ длиннымъ концомъ, ухватились двое за этотъ конецъ и расхаживаютъ: махнутъ внизъ—зачерпнуть въ рѣкѣ воды съ полведра, махнутъ вверхъ—выплеснуть ее въ канаву; вода и бѣжитъ по ней до того мѣста, гдѣ ей опять подниматься надо, а тамъ опять такая-же лопата работаетъ, выше воду гонить и по бахчѣ разливаетъ ее по маленькимъ ритвинамъ.

Нехитрая штука, а дѣло свое хорошо дѣлаетъ. Разглядѣвъ все Никонъ какъ слѣдуетъ и рѣшилъ здѣсь-же устраивать и свою водоподъемную машину, а машину эту онъ не самъ выдумалъ, а посоветовалъ ему Габинъ Иванъ Александровичъ, говорилъ онъ ему, что не здѣсь, а на Аму-рѣкѣ все такія понастроены и чигрями называются.

Сталъ съ киргизами говорить объ этомъ, тѣ говорятъ ему: дѣло хорошее, много лучше нашего будетъ.

— Что-же вы сами такъ не дѣлаете? спросилъ Никонъ Денисьичъ.

— Не въ обычаѣ, да и стоитъ дорого, достатковъ нашихъ не хватить. Колесо, говорятъ, надо вашимъ, русскимъ, заказывать, а такую цѣну заломить, что въ два года не отработаетъ.

И пришла тутъ въ голову Никону такая сдѣлка: „дай-ка я потолкую съ ними, можетъ и сговоримся, къ общей выгодѣ; а тутъ еще и потому безъ киргизовъ не обошлось-бы дѣло, что поднимать воду надо на ихъ землѣ, какже безъ ихъ соглашенія?“

— Я вамъ все устрою, что по деревянной части, а вы мнѣ земляную работу выведете, говорить имъ Никонъ. — Мнѣ высоко поднимать воду надо, вонъ въ тотъ арыкъ спустить. Вы мнѣ проройте канаву до того мѣста, гдѣ старая начинается, я тамъ колесо свое поставлю; и вамъ воды вдоволь будетъ, не зачѣмъ будетъ вамъ тутъ, съ утра до ночи, съ своими черпаками возиться, и на наши поля вода побѣжить, а бугоръ тотъ мы уже сами какъ-нибудь пророемъ.

Подумали киргизы, потолковали межъ собою, да и говорятъ Никону:

— Ладно, тамыръ, только мы тебѣ канаву пророемъ, а ты намъ послѣ воды не дашь, да съ нашего-же мѣста погонишь...

— А Богъ-то на что? Тоже совѣсть есть. Я безъ обману; сроду еще въ этомъ ни противъ кого неповиненъ. Ужь въ этомъ вы будьте благонадежны.

— Да намъ и всѣ говорить такъ-то, да только языкъ у васъ двоякій, сегодня такъ говорить, а завтра иначе...

— Мы бумагу напишемъ такую, говорить Никонъ, — условіе, значить, сдѣлаемъ, тогда крѣпко будетъ. Я свой крестъ поставлю на бумагѣ, вы свои тамги приложите. Хотите?

— Нѣтъ, говорятъ, — съ бумагой еще скорѣе обманешь; бумага у васъ хуже языка; коли на бумагу пойдетъ дѣло, такъ мы совѣмъ не согласны.

— Что-же, задумался Никонъ, — человекъ я вамъ чужой; новый... Что съ вами подѣлаешь!

И шибко запечалился мужикъ, видитъ, что безъ киргизовъ ничего подѣлать невозможно, а они вонъ какіе волки травленные, не на что не идутъ. Плохо дѣло!..

Подошелъ тутъ старый-престарый киргизъ, весь сгорбленный, на палку опирается; сидѣлъ онъ въ шалашѣ до той поры и весь разговоръ слышалъ своихъ съ русскимъ человекомъ.

— Слушай, говорить, — знаешь ты муллу Габина?

— Иванъ Александровича? пытается Никонъ Денисьичъ. — Какъ не знать, знаю.

— И онъ тебя знаетъ?

— Ничего, и я ему извѣстенъ. Онъ мнѣ вѣрить по моему слову — сѣмянами посѣвными ссудилъ, на сто рублей безъ малаго. Какъ не знать мнѣ Ивана Александровича!..

— Ну, такъ пусть онъ пишетъ эту бумагу, а то и бумаги не надо, пусть только слово свое за тебя скажетъ, мы тогда на все согласны.

Обрадовался Никонъ Денисьичъ.

— Ладно, говорить, ребятки, это мы хоть сегодня-же устроимъ. Хоть кто, пойдемъ сейчасъ къ Ивану Александровичу, тамъ и порѣшимъ все дѣло, — чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше... Идемъ, что-ли?..

— Нѣтъ, пускай онъ самъ сюда пріѣдетъ да вотъ тутъ на мѣстѣ все и расскажетъ, что намъ дѣлать надо, что тебѣ. Когда къ намъ пускать воду, когда къ тебѣ. Все пускай расскажетъ, тогда мы это живо сдѣлаемъ. Мы изъ ауловъ работниковъ вызовемъ, въ четыре дня все сдѣлаемъ, что отъ насъ полагаться будетъ.

Видитъ Никонъ, что больше говорить ему съ киргизами нечего, распрощался и пошелъ напрямикъ въ городъ, прямо въ большой домъ Ивана Александровича, поклониться ему и просить его скрѣпить своимъ словомъ дѣло, имъ задуманное.

На другой-же день къ киргизскимъ бахчамъ подѣхали дрожжи-бѣгунки. Въ дрожжахъ сидѣлъ человекъ пожилой уже, борода маленькая съ просѣдью, изъ себя плотный, даже толстоватый немного. Самъ онъ лошадью сѣрою правиль, сытою такою, доброю, а сзади сидѣлъ Никонъ, ноги до земли спустивши. Всѣ киргизы навстрѣчу ему высыпали, взяли лошадь подъ уздцы, отвели ее бережно и къ шалашу привязали. Кумысу принесли полную чашку для угощенія. Даже старикъ сторбленный вылѣзъ и своимъ беззубымъ ртомъ ухмыляется.

Походили по бахчѣ, поговорили малость, да тутъ и порѣшили дѣло, безъ бумаги, безъ всякихъ крестовъ, безъ тамги. Просто на слово.

Какъ уѣхалъ Габинъ, сейчасъ и за работу принялся; а пока киргизы свое дѣло дѣлали, Никонъ купилъ лѣсу подходящаго,

мужиковъ прочищать канаву выгналъ, а самъ принялся строгать, тесать да прилаживать. Въ недѣлю все дѣло поспѣло. Собралось много народу изъ города смотрѣть на ихнее устройство, самъ уѣздный пріѣзжалъ и сказалъ Никону:

— Ну, братъ, молодець, дошлый! Заходи ко мнѣ, я тебѣ еще дамъ работу хорошую, когда время будетъ, а пока на, получи на водочку.

Протянулъ онъ ему рубль-цѣлковый, да не взялъ Никонъ.

— За что, говоритъ,—жаловать изволите. Я и безъ задатку приду; на работѣ сговоримся, а послѣ и расчетъ будетъ.

— Вотъ ты какой! проворчалъ уѣздный, да и не взглянулъ больше на Никона, должно быть, на его слово обидѣлся. Сѣлъ въ дрожки свои и въ городъ уѣхалъ.

Жаль мужики съ прочисткою канавы запоздали, а то-бы тутъ при всѣхъ можно было-бы въ ходъ пустить вею машину, поглядѣть, какъ она дѣйствуетъ, воду накачиваетъ, безъ малаго на двѣ сажени поднимаетъ, да не лопатами, а ведрами большими, такъ и зачерпываетъ.

Черпалка-же эта Никонова была устройства самаго простого: у того мѣста, гдѣ нижняя канава съ верхнею сходилась, были два столба изъ кирпича сложены, съ устоями, на фундаментѣ. Столбы эти стояли по сторонамъ канавы, другъ отъ друга въ сажени разстоянія. На верхнихъ концахъ столбовъ гнѣзда были сдѣланы, окованныя желѣзомъ листовымъ, а въ этихъ гнѣздахъ толстая ось ворочалась. На оси колесо было надѣто, наглухо съ осью скрѣпленное; вмѣстѣ съ нею оно и ворочалось. Поперечникъ того колеса былъ въ полторы сажени, ободъ плоскій, съ пробоннами, а на ободѣ, супротивъ каждой спицы, деревянная бадья прилажена изъ бочекъ, пополамъ разрѣзанныхъ, — Никонъ бадьи эти подѣлалъ. Колесо ворочалось отъ нижней канавы къ верхней, и бадьи были привязаны въ ту-же сторону жерлами. Станутъ колесо поворачивать, оно нижнею частью черпаетъ воду внизу, поднимаетъ ее наверхъ, а какъ начнутъ бадьи наверху опрокидываться, вода и выливается въ широкій жолобъ, просмоленный, а черезъ него въ верхнюю канаву. На колесѣ четырнадцать бадей прилажено, каждая бадья въ четыре ведра вмѣстимости; въ минуту колесо это одинъ разъ поворачивается, значить въ эту минуту снизу вверхъ пятьдесятъ шесть ведеръ воды переливается.

Недаромъ говорилъ Никонъ, когда работу свою показывалъ, первые повороты пробовалъ:

— Въ часъ, говорилъ, — времени все поле затоплю, коли потребуется. Вотъ увидите!

Колесо-то тяжелое, руками его не повернешь, такъ досужій плотникъ шестерню къ оси придѣлалъ, а къ шестернѣ другое колесо, на стоячей оси, въ лежку, съ кулаками деревянными по ободу; къ этому-то колесу запряжка конская была приспособлена, а киргизы народъ сговорчивый, тѣ сами взялись, уже не въ счетъ своей работы, своими лошадьми у чигиря работать ежедневно, четыре часа подъ-рядъ, утромъ рано, на разсвѣтѣ, да четыре часа передъ вечеромъ, когда земля остывать начнеть.

Мало того, эти самые киргизы, лѣнивый народъ, лежебоки ни къ чему непригодные, какъ увидали, что мужики съ прочисткою канавы все копаются, сами имъ на подмогу вышли, съ своими кипенями да мотыгами. Черезъ двое сутокъ съ ихъ помощью все было готово и по разчищенному дну большого арыка побѣжала, запѣнилась вода сыръ-дарьинская къ полю крестьянскому, допрежь того на сухошь пустырѣ разбитому.

Ожили всходы пшеничные, яровые, зазеленѣли яркимъ ковромъ засѣнные полосы, а вокругъ ихъ, куда вода не проходила, залегла степь солнцемъ выжженная.

Любо-дорого было смотрѣть на все это Никону Денисьичу. Просто и дома не сидится. Съ утра и до ночи глубокой бродить вокругъ да около, утѣшается да про дальнее будущее раздумываетъ. И думается ему:

„Коли-бы сюда перенести всю стройку, дальше отъ этого города, чтобы ему пусто было, протянуть вотъ такъ, лицомъ къ дорогѣ проѣзжей, орской, широкую улицу, по ней тоже провести арычки, канавки, тальнику насадить, тополя молодого. Всю-бы большую канаву вплоть до рѣки обсадить тальникомъ не мѣшало-бы: вода меньше усыхать будетъ, да и глазу пріятнѣе. Это нѣшто трудно! Тутъ вотъ какъ: сломалъ вѣточку, ткнулъ ее въ землю, — коли есть вода, она сама сейчасъ примется, пустить корень, а отъ корешковъ опять пойдутъ отрпыски; на другой годъ и не узнаешь своей посадки, кустъ кустомъ разрастется.

„Да, важно-бы перенести сюда слободку, что ей тамъ на низу стоять, въ грязи тонуть невылазной, а тутъ сухо, песочекъ есть.

Тутъ круглый годъ грязи не попробуешь. Скотины завести побольше. Овецъ, что-ли. Тѣ выгодны своему хозяину. Пастуховъ изъ орды нанять, чтобы своею не отрывать отъ поля. Засѣвъ во все жѣсто отведенное пустить. Мало будетъ — еще попросить, чтобы степи отжѣрали намъ; вишь она, эта степь, зря лежитъ, никому непригодная, мертвая. Отказу намъ въ этомъ, полагать надо, ни коли не будетъ.

— И все это очень возможно, говорилъ ему въ тотъ день вечеромъ Иванъ Александровичъ Габинъ. — Все, братецъ, возможно. Ты вотъ простой человекъ, а понялъ, какъ въ новомъ краю за дѣло приниматься нужно. Я самъ пріѣхалъ сюда ни съ чемъ, а теперь, самъ видишь, какое завелъ хозяйство. Мнѣ одному приходилось съ этимъ народомъ барахтаться, зубъ за зубъ случалось схватываться; сколько горя перенесъ, сколько неудачъ вытерпѣлъ, а все-таки мой верхъ вышелъ, потому шелъ я прямо, настоящею дорогою. А ты самъ на этой дорогѣ стоишь, и мужикъ, по всему видно, крѣпкій, на своемъ устойчивый; такъ и держись. Если бѣда какая случится, несчастье, что-ли, незадача какая, ничего, духомъ не падай, вывернешься. Силъ-то въ этомъ краю много, непочтой уголь. только знай, гдѣ эти силы разыскивать.

„Киргизъ, здѣшній человекъ, онъ тебѣ первымъ другомъ и помощникомъ готовъ сдѣлаться; онъ-же тебѣ и первый врагъ будетъ, коли ты себя человекомъ нечестнымъ покажешь. Видѣлъ на своемъ дѣлѣ, что значить у нихъ къ человеку доврѣе.

„Мы больше киргиза знаемъ, лучше его дѣло повинаемъ, — мы ему должны показать примѣромъ, почему олдая жизнь лучше ихняго бродяжничества. Киргизъ не глупъ, онъ самъ пойметъ, гдѣ лучше, его за шею веревкою тянуть со стени на поле не зачѣмъ. Больше времени на наше дѣло требуется, не скоро разбогатѣешь, за то что ни взялъ, то уже твое, прочное, его никто отнять не можетъ, если самъ изъ рукъ не выпустишь. Ну, а наскоро разбогатѣть — дѣло легкое, особенно если полабудешь, гдѣ у тебя совѣсть ворочается.

„Гляди вотъ, что тутъ наши дѣлаютъ? Другъ дружку подкапываютъ. И если одинъ въ гору пошелъ, то ужъ непременно ищи тѣхъ, это голышами разоренными остался. А все потому, что они не оттуда богатство свое берутъ, откуда слѣдуетъ — изъ кармана въ карманъ только деньги перетаскиваютъ.

„Много-ли русскихъ сюда переселилось? Самая малость, а ужь имъ, гляди, тѣсно, ужь они глазами ѣдятъ другъ друга, врагами смотрять. А край здѣсь такой, что переселись сюда въ сто разъ больше народу, и то всѣмъ своего дѣла по горло хватить, не вычерпать во вѣки.

„Все здѣсь не тронутъ, все непочатой уголь, за что ни возьмешься порядкомъ, а они мимо добра скрытаго проходятъ да на готовое только накидываются.

„Вѣрно тебѣ говорю, пойдетъ въ ходъ ваша слободка; не вся только: отъ тѣхъ, что на Косъ-Араль ушли, я ужь мало жду проку, тѣ ужь плохіе вамъ работники. Только пока держи ты ихъ крѣпко, хоть до времени; потомъ сами привыкнутьъ, увидать, что хорошо, сами никуда не уйдутъ.

— А меня, братецъ ты мой любезный, первымъ своимъ другомъ считайте, потому я по своему дѣлу хоть сейчасъ готовъ пристать къ вамъ. И совѣтомъ помогу, и деньгами, коли понадобится, потому, коли я вамъ нуженъ подчасъ бываю, то и вы мнѣ (самые первые, нужные люди. Крѣпко другъ за друга державшись, мы не скоро разстанемся, и пойдетъ въ ходъ наше здѣшнее русское дѣло и орда къ нему пристанетъ съ полною готовностью, съ охотою.

„Тогда, пожалуй, и солдатъ можно будетъ увести въ другое мѣсто, гдѣ они нужны окажутся, а мы и безъ нихъ обойдемся.

И долго еще говорили Иванъ Александровичъ Габинъ съ Никонъ Денисьичемъ, въ саду хозяйскомъ, въ бесѣдкѣ, за самоваромъ сидячи.

Ночь была лунная, свѣтлая, въ степи просто какъ днемъ видно; вышелъ Никонъ отъ Габина, идетъ по дорогѣ, пѣсни поетъ, и такъ-то ему весело, такъ-то у него на душѣ свѣтло да радостно!

Идетъ онъ не въ слободку, а на поле, потому что въ слободкѣ уже никого не было, всѣ до единой души въ поле, въ шалаши переселились и избы свои позаколочивали. Чуть только огоньки вдали у этихъ шалашей виднѣются, а кругомъ въ полѣ тихо такъ, ни души не видно, только шуршать понизу перебѣгающія изъ-подъ одного куста подъ другой проворныя степныя ящерики.

Н. Карзинъ.

(Продолженіе будетъ.)

ОКНО СЪ РЪШЕТКОЙ.

(Съ французскаго.)

Вотъ комната съ рѣшеткою въ окнѣ...
То не тюрьма,—то бѣдное жилище,
Гдѣ суждено судьбою было мнѣ
Увидѣть міръ. Я былъ въ то время нищій,
Я росъ въ тѣ дни въ загубленной семьѣ
И уголь нашъ, какъ грустное кладбище
Въ часы моихъ ночныхъ, тяжелыхъ думъ
Казался мнѣ и мраченъ и угрюмъ.

Передъ окномъ съ рѣшеткою, бывало,
Я сиживалъ безмолвно и оно
Невольно мнѣ тюрьму напоминало,
Гдѣ столько силъ людскихъ погребено,
Сломившихся въ грязи и тьмѣ подвала,—
И я смотрѣлъ со страхомъ на него
И признавала его въ тоскѣ гнетущей
За знаменье судьбы моей градущей...

Подчасъ весной, когда больная грудь
Просила ласкъ и счастья, и свободы,
Я говорилъ: скорѣй, скорѣе въ путь,
Въ объятія врачующей природы!
Я жить хочу, хочу я отдохнуть,
Хочу забыть суровыя невзгоды!...
Я говорилъ, а въ сумракъ ночномъ
Мой взоръ встрѣчалъ рѣшетку предъ окномъ.

И мой порывъ смѣняло вновь безсиле,
И думалъ я: загублены во мнѣ
Зачатки силъ; напрасны всѣ усилія;
Спасенья нѣтъ! Не птицѣ въ западнѣ

Расправить вновь поломанныя крылья
 И унести за тучи по веснѣ.
 Ей суждено весь вѣкъ прожить въ неволѣ,
 Томясь тоской бесплодною по волѣ....

Такъ шли года—и вдругъ капризный рокъ
 Мнѣ распахнулъ широко дверь острога
 И путы снялъ съ усталыхъ рукъ и ногъ,—
 И жизнь людей съ волненьемъ и тревогой
 Передо мной, бушующая, какъ потокъ,
 Неслась теперь извилистой дорогой—
 И не была со мной, какъ встарь, она
 Рѣшетками окна раздѣлена.

Съ толпой другихъ подобныхъ мнѣ созданій
 Тотъ бѣшеный потокъ меня понесъ
 И понялъ я весь ужасъ ихъ страданій
 Среди борьбы, предательства и грозъ
 И, утомаясь отъ тысячи терзаній,
 Я вспоминалъ порою не безъ слезъ
 Про уголокъ, гдѣ только скорбью кроткой
 Дышало все за старую рѣшеткой.

Въ такіе дни я ненавидѣлъ свѣтъ
 И, не понявъ возвышенныхъ стремленій,
 Высокихъ жертвъ и радостныхъ побѣдъ,
 Считалъ всю жизнь за рядъ пустыхъ мученій,
 Тупой борьбы и безысходныхъ бѣдъ,
 И какъ рабу, подъ гнетомъ опасеній,
 Мнѣ дорога казалась ты одна,
 Моей тюрьмы старинной тишина.

И. И.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.



БЕЛЕТРИСТЫ-ЭМПИРИИ И БЕЛЕТРИСТЫ-МЕТАФИЗИКИ.

(ст. вторая.)

I.

Петръ Боборыкинъ... Боже мой, какъ незавидно положеніе критики, которая поставлена въ необходимость серьезно толковать о писателяхъ, подобныхъ Петру Боборыкину! Но что вы скажете о критикѣ, которая съ гордымъ величіемъ станетъ отворачиваться отъ всего того, чѣмъ интересуются читатели, которая не захочетъ говорить о произведеніяхъ, о которыхъ они говорятъ, которыми они зачитываются? Вы первые ее осудите, вы первые упрекнете ее за ея высокоумѣнное отношеніе къ „злобѣ дня“, вы весьма основательно напомните ей, что не читатели существуютъ для критиковъ, а критики для читателей. Конечно, всякіе бываютъ читатели: есть такіе, для которыхъ и г. Боборыкинъ слишкомъ серьезенъ и глубокомысленъ, которые зачитываются манухинскими „Сонницами“, и ахматовскимъ „Собраніемъ романовъ“; разумѣется, о нихъ мы не говоримъ и не для нихъ мы пишемъ; у нихъ есть свои критики, свои белетристы, своя литература. Мы имѣемъ въ виду читателей „просвѣщенныхъ“, тѣхъ, для которыхъ издаются толстые періодическіе журналы, которые обучаются всякимъ наукамъ и искусствамъ, которые составляютъ нашу „интеллигенцію“. Или мы не можемъ игнорировать, потому что только *ими* и ради *нихъ* мы и существуемъ. И вотъ эти-то читатели и зачитываются Боборыки-

нимъ; ииѣмъ-ли же мы право не говорить о г. Боборыкинѣ? Посмотрите, его произведенія находятъ себѣ пріютъ въ лучшихъ органахъ вашей печати; ихъ охотно издають отдѣльными книжками самыя солидныя изъ московскихъ и петербургскихъ книгопродавцевъ. Значить, есть-же на нихъ сбытъ, и сбытъ среди публики наиболѣе интеллигентной. Въ противномъ случаѣ они не могли-бы печататься въ „Дѣлѣ“, „Отечественныхъ Запискахъ“ и „Вѣстникѣ Европы“. Да и самъ г. Боборыкинъ не могъ-бы быть такимъ неутомимо-плодовитымъ, если-бы на его продукты не было такого сильнаго спроса.

Чѣмъ-же объяснить это странное пристрастіе публики къ г. Боборыкину? Можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ великій художественный талантъ? Можетъ быть, критика (на-сколько мнѣ помнится, ни одному критику и на умъ не приходило заподозрить г. Боборыкина не только въ слишкомъ, но даже и вообще въ сколько-нибудь изъ ряда вонъ выходящемъ художественномъ талантѣ), — можетъ быть, говорю я, критика не сумѣла объять и постигнуть всей глубины этого таланта? Вѣдь она такъ часто дѣлаетъ промахи, — что-же удивительнаго, если она промахнулась и насчетъ г. Боборыкина?

Нѣтъ, читатель, это не совсемъ или, лучше сказать, это совсемъ не такъ. Было время, когда имя автора „Ребенка“ если и ставилось рядомъ съ именами любимыхъ публикою белетристовъ, то развѣ только насмѣшки ради; было время, когда ты, даже въ часы бессонницы, не въ состояніи былъ принудить себя взяться за его „Въ путь - дорогу“ или „Земцевъ“ (хотя эти романы — послѣдній не былъ конченъ — ничуть не хуже въ чисто-художественномъ отношеніи послѣдующихъ его романовъ); было время, когда г. Боборыкинъ, для того только, чтобы его романы могли печататься, долженъ былъ заводить свой собственный журналъ. Увы и ахъ, время это прошло; вѣчная памяти присноблаженный докторъ Ханъ едва-ли не первый почувалъ, что въ тебѣ, читатель, начинаютъ происходить такія измѣненія, благодаря которымъ шабасы Боборыкиныхъ должны скоро подняться, и что на ихъ улицѣ будетъ праздникъ. И онъ не ошибся: когда-то пріюченный имъ мало-извѣстный белетристъ блистаетъ теперь на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“ и

„Вѣстника Европы“. Что-же такое случилось съ тобою, добрый мой читатель? Знаешь, что? Ты... обоборыкинулся.

Да, положительно ты обоборыкинулся. Я не шучу и я обращаю Боборыкина въ глаголь не ради краснаго словца. Всѣ произведенія этого автора, и послѣднія въ особенности, блещутъ тѣми именно качествами, которыя ты воплощаешь въ самомъ себѣ; они написаны подъ твою диктовку, они рассчитаны на твои вкусы и потребности. Мнѣ кажется, никто изъ современныхъ белетристовъ такъ вѣрно не угадалъ и такъ хорошо не удовлетворяетъ твоей потребности, какъ г. Боборыкинъ. Ты можешь читать его произведенія съ конца, съ начала, съ середины, на сонъ грядущій или рано утромъ, въ веселомъ или мрачномъ настроеніи духа, натошакъ или послѣ сытнаго обѣда и т. п., но какъ-бы и когда-бы ты ихъ ни читалъ, они никогда не заставятъ хоть на минуту твое сердце забиться немножко посильнѣе, чѣмъ оно бьется обыкновенно. Перелистывая страницы его безконечныхъ романовъ, ты ни разу не испытаешь ни одного сколько-нибудь значительнаго душевнаго волненія. Ко всему онъ относится легко и поверхностно, „съ кандачка“ (его любимое выраженіе).

И замѣчательно, что эти легкія отношенія далеко не всегда могутъ быть оправданы сущностью тѣхъ жизненныхъ явленій, которыхъ касается авторъ. Онъ не ограничивается, подобно, напримѣръ, ну хоть г. Кущевскому, наблюденіями надъ купцами, нарушающими посты, надъ избалованными барышнями, устремляющимися, скуки ради, въ повивальныя институты, надъ бѣдными чиновниками, мечтающими выиграть 200,000, и т. п.; нѣтъ, онъ тѣхитя воспроизвести въ своихъ романахъ по-возможности всѣ сколько-нибудь выдающіяся стороны нашей современной дѣйствительности, не только пошлыя и „веселенькія“, но и весьма серьезныя и даже трагическія. Подобно трудолюбивой пчелкѣ, онъ садится на всякій цвѣтокъ нашего жизненнаго вертограда и съ каждаго цвѣтка собираетъ свою дань. Ничѣмъ онъ не брезгаетъ и ни передъ чѣмъ не останавливается. Современные дѣльцы и пройдохи, начиная отъ Саламатова и кончая Цыбулькою, „новые люди“, „новыя женщины“ и камелии всевозможныхъ (и даже невозможныхъ) видовъ и сортовъ, филантропы-благотворители, концесіонеры-аферисты, мечтатели-утописты, устраивающіе разныя артели и мастерскія, раздирательныя се-

мейныя сцены и рядомъ „пале-роляльныя водевилъчики“ — вы все можете встрѣтить въ романахъ г. Боборыкина. Съ этой стороны, нужно отдать ему справедливость, онъ очень разностороненъ, — разностороннѣе большинства нашихъ современныхъ белетристовъ. Но эта-то разносторонность еще больше отгѣняетъ общій характеръ его отношеній къ описываемымъ имъ явленіямъ. Начнетъ-ли онъ рассказывать о проискахъ какого-нибудь Цыбульки или о трагической любви Прядильникова (въ „Дѣльцахъ“), о дѣятеляхъ-практикахъ въ саламатовскомъ вкусѣ или о дѣятеляхъ-утопистахъ въ родѣ Борщова, о россійскихъ Алкивіадахъ, прожигających жизнь по женскимъ будуарамъ и ресторанамъ, или о мечтателяхъ, „взыскующихъ града“, о легенькихъ интрижкахъ „дамъ полусвѣта“ или о тяжелой семейной драмѣ, разыгравшейся въ семействѣ благонамѣреннаго чиновника Поваляшина, — ну, однимъ словомъ, о чемъ-бы онъ ни началъ рассказывать, вы всегда видите передъ собою не серьезнаго романиста, глубоко продумавшаго и прочувствовавшаго то, что онъ пишетъ, а играваго, поверхностнаго, хотя и не лишенаго остроумія рассказчика, на подобіе Алексѣя Николаевича Карпова (одинъ изъ героевъ романа „Дѣльцы“), пользующагося, повидимому, полною симпатіею г. Боборыкина. Карповъ — мудрецъ, — мудрецъ, конечно, въ боборыкинскомъ вкусѣ, — мудрецъ именно потому, что онъ, говоря его словами, „разумѣетъ суть вещей“. „Мнѣ противенъ, увѣряетъ онъ, — всякій сурьезъ. Я на все смотрю съ кандачка. Мнѣ смѣшно смотрѣть на разныхъ дѣльцовъ (тутъ разумѣются дѣльцы не только à la Саламатовъ, Воротилинъ, Малявскій etc., но и дѣльцы другого направленія, дѣльцы, „заѣденные идеями и принципами“). Люди стоящіе не должны барахтаться въ болотѣ нашей россійской дѣйствительности...“ — „Стало-быть, имъ приходится околѣвать?“ спрашиваетъ мудреца полупьяный Бенескриптовъ. — „Глядя по разсмотрѣнію, отвѣчаетъ мудрецъ; — попадешь подъ колесо — околѣвай, а нѣтъ — прыгай на одной ножкѣ. Главное-же, не бери ничего въ серьезъ. Не говори ты Христа ради: „моя жизнь разбита“, — неприлично, братецъ, это. Всѣ-то мы такъ мелко плаваемъ, что и разбивать-то намъ нечего“. Авторъ заставляеть Бенескриптова согласиться съ этою мудростью и устами его вѣщаетъ: „Это ты правильно говоришь! Только одна фапаберія, а цѣна намъ два гроша“ („Дѣльцы“, т. II, стр. 112).

Можетъ быть, это и дѣйствительно правда, можетъ быть, и дѣйствительно вся-то намъ цѣна два гроша и всё-то мы такъ мелко плаваемъ, что и разбивать намъ нечего. Но согласитесь, что при этой, хотя-бы и совершенно вѣрной, точкѣ зрѣнія вся наша современная жизнь, съ ея страстями и похотами, съ ея торжествующими и самодовольно улыбающимися героями, представляется чѣмъ-то такимъ пошло-мизернымъ, чѣмъ-то такимъ неважнымъ и несущественнымъ, что относиться къ ней серьезно было-бы даже просто смѣшно. Карповъ хорошо понимаетъ это теоретически, а г. Боборыкинъ осуществляетъ въ своихъ романахъ практически.

Навязывая послѣднему точку зрѣнія перваго, я поступаю отнюдь не произвольно. Уже въ „Солидныхъ добродѣтеляхъ“ „взыскующіе града“ герои въ концѣ концовъ убѣдились, что искомаго града на землѣ русской имъ не найти. И если они не становились рѣшительно на точку зрѣнія Карпова, то единственно потому только, что сохраняли нѣкоторую вѣру въ возможность осчастливленія Россіи при посредствѣ рабочихъ артелей. Въ „Дѣльцахъ“—же философія Карпова окончательно торжествуетъ. „Насаждатели вертоградовъ цивизма“ (читатель понимаетъ, конечно, что всё эти мудренныя характеристики изобрѣтены не мною, а составляютъ неотъемлемую собственность самого г. Боборыкина) сознаются, что они занимаютъ „толченіемъ воды въ ступѣ“ (тамъ-же, стр. 371), и не стыдятся завидовать счастію „мудреца“. „Онъ (т. е. Карповъ), съ печалью въ сердцѣ говоритъ Борщовъ,—онъ живетъ, онъ цѣльный человѣкъ. И кто-же? Бумилеръ, пустельга! А я изнываю...“ Наконецъ, самъ авторъ, устами Лизы, читаетъ всѣмъ этимъ „насаждающимъ“ и „взыскующимъ“ такого рода сентенцію: „Вы умны и добры. Вы хотите, чтобы всѣмъ было хорошо, такъ хлопчете и ничего не можете сдѣлать. Это такой городъ. Это такая земля. Никто не живетъ. *Tout le monde végète.* Развѣ всѣмъ не скучно? Если вы друзья мои, вы не будете отъ меня скрывать, вы мнѣ скажете: да... *Nous nous éreintons et nous n'agissons à rien!*“ (ib., стр. 357).

Понятно, что ужъ если „дѣльцы“ этого рода наполняютъ свою жизнь пустынь и безсмысленнымъ толченіемъ воды въ ступѣ, то еще меньшій интересъ можетъ представлять жизнь какихъ-ни-

будь Саламатовыхъ, Воротилиныхъ и имъ подобныхъ. Тутъ вы ужъ ровно ничего не найдете, кромѣ любовныхъ скандальчиковъ, попоебъ и взаимнаго, непрерывнаго надувательства.

И тамъ, и здѣсь одно безцѣльное маханіе руками въ про- странствѣ; и „насадители“, и „саламатовцы“ одинаково чувству- ютъ, что „вся ихъ серьезность, дѣльность, порядочность выѣден- наго яйца не стоитъ. Нѣтъ нерва жизни. Мертвечина или тол- ченіе воды въ ступѣ“ (т. I, стр. 104).

Возможно-ли послѣ этого, спрошу я снова, относиться серьезно къ „мертвечинѣ“ или къ процессу „толченія воды въ ступѣ“? Воз- можно-ли серьезно относиться къ людямъ, посвящающимъ себя подобному занятію? Не мудрецъ-ли-же, въ самомъ дѣлѣ, Карповъ? Не имѣеть-ли право г. Боборыкинъ, не имѣешь-ли право и ты, читатель, смотрѣть легко, „съ кандачка“ на все, что во- кругъ васъ дѣлается, думается и говорится? Но если это такъ, то я-то какое-же имѣю право укорять г. Боборыкина въ легко- мыслии и поверхностности, а тебя, читатель, въ апатіи и инди- ферентизмѣ ко всему, что не имѣеть ближайшаго отношенія къ твоей собственной рубашкѣ? Подвизайся-же на поприщѣ своего ин- диферентизма, укрѣпляй и развивай свою апатію, и да преумно- жатся романы и повѣсти въ духѣ карповской философіи! Пусть- же г. Боборыкинъ пишетъ, пишетъ и пишетъ. Онъ попалъ въ тонъ, и слава ему! Не такъ-ли?

Нѣтъ, читатель, не такъ. Выйди на минуту изъ микроско- пической ячейки своихъ личныхъ интересовъ, возбуди въ себѣ, если можешь, интересъ къ дѣйствительности, перестань быть ея индифферентнымъ зрителемъ,—и ты сейчасъ-же убѣдишься въ безу- словной фальшивости карповской мудрости, въ полнѣйшей несо- стоятельности боборыкинской теоріи: смотрѣть на все „съ кан- дачка“. Однако, скажутъ, пожалуй, пѣкоторые изъ моихъ чита- телей, чего-же вы хотите? Уже не хотите-ли вы, чтобы мы симпа- тизировали страданіямъ разныхъ Воротилиныхъ, Малявскихъ и т. п., чтобы мы проливали слезы надъ безрезультатностью „толче- нія воды въ ступѣ“ разныхъ Борщовыхъ, г-жъ Поваляшинныхъ, „жертвъ вечернихъ“ и т. п.?

Избави меня Боже! Если вы понимаете симпатію въ смыслѣ одобренія и состраданія, то, разумѣется, смѣшно было-бы требо- вать подобной симпатіи къ современнымъ „дѣльцамъ“. Но одно

дѣло сочувствовать младенческимъ порываніямъ „насадителей цивилизма“ или умиляться передъ хищническими и мелко-эгоистическими проявленіями „молодцовъ“ саламатовской школы, и другое дѣло отнестись ко всѣмъ этимъ явленіямъ серьезно, т. е. прочувствовать и продумать ихъ, на-столько прочувствовать и продумать, чтобы они перестали казаться вамъ чѣмъ-то совершенно индифферентнымъ, совершенно чуждымъ вашимъ душевнымъ интересамъ. Только при такомъ отношеніи къ нимъ вы въ состояніи будете выйти изъ своей апатіи, вы начнете жить въ истинномъ смыслѣ этого слова, и, повѣрьте, тогда сами собою свалятся тѣ цѣпи „пошлости, мелочности и бессодержательности“ окружающей васъ дѣйствительности, на которыя теперь вы такъ любите жаловаться. „Ужь не хотите-ли вы, замѣтятъ мнѣ еще разъ наименѣе догадливые изъ читателей,—ужь не хотите-ли вы, чтобы художникъ, не ограничиваясь правдивымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности, изрекалъ надъ нею свои приговоры, чтобы онъ непрестанно указывалъ перстомъ, что вотъ, молъ, сіе хорошо и одобрительно, а сіе дурно и неодобрительно, сему-то я сочувствую, противъ сего возмущаюсь, и т. п.“

Опять-таки нѣтъ. Не быть индифферентнымъ—еще не значитъ быть пристрастнымъ и тенденціознымъ. Конечно, вы читали, и, быть можетъ, даже не разъ, „Ярмарку тшеславія“ Теккерера? Не правда-ли, описываемая имъ дѣйствительность очень некрасива, жалкіе людишки, по горло увязшіе въ этой дѣйствительности, крайне пошлы, мелочны, эгоистичны? Никто, разумѣется, не скажетъ, что великій романистъ имъ сочувствуетъ; нельзя даже сказать, чтобы онъ на нихъ негодовалъ; а между тѣмъ онъ не относится къ нимъ индифферентно; вы видите, что изображаемый имъ міръ изученъ имъ всесторонне, глубоко, основательно. Онъ понимаетъ его, онъ выворачиваетъ передъ вами его душу, онъ заинтересовываетъ васъ; и вы, противъ воли, незамѣтно для васъ самихъ, чувствуете себя какъ-бы охваченными со всѣхъ сторонъ мутными волнами настоящей, реальной жизни, вы живете съ ея героями, вы ихъ любите и ненавидите, вы слѣдите съ постоянно возрастающимъ вниманіемъ за ихъ судьбою, за ихъ взаимными отношеніями, вы радуетесь ихъ радостями, печалитесь ихъ горемъ. Вы не можете быть къ нимъ индифферентны, не можете именно потому, что самъ авторъ къ нимъ не индифферен-

тень. Разумѣется, никто не подумаетъ, что я хочу проводить какія-нибудь паралели между Теккереемъ и Петромъ Боборыкинымъ. О Теккерее я упомянулъ только для того, чтобы нагляднѣе убѣдить тебя, читатель, что между такъ-называемымъ „художественнымъ объективизмомъ“ (необходимость котораго я вполне признаю) и „индифферентизмомъ“ существуетъ „дистанція огромнѣйшихъ размѣровъ“, никакъ не меньше той, которая существуетъ между талантомъ россійскаго „беллетристическихъ дѣлъ мастера“ и талантомъ автора „Ярмарки тщеславія“.

Боборыкинъ, однако, долженъ, какъ мнѣ кажется, возблагодарить Бога за то, что онъ создалъ его Боборыкинымъ, а не Теккереемъ. Будь онъ Теккереемъ, онъ, быть можетъ, и не имѣлъ-бы такого успѣха, какой имѣетъ теперь. Тогда-бы онъ не относился „съ вандачка“ къ изображаемой имъ жизни, и ты, читатель, не сталъ-бы перелистывать его романовъ; тебѣ пришлось-бы ихъ читать, и не только читать, но и думать, а иногда даже и волноваться. А этого ты совѣмъ ужъ не любишь *).

*) Да, ты этого очень не любишь; ты хочешь, чтобы ничто, даже невинныя произведенія искусства, даже наше невинное бумагомаранье не выводило тебя изъ того мирнаго и безмятежнаго спокойствія, съ которымъ ты зришь на окружающую тебя дѣйствительность. Недавно еще, по поводу послѣдняго романа г. Достоевскаго „Подростокъ“, ты самъ заявилъ въ одной изъ любимыхъ своихъ газетъ, „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“, что тебѣ, заурядному читателю, нравятся только такія произведенія, читая которыя ты можешь не выходить изъ роли „спокойнаго созерцателя“, и что ты весьма не одобряешь г. Достоевскаго за то, что „когда вы читаете романъ г. Достоевскаго, вы сами какъ-будто участвуете въ галлюцинаціяхъ его героевъ и переживаете вмѣстѣ съ ними всѣ ихъ нравственныя муки“. Тебя это беспокоитъ, ты боишься всякихъ сколько-нибудь живыхъ впечатлѣній, даже отъ чтенія книгъ. Но, разумѣется, ты не сознаешь истинной причины твоего страха, и, какъ подобаетъ заурядному читателю, стараешься оправдать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ какими-то эстетическими соображеніями. Съ серьезностью по-истинѣ комическою ты начинаешь увѣрять себя, будто „въ искусствѣ долженъ быть какой-то предѣлъ, за который оно не должно переходить въ своемъ дѣйствіи на сердце читателя, иначе оно перестаетъ быть искусствомъ и дѣлается уже самою жизнью (?!), производи на васъ впечатлѣніе не образовъ творчества, а какъ-бы самихъ фактовъ жизни“ (см. „Мысли по поводу текущей литературы“, „Зауряднаго читателя“, „Бирж. Вѣдом.“, 1875, № 35). О, заурядный читатель, зачѣмъ ты философствуешь! ты могъ-бы просто сказать: „я человекъ порядочный, дорожу своимъ душевнымъ спокойствіемъ, и если читаю иногда книги, то, конечно, ужъ не за тѣмъ, чтобы разстраивать ими мои нервы“. Это было-бы вполне резонно и основательно. Литература вѣдь для тебя существуетъ, а не ты для нея, значитъ она

II.

Итакъ, главная причина успѣха романовъ г. Боборыкина заключается, повидимому, въ характерѣ отношеній автора къ явленіямъ изображаемой имъ жизни. Характеръ-же этотъ, съ одной стороны, обуславливается общимъ настроеніемъ той среды, изъ которой вышелъ авторъ, съ другой — коренными свойствами его таланта. О настроеніи „среды“ я только-что говорилъ, что-же касается коренныхъ свойствъ боборыкинскаго таланта, то мнѣ придется еще разъ повторить взгляды, высказанные о немъ уже однажды критикомъ „Дѣла“. Хотя взгляды эти были высказаны довольно давно, но послѣдующія произведенія автора „Солідныхъ добродѣтелей“, — произведенія, которыя лежатъ теперь передо мной („Дѣльцы“, „Докторъ Цыбулька“, „Пол-жизни“, „Въ усадьбѣ и на порядкѣ“), — только еще болѣе ихъ подтверждаютъ. Боборыкинъ, какъ былъ, такъ и остался наблюдателемъ-эмпирикомъ, и притомъ эмпирикомъ весьма легкаго свойства.

Онъ прекрасно схватываетъ чисто-внѣшніе признаки того или другого лица, и чѣмъ мельче и несущественнѣе признакъ, тѣмъ лучше онъ его запоминаетъ, тѣмъ живѣе воспроизводитъ. Наружность, одежду, манеры, интонацію голоса онъ опишетъ вамъ съ самою тщательною обстоятельностью, но особенности характеровъ, процессы внутренней, психической жизни доступны его наблюдательности въ несравненно-меньшей степени. Къ тому-же и наблюдательность его въ этой сферѣ страдаетъ какою-то отрывочностью: читая о его многоразличныхъ герояхъ, такъ и ка-

должна уважать твои вкусы и удовлетворять твоимъ потребностямъ. И, конечно, ты не можешь на нее пожаловаться: она никогда не идетъ въ разрѣзъ съ твоими „страстями и похотями“. Развѣ она, въ угоду тебѣ, заурядный читатель, не прочиталась насквозь принципомъ заурядности, т. е. пошлой посредственности? Развѣ, въ угоду тебѣ, она не отвергла своихъ объятій Петру Боборыкину и не поставила его въ чело своихъ белетристовъ? Развѣ... но всего и не перечтешь, что она для тебя сдѣлала и, вѣроятно, еще сдѣлаетъ. Говори только прямо, чего хочешь; стыдиться тебѣ некого и нечего. Но, право, не философствуй; это совершенно излишне и небезопасно: вѣдь твои разсужденія могутъ подчасъ столь-же вредно (хотя и въ иномъ направленіи) подѣйствовать на нервы другихъ заурядныхъ читателей, сколь на твой вредно дѣйствовать „художественные образы“ г. Достоевскаго.

жется, что имѣешь дѣло съ „случайными“ замѣтками, выхваченными изъ записной книжки автора, — книжки, въ которую онъ заносилъ различные факты, какъ изъ внутренней, такъ и чисто-внѣшней жизни людей, сталкивавшихся съ нимъ на житейскомъ поприщѣ. Факты эти почти сырыми приподносятся читателямъ и изъ нихъ кое-какъ склеиваются нѣкоторыя подобія человѣческихъ характеровъ. Конечно, характеры, созданные такимъ незамысловатымъ образомъ, не могутъ не представлять весьма близкаго — иногда даже близкаго до неприличія — сходства съ тѣми живыми образцами, съ которыхъ они списаны; но они, въ то-же время, не могутъ быть типическими. Типическій характеръ есть продуктъ художественнаго синтеза — способности, которой г. Боборыкинъ совершенно не имѣетъ, а если и имѣетъ, то только въ очень слабой степени. Онъ наблюдаетъ, — но не обобщаетъ. Потому-то дѣйствующія лица его романовъ не только не производятъ на читателя сильнаго впечатлѣнія, но даже и не возбуждаютъ къ себѣ почти никакого интереса. Онъ забываетъ ихъ почти съ такою-же скоростью, съ какою перелистываетъ произведенія автора. Единственная вещь, которая еще остается въ его памяти, это тѣ тенденціи, идеи, воззрѣнія, которыя романистъ старается воплотить въ своихъ герояхъ.

Г. Боборыкинъ, какъ я уже сказалъ выше, эмпирикъ только отчасти: онъ эмпирикъ лишь въ обрисовкѣ характера; но самая обрисовка не играетъ особенно важной роли въ его художественномъ творествѣ; онъ относится къ ней довольно небрежно и о такъ-называемой художественной правдѣ заботится весьма мало. Главное, о чемъ онъ хлопочетъ, это — чтобы данный характеръ былъ способенъ къ воспріятію и ношенію какой-нибудь ходячей идейки, какой-нибудь, заранѣе формулированной авторомъ, тенденціи. Если онъ удовлетворяетъ этой своей задачѣ, т. е. если онъ съ успѣхомъ можетъ фигурировать въ качествѣ конкретнаго знака нѣкоторыхъ теоретическихъ абстракцій, то авторъ вполне имъ доволенъ. Больше онъ ничего и не требуетъ, большаго и читатель не имѣетъ права отъ него требовать.

Абстракціи, воплощаемыя въ этихъ конкретныхъ знакахъ, имѣютъ въ романахъ г. Боборыкина двойной характеръ: психологическій и общественно-сентенціозный, т. е. иногда онѣ представляютъ собою не болѣе, какъ какое-нибудь психологическое свой-

ство человѣка, какое-нибудь опредѣленное душевное настроеніе, иногда — нѣкоторую господствующую въ данной средѣ тенденцію, выражающую собою ея общественное міровоззрѣніе. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ абстракціи эти имѣютъ и по самой сущности своей должны имѣть типическій характеръ, т. е. онѣ являются всегда обобщеніемъ многихъ частныхъ фактовъ, единичныхъ проявленій того или другого душевнаго настроенія, той или другой общественной тенденціи. Такимъ образомъ, боборыкинскіе герои представляютъ нѣкоторую двойственность въ своемъ характерѣ, — двойственность, которая не мало затрудняетъ оцѣнку ихъ въ чисто-художественномъ отношеніи и даетъ поводъ къ самымъ противорѣчивымъ взглядамъ на общественное значеніе его произведеній. Съ одной стороны, его герои — это плохо-снятыя копіи съ „живыхъ образцовъ“, случайно попавшихся на глаза автору; и въ этомъ отношеніи они, да позволено мнѣ будетъ такъ выразиться, запечатлѣны эмпирическимъ характеромъ, въ нихъ нѣтъ никакой типичности; но, съ другой стороны, они всегда воплощаютъ въ себѣ какой-нибудь принципъ, какую-нибудь идейку или хоть какое-нибудь душевное настроеніе; этотъ принципъ, эта идейка, это душевное настроеніе всегда представляютъ собою нѣкоторое, и подчасъ даже весьма удачное, обобщеніе цѣлаго ряда частныхъ, единичныхъ явленій; поэтому относительно воплощаемыхъ ими идей они могутъ быть признаны типическими.

Чтобы лучше уяснить читателю этотъ двойственный характеръ боборыкинскихъ воплощеній, я укажу ему, для примѣра, хоть на личность Ореста Федоровича ванъ-дер-Гильзена (въ повѣсти „Въ усадьбѣ и на порядкѣ“, „Вѣстникъ Европы“, 1875, № 1) — личность въ одно и то-же время и крайне-безцвѣтную, и крайне-типическую. Что за человѣкъ г. ванъ-дер-Гильзенъ? Онъ чиновникъ, съ чопорными манерами, весьма приличный и солидный... и только. Больше мы ничего не знаемъ о его личности; правда, онъ фигурируетъ въ повѣсти въ качествѣ весьма второстепеннаго и, такъ-сказать, вводнаго лица. Однако, настоящій художникъ сьумѣлъ-бы нѣсколькими штрихами оттѣнить его характеръ на-столько, по крайней мѣрѣ, чтобы въ умѣ читателя могла, хотя въ общихъ контурахъ, обрисоваться и опредѣлиться не только вѣшность, но и нравственная личность „россійскаго

позитивиста“. Онъ, т. е. не позитивистъ, а настоящій-то художникъ, не ограничился-бы банальнымъ приѣмомъ беллетристическихъ бездарностей—заставлять само дѣйствующее лицо выкладывать передъ читателемъ свою душу; онъ-бы показалъ намъ эту душу „въ дѣйствіи“, въ ея отношеніяхъ къ окружающей ее средѣ, и т. п.,—однимъ словомъ, во всемъ, въ чемъ можетъ обнаружиться истинный характеръ человѣка. Въ словесныхъ изліяніяхъ онъ, какъ извѣстно, обнаруживается всего менѣе, но за то съ ихъ помощью ремесленнику - беллетристу весьма легко и удобно объяснить читателю, что именно онъ, беллетристъ, желалъ связать даннымъ характеромъ и какъ именно долженъ смотрѣть на него читатель. Боборыкинъ почти всегда прибѣгаетъ къ этому упрощенному способу опредѣлять характеры своихъ героевъ; поэтому читатель знаетъ о нихъ только то, что герои благоугодно сообщать о самомъ себѣ. Точно такъ-же онъ поступаетъ и съ ванъдер-Гильзеномъ. Онъ заставляетъ его, въ промежуткахъ между подвизываніемъ галстука, застегиваніемъ запонокъ, надѣваніемъ жилета и иныхъ принадлежностей мужского туалета, выложить передъ пріятелемъ всю свою душу, посвятить его въ основные принципы своего общественнаго и нравственнаго credo. Посмотримъ-же, какова эта душа и что это за принципы.

Пріятель Гильзена былъ, повидимому (т. е. авторъ хочетъ, чтобы мы это видѣли, хотя, впрочемъ, изъ *самой* повѣсти этого и не видно), либераль, вѣрилъ въ какіе-то возвышенные идеалы и т. п. „Россійскій позитивистъ“ упрекаетъ его поэтому за „гейдельбергскія наивности“ и затѣмъ продолжаетъ такъ: „Тогда (т. е. это значитъ въ началѣ 60-хъ годовъ) можно было кричать на разные тоны: мы станемъ работать для идеи, мы воспитаемъ нѣсколько поколѣній, мы, мы! А что мы?.. Ничего въ россійской имперіи, любезный другъ, не дѣлается путнаго иначе, какъ посредствомъ... ад-ми-ни-стра-ціи! Да, ma vielle, администраціи. Вотъ это дѣло. Съ тобою говорить не кварталный надзиратель, а человѣкъ... de ton bord. Поживя въ Петербургѣ, я пришелъ къ тому выводу, что каждый, у кого есть хоть крошка знаній или одна десятая идейки, обязанъ, pour bien mériter de la patrie, — entends-tu cela? — попасть туда, гдѣ онъ, какъ простой докладчикъ или юрисконсультъ, дѣлаетъ то, что...“ и т. д. „Безъ общихъ мѣръ ни въ какой странѣ, dans aucun pays

police, ты ничего прочнаго не реализируешь... А вообрази себя dans la peau d'un simple докладчикъ въ какомъ-нибудь центральномъ вѣдомствѣ. Ты обсудилъ общую мѣру, ты изучилъ все, что надо, чтобы привести ее въ исполненіе, и пиши себѣ свой проектъ, какъ тебѣ угодно. Въ девяти случаяхъ на десять, avec un certain savoir-faire, ты реформаторъ, хоть и анонимный! Oui, cher ami, un reformateur!..“

„Повторяю, безъ общихъ мѣръ ничего создать нельзя... даже если горѣть любовью къ мужику!.. Что это за манія болтовни про народъ! N'avoir d'autre visée, que l'Eldorado communal dans chaque trou (chouvache!.. J'en ai jusqu'ici! (Гильзень показаль на горло.) Народъ, народъ, мужичекъ, фабричный!.. Но гдѣ-же во всемъ этомъ наука, знаніе, законъ, la sociologie enfin!.. Или мы съ тобою позитивисты, или нѣтъ. Если да, то развѣ для насъ обязательна вся эта, enfin tout ce verbiage mystique? Да, любезный другъ, это мистицизмъ и ничего больше. Для меня прежде всего законъ природы, затѣмъ—исторіи, законъ экономическаго развитія и qu'est ce une loi? На этотъ вопросъ у него былъ одинъ неизмѣнный отвѣтъ: „Un fait qui se renouvelle de la même façon dans les mêmes circonstances“ (стр. 69—74).

Profession de foi, какъ видите, весьма обстоятельное. Изъ него вы, конечно, ничего не узнаете о „характерѣ“ Ореста Федоровича, но оно вполне знакомитъ съ его убѣжденіями. Орестъ Федоровичъ, по-прежнему, остается для васъ личностью безцвѣтною и неопредѣленною, между тѣмъ какъ его „идеи“ съ отчетливою ясностью врѣзываются въ вашу память. Вашъ умъ легко ихъ воспринимаетъ, какъ что-то уже давно ему знакомое, давно извѣстное. Да и въ самомъ дѣлѣ онѣ для васъ не новость. Вы слышали ихъ сотни разъ; у васъ навѣрное найдется два, три, а быть можетъ и больше пріятелей, которые гораздо раньше Ореста Федоровича прожужжали вамъ уши съ своими „законами природы, законами исторіи и экономическаго развитія“, которые съ неменьшею торжественностью вопрошали: Qu'est ce une loi? и съ неменьшею неумолимостью припирали васъ къ стѣнѣ своимъ „Sommes nous positivistes, oui ou non?“

Да, несомнѣнно, вы все это уже раньше слышали, и мнѣнія Ореста Федоровича не есть его личное достояніе, — это мнѣнія цѣ-

лаго кружка, цѣлаго класса, это мнѣнія всѣхъ нашихъ „позитивистовъ-практиковъ“. И въ этомъ смыслѣ къ нимъ вполне примѣнимъ эпитетъ „типическихъ“. Они типичны. По нимъ мы можемъ составить себѣ понятіе о міросозерцаніи нѣкоторой, весьма значительной общественной среды,—среды, съ которою мы постоянно сталкиваемся и вліяніе которой такъ неотразимо чувствуемъ во всемъ, что насъ окружаетъ, на всемъ, изъ чего складается наша жизнь...

Ту-же небрежность или, правильнѣе, совершенную неумѣлость въ отдѣлѣ „характеровъ“, съ одной стороны, и ту-же типическую опредѣленность воплощаемыхъ въ нихъ „идей“—съ другой, вы встрѣтите и въ прочихъ произведеніяхъ автора. Возьмите хоть „Дѣльцовъ“. Выведенные въ романѣ „дѣльцы“ распадаются на двѣ категоріи: на категорію дѣльцовъ-хищниковъ, ищущихъ только случая гдѣ-бы и какъ-бы поживиться на счетъ ближняго и набивающихъ его добромъ свои карманы, и на категорію дѣльцовъ-филантроповъ, хлопочущихъ о безкорыстномъ служеніи ближнему и о наполненіи его кармановъ въ ущербъ своимъ собственнымъ.

Первая категорія имѣетъ своихъ представителей въ Саламатовѣ, Воротилинѣ, Малявскомъ, жидѣ Гольденштернѣ и т. п. О послѣднемъ нельзя ничего сказать, такъ-какъ вся роль его ограничивается произнесеніемъ нѣсколькихъ фразъ ломаннымъ русскимъ языкомъ. Но три первые „дѣльца“ исполняютъ свою „дѣятельность“ (т. е. больше своими словоизліаніями) всѣ шесть книгъ романа и фигурируютъ въ немъ въ качествѣ наиболѣе выдающихся героевъ. И несмотря, однако, на свои первостепенныя роли, они сливаются въ одно лицо. По прочтеніи романа вы ихъ совершенно смѣшиваете, вы забываете, гдѣ кончается одинъ и начинается другой, вы тщетно станете припоминать, чѣмъ именно характеръ Малявскаго отличается отъ характера Воротилина, и есть-ли какая-нибудь существенная разница между господиномъ Саламатовымъ и двумя его „адъютантами“ (т. е. Малявскимъ и Воротилинымъ). Правда, Саламатовъ говоритъ о себѣ, будто онъ „человѣкъ не той совсѣмъ породы, какъ нынѣшніе, начинающіе дѣльцы. Тѣ все пыжаты, изъ кожи лѣзутъ, чтобы какъ-нибудь персону свою въ авантажъ выставить“ (т. I, стр. 249), но, въ сущности, онъ только потому и не по-

хоть на „ннѣшнихъ дѣльцовъ“, что богаче ихъ, имѣеть связи, занимаетъ значительный административный постъ, и что поэтому ему гораздо легче и сподручнѣе „схватывать большіе куши“, чѣмъ имъ, только еще оперяющимся „хищникамъ“. За вычетомъ этихъ чисто-случайныхъ аксесуаровъ, его характеръ, его „внутренній міръ“, его индивидуальность рѣшительно ничѣмъ не отличаются отъ характера, „внутренняго міра“, отъ индивидуальностей Воротилиныхъ и Малаевскихъ. Когда послѣдніе достигнутъ его лѣтъ и приобрѣтутъ его „положеніе въ свѣтѣ“, они превратятся въ Саламатовыхъ, точно также, какъ Саламатовы, въ дни своей юности и безызвѣстности, во всемъ копировали Малаевскихъ и Воротилиныхъ.

Однимъ словомъ, всѣ эти представители „дѣльцовъ-хищниковъ“ до такой степени схожи другъ съ другомъ, что ихъ можно принять за одно лицо. Но это одно лицо, этотъ Саламатовъ-Воротилинъ-Малаевскій, представляетъ собою какой-то абстрактный, метафизическій характеръ и очень мало походитъ на живого, реальнаго человѣка. Авторъ, желая по-возможности приспособить его къ воплощенію идеаловъ и тенденцій хищнической среды, совершенно игнорировалъ все, что, по его мнѣнію, не имѣло прямого отношенія къ этимъ идеаламъ и тенденціямъ. Отсюда крайняя односторонность и безличность этого лица. Въ немъ нѣтъ ничего типическаго; оно не болѣе, какъ отвлеченный знакъ для выраженія извѣстныхъ идей. Но самія эти „идеи“, какъ идеи ванъ-дер-Гильзена, и реальны, и типичны. Онѣ опять напомнятъ вамъ что-то такое, что вы уже много разъ и слышали, и читали, къ чему вы уже до такой степени приглядѣлись, что оно даже и перестало васъ шокировать.

Что касается до представителей дѣльцовъ второй категоріи, до „насадителей цивилизма“, то въ нихъ авторъ старается воплотить не столько какую-нибудь тенденцію, сколько нѣкоторое, излюбленное имъ, душевное настроеніе, — настроеніе, въ свою очередь, тоже не лишенное извѣстнаго рода типичности, хотя, впрочемъ, теперь оно, какъ кажется, встрѣчается все рѣже и рѣже. Въ нашемъ журналѣ уже говорилось о немъ по поводу „Солидныхъ добродѣтелей“, и здѣсь намъ нѣтъ надобности слишкомъ долго останавливаться на его анализѣ. Достаточно сказать, что „насадители цивилизма“ страдаютъ той-же немочью, какъ и „взяскующіе града“.

Съ одной стороны, они великіе идеалисты, они преисполнены благороднѣйшими стремленіями и возвышеннѣйшими идеями; они хотятъ всецѣло посвятить себя на служеніе своимъ ближнимъ, но, съ другой стороны, они реалисты, въ самомъ дурномъ значеніи этого слова; для осуществленія своихъ идеаловъ они не рѣшаются поступиться ни однимъ изъ тѣхъ реальныхъ благъ, которыми они пользуются; ихъ любовь къ ближнимъ имѣетъ чисто-платоническій характеръ; она настолько сильна, что можетъ подчасъ вызвать изъ ихъ глазъ слезы, что можетъ нагнать на нихъ мрачную меланхолю, но она слишкомъ слаба для того, чтобы подвигнуть ихъ на серьезныя жертвы, на серьезную борьбу. А такъ-какъ безъ серьезныхъ жертвъ, безъ серьезной борьбы они ничего серьезнаго сдѣлать не могутъ, то вотъ они и мечутся, какъ угорѣлые, ломаютъ себѣ руки, рвутъ на себѣ волосы, хватаются и за то, и за другое, пересаживаются и такъ, и сякъ, но въ концѣ концовъ все-таки оказывается, что „какъ они ни садятся“, а все-же въ „музыканты не годятся“.

Безпрерывныя порыванія къ какому-то дѣлу, а затѣмъ, когда „дѣло“ найдено, тяжелое сознаніе, что оно „яйца выѣденнаго не стоитъ“, — вотъ самые существенные моменты того душевнаго настроенія, которое воплощаютъ въ себѣ разные Борщовы, Катерины Николаевны Повалишины и пр. Кромѣ того, что они воплощаютъ въ себѣ это вѣчное исканіе чего-то, это сознаніе своей „неузости“, о нихъ нельзя сказать рѣшительно ничего. Они еще болѣе безличны, чѣмъ дѣльцы первой категоріи. И это немудрено. Создавая образы Саламатовыхъ, Малявскихъ, Воротилинныхъ, г. Боборыкинъ не могъ имѣть недостатка въ живомъ матеріалѣ; вѣдь тѣ реальные дѣльцы-хищники, съ которыхъ онъ снималъ свои блѣдныя копія, — вѣдь это герои дня; ими кишитъ наша современная жизнь; куда-бы вы ни пошли, какое-бы попріще ни избрали, вы не сдѣлаете шагу безъ того, чтобы не натолкнуться хоть на одного изъ этихъ господъ. Совсѣмъ другое дѣло тѣ „взыскующіе града“, тѣ платоническіе поклонники идеала, тѣ алчущіе и жаждущіе безкорыстныхъ подвиговъ на пользу ближняго, которыхъ авторъ тѣмъ и щитается воспроизвести въ Борщовыхъ, Повалишинныхъ, отчасти даже въ Бевескриптовыхъ, въ Зиваидахъ Алексѣевыхъ. Эти искатели великихъ дѣлъ и прекрасныхъ людей, эти филантропическіе дѣльцы, терзающіеся созна-

ніємъ бесполезности своей дѣятельности, эти неуживчивые семинаристы-протестанты, незнающіе куда примѣнить свои богатырскія силы и съ горя спивающіеся съ кругу,—все это люди сходящіе или уже давно сошедшіе со сцены *). Въ рядахъ „дѣльцовъ“ шатающихся, сомнѣвающихся съ каждымъ днемъ становится все меньше и меньше. Слащавый идеализмъ — продуктъ тѣхъ крайне ненормальныхъ общественныхъ условій, въ которыхъ росли наши отцы и наши старшіе братья, теперь уже утратилъ свой прежній ореолъ; надъ нимъ смѣются, къ нему относятся съ нескрываемымъ презрѣніемъ. „Дѣльцы“ всѣхъ лагерей и оттѣнковъ стараются окончательно высвободиться изъ-подъ его вліянія и какъ можно крѣпче утвердятся на почвѣ реальныхъ интересовъ и потребностей. Даже самые юные изъ юныхъ поворачиваютъ къ нему спину и какъ въ своей дѣятельности, такъ и въ своемъ бездѣйствіи прежде и больше всего хлопочутъ о томъ, чтобы не потерять репутаціи людей практическихъ.

Поэтому та „душевная раздвоенность“, которую г. Боборыкинъ заставляетъ постоянно мучиться своихъ добродѣтельныхъ

*) Вспомните, напр., читатель, хоть Зинаиду Алексѣевну Тимофѣеву. Авторъ представляетъ въ ней нѣкоторую „новую женщину“, читавшую „всякія книжки“, толкавшуюся „въ кружкахъ университетской молодежи, гдѣ, въ атмосферѣ споровъ и благодушества, она провела цѣлыхъ два года“ (т. I, стр. 194). „Умъ у нея былъ бойкій“ и она хотѣла „все узнать и испытать“. И вотъ, отчасти для удовлетворенія этой своей любознательности, а отчасти для отысканія „живого идеала“ и „образцовыхъ россианъ“, она начинаетъ таскаться по маскарадамъ и клубамъ, заводитъ тамъ знакомство съ однимъ изъ саламатовскихъ „молодцовъ“, Малевскимъ, чуть-чуть не влюбляется въ него, входитъ съ нимъ въ запанибратскую интимность, назначаетъ ему свиданіе въ Варваринской гостиницѣ (sic!), ѣздитъ съ безобразной компаніей подгулявшихъ „дѣльцовъ“ къ Дороту, Огюсту и едва не попадаетъ въ полицію, по подозрѣнію въ занятіи тайной проституціей, и въ концѣ-концовъ поступаетъ на какую-то провинціальную сцену и сочетается узами законнаго брака съ „россійскимъ Аленвиадомъ“, соскучившимся шататься по кабакамъ и инымъ увеселительнымъ заведеніямъ и вздумавшимъ обзавестись законною супружницею.

Не знаю, были-ли когда-нибудь такія „новыя женщины“, но во всякомъ случаѣ теперь среди женщинъ, „читающихъ всякія книжки и врашающихся въ кругу университетской молодежи“, вы навѣрное не встрѣтите ни одного подобнаго веземляра. А между тѣмъ авторъ, создавшій этотъ образъ, очевидно, на основаніи какихъ-то давнишнихъ воспоминаній, имѣетъ наивность утверждать (отъ лица самой г-жи Тимофѣевой), будто „она, Тимофѣева, совсѣмъ не рѣдкое явленіе въ наше время, и что теперь такихъ женщинъ много“ (т. II, стр. 32). Увы и ахъ, г. Боборыкинъ, на этотъ счетъ вы жестоко ошибаетесь!

героевъ, стала теперь явленіемъ несовременнымъ, отжившимъ; слѣдовательно, и его добродѣтельные герои или, лучше сказать, воплощаемыя ими тенденціи утратили въ наше время почти всякій общественный интересъ. Заниматься ими рѣшительно не стоитъ, и романистъ поступилъ-бы весьма благообразно, если-бы совсѣмъ бросилъ эту неблагодарную тему и занялся-бы исключительно образными воплощеніями (о „художественномъ воспроизведеніи“, разумѣется, я не говорю, потому что о такомъ воспроизведеніи г. Боборыкину и мечтать нечего) лишь тѣхъ явленій нашей жизни, которыя представляютъ современный интересъ, которыя имѣютъ въ данный моментъ хоть какое-нибудь общественное значеніе. Мнѣ кажется, что помимо той главной причины, на которую было указано выше, успѣхъ его романовъ въ значительной степени обусловливается животрепещущею современностью затрогиваемыхъ въ нихъ мотивовъ данной дѣйствительности. Разъ они теряютъ значеніе современности, они не будутъ имѣть никакого значенія; въ нихъ нѣтъ ничего такого, что-бы могло дать имъ въ глазахъ безпристрастныхъ читателей хоть какую-нибудь внутреннюю цѣну, независимую отъ тѣхъ вѣншихъ обстоятельствъ, при которыхъ они появляются на Божій свѣтъ. Напрасно стали-бы они искать въ нихъ вѣрной и типической обрисовки характеровъ, основательно продуманнаго анализа „внутренняго міра“ человѣка, живого воспроизведенія его чувствъ и страстей, всесторонней, серьезной наблюдательности, смѣлой фантазіи, глубины мысли и вообще всего того, что обыкновенно даетъ жизнь произведеніямъ истинныхъ художниковъ. Ни на одно изъ этихъ достоинствъ, дающихъ право на долгую жизнь (конечно, относительную), романы г. Боборыкина претендовать не могутъ, и въ будущемъ ихъ, по всей вѣроятности, постигнетъ та-же судьба, какая постигнетъ романы Крестовскаго (не псевдонимъ), Лѣскова, Мещерскаго, критическія и публицистическія упражненія современныхъ критиковъ и публицистовъ и вообще всѣ тѣ произведенія печати, которыя пишутся подъ вліяніемъ „минуты“ и предназначаются для удовлетворенія минутныхъ-же потребностей. И эта судьба постигнетъ ихъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше притязаній станутъ они предъявлять на разрѣшеніе такихъ задачъ, которыя совершенно не по плечу таланту автора.

III.

Однако, г. Боборыкинъ, повидимому, совершенно этого не понимаетъ. Онъ вообразилъ себѣ, будто онъ способенъ не только быть фельетоннымъ белетристомъ, но и белетристомъ-психологомъ; и вотъ въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ („Полъ-жизни“ и „Въ усадьбѣ и на порядкѣ“,—оба произведенія были напечатаны въ „Вѣстникѣ Европы“) онъ, вмѣсто того, чтобы заниматься изобличеніемъ чешскихъ культуръ-мановъ и російскихъ „двигателей прогресса“, пускается въ невѣдомыя ему дебри психологіи и предъявляетъ претензію на разрѣшеніе очень тонкихъ и запутанныхъ вопросовъ изъ міра человѣческихъ страстей. Что могло его побудить на этотъ столько-же смѣлый, сколько и неудачный шагъ? Неужели одно только самообольщеніе?

Не думаю. Безъ сомнѣнія, самообольщеніе играло тутъ нѣкоторую роль. Но оно было не единственною причиною; были и другія, въ которыхъ г. Боборыкинъ уже нисколько не повиненъ и которыя слѣдуетъ искать не столько въ немъ самомъ, сколько въ той жизни, которая даетъ ему матеріалъ для его белетристическихъ упражненій. Эта жизнь очень однообразна и крайне мизерна по своему внутреннему содержанію; мотивы ея весьма несложны, волнующіе ее интересы—мелки и ничтожны. Хищничество, подъ различными видами и формами, грубый, узкій эгоизмъ, доживающіе остатки безпочвеннаго идеализма и царящая надъ всѣмъ скука,—вотъ вамъ и весь матеріалъ, который она можетъ дать такому наблюдателю, какъ г. Боборыкинъ. Если-бы г. Боборыкинъ, подобно г. Буцевскому, не ограничиваясь воплощеніемъ наиболѣе общихъ мотивовъ окружающей его дѣйствительности, могъ, безъ разбора, дагеротипировать всѣ тѣ частныя, мелкіе, единичные случаи, въ которыхъ эти мотивы болѣе или менѣе проявляются, тогда, конечно, его белетристическій матеріалъ истощился-бы не скоро. Но ни по своему умственному развитію, ни по свѣйствамъ своего таланта онъ не способенъ отдаться всецѣло грубому эмпиризму. Жизненный фактъ интересуетъ его не столько самъ по себѣ, сколько потому, что въ немъ должно воплощаться; онъ не относится къ нему съ тою „наив-

ноу непосредственностью“, которая, если вѣрить старымъ эстетикамъ, составляетъ необходимое условіе и самый несомнѣнный признакъ истинно-художественнаго творчества; но онъ и не изучаетъ его, онъ не старается проникнуть въ его внутреннюю природу, дойти до правильнаго и всесторонняго пониманія его сущности, — нѣтъ, онъ просто передъ нимъ резонируетъ, онъ старается подвести его подъ какую-нибудь идейку, приурочить его къ одной изъ господствующихъ въ обществѣ тенденцій и затѣмъ, схвативъ нѣкоторыя, случайно врѣзавшіяся въ память черты его характера, его вѣщности и т. п., онъ лѣпитъ изъ нихъ нѣкоторое подобіе живого человѣка, которымъ и пользуется, какъ конкретнымъ знакомъ для выраженія той или другой абстракціи, того или другаго жизненнаго мотива. Очевидно, при бѣдности мотивовъ данной дѣйствительности ему очень легко впасть въ повтореніе (что уже отчасти и начинается съ нимъ случаться) и, какъ у насъ говорится, исписаться. Чтобы избѣгнуть этой перспективы, онъ не находитъ ничего болѣе разумнаго, какъ броситься въ объятія психологической метафизики. „Мотивы окружающей меня жизни, разсудилъ онъ, — бѣдны, я почти ужъ ихъ исчерпалъ, примусь лучше за анализъ человѣческихъ страстей вообще, и вмѣсто того, чтобы воплощать въ своихъ герояхъ тѣ или другія тенденціи современной дѣйствительности, стану воплощать въ нихъ абстракціи тѣхъ или другихъ чувствъ, одинаково присущихъ людямъ извѣстнаго круга, къ какой-бы страдѣ они ни принадлежали и даже въ какое-бы время они ни жили“. Задача, съ одной стороны, весьма широкая и при удачномъ ея разрѣшеніи можно, пожалуй, приобрести шекспировскую славу, а съ другой — и осуществить-то ее, повидимому, не особенно трудно: западно-европейская беллетристика представляетъ такой неисчерпаемый родникъ всевозможныхъ анализовъ и описаній человѣческихъ страстей, разсматриваемыхъ *in abstracto*. Значить, только читай да компилируй; къ дѣйствительной жизни можно совсѣмъ и не приглядываться, къ голосу насущныхъ потребностей современности и не прислушиваться. И приэтомъ та еще выгода, что тутъ не грозитъ опасность исписаться; оду и ту-же тему можно варьировать до безконечности, особенно если взять, напр., хоть такую благодарную тему, какова „любовь“, „ревность“ и т. п. Съ тѣхъ поръ, какъ люди стали пользоваться языкомъ для выра-

женія своихъ душевныхъ волненій, они сдѣлали изъ любви одинъ изъ самыхъ любимѣйшихъ предметовъ своихъ разговоровъ, своихъ пѣсенъ, своихъ легендъ, своихъ исторій; съ изобрѣтеніемъ письменности на славословіе любви было потрачено, по всей вѣроятности, въ десять разъ больше дерева, папируса, бумаги и т. п., чѣмъ сколько ихъ изводилось на всѣ прочія письменныя надобности. Послѣ введенія книгопечатанія ни одного слова, конечно, не приходилось набирать чаще словъ „любовь“ и „любить“. Вообще, если-бы собрать все написанное на тему о любви, то, вѣроятно, набралась-бы такая масса бумаги, что ею можно было бы сплошь покрыть весь нашъ земной шаръ или, по крайней мѣрѣ, тѣ его части, которыя заселены такъ-называемыми „цивилизованными людьми“.

И, несмотря на то, тема эта и теперь еще считается одною изъ интереснѣйшихъ и благодарнѣйшихъ темъ, и ни одинъ романистъ не обойдетъ ее, каждый старается, по мѣрѣ своихъ силъ, сказать о любви „свое слово“. Очевидно, „словъ“ этихъ такъ много, что ихъ никогда не переговоришь. Почему-же-бы и г. Боборыкину не вернуть своего словечка? Тема весьма популярная, неистощимая и притомъ изъѣзженная вдоль и поперекъ, — какъ тутъ не соблазниться?

И онъ соблазнился, и написалъ на „эту тему“ не одну поэму, а цѣлыхъ двѣ; въ ближайшемъ-же будущемъ напишетъ, вѣроятно, и двѣ сотни. Обѣ поэмы составлены по какому-то абстрактному рецепту, насквозь пропитаны духомъ психологической метафизики и не только не имѣютъ никакой связи съ окружающей насъ дѣйствительностью, но даже являются по отношенію къ ней бессмысленнымъ анахронизмомъ.

Развѣ не анахронизмъ этотъ Шелонинъ („Въ усадьбѣ и на порядкѣ“), просвѣщенный юноша, преисполненный возвышеннѣйшихъ стремленій и гуманнѣйшихъ идеаловъ, этотъ, хотя и идеалистъ, но все-же человѣкъ шестидесятыхъ годовъ, постоянно врашавшійся въ кругу университетской молодежи, которая, какъ извѣстно, весьма презрительно относилась ко всякаго рода „сантиментамъ“ и насчетъ „свободы любви“ держалась самыхъ либеральныхъ воззрѣній, — развѣ не анахронизмъ, что подобный человѣкъ, вышедшій изъ среды этой молодежи, мучится, изнываетъ, страдаетъ, чуть-чуть не соверша-

еть смертоубійства, поступаетъ своими идеалами и съ горя устремляется въ Ташкентъ (кажется, въ Ташкентъ, навѣрное не ручаюсь), и все это ради чего-бы, вы думали? Ради того только, что его матушкѣ (женщинѣ еще не старой) вздумалось влюбиться въ нѣкоего шалопайнаго виртуоза Поля Качкова. Добродѣтельный сынокъ усмотрѣлъ въ этомъ нѣкоторое поруганіе своихъ сыновнихъ чувствъ, позоръ и безчестіе матери и вообще профанацію того идеала женщины, который онъ себѣ составилъ. Возлюбленная мамаша представилась ему въ видѣ падшаго созданія, а ея „милый“ въ видѣ демона-искусителя, презрѣннаго злодѣя, который долженъ поплатиться жизнью за свое богомерзкое дѣло. Онъ былъ уже готовъ взять на себя роль мстителя за оскорбленную семейную честь и смыть кровью ни въ чемъ неповиннаго Поля безчестіе княгини Рыкаловой, но, по счастью, случилось такъ, что въ то время, какъ Шелонинъ замышлялъ свою месть въ усадьбѣ, на порядкѣ какой-то полоумный парень (Епишка) возмѣлъ, подобно барченку, непримиримую злобу тоже къ любовнику своей матери Устиньи и, не говоря дурного слова, раскроилъ ему топоромъ черепъ. Устинья, разумѣется, стала плакать и надрываться, и это обстоятельство такъ разжалобило Шелонина, что онъ не рѣшился идти по слѣдамъ дурачка Епишки, а отправился, кажется, въ Ташкентъ, гдѣ, вѣроятно, и займется насажденіемъ семейныхъ добродѣтелей.

Ну, скажите Бога ради, возможенъ-ли подобный монстръ въ нашъ вѣкъ (т. е. десятилѣтіе), когда... и проч., и проч., и въ особенности въ той средѣ, изъ которой его взялъ авторъ?

Не анахронизмъ-ли также и эта княгиня Кудласова *) (понимая возвышенность своей новой темы, г. Воборыкинъ, для пущей важности, возводитъ теперь своихъ героинь въ княжеское достоинство: княгиня Кудласова, княгиня Рыкалова, — какой аристократическій букетъ!), — не анахронизмъ-ли, говорю я, эта княгиня, выросшая въ русской барской семьѣ, при обстановкѣ весьма мало благопріятствующей развитію романтическихъ чувствъ, получившая свое воспитаніе въ богоспасаемой матушкѣ-Москвѣ, всю свою жизнь вращавшаяся въ чопорныхъ великосвѣтскихъ

*) См. романъ „Пол-жизни“.

кружевахъ, помѣшанная на бонтонахъ и приличіяхъ, до 40-лѣтняго возраста ничѣмъ неотличавшаяся отъ заурядныхъ московскихъ барынь, водящихъ за носъ своихъ довѣрчивыхъ мужей и подъ рукою устраивающихъ любовныя интрижки съ „друзьями дома“, до 40-лѣтняго возраста мирно и безмятежно прозябавшая съ нелюбимымъ супругомъ съ одной стороны и съ любимымъ управляющимъ мужниныхъ помѣстій—съ другой,—въ 40 лѣтъ внезапно объявилась женщиною, одаренною пылкими, жгучими страстями, и до такой степени втюрилась въ нѣкоего шалопая Рѣзваго (двойникъ Поля Качкова), что ради своей любви къ нему наплевала на всякія приличія, потоптала всякія „основы“ и „начала“ и даже перестала обманывать мужа, котораго обманывала всю жизнь?

Праведное небо, „съ кого они портреты пишутъ? гдѣ разговоры эти слышутъ?“

Конечно, случай этотъ, взятый самъ по себѣ, не невозможенъ; но въ примѣненіи къ московской княгинѣ Кудласовой онъ такъ-же мало правдоподобенъ, какъ и случай съ Шелонинымъ.

Если-бы авторъ далъ своимъ героямъ болѣе космополитическія имена, если-бы онъ ни указывалъ ни общества, ни среды, изъ которой они вышли, тогда, пожалуй, онъ воленъ былъ-бы воплощать въ нихъ какія ему угодно страсти, приписывать имъ самыя невѣроятныя чувства. Но разъ онъ сдѣлалъ ихъ людьми извѣстной національности, извѣстнаго кружка, помѣстилъ ихъ подъ опредѣленные градусы широты и долготы, ему уже слѣдовало соображаться не съ одними только французскими романами (откуда онъ, очевидно, скомпилировалъ свои любовныя поэмы), но и съ условіями той дѣйствительности, въ которой жили и чувствовали его герои.

Впрочемъ, всѣ эти анахронизмы еще можно было-бы простить автору, если-бы неправдоподобный характеръ его героевъ выкупался живостью изображенія и глубиною анализа того чувства, которое онъ тѣшилъ воплотить въ нихъ. Но, увы, онъ рѣшительно неспособенъ понимать и отгнать разныя психологическія тонкости и еще менѣе способенъ изображать что-либо (выходящее изъ круга кутежей и амурныхъ скандальчиковъ) ярко и рельефно. Самые, повидимому, даже трагическіе и напряженные моменты нашей душевной жизни, самыя сильныя страсти, всецѣло

поглощающія человѣка, принимаютъ подъ его перомъ такой пошлый и мизерный характеръ, превращаются въ такое вялое и скучное резонерство, что, читая скорбную повѣсть сердечныхъ страданій разныхъ Шелониныхъ-Рыкаловыхъ, княгинь Кудласовыхъ и т. п., вы ни на минуту не проникаетесь чувствомъ симпатіи къ героямъ этихъ страданій; напротивъ, вы видите въ нихъ только ничтожныхъ и мелочныхъ эгоистовъ, дрянныхъ пошляковъ, къ которымъ, дѣйствительно, довольно трудно относиться иначе, какъ „съ кандачка“.

Возьмите хоть того-же Шелонина. Что это за субъектъ? Во имя чего онъ мучается? Во имя чего злобствуетъ онъ на свою мать, во имя чего готовъ онъ совершить самоубійство? При чемъ тутъ его презыспреннія понятія о женщинѣ, его сыновняя любовь и т. п.?

Ему, видите-ли, досадно, что его мать не то что перестала его любить, нѣтъ, она его любитъ, но что она не любитъ одного только его, что въ ея сердцѣ нашлось еще мѣстечко для какого-то Поля Качкова. Его тщеславіе, гордость оскорблены. Еще бы! Онъ, Шелонинъ-Рыкаловъ, пересталъ быть для нея единственно дорогимъ человѣкомъ; не спросясь и не посоветовавшись съ нимъ, мать выбрала себѣ любовника! Какая возмутительная дерзость, какая неслыханная профанация материнскихъ чувствъ! Можеть-ли любящій сынъ и человѣкъ „благородныхъ правилъ“ стерпѣть подобное униженіе?

Однако, увь, у этого жалкаго и бессмысленнаго эгоиста не хватаетъ даже силы на то, чтобы быть эгоистомъ послѣдовательнымъ. Когда нужно дѣйствовать, рѣшаться, онъ только резонируетъ и мямлитъ. Когда его самолюбію кажется, будто его любовь поругана, онъ, затаивъ злобу въ глубинахъ души, какъ трусъ, старается ступешаться и отойти на задній планъ. Объ открытой борьбѣ онъ даже и не помышляетъ; онъ предпочитаетъ капризничать, дуться, шпіонить и подпускать изъ-за угла шпильки. Вообще во всей этой жалостной исторіи онъ ведетъ себя какъ двухлѣтній ребенокъ, котораго мамаша обдѣлила вареньемъ. И это человѣкъ съ сильными страстями, въ нѣкоторомъ родѣ трагическій герой! Боже мой, да онъ не годится и въ водевильные комедіанты!

„Пламенные страсти“ г-жи Кудласовой еще болѣе подозри-

тельны. Подозрительно ужъ то, что онѣ являются у ней точно *Deus ex machina* и находятся, повидимому, въ полнѣйшемъ противорѣчїи съ ея холодной, резонирующей натурой. Г. Боборыкинъ оправдываетъ ее тѣмъ соображеніемъ, что „страсть налетѣла на нее сразу, не дала даже вздохнуть...“ („Пол-жизни“, стр. 211), что „до сихъ поръ (т. е. до 40-лѣтняго возраста) она не любила и думала, что совсѣмъ застрахована отъ такой глупости“, а въ 40 лѣтъ и ее „захватило“ (ib., стр. 210). Г. Боборыкинъ, очевидно, воображаетъ, какъ, впрочемъ, и подобаетъ метафизику, что страсти — это какія-то метафизическія сущности, которыя носятъ въ воздухѣ и, какъ снѣгъ на голову, налетаютъ на мирныхъ обывателей; обыватель, застигнутый нежданною гостею, волею-неволею долженъ отдаться въ ея руки и терпѣливо сносить, какъ она будетъ надъ нимъ куражиться. Нужды нѣтъ, какова тамъ ни была натура у обывателя: флегматикъ онъ или сангвиникъ, холодный, расчетливый резонеръ или человѣкъ непосредственнаго чувства, способенъ онъ или неспособенъ чѣмъ-нибудь сильно увлекаться, представляетъ-ли онъ изъ себя нѣкоторую трапизу или обладаетъ твердымъ, непреклоннымъ характеромъ, — страсть ничего не разбираетъ, налетитъ — и все тутъ.

Съ этой метафизической точки зрѣнія анализъ происхожденія и развитія извѣстной страсти является дѣломъ не только простымъ и несложнымъ, но и совершенно даже ненужнымъ. И дѣйствительно, г. Боборыкинъ совершенно игнорируетъ его, — иными словами, онъ не дѣлаетъ ни малѣйшей даже попытки разрѣшить ту психологическую задачу, которую самъ-же себѣ задалъ. Поклонники г. Боборыкина (если таковыя у него есть) скажутъ мнѣ, быть можетъ, что г. Боборыкинъ и не задавалъ себѣ никакихъ задачъ, что это я самъ ему навязываю, что онъ просто хотѣлъ рассказать публикѣ нѣкоторый анекдотецъ, по его мнѣнію, весьма интересный и пикантный. Пусть такъ. Но вѣдь и отъ рассказчика анекдотцевъ мы имѣемъ право требовать, чтобы его анекдоты хоть сколько-нибудь соотвѣтствовали жизненной правдѣ, т. е., по просту говоря, чтобы они были хоть сколько-нибудь правдоподобны. Но неужели-же правдоподобны страсти г-жи Кудласовой?

Г-жа Кудласова всю свою жизнь дѣйствовала, какъ холод-

ная, хотя и не лишенная чувственности, резонерка. По расчету вышла она замужъ за перваго мужа; затѣмъ, вступивъ въ связь съ княземъ Кудласовымъ, единственно, какъ кажется, на томъ соображеніи, что Кудласовъ былъ въ нее влюбленъ, она, по смерти перваго мужа, соединяется съ своимъ любовникомъ узми законнаго брака... Зачѣмъ? За тѣмъ, чтобы прикрыть грѣхъ (въ видѣ ребенка) незаконной связи. Второго супруга она еще мѣже любитъ, чѣмъ перваго; посему, упрочивъ свое положеніе въ свѣтѣ, спрятавшись за ширму мужа, она обзаводится новымъ любовникомъ, но и къ этому новому любовнику относится почти такъ-же, какъ относилась къ первому, т. е. къ своей теперешней законной половинѣ. Зачѣмъ-же онъ ей понадобился? Во имя долга! „Да, долга, признается сама княгиня Кудласова въ откровенной бесѣдѣ съ возлюбленнымъ.—Мнѣ нельзя было не отдаться вамъ, нельзя потому, что вы стоили поддержки, участія, ласки, всего, что можетъ дать женщина... Ну, что-же это, какъ не долгъ, идея, принципъ, не такъ-ли?“ (стр. 211).

Отдаваться по принципу, любить по долгу, выходить замужъ по долгу и никогда ничего не дѣлать по непосредственному влеченію чувства, шагу не ступить, не задаваясь какими-то идеями и долгами,—все это, можетъ быть, весьма похвально и возвышенно, но все это совершенно несообразно съ натурою страстнаго человѣка. Страстный человѣкъ не задается никакими долгами даже и тогда, когда онъ фанатикъ долга. „Долгъ“ въ этомъ случаѣ до такой степени сливается со всѣмъ его существомъ, до такой степени входитъ въ его плоть и кровь, что исполненіе его становится для него не долгомъ (въ обыденномъ смыслѣ слова), а потребностью. Но въ характерѣ г-жи Кудласовой не было ничего такого, что-бы давало намъ право предполагать, будто она относилась къ своему долгу, къ своей идеѣ со страстью. Напротивъ, она относилась къ нимъ съ резонерскимъ спокойствіемъ и безъ малѣйшаго увлеченія; они тяготили ее... И вдругъ, въ одно прекрасное утро, она внезапно превратилась въ натуру страстную, дѣйствующую по непосредственному влеченію сердца. Хороша психологія!

Ну, да ужъ и это куда ни шло. Допустимъ, что ужъ такой стихъ на княгиню нашель—„страсть влетѣла“. Прекрасно. Что-же она въ это время испытывала? Какими печальми и радо-

стями, какии надеждами и сомнѣніями волновалась ея душа? Что именно она переживала подъ гнетомъ „налетѣвшей страсти“? Читатель можетъ дѣлать на этотъ счетъ какія ему угодно догадки и предположенія; но пусть онъ не задаетъ подобныхъ вопросовъ г. Боборыкину. Г. Боборыкинъ ограничивается лишь указаніемъ на такіе общіе и, такъ-сказать, грубые признаки „страсти“, которые подмѣтитъ любой гимназистъ, неимѣвшій еще случая наблюдать „страсти“ живыхъ людей, но прочитавшій съ полдюжины французскихъ романовъ. Поэтому, читая исторію любви г-жи Кудласовой къ г. Рѣзвому, вы ни на минуту не чувствуете себя заинтересованными въ ней, вы относитесь къ героямъ „южныхъ страстей“ съ полнѣйшимъ индифферентизмомъ; „внутренній“, потаенный міръ ихъ душъ для васъ совершенно недоступенъ; вы ясно видите, что авторъ водитъ васъ „вкругомъ и около“ этого, самому ему невѣдомаго міра, и вамъ становится невыносимо скучно, вы припоминаете, что все это вы давнымъ-давно гдѣ-то читали, и вы невольно спрашиваете себя: зачѣмъ и для чего суютъ вамъ въ ротъ старую, до тошноты опротивѣвшую жвачку? Зачѣмъ и для чего, въ самомъ дѣлѣ? Кажется, за тѣмъ и для того, что вѣдь нужно-же о чемъ-нибудь писать. Больше любопытный читатель не удовольствуется, пожалуй, такимъ отвѣтомъ и спроситъ, чего добраго: „А зачѣмъ г. Боборыкину нужно писать, когда писать ему нечего?“ Я думаю, за тѣмъ, что г. Боборыкинъ точно такъ-же любитъ писать, какъ гоголевскій Петрушка любилъ читать, — и тотъ, и другой увлекаются самымъ процесомъ, одинъ — чтенія, другой — письма. Похвальное увлеченіе! Только все-таки было-бы лучше, если-бы Петрушка - беллетристъ постарался соединять пріятное для себя съ полезнымъ для другихъ. Я уже сказалъ, какимъ образомъ онъ можетъ, хотя отчасти, достигнуть этой цѣли. „Не мудрствуя лукаво“, пусть онъ старается какъ можно пристальнѣе слѣдить за окружающею насъ дѣйствительностью, пусть онъ черпаетъ изъ нея (матеріалы для своихъ воплощеній. Тогда, по крайней мѣрѣ, его произведенія будутъ имѣть хоть какой-нибудь жизненный интересъ, хоть какое-нибудь общественное значеніе; вмѣсто того, чтобы нагонять на читателей смертную тоску, занимая ихъ лицецѣрніемъ мертвыхъ, абстрактныхъ фикцій, онъ заставитъ ихъ почаще вглядываться въ то, что

дѣйствительно дѣлается и говорится кругомъ нихъ. Его „Цыбулька“, его „Солидные добродѣтели“, его, наконецъ, „Дѣльцы“, несмотря на несчастную привычку автора ко всему относиться „съ кандачка“, все-таки даютъ нѣкоторый матеріалъ для характеристики нашей „современности“. А что даютъ его „Полжизни“, „Въ усадьбѣ и на порядкѣ“?

Вообще говоря, произведенія белетриста-метафизика только тогда и могутъ имѣть какое-нибудь значеніе, только тогда и представляютъ какой-нибудь интересъ, когда воплощаемыя въ нихъ тенденціи и идеи имѣютъ болѣе или менѣе непосредственное отношеніе къ тенденціямъ и идеямъ окружающей насъ дѣйствительности. Важностью и жизненностью этихъ тенденцій, достоинствомъ и характеромъ этихъ идей опредѣляется важность и достоинство самихъ произведеній. И можетъ-ли быть иначе? Отнимите идею, тенденцію, воплощенную въ произведеніи белетриста-метафизика, и что-же останется? Нуль и больше ничего.

Съ этой точки зрѣнія мы должны признать, что романы той школы белетристовъ-метафизиковъ, которая возникла въ эпоху нашего возрожденія и которая выдвигала на первый планъ идею, тенденцію, проводимую белетристомъ, а ко всему остальному относилась съ нескрываемымъ пренебреженіемъ,—что эти романы въ несравненно большей степени заслуживаютъ вниманія критики, что они имѣютъ несравненно большее общественное значеніе, чѣмъ произведенія новѣйшей школы (если только можно здѣсь употребить это слово), предъявляющей притязанія на разрѣшеніе какихъ-то психологическихъ задачъ, на якобы художественную отдѣлку деталей, и ставящей себѣ въ заслугу полнѣйшую безсодержательность и даже бессмысленность своихъ твореній. Надъ тенденціозными романами эпохи 60-хъ годовъ принято теперь издѣваться, къ нимъ относятся съ пренебреженіемъ, на нихъ пишутся пародіи; и, дѣйствительно, въ художественномъ отношеніи они не выдерживаютъ самой снисходительной критики; живыхъ людей въ нихъ нѣтъ, вы встрѣтите въ нихъ однихъ автоматовъ, смѣшныхъ манекеновъ да отвлеченные абстракты. Но, несмотря на это, въ нихъ все-таки было гораздо больше „жизни“, чѣмъ въ теперешней мертвечинѣ; если ихъ герои и не походили на живыхъ людей, то, по крайней мѣрѣ, въ нихъ воплощались живыя идеи. О нихъ

хоть можно было и поговорить, и поспорить, а что вы можете сказать, какой споръ вы можете затѣять по поводу боборыкинской „Пол-жизни“ или потѣхинской „Хай-дѣвки“ (Вѣст. Европы, 1875, мартъ), или авдѣевской „Переписки двухъ барышень“ (Отеч. Зап., февраль) и т. п.? Теперешніе белетристы-метафизики, ударившіеся въ психологію, утратили всякое „чутье“ къ тому, что занимаетъ и интересуется живыхъ людей. Напротивъ, белетристы недавняго прошлаго обладали большою способностью угадывать и понимать вопросы и сомнѣнія, волновавшіе насъ, ихъ читателей. Оттого-то мы ихъ такъ и любили читать, оттого даже и теперь, когда ихъ художественное безобразіе ни для кого изъ насъ не тайна, когда мы первые-же смѣемся надъ нимъ, даже и теперь мы, при удобномъ случаѣ, не отказываемся перечитывать ихъ и перечитываемъ не безъ нѣкотораго удовольствія. Удовольствіе происходитъ, конечно, не оттого, что насъ продолжаютъ интересовать дебатлируемые въ нихъ вопросы или что ихъ содержаніе отвѣчаетъ нашимъ современнымъ потребностямъ, — нѣтъ, оно совсѣмъ теперь не современно, но именно потому-то оно и интересно, ибо кто-же не согласится, что наше недавнее прошлое было гораздо интереснѣе современнаго настоящаго? Одно уже то взять, что мы тогда еще не обоборыкинулись, что у насъ были какія-то возвышенныя стремленія, какія-то серьезныя отношенія къ окружающей насъ жизни, что мы еще не умѣли смотрѣть на все „съ кандачка“. Развѣ не пріятно вспомнить объ этомъ времени? Каюсь публично, но что касается меня, то я никакъ не могъ удержаться отъ этихъ пріятныхъ воспоминаній, перечитывая нынче появившіяся въ печати нѣсколько лѣтъ тому назадъ произведенія г-жи Смирновой...

II. Никитинъ.

(Продолженіе будетъ.)

НОВЫЯ КНИГИ.

Русскій рабочій у сѣверо-американскаго плантатора. А. С. Курбскій. Спб., 1875 г.

У насъ такъ много писали объ Америкѣ, что, повидимому, трудно сказать что-нибудь новое объ этой странѣ. Но это только такъ кажется. Гг. Циммерманъ, Славинскій, Огородниковъ писали объ Америкѣ съ точки зрѣнія небѣдныхъ туристовъ, путешествующихъ по странѣ для осмотра ея достопримѣчательностей. Г. Курбскій смотритъ на Америку съ точки зрѣнія человека, который пріѣхалъ въ эту страну не для празднаго путешествія, не для отдыха, а для трудовой жизни, для добыванія куска хлѣба. Вотъ почему въ книгѣ г. Курбскаго нѣтъ того сантиментальнаго лиризма, которымъ отличаются сочиненія праздныхъ туристовъ, а вмѣсто эклоговъ и идиллій появляется иногда довольно суровое описаніе грубой и неподкрашенной дѣйствительности. Въ этомъ отношеніи книга г. Курбскаго и интересна, и полезна. Она показываетъ читателю, что Америка далеко не та обѣтованная страна, гдѣ находятся берега кисельные, гдѣ текутъ рѣки медовыя и гдѣ валяются жареные рябчики прямо въ ротъ тому, кто не полѣнится захватить эту вкусную пищу. Г. Курбскій показываетъ, какихъ усилій стоитъ и въ Америкѣ пріобрѣтеніе пяти-шести долларовъ заработной платы въ день. Читатель, просмотрѣвъ эту живо и увлекательно написанную книгу, очень ясно пойметъ, въ какую ошибку впадаютъ всѣ тѣ люди, которые хотятъ доказать, что въ Америкѣ экономическія отношенія не имѣютъ ничего общаго съ экономическими отношеніями въ Европѣ. Подобное убѣжденіе совершенно ложно: Америка не создала ничего новаго въ области экономи-

ческих отношеній; она просто нуждается въ рукахъ людей и потому хорошо оплачиваетъ трудъ, нисколько не стѣсняясь платить очень малое вознагражденіе, когда для этого есть возможность. Такъ, напримеръ, вывезенные въ Америку китайцы получали крайне мало за свою работу.

Но въ книгѣ г. Курбскаго, кромѣ массы чисто-практическихъ замѣчаній объ Америкѣ, кромѣ разъясненія экономическихъ условій труда и жизни, есть страницы, интересныя собственно для насъ, русскихъ. Мы говоримъ о тѣхъ мѣстахъ его сочиненія, гдѣ онъ касается немногихъ русскихъ переселенцевъ въ Америкѣ. Давно уже древніе лѣтописцы, говоря о славянахъ, упоминали объ одномъ печальномъ качествѣ ихъ характера: о ихъ несогласіи между собою. «Между славянами, говоритъ историкъ,—господствовали постоянно различныя мнѣнія; ни въ чемъ они не были согласны между собою; если одни въ чемъ-нибудь согласятся, то другіе тотчасъ-же нарушаютъ ихъ рѣшеніе, потому что всѣ питаютъ другъ къ другу вражду и ни одинъ не хочетъ повиноваться другому». Въ русской жизни съ раннихъ поръ существовала эта-же губительная черта характера. О ней говорятъ безчисленные усобицы древняго періода нашей исторіи, о ней говоритъ лѣтописецъ, замѣчая, что между нашими предками не было правды, что всталъ родъ на родъ и начались усобицы; вслѣдствіе отсутствія единодушія, этой созидающей силы, нашимъ предкамъ пришлось встать за моремъ князей, которые владѣли-бы ими и «судили-бы по праву»; вслѣдствіе этихъ-же распрей пришлось объяснять этимъ князьямъ, что «земля наша велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ». Этой-то несчастной чертѣ славянскаго характера вообще и нашего въ особенности суждено было пережить многіе вѣка, тормозя тысячи благихъ начинаній и при каждомъ великомъ предпріятіи сводя общественные интересы на степень личныхъ споровъ и дразгъ. Мы давно уже привыкли встрѣчать эту черту въ каждомъ кружкѣ русскаго общества, начиная отъ кружковъ какихъ-нибудь полубезграмотныхъ Титовъ Титы чей Брусковыхъ и кончая интеллигентными кружками литературныхъ дѣятелей. Вотъ почему насъ очень удивило, когда намъ пришлось прочитать въ книгѣ г. Циммермана слѣдующія строки о русскихъ въ Сан-Франциско: «Въ кругу соотечественниковъ я провелъ много пріятныхъ часовъ и могу засвидѣтельствовать, что какъ г. консулъ, такъ и редакторы газеты во всякое время принимаютъ своихъ земляковъ, занесенныхъ сюда судьбою, не только съ истинно-русскимъ радушіемъ, но и съ полною готовностью помочь каждому и

словомъ, и дѣломъ. Въ ихъ средѣ всякій русскій чувствуетъ себя какъ-бы между своими». Намъ, признаемся, было пріятно узнать, что на земномъ шарѣ есть хотя одинъ уголокъ, гдѣ русскіе живутъ дружно и оказываютъ помощь землякамъ, а не сиѣшать открытъ въ нихъ дурныя стороны, назвать ихъ подлецами и мерзавцами и забросать грязью сплетень и клеветъ. Намъ даже трудно вѣрилось, что такой благодатный уголокъ существуетъ на землѣ, тѣмъ болѣе, что даже самъ мягкосердечный г. Циммерманъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: «Во время странствованія по штатамъ Союза намъ до сихъ поръ случалось вѣрѣдка встрѣчаться съ выходцами изъ Россіи; но вездѣ, не исключая даже Нью-Йорка, гдѣ русскіе встрѣчаются, конечно, въ большемъ числѣ, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ городѣ восточныхъ штатовъ, — вездѣ мы находили ихъ, такъ-сказать, разрозненными членами, неподдерживающими между собой никакихъ сношеній». Но люди легко вѣрятъ тому, что хотѣлось-бы имъ видѣть существующимъ въ дѣйствительности, и потому мы повѣрили на слово г. Циммерману относительно дружескихъ отношеній русскихъ въ Сан-Франциско. Однако, наше очарованіе было непродолжительное. Г. Курбскій въ своей книгѣ очень ясно показалъ, какова была эта дружба. «Единственное русское общество, о которомъ мнѣ пришлось слышать, пишетъ онъ, — это русско-славянское общество въ Сан-Франциско, въ Калифорніи. Объ этомъ обществѣ говорилъ мнѣ одинъ джентльменъ въ Буфало. Онъ недавно пріѣхалъ изъ Калифорніи и, кажется, знакомъ съ дѣйствіями этого общества. Вотъ свѣденія, какія онъ мнѣ сообщилъ; за достовѣрность ихъ ручаться не могу, а передаю ихъ такъ, какъ они мнѣ были сообщены. Послѣ продажи русскихъ сѣверо-американскихъ владѣній Соединеннымъ Штатамъ, большая часть русскихъ, жившихъ на Аляскѣ и Ситхѣ, переселилась въ Сан-Франциско, гдѣ и прежде было что-то въ родѣ маленькой колоніи. Такимъ образомъ, въ Сан-Франциско собралось значительное число русскихъ, которые года два тому назадъ образовали общество по примѣру нѣмецкихъ, которыми изобилуетъ Америка. Цѣль этого общества оказывать взаимную помощь членамъ, помогать новымъ переселенцамъ, хоронить умершихъ, давать средства къ существованію увѣчнымъ и сиротамъ, — словомъ, оказывать покровительство не только русскимъ, но вообще славянскому элементу въ Соединенныхъ Штатахъ. Дай Богъ, чтобы это общество развилось и окрѣпло, но врядъ-ли это когда-нибудь осуществится, такъ-какъ съ самаго начала существованія общества въ немъ уже проявились признаки разложенія. Самолюбіе отравило благое на-

чинаніе. Именно въ обществѣ образовались двѣ враждебныя партіи, съ русскимъ консуломъ и священникомъ во главѣ одной, и издателемъ русско-англійской газеты, г. Гончаренко, во главѣ другой. Вражда эта дѣлалась съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе, далеко перешла даже за границу приличія и благоразумія и сдѣлала русско-славянское общество какимъ-то посмѣшищемъ въ глазахъ американцевъ. Гончаренко печатно ругаетъ консула и священника площаднымъ манеромъ, за что тѣ, въ свою очередь, не упускаютъ случая напасть на Гончаренко, гдѣ только возможно. Практичные янки не могутъ понять подобнаго образа дѣйствій, подсмѣиваются надъ нимъ, а въ результатѣ выходитъ, что юное, неуспѣвшее окрѣпнуть общество окончательно дискредитируется и не въ состояніи принести и сотой доли той пользы, которую могло-бы принести, если-бы члены его, вмѣсто того, чтобы терять время на дразги, занялись выполненіемъ того, чѣмъ задалось общество при своемъ основаніи». Такова дружба, таково согласіе этого кружка русскихъ. И это воинственное настроеніе русскихъ жителей Сан-Франциско является не исключеніемъ, а общимъ правиломъ: «Пріятно и грустно смотрѣть на чужое счастье, пишетъ г. Курбскій въ другомъ мѣстѣ своей книги; — невольно вспоминается дорогія лица, оставленные далеко, на той сторонѣ земного шара. Одиночество въ чужой сторонѣ, между чужими людьми, отъ которыхъ не услышишь и слова на родномъ языкѣ, въ такія минуты даетъ себя знать особенно сильно; несмотря на всѣ усилія преодолѣть себя. Я спросилъ, есть-ли русскіе въ Чикаго. «Вѣроятно, есть, сказалъ мнѣ мой знакомый, — но только ихъ очень немного и трудно найти. Всѣ другія національности собираются въ кучки, свой къ своему, а русскіе дѣйствуютъ всегда врознь, какъ-будто боятся другъ друга. Сколько мнѣ ни случалось встрѣчать русскихъ, всѣ они сначала пристають къ какому-нибудь кружку изъ нѣмцевъ, французовъ или поляковъ. Потомъ, присмотрѣвшись къ мѣсту, познакомившись съ англійскимъ языкомъ, пристають къ янки, и такого баамериканившагося русскаго трудно отличить отъ настоящаго янки. Двухъ-же русскихъ вмѣстѣ не случалось видѣть даже компаньонами по какому-нибудь дѣлу». При разнорѣчивости показаній по всѣмъ вопросамъ, какіе мнѣ случалось предлагать по всѣмъ предметамъ, меня поражало то, что только о русскихъ приходилось слышать почти одинаковый отвѣтъ, сходный съ отвѣтомъ моего знакомаго. Описанные мною поиски русскихъ въ Нью-Йоркѣ вполнѣ убѣдили меня въ справедливости его словъ. Не знаю, чѣмъ объяснить это странное свойство русскихъ: вмѣсто того, чтобы со-

единяться и общими силами прокладывать себѣ дорогу, какъ это дѣлаютъ другіе переселенцы въ Америку, гдѣ безпрестанно слышишь о томъ или другомъ нѣмецкомъ обществѣ или союзѣ, о той или другой ложѣ, состоящей исключительно изъ французовъ или поляковъ, они, напротивъ, какъ-будто избѣгаютъ другъ друга и, пожалуй, стыдятся называть себя русскими. Тѣмъ-ли, что русскихъ сравнительно мало выселяется въ Америку, такъ что они, разбросанные на ея огромномъ пространствѣ, съ трудомъ могутъ сноситься между собою; тѣмъ-ли, что большая часть, вслѣдствіе особыхъ причинъ, должна была оставить родину и Старый Свѣтъ, гдѣ оставаться имъ было невозможно, а встрѣча съ земляками могла вывести наружу прошлое, которое иногда непріятно, даже опасно вспомнить; наконецъ, не особенно-ли способностью русскихъ портить другъ другу изъ мелкаго самолюбія, — способностью, довольно развитой въ Россіи, въ особенности въ кругу служащихъ. Эта черта русскаго характера до того сильно развита, что за-границей вы лучше всего можете узнать своего соотечественника именно потому, что онъ сильнѣе другихъ ругаетъ Россію и русскихъ. И не думайте, что это та брань, которая иногда вырывается изъ сердца, наболѣвшаго отъ дурныхъ поступковъ горячо любимаго существа. Нѣтъ, это брань личная, мелкая, тушая. Слушая ее, вы знаете, что люди ругаютъ родину за то, что они дослужились только до чина коллежскихъ совѣтниковъ и не могли достигнуть до чина дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ и теплыхъ мѣстъ; прислушиваясь къ ихъ нападеніямъ на ту или другую личность, вы такъ и ждете, что они скажутъ: «и вѣдь каковъ-же мерзавецъ, требовалъ, чтобы мы отдали ему занятая у него деньги!» При такой разрозненности, при такомъ мелочномъ пристрастіи къ дрязгамъ и сизетнямъ, при нерѣдкомъ стремленіи прибѣгнуть даже къ кулачному разрѣшенію ничтожныхъ споровъ, русскіе или служатъ посмѣшищемъ за-границею, или заставляють туземное общество сторониться отъ нихъ, или, наконецъ, быстро перестаютъ быть русскими, превращаются въ иностранцевъ, забываютъ даже родной языкъ. Мы часто ругаемъ нѣмцевъ именно за то, за что, можетъ быть, мы-то должны-бы уважать ихъ, — за то, что они живутъ по двадцати лѣтъ въ Россіи и не научаются говорить почти ни слова по-русски. Но какъ-же должны мы относиться къ тѣмъ русскимъ, которые черезъ два-три года послѣ переселенія за-границу уже начинаютъ забывать свой родной языкъ? Г. Циммерманъ замѣчаетъ, что въ Америкѣ въ рѣчахъ нашихъ земляковъ господствуетъ сильное смѣшеніе языковъ, — конечно, не французскаго съ

нижегородскимъ, а русскаго съ американскимъ. Такъ, напримѣръ, вы услышите въ ихъ разговорахъ такого рода выраженія: «пріѣхавъ въ дню (derot), я вышелъ изъ кара (car) и взялъ стежь (stade); по-русски это значить: «пріѣхавъ на станцію желѣзной дороги, я вышелъ изъ вагона и сѣлъ въ почтовую карету». Вотъ еще нѣсколько подобныхъ образцовъ здѣшняго нарѣчія: желая выразить, что такой-то хорошо ведетъ свои дѣла, русскіе говорятъ: «онъ сдѣлалъ хорошій бизнесъ» (business); или вмѣсто того, чтобы сказать: «займите закусить», они говорятъ: «возьмите лѣнчъ» (lunch). Намъ самимъ нерѣдко случалось сталкиваться въ Италіи, во Франціи съ русскими, которые очень плохо говорили по-русски. Многіе говорятъ, что все это происходитъ оттого, что русскіе менѣе всего способны къ квасному патриотизму и болѣе всего являются космополитами. Признаемся откровенно, мы еще не видимъ кваснаго патриотизма въ любви къ родинѣ, т. е. къ родной природѣ, къ роднымъ, по національности, людямъ, къ родному языку, и не считаемъ еще способнымъ къ космополитизму Ивана только потому, что онъ — Иванъ непомнящій родства.

Правда, г. Курбскій указываетъ въ одномъ мѣстѣ своей книги на группу русскихъ, отличающихся единодушіемъ. Но эта группа людей не принадлежитъ къ образованнымъ классамъ, руководящимъ обществомъ; она додумалась чисто-практическимъ путемъ до сознанія всѣхъ выгодъ согласія людей между собою; она, прежде, чѣмъ поняла это, прошла страшную и тяжелую дорогу, которую не дай Богъ пройдетъ никому. Это бѣглецы изъ Сибири. «Изъ европейцевъ, пишетъ г. Курбскій, — хорошею репутаціею, какъ вачеро, пользуются англичане, шведы и французы. Нѣмцевъ не любятъ за ихъ заносчивость и хвастливость. Говорятъ, что на нихъ нельзя положиться, такъ-какъ часто нѣмецъ, способный на чудеса храбрости въ большомъ обществѣ, теряетъ присутствіе духа, когда надо дѣйствовать одному. Ирландцевъ не любятъ за ихъ грубость и страсть напиваться до безпамятства. Особенно-же высоко цѣнятся вачеро изъ русскихъ, имѣющихся въ Индіанъ-Территори въ числѣ нѣсколькихъ сотъ человѣкъ. Я очень изумился и обрадовался, услышавъ такой лестный отзывъ о своихъ землякахъ, и поспѣшилъ узнать о нихъ поподробнѣе. Русскіе, живущіе въ Индіанъ-Территори, по большой части бѣглецы каторжники, ушедшіе изъ остроговъ восточной Сибири, безъ денегъ, безъ оружія, часто безъ платья, чтобы достигнуть береговъ Ледовитаго океана или Берингова пролива, гдѣ какое-нибудь американское китоловное

судно, сжалившись надъ ихъ бѣдственнѣмъ положеніемъ, принимало къ себѣ на бортъ и перевозило въ Америку. Понятно, что такое путешествіе могли совершить только люди, одаренные необычайно крѣпкимъ организмомъ, умомъ и желѣзной волей. Все, что было послабѣе физически и нравственно, погибало дорогой отъ всевозможныхъ лишеній. Испытанные и, такъ-сказать, закаленные такимъ образомъ люди, попавъ въ Америку, гдѣ никто не думалъ заботиться о ихъ прошломъ, со свойственною русскимъ простолюдинамъ смышленостью, смекнули, что на мошенничествѣ и разбоѣ здѣсь далеко не уйдешь, а живя честно и работая, въ самое короткое время можно достигнуть такого благосостоянія, какое имъ и не снилось прежде. Придя къ такому заключенію, они стали вести примѣрную жизнь и скоро составили себѣ отличную репутацію. Большая часть русскихъ, попавшихъ такимъ образомъ въ Америку, занялись извозомъ, какъ занятіемъ болѣе имъ знакомымъ. До проведенія желѣзной дороги къ берегамъ Великаго океана товары перевозились изъ восточныхъ штатовъ въ Калифорнію и обратно черезъ пустыни на быкахъ и мулахъ. Русскіе, собравшись артелями, занялись извозомъ и скоро заслужили большой кредитъ и извѣстность. Не прибѣгая къ убійствамъ, они сумѣли поладить съ индѣйцами, заставить ихъ бояться и уважать себя. Не было примѣра, чтобы транспортъ, порученный русскимъ извозчикамъ, былъ отбитъ или чтобы пропалъ хотя одинъ тюкъ. Торговые дома, зная это, охотнѣе поручали свои товары русскимъ артелямъ, чѣмъ другимъ, и недостатка въ работѣ не было. Съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ извозъ пересталъ быть такимъ выгоднымъ промысломъ, какъ прежде. Артели разошлись, и составляющіе ихъ русскіе частью поселились навсегда въ Калифорнію, гдѣ обзавелись домами и семействами, частью ушли въ Индіанъ-Территорию, гдѣ или завели блокгаузы, или служатъ какъ вачеро. Вачеро изъ русскихъ почти никогда не толкаются по преріи праздно, такъ-какъ пионеры, зная, что они люди вполне благонадежные, стараются не отпускать ихъ отъ себя, и потерявшему отчего-либо свое мѣсто легко найти себѣ другое. Отличительная черта русскихъ та, что они убиваютъ индѣйца только въ крайнемъ случаѣ и всегда готовы оказать помощь всякому, безъ различія цвѣта кожи. Между артелями особую славою пользовалась артель, составленная какимъ-то русскимъ, извѣстнымъ подъ именемъ «Дѣда». Теперь этотъ «Дѣдъ» устроилъ блокгаузъ въ западной части Индіанъ-Территории и занимается хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. Помѣтившись, такъ-сказать, въ са-

момъ гнѣздѣ индѣйцевъ, онъ можетъ считать себя вполне безопаснымъ, такъ-какъ съ самаго начала ступилъ стать на хорошую ногу со своими свирѣпыми сосѣдями. Прежде, чѣмъ объѣхать блокгаузъ, онъ объѣхалъ всѣ сосѣднія становища, угостилъ «огненной водой» начальниковъ и уговорилъ дать клятвенное обѣщаніе не трогать его новаго поселенія, за что самъ обѣщалъ не причинять индѣйцамъ никакого вреда и оказывать помощь по мѣрѣ силъ и возможности. Индѣйцы, успѣвшіе узнать втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, которыя «Дѣдъ» занимался извозомъ, что онъ не трогаетъ индѣйцевъ и что на его слова можно положиться, дали ему требуемую клятву, и обитатели новаго блокгауза живутъ въ очень миролюбивыхъ отношеніяхъ съ индѣйцами. Вачеро, сообщившіе мнѣ эти свѣденія о русскихъ, вполне отдавали справедливость ихъ благоразумному образу дѣйствій, не считая, впрочемъ, возможнымъ слѣдовать ихъ примѣру. Одна изъ причинъ уваженія, съ которыми относились ко мнѣ вачеро, видѣвшіе меня въ первый разъ, была та, какъ объяснилъ мнѣ послѣ Патерсонъ, что мистеръ Максъ счелъ нужнымъ сообщить имъ о томъ, что я принадлежу къ націи, составившей себѣ такую блестящую репутацію въ преріяхъ. Меня не могла не поразить особенность, проявляющаяся въ образѣ дѣйствій русскихъ, живущихъ въ Америкѣ, и какихъ русскихъ! Въ то время, какъ представители лучшихъ классовъ русскаго общества, живущіе въ довольно большомъ числѣ въ Нью-Йоркѣ и въ Сан-Франциско, гдѣ они устроили свое общество съ длиннѣйшимъ названіемъ и служатъ посмѣшищемъ для американцевъ своими ссорами и дразганами,—бѣглецы каторжники, выкинутые за негодностью изъ общества, способствуютъ тому, что въ пустыняхъ дальняго запада имя русскихъ пользуется уваженіемъ и служитъ хорошею репутаціею всякому, принадлежащему къ этой націи».

Мы не безъ умысла остановились на этихъ страницахъ прекраснаго труда г. Курбскаго. Эти страницы должны остановить вниманіе каждаго изъ насъ. Прослѣдите за своею собственною жизнью—и вы увидите, сколько неудачъ, сколько неприятностей, сколько несчастій выносите и выносимъ мы всѣ только ради того, что мы умѣемъ дружно работать рука объ руку со своими ближними, стремясь къ общимъ цѣлямъ. Басня о пучкѣ прутьевъ, которыхъ никто не могъ сломить, покуда они были связаны вмѣстѣ и которые легко сломались, когда они перестали быть связанными,—эта басня извѣстна всѣмъ намъ съ дѣтства, но практической пользы изъ этого знанія мы не вынесли никакой и потому обстоятельства въ каждомъ дѣлѣ, въ каждомъ

начинаніи легко могутъ сломить и ломаютъ насъ, подобно жалкимъ и ничтожнымъ, ничѣмъ не связаннымъ прутьямъ. Когда мы допсывали эту замѣтку, газеты принесли намъ объявленіе о выходѣ въ свѣтъ одного изданія, являющагося памятникомъ отсутствія у насъ единоклюбія. Мы говоримъ о выходѣ въ свѣтъ художественнаго сборника «Складчина», изданнаго въ пользу голодающихъ самарцевъ и появившагося только нынче, т. е. черезъ годъ послѣ самарскаго голода! Самарцы, конечно, могли-бы умереть съ голода, если-бы имъ пришлось ждать помощи только отъ этого сборника. Но отчего-же онъ вышелъ такъ поздно? Почему онъ не вышелъ одновременно съ литературной «Складчиной»? Потому, что художники не могли сойтись съ литераторами, потому, что литераторы не сумѣли поддержать ихъ благого намѣренія. И вотъ, вслѣдствіе отсутствія единоклюбія между художниками и литераторами у голодающихъ самарцевъ было одною помощью меньше; вслѣдствіе такого отсутствія единоклюбія и произошелъ этотъ комическій фактъ: появленіе помощи голодающимъ черезъ годъ по минованіи голода! И сколько такихъ фактовъ вызывается ежедневно нашими дразгами и распрями!

Парижъ, его органы, отправленія и жизнь во второй половинѣ XIX вѣка. Максима Дюкана. Т. I. 1875 г. Спб.

Большіе города—эти центры общественной дѣятельности людей—ростутъ необыкновенно быстро. Берлинъ, имѣвшій въ 1861 году только 547,571 жителя, въ 1867 году насчитывалъ до 702,437 жителей, то - есть въ немъ прибавлялось по 25,000 человекъ въ годъ. Парижъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія имѣлъ не болѣе 627,000 жителей, а черезъ шестьдесятъ лѣтъ въ немъ насчитывали до 1,174,346 жителей. Лондонъ въ 1801 году считалъ 958,863 жителя, а по переписи 1871 года его населеніе оказалось въ 3,251,804 души. Такимъ образомъ въ настоящее время Парижъ и Лондонъ могутъ поспорить количествомъ населенія съ нѣкоторыми изъ отдѣльныхъ государствъ, въ родѣ Даніи, Швейцаріи, Виртемберга, Греціи и т. п.

Такой сильный ростъ городского населенія не можетъ не внушать опасеній, такъ - какъ при большей массѣ людей жизнь становится сложнѣе и требуется гораздо болѣе средствъ для того, чтобы эта жизнь шла правильно. Конечно, нельзя ожидать, чтобы удобства

жизни росли въ большихъ городахъ равномерно съ ростомъ населенія. Вслѣдствіе этого при возрастаніи населенія постоянно возникаютъ такіе роковыя вопросы, какъ вопросъ ассенизаціи города, квартирный вопросъ, вопросъ о продовольствіи, больничныи вопросъ и т. д. Эти вопросы становятся тѣмъ болѣе жгучими, чѣмъ ярче бросается въ глаза чрезвѣтная смертность или испорченность нравственности или крайняя бѣдность городского населенія. Но чтобы разрѣшить всѣ эти вопросы, нужно имѣть подѣ рукой полное описаніе всѣхъ проявленій городской жизни. Вотъ почему въ нашъ вѣкъ, когда возрастаніе городского населенія сказалось такъ сильно, начали появляться большія сочиненія, посвященныя исключительно описанію городской жизни. Таковы труды Гринвуда «Семь язвъ Лондона», «Въ странномъ обществѣ», «Дикари Лондона», таково изслѣдованіе Мегью «London labour and the London poor», такова и книга Максима Дюкана «Парижъ».

Характеръ произведенія Максима Дюкана довольно близко походить на характеръ произведеній названныхъ нами писателей и особенно на характеръ труда Мегью. Эта книга—не ученое произведеніе въ строгомъ смыслѣ этого слова; она не представляетъ строго продуманныхъ выводовъ; она просто важна, какъ сборникъ самыхъ разнообразныхъ наблюденій, фактовъ, замѣтокъ, сгруппированныхъ почти внѣшнимъ образомъ, т. е. все, что относится до почты, помѣщено въ главу «о почтѣ», все, что касается проституціи, помѣщено въ главу «о проституціи», и т. д. Иногда вы встрѣтите въ этой книгѣ много ненужнаго, много лишняго; порой авторъ является слишкомъ многословнымъ или поверхностнымъ болтуномъ. Но эти недостатки искупаются тѣмъ, что книга Дюкана вообще читается легко, какъ белетристическое произведеніе, и, не имѣя достоинствъ такого ученаго сочиненія, какъ книга Фонсагрива «Объ ассенизаціи и гигиенѣ городовъ», не имѣетъ въ то-же время и такихъ недостатковъ, какъ это названное нами произведеніе Фонсагрива, — сухости и скуки. Просматривая сочиненіе Дюкана, вы видите передъ собой человѣка, который посвящалъ много лѣтъ и много труда на изслѣдованія всѣхъ явленій парижской жизни. Какъ видно, ему сильно содѣйствовали при его изслѣдованіяхъ разные представители власти; онъ не пренебрегалъ архивами и библіотеками и потому собралъ такую массу свѣденій, которая внушаетъ уваженіе. Нечего и говорить о томъ, что онъ далеко не исчерпалъ вопроса, которымъ занимался. Такъ, напримеръ, у него или вовсе упущены изъ виду, или очерчены очень

несовершенно мастерскія, фабрики и заводы, магазины, церкви, театры, библиотеки, кафе-шантаны и мелкія публичныя увеселительныя заведенія и т. п. Эти пробѣлы чувствуются очень сильно и, можетъ быть, Дюканъ пополнить ихъ изданіемъ новыхъ томовъ своего сочиненія. Самъ Дюканъ по своимъ взглядамъ принадлежитъ къ числу той либеральной буржуазіи, которая стоитъ за несуществованіе «Чернаго кабинета», но ждетъ всѣхъ благъ отъ полиціи; которая возмущается злоупотребленіями прошлыхъ вѣковъ и видитъ иногда въ современной ей французской администраціи удивительныя доблести, выражающіяся какою-нибудь своевременною отправкою чужихъ писемъ. Но какъ-бы ни былъ плохъ Дюканъ, какъ мыслитель, его книга все-таки имѣетъ цѣну, такъ-какъ его взгляды играютъ въ ней, въ сущности, самую послѣднюю роль,—она, повторяемъ еще разъ, драгоценна, какъ собраніе фактовъ, какъ сырой матеріалъ, и мы должны сказать спасибо издателямъ русскаго перевода этого сочиненія. Этотъ переводъ далеко не лишній: у насъ почти нѣтъ сочиненій, описывающихъ весь строй городской жизни, а между тѣмъ намъ необходимо имѣть свѣденія по этой части, такъ-какъ у насъ многое въ нашей городской жизни идетъ крайне несовершенно, крайне плохо и требуетъ немедленнаго усовершенствованія. Книга Дюкана могла-бы быть въ Америкѣ только любопытною, у насъ она будетъ поучительною книгою. Сознавая полезность подобныхъ изданій, мы могли-бы только посоветовать издателямъ этого перевода не останавливаться на одномъ этомъ произведеніи и перевести книгу Мегью о Лондонѣ, сочиненіе Фонсагрива «О гигиенѣ городовъ» и т. п. Чѣмъ больше будетъ у насъ издано подобныхъ трудовъ, тѣмъ лучше.

Но мы должны еще остановиться на разборѣ достоинствъ и недостатковъ русскаго перевода книги Дюкана. Прежде всего мы должны сказать, что переводъ этой книги вполне сносенъ и грамотенъ, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ редакція могла-бы позаботиться о болѣе тщательной выправкѣ неловкихъ фразъ въ родѣ слѣдующихъ: «за набережною, на *которой* стоитъ домъ, въ *которомъ* умеръ Вольтеръ» (стр. 2), «не во гнѣвъ будь сказано *moret* флорентинскому» (стр. 19), «относительно *одноцѣпности* (такъ переводитъ г. переводчикъ слово *l'uniformité*) такъ Англія подала намъ примѣръ» (стр. 23) и т. п. Но всѣ подобныя неловкія фразы—мелочи, и такъ-какъ ихъ не особенно много въ книгѣ, то о нихъ не стоитъ и распространяться. Гораздо важнѣе вопросъ о сокращеніяхъ, которыя сдѣланы издателемъ этой книги и о которыхъ онъ заявилъ публикѣ не

вполнѣ. Мы сказали, что Дюканъ иногда является очень болтливый писателемъ, и потому думаемъ, что сокращенія нѣкоторыхъ мѣстъ его книги не могли-бы ей повредить. Но дѣло въ томъ, что сокращенія могутъ быть двухъ родовъ, — одни чисто-механическія, когда изъ книги просто-на-просто выкидываются цѣлыя страницы и главы, и другія, осмысленныя, когда въ переводѣ передаются въ сжатомъ видѣ многословныя страницы оригинала. Конечно, сокращенія перваго рода очень легки, но едва-ли можно похвалить подобныя урѣзки. Мы думаемъ, что во всякомъ случаѣ переводчикъ обязанъ передать читателю *все*, что говоритъ авторъ, — передать хотя въ сжатой формѣ. Этого-то и не сдѣлалъ издатель перевода сочиненія Дюкана. Онъ рѣшился на болѣе легкій трудъ — на пропускъ цѣлыхъ главъ оригинала. Такъ, напримѣръ, пятый отдѣлъ главы о почтахъ пропущенъ въ переводѣ совершенно. Та-же участь постигла второй отдѣлъ главы о Сенѣ. Издатель указываетъ въ предисловіи на эти пропуски, но мы, право, не понимаемъ, почему онъ отрѣзалъ цѣлые отдѣлы этихъ главъ, а не сократилъ, не сжалъ все лишнее въ этихъ главахъ вообще, сохранивъ сущность ихъ содержанія. Подобное сокращеніе было-бы труднѣе сдѣлать, чѣмъ простыя урѣзки, но за то подобное сокращеніе было-бы осмысленнѣе. Далѣе идутъ урѣзки болѣе существенныя. Первый отдѣлъ главы о продовольствіи, крайне интересный и поучительный, урѣзанъ до послѣдней степени безъ всякой нужды. Второй и третій отдѣлы той-же главы соединены въ одинъ отдѣлъ и сокращены до послѣдней степени, а между тѣмъ глава о продовольствіи является самою интересною главою въ книгѣ Дюкана. Издатель говоритъ, что онъ считалъ нужнымъ выпустить въ этой главѣ «мелкія подробности и перечень законодательныхъ мѣръ по продовольствію отъ революціи до 1846 года», а между тѣмъ эти подробности далеко не мелки и крайне поучительны. Одни продѣлки извѣстнаго скупщика хлѣба Малиссе уже достойны того, чтобы остановить на нихъ вниманіе публики. Малиссе искусственнымъ образомъ производилъ во Франціи поднятіе цѣнъ на хлѣбъ и въ голодные годы пріобрѣталъ непомѣрные барыши. Интересно, что компаньонами Малиссе были не только герцоги, перы и принцы крови, но и самъ очень ловко обманутый Людовикъ XV. Всѣ продѣлки подобныхъ злоумышленныхъ барышниковъ пропущены издателемъ. Въ первомъ отдѣлѣ главы о хлѣбѣ, мясѣ и винѣ опять-таки являются урѣзки крайне интересныхъ и нелишнихъ мѣстъ. То-же встрѣчается во второмъ, въ третьемъ, въ четвертомъ отдѣлахъ той-же главы. Глава

«центральные рынки» такъ и начинается съ урѣзки въ двѣ съ половиной страницы и затѣмъ урѣзки идутъ одна за другою безъ всякаго смысла, безъ всякой надобности. Вслѣдствіе этихъ сокращеній не только пропадаетъ картинность разсказа, не только является неприятная отрывочность свѣденій, но и проскальзываютъ крайнія нецѣпости. Такъ, напримѣръ, въ переводѣ мы читаемъ: «Наполеонъ очень заботился о рынкахъ; но первый камень новаго зданія былъ положенъ президентомъ республики лишь 25 сентября 1851 года» (стр. 244). Вы, конечно, заключите изъ этого, что заботился о рынкѣ Наполеонъ III. Ничуть не бывало. Дюканъ говоритъ тутъ о заботахъ Наполеона I и приводитъ всѣ его распоряженія относительно рынка, но издатель пропустилъ двѣ страницы, соединилъ двѣ фразы въ одну и такимъ образомъ вышла нецѣпость. Все это тѣмъ болѣе досадно, что глава о центральномъ рынкѣ самая интересная и самая поучительная глава. Ее нужно было-бы перевести цѣликомъ или, по крайней мѣрѣ, сократить со смысломъ и съ толкомъ. Далѣе идутъ такіа-же сокращенія и четыре отдѣла главы о табакѣ, заключающіе въ оригиналѣ 71 страницу, сокращены въ одинъ отдѣлъ, заключающій 16 страницъ въ переводѣ. Глава о монетѣ, занимающая въ оригиналѣ около 80 страницъ, выпущена, какъ и заявлено въ предисловіи, совершенно, а глава о банкѣ сокращена такъ, что изъ 86 страницъ оригинала вышло 34 страницы перевода. Далѣе идутъ въ обрѣзанномъ видѣ двѣ главы о преступникахъ и полиціи и пропускается вовсе глава о судѣ. Изъ четырехъ отдѣловъ главы о тюрьмахъ сдѣлано два отдѣла. Глава о гильотинѣ тоже сокращена. Вообще первому тому подлинника посчастливилось болѣе остальныхъ томовъ: въ первомъ томѣ издатель выкинулъ только два отдѣла двухъ главъ, онъ не считалъ нужнымъ выкинуть въ этомъ томѣ даже мелкихъ историческихъ подробностей. Въ слѣдующихъ-же томахъ историческія подробности вдругъ оказались лишними и ножницы рѣзали и направо, и налѣво, хотя первый томъ сочиненія Дюкана поучителенъ и интересенъ менѣе другихъ томовъ. Смотри на эти урѣзки, видишь ясно, что издатель не составилъ себѣ никакого опредѣленнаго плана при началѣ изданія и хотѣлъ издать полный переводъ сочиненія Дюкана. Потомъ-же онъ какъ-будто испугался и началъ рѣзать страницы за страницами. Такимъ образомъ вмѣсто перевода произведенія Дюкана, русской публикѣ приподносятся отрывки изъ этого сочиненія, — отрывки, иногда, какъ мы сказали, плохо связанные между собою, иногда искажающіе смыслъ подлинника. Намъ кажется, что такая безцере-

монность обращенія съ иностраннымъ произведеніемъ, по меньшей мѣрѣ, неприлична, но еще болѣе неприлично то, что издатель далеко не откровенно заявилъ публикѣ о всѣхъ сокращеніяхъ, сдѣланныхъ имъ. Мы думаемъ, что Дюканъ и наша публика заслуживаютъ большаго уваженія. Впрочемъ, у всякаго свои взгляды и, мы можемъ только пожалѣть, что издатель «Парижа» смотритъ на вопросъ объ уваженіи къ иностраннымъ писателямъ и къ отечественной публикѣ не такъ, какъ мы.

Относительно внѣшности изданія намъ не придется много говорить: внѣшность довольно опрятна. Намъ только удивили два факта: отсутствіе оглавленія и присутствіе картинокъ въ книгѣ. Такія книги, какъ трудъ Дюкана, имѣющія отчасти справочный, отчасти-же ученый характеръ, требуютъ неизбежно подробнаго оглавленія и издатель должны были понимать это и не жалѣть лишнихъ четырехъ страницъ. Что-же касается картинокъ, то мы не знаемъ, зачѣмъ онѣ явились въ книгѣ. Подлинникъ не иллюстрированъ. Кромѣ того, картинки, помѣщенные въ переводѣ, крайне плохи и вклеены въ книгу ни къ селу, ни къ городу. Иногда даже становится смѣшно, когда, напримѣръ, въ главѣ о письменной почтѣ видимъ картинку съ подписью «столовая въ Hôtel du Louvre», или въ отдѣлѣ о главномъ складѣ напитковъ находится видъ «Венсенской часовни», а при главѣ о гильотинѣ усматриваешь виды «Русской церкви» и «синагоги». Правда, издатели говорятъ, что у нихъ были клише видовъ Парижа, помѣщенныхъ ими уже въ другой книгѣ, но вѣдь мало-ли какія клише могли быть у нихъ подъ рукою, — изъ этого все-таки вовсе не слѣдовало, что эти клише будутъ пригодны и въ книгѣ Дюкана. Мы понимаемъ, что иллюстраціи были-бы въ этой книгѣ не лишними, если-бы онѣ изображали именно то, о чемъ говорится въ тѣхъ или другихъ главахъ сочиненія Дюкана, но помѣщать въ главѣ о гильотинѣ виды русской церкви и синагоги, въ отдѣлѣ о винномъ складѣ видъ венсенской часовни—право смѣшно. Такъ какъ книга издана съ картинками, то она издана съ разрѣшенія предварительной цензуры...

Мы, быть можетъ, не сдѣлали-бы ни одного изъ этихъ неприятныхъ для издателя разбираемой нами книги замѣчаній, если-бы дѣло шло о какомъ-нибудь изданіи г. Плотникова. Гг. Плотниковы такъ и должны издавать книги, потому что у нихъ нѣтъ никакихъ серьезныхъ цѣлей, кромѣ стремленія получить извѣстный процентъ на капиталъ. Вслѣдствіе этого гг. Плотниковы могутъ урѣзать, какъ

имъ угодно, иностранцыя произведенія, могутъ не дѣлать подробныхъ оглавленій къ серьезнымъ книгамъ, могутъ прилагать къ этимъ книгамъ картинки изъ перваго попавшагося имъ подъ-руку сочиненія. Но все это не позволительно дѣлать редакціи «Всемирнаго путешественника»: она смотритъ болѣе серьезно на издательское дѣло, что доказывается хотя-бы, напримѣръ, изданными ею «Путеводителями». Искренно желаемъ, чтобы издатель разобранной нами книги сдѣлалъ необходимыя въ ней улучшения, если она доживетъ до втораго изданія. Впрочемъ, вѣроятно, это такъ и будетъ: предметъ книги крайне интересенъ.

Статистическіе очерки Германіи. Г. Ф. Брашелли. Переводъ съ третьяго нѣмецкаго изданія. Спб., 1875.

Трудно рѣшить, зачѣмъ является въ русскомъ переводѣ этотъ сухой сборникъ статистическихъ списковъ съ кое-гдѣ вклеенными узенькими обобщеніями и выраженіемъ маленькихъ радостей нѣмецкаго бюрократа по поводу процвѣтанія новаго германскаго союза. Пусть себѣ и радуется этотъ счастливый бюрократъ, пусть славословитъ онъ Германію Бисмарка,—намъ, право, не можетъ быть до этого никакого дѣла. Переводить такого рода книжки по меньшей мѣрѣ наввно. Очень понятно, что каждому благонамѣренному нѣмецкому гражданину она должна понравиться, и нѣтъ ничего удивительнаго, если она выдержала въ Германіи 3 изданія,—что, кажется, и прелестно простодушнаго переводчика. Въ цѣлой Германіи не найдется такого простоватаго филистера, у котораго не шевельнулось-бы мысли о томъ, что послѣдняя война такъ или иначе, но вредно отразилась на экономическомъ бытѣ Германіи, на ея промышленности и сельскомъ хозяйствѣ. Въ нѣмецкой печати до сихъ поръ еще раздаются жалобы на упадокъ предприимчивости среди населенія и недостатокъ рабочихъ рукъ. И вдругъ находится какой-то ревнитель бисмарковской славы, который на основаніи статистическихъ цифръ доказываетъ, что и сельское хозяйство, и промышленность Германіи процвѣтаютъ и что ничего лучшаго ей и желать нельзя. Этотъ неожиданный сюрпризъ, конечно, пріятно щекоталъ сердца германскихъ патриотовъ, ибо хотя съ перваго взгляда онъ имѣлъ весьма подозрительную цѣнность, но, пораздумавъ, каждый видѣлъ въ немъ нѣчто вещественное, какъ во всемъ, что рождается изъ цифры. Мы далеки

отъ обвиненія автора «Статистическихъ очерковъ» въ подтасовкѣ цифръ или въ наслованіи ихъ прямого смысла. Очерки эти производятъ на насъ и, вѣроятно, произведутъ на каждого читателя такое впечатлѣніе, какъ-будто авторъ ихъ сладко дремлетъ на кучахъ своихъ цифръ и сквозь свой благонамѣренный сонъ издаетъ совершенно невпопадъ и некстати восклицанія: «ахъ, какъ мы счастливы!», «ахъ, какъ все хорошо у насъ!». Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ изъ цифръ, приводимыхъ самимъ авторомъ, довольно ясно видно, что въ любезномъ отечествѣ совѣмъ не такъ «хорошо», какъ думаетъ авторъ. Начать, напр., хоть съ сельскаго хозяйства, которое, по словамъ Брешелли, сдѣлало необыкновенные успѣхи въ Германіи. Цифры неопровержимо доказываютъ, что нѣмецкое земледѣліе, въ годы, непосредственно слѣдовавшіе за войной, пришло въ явное разстройство. Жатва ржи, важнѣйшаго земледѣльческаго продукта, значительно уменьшилась, такъ что въ 1871 и въ 1872 годахъ рожь нужно было ввозить въ Германію въ большихъ количествахъ. Въ 71 году ржи привезено 8,441,497 центнеровъ, вывезено только 3,200,614, а въ 72 году ржи уже привезено 11,129,509 ц. и вывезено 1,575,319. Какое-же тутъ благоденствіе, если люди не имѣютъ своего куска хлѣба, но получаютъ его втридорога изъ чужихъ странъ? Такой громадный избытокъ привоза надъ вывозомъ не можетъ объясняться случайностью. Въ 71 году этотъ избытокъ былъ довольно высокъ (5,240,883), но въ слѣдующемъ году, куда зачисленъ хлѣбъ, воздѣлывавшійся въ 71 году, возросъ до несравненно большей цифры (9,554,190). О скотоводствѣ авторъ лукаво замѣчаетъ, что оно «по всѣмъ отраслямъ сдѣлало значительные успѣхи, которые выражаются не столько въ увеличеніи количества скота, сколько въ улучшеніи его качества» (sic!) (стр. 12). Храбрость, съ которой авторъ утверждаетъ это, нисколько не удивительна, ибо качество не подлежитъ прямой статистической оцѣнкѣ. Что касается фабричной промышленности, то изъ цифръ видно, что она почти не двигалась, за исключеніемъ развѣ пивныхъ заводовъ, работавшихъ безъ устали. Вообще въ Германію было ввезено товаровъ на большую сумму, чѣмъ вывезено, какъ видно изъ цифръ, приведенныхъ въ «Очеркахъ» Брешелли.

Интересно также сравнить хваленое благосостояніе Германіи, и въ особенности Пруссіи, съ экономическимъ бытомъ Эльзасъ-Лотарингіи. Этотъ маленькій клочекъ земли по-истинѣ—хлѣбный рынокъ Германіи. Какъ сельское хозяйство, такъ и фабричная промышленность

Эльзась-Лотарингіи болѣе развиты, чѣмъ гдѣ-бы то ни было въ Германіи. Такъ, напр., Эльзась-Лотарингія занимаетъ ровно въ 25 разъ меньшую поверхность, чѣмъ Пруссія, а между тѣмъ число головъ рогатаго скота въ этихъ двухъ областяхъ одинаково или даже въ первой нѣсколько больше. Одного вина Эльзась-Лотарингія производитъ половину того количества, которое производится всѣми государствами Германіи. По шерстяному и суконному производствамъ, которыми прежде славились Пруссія, Саксонія и Тюрингія, Эльзась-Лотарингія также стоитъ выше всѣхъ германскихъ государствъ. Вообще изъ всѣхъ данныхъ, касающихся Эльзась-Лотарингіи, видно, какой тяжелый ущербъ понесла Франція, уступивъ эту область Германіи. Намъ случалось слышать отъ нѣкоторыхъ безпристрастныхъ и не лишенныхъ проникательности нѣмецкихъ политиковъ, что приобрѣтеніе Германіей Эльзаса-Лотарингіи было со стороны Бисмарка крупной ошибкой, въ которой таится источникъ величайшихъ несчастій для будущаго Германіи. Мы полагаемъ, что это мнѣніе очень разумно и справедливо. Необыкновенные успѣхи войны притупили силу соображенія Бисмарка. Пріятная перспектива такого лакомаго куска, какъ Эльзась-Лотарингія, совѣтъ вскружила ему голову и вывела его мысль изъ того состоянія трезвости и спокойнаго равновѣсія, въ которомъ хладнокровно взвѣшиваются выгоды и невыгоды; онъ дошелъ до экстаза алчности и потерялъ то чувство мѣры, за предѣлами которой человекъ начинаетъ вредить больше себѣ, чѣмъ врагу, котораго онъ захочетъ покарать. Если-бы кто желалъ покарать своего врага, онъ не долженъ былъ-бы переходить этой мѣры. Отрѣзавъ отъ Франціи Эльзась-Лотарингію, Бисмаркъ, такъ-сказать, поднялъ національное чувство Франціи, до тѣхъ поръ дремавшее и подавленное режимомъ второй имперіи, онъ собственно-ручно влилъ въ душу врага запасъ свѣжихъ силъ, создавъ для него источникъ сильнѣйшаго и могущественнѣйшаго одушевленія для борьбы на жизнь и смерть, для борьбы, на которую Франція едва-ли была-бы способна, потому что не чувствовала-бы къ ней охоты, если-бы война окончилась пораженіемъ Наполеона и обычной денежной контрибуціей. Если для того, чтобы вести борьбу, нужно умѣнье, то для того, чтобы покарать врага, нужно еще большее умѣнье. Национальное одушевленіе дѣлаетъ чудеса, какъ показалъ опытъ исторіи всѣхъ народовъ, и если Германіи удалось одержать надъ Франціей столько неслыханныхъ побѣдъ, то, разумѣется, отчасти и потому, что народъ оставался чуждымъ этой войны, сколько-бы ни увѣряли

въ противномъ французскіе шовинисты. Но теперь другое дѣло: теперь предъ лицомъ Германіи стоитъ не слабая, неумѣлая личность, но весь жаждущій возмездія французскій народъ, который убѣжденъ, что съ нимъ поступили и жестоко, и несправедливо, ибо его заставляютъ отвѣчать за войну, противъ которой онъ самъ высказался. Нѣмецкіе патриоты утѣшаютъ себя тѣмъ, что на ихъ сторонѣ—военное искусство, стратегическое умѣнье и пр. Но это искусство и это умѣнье—сущіе пустяки. Они даются такъ легко, что для полученія ихъ требуется приложить очень немногo труда и способностей. На обученіе сѣверо-американской арміи, набранной изъ народа, потрачено было нѣсколько мѣсяцевъ, и, однако, она постоянно разбивала и окончательно побѣдила дисциплинированную армію южанъ, состоявшую, большей частью, изъ наемныхъ, хорошо обученныхъ отставныхъ англійскихъ солдатъ. Не такой способной націи, какъ французы, задумываться надъ немудренымъ военнымъ искусствомъ. Успѣхъ Франціи въ будущей борьбѣ главнымъ образомъ обеспеченъ тѣмъ, что это будетъ борьба національная; кромѣ того, извѣстно, что всякая истинно-національная война въ свободныхъ государствахъ выдвигаетъ талантливыхъ полководцевъ. Бисмаркъ далъ въ руки Франціи страшное оружіе—національную месть, все-же остальное она безъ труда возьметъ сама. Къ довершенію всего этотъ мудрый дипломатъ въ какихъ-нибудь три года успѣлъ создать въ Эльзасъ-Лотарингіи такое положеніе дѣлъ, которое ни на минуту не дастъ забыть Франціи о своей потерѣ. Извѣстно, что Эльзасъ-Лотарингія вошла въ союзъ не свободнымъ членомъ, подобно всѣмъ германскимъ государствамъ, но какъ прусская провинція. Она совершенно лишена представительства, личной автономіи, она подчинена произволу прусской администраціи и для нея нѣтъ правъ въ германской конституціи. Когда такое положеніе дѣлъ приведетъ къ борьбѣ—это, конечно, неизвѣстно, но что она неизбежна, это хорошо знаютъ не только французы, но и пруссаки. Справедливо только то, что это будетъ «борьба, отъ которой содрогнется міръ», какъ говорилъ намъ одинъ прусскій офицеръ.

Вильямъ Коббъ. Нью-Йоркскія тайны. Спб., 1875.

Тайны турецкаго двора. Историческій романъ. Соч. Ксено. Переводъ съ греческаго. Спб., 1874.

Несмотря на обиліе чудовищныхъ эффектовъ, вѣдннюю занимательность интриги, массу всевозможныхъ ужасовъ и калейдоскопическое разнообразіе дѣствующихъ лицъ, наполняющихъ эти два романа, чтеніе ихъ вызываетъ въ равной степени сильнѣйшую скуку. Все эти «Тайны» какъ двѣ капли похожи одна на другую, и ихъ неестественная дикость такъ официальна, что едва-ли она можетъ поддѣть чье-либо любопытство. Содержаніе романовъ, лежащихъ предъ нами, взято изъ двухъ діаметрально противоположныхъ обществъ, турецкаго и американскаго, и, однако, читатель выноситъ изъ чтенія этихъ романовъ почти одно и то-же впечатлѣніе. Они оставляютъ въ головѣ одинъ и тотъ-же мутный осадокъ безсвязныхъ ощущеній, въ которыхъ невозможно отдать себѣ отчета, потому что они мгновенно загораются въ душѣ и такъ-же мгновенно и безпричинно угасаютъ. Странное сходство двухъ этихъ романовъ объясняется тѣмъ, что вы совсѣмъ не видите въ нихъ живыхъ, типично очерченныхъ лицъ, но безконечный рядъ происшествій, которыя вытекаютъ не изъ характера этихъ лицъ, но изъ безалаберной фантазіи авторовъ. Дѣствующія лица, такъ-сказать, состоятъ при этихъ происшествияхъ, какъ при какой-то должности, и каковы-бы ни были эти дѣствующія лица, происшествія всегда остались-бы тѣми-же самыми, такъ-какъ они заранее созданы фантазіей авторовъ, внѣ всякихъ условій мѣстности и времени. По общимъ своимъ свойствамъ эти романы напоминаютъ пресловутыя «Парижскія тайны» Евгенія Сю и отличаются отъ послѣднихъ только болѣе страстной погоней за чудовищными сценами, — погоней, которая составляетъ вѣрнѣйшій признакъ слабости творческой мысли и безталанности. Даже мораль разбираемыхъ нами романовъ одна и та-же, и отзывается она тою-же фальшивой дѣланностью, какъ и въ «Парижскихъ тайнахъ». Послѣ того, какъ безконечная масса самыхъ невѣроятныхъ сценъ, потрясающихъ злодѣйствъ и катастрофъ окончателно утомитъ читателя, сквозь эту массу событій и густую толпу лицъ незримо просовывается рука правосудія, торжественно возстанавливающая поруганную добродѣтель и примѣрно наказывающая порокъ. Занавѣсъ падаетъ, и читатель, разставшись съ давившимъ его зрѣлищемъ, выноситъ изъ него, по крайней мѣрѣ, ту путную мысль, что изъ всѣхъ видѣнныхъ имъ диковинокъ на самомъ

дѣлѣ лишь награжденіе добродѣтели и наказаніе порока относятся къ области тѣхъ «тайнъ», которыхъ никто не знаетъ и никто не видитъ. Можетъ быть, въ этомъ и заключается лукавая мораль этихъ двухъ романовъ. По крайней мѣрѣ, оба автора выводятъ въ роли добрыхъ геніевъ такихъ лицъ, добродѣтели которыхъ для исторіи составляютъ тайну. Такъ у греческаго романиста Ксено правосудіе олицетворяется въ образѣ султана Махмуда II, царствованіе котораго вызвало у турокъ громкіе вопли, для заглушенія которыхъ султанъ предпринялъ рядъ курьезныхъ реформъ, потѣшавшихъ всю Европу. Американскій-же романистъ, Вильямъ Коббъ, заставляетъ совершать подвиги благородства бывшаго президента Соединенныхъ Штатовъ Андрю Джонсона, человека, какъ извѣстно, весьма двусмысленной честности. Дѣянія этихъ героевъ обставлены, кромѣ того, совершенно неправдоподобными эпизодами, которые сразу выдають предвзятыя намѣренія авторовъ. Мы не передаемъ здѣсь содержанія этихъ романовъ, потому что они рѣшительно не стоятъ того. Всѣ замыслы почтенныхъ романистовъ, тривиальная эффектность изображаемыхъ ими сценъ, дѣтское стремленіе поразить какой-нибудь неожиданной диковинкой,—все это отзывается балаганной аляповатостью и очевидно рассчитано для услажденія досуга кухарокъ и невзыскательныхъ читателей «Георга англійскаго», «Битвы русскихъ съ кабардинцами» и т. п. Вышность этихъ изданій такъ-же безобразна, какъ и ихъ содержаніе: опечатки и типографскіе промахи непрерывно чередуются съ безграмотностью переводчиковъ. Въ этомъ отношеніи особенное вниманіе привлекаютъ на себя «Тайны турецкаго двора», гдѣ на каждой страницѣ по нѣскольکو ошибокъ.

СОВРЕМЕННАЯ БЕЗДАРНОСТЬ.

(Гальтонъ. Наслѣдственность таланта, ея законы и послѣдствія. Переводъ съ англійскаго. Спб. 1875.)

I.

Всякій разъ, когда въ наукѣ является новое слово, люди, у которыхъ изъ-подъ плаща торчитъ копыто, кричатъ: „да мы это уже давно знали!“ Нѣтъ, господа, ничего вы не знали. Можетъ быть, вы знали Америку раньше Колумба, да не вы ее открыли, можетъ быть, вы знали, какъ и яйцо поставить на тарелку, да не вы его поставили, вы знали, можетъ быть, и о наслѣдственной передачѣ человѣческихъ способностей, да не вы это доказали.

У китайцевъ чиновникъ, прославившійся заслугами, награждается титуломъ не въ нисходящемъ, а въ восходящемъ потомствѣ. Титулъ князя, данный китайцу, дѣлаетъ княземъ не его сына или внука, а его отца, дѣда, прадѣда и всѣхъ умершихъ предковъ. Точно также, если китаецъ сдѣлалъ преступленіе, то позоръ и наказаніе падаетъ на его дѣтей и на все его потомство. Это логично. И европейское престоляріе говоритъ, что яблоко падаетъ недалеко отъ яблони.

Въ прошедшемъ столѣтіи, подъ вліяніемъ стремленія къ гражданскому равенству, въ Европѣ явилось мнѣніе, что человѣкъ хорошъ и дуренъ только отъ хорошихъ и дурныхъ общественныхъ условій. Уничтожьте дурныя общественныя условія—и получится человѣческое совершенство. Но какъ общественныя условія создаются общественными нравами, привычками и понятіями, то для полученія *естественнаго* совершенства нужно только снять дур-

ныя наслоенія. Достигнуть человѣческаго совершенства, говорить Руссо, легче всего, потому-что для этого не нужно ничего дѣлать. Только предоставьте человѣка его природѣ и не мѣшайте ея дѣлу—и получится вполне совершенный человѣкъ. Ясно, что Руссо договорился до противорѣчія. Если воспитывать значить дѣлать человѣка совершеннымъ и въ то-же время воспитывать значить предоставить человѣка самому себѣ, то ясно, что воспитанія нѣтъ, а остается только одна наслѣдственность.

Но что такое наслѣдственность? Кто не знаетъ, что ребенокъ всегда похожъ на кого-нибудь изъ своихъ родителей? Кто-же наслѣдуетъ кому? Сынъ отцу, а дочь матери, или сынъ матери, а дочь отцу? Всѣ говорятъ, что у даровитыхъ и выдающихся людей были всегда замѣчательныя матери. Бюфонъ, Гете, Мирабо, Даламберъ имѣли замѣчательныхъ матерей. Знаменитые злодѣи древняго міра, Неронъ, Геліогабалъ, Тиверій, имѣли такихъ-же знаменитыхъ по злодѣйскимъ наклонностямъ матерей. Но извѣстно также, что и у знаменитыхъ отцовъ были знаменитые сыновья и знаменитыя дочери. Изъ историческихъ примѣровъ наслѣдственности, переходящей отъ отцовъ, можно привести Сципіона, Цицерона, Густава Адольфа, Генриха VIII, дочери которыхъ отличались отцовскою даровитостью. Область искусства и музыки даетъ цѣлую массу подобныхъ примѣровъ, а въ массѣ наблюдений, которыя были сдѣланы и статистиками, и психіатрами, и физиологами, есть множество указаній, говорящихъ то въ пользу наслѣдственности отъ отцовъ къ сыновьямъ, то отъ матерей къ дочерямъ, то въ пользу перекрестной наслѣдственности—отъ отцовъ къ дочерямъ и отъ матерей къ сыновьямъ.

Есть, впрочемъ, одно наблюдение, которое какъ-бы проливаетъ свѣтъ на законъ наслѣдственности, и наблюдение это говоритъ, что всякая особенность, если она развилась въ субъектѣ по достиженіи имъ половой зрѣлости, имѣетъ наклонность передаваться тому полу, въ которомъ она образовалась. Изъ нравственныхъ свойствъ людей одни слагаются раньше, другія позже; напримеръ, умъ и всѣ солидныя способности формируются обыкновенно послѣ тридцати лѣтъ и достигаютъ своего высшаго развитія послѣ пятидесяти лѣтъ. Напротивъ, способности, связанныя больше съ воображеніемъ, способности творчески-поэтическаго характера, сла-

гаются въ людяхъ до двадцати пяти лѣтъ. Многія дѣти, если только не большинство, въ состояніи подысгать стихи лѣтъ десяти, когда они еще не могутъ высказать ни одной дѣльной мысли. Великіе поэты начинали всегда рано. Гете писалъ стихи шести лѣтъ, Пушкинъ, Лермонтовъ обнаружали вполне свою силу еще на школьной скамейкѣ, Байронъ, Гейне стали знаменитостями моложе двадцати лѣтъ. Изъ числа музыкантовъ и живописцевъ можно привести цѣлый рядъ подобныхъ-же примѣровъ. Моцартъ шести лѣтъ давалъ концерты, Мейерберъ девяти лѣтъ считался въ Берлинѣ лучшимъ пѣвистомъ. Бетховенъ десяти лѣтъ сочинялъ симфоніи, Корреджіо, Рафаэль, Тиціанъ были живописцами, едва умѣя порядочно читать. Изъ этого наблюденія можно сдѣлать тотъ выводъ, что таланты художниковъ развиваются гораздо раньше, чѣмъ таланты мыслителей, и что они предшествуютъ поэтому половой зрѣлости. Таланты эти, передаваясь по наследству, могутъ обнаруживаться уже въ равномъ возрастѣ и точно также передаются родителями лишь въ равномъ возрастѣ. Но чтобы передался по наследству умъ и высшія способности сознанія, требуется, чтобы родители сами достигли предѣла ихъ высшаго развитія. У талантливыхъ родителей явятся, конечно, талантливыя дѣти, но чтобы дѣти ихъ были замѣчательнаго ума, нужно, чтобы они родились отъ родителей такого возраста, когда силы ума вполне сложились въ родителяхъ. Разумѣется, дѣти не съ перваго возраста проявляютъ уже умственную силу своихъ родителей, и потому то-же наблюденіе указываетъ на слѣдующій фактъ. Есть много людей, которые въ молодости сльвуть бездарными, не обнаруживаютъ ни умственной силы, ни энергіи характера, отличаются беспорядочностью и лѣнью, но вотъ съ известнаго возраста беспорядочный, ограниченный ребенокъ начинаетъ обнаруживать небывалую въ немъ силу. Лѣнь и бездарность его исчезаютъ, повидимому, безъ всякихъ вѣдшихъ причинъ, и къ сорока годамъ онъ начинаетъ проявлять такой умъ, такой характеръ, такіе писательскіе или ораторскіе таланты, что становится знаменитостію.

Всѣ эти факты убѣждаютъ только въ томъ, что наследственность имѣетъ неоспоримо свои законы, по въ чемъ они заключаются, пока еще не опредѣлили ни одиъ ученый. Опредѣляль-

ли ихъ Гальтонъ? Гальтонъ сдѣлалъ много интересныхъ изслѣдованій и выводовъ, но послѣднее слово не за нимъ!

Мысль объ изслѣдованіи наслѣдственности таланта явилась у Гальтона при изученіи умственныхъ особенностей различныхъ расъ съ чисто-этнологической точки зрѣнія. Во время этихъ работъ Гальтонъ обратилъ вниманіе на тотъ фактъ, что нѣкоторыя характеристическія особенности присущи извѣстнымъ семействамъ. Тогда онъ перебралъ въ памяти природныя наклонности и успѣхи своихъ товарищей въ школь, въ университетѣ, въ позднѣйшей жизни, и его поразило, какъ часто способности переходятъ по наслѣдству. Чтобы провѣрить себя, Гальтонъ прослѣдилъ родство почти четырехсотъ знаменитѣйшихъ людей различныхъ періодовъ исторіи, собралъ и другой обширный матеріалъ, изъ тщательно избранныхъ біографическихъ данныхъ, и результатомъ этого труда явилось сочиненіе, заглавіе котораго нами выписано. Теорія наслѣдственности таланта находила себѣ защитниковъ и между прежними, и между новѣйшими писателями, „но я, говоритъ Гальтонъ,—объявляю притязаніе на то, что первый пытался разработать этотъ предметъ статистически, первый пришелъ къ такимъ результатамъ, которые могутъ быть выражены цифрами, и применилъ къ изученію наслѣдственности законъ уклоненія отъ среднихъ величинъ“. И въ этомъ неоспоримая заслуга Гальтона.

II.

Доводъ, которымъ Гальтонъ пытается доказать, что талантъ наслѣдственъ, состоитъ въ томъ, что онъ показываетъ, насколько велико число случаевъ, въ которыхъ болѣе или менѣе знаменитыя личности имѣютъ родственниками людей выдающихся изъ общаго уровня. Для этого онъ прежде всего устанавливаетъ два понятія: что такое степень превосходства, заключающаяся въ словахъ „выдающійся“ и „знаменитый“, и въ какой степени репутация можетъ быть принята за мѣрило даровитости.

Гальтонъ смотритъ на общественную и професіональную жизнь,

какъ на непрерывный экзамень. Всѣ мы выступаемъ кандидатами на хорошее мнѣніе своихъ ближнихъ и на успѣхъ своей профессіи. Какъ на школьныхъ экзаменахъ каждый ученикъ получаетъ баллы за свои знанія, такъ точно и общественное мнѣніе ставитъ взрослому человѣку подобныя-же отиѣтки. Свѣтъ оцѣняетъ оригинальность мысли, предприимчивость, дѣятельность и энергію, административное искусство, различные таланты, силу литературнаго выраженія, ораторское краснорѣчіе и многія другія качества, имѣющія общее жизненное значеніе или приимѣяема къ какой-нибудь спеціальности. Свѣтъ свою аттестацію не выражаетъ никакими числами, но является нѣчто въ родѣ безмолвнаго общаго соглашенія, дѣйствующаго обыкновенно съ приблизительнымъ постоянствомъ. Люди, получившіе наибольшее число такихъ неписанныхъ отиѣтокъ, возводятся общественнымъ мнѣніемъ въ разрядъ наиболѣе замѣтныхъ личностей своего времени. Подобное распределеніе людей дѣлается, какъ и въ школахъ, по группамъ предметовъ и каждому изъ кандидатовъ предоставляется домогаться отличій по своей группѣ. Одни достигаютъ извѣстности на поприщѣ юриспруденціи, другіе по литературѣ, наукѣ, въ искусствахъ; но чтобы человѣкъ упрочилъ за собою громкую репутацію, онъ долженъ выказать замѣтное дарованіе, по крайней мѣрѣ, въ одной спеціальности.

Разсматривая біографіи людей, дарованія которыхъ приобрѣли общій почетъ, Гальтонъ пришелъ къ заключенію, что люди высокаго достоинства приобретаютъ обширную извѣстность не ранѣе пятидесяти лѣтъ. Человѣку, рожденному въ скромномъ положеніи, нужно много времени, чтобы подняться изъ него и занять мѣсто, которое ему принадлежитъ. Слѣдовательно, если сравнить число лицъ высокаго достоинства вообще съ числомъ лицъ всего мужского населенія какой-нибудь страны, то выводъ будетъ невѣренъ; поэтому Гальтонъ беретъ только знаменитости, которымъ болѣе пятидесяти лѣтъ отъ роду, и сравниваетъ ихъ съ тою частью мужского населенія, которая достигла того-же возраста. Всѣхъ знаменитостей, имѣющихъ болѣе пятидесяти лѣтъ, Гальтонъ насчиталъ въ Англіи приблизительно до 850 и изъ этого числа болѣе 500 именъ, хорошо извѣстныхъ тѣмъ, кто возвращается въ сферѣ литераторовъ и ученыхъ. Все-же мужское на-

селеніе Англіи болѣе пятидесяти лѣтъ составляетъ около двухъ миліоновъ. Сопоставляя цифры, Гальтонъ выводитъ, что число всѣхъ знаменитыхъ современниковъ относится ко всему населенію какъ 425 къ миліону, а болѣе избранной части ихъ — какъ 250 къ миліону. Этихъ людей Гальтонъ называетъ „выдающимися“. Говоря о выдающемся человѣкѣ, онъ подразумѣваетъ такого, который успѣлъ занять положеніе, достигаемое лишь 250 изъ цѣлаго миліона людей, или, другими словами, однимъ человѣкомъ изъ четырехъ тысячъ. Но что значать четыре тысячи? Гальтонъ приводитъ слѣдующее наглядное объясненіе: въ самую ясную звѣздную ночь число звѣздъ, видимыхъ одновременно невооруженнымъ глазомъ, никогда не достигаетъ четырехъ тысячъ; одна особенно яркая звѣзда, выдѣляющаяся на всемъ небосклонѣ, и будетъ счастливымъ отличіемъ, выдѣляющимъ ее изъ другихъ.

Но еще рѣже „знаменитости“. Многія изъ нихъ представляютъ отношеніе одного къ миліону, а есть такія имена, которыхъ приходится не болѣе одного на нѣсколько миліоновъ. „Это люди, говоритъ Гальтонъ, — которыхъ оплакиваетъ интеллигенція даннаго народа, когда они умираютъ, люди, на долю которыхъ достаются или, по крайней мѣрѣ, должны-бы доставаться почести общественныхъ похоронъ и имена которыхъ переходятъ къ позднѣйшему потомству, какъ имена историческихъ личностей“. Чтобы дать мѣрило, при посредствѣ котораго легче было-бы воспроизвести въ воображеніи численное отношеніе „знаменитаго“ человѣка, Гальтонъ употребляетъ такой приемъ. Однажды лѣтомъ онъ провелъ послѣобѣденные часы въ Бемей-паркѣ, любуясь великолѣпнымъ зрѣлищемъ алеи этого парка изъ непрерывнаго ряда каштановъ на цѣлую милю въ длину. Въ это время ему пришло въ голову попробовать счастье кисти цвѣтовъ, виднѣвшіяся въ пріятномъ солнечномъ свѣтѣ по одну сторону алеи. Онъ взялъ дерево средней величины и средняго изобилія цвѣтовъ и сталъ проводить воображаемыя линіи. Сначала онъ раздѣлил его пополамъ, потомъ на четыре части, и продолжалъ дѣленіе до тѣхъ поръ, пока не дошелъ до такой доли, которая, по незначительности своихъ размѣровъ, позволяла ему сосчитать всѣ заключавшіеся въ ней цвѣты. Ту-же операцію онъ произвелъ съ

тремя различными деревьями и результат былъ приблизительно одинаковъ: добытыя числа относились одно къ другому, какъ девять, десять и одиннадцать. Тогда онъ сосчиталъ деревья алей и, помноживъ всѣ эти числа между собою, получилъ около 100,000 кистей цвѣтовъ. „Съ тѣхъ поръ каждый разъ, какъ я слышу слово „миліонъ“, говоритъ Гальтонъ, — я вспоминаю длинную перспективу алей въ Бемей-паркѣ, съ ея стройными каштанами, покрытыми сверху до низу цвѣтами, ярко выдающимися на солнечномъ свѣтѣ, и представляю себѣ такую непрерывную цвѣточную полосу, продолженную на десять миль“.

Говоря о классификаціи людей по ихъ природнымъ дарованіямъ, Гальтонъ не допускаетъ гипотезы, иногда высказываемой прямо, а еще чаще подразумеваемой въ разсказахъ, писанныхъ для назиданія дѣтей, которая утверждаетъ, будто всѣ люди рождаются на свѣтѣ почти одинаковыми и что различіе создается только прилежаніемъ и нравственными усиліями надъ собою. Гальтонъ самымъ безусловнымъ образомъ опровергаетъ предположеніе о безусловномъ равенствѣ между людьми; онъ вполне признаетъ важное значеніе воспитанія и различныхъ общественныхъ вліяній на развитіе дѣятельныхъ силъ ума, также какъ, напримѣръ, признаетъ дѣйствіе упражненія на развитіе мышцъ руки кузнеца, но не болѣе. Сколько-бы кузнецъ ни работалъ, онъ рано или поздно убѣдится, что есть вещи, которыя ему не подъ силу и которыя между тѣмъ возможны для человѣка съ геркулесовскимъ сложеніемъ, хотя-бы послѣдній и велъ сидячій образъ жизни. Въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, да, вѣроятно, всякій и убѣдился на упражненіяхъ гимнастическихъ или для физическаго развитія. Вначалѣ упражненія успѣхъ бываетъ очень замѣтенъ; начинаемъ-ли мы поднимать гири, упражняться-ли въ бѣгань, крѣпость мускуловъ и способность противостоять усталости возрастаютъ весьма быстро. Обольщая себя ложной надеждой, новичекъ можетъ думать, что это возрастаніе пойдетъ безконечно, но опытъ скоро убѣдитъ его въ томъ, что ежедневное возрастаніе начинаетъ постепенно уменьшаться, а подъ конецъ и совсѣмъ прекращается. Достигнувъ максимума, онъ увидитъ, что его развитіе дальше идти не можетъ, и въ то-же время узнаетъ точно мѣру своего *maximum'a*. При прыганіи онъ

не сдѣлаетъ ошибки ни на одинъ дюймъ, ударомъ по силовѣру онъ всегда въ точности подниметъ стрѣлку на извѣстный градусъ, въ бѣгѣ, въ греблѣ, въ киданіи мячемъ и во всѣхъ другихъ видахъ физическихъ упражненій онъ точно также будетъ стоять на своемъ максимумѣ и никакое дальнѣйшее упражненіе мышечной силы не уведетъ его дальше этой границы.

Совершенно тому-же научаетъ каждого изъ учащихся и проба его умственныхъ силъ. Войкій мальчикъ, встрѣтившись въ школѣ впервые съ умственными трудностями, сначала не можетъ удивиться своимъ успѣхамъ. Рассчитывая свои будущія силы по началу, онъ уже мечтаетъ сдѣлаться однимъ изъ тѣхъ великихъ людей, которые оставляютъ слѣдъ въ исторіи. Но вотъ годы проходятъ; въ школѣ и потомъ въ университетѣ на экзаменахъ ему безпрестанно представляются случаи помѣряться силами и найти свое дѣйствительное мѣсто въ ряду другихъ. Онъ знаетъ точно, кого изъ товарищей въ состояніи побить и перевѣса надъ вѣжъ онъ ни за что не возьметъ. Но самолюбіе все-таки ему подсказываетъ вѣчто другое, и оставляя университетъ и вступая на болѣе широкое поприще, онъ повторяетъ ту-же борьбу соревнованія. И въ жизни, какъ въ школѣ, ему представляются случаи для пробы силъ на томъ или другомъ поприщѣ, и тутъ, если онъ не одержимъ неизлечимою слѣпотою самодовольства, онъ, какъ и въ школѣ, узнаетъ скоро въ точности, на что онъ способенъ и гдѣ лежитъ предѣлъ его силъ. Достигнувъ зрѣлыхъ лѣтъ, онъ не позволяетъ своей увѣренности идти далѣе извѣстныхъ границъ и видитъ, или, по крайней мѣрѣ, долженъ видѣть себя такимъ, какимъ онъ есть или является въ общественномъ мнѣніи, со всѣми своими несомнѣнными слабостями и со всей своей неоспоримой силой. Теперь его уже не обольщаютъ внушенія тщеславія къ бесполезнымъ попыткамъ; человекъ устанавливается на мѣстѣ, знаетъ, что по его силамъ, что выше ихъ, и уже не рвется впередъ и берется только за то, что вполне соответствуетъ его средствамъ.

Чтобы показать громадную разницу, существующую въ силѣ умственныхъ способностей между различными людьми, Гальтонъ дѣлаетъ расчетъ балловъ, получаемыхъ по математикѣ студентами кембриджскаго университета. Въ кембриджскомъ универси-

тетѣ ежегодно держуть экзаменъ отъ 400 до 450 студентовъ и изъ этого числа около 100 удостоиваются отличія за свѣденія въ математикѣ и распредѣляются экзаменаторами въ строгомъ порядкѣ, по степени ихъ относительнаго достоинства. Изъ списковъ, которые имѣлъ Гальтонъ, видно, что послѣдній студентъ получаетъ менѣе 300 балловъ, послѣдній изъ высшей категоріи студентозъ, изъ лучшихъ, получаетъ около 1,500 балловъ, тогда-какъ старшій въ одномъ изъ списковъ Гальтона имѣеть болѣе 7,500 балловъ. Въ другомъ списокѣ старшій студентъ имѣеть 7,634, второй—4,123, а послѣдній—237. Слѣдовательно, старшій получилъ вдвое больше, чѣмъ второй, и въ 32 раза болѣе, чѣмъ послѣдній. Еще въ одномъ списокѣ старшій имѣеть 9,422 балла, второй—5,642, а послѣдній—309, т. е. опять приблизительно 30-ю часть балловъ старшаго студента. Такимъ образомъ, цифра 30 является какъ-бы мѣриломъ отличія способнаго студента отъ менѣе способнаго. Слѣдовательно, лучший и наиболѣе способный могъ-бы справиться съ задачами болѣе, чѣмъ въ 32 раза, труднѣйшими, или-же, имѣя дѣло съ задачами одинаковой трудности, рѣшалъ-бы ихъ съ быстротой, которая составляла-бы квадратный корень этого отношенія.

Существуетъ мнѣніе, будто математики отличаются односторонностью своихъ природныхъ дарованій. Гальтонъ, пользовавшійся именно списками математиковъ, говоритъ, что отличіе, достигаемое людьми въ какой-нибудь одной области знанія, не должно считаться результатомъ чисто-спеціальныхъ способностей, а результатомъ способностей соединенныхъ. Специальнымъ занятіямъ и способностямъ не слѣдуетъ придавать вообще особеннаго значенія, и изъ того факта, что человѣкъ работаетъ преимущественно въ одномъ какомъ-нибудь направленіи, нельзя заключать, что онъ не будетъ имѣть успѣха на другомъ поприщѣ. Даровитый человѣкъ, прежде, чѣмъ онъ установитъ свой выборъ на одномъ какомъ-нибудь занятіи, нерѣдко проявляетъ причудливость и непостоянство. Онъ какъ-бы переживаетъ періодъ пробы силъ; но разъ выборъ сдѣланъ, даровитый человѣкъ предается своему дѣлу съ страстнымъ увлеченіемъ. Но и тутъ встрѣчаются иногда случаи, когда даровитый человѣкъ, приноровившись, повидному, къ извѣстнаго рода занятію, долженъ по обстоятельствамъ измѣ-

нить свое положеніе на новое. Нельзя иногда не подивиться находчивости, съ которою даровитый человекъ освоивается съ подобной пережью. Онъ выказываетъ такую проникаемость въ отношеніи къ новымъ условіямъ своей дѣятельности, такое умѣніе справиться съ ними, какого, повидимому, въ немъ нельзя было предполагать. „Не разъ случалось, говоритъ Гальтонъ, — что какой-нибудь самоувѣренный глупецъ принималъ равнодушіе и пренебреженіе за неспособность и, попробовавъ толкнуть гениальнаго человека на такую почву, гдѣ онъ не былъ-бы приготовленъ къ нападенію, самъ-же потерпѣвалъ жестокое и неожиданное пораженіе“. „Я убѣжденъ, говоритъ дальше Гальтонъ, — что всякій, имѣвшій счастье вращаться въ обществѣ наиболѣе даровитыхъ представителей интеллигенціи какого-нибудь большого столичнаго города или-же хорошо знакомый съ біографіей великихъ историческихъ дѣятелей, не будетъ отрицать существованія гигантовъ, превышающихъ остальное человечество цѣлою головою, натуръ возвышенныхъ по-преимуществу, личностей, рожденныхъ для того, чтобы быть царями людей“.

Въ своемъ изслѣдованіи Гальтонъ не касается вопроса объ умственныхъ способностяхъ людей ниже средняго уровня, хотя такія личности могли-бы быть любопытнымъ предметомъ для изученія. Но вскользь онъ приводитъ весьма любопытный фактъ. Число идиотовъ и слабоумныхъ изъ 20 миліоновъ, составляющихъ населеніе Англіи и Уэльса, принимается приблизительно въ 50,000, — другими словами, это отношеніе будетъ 1 къ 400. Къ категоріи, слѣдующей непосредственно за идиотами и слабоумными, относятся болѣе легкіе случаи слабоумія, а за ней, поднимаясь постепенно, доходимъ до посредственности. Слово „посредственность“ употребляется Гальтономъ въ смыслѣ средняго уровня умственной силы, проявляющейся въ большей части провинціальныхъ собраній, потому что люди наиболѣе способные отвлекаются изъ провинцій болѣе дѣятельною жизнію столицъ или другими дѣлами, а совершенно неспособные не принимаютъ участія въ собраніяхъ. Остающійся за такими исключеніями составъ общества небольшихъ провинціальныхъ мѣстностей является вслѣдствіе того довольно чистымъ типомъ посредственности.

Теперь вопрос: можетъ-ли репутація служить мѣрилою природной даровитости и на-сколько успѣхъ въ жизни зависитъ отъ случайности и на-сколько отъ природной силы ума? Конечно, все это старые вопросы, и, не повторяя ихъ, Гальтонъ ограничивается немногими соображеніями. Подъ именемъ „репутація“ онъ имѣетъ въ виду мнѣніе современниковъ, благопріятный выводъ изъ критическаго анализа характера извѣстнаго человѣка. Онъ не подразумѣваетъ подъ этимъ одно лишь высокое общественное или официальное значеніе или какое имѣетъ левъ лондонскаго сезона. Гальтонъ говоритъ всегда о репутаціи вождя общественнаго мнѣнія, новатора, — однимъ словомъ, такого человѣка, которому свѣтъ охотно признаетъ себя обязаннымъ.

Подъ „природною даровитостью“ предполагаются такіа качества ума и характера, которыя даютъ человѣку возможность и способность совершать дѣйствія, ведущія къ высокой репутаціи. Способность эта должна быть не только соединена съ энергіей, но и необходимо, чтобы съ нею была связана выносливость въ трудѣ, т. е. способность совершать трудную работу втеченіи продолжительнаго времени. Впрочемъ, и этихъ качествъ еще мало. Нужно, чтобы человѣкъ, предоставленный самому себѣ, въ силу присущаго ему стимула, могъ-бы восходить по тропинкѣ, ведущей къ вершинѣ человѣческаго величія, и могъ-бы достигнуть этой вершины, преодолевая и уничтожая препятствія, мѣшающія проявленію его дѣятельныхъ стремленій. Если человѣкъ одаренъ обширною умственною даровитостью, энергичностью въ работѣ и способностью къ тяжелому труду, едва-ли какія-нибудь причины могутъ помѣшать ему выдвинуться. Міръ, какъ говоритъ Гальтонъ, вѣчно тохится затрудненіями, выхода изъ которыхъ онъ ищетъ, непрерывно борется съ идеями и чувствами, для которыхъ онъ не можетъ найти должнаго выраженія. Поэтому, если явится человѣкъ, способный разрѣшить эти трудности или выразить словомъ эти скрытыя чувства, онъ навѣрное будетъ встрѣченъ общимъ сочувствіемъ. Впрочемъ, Гальтонъ прибавляетъ, что, говоря это, онъ имѣетъ въ виду людей феноменальной, перво-разрядной даровитости, такихъ людей, которыхъ встрѣчается не болѣе одного въ миліонѣ, даже въ 10 миліонахъ.

Приписывая одну изъ главныхъ двигающихъ силъ внутреннему

стимулу, Гальтонъ не допускаетъ для даровитыхъ людей вѣшняго, сдерживающаго или руководящаго давленія. Строгость учителей или безпрестанная бдительность родителей, точно также, какъ и въ послѣдствіи счастливый выборъ друзей,—средства людей обыкновенныхъ. Для людей же, которые достигали высокой репутации, эти средства не нужны. Даровитаго человѣка никогда не покидаетъ инстинктивная жажда умственнаго труда. Онъ работаетъ не ради достиженія извѣстности, а ради удовлетворенія естественной жажды къ мозговой работѣ. Гальтонъ сравниваетъ этихъ людей съ физическими атлетами, которые не могутъ выносить покоя вслѣдствіе раздражимости ихъ мускуловъ, требующихъ упражненія. Вѣшняя сила—всегда только прерываемая и непостоянная сила, а для того, чтобы человѣкъ выдался, нуженъ двигатель постоянный. Этотъ-то постоянный двигатель и составляетъ основу характера каждаго даровитаго и выдающагося человѣка.

Общественное положеніе и общественное преимущество не могутъ доставить выдающагося положенія человѣку посредственныхъ способностей. Можно представить цѣлый рядъ людей, обладающихъ изрядными способностями, пользующихся всевозможною поддержкою извнѣ, людей честолюбивыхъ и напрягающихъ всѣ свои силы, но которые въ то же время выдающагося положенія не достигаютъ. Принадлежа къ хорошей или знатной фамиліи, они могутъ достигнуть вліятельнаго положенія или играть видную роль въ своей провинціи; послѣ ихъ смерти остается пустога для многихъ замѣтная, но „Вестминстерское аббатство, говоритъ Гальтонъ,—остается для нихъ закрытымъ и общество не облачается по нимъ въ трауръ; ихъ почтить развѣ только краткая біографическая замѣтка на столбцахъ ежедневной газеты“.

Только случайность помогаетъ человѣку съ самой молодости попасть сразу въ ту професію, къ которой онъ имѣетъ призваніе. Обыкновенно знаменитые люди бросали то поприще, которое назначали имъ родители, и выбирали себѣ новый путь. Д'Аламберъ представляетъ примѣръ подобной самостоятельности. Онъ былъ найденнымъ и отданъ на вскормленіе бѣдному стекольщику. Ни насмѣшки, ни убѣжденія приемной матери, ни под-

дразниванія школьныхъ товарищей, ни бездарный учитель, отклонявшій его отъ занятій, не могли удержать влеченіе д'Аламбера къ высшимъ наукамъ. Человѣкъ такой силы, конечно, могъ бы вынести и въ десять разъ больше препятствій и въ концѣ-концовъ непремѣнно достигъ-бы своей цѣли. И д'Аламберъ достигъ своего: 24-хъ лѣтъ онъ былъ уже знаменитостью перваго разряда.

Недостаточное воспитаніе, на которое ссылаются обыкновенные люди, въ жизни выдающихся людей не имѣетъ никакого значенія. Уаттъ имѣлъ самое элементарное образованіе и только въ старости успѣлъ приобрести замѣчательную начитанность и множество обширныхъ и основательныхъ свѣденій. Юлій Цезарь Скалигеръ не получилъ тоже никакого образованія и ему было 47 лѣтъ, когда появились первыя его сочиненія. Въ періодъ времени между этимъ періодомъ и его смертью онъ успѣлъ приобрести себѣ громкую извѣстность, которая уступала только извѣстности его сына, Джозефа. Поэтому, если способность людей къ ученію успѣетъ значительно ослабѣть къ тому времени, когда они сознали недостаточность своихъ познаній, то можно съ большою вѣроятностью заключить, что способность этихъ людей не особенно высокаго разряда и что при самомъ лучшемъ воспитаніи они едва-ли успѣли-бы больше. Съ даровитыми людьми случается иначе. Даровитый человѣкъ можетъ долго не сознавать свои силы, но если рано или поздно ему представится случай опредѣлить свои средства, онъ быстро наверстываетъ потерянное время и опередитъ своихъ сверстниковъ и соперниковъ, вступившихъ на это поприще многими годами ранѣе. Люди даровитые хватаютъ, повидимому, урывками, имъ не нужно учителя, они сами собой создаютъ свои знанія и развиваютъ свои силы.

Конечно, нельзя не согласиться, что преимущество общественнаго положенія и случайность рожденія представляютъ иногда выгоду. Если человѣку въ обыкновенномъ положеніи нужно соединеніе трехъ отдѣльныхъ качествъ, чтобы выдѣлиться изъ толпы, — ума, энергіи и способности къ напряженному труду, то человѣку, выдвинутому на арену общественной дѣятельности

или родившемуся выгодно, достаточно одного развитого ума и способности къ труду. Третій факторъ достался ему даромъ. Поэтому многимъ, имѣвшимъ успѣхъ на государственномъ поприщѣ, можетъ быть, никогда не удалось-бы подняться, если-бы они родились въ низшихъ слояхъ, — у нихъ не достало-бы энергій.

Есть, впрочемъ, поприща, на которыхъ не во всякое время можно выдвинуться даже и даровитому человѣку. Напримѣръ, стратегическое искусство такая-же специальность, какъ игра въ шахматы. Для усовершенствованія въ немъ необходимо значительное упражненіе. Представьте себѣ человѣка съ стратегическими дарованіями, человѣка съ сильнымъ здоровьемъ, съ пылкою храбростію и безпокойнымъ характеромъ. Какое выдающееся положеніе займетъ онъ въ мирное время? Всего вѣроятнѣе, что онъ сдѣлается охотникомъ, если богатъ, или-же неудачнымъ спекуляторомъ. Замѣчаніе это, конечно, относится къ полководцамъ хотя и высокаго, но не самаго высшаго разряда. Полководцы-же высшаго порядка, какъ Александръ Македонскій, Сципіонъ, Ганнибалъ Цезарь, Мельборо, Кромвель, Веллингтонъ и Наполеонъ представляютъ не одно лишь сочетаніе стратегическаго искусства съ безпокойнымъ нравомъ, но и такое соединеніе разнообразныхъ силъ, что они выдѣлились-бы изъ толпы при всякаго рода обстоятельствахъ. Тутъ видите, чѣмъ гдѣ-либо, причины, выдвигающія то менѣе даровитыхъ, то болѣе даровитыхъ полководцевъ. Въ періоды продолжительныхъ войнъ всегда большой спросъ на людей, поэтому человѣку съ высокими дарованіями является множество случаевъ отличиться. Но титаны полководцы бывають въ то-же время и людьми государственными или являются въ такой моментъ, въ какой, напр., явился Наполеонъ I или Юлій Цезарь. Поэтому первоклассные полководцы, стоящіе во главѣ народовъ, обыкновенно рано и начинаютъ свое поприще. Александръ Великій началъ свое поприще 20 лѣтъ и умеръ 32 хъ. Бонапартъ, императоръ Наполеонъ I, былъ главнокомандующимъ итальянской арміи 26 лѣтъ, сдѣлался императоромъ 36 лѣтъ и проигралъ ватерлооское сраженіе 46 лѣтъ. Цезарь, котораго политическія обстоятельства не допускали къ высокимъ должностямъ и командованію войска до 42 лѣтъ, обнаруживалъ боль-

шія политическія способности, будучи юношей и даже мальчишкой. И всѣ остальные великіе полководцы — Карлъ Великій, Карлъ XII, принцъ Евгений, Густавъ-Адольфъ, Морицъ Нассаускій, Сципионъ африканскій, Веллингтонъ, выдвинулись какъ великіе полководцы смолоду.

Есть еще одно обстоятельство, которое является иногда помѣхой великимъ полководцамъ выказать всѣ свои силы или занять свое мѣсто. Обстоятельство это въ томъ, что, независимо отъ военныхъ способностей, люди, равные по военнымъ талантамъ, имѣютъ не одинаковые шансы выйти невредимыми изъ-подъ выстрѣловъ. Опасность быть убитымъ въ сраженіи весьма велика. Одна четверть полководцевъ, приводимыхъ Гальтономъ, была убита въ сраженіяхъ; а считая Цезаря, Колинны, Филипа II и Вильгельма, погибшихъ отъ рукъ убійць, и полководцевъ, какъ Ганнибалъ, кончившихъ самоубійствомъ, оказывается, что 40% всего числа погибло насильственной смертью.

Существуетъ какъ-бы законъ естественнаго подбора, по которому смерть на войнѣ выпадаетъ преимущественно на людей высокаго роста, чѣмъ на людей малорослыхъ. Гальтонъ вычисляетъ, что шансы человѣка сдѣлаться жертвой пули равняются квадратному корню произведенія его высоты на всѣхъ тѣла; что тотъ человѣкъ который вѣситъ 224 фунта, при 6 фут. 2¹/₂ дюймахъ высоты, имѣетъ шансы остаться невредимымъ впродолженіи двухъ лѣтъ, — человѣкъ, который вѣситъ 112 фунтовъ, при 5 фут. 6 д. вѣсомъ, избѣгаетъ выстрѣловъ впродолженіи трехъ лѣтъ. Но общая цифра опасностей, которымъ подвергается рослый человѣкъ, пожалуй, и больше. Во-первыхъ, благодаря росту, рослый человѣкъ рѣзче бросается въ глаза и служить мишенью для спеціального прицѣла, во-вторыхъ, какъ охотники мѣтятъ въ самую крупную птицу, такъ и стрѣлки — въ самаго рослаго человѣка; наконецъ, если цѣлятся въ двухъ людей, то рослый всегда представляетъ ббльшую мишень. Если-бы Нельсонъ былъ человекомъ высокаго роста и плотнаго сложенія, то, по всей вѣроятности, онъ не прожилъ-бы такъ долго, а если-бы онъ прожилъ только ²/₃ или даже ³/₄ времени, занятаго его битвами, онъ не могъ-бы командовать при устьѣ Нила, при Копенгагенѣ и Трафальгрѣ; при такихъ условіяхъ его величіе ограни-

чилося-бы только славою храброго капитана или молодого, подающего надежды капитана. Слѣдовательно, люди небольшого роста, будучи полководцами, могутъ легче достигнуть высокой славы, чѣмъ ихъ современники на-столько-же даровитые, но болѣе крупнаго роста и болѣе плотнаго сложенія.

Есть еще типъ людей, выдвинуться которымъ помогаетъ частью особенное обстоятельство, а частью качество, не всегда пригодное въ обыкновенное время. Къ числу ихъ принадлежать демагоги. Эти люди обыкновенно особаго сорта. Имъ нѣтъ необходимости обладать замѣчательными умственными дарованіями, безъ которыхъ нельзя обойтись государственному челоуѣку, ученому, литератору. Для ихъ роли даже лучше, если ихъ умъ отличается узкостью и односторонностью, а характеръ угрюмостью и ожесточенностью. А это не такія качества, которыя въ обыкновенное время помогли-бы челоуѣку выдаться. Но тѣмъ не менѣе и между родственниками народныхъ вождей высшаго разряда, какъ, напр., Гракхи, Мирабо, замѣчается всегда извѣстнаго размѣра наслѣдственность. Впрочемъ, рѣчь не о томъ, что нѣкоторыя качества не всегда пригодны въ обыкновенное время, но рѣчь о томъ, что эти качества должны существовать и что только тотъ челоуѣкъ можетъ достигнуть высокой репутаціи, который одаренъ высокими дарованіями. Только самое незначительное меньшинство людей, обладающихъ высокими способностями, не достигаетъ выдающагося положенія; а чтобы имѣть эти высокія способности, нужно больше или меньше ихъ унаслѣдовать.

Талантливость не возникаетъ внезапно и точно также не исчезаетъ разомъ. Напротивъ, она развивается постепенно и правильнымъ отклоненіемъ отъ обычнаго жизненнаго уровня извѣстной семьи. Существуетъ правильное среднее повышеніе даровитости въ поколѣніяхъ, предшествующихъ высшей степени ея развитія, и такое-же правильное пониженіе въ поколѣніяхъ послѣдующихъ. Въ первомъ случаѣ браки способствовали развитію талантливости, а во второмъ они были неспособны поддержать ее.

На большинство выдающихся потомковъ знаменитыхъ людей отнюдь не слѣдуетъ смотрѣть, какъ на плоды ихъ браковъ съ

посредственными женщинами. Напротивъ, жены великихъ людей въ среднемъ выводѣ всегда выше посредственности. А между тѣмъ есть мнѣніе, что умные люди женятся по-преимуществу на глупыхъ женщинахъ. Противъ этого мнѣнія можно выставить слѣдующую аргументацію: во-первыхъ, выдающіеся люди женятся на женщинахъ, которыхъ часто встрѣчаютъ въ обществѣ своихъ друзей, а такія женщины едва-ли могутъ отличаться тупостью; во-вторыхъ, можно привести множество фактовъ, доказывающихъ, что значительное число выдающихся мужчинъ женятся на выдающихся женщинахъ и что между интеллектуальными мужчинами и женщинами существуетъ какъ-бы стремленіе „равнаго къ равному“; наконецъ, нельзя представить никакихъ доказательствъ стремленій противоположнаго рода, т. е. симпатіи умныхъ людей къ ограниченнымъ женщинамъ. Хотя несомнѣнно, что человекъ, сознающій недостатки своего характера, можетъ избрать жену, обладающую недостающими у него качествами, или, по незнанію жизни и людей, увлечется въ молодыхъ годахъ первою дѣвушкою, которая выкажетъ ему свое вниманіе, но эти случаи исключительныя, и едва-ли можно оспаривать, что даровитые мужчины любятъ и общество такихъ-же женщинъ и скорѣе предпочтутъ жениться на умной, чѣмъ на глупой, если только первая окажется подходящею въ другихъ отношеніяхъ.

Гальтонъ не раздѣляетъ, однако, мнѣнія, что у великихъ людей были всегда замѣчательныя матери. Нѣтъ сомнѣнія, что они многимъ обязаны материнскому вліянію, но это вліяніе преувеличиваютъ сами великіе люди, которые по своему естественному предрасположенію и по сильной способности любви относятся къ своимъ матерямъ съ необыкновеннымъ почтеніемъ и слишкомъ преувеличиваютъ ихъ достоинства. Но въ то-же время, особенно для успѣха человека науки, представляется весьма важнымъ, чтобы мать была недюжинной женщиной.

Недюжинная мать уберезетъ ребенка отъ обычнаго узкаго вліянія домашняго воспитанія. Женщины, какъ извѣстно, больше мужчинъ подчиняются обыденнымъ мнѣніямъ, царящему обычаю и даже предрасудкамъ и заблужденіямъ. Честное, неуклонное служеніе истинѣ кажется зауряднымъ женщинамъ дерзостью, и, конечно, счастливы тѣ дѣти, матери которыхъ учили ихъ въ дѣтствѣ

уважать истину и откровенно и смѣло отыскивать ее. Ребенокъ, находящійся подъ вліяніемъ подобной матери, имѣетъ болѣе данныхъ достигнуть успѣха на ученомъ поприщѣ, нежели тотъ, который выросъ подъ давленіемъ суевѣрій и предрасудковъ. Если взять двухъ людей одинаковой природной даровитости, то тотъ, который будетъ пользоваться просвѣщеннымъ вліяніемъ матери, будетъ скорѣе склоненъ къ живому умственному труду, чѣмъ тотъ, на котораго будутъ дѣйствовать вліяніями противоположными.

Гальтонъ, однако, не разрѣшаетъ вопроса, до какой степени справедливо, что женщины и мужчины, одаренные необычайнымъ гениемъ, бесплодны. Удостовериться въ томъ, дѣйствительно-ли бесплодіе неразрывно съ гениемъ, чрезвычайно трудно. Одно изъ важныхъ препятствій заключается въ томъ, что до сихъ поръ не опредѣлено самое слово *genius* и именно какихъ людей можно назвать по-преимуществу гениальными. Другое препятствіе заключается въ томъ, что люди, избираемые для примѣра, принадлежатъ, по большей части, къ древнему міру или ко времени настолько отдаленному, что узнать что-нибудь объ ихъ родственникахъ очень трудно, а часто и совсѣмъ невозможно. Еще препятствіе заключается въ томъ, что человекъ безсемейный можетъ гораздо энергичнѣе отдаться общему благу, чѣмъ человекъ семейный. Конечно, способный семейный человекъ тоже преобьетъ себѣ дорогу, но ему гораздо труднѣе выдаться, если у него на рукахъ жена и дѣти. Умственныя и нравственныя силы семейнаго человека, большей частью, разрываются и отвлекаются домашними беспокойствами, дразгами, печальми, постояннымъ беспокойствомъ для поддержанія семьи, въ особенности если ежегодно рождался ребенокъ и когда не переводятся въ домѣ дѣтскія болѣзни. Весьма вѣроятно или даже нѣтъ сомнѣнія, что очень даровитые люди не оставляли потомства, но примѣры этого нужно отнести къ другимъ причинамъ, а не къ врожденному бесплодію даровитыхъ мужчинъ и женщинъ. Между прочимъ, Гальтонъ указываетъ на отсутствіе потомства у великихъ полководцевъ. Александръ Великій велъ во всю свою жизнь войны въ отдаленныхъ странахъ, умеръ въ молодости, и хотя у него и родился сынъ послѣ смерти, но сынъ этотъ былъ умерщвленъ по политическимъ причинамъ еще въ малолѣтствѣ. Юлій Цезарь велъ весьма рас-

пущенную жизнь и имѣлъ только одного незаконнаго сына отъ Клеопатры, котораго изъ политическихъ видовъ убили тоже въ дѣтствѣ. Нельсонъ женился на вдовѣ, неимѣвшей дѣтей отъ перваго мужа, и, слѣдовательно, бывшей, вѣроятно, неплодовой по природѣ. Наполеонъ I не жилъ съ Маріей-Луизой послѣ рожденія сына. Несмотря на подобную малочисленность прямыхъ потомковъ, у великихъ полководцевъ всегда бывали выдающіеся внуки, и вопросъ о наследственной даровитости едва-ли можетъ подвергнуться сомнѣнію. Дѣйствительно, существуетъ мнѣніе, что семейства великихъ людей склонны къ вымиранію, но отсюда еще нельзя сдѣлать заключенія, что даровитые люди вообще не плодovitы; если-бы это было такъ, то всякая попытка образовать талантливое племя была-бы напрасной. Въ Англии, наприимѣръ, существовалъ нѣкогда обычай, по которому юристъ, попадая въ судъ Королевской Скамьи, долженъ былъ или жениться на своей любовницѣ, или разстаться съ нею; поэтому можно предположить, что болѣе половины лицъ, занимавшихъ мѣста въ судѣ Королевской Скамьи, не имѣли законнаго потомства до поздняго періода своей жизни. Тѣмъ не менѣе число законныхъ дѣтей у судей было значительно, такъ что скорѣе ихъ слѣдуетъ признать весьма плодovitыми, чѣмъ бесплодными. Но, можетъ быть, сѣмь замѣчательныхъ и выдающихся людей вымирали между лицами выдающихся дарованій, достигавшими высшаго положенія? На этотъ вопросъ у Гальтона есть такой отвѣтъ: весьма многіе изъ пэровъ и ихъ сыновей вступали въ бракъ съ единственными наследницами: пару, имѣющему титулъ, нужна богатая жена, а единственной наследницѣ большого состоянія плѣнительно высокое положеніе. Этой причиной, т. е. бракомъ съ единственной наследницей, можно достаточно объяснить причину бесплодія браковъ англійскихъ пэровъ. Такъ-какъ бесплодіе у женщинъ такъ-же наследственно, какъ и физическія особенности, то бракъ пары съ наследницей оказывался часто бездѣтнымъ и родъ угасалъ. Гальтонъ доказываетъ цифрами, на-сколько бракъ съ единственными наследницами бывалъ бесплоденъ. Изъ его цифръ, между прочимъ, видно, что изъ числа женъ пэровъ 100 бывшихъ единственными наследницами имѣли 208 сыновей и 206 дочерей, а 100 не бывшихъ ими имѣли 336 сыновей и 284 дочери. Одна пятая изъ

числа наслѣдницъ вовсе не имѣеть сыновей, цѣлая треть имѣеть не болѣе одного ребенка, три пятыхъ не болѣе двухъ дѣтей. Многія семейства были спасены только тѣмъ, что мужъ переживалъ свою жену-наслѣдницу и могъ имѣть дѣтей отъ второго брака. Чѣмъ выше общественное положеніе, тѣмъ больше поводовъ ввести наслѣдницу въ семейство, и тѣмъ, слѣдовательно, вѣроятнѣе, что родъ вымретъ. Вслѣдствіе этого родъ герцоговъ гдѣ больше примѣсь крови наслѣдницъ, долженъ вымирать скорѣе, чѣмъ семейства графовъ; а семейства графовъ скорѣе, чѣмъ семейства бароновъ. Такъ это и было въ дѣйствительности. Вымираніе даровитыхъ людей происходило не потому, чтобы они были сами по себѣ бесплодны, но вслѣдствіе обычая вступать въ браки съ бесплодными женщинами съ цѣлью получить состояніе для поддержки званія, добытаго заслугами и даровитостью.

Общіе числовые выводы, къ которымъ приходитъ Гальтонъ, заключаются въ томъ, что выдающіеся сыновья почти постоянно многочисленнѣе выдающихся братьевъ, которые, въ свою очередь, только немногимъ многочисленнѣе выдающихся отцовъ. При второй степени родства, а именно у дѣдовъ, дядей, племянниковъ и внуковъ, числа даровитости уменьшаются, а въ третьей степени — у прадѣда, двоюроднаго дяди, правнуки внезапно падаютъ и только двоюродные дяди занимаютъ болѣе высокое мѣсто. Гальтонъ считаетъ безошибочнымъ въ 17 случаяхъ изъ 24-хъ такой выводъ, что на каждые 10 знаменитыхъ людей, имѣющихъ какихъ-либо родственниковъ, вообще приходится 3 или 4 выдающихся отца, 4 или 5 выдающихся братьевъ и 5 или 6 выдающихся сыновей. Теперь вопросъ — если мы о данной личности знаемъ только, что это отецъ, братъ, сынъ, внукъ или какой-нибудь другой родственникъ знаменитаго человѣка, то какіе у него шансы быть или сдѣлаться выдающимся лицомъ? Шансы родственниковъ знаменитыхъ людей, сдѣлавшихся или имѣющихъ сдѣлаться выдающимися, относятся какъ $15\frac{1}{2}$ къ 100 для отцовъ, $13\frac{1}{2}$ къ 100 для братьевъ, 24 къ 100 для сыновей, или, въ сокращенной формѣ, шансы отца 1 къ 6, шансы каждаго брата 1 къ 7, каждаго сына 1 къ 4, каждаго дѣда 1 къ 25, каждаго дяди 1 къ 40, каждаго племянника 1 къ 40, каждаго внука 1 къ 29, а каждаго прадѣда и правнука и вообще каж-

даго родственника третьей степени 1 къ 200, за исключеніемъ двоюродныхъ братьевъ, для которыхъ отношеніе 1 къ 100.

Относительно связи умственныхъ способностей съ наследственными чертами лица нельзя установить никакого закона. Сынъ можетъ быть такой-же способный человекъ, какъ его отецъ; но изъ этого не слѣдуетъ, что онъ будетъ похожъ на него по наружности. Гальтонъ зналъ семьи, гдѣ нѣкоторыя изъ дѣтей, непохожія на родителей лицомъ, унаслѣдовали ихъ нравъ и способности, тогда какъ у остальныхъ дѣтей наследственность выразилась наоборотъ. Гальтона поражало нерѣдко отсутствіе семейнаго сходства въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ былъ увѣренъ, что найдетъ его.

Чтобы окончательно подкрѣпить свои заключенія наблюденіями и фактами изъ жизни другихъ народовъ, Гальтонъ старался пріобрѣсти свѣденія даже изъ Китая; но все, что онъ узналъ, ограничивается только однимъ, впрочемъ, весьма любопытнымъ, фактомъ. Въ Китаѣ, какъ извѣстно, первый почетъ при ежегодномъ испытаніи воздается, на все 500-миліонное населеніе, тому, кто оказывается и первымъ классикомъ, и первымъ математикомъ. Такой человекъ называется Чіанъ-Янь. Одна женщина родила мальчика, который впоследствии сдѣлался Чіанъ-Яномъ. Потомъ она развелась съ мужемъ и вышла за другого, и родила сына, который впоследствии тоже сдѣлался Чіанъ-Яномъ. Еще любопытный фактъ приводитъ Гальтонъ изъ исторіи олимпійскихъ игръ. Одна замужня женщина, несмотря на то, что за это ей грозила смертная казнь, явилась въ числѣ зрителей. Ее узнали, но простили, потому что ея отецъ, братья и сынъ—все остались побѣдителями.

IV.

Не трудно предугадать наступленіе такого времени, когда теперешняя цивилизація—слабая, разсѣянная, поверхностная, распространится по всему земному шару. И это будетъ потому, что цивилизація есть плодъ высокаго разума. Но чтобы это случилось, цивилизованное общество должно обладать такими качествами, чтобы было способно доставлять какъ можно болѣе способныхъ

людей. Выставляя такое требованіе, мы не претендуемъ на наслѣдственность гениальности. Если-бы каждый народъ былъ въ состояніи подняться только на одну степень между гениальностью и даровитостью, то уже однимъ этимъ онъ сдѣлалъ-бы громадное приращеніе своихъ умственныхъ силъ. Число людей, одаренныхъ отъ природы, соответствующее числу современныхъ намъ замѣчательныхъ личностей, увеличилось-бы болѣе чѣмъ въ десять разъ, потому что тогда на каждый миліонъ, вмѣсто теперешнихъ 233, пришлось-бы 2,423. Поднявшись еще на одну степень, общество увеличило-бы массу своихъ даровитыхъ людей въ 7 разъ, и чѣмъ выше степень, на которую поднимался-бы общественный умъ, тѣмъ значительнѣе и въ болѣе геометрической прогрессіи увеличивалось-бы число даровитыхъ личностей.

Цивилизація—это страшный Молохъ, безжалостно поглощающій свои жертвы. Цивилизація—это новое требованіе, наложенное на человѣка теченіемъ событій, и отъ всепоглощающаго давленія ея можетъ спасти только увеличеніе человѣческихъ способностей. Число человѣческихъ породъ, исчезнувшихъ подъ гнетомъ новой цивилизаціи, должно служить урокомъ для всѣхъ передовыхъ народовъ. Дикіе, какъ, на примѣръ, обитатели сѣверо-американскаго материка, мыса Доброй-Надежды, Австраліи, Новой-Зеландіи и т. д., исчезли именно потому, что цивилизація имъ была не по силамъ. Требованія и стремленія цивилизаціи точно также не по силамъ и Европѣ. Масса новыхъ интересовъ, безконечно усилившіяся сношенія и вызванныя ими сообщенія и средства передвиженія, наконецъ потребности централизаціи, которыя должны сгруппировать всѣ раскинутые интресы въ одно связанное общее, требуютъ отъ современной человѣческой породы болѣе мозга и болѣе умственныхъ силъ, чѣмъ какими располагаютъ люди. Весь современный міръ жалуется громко на недостатокъ болѣе способныхъ людей во всѣхъ сферахъ жизни. Ни государственные люди, ни философы, ни ремесленники, ни простые рабочіе не стоятъ на высотѣ тѣхъ многосложныхъ знаній, которыхъ требуетъ ихъ профессія. Современная цивилизація обнимаетъ такую массу разнообразныхъ интересовъ, съ которыми рѣшительно не могутъ справиться ни государственные люди, ни философы, ни ученые. Теперешняя порода людей изнемогаетъ отъ этихъ требованій, и

если способности ея не увеличатся, она может выродиться подъ ихъ тяжестью. Борьба тогда полезна, когда она не превышаетъ силу, но если вмѣсто того, чтобы ихъ развивать, она ихъ подавляетъ, она причиняетъ смерть. Теперешнему человѣку нуженъ и болѣе крѣпкій спинной хребетъ, чтобы выносить болѣе тяжелую ношу, и болѣе развитый мозгъ, чтобы приспособиться къ теперешнимъ требованіямъ и исполнять легко свою задачу. Чтобы человѣкъ не погибалъ подъ тяжестью жизни, нужно, слѣдовательно, или измѣнить его природу, или такъ измѣнить его потребности, чтобы онѣ стѣснили его менѣе. Одной изъ причинъ, ослабляющихъ и парализующихъ силы человѣка, есть какая-то неутомимость, непосѣдливость и урывчатость труда. Теперешній человѣкъ долженъ сдѣлаться грубѣе и выносливѣе, онъ долженъ сдѣлаться менѣе впечатлительнымъ и запальчивымъ и въ то-же время болѣе суровымъ и мужественнымъ. Человѣческая порода состояла до сихъ поръ изъ людей совершенно дикихъ, и послѣ безчисленнаго множества лѣтъ варварства человѣкъ только недавно вступилъ на путь нравственности и цивилизаціи.

Итакъ, человѣчество гибнетъ подъ гнетомъ, котораго оно преодолѣть не въ состояніи, и гибнетъ оттого, что у него меньше силъ, чѣмъ нужно для борьбы жизни. А между тѣмъ и нынче, какъ всегда, хозяйство на человѣческія силы совершенно въ пренебреженіи и всѣ обычай и строй жизни клонятся не къ тому, чтобы увеличивать массу людей и массу мыслящаго мозга, а къ тому, чтобы ихъ уменьшить. Любопытнѣйшій фактъ этого рода представляетъ древняя Греція. Нигдѣ и никогда не было такой массы выдающихся гениальныхъ людей, какъ въ Атикѣ. Миліоны европейцевъ втеченіи двухъ тысячъ лѣтъ не произвели ничего подобнаго Сократу, Периклу, Фидію, и даже величайшій европеецъ—лордъ Бэконъ едва равняется второстепенному человѣку древности—Платону. Если-бы порода древнихъ грековъ могла сохраниться, распространиться и размножиться по другимъ странамъ, въ этомъ-бы заключалось величайшее благо для всей послѣдующей цивилизаціи и размѣръ этого блага мы даже не въ состояніи себѣ и вообразить. Но общественная нравственность древняго міра крайне извратилась. Браковъ избѣгали, потому что они вышли изъ моды, многія изъ самыхъ честолюбивыхъ и образо-

ванныхъ женщинъ открыто вели распутную жизнь и потому не имѣли дѣтей, а матери будущихъ поколѣній принадлежали къ классамъ общества менѣе интеллектуальнымъ.

Въ послѣдующій долгій періодъ темныхъ вѣковъ нравы тоже не способствовали приращенію и увеличенію даровитыхъ личностей: если являлись личности—мужчины или женщины—наиболѣе способныя къ цивилизаціи, люди съ нѣжной, кроткой организаціей, склонныя къ доброжелательному поведенію, къ размышленію, литературѣ и искусствамъ, у нихъ не оставалось другого пристанища, кромя нѣдръ церкви, а католическая церковь проповѣдывала безбрачіе. Поэтому выдѣляющіяся личности оставались безъ потомковъ, а заурядныя создавали такія-же заурядныя поколѣнія. Неоспоримо вѣрно, что принципъ безбрачія, практикуемый католицизмомъ, унижалъ человѣческую породу; католицизмъ заботился только о томъ, чтобы родоначальницей будущихъ поколѣній оставалась одна грубая часть населенія. Еще бы не господствовать кулачному праву и еще-бы современной нравственности стоять выше того, что она есть, когда предки теперешнихъ европейцевъ были подобраны изъ людей наиболѣе низкаго уровня!

Но католическая церковь не ограничилась только тѣмъ, что осудила на безбрачіе лучшія и болѣе благородныя натуры, — она приняла мѣры, чтобы удалить и тѣхъ выдающихся людей, которыхъ не могла запереть въ свои монастыри. Не трудно опредѣлить степень, въ какой католическія преслѣдованія должны были вліять на уменьшеніе болѣе даровитой расы. Испанію очищали ежегодно отъ свободныхъ мыслителей въ размѣрѣ тысячи человѣкъ. Втеченіи трехъ столѣтій, между 1471 и 1781 годами, среднимъ числомъ было казнено ежегодно по сто человѣкъ и девятьсотъ брошено въ тюрьму. Въ эти три столѣтія было сожжено 32,000 человѣкъ и сожжено *en effigie* 17,000 человѣкъ, а 291,000 были присуждены къ долговому заключенію и другимъ наказаніямъ. Въ Италіи совершалось почти то-же самое. Во Франціи въ XVII столѣтіи 300 или 400,000 протестантовъ погибли въ тюрьмахъ, на галерахъ, въ попыткахъ бѣгства, на эшафотѣ, и такое-же число должно было покинуть родину. Французскіе протестанты, выселившись въ другія страны, ввели въ нихъ здоро-

вое, сильное, трудолюбивое, энергическое и болѣе интеллигентное населеніе и послужили, такимъ образомъ, новымъ источникомъ цивилизаціи для странъ, куда они выселились.

Нельзя не обратить вниманія на тотъ фактъ, что громадный процентъ талантливыхъ людей во всѣхъ странахъ носить иностранныя имена и составляетъ потомковъ эмигрантовъ, вносящихъ въ новое отечество болѣе благородную кровь. Конечно, каждой странѣ предстояла-бы славная участь, если-бы она втеченіи многихъ поколѣній держалась политики привлеченія къ себѣ талантливыхъ эмигрантовъ и съ особенной бережливостью обращалась-бы съ своими собственными энергическими и даровитыми личностями.

При современномъ царящемъ обычаѣ бракъ считается или тягостью, — и онъ, дѣйствительно, тягость, если экономически производительными способностями владѣеть только одинъ мужъ, — или большинство лучшихъ людей селится въ городахъ, гдѣ браки менѣе плодотивы и дѣти подвержены больше смертности, или-же въ самомъ брачномъ подборѣ супруговъ основнымъ связывающимъ элементомъ является экономическій расчетъ. При такомъ порядкѣ вещей наиболѣе способные и богато одаренные люди не производятъ вовсе потомства или производятъ его въ меньшемъ числѣ, воздерживаясь отъ браковъ или ограничивая ихъ; а люди менѣе даровитые и непредусмотрительные содѣйствуютъ увеличенію населенія, главнымъ образомъ. Жажда богатства и погоня за наживой оказывается теперь единственнымъ средствомъ для умственно жалосильныхъ людей уменьшить тягость жизни, съ которой они справиться не могутъ. Что-же касается культуры другихъ высшихъ способностей и нравственныхъ свойствъ, то подборъ на нихъ слабъ и наследственная передача ихъ потомству ограничена или безбрачїемъ, или уменьшенїемъ плодотивости браковъ. При такомъ порядкѣ вещей каждая раса должна постепенно падать и съ каждымъ послѣдующимъ поколѣнїемъ становится менѣе способной къ высокой цивилизаціи. Сохраняя виѣшнюю форму ея, общество въ сущности не производитъ тѣхъ силъ, которыя нужны для ея поддержанія, и число даровитыхъ людей поэтому относительно уменьшается. Если такой порядокъ продолжится еще долго, то придетъ, наконецъ, время, когда общество проявитъ болѣе или менѣе рѣзкій возвратъ къ варварству.

Въ видѣ выхода къ лучшему, Гальтонъ указываетъ на слѣдующее средство: „лучшая форма цивилизаціи по отношенію къ усовершенствованію расы та, говоритъ онъ,—при которой жизнь не стояла-бы слишкомъ дорого и доходы проистекали-бы преимущественно изъ источниковъ работы, а не черезъ наслѣдство; гдѣ каждый молодой человѣкъ имѣлъ-бы шансы выказать свои способности, а въ случаѣ большихъ дарованій имѣлъ-бы возможность получить высшее образованіе и доступъ къ какой-нибудь специальности; гдѣ бракъ стоялъ-бы въ такомъ-же почетѣ, какъ въ древне-еврейскія времена; гдѣ поддерживалась-бы національная гордость (конечно, прибавляетъ Гальтонъ,—я не говорю здѣсь о неразумномъ чувствѣ настоящаго времени, которое украшается этимъ именемъ); гдѣ слабые встрѣчали-бы убѣжище и привѣтъ въ монастыряхъ, пріютахъ, и, наконецъ, гдѣ лучшая часть переселенцевъ и эмигрантовъ изъ другихъ странъ была-бы радушно принимаема, а ихъ потомки пріобрѣтали-бы права гражданства“. Проще говоря, тотъ порядокъ былъ-бы самымъ выгоднымъ для прогресса и цивилизаціи, гдѣ-бы самое драгоценное изъ всего драгоценнаго въ мірѣ—умъ человѣка пользовался-бы большимъ покровительствомъ и вниманіемъ, чѣмъ физическая сила. Но Европа пока еще не покончила съ средними вѣками и хозяйство на умъ, возвысившій Афины,—еще слишкомъ далекій идеаль. А, впрочемъ, о хорошемъ и помечтать пріятно.

Н. Я.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

(Principles of Mental Physiology, by William Carpenter. London, 1875.)

I.

Мы хотимъ обратитьъ вниманіе читателей на одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій въ области современной научной литературы, на сочиненіе Карпентера, которое, несомнѣнно, должно составить эпоху въ психологіи. Въ немъ такъ много достоинствъ, что ознакомить съ нимъ читателей въ короткой журнальной замѣткѣ почти невозможно. Мы отклоняемъ отъ себя подобную задачу уже и потому, что, какъ намъ извѣстно, сочиненіе Карпентера переводится на русскій языкъ. Но мы намѣрены воспользоваться двумя, тремя главами изъ этого прекраснаго сочиненія съ цѣлью поговорить о вопросѣ, который въ настоящую минуту затрагиваетъ въ сильной степени любопытство мыслящей части нашего общества. Мы разумѣемъ спиритизмъ и его послѣдніе успѣхи въ Петербургѣ. О спиритизмѣ мало сказать, {что онъ модное суевѣріе нашего времени, улаждающее праздный досугъ извѣстныхъ классовъ общества. Число его приверженцевъ постоянно увеличивается и, что всего замѣчательнѣе, спиритами все чаще и чаще становятся люди серьезной мысли, строгіе ученые—физики, химики, натуралисты. Года четыре тому назадъ извѣстный профессоръ петербургскаго университета, г. Бутлеровъ, открыто объявилъ себя приверженцемъ Юма, а въ этомъ году нѣкому французскому мѣднику Бредифу удалось совратить другого петербургскаго профессора, г. Вагнера, который въ письмѣ, напечатанномъ въ по-

слѣднемъ № „Вѣстника Европы“, засвидѣтельствовалъ съ искренностью вѣрующаго дѣйствительность всѣхъ явленій, видѣнныхъ имъ на спиритическомъ сеансѣ. На слѣдующій годъ, пожалуй, совершится новое обращеніе въ профессорскомъ кругу петербургскаго университета и, можетъ быть, очень немногіе изъ его профессоровъ останутся на стражѣ тѣхъ убѣжденій, за которыя они теперь ратуютъ. Въ сожалѣнію, не только наши ученые, о которыхъ мы упомянули, но и многія свѣтила западно-европейской науки поддались таинственному чарамъ спиритизма. Можно привести длинный списокъ именъ, принадлежащихъ первокласснымъ ученымъ, которые завербованы въ спиритическій лагерь и, что всего курьезнѣе, это все, по большей части, естествоиспытатели. Читая эти имена, только удивляешься, какимъ образомъ эти люди могутъ примирять основные принципы своей науки съ новой вѣрой въ такое, повидимому, неподдающееся никакимъ матеріальнымъ законамъ явленіе, какъ спиритизмъ; какимъ образомъ физикъ-спиритъ можетъ объяснять своимъ слушателямъ законы земной тяжести, если онъ втайнѣ убѣжденъ, что стоитъ лишь явиться какому-нибудь Юму или Бредифу, чтобы разбить въ пухъ и прахъ этотъ неизбѣжный законъ матеріальнаго міра произвольнымъ поднятіемъ стола на воздухъ?

Прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ изложенію научнаго объясненія явленій спиритизма, бросимъ общій взглядъ на его исторію и постепенное распространеніе среди различныхъ націй Стараго и Новаго Свѣта. Родиной спиритизма, какъ извѣстно, принято считать Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты. Говорятъ, что въ 1847 году въ домѣ одного американскаго семейства Фоксовъ впервые раздался таинственный стукъ, который вскорѣ былъ приписанъ дѣвочкѣ Маргаритѣ Фоксъ, такъ-какъ съ ея переѣздомъ въ другіе города и въ нихъ появлялся тотъ-же стукъ. Такое точное опредѣленіе времени и мѣста происхожденія спиритизма, конечно, весьма подозрительно, если только вѣрить дѣйствительности этого явленія. Съ какой стати оно впервые обнаружилось въ 1847 году и почему именно въ Америкѣ? Дѣло въ томъ, однакожь, что спиритизмъ очень старъ. Въ формѣ столоверченія онъ давно извѣстенъ китайцамъ, и, между прочимъ, съ успѣхомъ практикуется монголами и бурятами, немнѣвными, конечно,

но, никакихъ сношеній съ Соединенными Штатами. Точно также онъ распространенъ и между дикими племенами сѣверо-американскихъ индѣйцевъ. Нѣкто Сержентъ, путешествуя по штату Іовъ, случайно забрелъ въ индѣйскій вигвамъ и засталъ тамъ нѣсколькихъ индѣйцевъ, сидящихъ вокругъ неуклюжаго стола, который вертѣлся и стукомъ давалъ отвѣты на различные вопросы. Въ этомъ племени нашлись также свои медіумы. Когда индѣйцевъ спросили, чему они приписываютъ это явленіе, они ничего не могли отвѣтить. Но спиритизмъ, какъ опредѣленное ученіе, дѣйствительно возникъ впервые въ Америкѣ. Вскорѣ послѣ того, какъ въ семействѣ Фоксовъ обнаружили стукъ и другія спиритическія явленія, вѣсть объ этомъ облетѣла весь Союзъ. Для изслѣдованія этого необычнаго феномена составилъ комитетъ, членомъ котораго, между прочимъ, былъ и Фениморъ Куперъ, сдѣлавшійся впоследствии медіумомъ. За столомъ собралась семья Фоксовъ, судъ и многіе члены конгресса; по окончаніи сеанса, который вышелъ вполне удачнымъ, комитетъ принадлежалъ уже къ числу „вѣрующихъ“. Три года спустя въ Союзѣ считалось уже 30,000 медіумовъ, а въ одной Филадельфіи составилось 300 спиритическихъ кружковъ. Въ 1856 году число всѣхъ спиритовъ въ Союзѣ дошло до 2,500,000, а въ 1870—до 8 миліоновъ (такъ-какъ цифры этой никто не повѣрялъ точнымъ изслѣдованіемъ, то приходится вѣрить на слово послѣдователямъ спиритизма). Спиритовъ не мало также въ Вестъ-Индіи и въ южной Америкѣ. Американскіе спириты считаютъ въ своей средѣ очень многіхъ членовъ сената и конгресса, профессоровъ, писателей, чиновниковъ и духовныхъ лицъ. Они составляютъ многочисленныя общества, печатаютъ множество книгъ, издаютъ 20 газетъ, изъ которыхъ одна, „Banner of light“, имѣетъ свыше 30,000 подписчиковъ. Ежегодно въ Союзѣ расходится до 200,000 экземпляровъ книгъ, трактующихъ о спиритизмѣ. Изъ сѣверной Америки спиритизмъ распространился по Европѣ, Турціи, Малой Азіи (Смирна) и Индіи. Американскій спиритизмъ постепенно развивался, принималъ различныя формы, объяснялся на всевозможные лады и, наконецъ, доведенъ былъ до возможной простоты „національнымъ конвентомъ американскихъ спиритовъ“, собравшимся въ августѣ 1868 года въ Рочестерѣ на Ніагарѣ. Въ пя-

томъ своемъ засѣданіи конвентъ формулировалъ 19 основныхъ положеній, въ которыхъ выражены всѣ догматы спиритизма. Общій смыслъ этихъ догматовъ состоитъ въ томъ, что людей постоянно окружаетъ міръ духовъ и что всѣ добрые и злые духи ничто иное, какъ прежде жившіе люди.

Во Франціи спиритизмъ на первыхъ порахъ встрѣтилъ дурной пріемъ, чему былъ обязанъ представителямъ науки. Академія наукъ поручила своимъ членамъ произвести опыты и представить отчетъ о результатахъ изслѣдованія. 23 мая 1853 года академія въ специальномъ засѣданіи слушала этотъ отчетъ, составленный и читанный Араго, который заключилъ свою рѣчь восклицаніемъ: „Я не вѣрю всему этому ни на одну іоту“. Поводомъ къ этому изслѣдованію послужило адресованное въ академію письмо Сегена, который произвелъ множество опытовъ столоверченія и сталъ ревностнымъ его защитникомъ. Академики выслушали отчетъ серьезно и молча. Кромѣ Араго, на спиритическомъ сеансѣ присутствовали геологъ Эли-де-Бомонъ и химикъ Веккерель, но Александръ Гумбольдтъ на-отрѣзъ отказался принять участіе въ изслѣдованіи этихъ мистическихъ явленій.

Во Франціи спириты раздѣлились на двѣ партіи, изъ которыхъ одна, главная, считала своимъ верховнымъ жрецомъ Аллана Кардека, а другая Пьерара. Спириты англійскіе и американскіе считаютъ Кардека еретикомъ и ничего не хотятъ о немъ знать, но во Франціи онъ имѣлъ множество приверженцевъ. Кардекъ умеръ въ 1869 году, 65 лѣтъ отъ роду; астрономъ Камилль Фламаріонъ произнесъ на его могилѣ рѣчь. „*Living des Esprits*“ Кардека выдержала 15 изданій. Очагомъ спиритизма во Франціи былъ Тюльери; отсюда спиритизмъ проникнулъ въ аристократическіе салоны и въ среду богатыхъ буржуа, старавшихся подражать знати. Спиритическіе сеансы были любимымъ времяпрепровожденіемъ императорскаго семейства, и Юмъ пользовался особеннымъ его расположеніемъ. Говорятъ, что этотъ мѣдѣмъ, зная, какое глубокое благоговѣніе питалъ императоръ къ Наполеону I, разыгрывалъ на этой чувствительной струнѣ императора удивительнѣйшіе кунштюки. Такъ однажды въ Тюльери за столомъ сидѣли императоръ Луи-Наполеонъ III, императрица, герцогъ Монтебелло и Юмъ. На столѣ лежали перья, чернила,

бумага. По прошествіи нѣкотораго времени вдругъ является рука, которая беретъ перо, обмакиваетъ его въ чернила и явственнѣмъ почеркомъ имя Наполеона III замѣняетъ Наполеономъ I. Императоръ проситъ позволенія поцѣловать эту руку, которая и приблизилась къ его устамъ, а затѣмъ къ устамъ императрицы. — Послѣ смерти Кардека спиритизмъ во Франціи сталъ замѣтно упадать, но это, конечно, объясняется скорѣе гибелью второй имперіи, чѣмъ смертью Кардека.

Въ Европѣ спиритизмъ нигдѣ не пустилъ такихъ глубокихъ корней, какъ въ Англіи. „Изъ бессмысленнаго спиритизма, пишетъ корреспондентъ „Allgemeine Zeitung“, — англичане сдѣлали цѣлую науку, имѣющую свою литературу и свое іерархическое представительство. Три постоянныхъ журнала служатъ органами спиритизма въ его неуклюжей формѣ столоверченія... Одинъ, „Spiritual Magazine“, еженедѣльно расходуется въ количествѣ 15,000 экземпляровъ. Осенью 1860 года вся англійская пресса только и говорила о постукиваніи духовъ, а Cornhill Magazin развивалъ ту мысль, что это постукиваніе — языкъ загробныхъ духовъ, вступающихъ въ сношеніе съ здѣшнимъ міромъ“. Въ той-же газетѣ за 1869 годъ говорится, что спириты съ прежнимъ рвеніемъ продолжаютъ свое дѣло и что число ихъ постоянно возрастаетъ. Годъ спустя корреспондентъ жалуется, что спиритизмъ сталъ почти формальной религіей высшаго англійскаго свѣта, что его послѣдователями стали лордъ Литтонъ (Бульверъ) и Гофманъ ф.-Фаллерслебенъ, и что верховнымъ жрецомъ ея состоитъ Южъ, американскій теологъ, акція котораго, однакожь, сильно упали послѣ того, какъ судъ оттягалъ отъ него 20,000 фунтовъ стерлинговъ, завѣщанныхъ ему какой-то слабоумной, но богатой миссъ. И въ Англіи къ спиритизму присоединилось нѣсколько столповъ науки; своимъ присоединеніемъ они несравненно больше удивили свѣтъ, чѣмъ изумляли его рассказы о самыхъ невѣроятныхъ продѣлкахъ медиумовъ. Баронъ Гильденштруббе, говоря объ Англіи, замѣчаетъ: „На этой благословенной почвѣ прогреса возникло многочисленное такъ-называемое прогрессивное общество спиритовъ“. Это-то общество и состояло, большей частью, изъ серьезныхъ англійскихъ ученыхъ, которые старались своими сочиненіями выяснить таинственную сущ-

ность спиритизма. Въ числу этихъ спиритовъ принадлежать извѣстный Уэлласъ (написавшій книгу *The scientific aspect of the supernatural*), математикъ де-Морганъ, химикъ Круксъ, много врачей, членовъ парламента и публицистовъ. Робертъ Оуэнъ, подъ конецъ своей жизни, былъ также увлеченъ американскимъ медиумомъ Фостеромъ въ эту пропасть мистаизма, поглощавшую все большее и большее число жертвъ. Нью-ленаркскій реформаторъ проводитъ остатки своей славной жизни въ бесѣдахъ съ мертвецами и преимущественно съ Франклиномъ, — бесѣдахъ, которыя онъ впоследствии издалъ и которыя заставили его друзей и поклонниковъ, не знавшихъ источниковъ этихъ бесѣдъ, опасаться за его душевное здоровье.

Сверхъ всякаго ожиданія, Германія, наклонная вообще къ мечтательности и идеализму, оказала слабую поддержку спиритизму. Нѣмцы углубились только въ изслѣдованія, но неохотно и безъ энтузіазма обращались въ спиритовъ. Нѣмецкія изслѣдованія, впрочемъ, не представляютъ ничего особенно интереснаго; они отличаются скорѣе прилежаніемъ и трудолюбіемъ ихъ авторовъ, чѣмъ силой мысли.

Изъ этого краткаго очерка исторіи спиритизма видно, что, во-первыхъ, онъ распространенъ преимущественно между цивилизованными народами, но признаки его замѣчаются даже и между дикими индѣйцами; во-вторыхъ, въ числѣ спиритовъ встрѣчаются талантливые представители мысли и науки. Поэтому объяснять спиритизмъ только обманомъ со стороны участвующихъ въ сеансахъ лицъ едва-ли основательно, тѣмъ болѣе, что существуютъ теперь другія, болѣе основательныя объясненія. Попытаемся-же примѣнить къ объясненію спиритизма тѣ данныя, которыя выработаны современной наукой.

Явленія спиритизма, какъ о нихъ рассказываютъ сами спириты, весьма разнообразны, но основная и ранняя форма, въ которой онъ проявился, состоитъ въ столоверченіи и въ стологовореніи посредствомъ стуковъ, приписываемыхъ обыкновенно духамъ. Спиритическій сеансъ начинается большей частью слѣдующимъ простымъ опытомъ: вокругъ стола усаживается извѣстное число лицъ и кладетъ на столъ руки въ *сильномъ ожиданіи*,

что стоить съ минуты на минуту начнетъ вертѣться. Ожиданіе это длится иногда значительное время, причеиъ взоры участниковъ сеанса прикованы къ столу и каждый старается уловить первый призвакъ начинающагося вращенія. Одно или два легкихъ сотрясенія возвѣщаютъ о вращеніи; это еще болѣе возбуждаетъ вниманіе участниковъ, и стоить дѣйствительно начинаетъ вращаться. Таковъ фактъ, засвидѣтельствованный безчисленное множество разъ людьми самыхъ разнообразныхъ характеровъ и способностей. Не видя причины этого факта, — ибо, какъ мы увидимъ, по самому свойству его она должна быть скрыта отъ участниковъ опыта, — спириты, не задумываясь, приписали его дѣйствію какой-то новой сверхъестественной силы, которую они воплотили въ невидимыхъ духовъ. Эта-то сверхъестественная сила и подорвала кредитъ въ дѣйствительность самаго факта и вообще предрасположила къ невѣрію всѣхъ тѣхъ, которые лично не участвовали въ спиритическихъ сеансахъ. Поэтому между вѣрующими и невѣрующими возникаетъ непримиримый и, съ перваго раза, загадочный антагонизмъ: одни видятъ то, чего другіе не видятъ, и между тѣмъ и тѣ, и другіе правы.

II.

Прежде, чѣмъ мы скажемъ, какъ объясняютъ истинную причину факта столоверченія, мы должны сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній относительно теоріи, въ которой лежитъ ключъ къ разгадкѣ этого темнаго явленія. Теорія эта выработана школой психологовъ, талантливымъ выразителемъ которой является Вильямъ Карпентеръ въ своихъ „Принципахъ физиологіи ума“. Она вытекаетъ изъ строго-научныхъ изслѣдованій и опирается на громадную массу наблюденій, приводитъ которыя нѣтъ никакой возможности, потому-что это значило-бы рассказать все содержаніе обширнаго труда Карпентера, а также сочиненій Модсли, Мореля и др.

Всѣ психологическіе процессы, въ которыхъ выражается душевная жизнь человѣка, могутъ быть сведены къ тремъ глав-

нымъ категоріямъ: чувствованію, мышленію и движенію. Внѣшнее впечатлѣніе, исходящее изъ наружнаго міра, воспринимается какимъ-либо изъ пяти органовъ чувствъ и ощущается нами тою частью мозга, которая предназначена для чувствованія (она составляетъ нижнюю часть, основаніе головного мозга). За ощущеніемъ можетъ непосредственно слѣдовать движеніе, т. е. сокращеніе тѣхъ мышцъ, которыя соединяются первами съ ощущающимъ пунктомъ мозга. Если, напримѣръ, ощущеніе вызвано сильнымъ дѣйствіемъ свѣта на глазъ, то та часть головного мозга, гдѣ образуются зрительныя ощущенія, передаетъ свое возбужденіе нервамъ, соединяющимъ эту часть мозга съ мышцами глаза, а эти нервы заставляютъ сокращаться глазныя мышцы, и глазъ шурится. Но если внѣшній агентъ дѣйствуетъ слабо или если субъектъ, на котораго онъ вліяетъ, умственно развитъ (взрослый или человѣкъ, привыкшій къ внѣшнимъ раздраженіямъ), то вслѣдъ за ощущеніемъ является не движеніе, а сперва идея, представленіе, а затѣмъ уже движеніе. Другими словами, внѣшнее раздраженіе, дойдя до нижней части мозга (тутъ возникаютъ чувства), какъ и въ первомъ случаѣ, продолжаетъ путь вверхъ, къ мозговымъ полушаріямъ, гдѣ возникаетъ идея. Какъ въ первомъ случаѣ за ощущеніемъ слѣдовало соотвѣтствующее движеніе, такъ теперь оно наступаетъ за идеей, ибо отъ всѣхъ точекъ мозговыхъ полушарій расходятся нервы, которые соединяютъ всѣ эти точки съ мышцами тѣла.

Мы будемъ говорить объ этомъ второмъ случаѣ психической дѣятельности, объ операціяхъ, совершающихся въ умѣ, въ мозговыхъ полушаріяхъ. Если разъ воля или чувства направили нашъ умъ въ извѣстную сторону, то умственная операція будетъ совершаться по извѣстному закону ассоціаціи идей автоматически, пока что-либо (повный импульсъ воли или новое ощущеніе) не нарушитъ теченія идей. Эта дѣятельность ума проявляется въ мышечныхъ движеніяхъ, которыя уже не зависятъ отъ воли и часто обнаруживаются совершенно вопреки ея усиліямъ. Есть много мышечныхъ движеній, которыя составляютъ послѣдствіе такой безсознательной умственной дѣятельности. Примѣромъ могутъ служить сонambuлы, которыя совершаютъ очень сложныя движенія при совершенномъ отсутствіи или очень слабомъ участіи воли, но

за то интелектъ этихъ людей находится въ сильно возбужденномъ состояніи. Въ обыденной жизни мы совершаемъ очень много мышечныхъ движеній, которыя скорѣе служатъ автоматическимъ выраженіемъ преобладающихъ въ нашемъ умѣ идей, чѣмъ вызваны опредѣленнымъ импульсомъ воли. Такъ если мы выражаемъ свои мысли словами, письменнo или устно, то въ это время все вниманіе наше исключительно поглощено подборомъ словъ и составленіемъ предложеній, такъ-что этого вниманія почти нисколько не остается для мышечныхъ движеній, необходимыхъ для выговора словъ, и между тѣмъ мы произносимъ эти слова, подобно тому, какъ мы безсознательно двигаемъ ногами во время прогулки и въ то-же время погружены въ размышленіе. Вильямъ Карпентеръ указываетъ, между прочимъ, на слѣдующій примѣръ въ доказательство того, что мышечныя движенія во время рѣчи обусловливаются скорѣе вліяніемъ идей, чѣмъ волей. Такъ когда во время разговора, письма, диктовки мысль наша опережаетъ рѣчь, то нерѣдко мы произносимъ ошибочно слово, которое стоитъ въ рѣчи на очереди; мы начинаемъ это слово буквой или слогомъ слѣдующаго слова, очередь котораго еще только настанетъ и о которомъ мы только-что думали, и когда цѣлое слово выпускается и замѣняется ближайшимъ, или, лучше сказать, послѣднимъ словомъ, на которомъ остановилась наша мысль. Очевидно, что у насъ не было никакого намѣренія или воли прерывать правильное выраженіе фразы; напротивъ, воля признавала насъ произнести вѣрное слово, но эта ошибка есть результатъ автоматическаго выраженія идеи, представляемой ранѣе, чѣмъ слѣдуетъ выговорить ее слово, которое впутывается въ слово, стоящее на очереди. Изъ этого видно, что эти мышечныя движенія обусловливаются преобладающей идеей, возникшей въ извѣстный моментъ въ умѣ. Чѣмъ менѣе впутывается воля въ эти движенія, тѣмъ рѣзче ихъ автоматическій характеръ. Они даже совсѣмъ не сознаются, какъ, напримѣръ, людьми, которые привыкли „думать вслухъ“. Эти люди всецѣло поглощены своими идеями, и теченіе этихъ идей, равно какъ и мышечное выраженіе ихъ (разговоръ вслухъ), не сознаются.

Существуетъ цѣлая категорія невольныхъ и безсознательныхъ движеній, которыя совершаются при нѣскольکو особенныхъ усло-

вѣяхъ, но источникъ которыхъ также заключается въ господствующей идеѣ, въ томъ состояніи ума, когда онъ напряженъ и ожидаетъ, что известное дѣйствіе совершится. Такъ очень многіе вѣрятъ, что если повѣсить кольцо на конецъ большого пальца, такъ, чтобы отъ легкаго колебанія кольцо ударило въ стеклянный сосудъ, напр. стаканъ, то кольцо ударится въ стаканъ чрезъ правильныя промежутки столько разъ, сколько въ это время часовъ, а затѣмъ направленіе колебаній измѣнится. Этотъ опытъ дѣйствительно очень часто удается, безъ всякаго намѣренія со стороны лица его производящаго и употребляющаго часто всѣ *возможныя* усилія для того, чтобы удержать свою руку въ неподвижномъ положеніи. Но понятно, однако, что никакими усиліями воли нельзя удержать руку неподвижно въ требуемомъ положеніи втеченіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени; всегда можно замѣтить легкое сотрясеніе въ кольцо, и если на немъ сосредоточено все *вниманіе* лица, ожидающаго, что сотрясенія примутъ опредѣленное направленіе, то это случится и на самомъ дѣлѣ. Но колебанія совершаются въ этомъ направленіи только до тѣхъ поръ, *пока за нимъ слѣдятъ глаза лица, производящаго опытъ*, пока, слѣдовательно, вниманіе его устремлено въ одну точку. Если экспериментаторъ твердо убѣжденъ, что колебанія кольца укажутъ время, то это такъ и происходитъ на самомъ дѣлѣ, но если экспериментаторъ скептикъ, то этотъ опытъ никогда почти не удается, и это потому, что умъ его не находится подъ достаточно сильнымъ впечатлѣніемъ ожиданія. Доказательствомъ того, что правильность колебаній кольца порождается ожиданіемъ, преобладающей идеей экспериментатора, служитъ то, что если онъ не знаетъ, который часъ въ тотъ моментъ, когда онъ производитъ опытъ, то колебанія никогда не укажутъ вѣрно часовъ, развѣ совершенно случайно.

Этотъ простой принципъ вліянія преобладающей идеи на мышечныя движенія, давно разъясненный французскимъ химикомъ Шеврелемъ, приложенъ Карпентеромъ къ явленію столоверченія. Безсознательныя, ритмическія движенія рукъ составляютъ истинную причину движенія стола. Какъ было сказано выше, участники спиритическаго сеанса садятся за круглый столъ, кладутъ на него руки и въ такомъ выжидательномъ положеніи остаются

нерѣдко нѣсколько минутъ. Но держать руки неподвижно в теченіи долгаго времени невозможно: мышцы напрягаются, а за напряженіемъ невольно слѣдуетъ сокращеніе мышцъ. Два или три толчка, переданныхъ кѣмъ-либо столу, слегка перемѣщаютъ его, а это еще сильнѣе возбуждаетъ ожиданіе, преобладающую идею участниковъ, и они начнутъ толкать столъ, сокращая мышцы своихъ рукъ подѣ влияніемъ этой усиливающейся идеи вращенія стола. Если всѣ сидятъ на мѣстѣ, то столъ повертывается на-столько, на-сколько позволяетъ длина рукъ участниковъ, но обыкновенно всѣ участники встаютъ съ своихъ мѣстъ, чувствуя себя обязанными, какъ они говорятъ, слѣдовать за движеніемъ стола. Казалось-бы, что ничто не мѣшаетъ участникамъ отнять свои руки отъ стола, но характеристическая особенность состоянія ума, порождающаго мышечныя движенія, состоитъ именно во временномъ отсутствіи воли, въ сильномъ умственномъ напряженіи, вызванномъ преобладающей идеей.

Фарадѣ неопровержимо доказалъ справедливость изложеннаго нами объясненія явленія столоверченія. Онъ придумалъ для этого весьма остроумный приборъ, извѣстный подѣ именемъ *индикатора*, который блестящимъ образомъ разоблачилъ тайну спиритизма, или, по крайней мѣрѣ, одного изъ краугольныхъ его явленій. Индикаторъ Фарадѣ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ досокъ, каждая величиною въ четвертую долю бумажнаго листа. Верхняя доска двигается на двухъ цилиндрическихъ палочкахъ (напр. карандашахъ), лежащихъ на нижней доскѣ, и кромѣ того къ верхней и къ нижней доскѣ прикрѣпленъ весьма чувствительный рычагъ, который приходитъ въ движеніе при малѣйшемъ боковомъ давленіи на верхнюю доску, притомъ въ сторону, противоположную давленію. Приборъ этотъ помещается между столомъ и руками участниковъ сеанса, такъ что руки послѣднихъ давятъ на верхнюю доску индикатора. Фарадѣ произвелъ съ помощью своего индикатора множество опытовъ, результатъ которыхъ поразительно ясенъ. Вынувъ изъ индикатора рычагъ и цилиндрическія палочки, такъ-что двѣ доски плотно прилегали одна къ другой, Фарадѣ поставилъ его на столъ и заставилъ участниковъ положить руки на верхнюю доску. По прошествіи нѣкотораго времени столъ завертѣлся. Но

когда верхняя доска могла свободно двигаться по нижней и глаза всѣхъ участниковъ были устремлены на стрѣлку рычага, причѣмъ каждый испыталъ, что малѣйшее боковое давленіе на доску заставляло стрѣлку вертѣться въ противоположную сторону, то столъ большей частью стоялъ неподвижно, но когда онъ вертѣлся и при этомъ условіи, то его движеніе всегда предвѣрилось противоположнымъ движеніемъ стрѣлки. То-же самое происходило, когда аппаратъ былъ скрытъ отъ участниковъ и когда за нимъ наблюдало другое лицо; малѣйшему движенію стола всегда предшествовало движеніе стрѣлки въ противоположную сторону. Съ одной стороны, столъ никогда не двигался, если индикаторъ не показывалъ, что на верхнюю доску его производится боковое давленіе, съ другой—столъ всегда вертѣлся, если индикаторъ обнаруживалъ это давленіе. Отсюда слѣдуетъ только одинъ выводъ: движеніе стола вызывается исключительно безсознательнымъ мышечнымъ дѣйствіемъ участниковъ сеанса.

Объясненіе дальнѣйшихъ явленій спиритизма основано на томъ-же психологическомъ принципѣ. Къ числу самыхъ распространенныхъ опытовъ, которыми забавляются спириты, относится, между прочимъ, стологовореніе, состоящее въ томъ, что на вопросъ, предлагаемый медиуму, столъ даетъ отвѣты посредствомъ стуковъ, число которыхъ выражаетъ буквы алфавита. Для поясненія этого приведемъ вполнѣ достовѣрный случай, сообщенный Карпентеру англійскимъ священникомъ Годфри, который, очевидно, питаетъ глубокую вѣру въ спиритизмъ. Годфри приготовилъ алфавитъ на деревянной доскѣ, положилъ его на полъ въ пѣ-которомъ разстояніи отъ стола, за которымъ сидѣло трое участниковъ сеанса, а самъ помѣстился подлѣ алфавитной доски. Затѣмъ онъ предложилъ одному изъ участниковъ дать приказаніе столу, чтобы онъ отгадалъ имена мистеровъ Л. и В., о которыхъ ни одинъ изъ участниковъ никогда не слышалъ. Самъ Годфри показывалъ буквы, а столъ долженъ былъ стукомъ отгадывать ихъ. Годфри началъ водить по алфавиту, останавливаясь на каждой буквѣ около трехъ секундъ, и когда онъ дошелъ до буквы G, послѣдовалъ утвердительный знакъ. То-же самое повторилось и съ буквой E, и такимъ образомъ столъ проговорилъ: „George“, „Peter“, что было совершенно вѣрно.

Что вы скажете на это, читатель, если этотъ случай дѣйствительно вѣренъ? И между тѣмъ секретъ какъ нельзя болѣе простъ; разблаченіе его не представляетъ никакихъ трудностей. Дѣло въ томъ, что хотя никто изъ участниковъ сеанса не зналъ именъ мистера Л. и В., за то эти имена были очень хорошо извѣстны самому Годфри. Годфри не сомнѣвался въ истинѣ спиритизма и въ этомъ случаѣ онъ вполне вѣрилъ, что столъ не ударитъ лицомъ въ грязь. Годфри находился, слѣдовательно, подъ вліяніемъ ожиданія, или достаточно даже того, что онъ зналъ имена Л. и В. Годфри принадлежалъ къ тому многочисленному разряду смертныхъ, которые, несмотря на самыя энергическія усилія своей воли, не могутъ не обнаружить какимъ-либо знакомъ то, что они знаютъ, или то, чего они ожидаютъ. Подходя къ буквамъ, изъ которыхъ составлены вышеупомянутыя имена, Годфри чѣмъ-нибудь да выдалъ свое знаніе этихъ буквъ, а это тотчасъ было замѣчено участниками сеанса.

Можно, разумѣется, сказать, что такое объясненіе основано на одномъ только предположеніи. Но дѣло въ томъ, что оно было повѣрено многочисленными опытами, изъ которыхъ мы приведемъ самыя любопытныя.

Въ Англіи появилась нѣкая миссъ Гайднъ, которая убѣдила очень многихъ, что обладаетъ способностями медиума. Она преимущественно поражала правильностью своихъ отвѣтовъ чрезъ постукиваніе стола, но м-ръ Льюисъ, подозрѣвая истинную причину этого явленія, вздумалъ произвести опытъ. Онъ предполагалъ, что миссъ Гайднъ соображала свои отвѣты по какому-нибудь невольному знаку со стороны вопрошавшаго. Могло быть, что когда послѣдній доходилъ до буквы, входящей въ составъ ожидаемаго слова, онъ или медлилъ (невольно) переходомъ къ слѣдующей буквѣ, или бросалъ необычайный взглядъ, или обнаруживалъ это какимъ-либо жестомъ, который не могъ укрыться отъ привычнаго наблюдателя, ожидавшаго указаній съ напряженнымъ вниманіемъ. На этомъ основаніи м-ръ Льюисъ вздумалъ намѣренно подавать такого рода знаки на буквахъ, которые вовсе не входили въ составъ ожидаемыхъ словъ, и, оказалось, что отвѣты миссъ Гайднъ или, что все равно, стола, за которымъ она сидѣла вмѣстѣ съ другими, не имѣли рѣшительно никакого смысла. Замѣтимъ, что

вопросы не говорились вслух, но были предварительно записаны на бумагу и сообщены только одному из участников сеанса. Единственно правильный ответ получен был на последний вопрос: „не обманщица-ли мисс Гайдн“, на что совершенно неожиданно получились стуки, когда Льюис подошел къ буквамъ Y E S, что значить: „да“.

Предположеніе Льюиса, какъ видитъ читатель, оправдалось блестящимъ образомъ. Подобные-же сеансы устраивались впоследствии весьма часто, и изъ нихъ оказалось, что стуки производились самимъ медиумомъ (доказано, что звуки можно производить движеніемъ ноги, незамѣтнымъ даже для тѣхъ, которые слѣдили за этимъ), который почерпаетъ указанія для своихъ ответовъ изъ наблюденій надъ вопрошающимъ, обнаруживающимъ тайну безъ всякаго намѣренія и даже безсознательно. Такое заключеніе подтвердилось также сравненіемъ условій, при которыхъ сеансы мисс Гайднъ были удачны, съ условіями, при которыхъ она терпѣла фіаско. Было замѣчено, что лица, на вопросы которыхъ получались правильные ответы, обладали живымъ, подвижнымъ темпераментомъ и привыкли обнаруживать малѣйшее умственное возбужденіе или необычное душевное состояніе автоматическимъ жестомъ, выраженіемъ лица и проч. Съ другой стороны, люди, которыхъ духи не удостоивали ответомъ, отличались сравнительной сдержанностью, обладали значительною властью надъ своими мышцами и вообще составляли противоположность съ лицами первой категоріи. Карпентеръ рассказываетъ по этому поводу объ одномъ знаменитомъ ученомъ, который по своему темпераменту принадлежитъ къ первой категоріи, но обладаетъ въ то-же время замѣчательной силой воли. Этотъ ученый, не зная, въ чемъ лежитъ секретъ успѣшныхъ сеансовъ, удивлялся правильности и точности ответовъ на вопросы, которые онъ предложилъ медиуму, но замѣтивъ, что другой господинъ, противоположнаго темперамента, получилъ ответы бессмысленные, сдѣлалъ вторую попытку, съ строгимъ намѣреніемъ воздержаться отъ какого-либо необычнаго знака въ то время, когда долженъ наступить стукъ. Попытка эта имѣла полный успѣхъ, и мисс Гайднъ снова потерпѣла поражение.

Есть медиумы, наблюдательность которыхъ до такой степени

изопрена, что отъ ихъ взоровъ почти ничто не можетъ укрыть-ся. Къ числу такихъ медиумовъ принадлежитъ, между прочимъ, американиецъ Фостеръ, сеансы котораго поражали самыхъ упорныхъ скептиковъ. Карпентеръ рассказываетъ, что этотъ медиумъ отгадывалъ безошибочно время и причину смерти друзей и родственниковъ вопрошавшихъ, которыхъ онъ видѣлъ въ первый разъ. Но одинъ случай раскрылъ все-таки тайну неуязвимаго медиума. Ему предложено было однимъ изъ участниковъ отгадать мѣсяцъ смерти его умершаго друга, имя котораго Фостеръ прочиталъ (чрезъ постукиваніе стола) совершенно вѣрно. Когда вопрошавшій дошелъ до буквъ Y и U, столъ стукнулъ; затѣмъ слѣдовало перебирать буквы сначала алфавита, но когда вопрошавшій дошелъ до буквъ L, M и N, Фостеръ смутился. Онъ предложилъ опять повторить сначала алфавитъ, и это повтореніе сначала предлагалось раза три, такъ что, наконецъ, Фостеръ объявилъ, что онъ не можетъ навѣрное сказать, было-ли это въ іюнѣ (June) или въ іюлѣ (July). *Секретъ здѣсь въ томъ, что и самъ вопрошавшій не могъ этого вспомнить, и не зналъ—умеръ-ли его другъ въ іюнь или въ іюль.*

Но не всегда такъ легко было открыть причину успѣха фостеровскихъ сеансовъ, и только благодаря опытности и остроумію вопрошавшихъ обнаружился источникъ вдохновенія этого медиума. Дѣло въ томъ, что Фостеръ изопрился до такой степени, что, какъ впоследствии оказалось, онъ соображалъ свои отвѣты не только по невольному измѣненію лица или жестахъ вопрошавшаго, но главнымъ образомъ по движенію верхушки и нижняго конца палочки, служившей для указанія буквъ алфавита. Обстоятельство это подтвердилось вполне, когда вопрошавшій повернулся спиной къ медиуму, такъ что указка была скрыта отъ него. При этихъ условіяхъ Фостеръ не могъ отгадать ни одного имени. Когда большинство посѣтителей, наскучивъ безплоднымъ ожиданіемъ, уѣхало и остались только ближайшіе члены семейства, пригласившаго Фостера, то ему предложено было возобновить неудавшійся сеансъ. „Теперь, сказали Фостеру,—когда нѣтъ этихъ невѣрующихъ философовъ, духи, быть можетъ, почтять насъ своимъ посѣщеніемъ“. Участники сеанса не принимали никакихъ предварительныхъ мѣръ сначала сеанса и потому онъ

шелъ весьма удачно. Столъ правильно постукивалъ, отгадывая имя умершаго друга вопрошавшаго, но когда, по предварительному сговору, неожиданно положена была толстая книга въ такомъ положеніи, что она совершенно скрыла указку отъ глазъ Фостера, стукъ прекратился и имя умершаго такъ и осталось недосказаннымъ. Читатель согласится, что трудно найти болѣе явственное доказательство того, что медианумическая прозорливость Фостера происходила изъ наблюденій за движеніемъ указки.

III.

Мы переходимъ теперь къ послѣдней и самой замѣчательной категоріи спиритическихъ явленій. Выше было уже замѣчено, что процессъ мышленія или теченіе идей сопровождается разнообразными движеніями, которыя болшею частью носятъ автоматическій и бессознательный характеръ. Читатель видѣлъ, что этотъ нормальный психическій феноменъ послужилъ намъ ключемъ, который раскрылъ предъ нами храмъ спиритическихъ мистерій. И на этотъ разъ мы снова обратимся къ тому-же феномену. Сдѣлаемъ лишь одинъ шагъ впередъ на той-же почвѣ. Существуютъ факты, привлекшіе, однако, лишь недавно вниманіе наблюдателей, что идеи выражаются автоматическими движеніями не только въ тотъ моментъ, когда обнаруживаются самыя идеи, но даже и тогда, когда эти идеи забыты и какъ-бы покоятся въ глубинѣ сознанія. Вы можете забыть до такой степени какой-либо фактъ, что и не подозреваете, знали-ли вы когда-либо объ немъ, и все-таки, когда вниманіе ваше будетъ устремлено на этотъ фактъ, вы обнаружите идею о немъ невольнымъ мышечнымъ движеніемъ, хотя-бы самый фактъ такъ и остался для васъ неизвѣстнымъ или, лучше сказать, забытымъ. Ваше вниманіе, обращаемое на забытый и даже неизвѣстный вамъ (въ настоящую минуту) фактъ, какъ-бы шевелитъ старыя впечатлѣнія, покоющіяся гдѣ-либо въ глубоконъ мозговомъ слою, и заставляетъ ихъ заявить о своемъ существованіи автоматическими движеніями. Этимъ только и объ-

ясняется возможность давать правильные отвѣты, содержаніе которыхъ неизвѣстно вопрошающему въ данную минуту.

Англійскій священникъ Дибдинъ въ своихъ лекціяхъ о столоверченіи рассказываетъ, между прочимъ, слѣдующій случай. На спиритическомъ сеансѣ онъ и его другъ спросили у стола, сколько лѣтъ царствуетъ королева. На это столъ отвѣчалъ: 16, хотя никто изъ присутствующихъ положительно не зналъ, въ какомъ году королева вступила на престолъ. На вопросъ, сколько лѣтъ принцу Валлійскому? — чего также никто изъ присутствовавшихъ не зналъ, — столъ отвѣчалъ: 11 (это было въ 1853 г.). Альманахъ, принесенный для справокъ, подтвердилъ истину показаній стола. — Затѣмъ въ домъ одного портного былъ предложенъ вопросъ: сколько человѣкъ работаютъ въ нижней мастерской? Столъ отвѣчалъ: трое, и затѣмъ прибавилъ еще двухъ. Но одинъ изъ рабочихъ, принимавшій участіе въ сеансѣ, замѣтилъ медіуму, что въ мастерской четверо взрослыхъ рабочихъ и двое мальчиковъ и что, слѣдовательно, отвѣтъ стола ошибоченъ, но *потомъ онъ вспомнилъ*, однако, что одинъ изъ взрослыхъ рабочихъ уѣхалъ за городъ.

Послѣдній случай вполне подтверждаетъ справедливость вышеприведеннаго нами объясненія. Рабочій, очевидно, не зналъ въ ту минуту, когда онъ задавалъ вопросъ, сколько человѣкъ работаетъ въ мастерской, и все-таки онъ обнаружилъ невольнымъ автоматическимъ движеніемъ неизвѣстную ему въ эту минуту истину, которая, однако, была прежде запечатлѣна въ его умѣ. Слѣдующій случай подходитъ также подъ наше объясненіе. Нѣкто на спиритическомъ сеансѣ спросилъ: когда онъ видѣлъ въ послѣдній разъ своего умершаго друга? Отвѣтъ стола не согласовался съ воспоминаніями вопрошавшаго, но впоследствии, когда объ этомъ зашелъ разговоръ въ его семействѣ, онъ вспомнилъ, что онъ видѣлъ своего друга какъ-разъ въ то самое время, на которое указалъ столъ, и что онъ тогда-же рассказывалъ объ этомъ въ своемъ домѣ, но впоследствии утратилъ всякое воспоминаніе объ этомъ.

Вышеупомянутый нами англійскій священникъ Дибдинъ, который видитъ въ стологовореніи дьявольское навожденіе, рассказываетъ, что онъ былъ приглашенъ на спиритическій сеансъ сво-

инъ другомъ, увѣрившииъ, что онъ можетъ вызвать вмѣсто злого духа добраго, именно духа англійскаго поэта Эдуарда Юнга. Чтобы доказать это священнику, другъ заставилъ духа произнести одну строчку изъ стихотвореній этого поэта, и столъ проговорилъ: „Man was not made to question, but adore“ (человѣкъ созданъ не для того, чтобы вопрошать, но чтобы любить). За этимъ слѣдовалъ вопросъ: не изъ „Ночныхъ-ли думъ“ (Night Thoughts) взять этотъ стихъ? — „Нѣтъ“, отвѣчалъ столъ. — „Откуда-же?“ — „Изъ Іова (Job)“, отвѣчалъ столъ. Вопросавшій, не будучи знакомъ съ поэмами Юнга, не понялъ смысла отвѣта стола, но на слѣдующій день, доставъ произведенія Юнга, онъ нашелъ въ концѣ „Ночныхъ думъ“ стихотворное переоложеніе „Книги Іова“, которое оканчивалось строчкой: „Man was not made to question, but adore“. Все это крайне изумило его, ю, нѣсколько времени спустя, приидя къ м-ру Дибдину, онъ объяснилъ загадку. „Я долженъ вамъ сознаться, сказалъ онъ, — что эта книга (поэмы Юнга) была все время въ моемъ домѣ, хотя я и не зналъ о ея существованіи, и даже оказывается, что я читалъ ее прежде. По моему мнѣнію, это было дѣломъ *скрытой идеи*, которую столъ извлекъ изъ моего ума“.

Едва-ли другъ Дибдина былъ знакомъ съ изложенной нами психологической теоріей, но тѣмъ не менѣе объясненіе его совершенно справедливо. Онъ такъ давно читалъ Юнга, что позабылъ объ этомъ, но то, что онъ читалъ, оставило глубокій, хотя и скрытый слѣдъ въ его умѣ, обнаружившійся непроизвольнымъ мышечнымъ движеніемъ.

Здѣсь мы прекращаемъ анализъ дальнѣйшихъ спиритическихъ явленій. Можно было-бы поставить предъ судомъ предложенной психологической теоріи еще множество другихъ явленій спиритизма, но въ этомъ едва-ли есть необходимость. Намъ кажется, что достаточно и того, что мы сказали, чтобы приподнять съ спиритизма мистическій покровъ, которымъ его окружили на иѣренная ложь, певѣленіе и легковѣріе. Явленія спиритизма, какъ мы видѣли, составляютъ нормальный результатъ психической жизни человѣка, но тѣ особенныя условія, при которыхъ они происходятъ, сильно маскируютъ ихъ прямой, естественный смыслъ.

Въ самомъ дѣлѣ, при какихъ условіяхъ удаются спиритическіе сеансы? Изъ нашего изложенія читатель могъ заключить, что прежде всего для этого необходима глубокая вѣра со стороны участниковъ въ возможность ожидаемыхъ явленій. Участники должны явиться на сеансъ съ увѣренностью, что то, чего они ожидаютъ, случится. Многочисленные опыты показали, что сеансы не удаются, если въ нихъ участвуютъ скептики. Въ этомъ былъ убѣжденъ даже Юмъ, отецъ спиритовъ. Однажды послѣ весьма удачнаго сеанса у одного англійскаго лорда Юмъ обратился къ присутствовавшимъ съ слѣдующими замѣчательными словами: „Явленія, свидѣтелями которыхъ вы были сегодня, составляютъ то, что человѣчество называетъ чудомъ; вы видѣли страшное огненное испытаніе *), о которомъ рассказываютъ древнія преданія, и все-таки здѣсь нѣтъ никакого чуда. нѣтъ никакого нарушенія божескихъ и естественныхъ законовъ. Подобное нарушеніе невозможно... Каждый могъ-бы сдѣлать то-же, но человѣчество не знаетъ своей неограниченной власти надъ матеріей. Вѣра есть сила въ природѣ; какъ немногіе понимаютъ это! И, однако, каждая страница исторіи убѣждаетъ въ этомъ. Мы не совершили никакого чуда, но это явленіе вызвано закономъ природы, даннымъ Богомъ. Человѣкъ долженъ лишь пользоваться своей властью подъ руководствомъ разума, не подчиняя послѣдняго никакому авторитету“.

При условіи вѣры спиритическія явленія происходятъ во всей яркости и объективности *для самихъ участниковъ*, но только для нихъ. Въ этомъ-то и заключается загадочная (повидимому) сторона явленія и трудность соглашенія между вѣрующими и невѣрующими. Когда вѣрующій рассказываетъ о видѣнныхъ имъ диковинкахъ невѣрующему, вѣрующій упорно отрицаетъ возможность этихъ диковинокъ, то онъ не можетъ пригласить невѣрующаго убѣдиться въ ихъ дѣйствительности собственными глазами, ибо если сеансъ составится изъ невѣрующихъ, то онъ

*) Юмъ бралъ въ руки раскаленный уголь, не ощущая никакой боли, и даялъ держать этотъ уголь глубокоувѣрующему лорду.

большую часть не удастся по самому свойству явления. Таким образом, невѣрующій имѣетъ право оставаться при своемъ мнѣніи, а вѣрующій—при своемъ. Слѣдовательно, правы и тѣ, и другіе, но будетъ справедливо прибавить, что въ то-же время и тѣ, и другіе неправы,—вѣрующіе потому, что, не понимая сущности явления, они приписываютъ причину его сверхъестественному агенту, невѣрующіе же потому, что, не понимая также этого явления, они совершенно отрицаютъ его. Между тѣмъ истина заключается здѣсь въ томъ, что явления, о которыхъ идетъ рѣчь, происходятъ лишь при *известномъ условіи*, управлять которымъ человѣкъ не можетъ.

Но есть одно средство, могущее примирить первыхъ и вторыхъ. Это средство—наука. Если невѣрующему трудно притвориться вѣрующимъ, то за то легко въ душу вѣрующаго заронить то благотворное сѣмя скептицизма, изъ котораго рождается всякое положительное знаніе и увѣренность. И такъ-какъ знанію присуща сила разрушать нелѣпныя вѣрованія, а вѣра, какъ мы видѣли, служитъ источникомъ спиритическихъ явленій, то болѣе, чѣмъ вѣроятно, что по мѣрѣ распространенія среди публики психологическихъ знаній и дальнѣйшихъ успѣховъ психологіи, спиритизмъ будетъ постепенно исчезать и, наконецъ, умретъ собственной смертью. Онъ перестанетъ выражаться въ тѣхъ дѣйствительныхъ, объективныхъ явленіяхъ, которыя порождаются вѣрой участниковъ сеанса. Такимъ образомъ дѣлается понятной необыкновенная важность изученія психологіи и ея прогресса. Если-бъ эта наука была въ пренебреженіи, если-бъ она не дошла даже до своего настоящаго, не особенно блестящаго состоянія, судьба другихъ наукъ, съ нашествіемъ спиритизма, сдѣлалась-бы весьма печальной. Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что лучшіе представители реального знанія стали записываться въ ряды спиритовъ и дѣлались сторонниками сверхъестественнаго принципа, діаметрально противоположнаго тѣмъ краеугольнымъ понятіямъ, выработаннымъ тысячелѣтней работой мысли, на которыхъ зиждется все современное опытное знаніе, все наше міровоззрѣніе, наши повседневнѣйшія мысли и даже дѣйствія. Разумѣется, никакіе успѣхи спиритизма не могли-бы порвать нити разъ гачавшагося прогресса; но они могли-бы, при широкомъ распростране-

ніи спиритизма, сильно тормозитъ правильное развитіе человѣческаго духа во всѣхъ сферахъ его проявленія. И вотъ за психологіей должна быть признана честь спасенія современной науки отъ продолжительнаго застоя, и главнымъ образомъ честь спасенія общества отъ повального, эпидемическаго душевнаго разстройства, которымъ грозило ему усилившееся вліяніе спиритизма.

В. Окгирскій.

БОРЬБА ЗА СИБИРСКУЮ ДОРОГУ.

«Если насъ Миколайъ Ивановичъ превзойдетъ, то и мы съ нимъ всю Россю превзойдемъ».

(Изъ рѣчи простояюдина-оратора на одномъ желѣзнодорожномъ съѣздѣ.)

Желѣзныя дороги — полезнѣйшее и прекраснѣйшее изобрѣтеніе. — Кто этого не знаетъ?

Россія увлечена желѣзными дорогами, стало быть она стремится неудержимо по пути прогресса, — это тоже извѣстная истина.

Въ настоящее время у насъ на очереди проектъ грандіозной дороги, долженствующей соединить путемъ рельсоваго моста, перекинутаго черезъ Уралъ, Европу съ Азіей, отдаленную Сибирь съ Россіей. Цѣль возвышенная, воспарить къ которой не прочь былъ даже Лессепсъ. Сибирская желѣзная дорога составляетъ интересъ дня. Недавно вопросъ о ней волновалъ весь Петербургъ и былъ моднымъ вопросомъ, пока, конечно, не смѣнился другими животрепещущими новинками, каковы г-жа Жюдиць, *дива* театра Буффъ, и г. Бредифъ, профессоръ столоверченія и вызыватель духа очаровательной китайки Жеке. Но пока эти новинки не заняли петербуржцевъ, они съ особеннымъ рвеніемъ занимались сибирской желѣзной дорогой. Знакомые при встрѣчѣ спрашивали другъ друга: „вы за какое направленіе сибирской дороги: за сѣверъ или за югъ?“ Петербургская публика волновалась, петербургская публика шумѣла, въ обществѣ содѣйствія промышленности и торговлѣ шли публичные дебаты объ этомъ вопросѣ, а пресса торжественно разносила объявленія и рекламы той или другой стороны, заинтересованныхъ въ направленіи дороги. Можно сказать, что агитація по этому поводу у насъ была безпримѣрная, такъ-какъ дѣло о сибир-

ской дорогѣ тянется почти 10 лѣтъ. Вопросъ о постройкѣ этой дороги имѣеть свою исторію, свою эпопею, и подвиги его героевъ найдутъ когда-нибудь своего Гомера. Мы-же представимъ только нѣкоторые эпизоды ея, особенно ярко-характеризующіе мудрость, ловкость и способность русскаго общества въ общественныхъ дѣлахъ; словомъ, мы будемъ только скромными лѣтописцами и, въ качествѣ лѣтописца, будемъ по-возможности кратки. Жаловаться на недостатокъ матеріала по занимающему насъ вопросу нельзя: предъ нами лежитъ масса печатныхъ отчетовъ, скучныхъ доказательствъ, полемики, перебранокъ, фальшивыхъ счетовъ и т. п. Но мы остановимся на самыхъ веселыхъ, водевильныхъ моментахъ этой исторіи, которыхъ не мало. Впрочемъ, и то надо сказать, что теперь игривый, каскадный вѣкъ, — по крайней мѣрѣ, у насъ.

Давно, очень давно начались у насъ толки о пользѣ проведенія желѣзной дороги въ Сибирь. Когда насъ засыпали доказательствами, мы, простодушные россияне, вполне соглашались, что и то хорошо, и это недурно.

— Чего-же лучше-съ, говорили мы нѣсколько тупо, смотря по обыкновенію въ уголь.

— Нѣтъ, вы поймите, какія выгоды: обширный край, terra incognita... убѣждали насъ газеты и разные предприниматели, ощущавшіе уже барыши отъ постройки новой дороги.

— Чего-же лучше-съ, повторяли мы столько-же лѣтъ съ собственнымъ намъ добродушіемъ и сочувствіемъ, которое развѣ только горячаго иностранца-оратора можетъ заставить раскрыть себѣ голову съ отчаянія.

Наконецъ, и наше спокойствіе не выдержало. Мы постепенно разогрѣвались. Началась даже вражда изъ-за направленія, участіе въ которой принимали русскіе люди многихъ областей и градовъ. Сначала области и грады доказывали и боролись каждый за себя. Какіе-нибудь Ирбитъ, Царево-Самчурскъ, Лаишевъ и Тетюши, каждый требовалъ, чтобы сибирская желѣзная дорога не миновала и его.

— Вы поймите, сколько роговъ отъ насъ повезутъ, сколько

канатовъ, горшковъ, яиць, доказывалъ каждый изъ этихъ городовъ.

— А намъ, значитъ, безъ ярмарки совсѣмъ жить невозможно, твердили другіе.

И въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ ту-же Ирбитъ, съиздавна соперничающую съ Тюменью, громче всѣхъ вопіющей о своихъ интересахъ, которые до послѣдняго времени играли видную роль въ направленіи сибирской желѣзной дороги. Маленькій городъ этотъ стоитъ цѣлый годъ мертвымъ; громадныя зданія, раскиданныя кругомъ него, лавки, театръ и гостинницы стоятъ съ забитыми рогожей окнами, обыватели лежатъ на печкахъ да грѣбютъ себѣ спины. Только разъ въ годъ, во время ярмарки, оживаетъ онъ, даетъ работу и питаетъ жителей. И какую работу?—принимать проѣзжающихъ да получать за квартиру. Городъ живетъ въ одинъ зимній сезонъ; измѣните срокъ ярмарки, проведите въ сторонѣ желѣзную дорогу—и онъ потеряетъ значеніе. А сколько отъ однихъ самоваровъ было дохода? Понятно, что Ирбитъ съиздавна хлопотала, чтобы въ Тюмени запрещали ярмарку въ извѣстные сроки и предоставляли ей преимущество; понятно, что и теперь, при проведеніи желѣзной дороги, она претендуетъ на мировую роль. Вѣдь сколько отъ самоваровъ однихъ... Но существуютъ и Саратовъ, и Пермь, и Кострома, и Оханскъ, Вятка, Вологда, Нижній и Шуя, — всѣ они точно также заинтересованы въ вопросѣ, по какому направленію пойдетъ сибирская дорога. Они доказываютъ съ тою-же убѣдительностью свое значеніе. Недавно „Саратовскій справочный листокъ“ при обсужденіи дороги Лессепа убѣждалъ, что дорога въ Индію должна имѣть исходными пунктами съ одной стороны Саратовъ, съ другой—Пешеваръ. Не менѣе убѣдительно ходатайствовалъ за Пермь во время преній о направленіи сибирской дороги И. И. Любимовъ, издавшій книгу въ 1870 г. Сибирскую дорогу онъ окрестилъ пермско-уральскою *). Г. Любимовъ доказывалъ, что Пермь—все, а пермская губернія самая производительная. Съ наименьшимъ жаромъ доказываетъ теперь г. Синцовъ пользу Вятки; г. Колюпановъ такъ-же ревностно ратовалъ за Кострому; другіе выставляли на видъ значеніе нижегородской яр-

*) Записка къ проекту пермско-уральской желѣзной дороги, И. И. Любимова, Сиб., 1870 г.

марки, гор. Базани и т. д. Въ общемъ хорѣ слышались голоса и за Петербургъ, который предлагалось избрать конечнымъ пунктомъ дороги. Такимъ образомъ, всѣ хотятъ соединиться съ Сибирью; это, такъ-сказать, невѣста съ приданнымъ, имѣющая массу жениховъ, между которыми выборъ для нея крайне затруднителенъ и она не знаетъ, какъ примирить ихъ интересы. Многожества по нашему своду законовъ не допускается, а выберешь одного — прочие всѣ обидятся.

Однакожь, надо было на чужь-нибудь согласиться. Всѣ разрозненные интересы сосредоточились, наконецъ, въ двухъ большихъ лагеряхъ; одинъ стоялъ за *сѣверное*, другой за *южное* направление; Пермь, Глазовъ, Вятка, Кострома, Вологда и Петербургъ составили лигу за сѣверное направление; Липшевъ, Казань, Василь-Сурскъ, Нижній, Шуя и Москва — за южное направление. Загорѣлась борьба между сѣверомъ и югомъ, у насъ явились южане и сѣверяне. Борьба эта была если не такъ кровопролитна, какъ между Сѣверомъ и Югомъ въ Соединенныхъ Штатахъ, то во всякомъ случаѣ не менѣе азартна. Лились потоки, если не крови, то краснорѣчія, отливались пули, пускались плоты, ломались цѣльныя линіи проектируемыхъ путей, глотали шпаги и умирали отъ самоуслажденія. Мониторъ Сѣвера сталкивался съ Меримакомъ Юга. Война эта походила на американскую не по одной только внѣшности, — конечной цѣлью ея была та-же эмансипація; чернаго негра изображала здѣсь Сибирь; ее предполагалось эмансипировать. Сколько было потрачено усилий, сколько было выказано великодушія!

Большинство доводовъ, приводимыхъ сѣверянами и южанами, извѣстны болѣе или менѣе читателямъ нашихъ газетъ. Излагать исторію этихъ состязаній во всѣхъ подробностяхъ мы избѣгаемъ, не потому, чтобы не имѣли достаточно матеріала, но потому, что въ продолженіи семи лѣтъ все это, часто повторяемое, успѣло и безъ насъ надобѣсть читателю. Намъ любопытно только характеръ, приемы и результаты этой борьбы.

Прежде всего мы встрѣчаемъ представителей двухъ соперничающихъ мануфактурныхъ районовъ. Москва тянула къ себѣ, Кострома — къ себѣ. Каждое изъ направлений нашло союзниковъ въ различныхъ городахъ, лежащихъ по пути. Соперничающіе мануфактуристы старались прикрыться экономическими интересами той или другой области — одни выставяли значеніе сибирской желѣзной

дороги для забытаго сѣвернаго края, другіе—для мануфактурной области, гдѣ сосредоточивается русская промышленность. Повидимому, какъ доводы сѣверянъ, такъ и южанъ имѣли свое основаніе. Каждая изъ провинцій, говорившая въ свою защиту, точно также имѣла свои основанія. Костромичамъ нужно возить свои товары, но и у нижегородцевъ тоже руки не пусты. Пермiane, вятчи и казанцы также представляли вѣскіе доводы. Всѣ, повидимому, были правы. Когда выступалъ г. Синцовъ за сѣверное направленіе и горячо защищалъ интересы Вятки, которая будетъ возить въ Сибирь полушубки, мы охотно соглашались съ нимъ; когда костромичи доказывали необходимость снабжать своими произведеніями Сибирь и требовали поощренія костромской мануфактуры, мы находили и это естественнымъ, точно также какъ и доводы пермяковъ, требовавшихъ поощренія горной промышленности въ пермской губерніи. И Пермь, желающая возить пельмени, и Вятка—полушубки, и Вологда—веревки, какъ архангельская губернія свою тухлую треску,—конечно, имѣли основаніе. Мы даже не прочь были видѣть въ этомъ нѣкоторыя удобства, на условіяхъ, если все это будетъ подвозиться къ Петербургу, напримѣръ, пельмени, которые можно будетъ подвозить изъ Перми горячими, въ соку. Въ виду такихъ выгодъ петербуржцы охотно поддерживали сѣверное направленіе и говорили: справедливы костромичи, вятчи и пермяки.

Но слово за южанами. Прежде всего они выставляютъ нижегородскую ярмарку, ея всероссійское значеніе, путь по Волгѣ, интересы Москвы, доказываютъ, какъ необходимъ для поощренія московскихъ фабрикъ путь на Востокъ и т. д. Странное дѣло! Петербуржцы, въ виду пріятной перспективы горячихъ пельменей поддерживавшіе сѣверное направленіе, соглашались теперь съ доводами южанъ. А Казань съ ея значеніемъ? говорятъ они для большаго убѣжденія. Справедливо, ей-богу, справедливо! соглашались петербуржцы. Такимъ образомъ, петербуржецъ убѣждается и въ пользу южнаго направленія. Но видя основательность доводовъ и за то, и за другое направленіе, слушатель и читатель приходятъ тѣмъ въ большее недоумѣніе, которому-же изъ направлений отдать предпочтеніе?

— Позвольте, господа, говорить кто-то. — Станемъ на патріо-

тическую точку зрѣнія. Южное направленіе поддержитъ главные наши промышленные округа—Казань, Нижній и Москву.

Но не успѣлъ еще промолвить этихъ словъ защитникъ южнаго направленія, какъ сѣверяне также стали на патріотическую точку зрѣнія. Они также призываютъ къ патріотизму Россіи и просятъ поддержать сѣверъ, придать ему значеніе, заселить его, украсить фабриками и т. д. Казанцы, костромичи, лаишевцы и иваново-вознесенцы одинаково ратуютъ за выгодное для нихъ направленіе во имя патріотизма.

Прочтите, напр., слѣдующій отрывокъ:

„Сооруженіе сибирской желѣзной дороги есть, безъ сомнѣнія, вопросъ государственной важности, — вопросъ, разрѣшенія котораго съ нетерпѣніемъ ожидаетъ вся Россія. Мы видимъ сѣтъ рельсовыхъ путей, покрывающихъ уже европейскій материкъ нашего отечества, за исключеніемъ однихъ лишь сѣверныхъ губерній, а между тѣмъ Сибирь съ средне-азиатскими владѣніями, — Сибирь, которая по справедливости называется золотымъ дномъ Россіи и которая своимъ необъятнымъ пространствомъ превосходитъ не только европейскую Россію, но и всю западную Европу въ нѣсколько разъ, — остается почти безъ почва, пребывая въ застоѣ и неподвижности. Съ одной стороны, неисчислимыя природныя богатства края, громадныя избытки сырья и всякаго рода необработанныхъ матеріаловъ, а съ другой — обиліе мануфактурныхъ издѣлій, производительности почвы, труда и искусства, настоятельно требуютъ сбыта, обмѣна и выхода съ такою-же скоростью и удобствами, какія только и возможны при существованіи желѣзныхъ дорогъ“.

Какъ вы думаете, кто говоритъ это? Уполномоченный отъ города Иваново-Вознесенска, Тимофей Борисовъ.

Видя, что всѣ русскіе города не уступаютъ другъ другу въ патріотизмъ, противники предлагаютъ новое разрѣшеніе вопроса.

— Позвольте; станемъ, господа, на историческую точку зрѣнія. Путь отъ Казани по Волгѣ до Нижняго есть искони историческій путь русской торговли съ Востокомъ, восклицаетъ южанинъ.

— Станемъ, господа, на историческую точку зрѣнія, вторитъ неожиданно сѣверянинъ. — Прежде, чѣмъ существовалъ торговый путь съ Сибирью по Волгѣ съ Нижняго на Казань, исторія показываетъ, что торговля съ Сибирью велась черезъ сѣверъ, на Чердынъ и далѣе...

— Раскроемъ исторію Новгорода, Рюрикъ, Іоаннъ Грозный, Алексѣй Михайловичъ, отчеканиваетъ историкъ-сѣверянинъ и приводитъ всёхъ въ умиленіе.

Въ это время оказывается, что Лаишевъ, Шуя и Иваново-Вознесенскъ давнымъ-давно уже стоятъ на историческихъ подмосткахъ.

— Обратимся, господа, къ экономической точкѣ зрѣнія, восклидаютъ южане, желая поразить соперниковъ новой диверсіей. — Кто не знаетъ того важнаго экономического значенія, какое должна имѣть сибирская дорога въ дѣлѣ экономического обмѣна Россіи съ Востокомъ? Южное направленіе должно служить именно этому обмѣну.

Но какъ только южане произнесли эти слова, сѣверяне повторили:

— Мм. гг.! Кто не знаетъ того важнаго экономического значенія, какое будетъ имѣть въ дѣлѣ экономического обмѣна сибирская желѣзная дорога? Ясно, что удовлетворить этому должно сѣверное направленіе.

— Экономическая наука и ея законы, наука прежде всего, вторять разомъ за этимъ сторонники сѣверянъ и южанъ. — Наука! замирая, произносятъ лаишевскіе купцы и иваново-вознесенскіе фабриканты. Оказалось, что все промышленное сословіе Россіи одинаково благоговѣетъ передъ наукой.

— Обратимся, господа, къ цифрамъ, — цифры никогда не обманываютъ, — рассчитаемъ, которое изъ этихъ направленій короче, торжественно провозглашаютъ южане, становясь на самую реальную почву.

— Обратимся къ цифрамъ, которыя никогда не обманываютъ, дружно вопіютъ сѣверяне. ■

И затѣмъ разомъ посыпались цифры, расчеты, застучали кости счетовъ и представлены были цѣлыя массы итоговъ. Долго противники выгружали цифры и изумляли публику выкладками. При помощи простыхъ и всѣмъ знакомыхъ правилъ арифметики получились, однакожь, совершенно неожиданные выводы. Сѣверяне доказали, что дорога южанъ длиннѣе ровно на 300 верстъ, а ихъ дорога прянѣе и короче; южане-же высчитали, что сѣверная настолько-же верстъ длиннѣе своей противницы. Получилось нѣчто невообразимое. Это былъ случай безпримѣрный въ гѣтописяхъ математики. Таблица умноженія отказывалась служить, пропорціи ни

къ чему не приводили. Ни геометрія, ни механика, ни физика не помогали дѣлу. Ломанья линіи превращались въ прямыя, прямыя — въ ломанья. Законъ инерціи и тяготѣнія далъ обратные выводы, а масштабъ и астролябія въ опытныхъ рукахъ выдѣлывали чудеса, какъ и землѣрская цѣпь, которая то удлиннялась, то укорачивалась, смотря по тому, брали-ли ее южане или сѣверяне. Это было началомъ тѣхъ необъяснимыхъ явленій, которыя, вслѣдъ за вопросомъ о сибирской желѣзной дорогѣ, заставили многихъ петербуржцевъ увѣровать въ спиритизмъ.

Когда наука и цифры были истощены, когда въ печати было все сказано, что только можно было сказать въ мольбу какъ нижегородской ярмарки, такъ и вятскихъ полшубковъ, перскаго желѣза и т. п.; когда „Голосъ“ и другія газеты истощили свою бумагу на приложенія, печатаемыя въ видѣ рекламъ сторонниковъ того или другого направленія, что, конечно, дало хорошій доходъ издателямъ газетъ; когда уже достаточно было набрано адресовъ, телеграмъ и другихъ вещественныхъ свидѣтельствъ съ той и другой стороны, приблизилась развязка. Наступила рѣшительная минута. Съ арены печати вопросъ былъ перенесенъ на почву словесныхъ преній, можетъ быть, потому, что типографщики составили неожиданно стачку и отказались печатать рекламы враждующихъ сторонъ. Тогда мѣстомъ окончательныхъ дебатовъ было избрано общество содѣйствія промышленности и торговлѣ.

Здѣсь и завершилась развязка драмы.

Что касается „общества содѣйствія промышленности и торговлѣ“, то это учрежденіе очень почтенное, хотя въ Петербургѣ оно и получило отъ нѣкоторыхъ шутниковъ названіе общества бездѣйствія.

Съ своей стороны мы желали-бы отнестись къ преніямъ общества содѣйствія промышленности съ величайшей серьезностью и вниманіемъ, какъ къ выраженію торговыхъ и промышленныхъ интересовъ Россіи. Мы тщательно слѣдили за ходомъ вопроса въ обществѣ и выслушивали доводы какъ сѣверянъ, такъ и южанъ, но, къ сожалѣнію, не могли вполне уразумѣть, о чемъ шумятъ и чего добиваются витіи той и другой стороны. Конечно, и само

общество содѣйствія ничего не рѣшило, ни на чемъ не остановилось. О неожиданномъ результатѣ преній въ этомъ обществѣ мы еще успѣемъ упомянуть, теперь-же скажемъ о впечатлѣннн, которое мы вынесли изъ послѣднихъ публичныхъ преній въ обществѣ содѣйствія. Въ этомъ обществѣ, какъ извѣстно, точно также сосредоточились сторонники обеихъ направленийъ дороги, сѣвернаго и южнаго, т. е. мануфактуристы костромскіе и московско-нижегородскіе съ компаніями и союзниками. Ни о какихъ другихъ интересахъ здѣсь не упоминалось. Сѣверяне и южане и здѣсь выказали всю свою энергію, рѣшаясь побѣдить противника, во что-бы то ни стало. На-сколько удалось это той или другой сторонѣ, мы не беремся судить; впрочемъ, побѣдили тѣ и другіе; понесли поражение и южане, и сѣверяне. Присутствуя на всѣхъ засѣданіяхъ общества, мы выслушивали терпѣливо всѣ фразообильныя рѣчи, всѣ перлы краснорѣчія, коими блистали возраженія нѣкоторыхъ пылкихъ ораторовъ.

Мы съ величайшимъ сочувствіемъ выслушивали горячія убѣжденія ретиваго южанина И. А. Носкова въ необходимости сибирской желѣзной дороги, что подкрѣплялъ онъ разсказомъ о неудобствахъ, выпадавшихъ на его долю во время поѣздокъ его въ Сибирь; его велерѣчивыя разсужденія о томъ, что если есть общество содѣйствія, то оно должно содѣйствовать... чему содѣйствовать?— промышленности и торговлѣ. Стало бытъ, оно должно содѣйствовать, и т. д.

Съ неменьшимъ удовольствіемъ мы выслушивали и другого оратора, г. Синцова, хотя онъ стоялъ за сѣверное направленіе; мы достаточно убѣждались, когда онъ пронималъ насъ гвоздями, солью, желѣзомъ и прочимъ товаромъ, который не пойдетъ по южному направленію.

Далѣе мы терпѣливо выслушивали А. А. Шаврова, пространнаго и многорѣчиваго оратора; насъ даже почти не утомляли его длинныя рѣчи. Видно было, что А. А. Шавровъ насидѣлъ этотъ вопросъ.

За то мы много смѣялись веселымъ шуткамъ Б. А. Скальковскаго, его острогамъ, каламбурамъ и той легкости, съ которой онъ, такъ-сказать, свользилъ по вопросу. Мы, признаться, не разобрали: за какую сторону былъ г. Скальковскій? Говорятъ, онъ былъ сначала за югъ, потомъ за сѣверъ; однакожь, противъ его сѣвер-

ныхъ симпатій свидѣтельствуеъ его рѣчь, въ которой онъ насигѣливо отнесся къ г. Гетте, употреблявшему усилія привести числовыя данныя въ пользу сѣверянъ. Мы отъ души смѣялись, слыша, какъ г. Скальбовскій переворачивалъ всё пренія на свой ладъ. Какъ только онъ замѣчалъ, что публика начинала скучать отъ рѣчей его товарищей, онъ принимался канканировать. Этотъ молодой человекъ — истинный представитель современныхъ ораторскихъ способностей. Это дѣвица Альфонсина общества содѣйствія промышленности и рѣчи его есть ничто иное, какъ куплеты г. Монахова, переложенныя въ промышленную форму.

Конечно, мы не можемъ не отдать справедливости и другимъ ораторамъ сѣвера и юга, наприимѣръ, г. Богдановичу; его рѣчь воодушевила его лагерь; пылъ ея можетъ сравниться только съ жаромъ локобиля, пробѣгающаго 40 верстъ въ часъ по проектируемой имъ дорогѣ.

Не можемъ также не упомянуть о той задумчивости и искренности, съ которою выступили иваново-вознесенскіе депутаты, безискусственная рѣчь которыхъ произвела сильное впечатлѣніе.

— Мм. гг., говорили шуйскіе и ивановскіе депутаты, — не забудьте городъ Иваново-Вознесенскъ и Шую. Ежели теперича дорога пройдетъ мимо Иваново-Вознесенска, то что-же это такое будетъ! Ситцы, ивановскіе ситцы, можно сказать, нынѣ превосходятъ заграничныя, да-съ. Мм. гг.! поддержите комерцію. Можно сказать, ивановскіе ситцы... и т. д.

Изъ ихъ рѣчей мы заключили, что ораторское древо краснорѣчія пустило глубокіе корни въ промышленномъ сословіи, и если дать ему ходъ... „Коли насъ Миколай Ивановичъ превзойдетъ, то и мы съ нимъ всю Русю превзойдемъ“, какъ выражался одинъ самородный ораторъ. Подъ именемъ Миколая Ивановича должно было разумѣть, вѣроятно, г. Полякова.

Въ обществѣ содѣйствія мы еще разъ выслушали всё повторенія аргументовъ южанъ и сѣверянъ и окончательно убѣдились, что одни говорятъ въ пользу сѣвера, а другіе — въ пользу юга, т. е. одни сибирскую желѣзную дорогу предназначали для нижегородской ярмарки и московской мануфактуры, а другіе — для оживленія сѣвера — Вятки и Костромы.

Но странное дѣло! чѣмъ болѣе приводилось цифръ, чѣмъ болѣе горячились противники и употребляли усилій показать преимуще-

ство своихъ линій, чѣмъ долѣе они увѣряли и заклинали, тѣмъ болѣе результатъ являлся обратный, т. е. тѣмъ менѣе слушатели довѣряли ихъ аргументаціи, все менѣе убѣждались мы въ искренности ораторовъ, а затѣмъ начали сомнѣваться даже и въ пользѣ самой желѣзной дороги. Нѣкоторыя недоразумѣнія возникли у насъ уже тогда, когда мы узнали, что главные защитники и ораторы въ обществѣ содѣйствія—люди всего менѣе промышленнаго сословія; это люди безъ капиталовъ, сотрудники какихъ-то существующихъ и упраздненныхъ газетъ, отставные инженеры безъ дѣла, заштатные чиновники, прожекторы и т. п.,—словомъ, люди, которые ничего не могутъ дать, кромѣ жара собственного сердца. И какъ ни драгоценна была ихъ безкорыстная дѣятельность, невольно рождался вопросъ: „изъ-за чего эти люди хлопочуть? Что имъ до сибирской желѣзной дороги?“ И чѣмъ болѣе они выбивались изъ силъ, тѣмъ вопросъ дѣлался настоятельнѣе. Извѣстно, что когда человѣкъ чересчуръ пиляетъ объ общественныхъ пользахъ и какомъ-нибудь предпріятіи, до котораго ему нѣтъ дѣла, самъ собой является вопросъ: не хочетъ-ли онъ занять денегъ? Понятно, что вслѣдъ за первыми сомнѣніями въ искренности друзей сибирской дороги явились и другія сомнѣнія.

Принесетъ-ли дѣйствительную пользу Сибири желѣзная дорога, о которой такъ горячо спорять сторонники и того, и другого направления? На-сколько вообще желѣзныя дороги способствуютъ поднятію уровня народнаго благосостоянія? Гдѣ граница пользы отъ желѣзныхъ дорогъ? Всегда-ли желѣзныя дороги приносятъ одну пользу и нѣтъ-ли случаевъ, когда получаются результаты обратные?

Такіе вопросы естественно вызвали главный, основной вопросъ: „какая главная цѣль сооруженія сибирской желѣзной дороги и правильно-ли смотрять на нее ораторы, „ломающіе за нее свои копыта?“

На такой скептической вопросъ навела насъ еще болѣе встрѣча и разговоръ съ однимъ изъ знакомыхъ, когда однажды я столкнулся съ нимъ на улицѣ, выходя изъ засѣданія въ обществѣ содѣйствія.

— Откуда вы? спросилъ онъ меня.

— Изъ общества содѣйствія. Тамъ ужасно жарко! Два председателя сегодня переимѣнилось, не выдержали.

— Что-же вы тамъ дѣлаете?

— Вотъ пятое засѣданіе идутъ толки о необходимости сибирской желѣзной дороги...

— Охота вамъ слушать празднословіе...

— Но, позвольте, неужели вы не сочувствуете сибирской желѣзной дорогѣ? Неужели вы будете отрицать пользу желѣзныхъ дорогъ вообще? воскликнулъ я, уже обиженный.

— То-есть, видите-ли, я сочувствую всему полезному, но вы знаете, что многія изъ прекрасныхъ изобрѣтеній, какъ сталь, порохъ, кредитъ, въ своемъ примѣненіи иногда приводятъ къ незавиднымъ результатамъ. Слѣдовательно, все зависитъ отъ того, какъ пользуются даннымъ изобрѣтеніемъ.

— Но польза сибирской желѣзной дороги не можетъ подлежать никакимъ сомнѣніямъ.

— Позвольте замѣтить, что она прежде всего не сибирская...

— Какъ такъ? воскликнулъ я. — Развѣ она не соединитъ отдаленный Востокъ съ Россіей? развѣ она не будетъ способствовать торговлѣ, прогресу, цивилизаціи?

— Оставьте фразы, замѣтилъ мой пріятель. — Посмотрите лучше, кто о ней хлопочетъ. Посмотрите, кто ваши южане и сѣверяне — костромичи, вятичи, пермяки, нижегородцы, москвичи, ивановцы? Изъ-за чего они хлопочутъ? Развѣ изъ-за выгодъ Сибири и европейской Россіи? Развѣ они ставятъ на первомъ планѣ требованія цивилизаціи? В ъмнѣнтіе изъ ихъ рѣчей громкія фразы — что обнаружится? Самый простой, личный, эгоистичный интересъ. Костромскіе мануфактуристы и торговцы хотятъ обезпечить себѣ сбытъ своихъ собственныхъ произведеній; Нижній-Новгородъ и Москва хотятъ монополизировать дорогу въ свою личную пользу. Одни кричатъ, что сибирская желѣзная дорога должна быть проведена черезъ Вятку и Сумскій посадъ архангельской губ., чтобы поднять Сѣверъ, другіе хотятъ облагодѣтельствовать Поволжье. Объ интересахъ-же Востока и даже объ обще-русскихъ интересахъ я до сихъ поръ не слыхалъ; къ тому-же на вашихъ засѣданіяхъ не участвуетъ ни одного депутата изъ самой Сибири, для которой, по словамъ ораторовъ, будто-бы проводится дорога. Дѣло, такимъ образомъ, идетъ о костромскихъ ситцахъ или объ ивановскихъ, вотъ о чемъ, а для иныхъ городовъ, побѣдѣе, какъ Вятка, Глазовъ и т. д., о томъ, какъ подняться на счетъ проѣзжающихъ.

„Сколько за самовары одни“, мелькнуло въ моемъ умѣ.

— Посмотрите далѣе, какія цѣли выставляются ораторами и публицистами, ревнителями постройки сибирской дороги. „Эксплуатация Востока и вывозъ богатствъ изъ Сибири, точно также, какъ сбытъ на сибирскіе и азіятскіе рынки собственныхъ мануфактур“, читаю я въ передовыхъ статьяхъ приверженцевъ обоихъ направленій, — вотъ изъ-за чего ратуютъ поборники проведенія сибирской желѣзной дороги.

— Но помилюте! Развѣ не то-же самое можно сказать и о всѣхъ другихъ желѣзныхъ дорогахъ въ Россіи? возразилъ я.

— Несовсѣмъ то-же. Условія въ глухой Сибири нѣсколько иныя; здѣсь темные, невѣжественные инородцы и крестьяне отдають за грошь хлѣбъ, скоть, кожи, сало. Сюда являються греки, армяне закупать по выгодной цѣнѣ коровье масло, сало, пухъ для сбыта за-границу. Сюда-же вдууть барышники вязниковцы, ковровцы сбывать инородцу и русскому мужику гнилые ситцы, разный бракъ и т. п. Измѣнится ли такое положеніе при открытіи желѣзной дороги? Едва-ли. На облагоустроенномъ языкѣ нашего общества содѣйствія, конечно, такая мѣна назовется созданиемъ рынковъ въ Азіи для сбыта мануфактуры. Только въ этомъ и будетъ заключаться пережѣна.

— Но нѣтъ, позвольте, вы слишкомъ мрачно смотрите! вскричалъ я. — Неужели-же желѣзной дорогой нельзя пользоваться съ другими цѣлями, для выгодъ цѣлаго населенія! Извѣстно, что Востокъ и обширныя пространства Сибири требуютъ колонизаціи, развитія экономическихъ силъ, развитія мѣстной промышленности, снабженія средствами цивилизаціи...

— Все это такъ, но, во-первыхъ, мы объ этомъ мало слышимъ, а во-вторыхъ, съумѣеть-ли воспользоваться желѣзною дорогою въ этомъ направленіи невѣжественное населеніе на Востокъ?

Мнѣ казалось, что мой пріятель преувеличиваетъ и слишкомъ рѣзко относится къ защитникамъ сибирской желѣзной дороги. Однакожь, его слова заставили меня задуматься и я съ нетерпѣніемъ сталъ прислушиваться къ окончательнымъ преніямъ, ожидая разясненій потревожившимъ меня вопросамъ и недоразумѣніямъ.

Наконецъ передъ концомъ борьбы съверянъ и възанъ и принятиемъ окончательнаго рѣшенія въ обществѣ содѣйствія промышленности я услышалъ нѣчто похожее на дѣло.

2-го апрѣля для окончательнаго разъясненія недоразумѣній вышелъ А. А. Шавровъ. Рѣчь его отличалась серьезностью, степенью и солидностью. Г. Шавровъ всталъ на настоящую точку зрѣнія.

— Мн. гг., при обсужденіи сибирской желѣзной дороги важень экономическій базисъ. Поднимемтесь, господа, на высшую государственную и экономическую точку зрѣнія, оставимъ партіальность, споры южанъ и сѣверянъ о направленіяхъ и, не уклоняясь въ детали, обратимъ вниманіе на главныя цѣли дороги и усвоимъ прежде всего тотъ экономическій принципъ, которому она должна подчиниться. Въ экономическихъ воззрѣніяхъ мы до сихъ поръ держались принциповъ крѣпостного права, по которому Россія считалась страной земледѣльскойю. Сообразно этому Россія обрекала себя только на производство сырья и вывозъ его за-границу, мануфактурой-же насъ должна была снабжать Европа. Сообразно съ этимъ желѣзныя дороги направлялись исключительно къ западу. Кто не знаетъ, господа, что такое положеніе давало только одніе невыгоды? Кто не знаетъ, что страны земледѣльскія, страны сырыя всегда эксплуатируются странами мануфактуръ, что положеніе ихъ крайне невыгодное и рабское? Въ выигрышѣ были въ этомъ случаѣ только иностранцы, которые, распространяя теорію о раздѣленіи международнаго труда, подрывали только наше благосостояніе. Нужно-ли указывать на примѣръ Англій, эксплуатирующей Америку и Африку, эксплуатирующей всѣ свои владѣнія?

Указавъ всю несправедливость такой торговой политики, г. Шавровъ разомъ перешелъ къ Россіи. „Россіи, заключилъ онъ, — настаетъ время избавиться отъ этихъ невыгодъ и стать также государствомъ заводскимъ и фабричнымъ, сбывая свои промышленныя произведенія на Востокъ. Кто не знаетъ, какими богатствами золота и мѣховъ, скота и земледѣльческихъ продуктовъ, обладаетъ наше Зауралье? Неужели мы всѣмъ этимъ не воспользуемся“... „Вывозъ изъ Сибири сырья, снабженіе ея московско-нижегородскими и костромскими мануфактурами, также какъ усиленная эксплуатация богатствъ Сибири, — такова должна быть главная цѣль и высшая точка зрѣнія на значеніе желѣзной дороги“, закончилъ ораторъ.

Рѣчь эта мнѣ понравилась. Такъ она была проста, откровенна, главное-же — она была изложена съ высшей точки зрѣнія,

при отсутствіи всякой партіальности. Вопросъ для меня почти выяснился. Въ эту минуту я невольно вспомнилъ моего пріятеля скептика. Къ моему изумленію, въ словахъ г. Шаврова я нашелъ тѣ доводы, какіе пріятель мой излагалъ въ видѣ обличенія. Правда, г. Шавровъ изложилъ ихъ систематичнѣе, они были приведены въ защиту его воззрѣній на новое предпріятіе. Признаюсь, я былъ озадаченъ. Какъ это случилось, что г. Шавровъ, обличая мануфактуристскія вождедѣнія Англій, находить, что они вполне законны, если ихъ проявляетъ Кострома? Какъ вязалась одна половина рѣчи оратора съ другой? Какъ теорія, непригодная въ одномъ случаѣ, являлась пригодною въ другомъ? Какое критерій справедливости, которымъ руководствовался нашъ туземный экономистъ? Какимъ образомъ наши костромскіе и нижегородскіе мануфактуристы, обличая свободу торговли и будучи яркими протекціонистами, являются въ другихъ случаяхъ поборниками свободы торговли? Словомъ, мнѣ представилась цѣлая масса экономическихъ противорѣчій.

Однако закончимъ лѣтопись борьбы. Г. Шавровъ въ своей рѣчи, очевидно, билъ на поражение южанъ съ высшей точки зрѣнія. Но какова-же была неожиданность, когда вслѣдъ за его рѣчью искусный ораторъ сѣвера, г. Скальковскій, обладающій способностью выбивать самого серьезнаго оратора изъ принятой имъ позиціи, весьма шутливо и весело объявилъ, что цѣль сѣверянъ несколько не менѣе возвышенна и что они также имѣютъ въ виду сбытъ смывныхъ ситцевъ.

Послѣ всѣхъ этихъ ясныхъ и откровенныхъ заявленій я, признаться, пришелъ-было въ нѣкоторое смущеніе и съ грустью сталъ думать о серьезныхъ послѣдствіяхъ отъ такого односторонняго разрѣшенія вопроса.

Къ счастью, я, какъ и мой пріятель-скептикъ, не подозрѣвали, что ничего серьезнаго не можетъ выйти изъ этихъ прешій, которыя ведутся учащимися краснорѣчію россиянами, людьми мирными, собирающимися для пріятнаго проложенія времени.

Къ такому объясненію привело меня веселое окончаніе борьбы сѣверянъ съ южанами въ обществѣ содѣйствія. Результатъ вышелъ довольно неожиданный; даже серьезный биржевикъ, пишущій передовыя статьи въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“, не могъ не назвать этотъ финалъ „комическимъ происшествіемъ“.

Дѣло въ томъ, что комитетъ общества содѣйствія промышленности настаивалъ постоянно на южномъ направленіи; агитація южанъ длилась нѣсколько лѣтъ, они запасались адресами изъ Италіи и Франціи, изъ Якутска и Нахичевани, Туркестана и Албазина, разореннаго китайцами въ 1600-хъ годахъ; они сосредоточили всѣ силы и ежечасно побивали сѣверянъ въ своихъ ночныхъ бдѣніяхъ; они овладѣли симпатіями публики, — и вдругъ при балотировкѣ въ знаменательный день 4 апрѣля 1875 г., когда была произнесена знаменитая рѣчь г. Шаврова, общество выбалотировало неожиданно сѣверное направленіе большинствомъ 4 голосовъ. Представьте себѣ вдобавокъ, что общество и комитетъ, награвавшіеся подать адресъ и ходатайство за югъ, должны были подать волю-неволю за сѣверъ. Ярне южане, чтобы стать въ оппозицію среднимъ сѣверянамъ, стали за самый крайній сѣверъ, чрезъ паралель Шпицбергена и Новой Земли.

Готовившееся эксплуатировать обширныя страны общество не справилось съ собственными членами. Когда разыгралась, вмѣсто обширныхъ замысловъ, такая занимательная пантомима братьевъ Ганлонъ-Ли, забавляющихъ теперь публику въ саду Егарева, у насъ ужъ не достало духу пускаться въ спорныя политико-экономическія теоріи.

Мы не рѣшились произнести нравоученія г. Шаврову, что когда хотятъ выиграть — не показываютъ свои карты.

Но мы предоставляемъ веселому оратору общества содѣйствія, г. Скальковскому, процѣтъ по этому поводу изъ „La fille de Madame Angot“:

Quand on conspire
Il faut avoir
Perrique blanche
Et collet noir.

Н. Я.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Бредиѣ и его фокусы. — Сколько они приносятъ ему доходу. — Американскіе спириты. — Миссъ Фоксъ, миссъ Николь, Девенпортъ, Юмъ. — Спиритизмъ въ Петербургѣ. — Что думаютъ о спиритахъ Тиндаль, Фарадѣ, Гексли, Бабинъ. — Русское легковѣріе.

Будемте говорить о чудесахъ. Другихъ общественныхъ явленій я не знаю, да нынѣшней весной ихъ у насъ и не было. Даже весна нынче вовсе не общественная, а какая-то очень сѣренькая. Явились было толки о войнѣ Франціи съ Германіей, но, кажется, все кончится миромъ. Сѣренькое, скучное однообразіе нынѣшняго года Гальтонъ приписываетъ упадку человѣческой породы. Весьма можетъ быть! По крайней мѣрѣ, только упадеомъ породы можно объяснить то, что профессоръ Бутлеровъ, Вагнеръ и еще кто-то, многіе ученые редакторы, множество другихъ очень старыхъ и почетныхъ людей увѣровали въ спиритизмъ. Скептики, конечно, ничему не вѣрятъ, смѣются надъ спиритами и, обозвавъ ихъ сумасшедшими, думаютъ, что рѣшили дѣло. Но ни для васъ, ни для меня такое объясненіе не можетъ быть достаточнымъ и я больше склоняюсь на сторону Гальтона. Чтобы поставить васъ, читатель, сразу на вѣрную точку зрѣнія, я сообщу вамъ слѣдующій фактъ. Французъ Бредиѣ производитъ теперь въ Петербургѣ спиритическіе феномены — именно феномены, а не явленія, не опыты, не фокусы. Въ Парижѣ Бредиѣ торговалъ фарфоровой посудой; какъ шла его торговля — мнѣ неизвѣстно, но въ одинъ прекрасный день Бредиѣ почувствовалъ наитіе спиритическаго вдохновенія, произвелъ нѣсколько удачныхъ *феноменовъ* и... угадайте! Взглянувъ проницательнымъ окомъ на дальній сѣверъ, Бредиѣ сказалъ: „туда“! Пріѣхалъ „туда“ —

„Дѣло“, № 5.

И счастье на него рѣкой
Съ богатствомъ полилось.

Сдѣлаемте приблизительный расчетъ. Бредифъ въ Петербургѣ два мѣсяца, все время у него разобрано на цѣлыя двѣ недѣли впередъ. Каждый день онъ даетъ два сеанса, за каждый сеансъ получаетъ минимумъ 30 руб., а максимумъ — что дадутъ. Сдѣлаемте рѣшеніе задачи: $(30 \times 2) \times (30 \times 2) = 3,600 \times 4 = 14,400$ франковъ. Итакъ, Бредифъ въ два мѣсяца увезетъ изъ Россіи 14,400 фр. минимумъ; но вѣдь можетъ быть и 20,000! Нужно имѣть въ груди очень мужественное сердце, чтобы 20,000 промѣнять на ничтожный доходъ отъ посудной лавки. Бредифъ, какъ честный человѣкъ, нисколько и не скрываетъ, что спиритизмъ для него промыселъ и ремесло. Но чѣмъ-же объяснить, что почтенные ученые натуралисты, какъ Вагнеръ и Бутлеровъ, и скептики, какъ радикальные редакторы, увѣровали въ спиритизмъ? О, Гальтонъ. Гальтонъ, какъ ты правъ!

Забудьте спиритизмъ, забудьте даже это слово, и вообразите, что я вамъ рассказываю о фокусахъ Романа, Боско, Эпштейна. Романъ, какъ вы знаете, дѣлаетъ множество самыхъ необъяснимыхъ фокусовъ. но такъ-какъ онъ называетъ ихъ по-просту фокусами, то въ нихъ никто и не видитъ спиритизма. Романъ, напримѣръ, беретъ очень тяжелую палку, показываетъ ее зрителямъ, публика удостовѣряется, что палка дѣйствительно тяжела, затѣмъ Романъ прикасается къ палкѣ пальцемъ и палка виситъ, онъ отдѣляетъ палецъ отъ палки, палка отстаетъ на четыре вершка и опять виситъ, точно ее держитъ какая-то невидимая сила. Это, конечно, фокусъ, но вотъ вамъ явленіе спиритизма. Въ 1848 году явилась въ Америкѣ маленькая дѣвочка Кетъ Фоксъ, слышавшая звуки и стуки и вскорѣ составившая себѣ репутацію замѣчательнаго медиума. Газеты рассказывали о ней чудеса. Напримѣръ сигналъ указалъ, что въ подвалѣ одного дома лежитъ убитый человѣкъ; сигналъ указалъ точно мѣсто, гдѣ лежитъ убитый, и тамъ дѣйствительно нашли трупъ. Стучащій столъ объявилъ, что сигналы подаетъ самъ покойникъ. Какъ все это ни казалось невѣроятнымъ, но люди повѣрили.

Дѣвицу Фоксъ и ея родныхъ обвинили въ обманѣ. Предложили подвергнуть ихъ испытанію, составили три комисіи, и нужно

отдать честь маленькой Фоксъ, что она превзошла Романа. Между прочимъ, для изслѣдованія спиритическихъ явленій образовался въ Нью-Йоркѣ кружокъ изъ двѣнадцати друзей, которые обязались собраться двадцать разъ. Результатъ первыхъ восемнадцати вечеровъ былъ такъ ничтоженъ, что друзья пожалѣли о потерянномъ времени, но за то въ послѣдніе два сеанса совершились чудеса, и всѣ двѣнадцать друзей сдѣлались спиритами. Что увидѣли эти двѣнадцать друзей — неизвѣстно, но если вѣрить всему, что пишутъ о спиритизмѣ американскія газеты, то остается изумляться, что еще не всѣ американцы превратились въ спиритовъ. Американская газета, проповѣдующая спиритизмъ, рассказываетъ, что одинъ медиумъ былъ поднятъ на воздухъ въ комнатѣ, наполненной народомъ, при дневномъ свѣтѣ. Она рассказываетъ, какъ одинъ ученый скептикъ приготовилъ маленькій снарядъ, которымъ внезапно можно было сдѣлать самое ослѣпительное освѣщеніе, и взять его на сеансъ. Сеансъ, какъ всегда, происходилъ впотѣмахъ и заключался въ томъ, что играли сами собою разные музыкальные инструменты. Когда забилъ огромный турецкій барабанъ, ученый скептикъ освѣтилъ комнату, и всѣ увидѣли, что палка сама била о барабанъ и никого подлѣ нея не было. Ударивъ еще нѣсколько разъ, палка осторожно сѣла на плечо къ одной дамѣ. Въ Торонто, въ Канадѣ, фортепіано играло акомпаниментъ для пѣнія въ ярко освѣщенной комнатѣ. Завернутыя въ нѣсколько конвертовъ и совершенно плотно заклеенныя и запечатанныя письма читались нѣкоторыми медиумами. Письма могли быть написаны на какомъ угодно языкѣ, и медиумы отвѣчали на нихъ на соответствующемъ языкѣ, не зная его. Одинъ господинъ изъ Ливерпуля видѣлъ, какъ поднялся карандашъ со стола и написалъ: „и неужели этотъ міръ раздора окончится прахомъ“. Докторъ Робертсонъ былъ свидѣтелемъ феномена, заключавагося въ томъ, что въ его собственномъ домѣ очень крѣпкій столъ былъ изломанъ въ куски, въ то время, какъ онъ держалъ медиума за руку. Докторъ взялъ оставшуюся ножку и, несмотря на всю свою силу, не могъ переломить ее. Другой столъ былъ поднятъ въ то время, когда вокругъ него сидѣли спириты. У дѣвицы Фоксъ столы, по желанію, становились то легче, то тяжелѣе. Вотъ на полу лежитъ кусочекъ бумажки, затѣмъ внезапно показывается темная пишущая рука, бумажка сама поднимается на столъ и на ней оказывается

предсказаніе. Нью-Йоркскому банкиру Ливермору являлась на сеансахъ фигура покойной его жены. Иногда ее сопровождала кака-то мужская фигура, признанная за фигуру какого-то доктора. Тѣнь жены Ливермора трогала многіе предметы въ комнатѣ, писала на карточкахъ посланія, являлась иногда изъ свѣтлаго облака и вдругъ пропадала; она позволяла отрѣзать куски своего платья, казавшіеся сначала чѣмъ-то плотнымъ, а потомъ превращавшіеся во что-то легкое и, наконецъ, совершенно исчезающіе. На сеансахъ появлялись цвѣты, которые потомъ тоже исчезали. Пропагандирующія газеты увѣряютъ, что опыты удавались гораздо лучше, когда Ливерморъ бывалъ одинъ съ медіумомъ. Мы этому вѣримъ.

Кромѣ миссъ Фоксъ, которая потомъ вышла замужъ за англійскаго адвоката, дѣлала замѣчательные опыты миссъ Николь. Напримѣръ, она дѣлала вотъ что: столъ стоитъ подъ стеклянной люстрой и вокругъ него помѣщаются спириты. Одинъ изъ нихъ сидитъ подлѣ миссъ Николь и держитъ ее за обѣ руки, у другого лежатъ на-готовѣ спички, чтобы въ случаѣ нужды освѣтить комнату. Происходитъ слѣдующее: сначала стулъ миссъ Николь былъ выдернутъ изъ-подъ нея, такъ-что ей пришлось встать, черезъ минуту или двѣ раздается слабый звукъ, какъ-бы звукъ стакана, поставленнаго на столъ, и въ то-же время легкое шуршанье платья и звонъ стеклышекъ, висѣвшихъ на люстрѣ. Немедленно зажигается огонь, и миссъ Николь оказывается сидящей спокойно на стулѣ посреди стола, такъ-что голова ея касается люстры.

Другой опытъ заключался въ томъ, что въ комнатѣ, гдѣ не было никакого музыкальнаго инструмента, раздались музыкальные звуки. На одномъ изъ подобныхъ сеансовъ, какъ рассказываютъ, присутствовала нѣмка. Она спѣла нѣсколько нѣмецкихъ пѣсень и ей акомпанировала очень пріятная музыка, напоминающая звуки музыкальныхъ ящиковъ. Газета прибавляетъ, что все это происходило въ темнотѣ и присутствующіе держались за руки. Но самый замѣчательный опытъ миссъ Николь и, конечно, самый ловкій—производство цвѣтовъ и фруктовъ въ закрытой комнатѣ. Спириты вмѣстѣ съ миссъ Николь сидятъ въ одной комнатѣ, а рядомъ съ нею, въ комнатѣ неосвѣщенной, является на непокрытомъ столѣ множество цвѣтовъ. Подобные опыты миссъ Николь дѣлала сотни разъ, въ различныхъ домахъ, и, по увѣренію спери-

товъ, цвѣты являлись по востребованію и нерѣдко большой грудой. Разъ явился даже огромный подсолнечникъ съ 6-футовымъ стеблемъ.

„Я видѣлъ, рассказываетъ одинъ изъ обращенныхъ, — какъ столъ изъ чернаго дерева на одной пожѣ и съ горящей на немъ лампой поднялся отъ полу на цѣлый футъ, помимо усилій присутствующихъ и качался взадъ и впередъ. Лампа осталась на мѣстѣ, хотя стекло на ней звенѣло. Я видѣлъ стулъ чернаго дерева, опрокинутый на бокъ, послѣ чего онъ поднялся и сталъ бросаться съ одного мѣста на другое, не задѣвая никого изъ сидѣвшихъ въ комнатѣ. Стулъ останавливался постоянно на нѣсколько вершковъ отъ меня, налетая съ такой силой, что могъ-бы сломать мнѣ члены“. Подобное-же пишетъ профессоръ Вагнеръ, но я привожу слова Эдмундса. „Разъ вечеромъ, рассказываетъ тотъ-же Эдмундсъ, — ко мнѣ собралось двѣнадцать или пятнадцать чловѣкъ, въ числѣ которыхъ пришелъ и мистеръ Гринъ, мѣстный артистъ, въ сопровожденіи одного господина, котораго онъ представилъ какъ мистера Евангелидса изъ Греціи. Стучащій духъ много говорилъ съ нимъ черезъ Лору, дочь Эдмундса, я, судя по тому, что говорилъ духъ, Евангелидсъ узналъ въ немъ друга, жившаго нѣкогда у нихъ въ домѣ. Конечно, объ этомъ другѣ никто изъ присутствующихъ никогда и ничего не слыхивалъ. Духъ говорилъ по-гречески, Лора — частью по-гречески, частью по-англійски. Очень часто Лора не понимала, что говорилъ духъ, а иногда понимала“.

Опыты братьевъ Девенпортъ, конечно, болѣе или менѣе всѣмъ извѣстны. Вотъ, на примѣръ, наиболѣе обыкновенная вещь, которую они дѣлали повсюду, но которая, впрочемъ, въ Петербургѣ имъ не удалась. Девенпортамъ связываютъ руки веревками, подъ ноги кладутъ листъ чистой бумаги и обводятъ подошву карандашемъ. Послѣднее дѣлается для того, что если Девенпорты вздумаютъ пошевелиться, то ужъ имъ не попасть ногами на тѣ-же самыя мѣста. Наконецъ, на носки кладутъ монеты. Принявъ всѣ эти мѣры, присутствующіе требуютъ, чтобы Девенпорты сняли сюртуки, и они, несмотря на связанные руки, ихъ снимаютъ, можетъ быть, необъяснимымъ фокусомъ, но тѣмъ не менѣе фокусомъ. Но докторъ Баркеръ, который послѣ этого случая увѣровалъ въ спиритизмъ, пишетъ, что онъ увѣрился, что всѣ физическіе феномены

дѣлаются безъ обмана и что они — проявленіе какого-то, еще неоткрытаго закона природы. То-же самое пишетъ и профессоръ Вагнеръ.

Теперь я вамъ напомию опыты Юма. Это самый извѣстный и самый ловкій изъ всѣхъ медіумовъ. У него звенитъ колокольчикъ на воздухѣ, конечно, въ полусвѣщенной комнатѣ; у него гармоника играетъ сама собою или виситъ на воздухѣ, прислоненная крышкой къ нижней сторонѣ стола; у него пишетъ невидимая рука, у него являются невѣдомыя женщины, духи давно умершихъ людей бесѣдуютъ на разныхъ языкахъ, но, увы, духъ гениальнаго Юлія Цезаря не говоритъ никогда умнѣе самого г. Юма и т. д. Самый любопытный, однако, фокусъ г. Юма съ горячимъ углемъ. Юмъ беретъ уголь изъ пылающаго камина и обходитъ всѣхъ присутствующихъ, такъ-что всѣ видятъ и удостовѣряются, что это уголь. Затѣмъ Юмъ подходитъ сзади къ кому-нибудь изъ присутствующихъ и кладетъ горячій уголь къ нему на голову. Для большаго эффекта Юмъ беретъ волоса вокругъ угля, приподнимаетъ ихъ кверху, такъ-что уголь горитъ въ нихъ, какъ въ клѣткѣ, и волоса не горятъ, и тотъ, у кого лежитъ уголь на головѣ, не чувствуетъ жару. Или Юмъ накладываетъ себѣ полные карманы горячихъ углей и они не жгутъ ему платья. Онъ вставляетъ лицо въ пылающій каминъ, такъ-что волоса его падаютъ на пламя, и не горятъ. Разъ Юмъ положилъ горячій уголь въ руки одной дамы и одного господина, и они не обожглись, потому тотъ-же самый уголь онъ положилъ на сложенную газету и уголь прожегъ восемь листовъ; затѣмъ Юмъ взялъ новый горячій уголь, положилъ его на ту-же самую газету и носилъ его минуты три по комнатѣ, показывая присутствующимъ, что бумага совершенно цѣла. Въ другой разъ Юмъ взялъ большой горячій уголь, закрывшій всю ладонь его руки. Когда Юмъ ходилъ съ нимъ по комнатѣ, отъ угля падалъ красный свѣтъ на стѣны, а когда онъ подошелъ къ столу, всѣ присутствующіе почувствовали жаръ.

Спиритизмъ, конечно, не остановился на фокусахъ съ каленымъ углемъ, и, желая быть болѣе реальнымъ, выдумалъ фотографію духовъ. Спириты разсуждали такъ: если появится несомнѣнное сходство съ какимъ-нибудь побойнымъ лицомъ, неизвѣстнымъ фотографу, снимающему духа, или фигура, появившаяся на нега-

тивѣ, имѣеть положительное отношеніе къ фигурѣ позирующаго. который самъ выбираеть себѣ мѣсто и положеніе, то это доказательство, что невидимая фигура была точно тутъ. Если фигура выйдетъ въ бѣломъ, частью за черной фигурой позирующаго и не сквозить черезъ него—это доказательство, что бѣлая фигура была въ одно время съ черной. Кромѣ того, если медіумъ, независимо отъ фотографа, видитъ и описываетъ фигуру во время сеанса и такая фигура явится на пластинѣ — доказательство, что такая фигура точно была. Эта теорія доказательствъ была придумана много раньше, чѣмъ спиритамъ удалось снимать портреты духовъ; но когда спириты этого добились, ливованію не было конца. Молва о фотографіяхъ скоро разнеслась повсюду и спириты наводнили фотографію, снимающую покойниковъ. Увидѣвъ, что всѣ довольны, если подлѣ позирующаго является еще лицо, фотографъ очень усердно снималъ извѣстнымъ ему способомъ портреты духовъ. Обманъ и подлогъ обнаружались и защитники спиритизма были очень огорчены своимъ собственнымъ легковѣріемъ. Это было въ Америкѣ. Тогда за опыты принялись англійскіе спириты.

Долгое время англичанамъ попытки не удавались, но вотъ, въ мартѣ 1872 года, г. и г-жа Генпи отправились къ фотографу, живущему подлѣ нихъ, чтобы снять карточки съ г-жи Генпи. Уже послѣ того, какъ карточки были сняты, м-ру Генпи пришла внезапная мысль попробовать снять фотографію съ духовъ. Онъ сѣлъ и просилъ жену встать за полотно, послѣ чего его и сняли. За снятымъ оказалась большая неопредѣленная фигура, похожая по очертаніямъ на заутаннаго человѣка. Это была первая спиритская фотографія, снятая въ Англии. Черезъ нѣсколько дней супруги Генпи отправились съ своимъ маленькимъ сыномъ. М-съ Генпи сѣла на полъ и поддерживала сына, посаженнаго на стулъ, а мужъ стоялъ подлѣ и смотрѣлъ на нихъ. Вышла замѣчательная картина: высокая женская фигура, задрапированная въ бѣломъ воздушномъ одѣяніи, стояла за позирующими и смотрѣла на нихъ, протянувъ надъ ними руки, какъ-бы въ знакъ благословенія. Хотя лицо фигуры было нѣсколько сухощаво, но вообще вся она была чрезвычайно хороша. Послѣ этого стали снимать второй портретъ: м-съ Генпи стала снова на колѣняхъ около мальчика, но подняла голову гораздо выше. Та-же самая бѣлая фигура вышла точно такъ-же хорошо, но положеніе ея измѣнилось, сообразно съ измѣненіемъ

положенія и съ Геппи. Какъ все это ни невѣроятно, но спириты тѣмъ не менѣе утверждаютъ, что фотографія неоспоримо доказала научный фактъ объективнаго существованія невидимыхъ человѣческихъ формъ и невидимыхъ дѣйствующихъ формъ. Вѣрующіе — вѣрують. Для нихъ-же я могъ-бы привести весьма любопытный фактъ, случившійся, къ сожалѣнію, не съ человѣкомъ, вѣрующимъ въ спиритизмъ. Нужно было снять фотографію съ умершаго ребенка. Фотографъ явился на домъ, снялъ, и получилось вотъ какое изображеніе. Я описываю карточку, которую въ настоящій моментъ держу въ рукахъ. Ребенокъ лежитъ на подушкѣ, покрытой вѣтчатнымъ одѣяломъ, самъ-же ребенокъ покрытъ бѣлымъ одѣяломъ; руки наружу, вдоль тѣла. За рукой, на второмъ планѣ, идетъ какая-то темная полоса и на ней не совсѣмъ отчетливое изображеніе, не то черепа, не то мертвой головы. При разсматриваніи въ увеличительное стекло, черепъ оказывается чѣмъ-то воздухообразнымъ и прозрачнымъ и какъ-бы не сзади руки, а точно наложенный сверху. При сниманіи карточки не было ничего такого, что-бы могло отразиться на этомъ мѣстѣ. Спрашивается: откуда явилось изображеніе? Къ сожалѣнію, моя карточка — копія и на ней не обозначено имя фотографа. Если я не могу назвать фамиліи фотографа, то во всякомъ случаѣ рекомендую нашимъ спиритамъ заняться фотографіей духовъ, — Петербургъ этимъ еще не занимался.

Теперь позвольте перечислить все то, чего до сихъ поръ достигъ спиритизмъ. Изъ опытовъ Бредифа вы узнаете только часть того, что создалъ спиритизмъ. Это только кусочекъ занавѣси, которую онъ приподнимаетъ, не обладая ловкостью братьевъ Девенпортъ, Юма и маленькой Фоксъ. Впрочемъ, Бредифъ для теоретической пропаганды вовсе и не годится. Онъ, какъ рассказываютъ, очень плотный, очень тучный и очень сильный господинъ, отличающійся аппетитомъ акулы и пустою болтливостью. Послѣ сеансовъ, которые, конечно, уносятъ его силы, онъ подкрѣпляется чаемъ, булками, апельсинами и всѣмъ тѣмъ, что приподноситъ ему русское гостепріимство, и не прораниваетъ ни одного дѣльнаго слова. Поэтому Бредифъ оставляетъ петербургскихъ спиритовъ во тьмѣ невѣденія и они, бѣдные, даже и не подозрѣваютъ, какія сверхъестественныя силы въ себѣ носятъ.

Петербургскіе спириты знаютъ до сихъ поръ только, что души

стучать, что постукиванье это бываетъ очень слабо, а иногда слышатся какъ-бы удары тяжелаго молота. Они видѣли, какъ уменьшается вѣсь столовъ, какъ столы и стулья поднимаются на воздухъ, перелетаютъ съ мѣста на мѣсто и даже уходятъ изъ запертой комнаты. Они видѣли, какъ медиумы высвобождаются отъ всякихъ связываній, хотя, правда, имъ не удостоили показать, какъ медиумъ освобождается отъ желѣзныхъ оковъ, что дѣлается только въ Америкѣ. Петербургскіе спириты знаютъ, что на кускѣ бумаги являются письма и рисунки, сдѣланные неизвѣстно кѣмъ, что иногда карандашъ поднимается самъ на воздухъ и опускается подобно той барабанной палкѣ, которая сѣла нѣжно на плечо одной дамы, и затѣмъ начинаетъ писать и рисовать. Къ сожалѣнію, и тутъ петербуржцамъ показали не все. Въ Америкѣ, напримѣръ, карандашъ, поднимающійся на воздухъ, пишетъ философскія разсужденія о природѣ и духахъ, а у Бредифа онъ не пишетъ никогда ничего кромѣ глупостей. Петербургскіе спириты слышали только играющій музыкальный ящикъ, слышали звонъ колокольчика, но имъ еще до сихъ поръ не показали игры на различныхъ музыкальныхъ инструментахъ и играющаго музыкальнаго барабана. Точно также петербургскимъ спиритамъ не являлись ни лучезарныя звѣзды, ни лучезарные шары, ни блестящіе гвозди, ни двигающіеся призраки, ни исчезающіе лоскутки отрѣзанной одежды, ни исчезающіе цвѣты, ни фотографіи духовъ. Все это предстоитъ петербургскому спиритизму увидѣть еще въ будущемъ и изъ этого мы можемъ заключить, что онъ находится въ порѣ дѣтства.

Въ чемъ-же, однако, заключается душа спиритизма? Для скептиковъ онъ простая игра въ фокусы, а для посвященныхъ онъ міровая связь, онъ отвѣтъ на множество неразрѣшенныхъ наукою вопросовъ. Онъ та дверь, которою они входятъ въ тайники природы. Человѣкъ, говорятъ спириты, есть двойственное существо, состоящее изъ организованной духовной формы и облеченное въ физическое тѣло, съ органами соотвѣтственнаго развитія. Смерть только разрываетъ двойственной природы человѣка, недѣлающая перемѣны въ его духѣ, нравственности и умѣ; судьба человѣка есть прогрессивное развитіе его интеллектуальной и нравственной природы. Знаніе, пониманіе и опытъ земной жизни образуютъ основу жизни духовной. Духи могутъ сообщаться только черезъ совершенно одаренныхъ медиумовъ. Духи тяготеютъ къ лицамъ, которыхъ они

любить, которымъ они симпатизируютъ, покровительствуютъ и которыхъ они желаютъ предостеречь или направить къ добру своимъ духовнымъ вліаніемъ, если не могутъ дѣйствовать прямымъ сообщеніемъ. Спиритизмомъ объясняютъ спириты пророчества и имъ же древнія чудеса. Конечно, на все это можно было-бы отвѣтить словами Гейне, что послѣ того, какъ на древъ спиритизма выросли такія глупости, отъ него должны отвернуться всѣ разсудительные люди. И развѣ спиритизмъ не занимается кощунствомъ, когда ту самую духовную форму, которой онъ приписываетъ нравственные совершенства, которую онъ заставляетъ предостерегать и направлять избранныхъ своимъ духовнымъ вліаніемъ къ добру, ту силу, которая должна открыть человѣку міровую связь, они заставляютъ вертѣть столы, звонить въ колокольчики, играть на гармоникѣ и музыкальномъ ящикѣ и писать всякія глупости?

Г. Вагнеръ ссылается на то, что въ Америкѣ 11,000,000 спиритовъ; да если-бы ихъ явилось 30 или 50,000,000, развѣ это не доказываетъ только одного, что легковѣріе считается до сихъ поръ миліонами и что Гальтонъ совершенно правъ? Но легковѣріе, которому нужны всякіе авторитеты, прикроется и въ Петербургѣ именемъ профессора Вагнера и не захочетъ слушать ни Фарадэ, ни Тиндала, ни Бабинэ, ни Гексли. Ахъ, Шиллеръ еще сказалъ:

Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Противъ такой безнадежности нечего выступать съ аргументаціей благоразумія и разсудительности. „Жертвы самаго пошлаго обмана, спириты находятся въ рукахъ плутовъ самаго низкаго сорта. Медіумы такъ-же легковѣрны, какъ и ихъ жертвы, и также, какъ онѣ, попадаютъ въ разставленные имъ ловушки. За проявленіе духовъ спириты принимаютъ простые образы“. Это сказалъ лордъ Амберлей. Профессоръ Тиндаль говоритъ о спиритахъ, что они находятся въ такомъ состояніи ума, передъ которымъ наука беспомощна. Это жертвы, гоняющіяся за доказательствами, желающія вѣрить и не желающія не быть обманутыми. Подобное-же мнѣніе высказалъ и Фарадэ. Бабинэ и Бріеръ де-Буамонъ называютъ спиритовъ одержимыми галлюцинаціями; лордъ Брумъ, присутствовавшій на спиритическихъ фокусахъ, отозвался, что онъ не могъ сообразить, какого рода механизмъ они дѣлались. Но если

субѣріе и мозговая разслабленность желаютъ только вѣрить и вѣрить и если изъ міліона людей, по вычисленіямъ Гальтона, только 259 человекъ не идутъ сами въ ловушки, рассчитанныя на чело-вѣческую ограниченность, то будь не только въ Америкѣ, но во всей Европѣ міліоны спиритовъ, мы-бы сказали, что по теперешнему состоянію чело-вѣческихъ умственныхъ способностей иначе и быть не можетъ. Впрочемъ, на факты лучше всего возражать фактами.

Мы знали одну даму, занимавшуюся верченіемъ столовъ и вѣрившую въ спиритизмъ, которой стучащій столъ сказалъ, что у нея родится сынъ, а спиритка, къ которой она обратилась, написала ей изъ Петербурга, что духи велѣли назвать сына Давидомъ. Наступаетъ критическій моментъ, и бабушка поздравляетъ рожицу съ дочерью. „Прошу не шутить“, отвѣтила мать такъ сердито, что бабушка даже испугалась за ея здоровье. Нужно было призвать мужа, нужно было прибѣгнуть къ очевиднымъ доказательствамъ и... можетъ быть, вы думаете, что одержимая перестала вѣрить въ спиритизмъ? Она перестала вѣрить только тогда, когда прочла рѣчь Спасовича по дѣлу Алнмовой, — рѣчь, въ которой Спасовичъ отзывается о спиритахъ, какъ о безнадежной умственной безпомощности. Барыня была изъ самолюбивыхъ. На одномъ изъ сеансовъ Бредифа однимъ изъ присутствующихъ было заявлено желаніе побесѣдовать съ духомъ друга его Бѣлинскаго. На это духъ Панаева отвѣтилъ, что „Бѣлинскій слишкомъ высоко и можетъ явиться на бесѣду не раньше, какъ черезъ три дня“. Черезъ три же дня духъ Бѣлинскаго отвѣтилъ: „наша дружба вечна“. Медіумомъ на сеансѣ была одна почтенная дама, русская, но воспитывавшаяся въ Парижѣ, написавшая нѣкогда французскій романъ изъ крѣпостного быта „Rauve Jasque“ и никогда не овладѣвшая какъ слѣдуетъ буквою ъ. Отъ молодой дѣвушки, бывшей тоже медіумомъ Бредифа, я слышала, какъ легко заставить присутствующихъ наклонять столъ въ ту или другую сторону, и, объявивъ имъ волю духа, заставить ихъ вертѣть или даже опрокинуть столъ. Слышали мы еще о томъ, какъ хозяйка одного дома, гдѣ происходили фокусы Бредифа, не пожелада, изъ деликатности или изъ боязни скандала, чтобы была зажжена внезапно свѣчка. Слышали мы и о томъ, какъ Бредифъ, несмотря на свою массивность, искусно ползаетъ въ потемкахъ по полу. Слышали мы и о томъ, какъ нѣ-

сколько скептиковъ связали его морскимъ узломъ, такъ, что онъ от- казался дѣйствовать и сеансъ не состоялся... Мы выдаемъ все это за слухи, и какъ „Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“, то намъ-бы хотѣлось указать профессору Вагнеру ошибку въ его выясненіи. Онъ указываетъ на 11 мил. американскихъ спиритовъ; но на основаніи закона человѣческой ограниченности, установленнаго Гальтономъ;—одинъ выдающійся человѣкъ на 4 т. ограниченныхъ,— спиритовъ должно быть въ Америкѣ 34,991,250, а не спиритовъ только 8,750. Примѣняя этотъ законъ къ Петербургу, мы предсказываемъ спиритизму блестящее будущее, но послужить-ли это доказательствомъ истинности спиритизма или докажетъ что-нибудь другое?..

КРИТИЧЕСКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

I.

Появленіе „Анны Карениной“ и поѣданіе оной саранчей—газетными рецензентами. — Благоглупости гг. Всеволода Сомовьева и Зауряднаго Читателя по поводу „Анны Карениной“.—Особенности міросозерцанія гр. Толстаго.—Мнѣніе прежней критики о непосредственномъ смиреніи. — Непосредственная мораль, проводимая гр. Толстымъ въ „Войнѣ и мирѣ“. — Почему гр. Толстой избралъ въ новомъ романѣ великосвѣтскую среду? — Фигуры Левина, Облонскаго, Вронскаго.

I.

Читателямъ не безъизвѣстно, конечно, что съ начала нынѣшняго года народился романъ гр. Л. Толстаго „Анна Каренина“, что съ появленіемъ первыхъ-же главъ этого романа газетные рецензенты предались анализу его недостатковъ и великихъ достоинствъ съ необычайнымъ азартомъ. Послѣ выхода каждой новой книжки „Русскаго Вѣстника“, гдѣ печатается произведеніе автора „Войны и мира“, просто хотъ въ руки не бери номеровъ газетъ, украшенныхъ журнальными обзорѣніями: такъ тебя и осыпаютъ восторгами по поводу художественныхъ прелестей „Анны Карениной“, порицаніями „Анны Карениной“, объясненіями различныхъ типовъ, „созданныхъ“ въ „Аннѣ Карениной“, отчетами о различныхъ фазахъ любви Анны Карениной къ флигель-адъютанту Вронскому, умиленіями отъ удивительной „простоты и жизненности“ всѣхъ лицъ романа и удивительнаго „психологическаго анализа“, обстоятельными и подробными сортированіями „безукоризненно“ художественныхъ страницъ и главъ „Анны Карениной“ отъ такихъ, въ которыхъ примѣтенъ нѣкоторый изъянъ насчетъ художественности,

и т. д., и т. д. Точно жадная саранча налетаютъ на „Анну Каренину“ представители современной газетной критики, различные господа *Sine ira*, Заурядные Читатели и проч., и поѣдаютъ ее, такъ-сказать, по частямъ съ безпримѣрной поспѣшностью. Разумѣется, эта поспѣшность не вызывается никакой необходимостью. Публика, бросившаяся вначалѣ на новинку, почти сейчасъ-же значительно поохладѣла въ своемъ вниманіи къ роману, подогрѣтомъ искусственно предварительными „возвѣщеніями“ тѣхъ-же газетъ, гдѣ распинаются борцы „крохоборной“ критики; но гг. Заурядные Читатели, *Sine ira* и К^о все-таки усердствуютъ, воображая, что ихъ анализы и „приговоры“ кому-то и для чего-то нужны, что этими анализами и приговорами слѣдуетъ встрѣчать чуть-ли въ каждую новую главу народившагося произведенія гр. Толстаго. Разувѣрить ихъ въ этомъ печальномъ заблужденіи, безъ сомнѣнія, невозможно и вслѣдствіе этого читателю газетъ грозитъ впереди цѣлый рядъ quasi-критическихъ словоизверженій объ „Аннѣ Карениной“, которыми его будутъ преслѣдовать, пока гр. Толстой не закончитъ романъ, а, можетъ быть, даже еще и долго послѣ того. Приятная перспектива, нечего сказать!

До какой степени эти quasi-критическія словоизверженія представляютъ „несносный, хотя невинный вздоръ“, читатели могутъ судить изъ двухъ-трехъ образчиковъ, которые я приведу сейчасъ. Едва только вышла январская книжка „Русскаго Вѣстника“, заключавшая въ себѣ первыя четырнадцать главъ романа, „крохоборный рецензентъ“ „Спб. Вѣдомостей“, г. *Sine ira*, поспѣшилъ объявить, что онъ прочелъ эти главы „не залпомъ“, а „довольно медленно“, что изъ нихъ, по мнѣнію его, крохоборнаго рецензента, можно выбросить развѣ только „полное, холеное тѣло“ Степана Аркадьевича Облонскаго (одного изъ героевъ романа). Только это тѣло не понравилось критику; все остальное онъ нашелъ преисполненнымъ художественныхъ прелестей. „Сцена пробужденія Степана Аркадьевича послѣ ссоры съ женой, поспѣшилъ обязательно заявить крохоборный рецензентъ, — хороша необыкновенно“. Сцены любви Левина къ Кити Щербацкой подобны одной сценѣ изъ романа „Война и миръ“, которая „по изяществу, художественности и правдѣ врядъ-ли имѣетъ равную себѣ въ нашей литературѣ“. Вообще изображеніе этой любви необыкновенно: „это замѣчательный анализъ молодого, чистаго и здороваго чувства, въ которомъ

нѣтъ ровно ничего кисло-сладкаго (?), банальнаго или грубо-циническаго, что уже до тошноты надоѣло на печатныхъ страницахъ. Здѣсь любовь является въ своей первобытной красотѣ, *которую* (1) ничто не въ силахъ опозлить и *которая* (2) всегда служила и будетъ служить неисчерпаемымъ источникомъ человѣческаго счастья и вдохновенія. Это не та любовь, грезамъ *которой* (3) сейчасъ-же начинаютъ представляться и ножки, и парижскія стереоскопическія карточки: это та любовь, *которая* (4), глядя на дорогое существо, совершенно забываетъ о ножкахъ и карточкахъ“. Сцена объясненія этой любви, неизбюющей ничего общаго съ стереоскопическими карточками, въ романѣ выходитъ „самая простая, а между тѣмъ какой глубокой анализъ глядитъ изъ этой чистой и правдивой сцены“, и т. д.

Такими и тому подобными измышленіями поспѣшилъ угостить публику рецензентъ „Спб. Вѣдомостей“, сейчасъ-же по выходѣ первыхъ главъ романа гр. Толстаго. Для каждаго, даже самаго снисходительнаго, читателя измышленія такого рода представляются ничѣмъ инымъ, какъ полуграмотными печатными упражненіями, которыя можно охарактеризовать щедринскимъ эпитетомъ „благоглупостей“. По истинѣ говоря, нѣтъ никакой надобности ни для публики, ни для автора романа, ни для самихъ „Спб. Вѣдомостей“ въ торопливомъ печатаніи подобныхъ благоглупостей вслѣдъ за каждымъ отрывкомъ „Анны Карениной“, появляющимся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Но таково теперь состояніе россійской журналистики и критики, что даже въ такъ-называемыхъ „большихъ“ органахъ становятся возможными, обыкновенными критическіе упражненія и анализы, напоминающіе тѣ „опыты пера“, какіе встрѣчаются въ гимназическихъ журналахъ. Въ вышедшемъ недавно сборникѣ фельетоновъ г. Суворина объяснено, что опыты вышеприведенныхъ благоглупостей принадлежать перу г. Всеволода Соловьева, сына извѣстнаго историка г. С. Соловьева. Нельзя не пожалѣть, что почтенное имя усерднаго труженика науки его бездарная отрасль посрамляетъ столь тупыми литературными упражненіями.

Впрочемъ, на благоглупости г. Всеволода Соловьева въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ можно посмотрѣть сквозь пальцы: и авторъ этихъ благоглупостей, и редакторъ газеты, гдѣ печатаются онѣ, знаменитый графъ Сальясъ-Турнемиръ, — оба новички въ своемъ дѣлѣ. Но гораздо Солѣ

прискорбными кажутся критическія благоглупости въ такихъ органахъ, гдѣ критическій отдѣлъ редижируется признанными и опытными критиками. Возьмите, напримѣръ, „Биржевыя Вѣдомости“: тамъ критикой завѣдуетъ г. Скабичевскій, какъ то объявлялось въ прошедшемъ году. Что г. Скабичевскій не литературный школьникъ, не новичекъ въ критикѣ, — объ этомъ, я думаю, никто спорить не станетъ: онъ такъ много писалъ критическихъ статей, что даже совсѣмъ исписался, исписался до истощенія, до гла. Никто также, полагаю, не будетъ спорить, что рецензіи, печатающіяся въ газетѣ г. Полетики подъ псевдонимомъ „Зауряднаго Читателя“, просматриваются г. Скабичевскимъ, что воззрѣнія г. Зауряднаго солидарны съ воззрѣніями присяжнаго критика „Отечественныхъ Записокъ“. Поэтому за всѣ критическія благоглупости г. Зауряднаго можно считать отвѣтственнымъ г. Скабичевского, до тѣхъ поръ, пока послѣдній не заявитъ, что критическій вздоръ г. Зауряднаго ничего общаго не имѣетъ съ критическимъ вздоромъ г. Скабичевского.

Принимая во вниманіе солидарность критическихъ воззрѣній г. Зауряднаго съ воззрѣніями такого опытнаго Аристарха, какъ г. Скабичевскій, кажется, слѣдовало-бы думать, что рецензіи перваго въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ должны быть чужды тѣхъ благоглупостей, какими блещутъ рецензіи г. Всеволода Соловьева. Между тѣмъ на дѣлѣ выходитъ совершенно иначе: благоглупости въ рецензіяхъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ весьма изобильны и нисколько не хуже благоглупостей, печатающихся въ „Спб. Вѣдомостяхъ“. Г. Заурядный по поводу „Анны Карениной“ проговаривается изумительными пошлостями и наивностями. Онъ, напримѣръ, завѣряетъ читателей, что не принадлежитъ къ числу „суровыхъ критиковъ-пуританъ“, которые требуютъ, „чтобы произведенія искусства были проникнуты серьезными, гражданскими тенденціями“, которые „съ негодованіемъ относятся къ писателямъ, когда послѣдніе тратятъ свой талантъ на воспроизведеніе красотъ природы, прелестей женской красоты, любви и прочихъ наслажденій жизни“. Онъ не понимаетъ, почему искусство должно игнорировать „цѣлую область жизни“, и сопровождаетъ свое мнѣніе о возможности и необходимости воспроизведенія въ искусствѣ этой области премилыми объясненіями, совершенно во вкусъ г. Всеволода Соловьева. „Каждый изъ насъ, говоритъ г. Заурядный, — лѣтомъ спѣшитъ ухъать изъ

города куда-нибудь на такъ-называемое „лоно природы“, каждый изъ насъ не откажется отъ вкуснаго гастрономическаго обѣда, каждый изъ насъ чувствуетъ себя хорошо въ присутствіи развитой, красивой и изящной женщины“. „Искусство, продолжаетъ г. Заурядный, — можетъ изображать наслажденіе вкуснымъ обѣдомъ, наслажденіе „жраньемъ“, по выраженію г. Щедрина, если только это „жранье“ имѣетъ цѣль, если люди занимаются имъ ради „какого-нибудь полезнаго дѣла“ или „какого-либо заявленія“, или „просто, наконецъ, сближенія“. Если-же „жранье“ происходитъ единственно ради „жранья“, тогда, изволите видѣть, искусство должно его игнорировать, ибо такое жранье омерзительное, а не поучительное впечатлѣніе производитъ. Вотъ одно изъ новыхъ „скабичіанскихъ“ (слово, созданное на манеръ слова „гораціанскій“) правилъ новѣйшей газетной „*Arg roëtica*“. На основаніи этого правила огромное большинство людей каждодневно, отъ часу до пяти, занимается „омерзительнымъ“ дѣломъ, ибо оно въ это время обѣдаетъ, и обѣдаетъ, за немногими исключеніями, просто для того, чтобы наѣсться, обѣдаетъ не имѣя въ виду посторонняго полезнаго дѣла, заявленія и проч. На основаніи этого правила, для искусства возбраняется, на примѣръ, изображеніе ужина у Дюссо, даннаго какимъ-нибудь кавалеристомъ какой-нибудь кокеткѣ съ единственною цѣлью хорошенько накормить ее и напитаться самому; но если кавалеристъ пригласилъ кокетку на ужинъ съ цѣлью „сближенія“ съ нею, то искусству разрѣшается воспроизводить подобный ужинъ, ибо тутъ будетъ происходить не простое „жранье“, а „жранье“ съ идеей, жранье какое-то „одухотворенное“. Точно также искусство можетъ и должно воспроизводить, по мнѣнію новѣйшаго Бюало „*Биржевыхъ Вѣдомостей*“, картины природы, если съ этими картинами авторъ соединяетъ какую-нибудь мысль, на примѣръ, мысль о томъ, какъ „вы въ первый разъ встрѣтились съ предметомъ вашей любви или первый разъ съ нимъ поцѣловались“; но если въ изображеніи картинъ природы такой или подобной мысли не вложено, то таковыя изображенія отвергаются настоящимъ искусствомъ и должны признаваться „омерзительными“. Какъ на примѣръ изображеній картинъ природы съ мыслью, г. Заурядный указываетъ на подобныя картины въ прежнихъ произведеніяхъ гр. Толстаго: тамъ съ картинами природы „сливались въ одинъ акордъ думы и страданія человѣка“ и „это были роковыя

думы и страданія вѣка“; а вотъ въ „Аннѣ Карениной“ картины природы безъ „роковыхъ думъ и страданій вѣка“ и потому онѣ „омерзительны“, неудобны для искусства. Точно въ такомъ-же родѣ, какъ „жранье“, природа и любовныя отношенія бываютъ двухъ сортовъ: удобныя для воспроизведенія искусства и неудобныя, приятно-поучительныя и „омерзительныя“. Искусство можетъ и должно заниматься изображеніемъ любовныхъ отношеній, и даже самыхъ пикантныхъ сценъ сладострастія, если въ этихъ сценахъ „на первомъ планѣ раскрываются потрясающія или трогательныя драмы, иногда и трагедіи“; но если ничего „потрашающаго“ въ такихъ сценахъ не раскрывается, то искусству изображеніе подобныхъ сценъ не подлежитъ. Таковы правила новой „двойной“ эстетической теоріи, созданной критикомъ биржевого органа, вѣроятно, по образцу „двойной“ бухгалтеріи... Впрочемъ, высказывая эти правила, г. Заурядный тутъ-же, черезъ нѣсколько строкъ, самъ ихъ слѣшнить опровергнуть, приводя въ видѣ примѣра сладострастныя сцены „на днѣ обрыва“ (въ романѣ г. Гончарова), въ которыхъ хоть и есть „драма“, а все-таки она „представляется намъ словно какою-то ночною оргіею кошекъ со всѣми ея взвизгиваніями и стопами разыгравшихся похотей“... Не правда-ли, читатель, трудно повѣрить, чтобы подобная недоумная болтовня могла появляться въ печати? А между тѣмъ она не только появляется, но появляется чуть-ли не каждую недѣлю, и притомъ не въ качествѣ шутовской болтовни, а въ качествѣ серьезныхъ критическихъ замѣтокъ. И что всего удивительнѣе, самую курьезную и самую пошлую болтовню этой газетной критики имѣетъ особенное свойство вызывать именно пресловутое новѣйшее произведеніе графа Толстаго, т. е. „Анна Каренина“. Вѣроятно, это явленіе обусловливается тѣмъ закономъ, по которому изъ ничего не выходитъ ничего, а изъ усиленнаго белетристическаго вздора неизбѣжно вытекаетъ усиленный критическій вздоръ. И когда подумаешь, что этому усиленному критическому вздору еще долго не будетъ конца, такъ-какъ романъ гр. Толстаго, вѣроятно, растянется на нѣсколько книжекъ „Русскаго Вѣстника“, а послѣ появленія каждой книжки неизбѣжно появленіе газетной болтовни, то, право, невольно припоминается извѣстный стихъ: „Есть отчего въ отчаянье придти!“...

II.

Газетныя рецензіи на романъ гр. Толстаго, вродѣ рецензій гг. В. Соловьева и Зауряднаго, конечно, до нѣкоторой степени служатъ однимъ изъ прискорбныхъ признаковъ времени; но самый этотъ романъ, по крайней мѣрѣ, вышедшія до сихъ двѣ его части, представляетъ признакъ гораздо болѣе крупный и потому болѣе прискорбный. Помните, кто-то, кажется, Шлоссеръ, высказываетъ мысль, что господство въ литературѣ романа „всегда указываетъ на нравственный упадокъ извѣстной эпохи“. Разумѣется, эта мысль покажется дикимъ парадоксомъ, если подъ романомъ разумѣть литературное произведеніе, задача котораго заключается въ положительномъ или отрицательномъ изображеніи общественныхъ фактовъ, стремленій и типовъ, выражающихъ собою сущность жизненнаго движенія въ то или другое время. Но если романъ понимать, какъ безцѣльную, хотя и занимательную сказку, въ которой блестящая форма наполнена содержаніемъ личныхъ эстетическихъ вождельній автора, то появленіе подобныхъ произведеній дѣйствительно служитъ знаменіемъ нравственнаго упадка. Романъ „Анна Каренина“, несмотря на всѣ восхваленія его, кажется, именно принадлежитъ къ числу подобныхъ произведеній и его прославленный авторъ относится именно къ числу художниковъ, способствующихъ пониженію нравственнаго уровня въ обществѣ.

Въ нашей критикѣ и отчасти въ публикѣ о гр. Толстомъ утвердилось весьма благопріятное мнѣніе. Графъ Толстой признается однимъ изъ крупныхъ талантовъ въ русской литературѣ, едва-ли не самымъ крупнымъ послѣ Пушкина и Гоголя. Это совершенно справедливо: большой художественный талантъ автора „Анны Карениной“ никто не отрицаетъ и объ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго спора. Но вмѣстѣ съ этимъ качествомъ почтенному белетристу приписывается еще иное, подлежащее нѣкоторому сомнѣнію, или, по крайней мѣрѣ, ограниченію. Критики и отчасти публика обыкновенно приписываютъ гр. Толстому значеніе писателя-реалиста въ самомъ высшемъ смыслѣ. Критика и отчасти публика, не обинуясь, полагаютъ, что реализмъ гр. Толстаго такъ высокъ, что онъ сообщаетъ произведеніемъ нашего автора міросозерцаніе, полное глубокаго пониманія русской жизни и дѣйствительности.

Основная идея этого міросозерцанія — по толкованіямъ критики — заключается, или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ заключалась въ сочувствіи автора къ такъ-называемымъ низшимъ, народнымъ, демократическимъ элементамъ, въ которыхъ онъ видитъ „правду“ жизни, и въ отрицательномъ отношеніи къ такъ-называемымъ высшимъ элементамъ, которые ему представляются поверхностной фальшью. Не только за свой художественный талантъ, но и за это міросозерцаніе гр. Толстой уважается критикою самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ, начиная отъ такихъ славянофило-эстетиковъ, какъ покойный Ап. Григорьевъ и здравствующій г. Страховъ, и кончая такими недомысленными quasi-реалистами новѣйшаго времени, какъ г. Скабичевскій. Такое понятіе о міросозерцаніи гр. Толстаго сложилось по-преимуществу на основаніи его первыхъ произведеній, каковы: „Дѣтство“, „Отрочество“, „Юность“, „Утро помѣщика“, „Севастопольскіе рассказы“ и проч. Дѣйствительно, во всѣхъ этихъ произведеніяхъ проводится мысль о превосходствѣ реальныхъ и простыхъ, здоровыхъ и естественныхъ личностей, стремленій, чувствъ и отношеній надъ такими, которыя исходятъ изъ источниковъ эгоистическаго идеализма, которыя, несмотря на внѣшній блескъ и внѣшніе признаки силы, въ сущности основаны на деморализаціи личности и общества, въ сущности малосодержательны и мелки. Сочувственная рисовка героевъ, служащихъ представителями силъ народной среды, и отрицательный анализъ, если такъ можно выразиться, нравственной хлыщеватости интеллигенціи — вотъ содержаніе первыхъ произведеній гр. Толстаго.

Бъ сожалѣнію, уже и въ этихъ первыхъ произведеніяхъ усиленное превознесеніе непосредственно-простыхъ, непосредственно-смирненныхъ и правдивыхъ въ своемъ смиреніи явленій жизни и личностей иногда видимо заводитъ автора на путь довольно односторонняго, исключительнаго и, вслѣдствіе своей исключительности, довольно узкаго и скользкаго воззрѣнія. Это было замѣчено въ свое время, еще при началѣ писательской дѣятельности гр. Толстаго, и, что особенно любопытно, замѣчено критикою того направленія, послѣдніе представители котораго, при появленіи „Войны и мира“, доходили до положительнаго идолопоклонства передъ графомъ Толстымъ именно за крайнее развитіе въ немъ тенденцій, возбуждившихъ нѣкоторое опасеніе въ самыхъ даровитыхъ дѣяте-

ляхъ помянутой критики. Одинъ изъ такихъ дѣателей, извѣстный Ап. Григорьевъ, еще въ шестьдесятъ второмъ году, когда не появлялись „Казакъ“ и „Война и миръ“, указывалъ на односторонность анализа гр. Толстаго, говоря, что этотъ анализъ дошелъ до крайней степени, что онъ обращается „въ анализъ анализа“, въ мыслительную апатію, въ безсодержательный скептицизмъ, подрывающій всякія душевныя чувства. Григорьевъ видѣлъ въ этомъ хваленемъ анализѣ ту его скользкость, которую до сихъ поръ не замѣчали другіе критики, и высказывалъ такое мнѣніе, что анализъ этотъ „неправъ“, потому что онъ „не опирается на народную почву, не придаетъ значенія блестящему *дѣйствительно* и страстному *дѣйствительно* типу, который и въ природѣ, и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе“. Григорьевъ находилъ, — употребляемъ его оригинальную терминологію, — что гр. Толстой значительно погрѣшаетъ, ставя, какъ идеаль жизненной правды, въ назидательную противоположность „хищному“ типу единственно только типъ смиренія и покорности. По мнѣнію критика, русскій народъ былъ-бы „весьма не щедро одареннымъ природою народомъ, если бы видѣлъ свои идеалы только въ однихъ смиренныхъ типахъ“. Реальность „хищныхъ“ типовъ въ нашей жизни доказывается не только тѣмъ, что эти типы, будучи заняты нашими поэтами (Пушкинымъ, Лермонтовымъ) изъ западныхъ литературъ, облеклись въ ихъ созданіяхъ въ совершенно своеобразныя, чисто-русскія формы, но также и историческими фактами и личностями: примѣръ — личность Стеньки Разина, „котораго, говоритъ Григорьевъ, — изъ міра эпическихъ сказаній народа не выживешь“. Самыя качества русской непосредственной простоты, смиренности, непамятозлобія и проч., — качества, которыя гр. Толстой по преимуществу отмѣчаетъ, въ противоположность дѣланной лжи и „приподнятости“ хищныхъ типовъ, — не особенно восхищаютъ Григорьева. Взглядъ покойнаго критика въ этомъ отношеніи несравненно шире и разумнѣе взгляда тѣхъ его послѣдователей, которые позднѣе превозносили гр. Толстаго за пресловутый типъ Платона Каратаева, олицетворяющій именно помянутыя качества. Эти хваленныя качества смиренія и непамятозлобія, замѣчаетъ не безъ злости Григорьевъ, „давно всѣми признаны, хотя безъ всякой мѣры, до пересела превознесены славянофилами, невидящими комической стороны нашего смиренія въ смиреніи Фамусова и таковой-же стороны

нашего непомятозлобія въ дешевыхъ примиреніяхъ „передъ порогомъ кабака“. На этихъ однихъ, хотя и дѣйствительно прекрасныхъ качествахъ, мы-бы далеко не уѣхали. И такъ они не мало повредили намъ своимъ одностороннимъ преобладаніемъ. Доселѣ мы еще можемъ любоваться ихъ одностороннимъ преобладаніемъ въ мірѣ драмъ Островскаго — въ покорности домочадцевъ передъ Китою Китычемъ, въ ерническомъ раболѣіи передъ Самсономъ Силычемъ Лазаря Подхалюзина, въ дешевомъ непомятозлобіи, основанномъ на сознаніи общественной безнравственности, Антипа Антипыча и того, какъ онъ „намазалъ“ насчетъ товара“ („Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой“, „Время“, 1862 г., № 9). Такъ говоритъ Григорьевъ въ критической статьѣ, посвященной специально уясненію внутренняго смысла произведеній гр. Толстого, основнаго міросозерцанія нашего автора; въ другихъ статьяхъ, по поводу другихъ литературныхъ явленій, критику, касаясь того-же предмета, т.-е. противоположенія смиреннаго типа типу „хищному“, высказываетъ осужденія еще болѣе рѣзкія и знаменательныя. „Голосъ за простое и доброе замѣчаетъ, напримеръ, Григорьевъ въ одномъ мѣстѣ статьи о Лермонтовѣ („Время“, 1862, № 11, 12), — поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго, есть, конечно, прекрасный голосъ, но заслуга его только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, закъсъ, моральное мѣщанство“; жизнь, прибавляетъ онъ въ другомъ мѣстѣ той-же статьи, „закисла-бы въ благодушествованіи героической безотвѣтственности, въ томъ смиреніи, которое легко обращается у насъ изъ высокаго въ баранье“.

Эти мнѣнія Григорьева, безъинтересныя и сами по себѣ, кажутся мнѣ особенно знаменательными по отношенію къ гр. Толстому: критику, наиболѣе уважавшій талантъ этого писателя, прежде другихъ и громче другихъ поднявшій голосъ за большое его значеніе и уважавшій, съ своей точки зрѣнія, довольно своеобразной, но нелишенной мѣткости, общій смыслъ первыхъ произведеній гр. Толстаго, — этотъ самый критику какъ-будто угадывалъ въ будущемъ опасный и скользкій путь, на который впоследствии уклонилось міросозерцаніе автора „Анны Карениной“. Въ его замѣчаніи объ односторонности анализа нашего автора, въ его намекахъ о томъ, какое значеніе имѣетъ „положительная“ защита и превознесеніе непосредственной простоты, доброты и смиренія,

какъ-будто слышится предчувствіе того узкаго художественнаго теоретизма, до котораго дошло міросозерцаніе гр. Толстаго въ пресловутой хроникѣ „Война и миръ“ и новѣйшей эпопеѣ барскихъ амуровъ — „Аннѣ Карениной“.

III.

О „Войнѣ и мирѣ“ у насъ писали довольно много, но писали, по правдѣ сказать, все что-то смутное и касающееся больше частныхъ достоинствъ этого романа и таланта его автора. Въ общемъ, однакожъ, все, писанное о „Войнѣ и мирѣ“, имѣетъ хвалебный характеръ. Произведеніе это признано нѣкоторыми критиками, напримѣръ г. Страховымъ, за величайшее созданіе, неизмѣющее себѣ подобнаго не только въ нашей, но и въ западныхъ литературахъ. Еще недавно въ какой-то газетѣ, кажется въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“, мнѣ случилось встрѣтить сопричисленіе „Войны и мира“ къ „вѣковѣчнымъ памятникамъ“ русской литературы, подобнымъ „Евгенію Онѣгину“ и „Мертвымъ душамъ“. Въ этомъ „вѣковѣчномъ памятникѣ“ критика восхищалась и до сихъ поръ восхищается всѣмъ: и великолѣпно-правдивымъ будто-бы изображеніемъ общества александровскаго времени, и тонкой рисовкой женскихъ и мужскихъ характеровъ, и батальными сценами, и, наконецъ, даже пресловутымъ Платономъ Каратаевымъ, представляющимъ квинтъ-эссенцію русскаго народнаго характера. Занимаясь этими восхищеніями, критика упустила изъ виду одно, именно то, безъ чего всѣ великія достоинства литературнаго произведенія не имѣютъ ни малѣйшаго значенія: критика упустила изъ виду основную идею „Войны и мира“. Таково ужъ видно свойство критики нашихъ дней, что она въ литературныхъ произведеніяхъ видитъ всевозможныхъ букашекъ и коровокъ и не прижмаетъ слона.

А между тѣмъ основная идея „Войны и мира“, если въ нее вникнуть попристальнѣе, заслуживаетъ особеннаго вниманія. Въ русской литературѣ—говорю это не безъ трепета, ибо знаю, что мое мнѣніе сочтется многими за величайшую дерзость,—въ русской литературѣ едва-ли отыщется другой романъ, который былъ-бы проникнуть такой шаткою и, скажу прямо, растлѣнною моралью, какая проводится авторомъ въ „вѣковѣчной“ эпопеѣ. Въ послѣд-

ное время московская критика все обвиняетъ г. Боборыкина за безнравственныя идеи его романовъ; но, право, г. Боборыкинъ въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, сущій младенецъ передъ гр. Толстымъ. У г. Боборыкина не содержаніе романовъ безнравственно, а развѣ только, если можно такъ выразиться, ихъ „фасонъ“, нѣсколько каскадный и отличающійся вообще парижскимъ шикомъ; въ романахъ-же графа Толстаго „фасонъ“ самый приличный и онъ не гоняется, какъ авторъ „Солидныхъ добродѣтелей“, за внѣшнюю скабрзность своихъ произведеній, замѣняя скабрзныя мѣста, по выраженію г. В. Соловьева, „рядами узаконенныхъ и принятыхъ въ литературномъ обществѣ точекъ“. Но за то тѣмъ болѣе соблазнительна внутренняя безнравственность такихъ его произведеній, какъ „Война и миръ“ и „Анна Каренина“. Если-бы наша критика была нѣсколько попроницательнѣе и посмѣлѣе, она увидала-бы очень ясно, что въ шести томахъ великой и „вѣковѣчной“ эпопеи гр. Толстой съ настойчивой развязностью старается доказать, что такъ-называемая гражданская дѣятельность, такъ-называемыя политическія стремленія, предпринимаемыя во имя принципа цивилизаціи, въ сущности представляютъ призрачный вздоръ; что ихъ проявленіе въ дѣйствительности и ихъ направленіе зависятъ вовсе не отъ усилій отдѣльныхъ личностей, вліяющихъ на массы, а отъ случайныхъ, чисто-стихійныхъ причинъ. Исходя отъ этой мысли, гр. Толстой желаетъ вывести и дѣйствительно наглядно выводитъ въ „Войнѣ и мирѣ“ такое заключеніе: цѣль жизни и значеніе жизни каждаго человѣка должны заключаться не въ помянутой дѣятельности и помянутыхъ стремленіяхъ, а въ узкомъ эгоистическомъ услажденіи себя половыми отношеніями и въ ихъ вѣнцѣ—семейномъ счастіи, понимаемомъ, притомъ, въ самомъ грубомъ и почти циническомъ смыслѣ. Вотъ основная идея, проводимая очень искусно гр. Толстымъ черезъ всю „вѣковѣчную“ эпопею, такъ нравящуюся нашей критикѣ, обязательно приравнивающей „Войну и миръ“ къ „Мертвымъ душамъ“. Ради этой идеи гр. Толстой развѣнчиваетъ такъ-называемыхъ историческихъ дѣятелей и представляетъ ихъ ношляками, ради этой идеи онъ принижаетъ личности и характеры, нравственныя отношенія и чувства, проникнутыя высшими стремленіями, передъ такими личностями, характерами, нравственными отношеніями и чувствами, которые руководствуются непосредствен-

ною ограниченностью, въ которыхъ скромное „моральное мѣщанство“ — но удачному, приведенному мной выше, выраженію Ап. Григорьева — не допускаетъ развиваться инымъ стремленіямъ, кромя бараньей кротости и покорности. Графъ Толстой даетъ очень ясно понять, что такія лица, какъ Наполеонъ или Сперанскій, отнюдь не представители жизненнаго движенія ихъ времени, что ихъ роль даже меньше роли отдѣльныхъ субъектовъ массы, изъ которыхъ слагаются волны этого движенія; Наполеоны и Сперанскіе, по мнѣнію графа Толстого, только поверхностная пѣна на этихъ волнахъ. Авторъ „Войны и мира“ рисуетъ Наполеона ни болѣе, ни менѣе, какъ политическимъ хлыщемъ и наглецомъ, неимѣющимъ не только характера и ума, но даже и военнаго генія! Въ противоположность ложному западному величію Наполеона, заключающемуся въ призрачной энергіи и силѣ, гр. Толстой выставляетъ настоящее правдивое величіе Кутузова, которое заключается почти въ бессознательной покорности обстоятельствамъ, въ непосредственной простотѣ, доходящей до старческаго слабоумія. На Сперанскаго авторъ смотритъ еще болѣе презрительно, чѣмъ на Наполеона: въ общей картинѣ александровскаго времени онъ бросаетъ эту фигуру мимоходомъ, специально ради того, чтобы очертить Сперанскаго, какъ самолюбиваго и мелкаго чиновника, воображающаго себя серьезнымъ реформаторомъ, а въ дѣйствительности представляющаго нѣсколько комическое ничтожество. Герой „Войны и мира“, Андрей Балконскій, носящій въ своей натурѣ задатки такъ-называемыхъ протестующихъ стремленій, проводится авторомъ съвозъ различныхъ впечатлѣній непосредственной простоты жизни и просвѣтляется, наконецъ, смертью, постигнувъ тщету всѣхъ стремленій къ руководительству жизненнымъ движеніемъ. Другой герой, Пьеръ Безухій, представляющій олицетвореніе интеллигентнаго русскаго человека, ищущаго стезю добра и правды, приводится на эту стезю философій бараньяго смиренія, которую ему сообщаетъ російскій солдатикъ-мудрецъ Платонъ Каратаевъ, и находитъ успокоеніе своимъ исканіямъ исключительно въ семейномъ счастіи. Героиня романа — Наташа, одинъ изъ „предестныхъ“, тонко и поэтически-обрисованныхъ женскихъ образовъ, восхищающихъ нашу критику, — эта героиня, въ расцвѣтѣ юности, полная нелѣпныхъ романтическихъ порываній, разумѣется, вращающихся въ единственно доступной ей развитію сферѣ любви, обращена авто-

ромъ подъ конецъ, по его собственному выраженію, въ „самку“, всѣ помыслы которой сосредоточены на дѣторожденіи, грязныхъ пеленкахъ дѣтей и эгоистическомъ обладаніи своимъ мужемъ. На ряду съ героями, заблуждавшимися и приведенными авторомъ на правый путь російской непосредственности, въ „Войнѣ и мирѣ“ стоятъ другіе герои, которые вѣрны непосредственной правдѣ и простотѣ жизни по натурѣ, которымъ всякія высшія стремленія, всякая политическая и цивическая дѣятельность, всякія порыванія къ протесту противъ окружающей дѣйствительности кажутся совершеннѣйшими пустяками. Эти герои, отличающіеся или безотвѣтнымъ смиреніемъ, или удовлетвореніемъ, такъ сказать, единственно инстинктовъ растительной жизни, превозносятся авторомъ именно за эти качества. Таковъ графъ Николай Ростовъ, прекраснѣйшій, добродѣтельнѣйшій мужъ, благороднѣйшій семьянинъ, чудеснѣйшій хозяинъ и помѣщикъ, всякихъ достоинствъ котораго не помрачаетъ даже склонность къ разбиванію своего перстня о скулы мужиковъ. Такова жена его, графиня Марья, великая покорностію своему мужу, полубезсмысленною кротостію и преимущественно тѣмъ, что она никогда пороку не выдумывала и выдумать не можетъ. Таковъ, наконецъ, знаменитый солдатикъ Платонъ Каратаевъ—эта сентиментальная клевета на русскій народный типъ, превознесенная нѣкоторою частью нашей критики, какъ великолѣпный, художественно созданный и истинно-народный образъ.

IV.

Уяснивъ себѣ сущность той особенной морали, какая проводится гр. Толстымъ въ его „вѣковѣчной“ эпопеѣ, не слѣдуетъ удивляться тому, что его новѣйшее произведеніе, при обычномъ блескѣ и совершенствѣ художественной формы, отличается такой невѣроятной, можно даже сказать—такой скандальной пустотой содержанія: художникъ съ міросозерцаніемъ автора „Войны и мира“ долженъ былъ въ своемъ творчествѣ логически дойти до „Анны Карениной“. Если гр. Толстой къ крупнымъ и знаменательнымъ историческимъ событіямъ, къ крупному возбужденію общественнаго движенія эпохи первой половины александровскаго царствованія сумѣлъ

приложить такой мистическій взглядъ, по которому помянутыя событія, помянутое движеніе и его представители являются вздоромъ, то, естественно, для него общественное движеніе нашего времени, далеко не столь крупное, должно остаться совсѣмъ незамѣченнымъ, нестоящимъ ни малѣйшаго вниманія, вполне ничтожнымъ. Оно такъ и выходитъ въ его романѣ. Творецъ „Анны Карениной“, по своей художественно-философской теоріи невидящій никакого интереса въ общихъ явленіяхъ жизни, выходящихъ за предѣлы половыхъ, личныхъ и семейныхъ отношеній, только этими послѣдними и питаетъ свое творчество, ибо они одни, по его мнѣнію, есть начальная и конечная цѣль существованія. Онъ считаетъ призрачнымъ вздоромъ всякія такъ-называемыя „вѣянія“ времени, всю борьбу поступательнаго хода жизни съ задерживающими этотъ ходъ вліяніями, — однимъ словомъ, все, что составляетъ внутреннее содержаніе жизни. Поэтому для него и для его творчества не существуетъ героевъ времени, т. е. выразителей отрицательныхъ или положительныхъ стремленій жизни въ данную эпоху. Онъ не хочетъ имѣть и не имѣетъ ни малѣйшей заботы о томъ, чтобы отражать въ своемъ произведеніи эти отрицательныя или положительныя стремленія, воспроизводить типы и характеры, имъ соотвѣтствующіе. Мистическое міросозерцаніе гр. Толстаго понимаетъ дѣло такимъ образомъ, что цѣль жизни, какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и цѣлаго общества, заключается вовсе не въ умственномъ, моральномъ и гражданскомъ развитіи, а единственно въ половыхъ и семейныхъ отношеніяхъ. Только эти отношенія реальны, только они и составляютъ естественную „правду“ жизни: все остальное призрачная, поверхностная ложь, служащая едва-ли не тормазомъ для человѣческаго счастья и благополучія.

Художнику, задающемуся такимъ міровоззрѣніемъ, понятно, является сама собою необходимость обратить свое творчество къ воссозданію фактовъ и личностей такой среды, гдѣ половыя отношенія являются наиболѣе исключительными, господствующими надъ всякими иными жизненными цѣлями, наиболѣе освобожденными отъ матеріальныхъ и идеальныхъ житейскихъ заботъ другого порядка. Такою средою является среда обеспеченнаго довольства, гдѣ матеріальное благосостояніе съ одной стороны и довольно поверхностное умственное развитіе съ другой позволяютъ выражаться половымъ отношеніямъ въ самыхъ полныхъ и блестящихъ по внѣшности

формахъ. Въ этой средѣ названныя отношенія составляютъ едва-ли не выдающійся интересъ существованія и развиваются безъ помѣхи въ разнообразныхъ комбинаціяхъ, какія только могутъ породиться изъ вождельнѣй по внѣшности хорошо культивированнаго человѣческаго эгоизма. Художественное творчество, видящее апофеозу жизни въ вождельнѣяхъ этого рода, должно черпать матеріаль для своихъ созданій именно въ этой средѣ, такъ-какъ въ ней оно найдетъ рудникъ гораздо болѣе богатый и обильный, чѣмъ во всякой иной средѣ.

Такая среда именно и выбрана гр. Толстымъ въ его новомъ романѣ. Всѣ герои романа, всѣ эти Левины, Вронскіе, Облонскіе, Анны Каренины, Доли, Бити—обезпеченные матеріальнымъ довольствомъ субъекты, для которыхъ, вслѣдствіе склада ихъ воспитанія, а также довольно ограниченнаго нравственнаго и умственнаго развитія, главная и существенная „злоба дня“ заключается въ ихъ половыхъ отношеніяхъ, влеченіяхъ и интересахъ, въ горѣ и радостяхъ, связанныхъ съ этими интересами. Всякіе другіе интересы, всякія иныя цѣли жизни касаются этихъ людей ровно по столько, по сколько они оказываютъ вліяніе на ихъ половыя и семейныя житейскія комбинаціи и перепетіи; только въ этомъ частномъ, личномъ смыслѣ для нихъ и имѣетъ значеніе человѣческое существованіе. Иного значенія они не то что не понимаютъ, но просто не вѣдаютъ. Общій смыслъ жизненнаго движенія и развитія для этихъ героевъ обезпеченнаго довольства недоступенъ: они живутъ своими личными интересами, внѣ потока этого движенія, и не ощущаютъ на своемъ моральномъ и умственномъ складѣ никакихъ вліяній времени, или если и ощущаютъ, то стараются отнестись къ этимъ вліяніямъ, какъ къ пустякамъ, неимѣющимъ существеннаго значенія. Все, выходящее за предѣлы отправления половой сферы, есть для нихъ нѣчто внѣшнее, формальное, несвязанное никакой внутренней связью съ ихъ жизнью.

Возьмите какого хотите изъ этихъ удивительныхъ представителей жизни, заиспей въ одностороннемъ удовлетворенія эгоистическихъ потребностей, разберите сущность его, и вы, кромѣ пустоты, ничего не найдете въ этихъ образахъ, рисуемыхъ съ такою обстоятельностью авторомъ, котораго критика считаетъ чуть-ли не такимъ-же серьезнымъ реалистомъ, какъ Гоголь. Вотъ передъ вами сельскій дворянинъ Левинъ, одинъ изъ любимѣй-

шихъ типовъ гр. Толстаго — типъ непосредственной простоты и естественной „правды“ жизни. Онъ живетъ въ деревнѣ и весь преданъ заботамъ сельскаго хозяйства, которыя, однакожь, для него не особенно тяжелы и, кажется, служатъ больше развлеченіемъ, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ насущнымъ жизненнымъ трудомъ. По крайней мѣрѣ, въ сценахъ романа, гдѣ рисуется сельско-хозяйственная дѣятельность Левина, мы не видимъ, чтобы эта дѣятельность требовала большого напряженія воли, нравственной и умственной энергіи. Напротивъ, авторъ представляетъ такія сцены, гдѣ Левинъ является, можетъ быть, помимо желанія гр. Толстаго, нѣсколько въ шутовскомъ свѣтѣ въ своихъ вождѣльнѣяхъ къ настоящему крестьянскому труду. Для Левина веденіе хозяйства не есть опредѣленная работа, которою онъ долженъ поддерживать существованіе, не есть „дѣло“, а нѣкоторое пріятное препровожденіе времени, неустановившееся, бессистемное, имѣющее въ себѣ прелесть эстетическихъ ощущеній. Вотъ, на примѣръ, какъ изображается Левинъ, выходящій изъ дому весной съ цѣлью подъятія на свои плечи бремени сельско-хозяйственныхъ трудовъ.

„Левинъ надѣлъ большіе сапоги и въ первый разъ не шубу, а суконную поддевку, и пошелъ по хозяйству, шагая черезъ ручьи, рѣжущіе глаза своимъ блескомъ на солнцѣ, ступая то на ледокъ, то въ липкую грязь. Весна—время плановъ и предположеній. И выйдя на дворъ, Левинъ, какъ дерево весной (просимъ замѣтить это сравненіе), еще незнающее, куда и какъ разростутся его молодые побѣги и вѣтви, заключенные въ налитыхъ почкахъ, *самъ не зналъ хорошенько*, за какія хозяйственныя предпріятія въ любимомъ его хозяйствѣ онъ примется теперь, почувствовалъ, что онъ полонъ плановъ и предположеній самыхъ хорошихъ“. Онъ начинаетъ осмотръ хозяйства, замѣчаетъ разныя мелкія упущенія, сердится на прикащика и затѣмъ, слегка вскипяченный, идетъ смотрѣть, какъ работники производятъ посѣвъ. Разумѣется, прежде всего онъ спѣшитъ работнику сдѣлать внушеніе, и когда тотъ возражаетъ ему, считаетъ долгомъ оборвать работника по старой манерѣ: „пожалуйста, не разсуждай, а дѣлай, что говорятъ“. Затѣмъ, чувствуя, что его нервы взволновались досадою и гнѣвомъ на нерадивость и „лѣдность грубаго простонародья“, какъ выразился когда-то кто-то, сельскій непосредственный дворянинъ рѣшается самъ поработать въ потѣ лица—съ цѣлью, впрочемъ, гигиеническою: онъ замѣчалъ не

разъ, что работа укрощаетъ гнѣвное волненіе. Нечего и говорить о томъ, что работа въ потѣ лица происходитъ только примѣрная: Левинъ проходитъ „леху“ съ сѣялкой, вовсе не умѣя сѣять и портя дѣло, что ему сейчасъ-же замѣчаетъ работникъ, и все-таки остается очень доволенъ, что поработалъ, даже „запотѣлъ“ отъ работы. Послѣ совершенія этого хозяйственнаго труда онъ весело ѣдетъ домой, чтобы пообѣдать и приготовиться къ охотѣ на вальдшнеповъ, которой, конечно, и предается съ настоящимъ увлеченіемъ, удовольствіемъ и гораздо большимъ пониманіемъ, чѣмъ сельско-хозяйственнымъ трудамъ.

Такимъ образомъ, говорю я, — для Левина, этого непосредственнаго сельскаго хозяина, лечащаго свои волненія „примѣрнымъ“ сѣяніемъ и паханіемъ, подобно тому, какъ многіе бары лечатъ себя заграничными водами, въ сущности сельскія занятія не представляютъ суроваго и опредѣленнаго труда. Да онъ по своей барской натурѣ къ труду вообще менѣе склоненъ, чѣмъ къ фантазіямъ о трудѣ, къ художественнымъ, такъ-сказать, воспріятіямъ удовольствій сельско-хозяйственной дѣятельности. Главная-же цѣль, около которой концентрируются всѣ его вожделѣнія, — это семья, женитьба. „Любовь къ женщинѣ, говоритъ творецъ Левина, — онъ не только не могъ себѣ представить безъ брака, но онъ прежде представлялъ себѣ семью, а потомъ ужъ ту женщину, которая дастъ ему семью. Его понятія не были похожи на понятія большинства его знакомыхъ, для кого женитьба была однимъ изъ многихъ общежитейскихъ дѣлъ; для Левина это было *главнымъ дѣломъ жизни*, отъ котораго зависѣло все его счастье“.

Впрочемъ, Левинъ не лишень и нѣкоторыхъ другихъ невинныхъ затѣй. Какъ это часто бываетъ, онъ — разумѣется, съ цѣлю принесенія пользы отечеству — посвящаетъ часть своего деревенскаго уединенія на сочиненіе глубокаго сельско-хозяйственнаго трактата, въ которомъ намѣревается выразить свои собственныя воззрѣнія, т. е. подобныя тѣмъ извѣстнымъ воззрѣніямъ, до какихъ почтеннѣйшій Амосъ Федоровичъ „самъ собою дошелъ, собственнымъ умомъ“. Можно заранѣе угадать, не боясь сдѣлать ошибки, что этотъ трактатъ окажется сумбуромъ, если будетъ доведенъ до конца, а вѣрнѣй всего никогда не будетъ написанъ и останется втунѣ. Догадка эта за себя имѣетъ слѣдующій аргументъ: для того, чтобы выучиться путнымъ образомъ писать трактаты, необходимо воспитать свою мысль на-столько,

чтобы ужъ серьезно читать написанное, а именно этого-то ужъ и недостаетъ Левину. Авторъ впадаетъ по этому поводу въ любопытныя откровенности. Серьезныя статьи всегда наводили величайшую скуку на апатическую, вялую мысль Левина; „онъ не могъ прочесть ихъ, потому что при этомъ чтеніи страшная скука одолевала его. Левинъ вообще не интересовался новѣйшею философіей. Ему всѣ эти вопросы о происхожденіи человѣка, какъ животнаго, о рефлексахъ, о биологій и социологій казались невыносимо скучными“. Это такъ и должно было быть, если взять въ расчетъ ту милую манеру, съ которой Левинъ читалъ всякія серьезныя статьи и книги и образчикъ которой приводится графомъ Толстымъ въ слѣдующемъ изображеніи чтенія Левинимъ книги Тиндала подъ разговоръ своей старой нянюшки: „Онъ слушалъ и читалъ книгу, и вспоминалъ весь ходъ своихъ мыслей, возбужденныхъ чтеніемъ. Это была книга Тиндала о теплѣ. Онъ вспоминалъ свои осужденія Тиндалю за его самодовольство въ ловкости производства опытовъ и того, что ему недостаетъ философскаго взгляда. „А о кометахъ онъ вретъ, хоть и красиво“. Вдругъ всплывала радостная мысль: „черезъ два года будутъ у меня въ стадѣ двѣ голландки, сама Пава еще можетъ быть жива, двѣнадцать молодыхъ Беркутовыхъ дочерей; да подсыпать на казовый конецъ этихъ трехъ—чудо!“ Онъ опять взялся за книгу. „Ну, хорошо, электричество и тепло одно и то-же; но возможно-ли въ уравненіи для рѣшенія вопроса поставить одну величину вмѣсто другой? Нѣтъ. Ну, такъ что-же? Связь между всѣми силами природы? такъ чувствуется инстинктомъ... Особенно пріятно, какъ Павина дочь будетъ уже краснопѣгой коровой, а все стадо, въ которое подсыпать этихъ трехъ... Отлично! Выйти съ женой и гостями встрѣчать стадо... Жена скажетъ: мы съ Костей, какъ ребенка, выхаживали эту телку. Какъ это можетъ васъ такъ интересовать? скажетъ гость. Все, что его интересуетъ, интересуетъ меня“. Этотъ любопытный образчикъ отношеній Левина къ умственнымъ занятіямъ превосходно рисуетъ всю невоздѣланность его головы и въ тоже время даетъ яркіѣ намеки на тупость его идеала семейнаго счастья, которое для него, какъ мы уже знаемъ, „главное дѣло жизни“. Видите-ли, какъ онъ понимаетъ это счастье: въ него входитъ существеннымъ элементомъ хвастовство передъ „гостями“ тѣмъ, что будущая супруга обидіотится съ нимъ до такой непосредственности,

что будетъ выходить встрѣчать стадо и выхаживать телятъ, какъ собственныхъ дѣтей! Какъ не воскликнуть вмѣстѣ съ этимъ милымъ Левинымъ: „Отлично!“

Взявъ во вниманіе всѣ указанныя черты, читатель можетъ составить себѣ довольно точное представленіе о настоящей сущности этого героя, олицетворяющаго, по понятіямъ автора „Анны Карениной“, типъ непосредственно - добраго и прекраснаго сельскаго джентльмена нашего времени. Самодовольно - ограниченный эгоизмъ, чуждающійся умственнаго труда и жизненнаго движенія и ищущій главной цѣли жизни въ удовольствіяхъ половой жизни на „лонѣ природы“ — вотъ основа этого лица, изображаемаго гр. Толстымъ съ очевидною симпатіей къ его прелестнымъ качествамъ.

Еще болѣе несимпатичными, чѣмъ Левинъ, представляются другія два лица романа: блестящій Вронскій и московскій баринъ-чиновникъ Облонскій. Ихъ растлѣнно-эгоистическія стремленія не смягчаются даже тою смиренною простотой, за которую на Левина можно взглянуть съ нѣкоторымъ снисхожденіемъ. Бездѣльная сущность Вронскаго и Облонскаго ничѣмъ не можетъ быть оправдана, и сколько-бы авторъ ни употреблялъ „художественныхъ“ стараній, чтобы придать этимъ лицамъ серьезное значеніе, они останутся, во всякомъ случаѣ, только героями празднаго шалопайства и никакъ не болѣе этого.

Облонскій — „служащій“ баринъ съ „холонымъ тѣломъ“, относящійся съ цинически-добродушной любезностію ко всѣмъ на свѣтѣ и ко всему на свѣтѣ, даже къ собственному своему распутству, возбуждающій къ себѣ симпатію окружающихъ именно этимъ растлѣннымъ добродушіемъ, неизмѣющимъ предѣловъ. Добродушіе это простирается даже до того, что онъ способенъ бесѣдовать съ своимъ лакеемъ объ отношеніяхъ къ собственной женѣ, возмущенной его распутнымъ поведеніемъ, способенъ выслушивать дружескіе совѣты лакея и успокоенія насчетъ того, что оскорбленная супруга „образумится“, способенъ чувствовать одну веселость, когда пріятель въ глаза говоритъ ему, что его, Облонскаго, можетъ купить за двугривенный. Для Левина главное дѣло жизни — бракъ, для Облонскаго — любовь, понимаемая имъ, разумѣется, въ томъ смыслѣ, какой придаютъ любви всѣ господа, „нѣсколько беззаботные“ насчетъ нравственныхъ вопросовъ, т. е. въ смыслѣ легкихъ шашень „на сторонѣ“. Сущность своей пошлой натуры и своихъ растлѣнныхъ

возрѣвній этотъ московскій Донъ-Жуанъ вполне выражаетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Я не признаю жизни безъ любви. Что-же дѣлать, я такъ сотворенъ. И, право, такъ мало дѣлается этимъ кому-нибудь зла, а себѣ столько удовольствія. Женщина, видишь-ли, это такой предметъ, что сколько ты ни изучай ее, все будетъ совершенно новое“. — „Такъ ужъ лучше не изучать“, возражаетъ Левинъ Облонскому. — „Нѣтъ, самодовольно комментируетъ московскій Донъ-Жуанъ свою постоянную склонность къ шапшнямъ: —какой-то математикъ сказалъ, что наслажденіе не въ открытіи истины, но въ исканіи ея“. Исканіемъ этой „истины“, очевидно, тождественной съ извѣстною ноздревской „клубничкой“, и наполняетъ свое существованіе Облонскій. Облонскій не даромъ увѣренъ въ томъ, что его клубничные подвиги мало приносятъ зла другимъ, а ему доставляютъ столько удовольствія: онъ такъ эгоистиченъ, что сдѣланнаго имъ зла никогда не примѣчаетъ и поэтому имъ никогда не терзается. У него все это выходитъ просто, какъ всегда бываетъ у простодушныхъ негодяевъ — самаго позорнаго рода изъ всевозможныхъ негодяевъ на свѣтѣ. Онъ соблазнилъ, втихомолку отъ жены, француженку, бывшую гувернанткой его дѣтей. Жена узнала объ этомъ, она мучается, раздражена, хочетъ покинуть невѣрнаго супруга. Облонскій смущенъ всѣмъ этимъ, но не потому, чтобы онъ сожалѣлъ о своей семьѣ, которой грозитъ разрушеніе, о своей женѣ, которой онъ нанесъ жестокое моральное оскорбленіе, а только потому, что все это составляетъ докучное безпокойство его особѣ, привыкшей понимать жизнь, какъ постоянное „катаніе сыра въ маслѣ“. Онъ нисколько не терзается тѣмъ, что его поведение относительно жены гадко: это его не касается; онъ безпокоится о томъ, что выходитъ скандалъ, нарушающій обычное ровное и пріятное теченіе его жизни, скандалъ, вызванный въ сущности совершенно ничтожнымъ случаемъ. Когда, благодаря посредничеству его сестры, пресловутой Анны Карениной, жена Облонскаго выражаетъ готовность примириться, Облонскій съ легкимъ сердцемъ идетъ къ ней въ спальню и выходитъ оттуда вполне довольный и сіяющій... Впечатленіе его проступка противъ семьи и жены сошло съ него, какъ съ гуся вода, и онъ менѣе всего думаетъ объ упрекахъ себѣ. Однимъ словомъ, этотъ прелестный московскій баринъ принадлежитъ къ категоріи тѣхъ счастливицевъ, которые воспѣты въ одномъ очень удачномъ стихотвореніи г. В. Курочкина:

„Розовый, свѣжій, дородный,
Юный, веселый всегда,
Разума даже слѣда
Нѣтъ въ головѣ благородной,
Ходить тамъ вѣтеръ сквозной...

Экой счастливецъ какой!
Долго не думая, смѣло,
Въ доброе время и часъ,
Вздумаль—и сдѣлалъ какъ-разъ
Самое скверное дѣло,
Не возмутившись душой...

Экой счастливецъ какой!“ и пр.

Типъ счастливцевъ этого сорта не новъ въ нашей литературѣ. Прежде ихъ обыкновенно выставляли, какъ позорное явленіе жизни, относились къ нимъ отрицательно; теперь-же художники рисуютъ такіе типы чуть-ли не съ затаенною симпатіей къ нимъ, чуть-ли, въ самомъ дѣлѣ, не въ качествѣ образчиковъ „людей, сохраняющихъ среди новыхъ общественныхъ наслоеній лучшія преданія культурнаго общества“, какъ выразился критикъ-камердинеръ изъ „Русскаго Міра“. Что будете дѣлать, времена и понятія перемѣнчивы:

„Вѣкъ иной, иныя птицы
И у нихъ иныя пѣсни“.

Да не только пѣсни, но даже и романы, даже складъ нравственныхъ воззрѣній...

На ряду съ „миленькимъ штатскимъ“ героемъ въ романѣ гр. Толстаго фигурируетъ не менѣе миленькій военный герой: это графъ Вронскій, глубокая и, какъ любили выражаться романисты добраго стараго времени, „вулканическая“ страсть котораго къ Аннѣ Карениной, составляетъ ядро романа. Этотъ блестящій герой въ двухъ частяхъ романа высказался единственно только со стороны „галантерейнаго обращенія“ и совершилъ два подвига: преклонилъ великолѣпную супругу высокопоставленнаго петербургскаго чиновника къ незаконнымъ амурамъ и переломилъ кровной англійской кобылѣ спину на скачкахъ. Если собрать всѣ галантерейныя рѣчи блестящаго Вронскаго, которому приличнѣе было-бы именоваться Гремнинымъ или Лидинымъ, то вотъ что почти окажется въ суммѣ:

— „Прекрасный балъ“. — „Зачѣмъ я ѣду? Вы знаете, я ѣду для того, чтобы быть тамъ, гдѣ вы. Ни одного слова вашего, ни од-

ного вашего движенія я не забуду никогда“. — „Надѣюсь имѣть честь быть у васъ.“ — „Откуда я? Изъ Буффъ. Кажется, въ сотый разъ, и все съ новымъ удовольствіемъ. Прелестъ! Я знаю, что это стыдно, но въ оперѣ я сплю (еще-бы не спать, замѣтимъ къ слову: господа, подобныя вамъ, всегда засыпаютъ, „если не слышать сальностей“; это зналъ еще Гамлетъ), а въ Буффъ до послѣдней минуты досматриваю, и весело“.

Затѣмъ, кромѣ этихъ и еще двухъ-трехъ въ такомъ-же галантерейномъ родѣ фразъ, Вронскій является намъ во всей своей прелести въ слѣдующемъ амурномъ „козри“, которое и выписываю все для того, чтобы читатели могли понять „великосвѣтскость“ чувствъ и отношеній главнаго героя и героини романа:

— Я часто думаю, что мужчины не понимаютъ того, что не благородно, а всегда говорятъ объ этомъ, сказала Анна. — Я давно хотѣла сказать вамъ, прибавила она и, перейдя нѣсколько шаговъ, сѣла у углового стола съ альбомами.

— Я не совѣмъ понимаю значеніе вашихъ словъ, сказалъ онъ, подавая ей чашку.

Она взглянула на диванъ подлѣ себя, и онъ тотчасъ-же сѣлъ.

— Да, я хотѣла сказать вамъ, сказала она, не глядя на него. — Вы дурно поступили, дурно, очень дурно.

— Развѣ я не знаю, что я дурно поступилъ! Но кто причиной, что я поступилъ такъ?

— Зачѣмъ вы говорите мнѣ это? сказала она, вспыхивая и взглядывая на него.

— Вы знаете, зачѣмъ, отвѣчалъ онъ смѣло и радостно, встрѣчая ея взглядъ и не спуская глазъ.

Не онъ, а она смутилась.

— Это доказываетъ только, что у васъ нѣтъ сердца, сказала она, но взглядъ ея говорилъ, что она знаетъ, что у него есть сердце, и отъ этого-то боятся его.

— То, о чемъ вы сейчасъ говорили *), была ошибка, а не любовь.

— Вы помните, что я запретила вамъ произносить это гадкое слово (ахъ, какое милое институтское выраженіе!), вздрогнувъ сказала Анна, но тутъ-же она почувствовала, что однимъ этимъ сло-

*) Шалопайное ухаживаніе за московской молоденькой барышней.

вожь: *запретила*, она показывала, что признавала за собой известное право на него, и этимъ самымъ поощряла его говорить про любовь.—Я вамъ давно это хотѣла сказать, продолжала она, рѣшительно глядя ему въ глаза и вся пылая жегшимъ его румянцемъ,—а нынче я нарочно пріѣхала, зная, что я васъ встрѣчу. Я пріѣхала вамъ сказать, что это должно кончиться. Я никогда ни передъ кѣмъ не краснѣла, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною въ чемъ-то.

Онъ смотрѣлъ на нее и былъ пораженъ новой духовной красотой ея лица.

— Чего вы хотите отъ меня? сказалъ онъ просто и серьезно.

— Я хочу, чтобы вы поѣхали въ Москву и просили прощенья у Бити, сказала она.

— Вы не хотите этого, сказалъ онъ.

Онъ видѣлъ, что она говорила то, что принуждаетъ себя сказать, но не то, чего хочетъ.

— Если вы любите меня, какъ вы говорите, прощентала она,—то сдѣлайте, чтобы я была спокойна.

Лицо его просіяло.

— Развѣ вы не знаете, что вы для меня вся жизнь, но спокойствія я не знаю и не могу вамъ дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о васъ и о себѣ отдѣльно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствія ни для себя, ни для васъ. Я вижу возможность отчаянія, несчастья... И я вижу счастье, какое счастье!.. Развѣ оно невозможно? прибавилъ онъ одними губами, но она слышала.

Она всѣ силы ума своего напрягала на то, чтобы сдѣлать и сказать то, что должно, но вмѣсто того она остановила на немъ свой взглядъ, полный любви, и ничего не отвѣтила.

„Вотъ оно, съ восторгомъ думалъ онъ;—тогда, когда я уже отчаявался и когда, казалось, не будетъ конца, вотъ оно. Она любить меня. Она признается въ этомъ“.

— Такъ сдѣлайте это для [меня; никогда не говорите мнѣ этихъ словъ и будемъ добрыми друзьями, сказала она словами, но совѣтъ другое говорилъ ея взглядъ.

— Друзьями мы не будемъ, вы это сами знаете. А будемъ-ли мы счастливейшими или несчастнѣйшими изъ людей, это въ вашей власти.

Она хотѣла сказать что-то, но онъ перебилъ ее.

— Вѣдь я прошу одного—прошу права надѣяться, мучаться, какъ теперь, но если и этого нельзя, велите мнѣ исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видѣть меня, если мое присутствіе тяжело вамъ.

— Я не хочу куда прогнать васъ.

— Только не измѣняйте ничего. Оставьте все, какъ есть, ска-
завъ онъ дрожащимъ голосомъ...

Не правда-ли, прелестная бесѣда, въ которой не знаешь, чему удивляться: банальности-ли объясненій и пошлости героевъ, ее ведущихъ, или серьезному искусству, съ которымъ авторъ воспроизводитъ эти банальныя объясненія. Давно въ нашей литературѣ не появлялись подобныя амурныя „козри“ въ произведеніяхъ крупныхъ писателей-романистовъ: они оставляли подобный вздоръ для разныхъ салонныхъ белетристовъ въ родѣ г. Маркевича или г-жи Ольги N и т. п. Но теперь, увы, за посредственностями въ область белетристической пустоты, кажется, и крупныя дарованія двинулись. Въ добрый часъ!

Весьма естественно и нисколько не удивительно, что такой опытный возеръ „насчетъ клубнички“, какъ Вронскій, послѣ годовыхъ трудовъ ухаживанія достигъ вождельнаго конца, такъ-сказать, „увѣнчанія зданія“ своихъ амуровъ; весьма естественно и нисколько не удивительно, что такая пустая дама, какъ Анна Каренина, нарушила съ Вронскимъ право своего высокопоставленнаго, но довольно скучнаго и деревяннаго супруга. Но вотъ что удивительно и что крайне неестественно: „увѣнчаніе зданія“ амуровъ Вронскаго рисуется авторомъ, какъ нѣкое трагическое событіе въ жизни этого героя, до сихъ поръ выказывавшаго единственно прекрасныя манеры и галантерейное великосвѣтское обращеніе. Натура Вронскаго, повидимому, „сотекая изъ лучшаго эфира“ представленій театра Буффъ, такъ усладительныхъ для него, оказывается глубокой натурой, способной на трагическую страсть. „Увѣнчаніе зданія“ его амуровъ для него не веселое и пріятное событіе, которое онъ, по обыкновенію всѣхъ господъ „нѣсколько беззаботныхъ“ насчетъ женщинъ, долженъ запить шампанскимъ въ кругу товарищей, а преступленіе. Вотъ въ какомъ серьезномъ, трагическомъ тонѣ описываетъ гр. Толстой сцену, долженствовавшую быть-бы самой веселой сценой въ эпопеѣ веселенькихъ амуровъ. Сценѣ предшествуютъ два ряда „узаконен-

нихъ и принятыхъ въ литературномъ обществѣ точекъ“, какъ выражается нравственный г. Всеволодъ Соловьевъ, знающій, какъ видно, какіе-то кодексы „насчетъ клубнички“, узаконивающіе, сколько рядовъ точекъ слѣдуетъ ставить передъ такими сценами:

„То, что почти цѣлый годъ для Вронскаго составляло исключительно одно желаніе его жизни (невольно приходитъ мысль, вотъ удивительный народъ: жить цѣлый годъ *однимъ* такимъ желаніемъ!), замѣнившее ему всѣ прежнія желанія; то, что для Анны было невозможно, ужасною и тѣмъ болѣе обворожительною мечтою счастья, — это желаніе было удовлетворено. Блѣдный, съ дрожащею нижнею челюстью, онъ стоялъ надъ нею (какъ это „стоялъ надъ нею?“) и умолялъ успокоиться, самъ не зная, въ чемъ и чѣмъ“... Онъ „чувствовалъ, что долженъ чувствовать убійца, когда видитъ тѣло, лишенное жизни. Это тѣло, лишенное жизни, было ихъ любовь, первый періодъ ихъ любви. Было что-то ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, за что было заплачено этой страшной цѣной стыда. Стыдъ передъ духовной наготой своей давилъ ее и сообщился ему. Но несмотря на весь ужасъ убійцы передъ тѣломъ убитаго, надо рѣзать на куски, прятать это тѣло, надо пользоваться тѣмъ, что убійца приобрѣлъ убійствомъ. И съ озлобленіемъ, какъ-будто со страстью, бросается убійца на это тѣло, и тащитъ, и рѣжетъ его; такъ и онъ покрывалъ поцѣлуями ея лицо и плечи“.

Положимъ, что то оружіе, которымъ былъ убитъ первый періодъ любви Вронскаго, то-есть поцѣлуи и проч., не особенно ужасно; но все-таки читатель согласится, что сцена убійства этимъ оружіемъ въ романѣ выставляется трагической сценой и графъ Вронскій — этотъ Греминъ или Лидинъ новѣйшаго времени — неожиданно приподнять въ этомъ эпизодѣ на пьедесталъ трагическаго героя. И въ дальнѣйшемъ повѣствованіи объ его амурахъ авторъ не старается снять его съ этого пьедестала, а, напротивъ, все больше и больше укрѣпляетъ тамъ Вронскаго. Амуры съ Карениной для Вронскаго „не обыкновенная свѣтская страсть и — изъясняется далѣе въ романѣ, — не игрушка, не шутка, не забава, а дѣло (!), на которое, какъ на одну карту, поставлено все счастье жизни“. Такъ полагаетъ самъ Вронскій, такъ думаетъ, конечно, и самъ графъ Толстой: иначе онъ не сталъ-бы писать пространную эпопею объ амурахъ.

Такое неожиданное открытіе графомъ Толстымъ трагическаго элемента въ похожденияхъ великосвѣтскихъ петербургскихъ дамъ и кавалеровъ „насчетъ клубнички“, повторяю, кажется удивительнымъ и почти невѣроятнымъ. Но авторъ Карениной идетъ еще далѣе въ своемъ прославленномъ аналитическомъ творествѣ: онъ открываетъ трагизмъ въ отношеніяхъ Вронскаго не только къ Аннѣ Карениной, но даже къ скаковой кобылѣ Фру-фру, и дѣлаетъ эти отношенія предметомъ столь-же подробнаго художественнаго анализа и изображенія, какъ и отношенія къ Аннѣ Карениной. Какъ это ни изумительно, но съ художественнымъ міросозерцаніемъ графа Толстаго къ этому слѣдовало придти непреложно... Если графъ Толстой захочетъ быть еще болѣе послѣдовательнымъ, если онъ пожелаетъ свое творчество подвинуть еще далѣе на этомъ новомъ и оригинальномъ пути, то я позволю себѣ рекомендовать почтенному белетристу превосходный сюжетъ для будущаго романа, главнымъ героемъ котораго онъ можетъ сдѣлать любезнаго душѣ его недоросля Левина. Вотъ вкратцѣ изложеніе моего сюжета. Левинъ женился на Кити (какъ это, вѣроятно, и случится) и живетъ съ ней въ сельскомъ уединеніи, презирая всякія политическія и цивиліческія, безплодныя и скучныя заботы, порождаемыя цивилизаціей и прогрессомъ, тормозящими непосредственное счастье жизни. Но, по прошествіи нѣкотораго времени, въ душѣ Левина нежданно-негаданно зарождается чувство болѣе непосредственное и, слѣдовательно, гораздо болѣе сильное и законное, чѣмъ любовь къ женѣ: Левинъ вспыхиваетъ сельско-хозяйственной любовью къ коровѣ Павѣ. Кити, замѣтивъ новую страсть мужа и усматривая въ оной, по женскому легкомыслію, нѣкоторый ущербъ для семейнаго счастья, обнаруживаетъ ревность и уже не желаетъ ухаживать за телятами Павы, какъ за собственными дѣтьми. Слѣдуетъ рядъ разныхъ романически-трагическихъ перипетій, страданій Кити, томленій Павы, объясненій Левина Павѣ... Разумѣется, въ изображеніи этихъ перипетій, страданій, томленій, объясненій должны быть обнаружены самая художественная обстоятельность и самый тонкій психическій анализъ коровьихъ и человѣческихъ ощущеній, распространенный на безчисленное количество листовъ. Романъ можно закончить трагически: самоубійствомъ Кити, невыдержавшей торжества соперницы. За трагедіей, конечно, по утвержденному кодексамъ искусства правилу, должно слѣдовать примиреніе: Левинъ, потеряв-

пись довольно, находить полное нравственное удовлетвореніе въ сельско-хозяйственной привязанности къ Павѣ, весьма основательно постигнувъ, что такая привязанность есть окончательная, единственно-возможная и единственно-нужная для человѣка цѣль жизни, что эта привязанность есть высшее непосредственное счастье на землѣ, выше даже семейнаго счастья съ женщиной. Что-же касается Пavy, то эта героиня... Впрочемъ, остановимся лучше: я боюсь сдѣлать ошибку. Я воображаю, что пишу проектъ для будущаго романа гр. Толстаго, а можетъ быть, на самомъ дѣлѣ только предвосхищаю слѣдующія части „Анны Карениной“. Кто знаетъ, не увидимъ-ли мы уже и въ этомъ романѣ художественно-аналитическое изображеніе сельско-хозяйственныхъ вождельнѣй Левина къ Павѣ, борющихся въ его душѣ съ супружескою любовью; кто знаетъ, не увидимъ-ли мы погибель Анны Карениной отъ ревности къ лошади Вронскаго...

Да извинять мнѣ читатели, что я увлекся шуткою; но оставляя шутку въ сторонѣ и возвращаясь къ роману, мы въ самомъ дѣлѣ находимъ въ немъ уже и теперь трагическое изображеніе страсти Вронскаго къ лошади, идущее въ совершенную параллель съ изображеніемъ страсти его къ Аннѣ Карениной. „Вронскій, говоритъ гр. Толстой, несмотря на всю любовь къ Аннѣ, былъ страстно, хотя и сдержанно увлеченъ кобылой Фру-фру,“ и эти „двѣ страсти не мѣшали одна другой“. И не только не мѣшали, но какъ это видно изъ романа, были даже однородны. Любовь Вронскаго къ женщинѣ и лошади нарисована въ одинаковомъ колоритѣ; авторъ старается сообщить имъ одинъ и тотъ-же трагическій, серьезный характеръ. Сравните сцены страстнаго „обращенія“ кобылы и Анны Карениной съ Вронскимъ — и вы увидите тождественность этихъ сценъ:

Сцена съ кобылой. Вронскій подходитъ къ ней, называетъ ее „милою“ и гладитъ; кобыла чувствуетъ его ласки и отвѣчаетъ на нихъ: „она звучно втянула и выпустила воздухъ изъ напряженныхъ, тугихъ ноздрей и, вздрогнувъ, прижала острое ухо и вытянула крѣпкую, черную губу къ Вронскому, какъ-бы желая поймать его за рукавъ. Но, вспомнивъ о намордникѣ, она встряхнула имъ и опять начала переставлять одну за другою свои тонкія ножки.

— Успокойся, милая, успокойся, сказалъ онъ, погладивъ ее рукою

по крупу, и съ радостнымъ сознаниемъ, что лошадь въ самомъ хорошемъ состояніи, вышелъ изъ денника. Волненіе лошади сообщилось и Вронскому: онъ чувствовалъ, что кровь приливала ему къ сердцу, и что ему, такъ-же, какъ и лошади, хочется двигаться, кушаться (!!); было и страшно, и весело“.

Другая сцена съ кобылой. На скачкѣ Вронскій неловкимъ прыжкомъ на сѣдлѣ во время бѣга переломилъ Фру-фру спину. Фру-фру упала. Вронскій стоитъ надъ ней, „съ изуродованнымъ страстію лицомъ, блѣдный, съ трясущейся челюстью“; онъ терзается въ трагическомъ отчаяніи, онъ „глубоко несчастливъ“, онъ „въ первый разъ въ жизни испытывалъ самое тяжелое несчастье—несчастье неисправимое и такое, въ которомъ виною онъ самъ“. А искалѣченная лошадь, „перегнувъ къ нему голову смотритъ на него своимъ прелестнымъ глазомъ“...

Теперь возьмите слѣдующую сцену съ Анной въ pendant къ первой изъ приведенныхъ. Сейчасъ, сценѣ любезностей Фру-фру съ Вронскимъ:

„Она услышала голосъ, возвращавшагося сына и, окинувъ быстрымъ взглядомъ терассу, порывисто встала. Взглядъ ея зажегся знакомымъ ему огнемъ, она быстрымъ движеніемъ подняла свои красивыя руки, взяла его за голову, посмотрѣла долгимъ взглядомъ и, приблизивъ свое лицо съ открытыми, улыбающимися губами, быстро поцѣловала его ротъ и оба глаза и оттолкнула. Онъ хотѣлъ идти; но она удержала его.“

— Когда? проговорилъ онъ шопотомъ, восторженно глядя на нее.

— Нынче, въ часъ, прошептала она,“ и проч.

Вотъ какова эта эпопея амуровъ, сочиненная гр. Толстымъ: въ ней лошади и женщины третируются въ одинаковомъ тонѣ, въ ней являются герои, обуреваемые роковыми, трагическими увлеченіями къ великосвѣтскимъ дамамъ и къ сказковымъ лошадямъ, въ ней рассказываются съ одинаковымъ художественнымъ анализомъ и одинаковой обстоятельностью и человѣчески, и коровьи, и лошадиныя привязанности...

V.

О главной героинѣ романа, Аннѣ Карениной, я пока не буду говорить, потому что этой героинѣ до сихъ поръ, кро-

мѣ необычайной внутренней пустоты и красивой внѣшности, авторъ еще не успѣлъ придать никакихъ другихъ, болѣе опредѣленныхъ и знаменательныхъ признаковъ. Притомъ о ней еще будетъ время побесѣдовать, когда мы увидимъ окончаніе романа. Точно также оставляю въ сторонѣ и второстепенныхъ лицъ романа, каковы: Кити, Дели, Бетси, представляющихъ подобныя-же бессодержательные образы бессодержательнаго существованія. Объ этихъ лицахъ, на-сколько они опредѣлились въ первыхъ двухъ частяхъ „Анны Карениной“, трудно сказать что-нибудь болѣе. Можно замѣтить только одно: авторъ, несмотря на видимую пустоту и бессодержательность этихъ лицъ, ихъ жизни, стремленій, обстановки, входитъ въ самое тщательное изображеніе всего этого и въ его изображеніи нигдѣ не чувствуется, чтобы онъ утомлялся такимъ, довольно безплоднымъ, дѣломъ, что-бы онъ относился къ внутреннему строю этихъ героевъ и внѣшнимъ ея формамъ отрицательно: его художественный объективизмъ ни мало не смущается самою пошлою пошлостью и самою пустѣйшею пустотою изображаемаго имъ обезпеченнаго міра.

Покуда довольно, читатель. Когда романъ гр. Толстого выйдетъ вполнѣ, я еще возвращусь къ нему и его подробную и общую оцѣнку имѣю впереди. Теперь-же, въ двухъ частяхъ „Анны Карениной“, авторъ даетъ то, что указано, и ничего болѣе... Нѣтъ, виновать, даетъ еще кой-что: именно бездну художественнаго дарованія. Но о художественномъ дарованіи гр. Толстаго на этотъ разъ нечего говорить: оно всѣмъ извѣстно и признано давно, во-первыхъ; а во-вторыхъ, стоитъ-ли говорить о великомъ художествѣ, если оно потрачено въ изобиліи на совершенно вздорное и даже, если хотите, растлѣнное содержаніе?..

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА.

Свиданіе австрійскаго императора съ итальянскимъ королемъ. — Празднества по этому поводу въ Венеціи. — Черныя тучи на европейскомъ горизонтѣ. — Вопросъ о гарантіяхъ. — Многочисленныя затрудненія, вытекающія изъ отношеній между папой и итальянскимъ правительствомъ. — Споръ Германіи съ папой. — Несогласія съ Италіей. — Приверженность итальянскихъ демократовъ къ союзу съ Германіей. — Бельгійскій вопросъ. — Затруднительное положеніе бельгійскаго правительства. — Воинственная статья газеты „Post“. — Враждебное отношеніе англійскаго общественнаго мнѣнія къ прусскимъ требованіямъ. — Требованіе свободы совѣсти, заявленное католицизмомъ. — Какую цѣну имѣетъ такое требованіе.

Нѣсколько времени тому назадъ всѣ политическія европейскія газеты были заняты описаніемъ путешествія австрійскаго императора Франца-Иосифа въ Венецію. Въ иллюстрированныхъ изданіяхъ печатались рисунки, изображающіе моменты свиданія государей австрійскаго и итальянскаго, балы въ Венеціи и разные эпизоды изъ путешествія. Гость встрѣтилъ радушный приѣмъ со стороны итальянскаго населенія. Казалось, національная вражда была забыта... а давно-ли лилась кровь въ битвахъ подъ Маджентой и Сольферино; давно-ли итальянцы и французы съ одной стороны, а австрійцы съ другой сражались между собою? И во имя чего происходила кровавая борьба? Для осуществленія какой-то наполеоновской идеи, для укрѣпленія власти Наполеона III, до которой, конечно, ни итальянцамъ, ни австрійцамъ не было никакого дѣла.

Въ виду такихъ соображеній невольно напрашивается вопросъ, не лучше-ли было австрійскому императору Францу-Иосифу не доводить дѣло до кровавой развязки, не лучше-ли было ему разойтись съ Италіей мирно, безъ боя уступивъ ей Ломбардію, таеь-

какъ было для всѣхъ очевидно, что удержать Милана онъ не могъ. Въ случаѣ-же невозможности согласиться въ подробностяхъ съ итальянскимъ правительствомъ, не проще-ли было отдать споръ на разрѣшеніе европейскаго конгресса? Результатъ получился-бы навѣрное тотъ-же, что и послѣ войны, съ тою разницей, что была-бы сохранена жизнь нѣсколькимъ тысячамъ людей и не были-бы израсходованы безвозвратно миліоны денегъ.

Точно также и относительно Венеціи. Несомнѣнно, что для Австріи было-бы несравненно выгоднѣе уступить ее не послѣ пораженія подъ Садовой, а ранѣе объявленія войны. Если-бы Австрія уступила Италіи Венецію и заключила-бы союзъ съ Италіей и Франціей,—что было-бы результатомъ уступки,—Пруссія не рѣшилась-бы объявить войну своей соперницѣ.

Многія газеты, припоминая себѣ исторію Венеціи послѣдняго времени, выразили изумленіе въ виду радушія и предупредительности, съ какою венеціанскій народъ встрѣчалъ австрійскаго императора. Но именно венеціанская исторія послѣдняго времени превосходно объясняетъ этотъ фактъ. Не надо забывать, что Венеція была уступлена почти добровольно. Сраженія при Кустоцѣ и Лиссъ происходили далеко отъ Венеціи; они были неудачны, о нихъ скоро забыли уже и потому, что вниманіе всѣхъ остановила на себѣ битва подъ Садовой, рѣшившая давнишній споръ между Австріей и Пруссіей...

Впрочемъ, оставимъ общія разсужденія и предположенія и возвратимся къ фактамъ. Мы, конечно, не станемъ сообщать подробностей венеціанскаго свиданія; наши читатели, вѣроятно, знакомы съ ними изъ газетъ. Однакожь позволимъ себѣ остановиться на тѣхъ фактахъ, которые мы считаемъ болѣе важными. При этомъ считаемъ неизлишнимъ напомнить читателямъ, что въ Венеціи-же происходило погребеніе Манина, защищавшаго въ 1848 году Венецію противъ австрійскихъ войскъ. Манинъ умеръ въ изгнаніи въ Парижѣ. Его гробъ былъ перенесенъ въ Венецію и похороненъ тамъ при громадномъ стеченіи народа, прибывшаго сюда со всѣхъ концовъ Италіи. Празднества въ честь австрійскаго императора Франца-Иосифа случились какъ-разъ вслѣдъ за этимъ событіемъ. Странное стеченіе обстоятельствъ! Многіе изъ старыхъ итальянскихъ патріотовъ спрашивали себя: видятъ-ли они все это во снѣ или дѣйствительно эти факты совершаются на яву? Много неосжи-

данностей и непредвидѣнныхъ событій совершается въ жизни народовъ!

На границѣ итальянскихъ владѣній австрійскій императоръ былъ встрѣченъ военной депутаціей, во главѣ которой находился генераль Менабрѣа. Императоръ поцѣловался съ генераломъ Менабрѣа, въ которомъ онъ привѣтствовалъ перваго итальянца, встрѣченнаго имъ на итальянской землѣ. Затѣмъ онъ произвелъ смотръ почетному караулу, поставленному для встрѣчи его на станціи желѣзной дороги. Такіе-же смотры онъ дѣлалъ почетнымъ карауламъ на всѣхъ другихъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Францъ-Іосифъ выглядѣлъ очень веселымъ, много шутилъ, разговаривалъ съ командирами почетныхъ карауловъ и пріѣхалъ въ Венецію въ самомъ отличномъ расположеніи духа.

Король Викторъ-Эмануилъ встрѣтилъ своего гостя на станціи желѣзной дороги. Оба государя поцѣловались нѣсколько разъ и горячо обнялись. „Казалось, пишутъ въ одной газетѣ,—что каждый поцѣлуемъ они хотѣли смыть воспоминаніе о Маджентѣ, Сольферино, Кустоцѣ и Лиссѣ“.

Австрійскій императоръ былъ одѣтъ въ мундиръ итальянской полевой пѣхоты. Викторъ-Эмануилъ и оба его сына были въ генеральскихъ австрійскихъ мундирахъ; племянникъ итальянскаго короля былъ въ мундирѣ австрійскаго морскаго офицера. Императоръ дружески поздоровался съ молодыми людьми. Принцъ Гумбертъ вмѣстѣ съ своимъ отцомъ занялъ мѣсто въ императорской гондолѣ.

Государя вышли на берегъ у пристани королевскаго сада; Францъ-Іосифъ встрѣтилъ здѣсь, въ одной изъ садовыхъ бесѣдокъ, принцессу Маргариту, которая любезно поспѣшила къ нему на встрѣчу. Онъ поцѣловалъ у нея руку и пошелъ ко дворцу подъ руку съ нею.

Нѣсколько отдохнувъ, императоръ сдѣлалъ визитъ королю, причемъ оставался наединѣ съ нимъ три четверти часа. Потомъ онъ отправился къ принцессѣ Маргаритѣ, которая освѣдомилась у него о здоровьи императрицы и своей двоюродной тетки, экс-императрицы Маріи-Анны, принцессы Савойской, супруги стараго экс-императора Фердинанда.

Потомъ король представилъ императору министровъ и другихъ официальныхъ лицъ. Венеціанскій патріархъ посѣтилъ обоихъ го-

сударей и былъ принять ими съ большой благосклонностью. Послѣ этого визита императоръ принималъ синдика, членовъ муниципальнаго совѣта и, „grosso modo“, цѣлую толпу почетныхъ горожанъ и иностранцевъ.

Вечеромъ — большой политическій и дипломатическій обѣдъ для высокопоставленныхъ лицъ и свиты обоихъ монарховъ; сами-же государи предпочли официальному банкету семейный обѣдъ, „запросто“, въ которомъ приняли участіе только принцы съ ихъ супругами.

Площадь св. Марка была, между тѣмъ, иллюминирована; временный фонтанъ дѣйствовалъ: воды его струились изъ двойной раковины въ огромную корзину живой зелени. Толпа, собравшаяся на площади, громко привѣтствовала императора и короля; оба государи показали въѣстъ у окна и были встрѣчены единодушнымъ восклицаніемъ: „Viva Francesco-Giuseppe! Viva Vittorio Emanuele!“ Вскорѣ начался фейерверкъ; зажглись бенгальскіе огни; лодки украсились цвѣтными фонарями. Все это отражалось въ водахъ канала св. Марка. Зрѣлище было великолѣпное. Дворецъ дожей, освѣщенный бенгальскимъ огнемъ, казался чѣмъ-то волшебнымъ.

Около десяти часовъ начался балъ; въ двадцати богато убранныхъ залахъ тѣснилось три тысячи человекъ. Залы были разукрашены венеціанскими хрустальными вазами съ громадными букетами фіалокъ и вензелями Франца-Иосифа. Государи вошли вмѣстѣ. Кромѣ почетной кадрили, начатой принцесою Маргаритою съ австро-венгерскимъ министромъ Андраши, танцевъ почти не было, во избѣжаніе сильной толкотни. Блестящіе мундиры австрійцевъ и венгерцевъ смѣшивались съ итальянскими мундирами; венеціанскія красавицы соперничали между собою роскошью и граціею.

Императоръ разговаривалъ съ дамами и многими лицами изъ итальянскаго политическаго міра. Онъ казался здоровымъ и очень довольнымъ. Бѣлокурые волосы начинаютъ уже сѣдѣть у него на головѣ и на бородѣ, но, несмотря на свои сорокъ пять лѣтъ, Францъ-Иосифъ кажется очень молодавымъ; движенія его еще очень живы, на лицѣ выражается увлеченіе. Всѣ присутствовавшіе наши его очень привѣтливомъ. Говорилъ онъ то по-итальянски, то по-французски, а иногда по-нѣмецки и по-венгерски.

На другой день императоръ и король производили смотръ небольшому отряду въ 12,500 человѣкъ, но если число солдатъ было незначительно, то плацъ, на которомъ происходили эволюція, былъ окруженъ несмѣтною толпою зрителей, которые привѣтствовали ихъ величества продолжительными виватами. На возвратномъ пути во дворецъ австрійскій императоръ ѣхалъ постоянно возлѣ кареты принцессы Маргариты, принявъ на себя обязанность ея почетнаго кавалера.

Въ три часа пополудни королевскій кортежъ направился къ Лидо, гдѣ отъ города была приготовлена закуска. Площадь была запружена любопытными, ожидавшими гостей съ самаго утра. Францъ-Иосифъ удостоилъ синдика Венеціи привѣтливой бесѣдой.

Въ пять часовъ пушечные залпы возвѣстили о возвращеніи королевскихъ галерь...

Большой придворный обѣдъ былъ сервированъ на 140 персонъ. По правую руку императора сидѣла принцесса Маргарита; напротивъ его — оба сына короля. Послѣ „королевскаго марша“, и императорскаго гимна ихъ величества провозгласили тосты. Король, сіяя радостью, произнесъ:

— За здоровье императора австрійскаго и короля венгерскаго, моего любезнаго гостя, брата и друга! За благоденствіе и постоянный союзъ нашихъ народовъ во вѣки!

Императоръ привѣтливо отвѣтилъ на это:

— Съ чувствомъ живой признательности за сочувственный и радушный пріемъ, оказанный мнѣ здѣсь, и искренней дружбы къ вашему величеству, пью за здоровье его величества короля итальянскаго, за здоровье королевскаго дома, за благоденствіе и преуспѣваніе Италіи!

Телеграфъ успѣшилъ возвѣстить тотчасъ-же всему цивилизованному міру объ этихъ тостахъ. Слова: „Италіи“, „короля итальянскаго“ были какъ-бы подчеркнуты императоромъ и замѣчены всѣми.

Вечеромъ былъ парадный спектакль въ театрѣ Фениче. При появленіи государей всѣ присутствовавшіе поднялись съ мѣстъ; дамы стояли въ своихъ ложахъ и втеченіи десяти минутъ слышался громъ рукоплесканій и крики: „Да здравствуетъ императоръ австрійскій!“ Оркестръ игралъ австрійскія мелодіи; потомъ была спѣта кантата, приличная событію. Августѣйшія особы уѣхали изъ

театра послѣ второго дѣйствія „*Lucia*“. Было замѣчено, что Викторъ-Эмануилъ вышелъ изъ ложи одновременно съ императоромъ австрійскимъ, потомъ воротился снова и поблагодарилъ публику жестомъ за сочувственную демонстрацію, произведенную ею и за тотъ тактъ, съ которымъ она держала себя.

Отъѣздъ императора былъ назначенъ на другой день, въ среду, 7 апрѣля, въ десять часовъ. Пиацета и Эсклафонская набережная были запружены народомъ. Францъ-Иосифъ и Викторъ-Эмануилъ сѣли на итальянскую яхту: „Эрцгерцогиня австрійская“, которая должна была отвезти ихъ въ гавань Маламокко, гдѣ находилась австрійская эскадра. Всѣ корабли на рейдѣ были распѣвлены флагами и салютовали отъѣздъ. Нарядныя суда: *биссоны*, *джіалеты*, *тюркины*, *ганзанты*, составляли блестящій кортѣжъ королевской яхтѣ. Впродолженіи всего проѣзда публика хлопала въ ладоши и кричала: „вивать!“ Разукрашенные биссоны и гондолы окружали сначала императорскій пароходъ; потомъ, когда онъ ускорилъ свое движеніе, онѣ выстроились въ два ряда. Раздались новые возгласы, императоръ поклонился еще разъ, пароходъ сталъ удаляться и, наконецъ, скрылся за островомъ св. Георгія. Прощаніе, исполненное самой радушной искренности, произошло въ Маламокко, гдѣ ожидала императорская яхта. Король и императоръ долго обмѣнивались поклонами съ своихъ судовъ.

Когда Францъ-Иосифъ царствовалъ въ Венеціи, его никогда не встрѣчали съ такимъ праздничнымъ блескомъ и съ такимъ энтузіазмомъ...

Итакъ, австро-венгерскій императоръ и итальянскій король стали друзьями. Это прекрасно и, какъ мы уже замѣтили, можно только жалѣть о томъ, что это не произошло раньше. Но откуда такая неожиданная пріязнь, такая внезапная дружба?

Нечего и говорить, что мы не имѣемъ притязаній на знакомство съ тѣмъ, что могли передавать другъ другу ихъ величества впродолженіи тѣхъ трехъ четвертей часа, въ которыя они оставались вдвоемъ, съ глазу на глазъ. Если намъ скажутъ, что они вели между собой обыкновенный свѣтскій разговоръ, почти не касаясь политики, что они болѣе говорили о своихъ семейныхъ дѣлахъ, чѣмъ о международныхъ отношеніяхъ, мы не найдемъ въ этомъ ничего не-

правдоподобнаго или необычайнаго. Но обоимъ государямъ сопутствовали ихъ главные министры, которые вели переговоры во время большихъ официальныхъ празднествъ. Мы не претендуемъ тоже на знаніе того, что говорилось гг. Андраши и Висконти-Веностою во время ихъ двухъ долгихъ бесѣдъ, на которыя были допущены только секретари обоихъ министровъ. Но никто, конечно, не повѣритъ тому, что въ ихъ бесѣдахъ въ понедѣльникъ и вторникъ политика была отодвинута на второй планъ. Газеты, выдающія себя за близкія ко двору, говорятъ, — основываясь, по ихъ словамъ, на весьма достовѣрныхъ источникахъ, — что австрійскій и итальянскій министры занимались преимущественно вопросомъ *панско-бисмаркскимъ*, и что они, съ самаго начала, согласились въ удобопримѣнимости инерціи и уклончивости, крайне вѣжливой, крайне лестной, но тѣмъ не менѣе крайне явной, въ отвѣтъ на энергическія порыванія, обнаруживаемыя берлинскимъ кабинетомъ.

Нѣсколько словъ о послѣднихъ дѣйствіяхъ этого кабинета. Собственно говоря, изъ всѣхъ вопросовъ европейской политики важнѣйшей состоитъ теперь въ постоянно возрастающей враждебности протестантской Германіи къ папизму. Съ каждымъ днемъ кризисъ, казалось, принималъ болѣе и болѣе острый характеръ; уже предвидѣлась возможность большихъ столкновеній, не только внутреннихъ, но и внѣшнихъ; показались даже двѣ черныя точки на политическомъ горизонтѣ: одна изъ нихъ висѣла надъ Бельгією, другая надъ Италією, но пока все успокоилось...

Черная точка, угрожавшая Италіи, получила уже даже свою кличку: *Вопросъ о гарантіяхъ*. Дѣло заключается въ слѣдующемъ:

Въ итальянское національное право включены два противорѣчивые принципа: 1) отдѣленіе церкви отъ государства, формулированное Кавуромъ въ извѣстномъ выраженіи: „Свободная церковь въ свободномъ государствѣ“; 2) союзъ церкви съ государствомъ, зависящій отъ бюджета вѣроисповѣданій и разныхъ второстепенныхъ учрежденій. Приверженцы итальянской конституціи называютъ такое положеніе „счастливымъ умиротвореніемъ двухъ противоположныхъ началъ“; приверженцы строгой логики видятъ здѣсь, напротивъ, „печальное противорѣчіе, которое должно породить много непріятностей, столкновеній, можетъ быть даже и бѣдствій“...

Подобный дуализмъ конституціи усложняется еще вопросомъ

о *гарантіяхъ*. Овладевъ въ сентябрѣ 1870 г. всей территоріей, которая оставалась еще во власти папы отъ прежнихъ владѣній св. престола, и занявъ Римъ, итальянцы сочли нужнымъ остановиться передъ дворцомъ папы: они предоставили Пію IX Ватиканъ съ его садами, какъ это совѣтовалъ нѣкогда Наполеонъ III; они присвоили себѣ всѣ владѣнія папы, за исключеніемъ центрального пункта, на который не осмѣлились посягнуть, хотя никто не могъ имъ воспрепятствовать... Это служить доказательствомъ, на-сколько имъ было неловко передъ своею собственною совѣстью. По всей вѣроятности, они считали свое дѣло неправымъ, если не рѣшились довести его до конца. Они завѣряли, что не лишали папу его свѣтскихъ правъ, которыя оставлены ему, будто-бы, во всей ихъ неприкосновенности. Будетъ-ли папа владыкою четырехъ-пяти гектаровъ или-же четырехсотъ-пятисотъ квадратныхъ километровъ, говорили они, это не составитъ различія для принципа, для самой сути вещей. Отъ этого можетъ произойти измѣненіе только въ учебникахъ географіи и въ статистикѣ, — можетъ быть тоже и въ бюджетѣ его святѣйшества, — но собственно теологамъ нѣтъ никакого дѣла до подобнаго пережевыванія и до этихъ новыхъ денежныхъ счетовъ. Такая аргументація нравилась итальянцамъ и казалась имъ неотразимою. Не довольствуясь заявленіемъ ея для оправданія своего прошлаго поведения, они объявляли ее нормою и для своихъ будущихъ дѣйствій и безъ всякаго запроса съ чьей-бы то ни было стороны вотировали, 13 мая 1871 г., такъ-называемый „законъ о гарантіяхъ“, которымъ они признавали за папою всѣ прерогативы государя, вполне облеченнаго своею властью, обязуясь при этомъ уважать его, а въ случаѣ нужды даже и защищать. Они могли-бы разъ навсегда покончить съ вопросомъ о раздѣленіи церкви и государства. И покончивъ его въ отношеніи къ папѣ, они покончили-бы его на пользу всей Европы; но у нихъ было черезчуръ ужъ много ума, слишкомъ много хитрости, чтобы опираться на политику новѣйшаго гражданскаго права, которая оправдала-бы ихъ; они предпочли не слагать съ себя права противника, — а оно могло только повредить имъ. Они говорили: „Мы оставили неприкосновенной верховную власть папы, мы не посягнули на его имущество; вмѣсто того, чтобы взять *все*, мы взяли только

почти все^а. Но развѣ въ такомъ оправданіи не заключается прямого обвиненія Италіи въ присвоеніи ею непринадлежащихъ ей правъ и имущества? Съ строгой точки зрѣнія принципа, Италія имѣла право овладѣть всѣмъ Римомъ, какъ принадлежащимъ римлянамъ; но она не имѣла права взять Римъ за исключеніемъ одной его частицы, подъ тѣмъ предлогомъ, что эта частица принадлежитъ папѣ. И въ то время, какъ папа проклиналъ и отлучалъ правительство Виктора-Эмануила, пользуясь на то своимъ правомъ, и металъ въ него всѣми громами, отыскавшимися еще въ кладовыхъ Ватикана, который былъ оставленъ ему, — правительство Виктора-Эмануила принимало на себя, въ отношеніи святѣйшаго отца, личину, полную уваженія и сочувствія къ нему. Оно охотно повторило-бы слова Наполеона I, который, за три года передъ тѣмъ, какъ арестовалъ папу въ Савонѣ, писалъ одному изъ своихъ префектовъ: „Отвѣчайте ему, какъ государю, повелѣвающему 400,000 войска“.

По поводу этого закона о гарантіяхъ возникаютъ теперь серьезныя затрудненія между недавно вполнѣ дружественными правительствами — итальянскимъ и сѣверо-германскимъ. Бисмаркъ предлагаетъ Висконта-Веностѣ слѣдующее разсужденіе, нелишанное, какъ намъ кажется, здраваго смысла и логики:

„Вы гарантируете верховную власть папы, короля ватиканскаго... Очень хорошо. Но до какихъ предѣловъ гарантируете вы его? И противъ кого? Если противъ римскихъ республиканцевъ, противъ друзей Гарibaldi и Мадзини, я не усматриваю въ этомъ никакихъ неудобствъ. Но не помышляете-ли вы тоже гарантировать его противъ меня... противъ германской имперіи? Знайте, что я считаю себя оскорбленнымъ вашимъ *protégé*! Если онъ, — какъ вы говорите, — вполнѣ независимый государь, тогда вамъ нечего мѣшаться въ нашу съ нимъ ссору: мы сами уладимъ дѣло. Если-же онъ не безусловно независимъ, если ваше покровительство ему стоитъ выше его верховной власти, то, ясно, онъ подвластенъ вамъ и тогда уже вы должны заставить его дать мнѣ удовлетвореніе. И если вы не сдѣлаете этого, то мнѣ придется требовать отчета уже у васъ. Я хочу осилить ватиканскаго владыку, какъ осилилъ уже многихъ другихъ. Если вы предоставите мнѣ покончить съ нимъ дѣло по моему усмотрѣнію, то вы будете смо-

тѣтъ изъ перваго яруса на это любопытное представленіе; если же вы вмѣшаетесь въ дѣло, вздумавъ защищать папу подъ тѣмъ плохимъ предлогомъ, что для того, чтобы добраться до него, нужно пройти черезъ вашу территорію и нарушить вашу нейтралитетъ, то, нечего дѣлать, отвѣтственнымъ лицомъ передо мною явитесь вы. Но вы пораскиньте умомъ хорошенько прежде, чѣмъ рѣшитесь принять сторону папы противъ меня; клерикалы всего міра и, въ особенности, клерикалы французскіе, только и ждутъ случая, чтобы снова разъединить Италію. Еще вчера папа былъ вашимъ врагомъ; сегодня онъ сдѣлался моимъ; и вы вдругъ рѣшитесь стать за него противъ меня... Можеть-ли это быть! Неужели вы сдѣлаете такую ошибку?..“

Мы полагаемъ, что нисколько не преувеличили ни аргументацію берлинскаго кабинета, ни одушевляющія его намѣренія. Впрочемъ, доказательствомъ правильности нашихъ предположеній можетъ послужить слѣдующая статья офиціозной берлинской „National Zeitung“, которой, очевидно, было поручено пустить „пробный шаръ“.

„Официальное господство папы сообщаетъ ему всѣ права главы государства, не налагая на него никакой отвѣтственности. Заключение въ предѣлы, предписываемыя „закономъ о гарантіяхъ“, итальянское правительство и итальянскіе подданные беспилны для защиты иностранныхъ государствъ и своихъ собственныхъ согражданъ отъ незаконныхъ дѣйствій и требованій папы.

„Посредствомъ своихъ энцикликъ и посланій, служащихъ руководствомъ для примѣненія на практикѣ принциповъ, излагаемыхъ въ энцикликахъ, папа можетъ подвергать опасности политическое существованіе тысячъ людей; онъ можетъ возбуждать цѣлыя націи къ государственной измѣнѣ. Итальянское правительство не въ состояніи оборонять права, нарушаемыя подобнымъ образомъ. А между тѣмъ Италія вполнѣ защищаетъ папу противъ силы оружія; нельзя напасть на папу и его окружающихъ, не посягнувъ на итальянскую территорію... Ясно, что подобное положеніе не можетъ продолжаться, въ силу своего противорѣчія. Международное право не налагаетъ ни на одно государство обязанности признавать властителей, въ территоріи которыхъ не находятся ни одного пункта

для атаки, то-есть никакого залога против незаконных дѣйствій, которыя способны совершить подобные властители.

„Съ того времени, какъ прежняя церковная область включена въ составъ итальянскаго королевства, папа, въ глазахъ иностранныхъ державъ, только подданный итальянскаго правительства, и это правительство отвѣчаетъ за дѣйствія папы передъ другими правительствами.

„Въ виду этого, каждое государство, признающее свои права нарушенными какимъ-нибудь дѣйствіемъ папы, можетъ требовать удовлетворенія отъ правительства итальянскаго, на территоріи котораго произведенъ незаконный поступокъ,—можетъ требовать этого нисколько не соображаясь съ обязательствами, налагаемыми на это правительство закономъ о гарантіяхъ; итальянское-же правительство, съ своей стороны, не можетъ сослаться на законъ о гарантіяхъ съ цѣлью отклонить отъ себя требованія объ удовлетвореніи, представляемыя ему другими государствами...“

Въ этой статьѣ все слишкомъ ясно и опредѣленно, и она можетъ быть истолкована правильно только въ слѣдующемъ смыслѣ: „Вашъ законъ о гарантіяхъ стѣсняетъ насъ. Избавьте насъ поскорѣе отъ этой помѣхи. Если-же вы захотите воспрепятствовать намъ въ полученіи отъ папы законно требуемаго нами удовлетворенія, то мы вынуждены будемъ истребовать его отъ Италіи, прикрывающей собою папу“.

Очевидно, поднятый въ Германіи вопросъ изъ чисто-національнаго превращается въ международный, въ такой открытый вопросъ, на который, какъ и на многіе другіе, ему подобныя, не можетъ существовать разрѣшенія юридическаго. Въ другія времена, можетъ быть, нашли-бы болѣе удобнымъ прибѣгнуть къ третейскому суду, къ международной конференціи; но въ настоящее время правосудіе олицетворяется гораздо болѣе въ силѣ, чѣмъ въ правѣ; главное, болѣе чествуемое божество, все-таки остается Марсъ; великимъ жрецомъ его состоитъ великій канцлеръ германской имперіи. Помиримся съ такимъ фактомъ, сказавъ себѣ: „Тѣмъ хуже для тѣхъ, кого бьютъ!“ Однакожь, никто ничѣмъ не гарантированъ, что и ему, въ свою очередь, придется, пожалуй, испытать участь битаго. Вспомните, какая дружба существовала между Германіей и Италіей всего какихъ-нибудь полтора года

тому назадъ: Германія намѣревалась организовать всю прусскую армію по образцу итальянской; нѣмецкіе капиталисты брались перестроить, за 500 миліоновъ, всѣ итальянскія крѣпости, обращенныя лицомъ къ Франціи; журналъ „Паскино“ помѣстилъ у себя гравюру, на которой была изображена Германія въ видѣ Брунегильды, облеченной въ панцырь и съ императорскою короной на головѣ, и Италія (немножко похудошавѣ) въ образѣ воинственной Клоринды, съ королевскою короною. Обѣ подруги, плечомъ къ плечу, стояли обнявшись и смотрѣли въ окно. Одна изъ нихъ говорила другой: „Какъ тебѣ кажется, сестрица, изъ дома Франціи несетъ дымомъ; онъ непріятно щекочетъ наши ноздри... Не пойти-ли намъ потушить у нея огонь?..“ Въ настоящую минуту Брунегильда объявляетъ уже, что ей не нравится дымъ, выходящій изъ дома ея милой итальянской сестрицы. Времена переѣнчивы!

Но итальянская лѣвая сторона нисколько не расположена отказываться отъ прусскаго союза; она поддерживаетъ берлинскія ноты и постоянно твердитъ о благѣ, къ которому несомнѣнно должно привести исполненіе требованій Пруссіи. При этомъ умѣренная фракція лѣвой поддерживаетъ прусскій союзъ вяло и нерѣшительно; но какова она сама, таковы и ея дѣйствія. Но крайняя лѣвая дѣйствуетъ энергично; она состоитъ изъ итальяномановъ-тевтомановъ, которые привержены къ бисмарковской идеѣ даже болѣе, чѣмъ самъ Бисмаркъ. Они все еще не могутъ простить бѣдному Гарибальди ту помощь, которую онъ оказалъ Франціи противъ побѣдосныхъ армій Мольтке; сердятся они и на Виктора-Эмануила за то, что онъ не воспользовался захватить снова Ниццу и Савойю, и очень желаютъ создать снова удобный случай къ такому захвату. Ни за что въ мірѣ не хотятъ они отказаться отъ прусскаго союза, который отмститъ имъ за Ментану и даже за Мадженту и Сольферино; страшная ненависть къ Франціи составляетъ ихъ главнѣйшую добродѣтель. Они говорятъ, что итальянское правительство неразумно поддерживаетъ своего врага, который вооружаетъ противъ нея небо и землю, тайно и даже открыто составляетъ заговоры на ея погибель. Такимъ образомъ, крайняя лѣвая намѣревается поддерживать вліяніе германской политики въ парламентѣ и странѣ посредствомъ агитаціи въ пользу откры-

таго и радикальнаго разрыва католицизма съ государствомъ. Члены ея говорятъ, что для того, чтобы положить конецъ международнымъ столкновеніямъ, возникающимъ въ настоящую минуту, долгъ и интересъ Италіи приказываютъ ей примѣнить къ папѣ принципы общаго права, поставя католическое вѣроисповѣданіе въ уровень съ другими исповѣданіями, — не ниже ихъ, но и нисколько не выше. Объявленіе свободы совѣсти въ Италіи, по ихъ мнѣнію, удовлетворяетъ всему и отвѣчаетъ на все. Далѣе они утверждаютъ, что знаменитый законъ о гарантіяхъ и ст. 2 основнаго итальянскаго государственнаго статута заключаютъ въ себѣ двѣ опасности для Италіи и еще болѣе для самой монархіи; во имя безопасности отечества и самаго существованія династіи они требуютъ отміны этихъ обоихъ законовъ законодательнымъ путемъ.

Въ настоящую минуту въ Италіи всѣ заняты посѣщеніемъ германскаго императорскаго принца; дружескія отношенія, завязавшія между обоими наслѣдниками престоловъ, могутъ послужить противодѣйствіемъ тому вліянію, которое произведено посѣщеніемъ императора австрійскаго на настроеніе Виктора-Эмануила...

Съ другой стороны, ватиканская курія тоже доводитъ дѣло до крайности. Подъ непосредственнымъ и преобладающимъ вліяніемъ іезуитовъ, святѣйшій отецъ злоупотребляетъ до-нельзя тѣми льготами безнаказанности, которыя предоставлены ему закономъ о гарантіяхъ, смущаетъ совѣсть вѣрующихъ и нарушаетъ спокойствіе сосѣднихъ державъ. Послѣдняя энциклика отъ 5 февраля, обращенная къ германскимъ прелатамъ, и папское посланіе къ швейцарскому духовенству служатъ очевиднымъ свидѣтельствомъ, что папскій престолъ ждетъ своего спасенія отъ насильственныхъ потрясеній. И если протестантская германская имперія питаетъ къ нему смертельную ненависть, то онъ отвѣчаетъ ей тѣмъ-же, не имѣя обыкновенія въ этомъ отношеніи оставаться у кого-нибудь въ долгу. Выѣстъ съ тѣмъ паписты не теряютъ ни на минуту изъ виду безпощадную войну, объявленную ими единой Италіи и династіи Виктора-Эмануила. Объявивъ себя непогрѣшимою, — и даже всегда считавъ себя таковою, что-бы ни говорили объ этомъ, — папская власть обладаетъ громадною силой, заключающейся въ способности никогда не отчаяваться въ себѣ и никогда не повицаться ни одного изъ своихъ притязаній. Нельзя сомнѣваться въ ея не-

обыкновенной гибкости въ извѣстныхъ случаяхъ... За этою наружною уклончивостію таится безусловная твердость. Никогда, рѣшительно никогда папскій престолъ не отказывался ни отъ одной изъ своихъ выгодъ, ни отъ одного изъ своихъ предполагаемыхъ правъ; никогда еще онъ не отвергалъ ни одной очевиднѣйшей нелѣпости, ни одной безнравственности, ни одного нечестнаго дѣла. Всмотритесь хорошенько: онъ не отказался еще отъ птоломеевой системы, по которой солнце ходитъ вокругъ земли; онъ не обличилъ еще подлога „ложныхъ декреталій“, ни злодѣяній Борджіевъ, ни ужасовъ варфоломеевской ночи. И теперь онъ надѣется овладѣть слова своей свѣтской властью, всѣми своими владѣніями, которыя онъ приобрѣлъ по частямъ, извѣстнымъ всѣмъ способомъ... онъ надѣется даже увеличить ихъ при случаѣ.

Мы смотримъ совершенно безпристрастно на подготовляющуюся теперь трагикомедію съ ея тремя главными дѣйствующими лицами: папскимъ престоломъ, монархією Виктора-Эмануила и евангелическо-лютеранской имперіей. Въ этой борьбѣ мы будемъ простыми зрителями, насъ она не будетъ касаться и мы можемъ оставаться вполне безпристрастными. Папа далеко не слабѣйшій изъ трехъ бойцовъ, какъ это должно было-бы предполагать. Что касается до Бисмарка, то мы признаемъ охотно, что онъ просто придирается къ синьерамъ Висконти-Веноста, Ланца, Мингетти-Кантели и tutti quanti; но вѣдь и эти дипломаты не даромъ-же итальянцы! Такимъ образомъ, каждый изъ дѣйствующихъ лицъ силенъ и нѣтъ причины страшиться ни за одного изъ нихъ...

Въ то самое время, какъ Европа была занята предположеніями по поводу возникшаго германско-итальянскаго вопроса, дипломатическій міръ былъ озадаченъ постановкой на сцену новаго вопроса, значительно усложнявшаго возникшія недоразумѣнія. Бельгійскій вопросъ упалъ неожиданно, какъ снѣгъ на голову. Онъ былъ повтореніемъ итальянскаго и возникъ тоже изъ-за споровъ съ папою. Помимо официальной ноты Бисмаркъ обратился къ бельгійскому правительству съ конфиденціальнымъ совѣтомъ принять дѣйствительныя мѣры къ ослабленію ультрамонтанства, которое, постоянно

усиливаясь, грозитъ сдѣлаться опаснымъ для спокойствія Европы, а еще болѣе для самой Бельгіи.

Откуда-же онъ произошелъ?

Нѣкоторыя газеты клерикальнаго закала очень рѣзко отнеслись къ дѣйствіямъ Пруссіи противъ католическаго духовенства. Канцлеръ германской имперіи разсердился и послалъ Бельгіи ноту, которую его почитатели прославили однимъ изъ самыхъ знаменитѣйшихъ дипломатическихъ документовъ нашего времени. Въ этой нотѣ прусское правительство заявляло требованіе, чтобы бельгійское измѣнило законъ о прессѣ и поставило клерикальныя газеты въ невозможность на будущее время оскорблять Германію и изобрѣтать на нее безчестныя клеветы. Тщетно бельгійское правительство извинялось, говоря, что оно само первое скорбитъ о случившемся и что не въ его власти воспрепятствовать появленію газетъ, непріятныхъ прусскому правительству, такъ - какъ бельгійская конституція даетъ право каждому бельгійскому гражданину свободно выражать свои мнѣнія въ печати, — Бисмаркъ настаивалъ на своемъ. „Измѣнили-же вы законъ по просьбѣ Наполеона III, который просилъ васъ оградить его отъ рѣзкихъ нападокъ французскихъ республиканцевъ, поселившихся въ Бельгіи, почему же вы не можете сдѣлать того-же для меня, подвергнувшася самымъ неприличнымъ нападкамъ со стороны вашихъ ультрамонтанскихъ газетъ?“ Бисмаркъ былъ совершенно логиченъ въ своемъ требованіи: если бельгійское правительство издало дополненіе къ закону, направленное противъ республиканскихъ газетъ, то почему же оно отказывалось издать подобное-же дополненіе противъ клерикальныхъ, иезуитскихъ газетъ? Но дѣло въ томъ, что само бельгійское министерство состоитъ изъ клериковъ; какъ-же оно можетъ рѣшиться издать законъ противъ самыхъ вліятельныхъ членовъ клерикальной партіи, епископовъ: гентскаго и лѣжскаго? Положеніе бельгійскаго правительства было весьма незавидное.

Бельгійская газета „L'Echo du Parlement“, получающая извѣстія изъ официального источника, нѣсколько дней къ ряду толковала о нотѣ прусскаго правительства; сообщенныя ею свѣденія можно считать болѣе другихъ вѣрными. Заимствуемъ изъ ея статей болѣе интересныя отрывки.

„Въ февралѣ нынѣшняго года, пишутъ въ этой газетѣ, — нѣ-

мецкій посланникъ при бельгійскомъ дворѣ, графъ Перпонхеръ, прочелъ въ кабинетѣ графа Аспремонта, нашего министра иностранныхъ дѣлъ, депешу своего правительства, которая заключаетъ въ себѣ выраженіе неудовольствія противъ бельгійскихъ подданныхъ. Графъ Аспремонтъ потребовалъ и получилъ копію съ означеннаго документа.

„Этотъ документъ произвелъ въ бельгійскихъ официальныхъ кружкахъ живое впечатлѣніе. Министры собрались для совѣщанія, на которомъ было рѣшено послать г. Борхграва въ Берлинъ, поручивъ ему сообщать полученную ноту нашему посланнику при берлинскомъ дворѣ г. Нотомбу и дать нѣмецкому правительству необходимыя разъясненія, которыя могли-бы его удовлетворить.

„Цѣль путешествія г. Борхграва хранилась въ строгой тайнѣ; былъ пущенъ слухъ, что г. Борхгравъ отправился въ Берлинъ для производства изысканій въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ архивахъ.

„Г. Борхгравъ пробылъ въ Берлинѣ восемь дней...

„Но еще раньше полученія отвѣта изъ Брюсселя нѣмецкое правительство сообщило посланную имъ въ Бельгію депешу кабинетамъ: парижскому, лондонскому, петербургскому, вѣнскому и — неизвѣстно по какимъ соображеніямъ — правительству голландскому.

„Князь Гогенлоэ, нѣмецкій посланникъ во Франціи, сообщилъ этотъ документъ французскому министру иностранныхъ дѣлъ, герцогу Деказу. Герцогъ спросилъ, въ какихъ видахъ дѣлается это сообщеніе; князь отвѣтилъ, что онъ исполняетъ приказаніе своего правительства... Тѣмъ и кончилось совѣщаніе.

„Только одно англійское правительство отвѣтило на сообщеніе ему нѣмецкимъ бельгійской ноты. Лордъ Дерби, не ожидая отвѣта со стороны Бельгіи, посѣшилъ заявить, во-первыхъ, что Бельгія страна свободная, а во-вторыхъ, что онъ предполагаетъ, что бельгійское правительство не въ состояніи будетъ дать Германіи требуемаго удовлетворенія.

„Когда въ Брюсселѣ узнали о томъ, что нѣмецкое правительство сообщило великимъ державамъ копію съ ноты, адресованной ею бельгійскому правительству, наше правительство рѣшилось от-

вѣчать письменно и сообщить свой отвѣтъ всѣмъ правитель-ствамъ, которыя получили конію съ ноты. Что и было исполнено*.

9 апрѣля (н. ст.) берлинская министерская газета „Post“ напечатала угрожающую статью, въ которой старалась увѣрить всѣхъ, что скоро должна воспослѣдовать война.

„Политическій горизонтъ сильно омрачился, писали въ этой газетѣ.—Передъ нами на лицо фактъ усиленной покупки французскимъ правительствомъ лошадей для своей арміи, противъ которой германское правительство нашлось вынужденнымъ принять дѣйствительную мѣру, запретивъ выводъ изъ Германіи лошадей... Затѣмъ всѣ были поражены значительнымъ увеличеніемъ кадръ французской арміи; требуемыя для этого денежныя средства были тайно (?) вотированы версальскимъ національнымъ собраніемъ. Наконецъ, по случаю путешествія австрійскаго императора въ Венецію французская пресса слишкомъ явно выразила свою радость... Не указываетъ-ли все это очевидно, что реорганизація французской арміи совершается въ видахъ будущей войны... Коалиція орлеанистовъ и республиканцевъ, состоявшаяся будто-бы для установленія конституціи, имѣетъ цѣлю ускореніе войны возмездія... Маршалъ Мак-Магонъ требовалъ не семилѣтняго, а десятилѣтняго періода для своей власти съ единственной цѣлю стоять во главѣ государства во время войны возмездія и управлять тогда ходомъ военныхъ дѣйствій. Такова картина, которую рисуетъ намъ „Кельнская газета“ *). Мы далеки отъ мысли признавать безусловную вѣрность этой картины, но мы считаемъ нужнымъ дополнить ее нѣкоторыми (впрочемъ, второстепенными) штрихами.

„Есть люди, высказывающіе мнѣніе, что если загорится крыша дома и близко находится отрядъ знающихъ свое дѣло пожарныхъ, нѣтъ никакого основанія тревожить людей, живущихъ въ нижнихъ этажахъ этого зданія... Что касается насъ, мы не изъ-тѣхъ, которые непрестанно тревожатъ умы криками: „къ оружію!“ Но въ то-же время мы считаемъ, что неудобно скрывать отъ нѣмецкой націи истинное положеніе дѣлъ и о той опасности, какую должно побороть ея правительство“...

*) Также, какъ и „Post“, получаетъ внушенія отъ канцлера.

Далѣе, разумѣется, доказывается, что опасность войны существуетъ и зажигательницей борьбы будетъ Франція. На другой день „National Zeitung“ напечатала статью въ такомъ-же тонѣ, дополнивъ ее новыми подробностями, которыя должны были еще болѣе разжечь общественное мнѣніе.

Воинственная статья „Post“, повторенная многими другими газетами, по словамъ „Daily News“, убѣдила Европу, что берлинское правительство желаетъ поставить Францію въ необходимость кинуться въ войну.

Но Франція рѣшительно не имѣетъ охоты кидаться въ войну, которая можетъ принести ей только новое разореніе. Она не захотѣла вмѣшаться ни въ прусско-итальянское, ни въ прусско-бельгійское столкновеніе.

Дѣло съ Бельгіей тѣмъ временемъ уладилось. На долго-ли?

Но если Франція совершенно спокойно прошла мимо бельгійскаго столкновенія, иначе поступила Англія. Здѣсь общественное мнѣніе сильно взволновалось, узнавъ о требованіи сильной Пруссіи, предъявленномъ слабой Бельгіи.

„Требованія Пруссіи, пишутъ въ „Times“, — удивили насъ своею неумѣренностью, чтобы не сказать болѣе. Пруссія захотѣла оказать давленіе на гражданскую и религіозную свободу Бельгіи. Можно-ли повѣрить, что какія-нибудь реторическія тонкости, что рѣзкія нападки двухъ епископовъ, выраженныхъ съ церковной кафедръ въ маленькомъ государствѣ, могутъ способствовать къ униженію достоинства великой державы? Можно, пожалуй, подумать, что правы тѣ, которые утверждаютъ, будто Пруссія выставила этотъ ничтожный предлогъ съ единственною цѣлію вызвать во что-бы то ни стало на ссору Бельгію... Если-бы принципъ, провозглашаемый теперь нѣмецкимъ правительствомъ, вошелъ въ кодексъ международныхъ отношеній, тогда каждое частное мнѣніе, непонравившееся какому-нибудь иностранному правительству, могло-бы вызвать требованіе со стороны этого правительства объ обузданіи неприятнаго для него мнѣнія. Такимъ образомъ, если-бы фактическое правительство преслѣдовало династію претендентовъ,

никто изъ иностранцевъ не осмѣлился-бы сказать ни слова въ пользу членовъ этой династіи. Разъ утвердился-бы таковой принципъ въ международныхъ сношеніяхъ, пререканіяхъ, представленіяхъ и нотахъ не было-бы предѣла*...

„Spectator“, по нашему мнѣнію, лучшая изъ англійскихъ газетъ, по поводу нѣмецко-бельгійскаго столкновенія говорить слѣдующее:

„Германское правительство не желаетъ, чтобы къ его дѣятельности относились критически; оно, повидимому, не желаетъ даже, чтобы ему смотрѣли прямо въ лицо. Если какое-нибудь изъ маленькихъ государствъ не въ состояніи будетъ убѣдить своихъ соотечественниковъ, что на Германію слѣдуетъ смотрѣть не иначе, какъ съ выраженіемъ наиглубочайшаго почтенія, оно должно ожидать, что германское правительство выразитъ ему свое неудовольствіе... Только-что опубликованная переписка между Германіей и Бельгіей подтверждаетъ справедливость нашихъ словъ. Нѣмецкое правительство захотѣло прямо вмѣшаться во внутреннія дѣла Бельгіи. Между тѣмъ извѣстно, что нейтралитетъ Бельгіи гарантированъ не столько въ интересахъ этой страны, сколько въ интересахъ самой Европы... Понятно, что этотъ нейтралитетъ нисколько не стѣсняетъ Бельгію устраивать свои внутренніе дѣла, какъ она найдетъ для себя полезнымъ. Тѣмъ болѣе нейтралитетъ не можетъ служить предлогомъ для сосѣдей контролировать бельгійское законодательство, касающееся ея внутреннихъ дѣлъ. Если-бы сосѣдняя держава имѣла право давать предписаніе нейтральному государству измѣнять существующіе законы, тогда нейтралитетъ для него былъ-бы не выгодой, а несчастіемъ.

„По нашему мнѣнію, вмѣшательство Германіи въ дѣла сосѣдняго нейтральнаго государства составляетъ дурное предзнаменованіе. Европѣ слѣдовало-бы принять какія-нибудь мѣры, чтобы подобное вмѣшательство не могло снова повториться...“

Ультра-консервативная англійская газета „Houg“, рассказавъ о столкновеніи, закончила свою статью слѣдующимъ патетическимъ восклицаніемъ: „Вся Европа поддержитъ Бельгію въ ея сопротивленіи требованіямъ Германіи!“

Увы! торійская газета не въ мѣру увлеклась; видно забыла она, что одиннадцать лѣтъ тому назадъ та-же Европа, письменнымъ до-

кументомъ гарантировавшая Даниі пераздѣльность ея территоріи, спокойно позволила отторгнуть отъ нея Шлезвигъ и Голштинію. Съ Бельгіей этого не случилось — прекрасно! порадуемся такому счастливому окончанію спора, но ничто не гарантируетъ, что этого не могло случиться...

Католицизмъ, какъ мы замѣтили уже выше, умѣетъ пользоваться обстоятельствами, умѣетъ найтись во всякомъ положеніи. При самомъ началѣ своей борьбы съ германскою имперіей онъ успѣшилъ выставить себя мученикомъ, преслѣдуемымъ безжалостнымъ врагомъ. Съ той поры онъ много выигралъ въ глазахъ людей, руководимыхъ болѣе чувствомъ, чѣмъ разсудкомъ. Католицизмъ заговорилъ о свободѣ совѣсти, о свободѣ вѣроисповѣданій, и наивные люди возликовали. Мы полагаемъ, что наши читатели и безъ насъ хорошо знаютъ, какую цѣну слѣдуетъ придавать іезуитскимъ заявленіямъ о свободѣ совѣсти и что именно они подразумеваютъ подъ выраженіемъ „свобода совѣсти“. Оставляя всякія разсужденія, мы перейдемъ прямо къ фактамъ.

Іезуитская газета „Monde“, издающаяся во Франціи, выражаетъ свое негодованіе по тому поводу, что австрійское правительство запретило французскимъ священникамъ-доминиканцамъ говорить проповѣди въ Вѣнѣ во время великаго поста, какъ они это всегда дѣлали до настоящаго времени. Въ 1874 году въ Австріи изданъ законъ, запрещающій иностраннымъ священникамъ говорить проповѣди въ австрійскихъ церквяхъ.

„Monde“, не краснѣя защищавшая инквизицію, драгонады и убійства въ варфоломеевскую ночь, съ горечью упрекаетъ австрійское правительство въ нетерпимости. Она приравниваетъ министерство Андраши къ китайскому правительству, преслѣдующему христіанъ, и въ заключеніе восклицаетъ: „Будемъ-ли мы имѣть въ католической Австріи, по крайней мѣрѣ, столько религіозной свободы, сколько, на примѣръ, гарантируетъ намъ Японія!“

„Monde“ желаетъ свободы для католицизма, но, конечно, съ тѣмъ, чтобы имѣть возможность преслѣдовать всѣхъ не-католиковъ.

Та-же „Monde“ ополчается на высшую австрійскую аристократію,

которая позволяет себѣ давать во время поста балы. „Велико-свѣтскіе благородные аптеры и прекрасныя актрисы уже начали свои репетиціи, пишетъ „Monde“;—въ высшихъ сферахъ либерализма есть также свои собственные артисты... Въ эlegantныхъ салонахъ княгини Ауэрспергъ оказалось мало одной „Терезы“, — нашли двухъ: княгиню стариннаго происхожденія и баронессу, урожденную Бюргершу... Когда-же, наконецъ, въ Вѣнѣ начнется постъ и когда обопчится масляница? Никогда. Такъ ведутся дѣла съ 1867 года“.

Отсюда является несомнѣнный выводъ, что „Monde“, служа отголоскомъ австрійскихъ клерикаловъ, очень недовольна австрійской либеральной конституціей 1867 года.

Восемь дней спустя эта-же самая „Monde“ при самыхъ лестныхъ комментаріяхъ напечатала прошеніе одного испанскаго епископа къ повому королю Альфонсу XII объ уничтоженіи въ Испаніи свободы вѣроисповѣданій. Цитируемъ изъ этого прошенія болѣе замѣчательныя мѣста.

„Свобода вѣроисповѣданій, пишетъ епископъ,—была вотирована въ дни несчастій и смутъ. Тогда не обратили вниманія на протестъ нѣсколькихъ миліоновъ католиковъ... Это несчастное вотированіе привело къ тѣмъ печальнымъ послѣдствіямъ, къ каковымъ приводятъ всегда пагубныя нововведенія. На свободу вѣроисповѣданій тотчасъ-же стали смотрѣть, какъ на свободу безнравственности... Было много случаевъ, что на католическихъ кладбищахъ осмѣливались хоронить еретиковъ и диссидентовъ...“

„...Католическій народъ глубоко убѣжденъ, что ваше католическое величество безъ замедленія осуществите справедливую мѣру, которой страстно ждетъ Испанія. Но пока она не осуществится, католики воздержатся выражать свои симпатіи вашему царствованію. А вамъ извѣстно, что воздержаніе граничитъ съ оппозиціей“...

Если такимъ языкомъ говорить епископъ, непременный на сторону карлизма, то что-же мы должны услышать отъ епископа-карлиста?

Выписывать изъ „Monde“, ратующей за свободу вѣроисповѣданій для католицизма, и изъ другихъ подобныхъ газетъ нападки ихъ на свободу вѣроисповѣданій, узаконенную въ католическихъ странахъ, и вообще на всякую свободу,—не стоятъ. Мы сообщаемъ

въ заключеніе нашей хроники резолюцію, принятую „Собраніемъ французскихъ католиковъ“ въ Фульдѣ, гдѣ они обсуждали положеніе католицизма подѣ предсѣдательствомъ Шенелона. Вотъ эта резолюція:

„Мы вполне согласны съ энцикликкой 1864 года и съ синабусомъ относительно настоящей цѣны новѣйшей свободы. Въ частности-же, по вопросу о печати, мы думаемъ, что свобода, одинаково предоставленная заблужденію и истинѣ, злу и добру, несомнѣнно должна привести къ пагубнымъ послѣдствіямъ“.

Комментарій не нужно, — все ясно и безъ нихъ. Истина и добро, очевидно, проповѣдуются исключительно елериальной католической печатью. Вся-же остальная печать представляетъ собой заблужденіе и зло. Очень убѣдительно!

НѢЧТО О СОВРЕМЕННЫХЪ МИТРОФАНАХЪ.



(Посвящается Зауряднымъ Читателямъ Биржевыхъ Вѣдомостей и инымъ либеральнымъ органамъ нашей печати.)

Извините меня, что я не умѣю выбирать возвышенныхъ предметовъ для моихъ писемъ; какъ быть? вѣрно ужъ теперь такое время, что ничто возвышенное нейдетъ на умъ. Впрочемъ, я и самъ даже не думалъ, что, бесѣдуя прошлый разъ (апрѣльск. кн. „Дѣла“) по поводу профановъ, я роковымъ и неизбѣжнымъ образомъ долженъ буду наткнуться на нашихъ Митрофановъ. Митрофаны явились на защиту графа Л. Толстаго. Честъ и слава графу! Теперь успѣхъ его педагогической философіи объясняется для меня гораздо проще, чѣмъ я объяснялъ его себѣ прежде. Прежде я ссылался для его оправданія на нѣкоторые общія измѣненія, происшедшія за послѣднее время въ направленіи и даже міросозерцаніи наиболѣе интеллигентной части нашего культурнаго меньшинства. Митрофановъ я совсѣмъ не имѣлъ въ виду. Они сами напомнили о себѣ, и напомнили такимъ тономъ и съ такимъ апломбомъ, изъ которыхъ видно, что они сознаютъ себя въ нѣкоторомъ родѣ силою,—по крайней мѣрѣ, силою въ средѣ либеральнаго профанства. Вотъ вамъ простая и несложная причина, вполне удовлетворительно объясняющая успѣхъ яснополянскаго просвѣтителя. Митрофаны стали силою, Митрофаны съ каждымъ мѣсяцемъ, съ каждымъ днемъ становятся все многочисленнѣе и многочисленнѣе.

Конечно, Митрофаны, если хотите, и всегда были силою, и всегда число ихъ было достаточно велико; но до сихъ поръ эта сила, эта толпа изображала изъ себя въ большинствѣ случаевъ нѣчто косное, пассивное, молчащее, нѣчто до такой степе-

ни бессмысленное, что никому и на умъ не приходило серьезно разсуждать съ нею, хотя всякій зналъ, какую важную, какую первостатейную роль она играетъ въ нашей практической жизни. Теперь-же вдругъ Митрофаны заговорили и стали предъявлять свои права — на что-бы вы думали? На мудрость, на высшую проницательность, на тонкость и благородство чувствъ и даже на либеральный образъ мыслей! Вотъ до чего они сдѣлались смѣлы и самоувѣренны, вотъ какъ далеко они ушли отъ фон-визинскаго Митрофана! Да, они далеко ушли отъ него, и не потому только, что они стали отважнѣе и на языкъ неводерживнѣе, но и потому также, что они расширили, углубили и дополнили его простое и несложное міросозерцаніе. Однако исходный пунктъ этого міросозерцанія остается неприкосновеннымъ и непоколебимымъ.

А знаете, въ чемъ именно заключается этотъ исходный пунктъ?

Митрофанъ отрицалъ географію, отрицалъ „цифирь“, отрицалъ всякія науки, отрицалъ просвѣщеніе. На чемъ онъ основывалъ все это отрицаніе? Къ несчастію или къ счастью, но онъ былъ на-столько тупъ и бессмысленъ, что формулировать своихъ оснований, оправдать свое знаменитое: „не хочу учиться, хочу жениться“ — онъ рѣшительно не могъ. Допустимъ, однако, что онъ могъ-бы это сдѣлать, допустимъ, что авторъ одѣлялъ-бы его умомъ... ну хоть современнаго Митрофана. Какъ-бы онъ тогда сталъ разсуждать, какими резонами мотивировалъ-бы онъ свое нежеланіе учиться? О, весьма простыми резонами. Онъ сказалъ-бы, что учиться потому не хочется, что ученье дается ему слишкомъ туго, а между тѣмъ обойтись онъ можетъ очень легко и безъ него. „Зачѣмъ учиться географіи, когда есть извозчикъ?“ И въ сломъ дѣлѣ, къ чему это трудное и утомительное запоминаніе фактовъ, о которыхъ у любого извозчика можно безъ особаго труда узнать все, что ему нужно? Зачѣмъ ему „цифирь“? Зачѣмъ ему дѣленіе, когда дѣлать онъ ничего не будетъ, а сложить суммѣтъ и безъ всякихъ мудрыхъ правилъ? Зачѣмъ ему грамотность, когда онъ не чувствуетъ ни малѣйшей потребности въ чтеніи? При тѣхъ условіяхъ, въ которыя онъ былъ поставленъ, для него существенно необходимо было только одно: поспивать вѣтъ, поспокойнѣе спать, поменьше думать да поскорѣе жениться. И эти-то (съ его точки зрѣнія) существенно необ-

ходившимъ онъ и ограничиваетъ всѣ свои желанія, всѣ свои интересы. Все-же, лежащее внѣ круга этихъ скромныхъ желаній, кажется ему роскошью, излишествомъ. Онъ не хочетъ гоняться за роскошью, за излишествомъ, — онъ доволенъ собою такъ, какъ онъ есть. Вотъ почему онъ и отрицаетъ и географію, и цифирь, и всякую науку вообще.

Совершенно на такой-же точкѣ зрѣнія стоятъ и наши современные Митрофаны. Они, какъ и онъ, суживаютъ кругозоръ своихъ желаній существенно необходимымъ и при данныхъ условіяхъ для нихъ, Митрофановъ, возможнымъ. А такъ-какъ они очень лѣпны и очень слабы насчетъ „разума“, то понятно, что ихъ сфера возможнаго и существенно - необходимаго отличается столь-же скромными размѣрами (говоря, разумѣется, относительно), какъ и сфера почтеннаго сына г-жи Скоттиной. Такъ ужъ будьте, скажу я имъ, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны, будьте Митрофанами вполне: хвалите и восхищайтесь своимъ терпѣемъ и репейникомъ, не мечтайте о виноградѣ и смоквѣ. Если „географія“ и „цифирь“ не для васъ писаны, такъ ужъ и удовольствуйтесь извозчиками и счетомъ по пальцамъ. Но, увн, современные Митрофаны никакъ не могутъ быть послѣдовательны и въ этомъ отношеніи они далеко отстали отъ Митрофана фон-визинскаго. Послѣдній не только отрицалъ географію и цифирь лично для себя, онъ отрицалъ ихъ вообще: „не желаю учиться, желаю жениться, а на всѣ тамъ эти ваши науки плевать я хочу!“ Хоть и глупо, но откровенно. Современные Митрофаны не считаютъ нужнымъ подражать ему въ этой откровенности. Имъ непремѣнно хочется прослыть за людей съ возвышенными чувствами и либеральнымъ образомъ мысли. „Какъ можно, помилуйте, говорятъ они, — неужели вы думаете, что мы какіе-нибудь неучи, что мы отрицаемъ великое значеніе географіи и цифири? Сохрани насъ Боже, мы все это понимаемъ до тонкости, только, видите ли, при данныхъ-то условіяхъ мы полагаемъ, что можно обойтись и безъ географіи, и безъ цифири. Науки эти у насъ пока еще непримѣнны, посему лучше ихъ по боку; удовольствуемся тѣмъ, что возможно; не будемъ развлекаться мечтаніями. Мы слишкомъ дорожимъ нашимъ дѣломъ, чтобы приносить его въ жертву несбыточнымъ мечтаніямъ“.

Вы видите, современные Митрофаны прикинулись ревнителями

какого-то практическаго дѣла. Они... они только практики, они хотять сообразоваться съ обстоятельствами! И какъ они шли въ этой своей новой роли, какъ они краснорѣчивы! Какъ они блещуть благородствомъ своихъ чувствъ, до какого либеральнаго пафоса они доходятъ!

Послушайте и судите сами.

Вы помните, что, бесѣдуя съ вами по поводу педагогической философіи гр. Л. Толстаго, я высказалъ ту мысль что, „школа только тогда и можетъ оказать благотворное вліяніе на народное развитіе, когда она стоитъ выше его насущныхъ, исторически-сложившихся умственныхъ потребностей, когда она преслѣдуетъ идеалы болѣе широкіе, чѣмъ тѣ, которые онъ преслѣдуетъ, когда, однимъ словомъ, не она нисходитъ до уровня его требованій, а его поднимаетъ до своихъ требованій“. Иными словами, я утверждалъ и утверждаю (въ противоположность гр. Толстому), что воспитаніе только тогда и можетъ быть прогрессивнымъ двигателемъ жизни, когда оно преслѣдуетъ разумные общечеловѣческіе идеалы (а не идеалы той или другой невѣжественной среды) и когда оно, формируя душу и тѣло ребенка сообразно съ этими идеалами, руководствуется въ своей образовательной дѣятельности не случайнымъ эмпирическимъ опытомъ, не безотчетнымъ вдохновеніемъ, не темнымъ инстинктомъ, а положительнымъ знаніемъ, осмысленнымъ пониманіемъ общихъ законовъ человѣческой природы.

Высказывая эту мысль, я спрашивалъ васъ: не кажется-ли вамъ, „что она принадлежитъ къ числу тѣхъ азбучныхъ истинъ, которыя очевидны съ перваго взгляда“? Я не сомнѣвался, что читая этотъ вопросъ, вы мысленно восклицали: „ну, еще-бы, кто-же станетъ противъ этого спорить!“ И я тоже думаю, что никто. Но и вы, и я обочились въ расчетъ,—мы упустили изъ виду нашихъ Митрофановъ.

Митрофанахъ она совсѣмъ не кажется азбучною. Они и не думаютъ съ нею согласиться; они видятъ въ ней не только нѣчто нелѣпное и абсурдное, но даже нѣчто жестокосердое и негуманное. Люди, осмѣливающіеся ее высказывать, представляются имъ „книжниками“, „фарисеями“ и „лицеѣрами“ (см. „Бирж. Вѣд.“, № 111, „Мысли по поводу текущей литературы“, Зауряднаго читателя), со всѣхъ сторонъ обложившимися книгами по части

антропологи, біологіи и пр. и проводящими все свое время въ томъ, что тщательно изучаютъ всѣ стороны быта того золотого вѣка, который долженъ наступить не ранѣе, какъ черезъ двѣ тысячи лѣтъ, и выводятъ посредствомъ своихъ математическихъ, статистическихъ, можетъ быть, даже астрономическихъ выкладокъ ту кривую прогресса, по которой человѣчество должно стремиться къ этому золотому вѣку“ (тамъ-же).

Вы, конечно, улыбнетесь, какъ улыбался и я, читая эту забавную тираду. Какая, подумаешь, пылкая фантазія у нашихъ Митрофановъ! И почему это они вообразили, что будто люди, отдающіе предпочтеніе педагогикѣ рациональной, педагогикѣ, основывающейся на точномъ изученіи законовъ человѣческой природы, передъ педагогикой эмпирической, неосмысленной, непременно должны все свое время проводить въ созерцаніи какого-то „золотого вѣка“, имѣющаго наступить „не ранѣе, какъ черезъ двѣ тысячи лѣтъ“, и выводить „посредствомъ математическихъ, статистическихъ, а быть можетъ и астрономическихъ выкладокъ“ какую-то кривую человѣческаго прогресса! Почему, въ самомъ дѣлѣ, какъ вы думаете?

Читайте дальше и вы уразумѣете, до какой степени можетъ быть лукавъ и хитроумень даже и такой съ виду простой и немудреный человѣкъ, какъ Митрофанъ.

Убѣдивъ себя, что люди, ратующіе за рациональную педагогику, не болѣе, какъ жалкіе утописты, способные заниматься лишь изученіемъ этого золотого вѣка, который долженъ наступить не раньше, какъ черезъ двѣ тысячи лѣтъ, — Митрофанъ обрушивается на этихъ жалкихъ „книжниковъ и фарисеевъ“ со всею силою своего митрофановскаго краснорѣчія. Чѣмъ болѣе онъ объ нихъ говоритъ, тѣмъ все въ болѣе мрачныхъ краскахъ рисуется ему ихъ образъ. „Вамъ хочется жить, восклицаетъ онъ, — вамъ хочется дѣйствовать, вамъ хочется подать руку помощи страждущимъ и обремененнымъ (о, Митрофаны, неужели и вы испытываете когда-нибудь подобныя желанія?), но вы думаете, что они благословятъ васъ на какой-нибудь подвигъ, вдохновятъ васъ къ какому-нибудь дѣлу?—Ничуть не бывало, они охладятъ въ васъ послѣдній жаръ (а кто-же охлаждаетъ, гг. Митрофаны, вашъ первый жаръ?) и исполнятъ васъ малодушнаго унынія; они докажутъ вамъ по всѣмъ доводамъ *изъ* науки (ихъ? а у васъ особая на-

ука?), что какой-бы шагъ ни сдѣлали вы, самый ничтожный,— онъ ни къ чему не приведетъ и принесетъ вредъ какъ вамъ, такъ и ближнимъ, если вы не совершите предварительно всѣхъ священнодѣйствій, необходимыхъ, по ихъ мнѣнію, для успѣшности вашего шага, т. е. не изучите предварительно во всѣхъ тонкостяхъ и специально образованія солнечной системы, потомъ всѣхъ геологическихъ переворотовъ земного шара, затѣмъ мифологіи азіатскаго Востока, европейскаго Запада и славянскаго міра, въ связи съ развитіемъ культуры; потомъ... но потомъ не хватитъ, быть можетъ, вашей жизни. Я убѣжденъ, что когда вы будете тонуть, эти книжники будутъ стоять на берегу и размышлять, какъ-бы спасти васъ по всѣмъ правиламъ современнаго знанія... И пусть кто-либо изъ непосвященныхъ профановъ попробуетъ въ это время броситься вплавь спасать васъ или кинуть вамъ съ берега веревку,—они сейчасъ-же исполнятся презрѣнія и негодованія противъ профановъ, рѣшающихся прибѣгать къ такимъ элементарнымъ средствамъ спасенія...“ (тамъ-же).

Вотъ какіе ужасные, жестокосердные и, можно сказать, тупоголовые люди эти книжники и фанатики тожь. Совсѣмъ не таковы Митрофаны. Они, при видѣ утопающаго, не медля ни минуты, бросаются вплавь спасать его. Они не закупориваются въ свои кабинеты и не обкладываются со всѣхъ сторонъ книгами по части антропологии, біологіи и т. п. Они ни въ комъ, кто только обращается къ нимъ за благословеніемъ, не охлаждаютъ „последняго жара“ и никого не исполняютъ „малодушнаго унынія“,—они всѣхъ желающихъ вдохновляютъ къ какому-нибудь дѣлу. Что за прекрасные люди эти Митрофаны! Не правда-ли, читатель? Вы волею-неволею должны съ этимъ согласиться. А имъ только этого и нужно: изобразивъ въ видѣ какихъ-то заморскихъ чудищъ противниковъ графа Толстаго, набросивъ густую тѣнь на ихъ нравственную благонадежность и зарекомендовавъ себя съ наивыгоднѣйшей стороны, выставивъ во всемъ блескѣ свою всегдашнюю, нетерпѣливую готовность жертвовать собою интересамъ ближняго,—они уже безъ всякой опаски, съ гордымъ сознаніемъ собственныхъ добродѣтелей приступаютъ къ защитѣ гр. Л. Толстаго. Они напередъ увѣрены, что ваши симпатіи, читатель, на ихъ сторонѣ и что ужъ теперь вы никакимъ образомъ не заподозрите ихъ въ недостаткѣ либерализма и грубости чувствъ.

Видите, какіе они хитрыя, даромъ-что Митрофаны! Жаль только, что они слишкомъ ужъ надѣются на нехитрость своихъ читателей и что ихъ собственное лукавство далеко не соотвѣтствуетъ ихъ добросовѣстности.

Вообразивъ почему-то, что я сижу въ своемъ кабинетѣ, обложившись всевозможными книгами, и вычисляю какія-то „кривыя прогреса“, что всѣхъ, кто ко мнѣ обращается „за благословеніемъ“, я охлаждаю и исполняю малодушнымъ упряміемъ, что даже при видѣ утопающаго я хладнокровно остаюсь на берегу и, вмѣсто того, чтобъ бросить ему спасительную веревку, философствую по поводу этой веревки на манеръ хемницерскаго метафизика, — Митрофаны приписываютъ мнѣ такія мысли, которыхъ я никогда не высказывалъ и которыхъ читатель тщетно сталъ-бы искать въ моей замѣткѣ, посвященной нашимъ профанамъ (Дѣло, № 4) *). Они увѣряютъ, будто „по вашему (г. е. моему) мнѣнію, пусть тонетъ народъ, лишь-бы была спасена педагогика, съ ея антропологіею, физиологіею и проч. Пусть учатся въ школахъ одни ничтожные проценты населенія, лишь-бы школы устраивались по всѣмъ правиламъ науки. Правда, при подобныхъ условіяхъ народъ выучится грамотѣ лѣтъ въ 500, а можетъ быть и болѣе, но что вамъ до этого за дѣло? За то выучится, по всѣмъ даннымъ современнаго прогреса!.. Ахъ, вы (заключаетъ авторъ

*) И не со мною однимъ они такъ поступаютъ. Той-же участи подвергся и г. Ушинскій. Митрофанъ „Бирж. Вѣдом.“ увѣряетъ, будто взгляды автора „Антропология“ „имѣютъ большое соприкосновеніе со взглядами гр. Толстаго“. Вотъ что называется: „попасть въ небо пальцемъ“! Кто не знаетъ, что г. Ушинскій былъ однимъ изъ родоначальниковъ и наиболѣе виднымъ представителемъ той „новой школы“ нашихъ педагоговъ, противъ которой почтенный графъ всегда велъ и теперь ведетъ непримиримую войну? Кто не знаетъ, что онъ-то именно, этотъ самый г. Ушинскій, котораго Митрофаны считаютъ теперь „своимъ“, что онъ былъ и до конца жизни своей остался яркимъ защитникомъ рациональной педагогикѣ, основанной на ненавистныхъ имъ антропологии, физиологіи и психологіи; что, по его мнѣнію, знакомство съ этими науками должно быть безусловно обязательно для воспитателя? Вообще если-бы нашъ Митрофанъ потрудился заглянуть въ педагогику г. Ушинскаго, если-бы онъ даже прочелъ ея заглавіе, то онъ-бы похвастался за свою недалекость. Если могутъ быть на одинъ и тотъ-же предметъ взгляды діаметрально-противоположныя, то именно и будутъ взгляды г. Ушинскаго и гр. Толстаго. Митрофана, очевидно, ввелъ въ заблужденіе эпитетъ „искусство“, который г. Ушинскій прилагаетъ къ педагогикѣ. Онъ считаетъ, — и считаетъ совершенно справедливо, — педагогикѣ не „наукою“, а искусствомъ. Отсюда Митрофанъ, съ

свою реплику противъ воображаемаго противника), ахъ вы, книжники, фарисей и лицеѣръ, Рудинъ новѣйшаго чекана!“ (тамъ-же).

Ахъ вы, Митрофанъ, Митрофанъ! Да гдѣ-же и когда-же 'я говорилъ что-нибудь подобное? Я говорилъ только, что „пономари“ и отставные „кавалеры“ плохіе педагоги, что „теорія воспитанія“ гр. Толстаго фальшива въ своихъ основныхъ принципахъ и что только та педагогическая система рациональна, которая построена на научныхъ данныхъ, на знаніи и разумномъ пониманіи законовъ человѣческой природы, а вы сами уже выводите отсюда заключеніе, что „пусть лучше тонетъ народъ, лишь-бы спасена была педагогика, и т. д.“ и навязываете это заключеніе мнѣ.

Неужели изъ-за того, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества крестьяне вынуждены бываютъ питаться лебедю, я, подобно вамъ, Митрофанамъ, долженъ утверждать, будто лебеда пища совсѣмъ не дурная, что иногда даже она бываетъ весьма полезна для человѣческаго организма и что отрицать ея питательныя свойства могутъ только „книжники“, „фарисей“ и „лицеѣры“? Ну, ужъ извините; хотя вы, Митрофанъ, составляете толпу и хотя толпа всегда есть сила, но въ угоду этой силѣ я не стану извращать мои убѣжденія и мои знанія. Называйте меня за это „обскурантомъ“, фарисеемъ, книжникомъ, лицеѣромъ, утѣшайтесь своею „лебедю“, пойте ей

свойственною ему пронизательностью, выводите заключеніе, будто „по мнѣнію г. Ушинскаго“, „добрая деревенская баба“ можетъ быть лучшимъ педагогомъ, чѣмъ „ивной гелергеръ“, „сѣвшій всѣхъ (будто ихъ было много?) Песталоцци и Дистервеговъ“, т.-е. будто для того, чтобы быть хорошимъ педагогомъ, достаточно имѣть какой-то врожденный педагогическій талантъ, а знаніе антропологии, физиологии и психологии совсѣмъ не требуется. Выводъ по-истинѣ фон-визинскаго Митрофана или даже его почтенной матушки. Вѣдь искусство педагогики состоитъ не въ иномъ чемъ, какъ въ примѣненіи нѣкоторыхъ общихъ законовъ человѣческой природы, нѣкоторыхъ данныхъ антропологическихъ наукъ къ данному частному случаю воспитанія дѣтей. Какъ же педагогъ, незнакомый съ этими данными, незнающій этихъ законовъ, станетъ ихъ примѣнять? Много-ли тутъ поможетъ ему его „врожденный талантъ“? Медицина также искусство, но попробуйте-ка, г. Митрофанъ, сдѣлаться хорошимъ медикомъ, не изучивъ предварительно физики, химіи, биологии, анатоміи, физиологии, патологіи, фармакологіи, фармацевтики и т. п.! Какъ-бы ни былъ великъ вашъ „врожденный талантъ“ лечить, какъ-бы ни было велико ваше желаніе помогать „страдающимъ и обремененнымъ“, но все-таки дальше „азахарства“ вы не уйдете. То-же самое и съ искусствомъ педагогики.

хвалебные гимны, называйте ея изобрѣтателя спасителемъ русскаго народа,—и вы не можете поступать иначе, потому что вы Митрофаны,—но ради Бога не привидывайтесь только „народными друзьями“, не надѣвайте на себя маски, которая совсѣмъ не идетъ къ вашему лицу.

Педагогическая философія, вами защищаемая, это въ своемъ родѣ „лебеда“, въ примѣненіи только не къ питанію, а къ воспитанію народа. Можетъ быть, при данныхъ обстоятельствахъ лебеда, дѣйствительно, единственная доступная пища уму нашихъ „меньшихъ братій“. Но слѣдуетъ-ли изъ этого, что мы должны довольствоваться лебедою, что мы должны примириться съ тѣми обстоятельствами, которыя обуславливаютъ ея существованіе? По мнѣнію нашихъ Митрофановъ, слѣдуетъ. Педагогическая лебеда представляется имъ „спасительною веревкою“, брошеною несчастному народу, „тонувшему въ омутѣ безграмотности“. „Графъ Толстой, говоритъ Митрофанъ „Вирж. Вѣдом.“,—желая спасти его (т. е. народъ), предлагаетъ бросить ему веревку въ видѣ расширенія круга людей, которые-бы учили его. А вы (т. е. я): какъ это, молъ, можно? пономари, солдаты,—однимъ словомъ, веревка, вервѣе простое! На это-бы выдумать орудіе другое!“—Ну, а по-вашему выходитъ, что „орудія другого“ выдумывать совсѣмъ и не нужно, что вполне годится и это, которое предлагаетъ гр. Толстой? Такъ вѣдь? Я не искажаю вашихъ мыслей? Прекрасно! А что если веревка гр. Толстаго окажется гнилою (какова она и есть на самомъ дѣлѣ) и вмѣсто того, чтобы вытащить народъ изъ пучины невѣжества, еще глубже окунетъ его въ эту пучину? Вы ручаетесь за ея крѣпость? Вы ручаетесь за педагогическія способности пономарей? Ручаетесь? Но что толку въ вашемъ ручательствѣ? Легче-ли будетъ отъ него народу, когда вы, Митрофаны, со своими пономарями въ конецъ изуродуете и обезсмыслите его юное поколѣніе? Вы утѣшаете себя тою мыслью, что все-таки, дурно или хорошо, по тому или другому способу, а научите народъ грамотѣ и счету, вы говорите со словъ гр. Толстаго, что „эти знанія (знаніе грамоты и счета) открываютъ вполне пути къ самостоятельному приобритенію остальныхъ знаний“ (курсивъ подлинника). И вы серьезно вѣрите тому, что говорите? О, Митрофаны, Митрофаны! неужели вы не понимаете, что грамотность можетъ быть столько-же ключемъ, сколько-

ко и тормазомъ къ „самостоятельному приобрѣтенію всѣхъ другихъ знаній“? Тутъ все дѣло зависитъ совсѣмъ не отъ того, выучили-ли вы человѣка читать и писать, а оттого, какъ вы его этому научили. Отдайте-ка своего сына въ обученіе какому-нибудь спившемуся приходскому пономарю или безсрочно-отпускному кавалеру, и они такъ основательно вдолбятъ въ его голову азы и буки, что потомъ вашъ сынокъ при одномъ только взглядѣ на печатную страницу восчувствуетъ непреодолимое отвращеніе, доходящее просто до отчаянія; онъ согласится скорѣе повѣситься (чему и были примѣры), чѣмъ взять въ руки хоть какую-нибудь изъ тѣхъ книгъ, которыя „отрываютъ пути ко всѣмъ знаніямъ“.

Кромѣ того, неужели вы, Митрофаны, не можете понять, что огромное большинство, какъ нашего, такъ и всякаго другого народа, силою вещей вынуждено довольствоваться только тѣми званіями, которыя даетъ ему народная школа? То, чего онъ не дополучитъ въ школѣ, того уже ему (въ большинствѣ, по крайней мѣрѣ, случаевъ) не приобрѣсти и въ жизни. Это вамъ хорошо толковать о „самостоятельныхъ путяхъ къ приобрѣтенію всѣхъ знаній“, — у васъ на то много есть свободнаго времени. Но у народа его нѣтъ. Вышелъ изъ школы — цѣлый день за работой; какое-же тутъ ученье полѣзетъ въ голову? Вы объ этомъ не думаете: вамъ лишь-бы выучить народъ читать псалтырь да считать, а тамъ ужъ пусть самъ до всего доходить, — вы дали ему ключъ. Хорошо ключъ, нечего сказать! Что только будетъ народъ имъ отпирать? И послѣ этого вы еще имѣете смѣлость выдавать себя за ревнителей народнаго образованія, за сторонниковъ народнаго развитія! Скажите, къ кому-же изъ насъ болѣе подходитъ эпитетъ лицемеръ и фарисей — ко мнѣ или къ вамъ?

Впрочемъ, успокойтесь; что касается лично меня, то я не считаю васъ ни лицемеромъ, ни фарисеемъ, — вы только Митрофаны. Вѣрные исходному пункту своего міросозерцанія, вы цѣпко ухватились за „данныя“ условія народнаго образованія и во всемъ хотите съ ними сообразоваться. Они для васъ — китайская стѣна, перешагнуть которую вы никогда не рѣшитесь. „Данныя условія“ дѣлаютъ, по вашему мнѣнію, совершенно невозможнымъ устройство разумныхъ школъ и содержаніе знающихъ

педагоговъ. У народа, у земства, говорите вы, нѣтъ для этого средствъ. Слѣдовательно, заключаете вы, — нужно удовольствоваться дурными и неразумно-устроенными школами, пономарями и отставными солдатами. Вотъ это-то „слѣдовательно“ и обличаетъ въ васъ митрофановскій пріемъ мышленія. Почему это — „слѣдовательно“? Развѣ не можетъ быть никакого другого исхода? Не логичнѣе ли было-бы, съ вашей стороны, сказать: у народа нѣтъ средствъ содержать на свой счетъ хорошей школы и образованныхъ учителей, — слѣдовательно, нужно ему найти эти средства? Какъ, гдѣ, откуда? — вотъ объ этомъ-то вы и должны были-бы подумать, вотъ тутъ вамъ и слѣдовало пошевелить мозгами. Но шевелить мозгами для васъ трудно; гораздо легче, со словъ гр. Толстаго, убѣдить себя, что народъ можетъ обойтись и безъ „ученыхъ педагоговъ“, и безъ „раціональныхъ школъ“. Убѣдивъ себя въ этомъ, вы сейчасъ-же и построили митрофановскій силлогизмъ: „я могу обойтись въ жизни безъ „цифири“ и географіи, — ergo, мнѣ и нѣтъ надобности учить ихъ“. Измѣнить свою жизнь такъ, чтобы нельзя было обойтись безъ цифири и географіи, этого фон-визинскому Митрофану и въ голову не приходило. Не приходитъ этого въ голову и нашимъ современнымъ Митрофанамъ.

Еще одно и послѣднее замѣчаніе. У нашихъ современныхъ Митрофановъ совсѣмъ нѣтъ памяти. Они положительно принадлежатъ къ категоріи Ивановъ-Непомнящихъ. Чѣмъ иначе, какъ не полнѣйшимъ отсутствіемъ памяти, можно объяснить странныя увѣренія Митрофана „Биржевыхъ Вѣдомостей“, что будто наши „либеральные профаны“ всегда были защитниками педагогическихъ теорій гр. Толстаго и что только по какимъ-то „особымъ причинамъ“ („распространяться“ о которыхъ Митрофанъ „считаетъ излишнимъ“) они не аплодировали взглядамъ гр. Толстаго, выраженнымъ въ „Ясной Полянѣ“. Въ доказательство этихъ своихъ увѣреній въ неизмѣяемости профанскаго міросозерцанія Митрофанъ ссылается на „знаменитый“ споръ („знаменитый“ по его словамъ, но въ сущности не только не знаменитый, но даже никѣмъ, кромѣ завсегдагеевъ суботныхъ педагогическихъ собраній 2-ой с.-петербургской гимназіи, и не замѣченный), происходившій лѣтъ 10 тому назадъ между г. Паульсономъ и г. Ушинскимъ по поводу нѣкоторыхъ деталей педагогическихъ воззрѣній послѣд-

няго. Я говорю „деталей“, потому что всякому, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ педагогическою дѣятельностью и съ печатными произведеніями обоихъ этихъ педагоговъ, должно быть хорошо извѣстно, что по существу своихъ воззрѣній они ничѣмъ другъ отъ друга не отличаются, принадлежать къ одной и той-же школѣ и даже черпаютъ свою мудрость изъ однихъ и тѣхъ-же источниковъ. Оба они сторонники рациональной педагогики, оба полагаютъ, что теорія воспитанія должна быть выводомъ изъ наукъ антропологическихъ, оба питаютъ къ нѣмцамъ чрезвычайное уваженіе. Если-же имъ и случалось спорить, то причина спора заключалась обыкновенно въ такихъ мотивахъ, которые въ большинствѣ случаевъ съ педагогикою ничего общаго не имѣли. Сообразите сами: какую-же аналогію могъ имѣть этотъ споръ двухъ ратниковъ одного и того-же лагеря съ споромъ между гр. Толстымъ съ одной стороны и представителями „новой школы“ педагоговъ—съ другой? Но Митрофанъ, вообразивъ себѣ почему-то, будто Ушинскій и Толстой проповѣдуютъ одни и тѣ-же педагогическіе принципы, утверждаетъ, съ безпамятствомъ по-истинѣ поразительнымъ, что аналогія тутъ есть и что такъ-какъ профаны отнеслись тогда сочувственно къ Ушинскому, то нѣтъ ничего удивительнаго, если они и теперь съ удовольствіемъ расписываются подъ статью гр. Толстаго. Читали-ли вы и помните-ли вы хоть что-нибудь изъ „Антропологіи“ г. Ушинскаго? Если читали и помните, то какъ-же вы можете допускать аналогію между педагогическою теоріею Ушинскаго и теоріею гр. Толстаго? Если вы не читали или не помните, то прочтите и вспомните. Да кстати ужъ припомните-ка хорошенько, дѣйствительно-ли либеральные профаны выражали когда-нибудь г. Ушинскому свои симпатіи? По крайней мѣрѣ, изъ тѣхъ рецензій по поводу его „Антропологіи“, которыя печатались въ либеральныхъ органахъ нашей журналистики, этого особенно не видно. Правда, ему аплодировали обычные посѣтители педагогическихъ собраній во 2-ой гимназій, но они аплодировали и Паульсону, и барону Косинскому; видѣть въ этихъ аплодисментахъ что-нибудь, кромѣ простого и совершенно невиннаго желанія немножко разсѣяться и пошумѣть, было-бы слишкомъ рискованно.

Если вы немножко подумаете, г. Митрофанъ, обо всемъ, что я говорилъ здѣсь вамъ и о васъ, если немножечко припомните

былое, вы волею-неволею должны будете понять, что ваша ссылка на Ушинскаго, при помощи которой вы хотите доказать, будто профаны остались тѣми-же самими, чѣмъ они были 10—15 лѣтъ назадъ, — что эта ссылка такъ-же умѣстна и такъ-же прямо попадаетъ въ цѣль, какъ и ваши разсужденія о „пошлыхъ филистерахъ новѣйшаго прогреса, невидящихъ изъ-за своихъ радужныхъ мечтаній о золотомъ вѣкѣ и антрополого-соціологическихъ изысканій космическаго свойства ни насущныхъ нуждъ, ни кровныхъ потребностей народа“.

Сомнѣваюсь, однако, чтобы вы это поняли; впрочемъ, все-таки попытайтесь, это будетъ для васъ весьма полезно!

Все тогъ-же.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

И. В. КЕХРИБАРДЖИ.

Въ С.-Петербургъ, по Невскому проспекту, домъ № 32.

Поступили въ продажу, между прочими, слѣдующія новыя книги:

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГІИ ЧЕЛОВѢКА, Л. Германна. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей И. Сѣченова. *Изданіе второе*. Спб. 1875 г., ц. 2 р. 50 к.

ЧУЖОЕ ПРЕСТУПЛЕНІЕ. Романъ П. Лѣтнега, въ 3-хъ частяхъ. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 50 к.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА въ ея современныхъ представителяхъ. Критико-біографическіе этюды Семена Венгерова. Ильяъ Сергѣевичъ Тур:еневъ. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВЪ ВСѢХЪ СОСЛОВІЙ на всенную службу. Спб. 1875 г., ц. 40 к.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Шиллера, съ переводъ русскихъ писателей, изданное подъ редакціей Ник. Вас. Гербеля. Т. I, изданіе 5, исправ. и доп. Спб. 1875 г., ц. съ подлинкою на второй т. 7 р., съ рисун. ц. 9 р.

АНГЛІЙСКІЕ ПОЭТЫ въ біографіяхъ и образцахъ. Составилъ Ник. Вас. Гербель. Спб. 1875 г. ц. 2 р. 50 к.

КОМНАТА ПРЕСТУПЛЕНІЙ. Романъ Евг. Шавета. Спб. 1875 г., ц. 1 р.

ТЕМНОЕ ДѢЛО. Повѣсть Ф. Л. Реймара. Спб. 1875 г., ц. 60 к.

ПОДАРОКЪ МОЛОДЫМЪ хозяйкамъ или средство въ умелъ-пенію расходовъ въ домашнемъ хозяйствѣ. Составилъ Г. Молоховець. 7 изданіе, исправ. Спб. 1875 г., ц. 3 р. 50 к.

ОБЪ УПРУГОСТИ ГАЗОВЪ. Д. Менделѣева. Съ 17 таблицами рисунковъ. Спб. 1875 г., ц. 7 р.

БОЛѢЗНИ МОЧЕГЫХЪ ОРГАНОВЪ. Клиническія лекціи профессора Генри Томсона. Передъ съ англійск., подъ редакціей профессора П. П. Заблоцкаго, съ дополненіями и рисунками въ текстъ. Спб. 1875 г., ц. 2 р. 50 к.

ПИСЧЕБУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Окраска бумагъ. Технолога Мельникова. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

НАСЛѢДСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА, ея законы и послѣдствія. Ф. Гальтона, переводъ съ англійскаго. Спб. 1875 г., ц. 2 р.

РУССКІЙ РАБОЧІЙ у сѣверо-американскаго плантатора. Воспоминанія, очерки и замѣтки. А. С. Курбскаго. Спб. 1875 г., ц. 2 р.

СОЛОВКИ. Воспоминанія и рассказы изъ поѣздокъ съ богомольцами. В. И. Немировича-Данченко. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 50 к.

ВОПРОСЫ О ЖИЗНИ И ДУХѢ. Д. Льюиса. Перев. съ англ. т. I. Спб. 1875 г., ц. 2 р. 50 к.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРЫМУ. Съ подробной картой Таврической губерніи и приложеніемъ гигиены для купающихся въ морѣ. Состав. Марковскій. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

СОБРАНІЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕНІЙ Константина Дмитриевича Ушинскаго. Спб. 1875 г., ц. 3 р.

ПАРИЖЪ, его органы, отправленія и жизнь во второй половинѣ XIX вѣка. М. Дюкана. Спб. 1875 г., ц. 3 р. 50 к.

ПРОГУЛКА вокругъ свѣта 1871 года. Барона I. А. Гюбнера. 2 т. Спб. 1874 г., ц. 3 р.

ОСНОВАНІЯ АНАТОМІИ ЧЕЛОВѢКА. Краткое руководство для врачей и студентовъ. Геннера. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

ИСТОРИЯ НЕБА. К. Фламаріона, фонъ-Віэля и Тисандье. Съ рисунками. Спб. 1874 г., ц. 3 р. 50 к.

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ. Романъ изъ послѣдняго польскаго возстанія. Соч. Л. О. Леванды. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 50 коп.

НА ДАЛЕКИХЪ ОКРАИНАХЪ. Романъ Н. Каразина, иллюстрированное изданіе. Спб. 1875 г., 2 р. 50 к.

НЕОБХОДИМЫЙ КРУГЪ ЗНАНІЙ. Опытъ элементарной энциклопедіи. Изданіе П. Н. Полевого и И. С. Демина. 2 т. Спб. 1875 г., ц. 5 р.

ЭЛЬЗА. 12 АПОСТОЛОВЪ. Повѣсти Марлита. М. 1875 г., ц. 1 р. 50 коп.

ТАЙНЫ СТАРОЙ ДѢВЫ. Романъ. М. 1875 г., 1 р. 50 к.

РАЗОРВАННЫЯ ЦѢПИ. Романъ Вернера. М. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по минеральнымъ водамъ Европы. Составлено по новѣйшимъ учен. изслѣд. Спб. 1875 г., ц. 75 к.

БЪЛОКУРАЯ ЧАРОДѢЙКА. Романъ Ксавье-де-Монтепена. М. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

МЕСТЬ ГРѢШНИЦЫ. Романъ Ксавье-де-Монтепена (продол. „Бѣлок. чарод.“). М. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРЫМУ. Съ фотографическими видами и картой Таврической губерніи; роскошное изданіе на велелевой

бумагѣ, въ 4 долю листа, въ великолѣпномъ тисненномъ переплетѣ.
Спб. 1875 г., ц. 12 р.

ТАЙНЫ ТУРЕЦКАГО ДВОРА. Историческій романъ XIX столѣтїя. Переводъ съ греческ. 2 т. Спб. 1874—1875 г., ц. 3 р. 50 к.

ЧУДАКИ. Романъ Крашевскаго. Переводъ съ польскаго. Спб. 1874 г., ц. 2 р.

ПОЛЖИЗНИ. Романъ П. Боборыкина. Спб. 1874 г., ц. 2 р.

РЪЧИ И СТАТЬИ Тиндаля. М. 1875 г., ц. 85 к.

ОЧЕРКИ И КАРТИНКИ. Собраніе разсказовъ, фельетоновъ и замѣтокъ Незнакомца (А. Суворина). Книга 1, изданіе 2-е. Спб. 1875 г., ц. 1 р. 25 к.

Печатается и на-дняхъ выйдетъ въ свѣтъ:

У ОКЕАНА. В. И. Немировича-Данченко. Ц. 2 р. 50 к.

Гг. Иногороднымъ книги высылаютъ съ первой отходящей почтой и пересылку магазинъ принимаетъ на свой счетъ.



„Post“.—Враждебное отношеніе англійскаго общественнаго мнѣнія къ прусскимъ требованіямъ. — Требованіе свободы совѣсти, заявленное католицизмомъ.—Какую цѣну имѣетъ такое требованіе.

XX. НѢЧТО О СОВРЕМЕННЫХЪ МИТРОФАНАХЪ. ВСЕ ТОГО-ЖЕ.

(Посвящается Зауряднымъ Читателямъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ и инымъ либеральныхъ органовъ нашей печати.)

ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА „ДѢЛО“:

РОМАНЪ П. ЛѢТНЕВА:

ВНѢ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ИНТЕРЕСОВЪ,

изданный безъ предварительной цензуры. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкой 2 р.

РОМАНЪ ЛУИЗЫ АЛЬКОТЪ:

АМЕРИКАНКА.

Цѣна безъ перес. 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.

На всѣ изданія Редакціи журнала „Дѣло“ уступается подписчикамъ на этотъ журналъ 20%.

При этой книгѣ помѣщены слѣдующія объявленія: 1) объ изданіи журнала „Дѣло“ въ 1875 году; 2) объ изданіяхъ редакціи журнала „Дѣло“; 3) отъ книжнаго магазина П. Е. Кехрибарджи.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Д Ъ Л О“

въ 1875 году

принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной конторѣ редакціи (во
Надеждинской улицѣ, д. № 39) и у книгопродавцевъ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ:

Въ книжномъ магазинѣ А. Ф. Бабунова,
на Невскомъ проспектѣ, въ домѣ г-жи
Ольхиной, и въ Книжномъ Магазинѣ
для Иногороднихъ, на Невскомъ, въ д.
Лѣсникова.

ВЪ МОСКВѢ:

Въ книжномъ магазинѣ П. Г. Соловьева,
на Страстномъ бульварѣ, въ д. Алек-
сѣева; а также въ книжномъ магазинѣ
А. А. Васильева, на Страстномъ буль-
варѣ, въ д. Шамардина.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

годовому изданію журнала „ДЪЛО“:

Безъ пересылки и доставки 14 р. 50 к.
Съ пересылкою иногороднимъ 16 „
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ. 15 „ 50 к.

Подписная цѣна для заграничныхъ абонентовъ:

Пруссія и Германія — 19 р.; Бельгія, Нидерланды и Придунайскія княжества —
20 р.; Франція и Данія — 21 р.; Англія, Швеція, Испанія, Португалія, Турція
и Греція — 22 р.; Швейцарія — 23 р.; Италія — 24 р.

Для служащихъ дѣлается разсрочка, но не иначе, какъ за поручи-
тельствомъ гг. назначенныхъ.

Редакторъ-издатель Н. ШУЛЬГИНЪ.

**This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.**

**A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.**

Please return promptly.

Widener Library



3 2044 079 302 147